



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

Slav
4346
3.5(1)

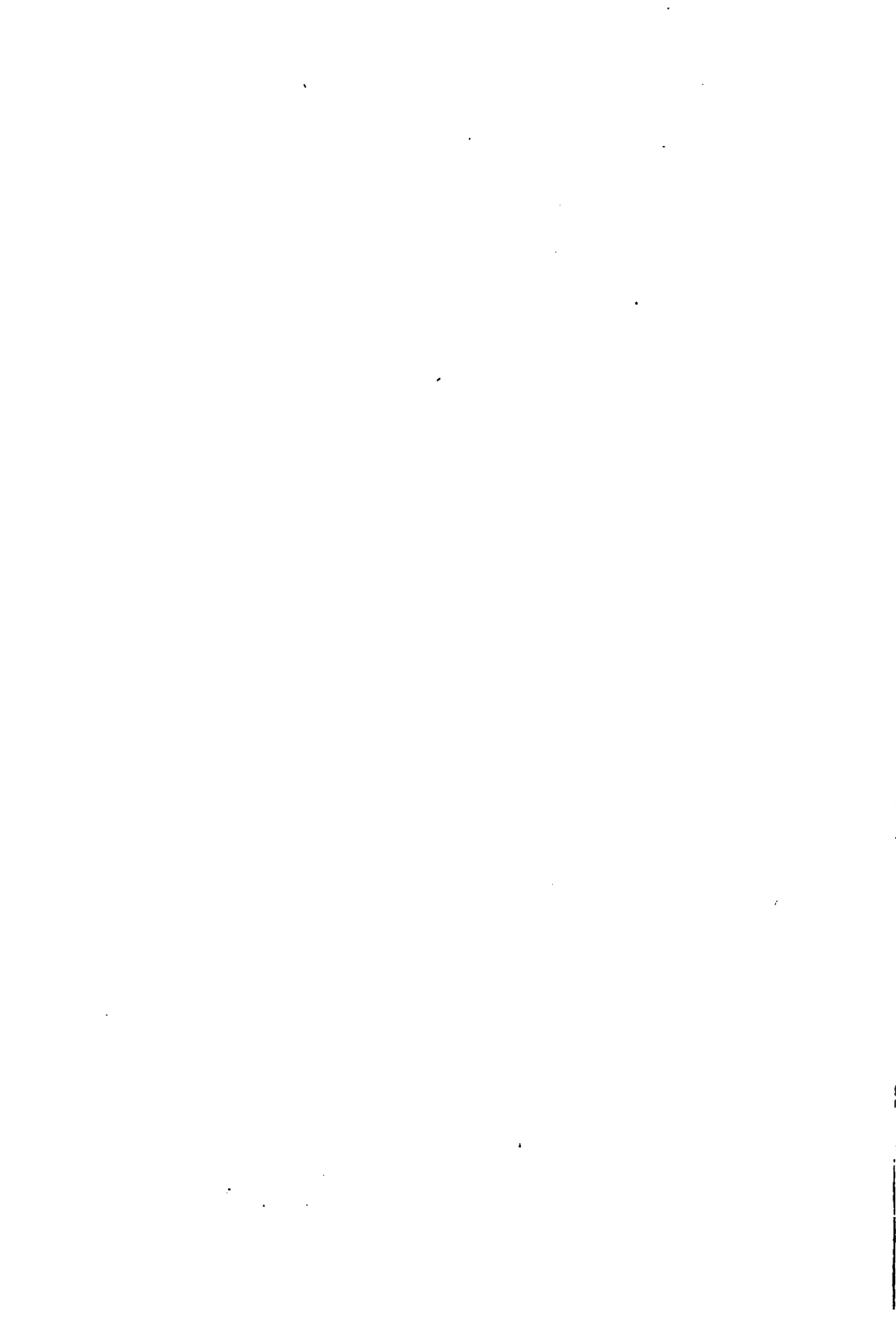
Harvard College
Library



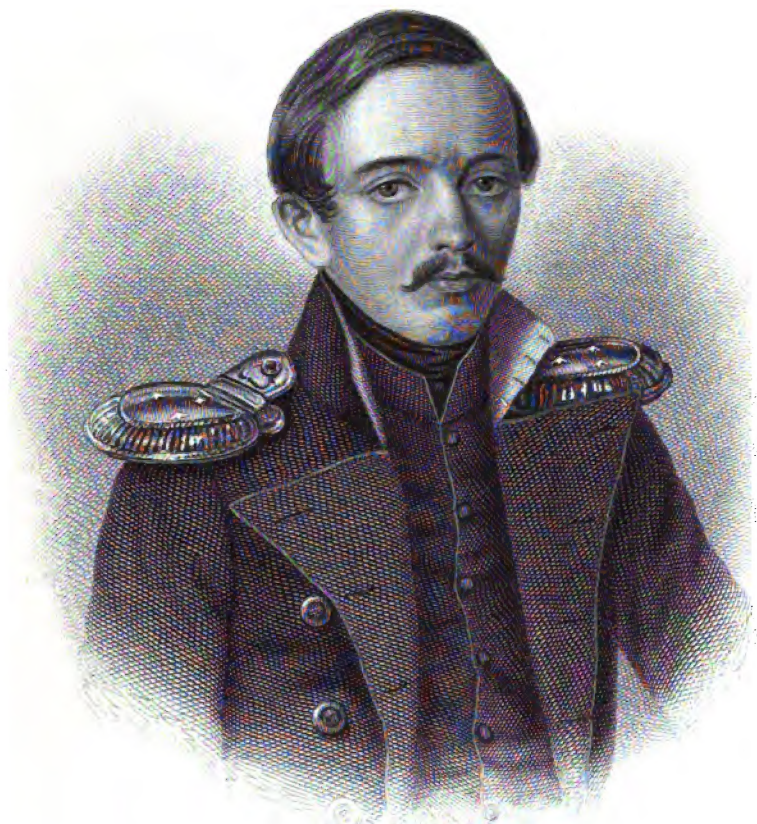
FROM THE LIBRARY OF
Archibald Cary Coolidge
Class of 1887

—♦—
THE GIFT OF
Harold Jefferson Coolidge
Class of 1892





СОЧИНЕНІЯ
ЛЕРМОНТОВА.



Генералъ П. А. Сухомлинъ

М. Сергеевичъ

1887.



/

СОЧИНЕНІЯ

ЛЕРМОНТОВА

СЪ ПОРТРЕТОМЪ ЕГО И ДВУМЯ СНИМКАМИ СЪ РУКОПИСИ.



ИЗДАНИЕ ШЕСТОЕ,

ВНОВЬ ИСПРАВЛЕННОЕ, ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ П. А. ВѢРЬМОВА.



ТОМЪ ПЕРВЫЙ.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ИЗДАНИЕ КНИГОПРОДАВЦА ГЛАЗУНОВА.

1887.

Slav 4346.3.5

✓

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE LIBRARY OF
ARCHIBALD CARY COOLIDGE
THE GIFT OF
HAROLD JEFFERSON COOLIDGE
APR 2 1928



Собственность Глазунова.

ТИПОГРАФИЯ ГЛАЗУНОВА, КАЗАНСКАЯ УЛ., № 8.

ОГЛАВЛЕНИЕ 1-го ТОМА.

	СТР.
Отъ издателя.....	VII
Біографическій очеркъ.....	IX
1831. Ангелъ.....	1
1832. Парусъ.....	2
1836. Русалка.....	—
Еврейская мелодія: «Душа моя мрачна». [Изъ Байрона].	3
Въ альбомъ: «Какъ одинокая гробница». [Изъ Байрона]..	4
Умирающій гладиаторъ. [Изъ Байрона].....	—
Два великана.....	5
Желаніе. «Отворите мнѣ темницу».....	6
«Гляжу на будущность съ боязнью».....	7
«Она поетъ—и звуки таютъ».....	8
«Какъ небеса, твой взоръ блистаетъ».....	—
Молитва: «Я, Матерь Божія, нынѣ съ молитвою».....	9
1837. На смерть Пушкина.....	—
Вѣтка Палестины.....	12
Бородино!.....	13, 488
Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалаго купца Калашникова.....	16
Узникъ. «Отворите мнѣ темницу».....	32
«Разстались мы, но твой портретъ».....	33
«Когда волнуется желтѣющая нива».....	34
Сосѣдъ.....	—
1838. Дума.....	35
Ребенку. «О грезахъ юности».....	37
Демонъ. Восточная повѣсть.....	38, 491

	стр.
1839. Молитва: «Въ минуту жизни трудную».....	74
Три пальмы. Восточное сказаніе.....	75
Дары Терека.....	77
Не вѣрь себѣ.....	80
Памяти А. И. Одоевскаго.....	81
Казоть. «На буйномъ пиршествѣ».....	83
Поэтъ: «Отдѣлкой золотой блистаетъ мой кинжалъ».....	84
Мцыри.....	85
«Какъ по вольной волюшкѣ».....	242
1840. Первое января.....	109
Казачья колыбельная пѣсня.....	110
Журналистъ, читатель и писатель.....	112
Воздушный корабль [изъ Зейдица].....	117
И скучно и грустно.....	120
Отчего.....	—
Благодарность.....	121
Изъ Гете: «Горныя вершины».....	—
Тучи.....	—
Сосна [изъ Гейне].....	122
«На свѣтскія цѣни» [кн. М. А. Щербатовой].....	—
Любовь мертвеца.....	124
Посвященіе къ поэмѣ «Демонъ».....	125
А. О. Смирновой.....	126, 536
Къ портрету гр. Воронцовой-Дашковой.....	126
М. П. Соломирской.....	127
Въ альбомѣ автору «Бурдюковой».....	128
Къ гр. Музиной-Пушкиной.....	—
Изъ альбома С. Н. Карамзиной.....	129
Графинѣ Ростопчиной.....	—
«Слышу ли голосъ твой».....	130
1841. «Есть рѣчи—значенье».....	181, 537
Завѣщаніе.....	182
Оправданіе.....	183
Родина.....	184
Послѣднее новоселье.....	185
Кинжалъ.....	187
Плѣнный рыцарь.....	188
Сосѣдка.....	—
Договоръ.....	140
«Ты помнишь ли, какъ мы съ тобою».....	141
«Изъ-подъ таинственной, холодной полумаски».....	—

	стр.
«Не плачь, не плачь, мое дитя!»	142
«Это случилось въ послѣдніе годы могучаго Рима»	—
Казбеку: «Слѣша на сѣверѣ издалека»	144
«Я не хочу, чтобъ свѣтъ узналъ»	145
«Не смѣйся надъ моей пророческой тоскою»	146
Видъ горъ изъ степей Козлова	—
Бѣглець. Горская легенда	147
А. Г. Хомутовой. «Слѣпецъ, страданьемъ вдохновенный»	152
Валерикъ,	153
Сказка для дѣтей.	161
Споръ	170
Сонъ	178
Утесъ	174
«Они любили другъ друга». [Изъ Гейне]	—
Тамара	175
Свиданіе	176
«Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой»	179
«Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю»	180
«Выхожу одинъ я на дорогу»	181
Морская царевна	—
Пророкъ	183
1839—1840. Герой нашего времени:	
Предисловіе ко 2-му изданію	185
I. Бѣла	186
II. Максимъ Максимычъ	224
Предисловіе къ журналу Печорина	235
III. Тамань	236
IV. Княжна Мери	248
V. Фаталистъ	331
1840—1841. Ашикъ-Керибъ. Турецкая сказка	341
Отрывки изъ начатыхъ повѣстей:	
I. «У графини В. былъ музыкальный вечеръ»	350
II. «Я хочу разсказать вамъ исторію женщины.	366
Приложенія:	
Маскарадъ, драма въ 5 дѣйствіяхъ	371
Письма Лермонтова [I—XXII]	432
Къ дѣлу о стихахъ на смерть Пушкина	475
Къ дѣлу о дуэли съ Барантомъ	478
Примѣчанія	485
Неизвѣстныя въ русскомъ оригиналѣ стихотворенія	
Лермонтова	550

ВЪ ПИСЬМАХЪ И ПРИМѢЧАНІЯХЪ СТИХОТВОРЕНІЯ:

	СТР.
Поэтъ. «Когда Рафаэль вдохновенный»	494
«Я жить хочу, хочу печали»	497
«Примите дивное посланье»	498
«По произволу дивной власти»	499
«Для чего я не родился»	440
«Еонецъ! какъ звучно это слово»	441
«Онъ былъ рожденъ для счастья»	448
«Ребенка милаго рожденье»	471
«Такъ въ дни воинственнаго Рима»	477
«Такъ нѣкогда въ степи безводной»	486
Эпиграмма на Кукольника	487
Ребенку [А. П. Петрову]	490
М. И. Цейдлеру. [Русскій нѣмецъ бѣлокурый]	—
4 очерка «Демона»	495, 499, 513, 515
Посвященія «Демона»	513, 514, 515
Авраамъ [отрывокъ]	526
Наводненіе. «И день насталъ»	539
Великій мужъ, здѣсь нѣтъ награды	—
«Дилейной рукой поправляя»	541
«На бурѣхъ подъ тѣнью чинары»	—
Эпиграмма на Сенковского	543
«Что толку жить безъ приключенья»	547



ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Въ нынѣшнемъ изданіи сочиненій Лермонтова всѣ его произведенія вновь были сличены, по возможности, съ подлинными рукописями и первоначально напечатаннымъ текстомъ. За тѣмъ, внесены изъ появившихся въ печати послѣ изданія 1882 года тѣ стихотворенія, которыя имѣютъ сколько нибудь существенное значеніе для біографіи поэта или для исторіи развитія его поэтической дѣятельности; письма дополнены новыми, а прежнія исправлены по рукописямъ.

Общій порядокъ распредѣленія произведеній оставленъ прежній, и только въ частностяхъ сдѣланы нѣкоторыя перестановки, необходимыя для приданія болѣе точнаго хронологическаго порядка, на основаніи новыхъ о томъ указаній. Наконецъ, въ видахъ сокращенія размѣровъ изданія, нами сдѣлано исключеніе двухъ неоконченныхъ повѣстей, не представляющихъ существеннаго интереса для большинства читателей, и значительно сокращены отрывки изъ стихотвореній, написанныхъ поэтомъ въ юнкерской школѣ и вскорѣ по выходѣ изъ нея.

БЮГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

Родъ Лермонтовыхъ происходитъ отъ старинной, извѣстной еще въ началѣ XI вѣка, шотландской фамилиі Лермонтъ. Русскій предокъ Лермонтовыхъ, Юрій Лермонтъ, выѣхалъ изъ Шотландіи вначалѣ XVII столѣтія въ Польшу, откуда вскорѣ былъ вызванъ царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ въ Москву, для формировапія рейтарскихъ полковъ, и въ 1621 г. уже былъ пожалованъ деревнями въ нынѣшней Костромской губерніи. Потомки его были стольниками, воеводами, а позднѣйшіе изъ нихъ служили преимущественно въ военной службѣ. Въ ней же служилъ, при 1-мъ кадетскомъ корпусѣ, отецъ поэта Юрій Петровичъ, но рано оставилъ ее: 24 лѣтъ отъ роду, въ декабрѣ 1811 г., онъ уже былъ уволенъ въ отставку, съ чиномъ капитана, по болѣзни. Больше объ немъ ничего неизвѣстно, кромѣ только неопредѣленныхъ разсказовъ, которые указываютъ, что онъ былъ замѣчательный красавецъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ «пустой, странный и даже худой человѣкъ». Судя по этому отзыву Сперанскаго, говорившаго впрочемъ по слухамъ, шедшимъ со стороны враждебной отцу поэта, можно однако предположить, что поводъ къ отставкѣ «по болѣзни» былъ только officialный, но что случилось какое нибудь особенное обстоятельство, на которое есть даже намекъ въ одномъ изъ стихотвореній Лермонтова-сына: «не мнѣ судить: виновенъ ты иль нѣтъ? ты свѣтомъ осужденъ».

Мать поэта, Марья Михайловна, рожденная Арсеньева, вышла замужъ за Юрія Петровича по любви, противъ воли матери и къ неудовольствію своей знатной и богатой родни. Вскорѣ

послѣ рожденія сына она заболѣла изнурительной чахоткой и умерла, въ 1817 г., на 21 году отъ роду.

Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ былъ единственнымъ ребенкомъ отъ этого брака. Онъ родился въ Москвѣ 2 октября 1814 г., и по смерти матери остался на рукахъ у своей бабушки Елизаветы Алексѣвны Арсеньевой (рожденная Столыпина). Она никакъ не хотѣла отдать его отцу, жившему въ тульской деревнѣ, съ которымъ была въ недружелюбныхъ отношеніяхъ, такъ что отецъ только во время своихъ прїѣздовъ въ Москву видѣлся съ сыномъ, котораго бралъ къ себѣ въ праздничные дни. Не смотря на эту рѣдкость свиданій, Лермонтовъ повидимому очень любилъ отца, и не безъ основанія полагаютъ, что семейный разладъ оставилъ свои неизгладимые слѣды на характерѣ поэта.

Нѣсколько времени Арсеньева прожила съ внукомъ въ своей пензенской деревнѣ, откуда возила его, 10-ти лѣтъ отъ роду, на Кавказъ, гдѣ лечилась водами въ Пятигорскѣ; а съ 1827 года окончательно поселилась въ Москвѣ, отдавъ Лермонтова въ университетскій благородный пансіонъ полупансіонеромъ, потому что не хотѣла съ нимъ разлучаться. До поступленія въ пансіонъ Лермонтовъ учился дома, подъ руководствомъ гувернеровъ, преимущественно иностранцевъ, изъ которыхъ особенно любилъ француза Жандро, капитана Наполеоновской гвардіи. По словамъ г. Зиновьева, гувернера Лермонтова, вообще онъ учился прекрасно и велъ себя благородно, очень скоро выучился по англійски, оказывалъ особенные успѣхи въ русской словесности, много читалъ, хорошо рисовалъ и былъ хорошимъ музыкантомъ. Въ пансіонѣ онъ получилъ первую награду на публичномъ экзаменѣ.

По словамъ того же лица, вопреки указаніямъ г-жи Хвостовой, оставившей свои воспоминанія о поэтѣ, заподозрѣнныя нынѣ въ своей правдивости, въ самой наружности и манерахъ Лермонтова не было ничего неуклюжаго и каррикатурнаго: онъ былъ только немного сутуловатъ, смотрѣлъ въ землю, былъ неразговорчивъ и мало сообщителенъ.

Еще въ первый же годъ по поступленіи въ пансіонъ, гдѣ онъ пробылъ съ 1828 по апрѣль 1830 г., Лермонтовъ началъ писать стихи, не столько подражая, сколько, такъ сказать, переписывая и по своему передѣлывая Пушкина, и съ 1828 года у него уже начали скопляться цѣлыя тетради стихотвореній. Изъ этихъ первыхъ опытовъ видно, что въ немъ, еще мальчикъ, проявлялась талантливая, сильная и порывистая натура, рано пробудились чувства и рано открылись поэтическія инстинкты, обнаруживалось пониманіе жизни, вовсе не дѣтское; возникали вопросы, такъ сильно тревожившіе его впослѣдствіи. Онъ рано началъ сознавать силу своего таланта и мечтать о своей будущей дѣятельности, о своемъ назначеніи, о славѣ. Очень вѣроятно, по предположенію нѣкоторыхъ біографовъ, что въ первую пору у Лермонтова было направленіе вычитанное изъ Пушкина и изъ Байрона, но оно возможно было въ такой высокой степени только потому, что находило основаніе въ его личныхъ наклонностяхъ и впечатлѣніяхъ.

Съ переходомъ Лермонтова въ университетъ, въ августѣ 1830 г., еще болѣе увеличилась его поэтическая дѣятельность, и за два года пребыванія въ университетѣ онъ оставилъ въ своихъ тетрадяхъ цѣлую массу стихотвореній, изъ которыхъ многія, впослѣдствіи переработанныя, стали въ числѣ лучшихъ его произведеній. Онъ не окончилъ однако университетскаго курса и почему-то оставилъ университетъ, можетъ быть (какъ рассказываетъ одинъ изъ его товарищей), вслѣдствіе столкновенія съ однимъ профессоромъ который обидѣлся тѣмъ, что студентъ знаетъ больше самого профессора. Въ архивѣ московскаго университета сохранилась только просьба Лермонтова объ увольненіи, поданная въ іюнѣ 1832 г., а вслѣдъ затѣмъ онъ отправился въ Петербургъ, но въ тамошній университетъ поступить не могъ, за нѣкоторыми формальностями, и въ августѣ уже писалъ въ Москву, что готовится къ экзамену для поступленія въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ и кавалерійскихъ юнкеровъ. Неизвѣстна причина, побудившая Лермонтова выбрать военную карьеру. Онъ самъ пишетъ объ этомъ

только: «быть можетъ, тутъ есть особенная воля провидѣнія; быть можетъ, этотъ путь всѣхъ короче, и если не ведетъ меня къ моей первой цѣли [поприще литературное], то, можетъ быть, по немъ я дойду до послѣдней цѣли всего существующаго: лучше же умереть съ пулею въ груди, чѣмъ отъ медленнаго истощенія старости». Впрочемъ, въ то время самой популярной и почетной профессіей была военная служба, привлекавшая почти всю аристократическую молодежь.

Въ юнкерской школѣ Лермонтовъ пробылъ два года, съ 10 ноября 1832 г. по 22 ноября 1834 г. Здѣсь онъ очутился совсѣмъ въ новомъ кружкѣ. Каково было первое впечатлѣніе этого кружка видно изъ письма въ Москву, написаннаго тотчасъ по поступленіи въ школу: «васъ коробить отъ [монхъ] выраженій; но, увы! скажи мнѣ съ кѣмъ ты водишься — и я скажу кто ты таковъ». Скоро впрочемъ по наружности онъ освоился съ новою обстановкой, и скрывая свои душевные мысли и мечты, какъ будто ничѣмъ уже не разнился отъ своихъ товарищей. По крайней мѣрѣ въ воспоминаніяхъ объ этомъ времени, написанныхъ нѣкоторыми изъ нихъ, вовсе не видно Лермонтова, а рассказываются разные анекдоты о юнкерскихъ его подвигахъ, въ которыхъ онъ игралъ не послѣднюю роль, указывается, какъ онъ гнулъ шомпола и какіе прекрасные стихи помѣщалъ въ школьномъ журналѣ. Эти безобразныя подражанія Баркову тщательно и бережно сохранены бывшими товарищами Лермонтова по школѣ, которые и сами соперничали съ нимъ въ этомъ родѣ и даже превосходили его, какъ видно изъ одного сохранившагося номера «Школьной Зари», рукописнаго ихъ журнала.

Справедливо замѣчаютъ, что пребываніе въ школѣ внесло новыя, крайне несимпатичныя черты въ характеръ поэта — фальшивое и непріятное удалство, страсть выдаваться впередъ, отталкивающую назойливость, и что только внутренній инстинктъ оберегалъ Лермонтова и не далъ ему вполне подчиниться тѣмъ вліяніямъ, которыя способны были бы совершенно погубить его талантъ. Это подтверждается и расска-

зомъ одного изъ школьныхъ товарищей Лермонтова, который говорить, что «по вечерамъ, послѣ учебныхъ занятій, поэтъ часто уходилъ въ отдаленныя классныя комнаты, въ то время пустыя, и тамъ одинъ просиживалъ долго и писалъ до поздней ночи, стараясь туда пробраться незамѣченнымъ товарищами».

Вскорѣ по поступленіи Лермонтова изъ школы корнетомъ л.-гв. въ гусарскій полкъ у него начали завязываться разныя литературныя отношенія и знакомства, а въ слѣдующемъ (1835) году въ первый разъ имя его явилось въ печати подъ поэмою «Х а д ж и - А б р е к ъ», которая была замѣчена, произвела впечатлѣніе и возбудила ожиданія.

Вотъ что рассказываетъ А. Н. Муравьевъ о своемъ знакомствѣ съ Лермонтовымъ: «Однажды его товарищъ по школѣ, гусаръ Цейдлеръ, приноситъ мнѣ тетрадь стиховъ неизвѣстнаго поэта, и не называя его по имени, проситъ только сказать мое мнѣніе о самыхъ стихахъ. Это была первая поэма Лермонтова «Демонъ». Я былъ изумленъ живостью разсказа и звучностью стиховъ и просилъ передать это неизвѣстному поэту. Тогда лишь, съ его дозволенія, рѣшился онъ мнѣ назвать Лермонтова, и когда гусарскій юнкеръ надѣлъ эполеты, онъ не замедлилъ ко мнѣ явиться.... Лермонтовъ просиживалъ у меня по цѣлымъ вечерамъ; живая и остроумная его бесѣда была увлекательна, анекдоты сыпались, но громкій и проѣзительный его смѣхъ былъ непріятенъ для слуха, какъ бывало и у Хомякова, съ которымъ во многомъ онъ имѣлъ сходство.... Часто читалъ мнѣ молодой гусаръ свои стихи, въ которыхъ отзывались пылкія страсти юношескаго возраста, и я говорилъ ему: «отчего не избереть болѣе высокаго предмета для столь блистательнаго таланта?» Пришло ему на мысль написать комедію, въ родѣ «Горе отъ ума», рѣзкую критику на современные нравы, хотя и далеко не въ уровень съ безсмертнымъ твореніемъ Грибоедова. Лермонтову хотѣлось видѣть ее на сценѣ, но строгая цензура III отдѣленія не могла ее пропустить. Авторъ съ негодованіемъ прибѣжалъ ко мнѣ и просилъ убѣдить начальника сего отдѣленія, моего двоюроднаго брата Мордвинова, быть

снисходительнымъ къ его творенію; но Мордвиновъ оставался неумолимъ; даже цензура получила неблагоприятное мнѣніе о заносчивомъ писателѣ, что ему скорѣе отозвалось...

Въ январѣ 1837 году, произошла дуэль и послѣдовала смерть Пушкина. Извѣстно, что эти событія произвели въ Петербургѣ чрезвычайное впечатлѣніе и показали всю мѣру глубокаго чувства, которое питало общество къ великому поэту. Молодая часть публики была всего больше взволнована и поражена, и на Лермонтова несчастное событіе подѣйствовало очень сильно. Подъ первымъ же впечатлѣніемъ онъ высказалъ общественное раздраженіе въ извѣстномъ стихотвореніи на смерть Пушкина, которое отражало чувства всей лучшей части общества и быстро распространилось во множествѣ списковъ. Но среди высшаго петербургскаго общества было много людей, которые очень холодно относились къ Пушкину, винили его самого и оправдывали Дантеса. Лермонтова всѣ эти толки глубоко возмущали. Въ этомъ настроеніи онъ встрѣтился съ однимъ изъ своихъ родственниковъ, который сталъ защищать Дантеса; они горячо поспорили, и взволнованный Лермонтовъ тутъ же набросалъ 16 заключительныхъ строкъ своего стихотворенія, которыя также быстро распространились въ публикѣ и дѣло приняло скорѣе оборотъ, опасный для Лермонтова. Послѣдній обратился за содѣйствіемъ къ А. Н. Муравьеву. «Лермонтовъ просилъ меня поговорить въ его пользу Мордвинову, и на другой день я поѣхалъ къ моему родичу. Мордвиновъ былъ очень занятъ и не въ духѣ. «Ты всегда съ старыми вѣстями — сказалъ онъ — я давно читалъ эти стихи графу Бенкендорфу, и мы не нашли въ нихъ ничего предосудительнаго». Обрадовавшись такою вѣстью, я поспѣшилъ къ Лермонтову, чтобы его успокоить, и не заставъ дома, написалъ ему отъ слова до слова то, что сказалъ мнѣ Мордвиновъ. Когда же возвратился домой, нашелъ у себя его записку, въ которой онъ опять просилъ моего заступленія, потому что ему грозитъ опасность. Долго ожидая меня, написалъ онъ на томъ же листѣ чудные свои стихи «Вѣтка Палестины», которые по внезапному вдохновенію у него исторглись въ моей

образной, при видѣ палестинскихъ пальмъ, принесенныхъ мною съ востока... Каково было мое изумленіе вечеромъ, когда флигель-адъютантъ Столыпинъ сообщилъ мнѣ, что Лермонтовъ уже подѣ арестомъ». По другимъ рассказамъ, такой поворотъ дѣла объясняется слѣдующимъ образомъ. Заключительные стихи озлобили противъ Лермонтова людей, которые узнавали себя въ этихъ стихахъ, и гр. Бенкендорфъ, когда въ обществѣ ему заговорила о нихъ одна озлобленная старуха-сплетница изъ высшаго круга, счелъ нужнымъ доложить о нихъ императору. Вслѣдствіе доклада, начальнику гвардейскаго штаба Веймарну велѣно было произвести обыскъ у Лермонтова въ Царскомъ Селѣ, гдѣ стоялъ лейбъ-гусарскій полкъ; но въ Царскомъ Селѣ Лермонтова не оказалось, потому что онъ жилъ обыкновенно въ Петербургѣ. Наконецъ, онъ былъ арестованъ и бумаги его задержаны; въ заключеніе же состоялся приказъ, по которому Лермонтовъ переведенъ былъ прапорщикомъ въ нижегородскій драгунскій полкъ на Кавказъ.

«Ссылка Лермонтова на Кавказъ, говоритъ А. Н. Муравьевъ, надѣлала много шума; на него смотрѣли какъ на жертву и это быстро возвысило его поэтическую славу. Съ жадностію читали его стихи съ Кавказа, который послужилъ для него источникомъ вдохновенія». Въ немъ начинали видѣть преемника Пушкина. Но съ другой стороны, за Лермонтовымъ стала утверждаться репутація «безпокойнаго человѣка»; власти повидимому съ этихъ поръ его не взлюбили, какъ человѣка, у котораго молодая пылкость не ограничивалась только взбалмошными подвигами, на которые тогдашнія начальства смотрѣли вообще сквозь пальцы, но была способна на смѣлую мысль и независимое общественное чувство.

Въ первое время послѣ ссылки на Кавказъ, имя Лермонтова стало опаснымъ, и одно изъ превосходнѣйшихъ произведеній его, Пѣсня о Калашниковѣ, было напечатано только благодаря особому заступничеству Жуковского, который былъ въ восторгѣ отъ стихотворенія и далъ г. Краевскому письмо къ министру народнаго просвѣщенія. Уваровъ разрѣшилъ печатаніе на сво-

ей отвѣтственности, не позволивъ однако поставить имени Лермонтова, которое было замѣнено начальными буквами.

Ссылка однако была непродолжительна: 28 февраля 1837 г. Лермонтовъ былъ переведенъ въ Нижегородскій драгунскій полкъ прапорщикомъ, но уже въ началѣ 1838 года, вслѣдствіе хлопотъ своей бабушки, былъ возвращенъ въ гвардію, сначала въ гродненскій гусарскій полкъ, а съ 9 апрѣля въ тотъ, гдѣ служилъ прежде. Вернувшись съ Кавказа, онъ имѣлъ, кажется, серьезное намѣреніе оставить службу, тѣмъ болѣе, что высшее начальство не было расположено къ нему; но родные старались удержать его отъ этого. Оставшись на службѣ, онъ велъ жизнь чрезвычайно разсѣянную, слишкомъ свѣтскую, слишкомъ пустую.

О литературныхъ отношеніяхъ его за это время неизвѣстно ничего опредѣленнаго; близкихъ отношеній этого рода у него было вѣроятно очень мало, потому ли что онъ, какъ и Пушкинъ, желалъ слыть за свѣтскаго человѣка и не любилъ, когда на него смотрѣли какъ на литератора, или потому что предпочиталъ свою офицерскую компанію съ ея препровожденіемъ времени, или наконецъ потому что и въ своихъ литературныхъ отношеніяхъ не измѣнялъ своей обыкновенной манерѣ, т. е. не сближался съ литературнымъ кругомъ, отчасти изъ нѣскольکو высокоумнаго чувства независимости, которое мѣшало ему высказываться, отчасти увлекаясь тономъ своего товарищества, довольно беззаботнаго на счетъ литературы...

Въ февралѣ 1840 года произошла дуэль Лермонтова съ Барантомъ, сыномъ извѣстнаго историка и французскаго посланника при русскомъ дворѣ. Столкновеніе, поведшее къ дуэли, произошло на балѣ у графини Ляваль, гдѣ Лермонтовъ былъ вызванъ Барантомъ за какія-то имъ будто сказанныя слова, въ которыхъ не хотѣлъ извиниться. Дуэль была сначала на шпагахъ, потомъ на пистолетахъ и кончилась для Лермонтова небольшою царапиной; самъ онъ выстрѣлилъ на воздухъ.

Началось разслѣдованіе, во время котораго Лермонтовъ былъ арестованъ въ ордонансъ-гаузѣ, потомъ на арсенальной

гаупвахтѣ [на Литейной]. На слѣдствіи Лермонтовъ показалъ, и секундантъ его подтвердилъ, что на дуэли онъ сдѣлалъ свой выстрѣлъ всторону—обстоятельство, которое могло имѣть вліяніе на мѣру взысканія, и было справедливо. Между тѣмъ Барантъ, услышавъ объ этомъ объясненіи, изъ котораго слѣдовало, что онъ не потерпѣлъ на дуэли только по великодушію Лермонтова, выражалъ свое неудовольствіе этимъ показаніемъ. Лермонтовъ, услышавъ объ этомъ, пригласилъ Баранта, черезъ своего пріятеля, повидаться съ нимъ на гауптвахтѣ. Онъ успѣлъ тайкомъ устроить это свиданіе, и подтвердилъ при этомъ Баранту справедливость своего показанія и, если тотъ былъ этимъ недоволенъ, предложилъ ему другую дуэль по окончаніи своего ареста, за границу, куда хотѣлъ ѣхать съ наступленіемъ весны. Барантъ удовольствовался объясненіемъ; но Лермонтову это свиданіе было также поставлено въ вину при разборѣ дѣла, которое прошло нѣсколько инстанцій различныхъ военныхъ начальствъ, опредѣлявшихъ болѣе или менѣе строгія наказанія, но по высочайшей резолюціи 13 апрѣля Лермонтовъ былъ переведенъ тѣмъ же чиномъ въ тенгинскій пѣхотный полкъ.

Прибывъ на Кавказъ къ мѣсту своего назначенія, Лермонтовъ отправился въ горы, въ экспедицію противъ чеченцевъ. Въ дѣлахъ противъ горцевъ онъ участвовалъ и прежде: въ 1837 году онъ находился въ экспедиціи за Кубанью, подъ начальствомъ генерала Вельяминова. Къ этой новой экспедиціи 1840 года, въ которой Лермонтовъ принималъ участіе, относится сраженіе подъ Валерикомъ, описанное въ poemѣ этого названія.

Въ концѣ 1840 года ему разрѣшено было пріѣхать на нѣсколько мѣсяцевъ въ Петербургъ. Весной 1841 г., передъ послѣднимъ отъѣздомъ на Кавказъ, онъ пробылъ нѣсколько времени въ Москвѣ. Къ этому времени относится знакомство съ нимъ Боденштедта, который сталъ впослѣдствіи переводчикомъ его стихотвореній на нѣмецкій языкъ и оставилъ о немъ любопытныя воспоминанія. Въ апрѣлѣ 1841 г. Лермонтовъ отправился въ послѣдній путь на Кавказъ, съ своимъ родственникомъ и давнишнимъ пріателемъ Столыпинымъ.

По приѣздѣ на Кавказъ, онъ взялъ отпускъ по болѣзни и поселился въ Пятигорскѣ. Здѣсь у него составился кружокъ близкихъ пріятелей, гдѣ кромѣ Столыпина, были М. П. Глѣбовъ, С. В. Трубецкой, кн. А. И. Васильчиковъ, который и прежде былъ нѣсколько знакомъ съ Лермонтовымъ.

Въ объясненіе характера поэта, какъ онъ образовался къ этому времени, кн. Васильчиковъ рассказываетъ слѣдующее: «Въ Лермонтовѣ было два человѣка: одинъ добродушный для небольшого кружка ближайшихъ своихъ друзей и для тѣхъ немногихъ лицъ, къ которымъ онъ имѣлъ особенное уваженіе, другой—заносчивый и задорный для всѣхъ прочихъ его знакомыхъ. Къ этому первому разряду принадлежали въ послѣднее время его жизни прежде всѣхъ Столыпинъ [прозванный имъ же Монго], Глѣбовъ, бывший его товарищъ по гусарскому полку, впоследствии тоже убитый на дуэли кн. Алекс. Ник. Долгорукій, декабристъ М. А. Назимовъ, и нѣсколько другихъ ближайшихъ его товарищей. Ко второму разряду принадлежалъ по его понятіямъ весь родъ человѣческій, и онъ считалъ лучшимъ своимъ удовольствіемъ подтрунивать надъ всякими мелкими и крупными странностями, преслѣдуя ихъ иногда шутивными, а весьма часто и язвительными насмѣшками».—Но кромѣ того, Лермонтовъ, по словамъ кн. Васильчикова, «былъ шалунъ въ полномъ ребяческомъ смыслѣ слова, и день его раздѣлялся на двѣ половины между серьезными занятіями и чтеніемъ, и такими шалостями, какія могутъ придти въ голову развѣ только 15-лѣтнему школьному мальчику».... И авторъ приводитъ нѣсколько подобныхъ анекдотовъ, гдѣ дѣйствительно была совершенно невинная шутка.

Какъ и многое въ біографіи Лермонтова, послѣдняя дуэль его еще не разъяснена вполне. Изъ напечатанныхъ рассказовъ и данныхъ военно-суднаго дѣла извѣстно въ общихъ чертахъ, что причиной дуэли была ссора Лермонтова съ отставнымъ майоромъ Мартыновымъ, однимъ изъ его знакомыхъ; по опредѣлительныхъ свѣдѣній о томъ что именно послужило предметомъ ссоры, кто изъ двухъ былъ неправъ, до сихъ поръ напе-

чато еще не было. Когда лѣтъ десять тому назадъ снова заговорили объ этой дуэли, то Мартыновъ, не смотря на двукратное приглашеніе печати, отказался высказаться; а кн. Васильчиковъ, на котораго онъ сослался, какъ на одного изъ ближайшихъ свидѣтелей дѣла, дѣйствительно напечаталъ защитительную статью въ пользу Мартынова. Но... оказалось, что хотя авторъ и былъ «ближайшимъ свидѣтелемъ дѣла», но «ближайшихъ поводовъ» къ дѣлу вовсе не зналъ и статья кн. Васильчикова все-таки ничего не разъяснила, а Мартыновъ такъ и умеръ (въ февралѣ 1876 г.), не сдѣлавъ ни какого заявленія.

Разсказываютъ, что живя въ Пятигорскѣ, Лермонтовъ встрѣчался съ Мартыновымъ въ домѣ генеральши Верзилиной, которая жила тамъ, во время минеральнаго сезона, съ тремя дочерьми. Въ ихъ домѣ собиралась военная молодежь изъ посѣтителей водъ. На одномъ изъ вечеровъ, Лермонтовъ, вообще не сдерживавшій своего остроумія, сказалъ какую-то шутку, болѣе или менѣе острую, на счетъ Мартынова, въ присутствіи дамъ. Это было уже не въ первый разъ, и Мартыновъ, какъ говорятъ, предупредилъ Лермонтова, что эти шутки ему не нравятся. По разсказу кн. Васильчикова, другіе, въ томъ числѣ и онъ, не разслышали, что сказалъ Лермонтовъ; но выходя изъ дома на улицу, Мартыновъ, по словамъ кн. Васильчикова, подошелъ къ Лермонтову и сказалъ ему очень тихимъ и ровнымъ голосомъ по французски: «вы знаете, Лермонтовъ, что я очень часто терпѣлъ ваши шутки, но не люблю, чтобы ихъ повторяли при дамахъ», на что Лермонтовъ такимъ же спокойнымъ тономъ отвѣчалъ: «а если не любите, то потребуйте у меня удовлетворенія», и затѣмъ между ними ничего больше не было ни въ этотъ вечеръ, ни въ послѣдующіе дни. Кн. Васильчиковъ увѣряетъ, что ближайшіе друзья Лермонтова считали эту ссору совершенно пустою и ничтожною, и до послѣдней минуты думали, что она кончится примиреніемъ.

По другому же разсказу, въ ссорѣ было замѣшано личное соперничество. Одна изъ дочерей г-жи Верзилиной, большая красавица, интересовала будто бы обоихъ, кокетничала съ Лермон-

товымъ, но отдавала предпочтеніе Мартынову. Онъ, какъ говорить, «выдѣлялся изъ круга молодежи тѣми физическими достоинствами, которыя такъ нравятся женщинамъ, а именно: высокимъ ростомъ, выразительными чертами лица и стройностью фигуры; носилъ бѣлый шелковый бешметъ и суконную черкеску, рукава которой любилъ засучивать; взглядъ его былъ смѣлъ; вся фигура, манеры и жесты полны были удали и молодечества, а можетъ быть и простаго нахальства. Нисколько не удивительно, если Лермонтовъ, при всемъ дружественномъ къ нему расположеніи, всей силой своего сарказма нещадно бичевалъ его невыносимую заносчивость... Мартыновъ, говорятъ, долго искалъ случая придраться къ Лермонтову—и случай выпалъ: сказанная послѣднимъ на роковомъ вечерѣ у Ворзилиныхъ острота, по поводу пристрастія Мартынова къ засученнымъ рукавамъ, была признана имъ за *casus belli*».

Въ своемъ показаніи на судѣ, Мартыновъ говорилъ, что еще недѣли за три, онъ высказалъ Лермонтову, какъ непріятны ему шутки и насмѣшки. «При выходѣ изъ того дома, онъ удержалъ Лермонтова за руку и пошелъ съ нимъ рядомъ; тутъ онъ сказалъ Лермонтову, что уже просилъ его прекратить эти несносныя шутки и теперь предупреждаетъ, что если онъ еще разъ вздумаетъ выбрать его предметомъ своей остроты, то онъ, Мартыновъ, заставитъ его перестать. Лермонтовъ, не давъ ему кончить, сказалъ, что ему тонъ этой проповѣди не нравится, что Мартыновъ не можетъ запретить ему говорить про него то, что онъ хочетъ, и, въ заключеніе, сказалъ: «вмѣсто пустыхъ угрозъ ты гораздо бы лучше сдѣлалъ, если бы дѣйствовалъ; ты знаешь, что я отъ дуэли никогда не отказываюсь, слѣдовательно ты никого этимъ не испугаешь.» Въ это время оба они подошли къ дому Лермонтова, и Мартыновъ сказалъ ему, что въ такомъ случаѣ пришлетъ къ нему своего секунданта.

Всѣ усилія помирить противниковъ остались напрасны и дуэль произошла черезъ два дня, 15 іюля. Она была назначена въ 6¹/₂ часовъ вечера. Барьеръ былъ отмѣренъ въ 15 шаговъ и отъ него въ обѣ стороны еще по 10 шаговъ. Мартыновъ и Лер-

монтовъ стали на крайнихъ точкахъ. По условію дуэли, каждый изъ нихъ имѣлъ право стрѣлять, когда ему вздумается, стоя на мѣстѣ или подходя къ барьеру. Когда секунданты скомандовали сходиться, Лермонтовъ остался неподвиженъ и, взведя курокъ, поднялъ пистолетъ дуломъ вверхъ, Мартыновъ же быстрыми шагами подошелъ къ барьеру и, по словамъ кн. Васильчикова, такъ долго цѣлился, что секунданты закричали ему: «стрѣляйте! или мы васъ разведемъ». Мартыновъ выстрѣлилъ — Лермонтовъ упалъ мертвымъ, какъ будто его скосило на мѣстѣ, пуля ударила въ правый бокъ на вылетъ.

Послѣ дуэли, рассказываютъ по мѣстнымъ преданіямъ, Глѣбовъ явился къ пятигорскому коменданту, чтобы рассказать ему о происшествіи. Онъ сначала совершенно растерялся, но наконецъ приказалъ арестовать Мартынова; а тѣло было отвезено на квартиру и тамъ было подвергнуто медицинскому свидѣтельству. По разсказу же кн. Васильчикова, Глѣбовъ оставался при убитомъ, а кн. Васильчиковъ поѣхалъ въ городъ за докторомъ и ни одного не могъ добыть — всѣ ссылались на дурную погоду. Мартыновъ самъ съ мѣста дуэли отправился къ коменданту, объявить о случившемся.

Пятигорское духовенство сначала затруднялось относительно погребенія Лермонтова по христіанскому обряду, какъ говорить, потому что нѣсколько вліятельныхъ личностей, находившихся тогда въ Пятигорскѣ и не любившихъ Лермонтова за его злой языкъ, внушали, что убитый на дуэли тотъ же самоубійца и что едва ли высшее начальство взглянетъ благопріятно на похороны такого человѣка.

Рассказываютъ также, что когда въ день дуэли позднимъ вечеромъ привезли тѣло Лермонтова на квартиру, домъ и дворъ переполнились народомъ; было слышно даже нѣсколько такихъ озлобленныхъ голосовъ противъ Мартынова, что не будь онъ арестованъ, ему грозила бы опасность. Это чувство раздѣлялъ и А. П. Ермоловъ, который много лѣтъ спустя, говорилъ Погодину, что отправилъ бы Мартынова въ экспедицію и по часамъ рассчиталъ бы, сколько ему осталось жить.

Лермонтовъ былъ похороненъ на кладбищѣ въ Пятигорскѣ, но черезъ нѣсколько мѣсяцевъ гробъ его перевезенъ былъ въ деревню Тарханы [Пензенской губ.], гдѣ и былъ воздвигнутъ ему памятникъ. Мѣсто его временнаго погребенія на пятигорскомъ кладбищѣ забыто; кажется, оно отошло подъ выстроенную впослѣдствіи церковь; камень, лежавшій на этой могилѣ, также исчезъ.

Имуществу, оставшемуся послѣ Лермонтова, сдѣлана была опись. Оно было взято другомъ и родственникомъ поэта А. А. Столыпинымъ и передано его бабушкѣ. Въ этой описи упомянуты слѣдующія бумаги Лермонтова: «собственныхъ сочиненій покойнаго на разныхъ лоскуткахъ бумаги, кусковъ—7; писемъ разныхъ лицъ и отъ родныхъ—17; книга на черновыя сочиненія, подаренная покойному княземъ Одоевскимъ въ кожаномъ переплетѣ—1, и карманная книжка маленькая—1».

Извѣстіе о смерти Лермонтова было тогда сообщено въ формѣ такого свѣдѣнія изъ Пятигорска: «15 іюля, около 5-ти часовъ вечера, разразилась ужасная буря съ молніею и громомъ: въ это самое время, между горами Машукою и Бештау, скончался лечившійся въ Пятигорскѣ М. Ю. Лермонтовъ».

Въ заключеніе мы помѣщаемъ, въ сокращенномъ изложеніи М. Л. М—ва, лучшую до сихъ поръ характеристику Лермонтова, сдѣланную Боденштедтомъ и далеко оставляющую за собою всѣ позднѣйшія характеристики лже-друзей Лермонтова, которые мѣрили поэта своей личной, ничтожной мѣркою:

Немногіе поэты сьумѣли, подобно Лермонтову, остаться во всѣхъ обстоятельствахъ жизни вѣрными искусству и самимъ себѣ. Выросшій среди общества, гдѣ лицемеріе и ложь считаются признаками хорошаго тона, Лермонтовъ, до послѣдняго вздоха, остался чуждъ всякой лжи и притворства.—Не смотря на то, что онъ много потерпѣлъ отъ ложныхъ друзей, и что тревожная кочевая жизнь не разъ вырывала его изъ объятій истинной дружбы, онъ оставался неизмѣнно вѣренъ своимъ друзьямъ, и въ счастіи, и въ несчастіи;—но за то былъ непримиримъ въ

ненависти. А онъ имѣлъ право ненавидѣть; имѣлъ его болѣе, нежели кто либо.—Что внутренно возвышало его, было орудіемъ противъ него извѣтъ. Но онъ не переставалъ чтить Бога, жившаго въ его сердцѣ.... Оскорбленный въ томъ, что казалось ему святымъ; въ разладѣ со всѣмъ окружающимъ; преслѣдуемый, когда начиналъ говорить; подозрѣваемый, когда молчалъ; окруженный со всѣхъ сторонъ непріязнью, и неспособный подавлять надолго свои мысли и чувства, онъ могъ исполнѣть и беззавѣтно довѣряться только поэзіи. Она утѣшала и вознаграждала его за житейскія разочарованія и лишенія. — Онъ былъ счастливъ только, когда творилъ; а творить онъ могъ только въ минуты вдохновенія—что бы ни вдохновляло его: радость, горе, негодованіе, отчаяніе, или гордое сознаніе своей силы. Но безъ этого побужденія, безъ истиннаго душевнаго порыва, онъ никогда не бросался въ объятія музыки,—такъ что всѣ его произведенія могутъ назваться написанными на случай, *Gelegenheits-Gedichte*—въ томъ смыслѣ, какой придавалъ этому названію Гёте. — Неопредѣленные, заоблачные сны фантазіи были ему совершенно чужды; куда ни обращалъ онъ глаза, къ небу ли, или къ аду, онъ всегда отыскивалъ прежде твердую точку опоры на землѣ.—Вотъ этимъ-то свойствомъ, да кромѣ того тѣмъ, что Лермонтовъ въ совершенствѣ владѣлъ языкомъ и былъ одаренъ тонкою наблюдательностью, объясняется необыкновенная вѣрность, точность и жизненная свѣжесть его изображеній въ эпическихъ стихотвореніяхъ. Тою же самою художественною правдою проникнуты и его лирическія изліянія, всегда служащія вѣрнымъ отраженіемъ настроенія его души. Вдохновеніе врывалось внезапно, какъ солнечный лучъ, въ его мрачную жизнь, соединяло въ одномъ фокусѣ и мысль его и чувство, и вспыхивали чудные стихи.—Это приближеніе вдохновенія, отраду этихъ минутъ, и облегченіе, слѣдующее за ними, онъ перѣдко выражалъ въ своихъ стихахъ, такъ напримѣръ, въ началѣ «Измаиль-Бея», онъ говоритъ:

Опять явился вдохновенъ
Душѣ безжизненной моей,

И превращаетъ въ гѣсногѣнье
Тоску, развалину страстей....

Итакъ, если подводить Лермонтова подъ литературную классификацію, то по всему сказанному, его слѣдуетъ причислить къ субъективнымъ поэтамъ, такъ какъ главнымъ содержаніемъ всѣхъ его поэтическихъ созданий—его собственная нравственная личность и, за немногими исключеніями, даже тамъ, гдѣ онъ изображаетъ постороннія лица и обстоятельства, повсюду легко узнать его собственные мысли и чувства. Впрочемъ, въ отношеніи Лермонтова, слово «субъективный» въ школьномъ значеніи, какое придаютъ ему наши эстетики, вовсе не можетъ служить окончательнымъ опредѣленіемъ. Хотя онъ и выдавалъ вполне самого себя въ своихъ лирическихъ стихотвореніяхъ, со всѣми темными и свѣтлыми сторонами своего характера, хотя и изображалъ, въ своихъ повѣствовательныхъ произведеніяхъ, большую часть такихъ героевъ, которыхъ могъ надѣлать своими собственными мыслями и чувствами, какъ напримѣръ въ «Мцыри», въ «Измаилъ-Бей» и частію въ «Демонъ» — но довольно уже одной его «Пѣсни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», что бы убѣдиться, въ какой степени Лермонтовъ могъ быть и поэтомъ объективнымъ. — Къ сожалѣнію, въ бурной и короткой жизни его было ему для этого слишкомъ мало времени и покоя. — Онъ никогда впрочемъ не могъ противостоять своимъ художественнымъ порывамъ и стремленіямъ, точно также, какъ никогда не могъ подавлять своего справедливаго негодованія и скрывать свои воззрѣнія на жизнь и людей, развитія въ немъ его судьбою и не находившія сочувствія. Все это естественно привело его къ тому смѣшанному роду поэзіи, гдѣ эпическое и лирическое, шутка и серьезное, дѣйствіе и рефлексія, античное чувство изящнаго и разорванность и ѣдкая иронія современнаго человѣка — идутъ рука объ руку; тотъ родъ поэзіи, первымъ верховнымъ жрецомъ котораго былъ Байронъ....

Много было говорено о вліяніи Байрона на Лермонтова. Отрицать это вліяніе невозможно; оно отразилось не только на Лер-

монтовъ, но уже и на великомъ предшественникъ его, Пушкинѣ, какъ и вообще на всей новѣйшей славянской поэзіи. — Одинъ русскій критикъ очень мѣтко говоритъ по этому поводу: «Близкое знакомство съ сильною симпатическою натурой не можетъ не произвести на насъ впечатлѣнія и не сдѣлать насъ зрѣлѣе. Одно уже подтвержденіе того, что живетъ въ нашемъ сердцѣ, дорогою для насъ личностью, сообщаетъ намъ болѣе силы, болѣе увѣренности. Но отъ этого вліянія, отъ этого естественнаго воздѣйствія одного великаго поэта на другаго до подражанія — цѣлая бездна».

Въ Лермонтовѣ демоническій элементъ поэзіи объясняется естественнѣе, нежели въ Байронѣ.... Байрону предстояло бороться только съ тою ложью, съ тѣмъ лицемеріемъ, надъ которыми плакали мудрецы и пророки всѣхъ странъ и временъ. Онъ могъ громко возвышать противъ нихъ свой голосъ; могъ бороться съ безуміемъ, срывать личину съ лицемерія, и поражать ложь острымъ мечемъ истины. — Но Лермонтовъ, со своимъ врожденнымъ стремленіемъ къ прекрасному, которое безъ добра и истины не можетъ существовать, очутился совершенно одинъ въ чуждомъ его мірѣ.... Окружавшіе его люди не понимали его или не смѣли понимать и, такимъ образомъ, онъ находился въ постоянной опасности ошибиться въ самомъ себѣ, или въ человечествѣ....

Случайности жизни Лермонтова не должны быть упускаемы изъ вида при точной оцѣнкѣ его произведеній. Ими многое объясняется и многое оправдывается. Поэтический стонъ подѣ влияніемъ обстоятельствъ производить на насъ совсѣмъ иное впечатлѣніе, нежели бьющая на эффектъ зѣвота, скучающаго рифмача, или чувствительныя лебединыя пѣсни плаксивыхъ ханжей.

Не спорю, что въ сильныхъ строфахъ Лермонтова звучать, по временамъ, диссонансы; что не одно жесткое слово, не одинъ рѣзкій образъ могли бы быть выпущены изъ нихъ. Но гдѣ же такой садъ поэзіи, гдѣ не росло бы сорныхъ травъ?

Справедливость требуетъ замѣтить, что случайные недостатки стиховъ Лермонтова рѣдко могутъ быть поставлены въ

упрекъ самому поэту, потому что и въ свѣтлыя, и въ мрачныя минуты вдохновенія, онъ искалъ только словъ, чтобы излить его, вовсе не думая выходить съ нимъ на судъ публики.

У него изъ глубины души вылились стихи:

«... Кто съ гордою душою
Родился, тотъ не требуетъ вѣнца:
Любовь и пѣсни—вотъ вся жизнь пѣвца;
Безъ нихъ она пуста, бѣдна, уныла.
Какъ небеса безъ тучъ и безъ свѣтила!»

Самъ Лермонтовъ издалъ, какъ извѣстно, относительно лишь самую малую часть своихъ произведеній, да и тѣ были, можно сказать, вырваны у него его друзьями, чтобы попасть въ печать. Всѣхъ причинъ этого упрямства никто не могъ бы объяснить...

Постоянныя неудачи въ жизни производятъ совершенно различное дѣйствіе на твердые и на слабые характеры:

...Такъ тяжкій млатъ,
Дробя стекло, куетъ булатъ.

Характеръ Лермонтова былъ самаго крѣпкаго закала, и чѣмъ грознѣе падали на него удары судьбы, тѣмъ болѣе становился онъ твердымъ. — Онъ не могъ противостоять преслѣдовавшей его судьбѣ; но въ то же время не хотѣлъ ей покориться. Онъ былъ слишкомъ слабъ, чтобы одолѣть ее; но и слишкомъ гордъ, чтобы позволить одолѣть себя. — Вотъ причина того пылакаго негодованія, того бурнаго безпокойства во многихъ стихотвореніяхъ его, въ которыхъ отражаются—какъ въ кипящемъ подъ грозою морѣ, при свѣтѣ молній — и небо, и земля. — Вотъ причина также и его раздражительности и жолчи, которыми онъ, въ своей жизни, часто отталкивалъ отъ себя лучшихъ друзей и давалъ поводъ къ дуэлямъ. Первая изъ этихъ дуэлей привела его къ долгому заточенію, а послѣдняя къ преждевременной смерти.

Не берусь рѣшить, что именно подадо поводъ къ этой послѣдней дуэли; неосторожныя ли остроты и шутки Лермонтова, какъ говорятъ нѣкоторые, вызвали ее, или, какъ утверждаютъ другіе, то ли, что противникъ его принялъ на свой счетъ нѣ-

которые намеки въ романѣ «Герой нашего времени», и оскорбился ими, какъ касавшимися притомъ и его семейства. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ слышалъ я эту исторію отъ секунданта Лермонтова, г. Глѣбова, который и закрылъ глаза своему убитому другу.

Очень вѣроятно, что Лермонтовъ, обрисовавшій себя немножко яркими красками въ главномъ героѣ этого романа, списалъ съ натуры и другихъ дѣйствующихъ лицъ, такъ что прототипамъ ихъ не трудно было узнать себя.

Книга написана прекрасною прозою, полна глубокой мысли и представляетъ превосходный комментарий къ стихамъ «Думы»:

Печально я гляжу на наше поколѣнье:

Его грядущее иль пусто, иль темно.

Въ концѣ этого романа описывается дуэль, въ которой тотъ, кому первому предстоитъ подвергнуться выстрѣлу противника, долженъ стать на краю обрыва, чтобы, въ случаѣ раны, немедленно упасть туда на вѣрную смерть: по странному сближенію, почти точно такимъ же образомъ умеръ впослѣдствіи самъ Лермонтовъ.—Это поразительное сходство положеній объясняется тѣмъ, что Лермонтовъ былъ по убѣжденію отъявленнымъ врагомъ дуэли; но единожды доведенный до нея, не могъ уже сдѣлать изъ нея дѣтской шутки, или рисковать подвергнуться одному увѣчью. По этому онъ и принялъ такія мѣры, чтобы одинъ изъ двухъ неизбежно остался на мѣстѣ. — У него была твердость заклеить дуэль, какъ отвратительнѣйшее порожденіе человѣческой глупости, но не достало твердости отказаться отъ этой глупости. Онъ ея не искалъ, но и не уклонился отъ нея, отъ этой «отваги дерзости слѣпой». Онъ предпочелъ впрочемъ сознательно выказывать такую слѣпую дерзость, чѣмъ отстраниться отъ мнѣній и толковъ людей, которыхъ презиралъ отъ всей души. Въ его жизни было много подобныхъ странностей, но всѣ онѣ истекаютъ изъ одного источника—изъ его страданій и, болѣею частію, могутъ быть оправданы ими.

Невозможно, чтобы человѣкъ, при подобныхъ обстоятельствахъ, не сбивался иногда съ дороги. Проницательный умъ

указываетъ мудрецу людскія глупости, но не всегда предостерегаетъ его отъ нихъ, и не можетъ совершенно уберечь его отъ вліяній окружающей среды.

Произнося судъ надъ умомъ, выходящимъ изъ ряда обыкновенныхъ умовъ, слѣдуетъ брать мѣриломъ не то, что въ немъ есть общаго съ толпою, которая стоитъ ниже его, а то, что отличаетъ его отъ этой толпы и возвышаетъ надъ нею.

Недостатки Лермонтова были недостатками всего свѣтскаго молодаго поколѣнія въ Россіи; но достоинствъ его не было ни у кого. Вѣрнѣйшее изображеніе его личности все-таки останется намъ въ его произведеніяхъ, гдѣ онъ выказывается вполне такимъ, какимъ былъ, тогда какъ въ жизни онъ былъ лишь тѣмъ, чѣмъ хотѣлъ казаться. Не надо понимать этого въ дурномъ смыслѣ: если Лермонтовъ и надѣвалъ маску, то надѣвалъ не съ злымъ намѣреніемъ. Онъ былъ несчастливъ, но слишкомъ гордъ, чтобы выказывать свое несчастье—и потому пряталъ свои страданія подъ личиною веселости, и самыя ѣдкия остроты его отзываются солью слезъ:

«Klagt nicht ob meinen Leiden
In diesen Kerkermauern—
Ich lasse euch eure Freuden
Und schenke euch euer Bedauern!» *

Чтобы дать хотя слабое понятіе о томъ впечатлѣніи, какое производила личность Лермонтова, я хочу рассказать о моихъ первыхъ встрѣчахъ съ нимъ, на сколько онѣ сохранились у меня въ памяти. Къ сожалѣнію, мнѣ рѣдко удавалось вести правильный дневникъ во время моего пребыванія въ Россіи; не удавалось въ первыхъ потому, что я пишу кропотливо и тяжело, и мнѣ нужно не мало досуга для собранія во-едино своихъ впечатлѣній; во вторыхъ потому, что моя—можетъ быть излишняя—осторожность оставляла въ моей записной книжкѣ лишь самую слабую помощь моей памяти, только имена и числа.

* «Не жалѣйте о моихъ страданіяхъ въ этой тюрьмѣ! Я предлагаю вамъ ваши радости, и дарю вамъ ваше состраданіе».

Зимой 1840—41 года, въ Москвѣ, передъ послѣднимъ отъѣздомъ Лермонтова на Кавказъ, случилось мнѣ обѣдать, въ одинъ пасмурный, хотя и праздничный день, съ Павломъ О., очень умнымъ молодымъ русскимъ. Обѣдали мы въ одномъ французскомъ ресторанѣ, который посѣщала въ то время вся знатная московская молодежь. — Во время обѣда къ намъ присоединилось еще нѣсколько знакомыхъ и, между прочимъ, одинъ молодой князь, замѣчательно красивой наружности и довольно ограниченного ума, но большой добрякъ. Онъ позволялъ потѣшаться надъ собою и добродушно сносилъ всѣ остроты, которыя другіе отпускали на его счетъ. — Легкая шутливость, искрящееся остроуміе, быстрая смѣна противоположныхъ предметовъ въ разговорѣ — однимъ словомъ, весь такъ называемый *esprit français*, такъ же свойственъ большей части знатныхъ русскихъ, какъ и французскій языкъ. — Мы были уже за шампанскимъ. Снѣжная пѣна лилась черезъ край стакановъ, и черезъ край лились изъ устъ моихъ собесѣдниковъ то плохія, то мѣткія остроты. Въ то время мнѣ не было еще двадцати двухъ лѣтъ; я былъ свѣжимъ и толстощекииъ, довольно неловкимъ и сентиментальнымъ юношей, и больше слушалъ, чѣмъ говорилъ, и вѣроятно казался нѣсколько страннымъ среди этой блестящей, уже порядочно пожившей молодежи.

— А! Михаилъ Юрьичъ! вскричали двое-трое изъ моихъ собесѣдниковъ при видѣ только что вошедшаго молодаго офицера. Онъ привѣтствовалъ ихъ короткимъ: «здравствуйте», слегка потрепалъ О. по плечу и обратился къ князю со словами: — Ну, какъ поживаешь, умникъ?

У вошедшаго была гордая, непринужденная осанка, средній ростъ и замѣчательная гибкость движеній. Вынимая, при входѣ, носовой платокъ, чтобы обтереть мокрые усы, онъ выпрогнулъ на полъ бумажникъ или сигарочницу и при этомъ нагнулся съ такою ловкостью, какъ будто былъ вовсе безъ костей, хотя плечи и грудь были у него довольно широки. — Гладкіе, бѣлокурые, слегка вьющіеся по обѣимъ сторонамъ волосы оставили совершенно открытымъ необыкновенно высокій лобъ.

Большіе, полные мысли глаза, казалось, вовсе не участвовали въ насмѣшливой улыбкѣ, игравшей на красиво очерченныхъ губахъ молодаго человѣка. — Одѣтъ онъ былъ не въ парадную форму: на шеѣ небрежно повязанъ черннй платокъ; военный сюртукъ не новъ и не доверху застегнутъ, и изъ подъ него видѣлось ослѣпительной свѣжести бѣлье. Эполетъ на немъ не было. — Мы говорили до тѣхъ поръ по французски, и О. представилъ меня на томъ же діалектѣ вошедшему. Обмѣнявшись со мною нѣсколькими бѣглыми фразами, офицеръ сѣлъ съ нами обѣдать. При выборѣ кушаньевъ и въ обращеніи къ прислугѣ, онъ употреблялъ выраженія, которыя въ большомъ ходу у многихъ, чтобъ не сказать у всѣхъ, русскихъ, но которыя въ устахъ новаго гостя непріятно поражали меня. Поражали потому, что гость этотъ былъ — Михаилъ Лермонтовъ. Эти выраженія иностранецъ прежде всего выучиваетъ въ Россіи, потому что слышитъ ихъ повсюду и безпрестанно; но ни одинъ порядочный человѣкъ — кромѣ развѣ грека или турка, у которыхъ у самихъ въ ходу точь въ точь такія выраженія, — не рѣшится написать ихъ въ переводѣ на свой родной языкъ.

Во время обѣда я замѣтилъ, что Лермонтовъ не пряталъ подъ столъ своихъ нѣжныхъ, выхолощенныхъ рукъ. Отвѣдавъ нѣсколькихъ кушаньевъ и осушивъ два стакана вина, онъ сдѣлался очень разговорчивъ и, надо полагать, много острилъ, такъ какъ слова его были нѣсколько разъ прерываемы громкимъ хохотомъ. Къ сожалѣнію, для меня его остроты оставались непонятными; такъ какъ онъ нарочно говорилъ по русски и къ тому же чрезвычайно скоро, а я въ то время недостаточно хорошо понималъ русскій языкъ, чтобы слѣдить за разговоромъ. Я замѣтилъ только, что остроты его часто переходили въ личности; но получивъ раза два мѣткій отпоръ отъ О., онъ разсчелъ за лучшее упражняться только надъ молодымъ княземъ.

Нѣкоторое время тотъ добродушно переносилъ шпильки Лермонтова; но наконецъ и ему уже стало не въ мочь, и онъ съ до-

стоинствомъ умѣрилъ его пылъ, показавъ, что при всей ограниченности ума, сердце у него тамъ же, гдѣ и у другихъ людей.—Казалось, Лермонтовъ искренно огорчилось, что онъ обидѣлъ князя, своего товарища, и онъ всѣми силами старался помириться съ нимъ, въ чемъ скоро и успѣлъ.

Я уже зналъ и любилъ тогда Лермонтова по собранію его стихотвореній, вышедшему въ 1840 г., но въ этотъ вечеръ онъ произвелъ на меня столь невыгодное впечатлѣніе, что у меня пропала всякая охота поближе сойтись съ нимъ. Весь разговоръ, съ самаго его прихода, звенѣлъ у меня ушахъ, какъ будто кто нибудь скребъ по стеклу.—Я никогда не могъ, можетъ быть ко вреду моему, сдѣлать первый шагъ къ сближенію съ задорнымъ человѣкомъ, какое бы онъ ни занималъ мѣсто въ обществѣ; никогда не могъ извинять шалостей знаменитыхъ и гениальныхъ людей, только во имя ихъ знаменитости и гениальности. Я часто убѣждался; что можно быть основательнымъ ученымъ, поэтомъ или писателемъ и въ то же время невнимательнымъ человѣкомъ въ обществѣ. У меня правило основывать мое мнѣніе о людяхъ на первомъ впечатлѣніи; но въ отношеніи Лермонтова мое первое, непріятное впечатлѣніе скорѣе совершенно изгладилось пріятнымъ.

Не далѣе, какъ на слѣдующій же вечеръ, встрѣтивъ снова Лермонтова въ салонѣ г-жи Мятлевой, я увидѣлъ его въ самомъ привлекательномъ свѣтѣ. Лермонтовъ вполнѣ умѣлъ быть милымъ.—Отдавался кому нибудь, онъ отдавался отъ всего сердца; только едва ли это съ нимъ часто случалось. Въ самыхъ близкихъ и прочныхъ дружественныхъ отношеніяхъ находился онъ съ умною графиней Ростопчиною, которой было бы, поэтому, легче нежели кому либо дать вѣрное понятіе о его характерѣ.—Людѣй же, недостаточно знавшихъ его, чтобы извинять его недостатки за его высокія, обаятельныя качества, онъ скорѣе отталкивалъ, нежели привлекалъ къ себѣ, давая слишкомъ много воли своему нѣсколько колкому остроумію. Впрочемъ онъ могъ быть въ то же время кротокъ и нѣженъ какъ ребенокъ, и вообще въ характерѣ его преобладало задум-

чивое, часто грустное настроеніе. — Серьезная мысль была главною чертою его благороднаго лица, какъ и всѣмъ значительнѣйшихъ его твореній, къ которымъ его легкія, шутливыя произведенія относятся, какъ его насмѣшливый, тонко-очерченный ротъ, къ его большимъ, полнымъ думы глазамъ. — Многіе изъ соотечественниковъ Лермонтова раздѣляли съ нимъ его прометеевскую участь, но ни у одного изъ нихъ страданія не вырвали такихъ драгоцѣнныхъ слезъ, которыя служили ему облегченіемъ при жизни и дали ему неуздаемый вѣнокъ по смерти.

Чтобы точнѣе опредѣлить значеніе Лермонтова въ русской и во всемірной литературѣ, слѣдуетъ прежде всего замѣтить, что онъ выше всего тамъ, гдѣ становится наиболѣе народнымъ, и что высшее проявленіе этой народности [какъ «Пѣсня о царѣ Иванѣ Васильевичѣ»] не требуетъ ни малѣйшаго комментарія, чтобы быть понятною для всѣхъ. Это тѣмъ замѣчательнѣе, что описываемые въ ней нравы и частности столь же чужды для не русскихъ, какъ и выбранный поэтомъ стихотворный размѣръ стиха, сдѣлавшійся извѣстнымъ въ Германіи только по нѣкоторымъ моимъ переводнымъ опытамъ, а въ Россіи имѣющій почти то же значеніе, какъ у насъ строфа «Пѣсни о Нибелунгахъ». — Поэма Лермонтова, въ которой видна истиннѣ гомеровская вѣрность, сила и простота, произвела сильнѣйшее впечатлѣніе во многихъ германскихъ городахъ, гдѣ ее читали публично...

Изъ другихъ произведеній Лермонтова, русскіе критики отдаютъ преимущество «Мцыри», котораго и нашъ Робертъ Пруццъ справедливо считаетъ «драгоцѣннымъ перломъ» поэзіи. *

Лермонтовъ имѣетъ то общее съ великими писателями всѣхъ временъ, что творенія его вѣрно отражаютъ его время, со всѣми его дурными и хорошими особенностями, со всею его мудростью и глупостью, и что они имѣли въ виду бороться съ

* Самъ Воденштедтъ отдаетъ преимущество передъ Мцыри — «Измаилъ-Бей».

этими дурными особенностями и съ этою глупостью. — Но нашъ поэтъ отличается отъ своихъ предшественниковъ и современниковъ тѣмъ, что далъ болѣе широкой просторъ въ поэзіи картинамъ природы, и въ этомъ отношеніи онъ стоитъ на недостигаемой высотѣ. — Онъ рѣшилъ своими изображеніями трудную задачу—удовлетворить въ одно и то же время и естествоиспытателя и эстетика. Рисуетъ ли онъ передъ нами исполнскія горы многовершиннаго Кавказа, гдѣ взоръ, подымаясь вверхъ, теряется въ снѣжныхъ облакахъ и, опускаясь внизъ, тонетъ въ безднѣ; или горный потокъ, то клубящійся подъ утесомъ, на которомъ страшно стоятъ дикой козѣ, то свѣтло ниспадающій, «какъ согнутое стекло», въ пропасть, гдѣ сливается съ новыми ручьями и вновь выходитъ на свѣтъ; описываетъ ли онъ намъ горные аулы и лѣса Дагестана, или испещренные цвѣтами долины Грузіи; указываетъ ли намъ на облака, бѣгущія «степью лазурною, цѣпью жемчужною», или на коня, несущагося по синей, безконечной степи; воспѣваетъ ли онъ священную тишину лѣсовъ, или буйный громъ битвы—онъ всегда и во всемъ остается вѣренъ природѣ до малѣйшихъ подробностей. Всѣ эти картины возстаютъ передъ нами въ жизненно-ясныхъ краскахъ, и въ то же время отъ нихъ вѣетъ какою-то таинственною поэтическою прелестью, какъ будто дѣйствительнымъ благоуханіемъ и свѣжестью этихъ горъ, цвѣтовъ, лугомъ и лѣсовъ.

Борьба Мцыри съ тигромъ, кулачный бой на Москвѣ-рѣкѣ, сцены битвы въ «Измаилъ-Бей», картины, въ родѣ «Шумить Аргуна мутною водой» и проч., или «Погасть, блѣднѣя, день осенній» и проч., или такія мѣста, какъ то, когда Хаджи-Абрекъ вскакиваетъ на коня съ окровавленной головой Лейлы:

Послушный конь его, объятый
Внезапно страхомъ неземнымъ,
Храпитъ и пѣнится подъ нимъ;
Щетиной грива; ржетъ и дышетъ,
Грызетъ стальные удила,
Ни словъ, ни повода не слышитъ.
И мчится въ горы какъ стрѣла....

и безчисленное множество других мѣстъ изъ его кавказскихъ стихотвореній—все это высочайшія красоты поэзіи.

Два замѣчательнѣйшихъ ученыхъ новѣйшаго времени — Александръ Гумбольдтъ въ своемъ «Космосѣ» и Христіанъ Эрстедъ въ своемъ разсужденіи объ отношеніи естествознанія къ поэзіи — указываютъ, какъ на настоятельное требованіе нашего времени, на болѣе обширное приложеніе въ области изящнаго современныхъ открытій и изслѣдованій природы. — Гумбольдтъ говоритъ: если такъ называемая «описательная поэзія», какъ отдѣльная и самостоятельная форма искусства, заслуживаетъ справедливаго порицанія, то это еще не значитъ, чтобы такое же порицаніе вызывали серьезныя старанія обобщать, посредствомъ изобразительной силы поэтическаго слова, результаты новѣйшаго, богатаго глубокимъ интересомъ изученія природы. Неужто мы пренебрежемъ средствомъ, которое можетъ представить намъ живую картину отдаленныхъ, другими изслѣдованныхъ странъ, и даже доставить намъ часть того наслажденія, какое находимъ мы въ непосредственномъ созерцаніи природы? Метафора арабовъ, говорящихъ, что лучшее описаніе есть то, которое «превращаетъ слухъ нашъ въ зрѣніе», полна смысла. Наше время страдаетъ несчастною склонностью къ реторической, лишенной содержанія прозѣ, къ пустотѣ такъ называемыхъ чувствительныхъ изліяній, склонностью, обуявшею разомъ, во многихъ странахъ, достойныхъ путешественниковъ и естествоиспытателей. Изображенія природы, повторяю, могутъ оставаться научно-точными и вполне-опредѣленными, не теряя оживляющей ихъ силы изображенія.

Стоитъ прочесть цѣликомъ упомянутыя сочиненія, чтобы убѣдиться, что Лермонтовъ выполнилъ въ своихъ стихотвореніяхъ большую часть того, что эти великіе ученые признаютъ потребностью нашего времени, и чего такъ живо желаютъ. — Пусть назовутъ мнѣ хоть одно изъ множества толстыхъ географическихъ, историческихъ и другихъ сочиненій о Кавказѣ, изъ котораго можно бы живѣе и вѣрнѣе познаться съ характеристическою природою этихъ горъ и ихъ населенія, неже-

ли изъ которой нибудь поэмы Лермонтова, гдѣ мѣсто дѣйствія происходитъ на Кавказѣ....

Поэтическій гений Пушкина выразился въ его зрѣлѣйшихъ произведеніяхъ съ такою мощью и такъ самостоятельно-народно, что молодые поэты не могли не подчиниться его обаятельному вліянію, и оно было тѣмъ сильнѣе, чѣмъ даровитѣе была натура поэта, какъ напримѣръ у Лермонтова.

Лермонтовъ явился достойнымъ послѣдователемъ своего великаго предшественника: онъ сумѣлъ извлечь пользу, для себя и для народа, изъ его богатаго наслѣдства, не впадая въ рабское подражаніе. Онъ выучился у Пушкина простотѣ выраженія и чувству мѣры; онъ подслушалъ у него тайну поэтической формы. Нѣкоторыя изъ его первыхъ лирическихъ стихотвореній, какъ напримѣръ, «Вѣтка Палестины», — невольно напоминаютъ Пушкина; нѣкоторое внѣшнее сходство съ Пушкинымъ представляютъ и два три другихъ стихотворенія, въ особенности «Казначейша». Но противоположности между характерами обоихъ поэтовъ гораздо ярче и опредѣленнѣе этого сходства. Сходство въ нихъ скорѣе случайное, внѣшнее, условное, тогда какъ то, въ чемъ они расходятся, составляетъ самую сущность ихъ личностей. Поэтическія средства у обоихъ были почти одинаковы, точно такъ же, какъ и обстоятельства, при которыхъ они развивались; только самое развитіе было различно.

Обоимъ пришлось дорого заплатить за первые поэтическіе порывы свои. Пушкинъ вернулся изъ изгнанія; Лермонтовъ и умеръ вдали отъ родины.

Пушкинъ сумѣлъ въ послѣдствіи примириться съ людьми и сжиться съ людьми и обстоятельствами, на которыхъ вначалѣ такъ горячо ополчился, которымъ клялся въ непримиримой враждѣ.—Лермонтовъ никогда не могъ и не хотѣлъ дойти до такого примиренія, потому что оно не могло бы быть полнымъ, а половинныхъ мѣръ онъ не терпѣлъ.

Пушкинъ, по словамъ одного русскаго критика, былъ прежде всего художникъ, и огородивъ себя мирный уголокъ, гдѣ бы

онъ могъ спокойно жить съ своимъ искусствомъ, онъ уже не такъ строго смотрѣлъ на все остальное.

У Лермонтова, напротивъ того, искусство и жизнь были нераздѣльны; онъ никогда не могъ отдѣлить художника отъ человека. Вотъ въ чемъ великая между ними разница.

Лермонтова упрекали, будто онъ, въ гордомъ ослѣпленіи, чуждался своей отчизны и не любилъ ея. Онъ отвѣтилъ на это чуднымъ стихотвореніемъ, которое начинается такъ:

Люблю отчизну я, но странною любовью и т. д. (т. I, стр. 184).

Пушкинъ сѣмѣлъ вдохновляться и «славой, купленною кровью», и «полнымъ гордаго довѣрія покоемъ»; онъ воспѣвалъ ихъ въ своихъ стихахъ; и у Лермонтова также есть художественныя картины битвъ, но онъ вдохновлялся ими лишь на столько, на сколько нужно художнику, чтобы что-либо воспроизвести. Его точка зрѣнія выше пушкинской. Онъ оканчиваетъ слѣдующимъ размышленіемъ неподражаемыхъ боевыхъ сценъ въ «Валерикѣ»:

Я думалъ: «жалкій человекъ!
Чего онъ хочетъ?... Небо ясно,
Подъ небомъ мѣста много всѣмъ:
Но безпрестанно и напрасно
Одинъ враждуетъ онъ... зачѣмъ?...»

О томъ, какъ свято чтилъ Лермонтовъ искусство, мы можемъ судить по его пѣснѣ «На смерть Пушкина», по драматической сценѣ: «Журналистъ, читатель и писатель», по превосходнымъ стихотвореніямъ: «Пророкъ», «Поэтъ» и по множеству повсюду разбросанныхъ мыслей. О томъ же, какъ глубоко зналъ онъ сердце человека, какъ вѣрно постигалъ свое время и какъ нераздѣльно слиты были въ немъ поэзія и жизнь, лучше всего свидѣтельствуетъ его полная божественнаго огня «Дума».

1831.

АНГЕЛЪ.

По небу полуночи ангелъ летѣлъ
И тихую пѣсню онъ пѣлъ;
И мѣсяцъ, и звѣзды, и тучи толпой
Внимали той пѣсни святой.

Онъ пѣлъ о блаженствѣ безгрѣшныхъ духовъ
Подъ кущами райскихъ садовъ,
О Богѣ великомъ онъ пѣлъ—и хвала
Его непритворна была.

Онъ душу младую въ объятіяхъ несъ
Для міра печали и слезъ,
И звукъ его пѣсни въ душѣ молодой
Остался безъ словъ, но живой.

И долго на свѣтѣ томилась она,
Желаніемъ чуднымъ полна,
И звуковъ небесъ замѣнить не могли
Ей скучныя пѣсни земли.

1832.

ПАРУСЪ.

Бѣлѣтъ парусъ одинокой
 Въ туманѣ моря голубомъ...
 Что ищетъ онъ въ странѣ далекой?
 Что кинулъ онъ въ краю родномъ?

Играютъ волны; вѣтеръ свищетъ,
 И мачта гнется и скрипитъ...
 Увы! онъ счастья не ищетъ,
 И не отъ счастья бѣжитъ!

Подъ нимъ струя свѣтлѣй лазури,
 Надъ нимъ лучъ солнца золотой;
 А онъ, мятежный, проситъ бури,
 Какъ будто въ буряхъ есть покой!

1836.

РУСАЛКА.

Русалка плыла по рѣкѣ голубой,
 Озаряема полной луной;
 И старалась она доплеснуть до луны
 Серебристую пѣну волны.

И шума и крутятся, колебала рѣка
 Отраженные въ ней облака;
 И пѣла русалка—и звукъ ея словъ
 Долеталъ до крутыхъ береговъ.

И пѣла русалка: «На днѣ у меня
Играетъ мерданіе дня;
Тамъ рыбокъ златя гуляютъ стада,
Тамъ хрустальные есть города.

«И тамъ на подушкѣ изъ яркихъ песковъ,
Подъ тѣнью густыхъ тростниковъ,
Спитъ витязь, добыча ревнивой волны,
Спитъ витязь чужой стороны.

«Разчесывать кольца шелковыхъ кудрей
Мы любимъ во мракѣ ночей,
И въ чело и въ уста мы въ полуденный часъ
Цѣловали красавца не разъ.

«Но къ страстнымъ лобзаньямъ, не знаю зачѣмъ,
Остается онъ кладенъ и нѣмъ;
Онъ спитъ—и склонившись на перси ко мнѣ,
Онъ не дышетъ, не шепчетъ во снѣ!...»

Такъ пѣла русалка надъ синей рѣкой,
Полна непонятной тоской;
И шумно катясь, колебала рѣка
Отраженныя въ ней облака.

ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДІЯ.

[изъ вайрона].

Душа моя мрачна. Скорѣй, пѣвецъ, скорѣй!
Вотъ арфа золотая:
Пускай персты твои, промчавшись по ней,
Пробудятъ въ струнахъ звуки рая.
И если не навѣкъ надежды рокъ унесъ —
Онъ въ груди моей проснётся,

И если есть въ очахъ застывшихъ капли слезъ —
Онѣ растаютъ и прольются.

Пусть будетъ пѣснь твоя дика. Какъ мой вѣнецъ,
Мнѣ тягостны веселья звуки!
Я говорю тебѣ: я слезъ хочу, пѣвецъ,
Иль разорвется грудь отъ муки.
Страданьями была упитана она;
Томилась долго и безмолвно;
И грозный часъ насталъ — теперь она полна,
Какъ кубокъ смерти, яда полный.

ВЪ АЛЬБОМЪ.

[изъ вайрона].

Какъ одинокая гробница
Вниманье путника зоветъ,
Такъ эта блѣдная страница
Пусть милый взоръ твой привлечетъ.

И если послѣ многихъ лѣтъ
Прочтешь ты, какъ мечталъ поэтъ,
И вспомнишь, какъ тебя любилъ онъ,
То думай, что его ужъ нѣтъ,
Что сердце здѣсь похоронилъ онъ.

УМИРАЮЩІЙ ГЛАДІАТОРЪ.

J see before me the gladiator lie...
Byron.

Ликуетъ буйный Римъ... торжественно гремѣть
Рукоплесканьями широкая арена —

А онъ, пронзенный въ грудь, безмолвно онъ лежитъ,
 Во прахѣ и крови скользять его колѣна...
 И молить жалости напрасно мутный взоръ:
 Надменный временщикъ и льстецъ его, сенаторъ,
 Вънчаютъ похвалою побѣду и позоръ...
 Что яростной толпѣ сраженный гладиаторъ?
 Онъ прѣзрѣнъ и забытъ... освистанный актеръ!
 И кровь его течетъ—послѣднія мгновенья
 Мелькаютъ—близокъ часъ... Вотъ лучъ воображенья
 Сверкнулъ въ его душѣ... предъ нимъ шумитъ Дунай...
 И родина цвѣтетъ—свободной жизни край;
 Онъ видитъ кругъ семьи, оставленной для брани,
 Отца, простершаго нѣмѣющія длани,
 Зовущаго къ себѣ опору дряхлыхъ дней...
 Дѣтей играющихъ—возлюбленныхъ дѣтей!
 Всѣ ждутъ его назадъ съ добычею и славой...
 Напрасно: жалкій рабъ, онъ палъ, какъ звѣрь лѣсной,
 Безчувственной толпы минутною забавой...
 «Прости, развратный Римъ!—прости, о край родной!»



ДВА ВЕЛИКАНА.

Въ шапкѣ золота лилаго
 Старый русскій великанъ
 Поджидалъ къ себѣ другаго
 Изъ далекихъ чуждыхъ странъ.

За горами, за долами
 Ужъ гремѣлъ о немъ рассказъ,
 И помѣяться главами
 Захотѣлось имъ хоть разъ.

И пришелъ съ грозой военной
 Трехнедѣльный удалецъ,

И рукою дерзновенной
Хвать за вражескій вѣнецъ.

Но улыбкой роковою
Русскій витязь отвѣчалъ—
Посмотрѣлъ, тряхнулъ главою:
Ахнулъ дерзкій—и упалъ...

Но упалъ онъ въ дальнемъ морѣ
На невѣдомый гранить,
Тамъ, гдѣ буря на просторѣ
Надъ нучиною шумить.

ЖЕЛАНІЕ.

Ртворите мнѣ темницу,
Дайте мнѣ сіянье дня,
Черноглазую дѣвицу,
Черногриваго коня!
Дайте разъ по синю полю
Проскакать на томъ конѣ:
Дайте разъ на жизнь и волю,
Какъ на чуждую мнѣ долю,
Посмотрѣть поближе мнѣ.

Дайте мнѣ челнокъ досчатый
Съ полусгнившею скамьей,
Парусъ сѣрый и косматый,
Ознакомленный съ грозой.
Я тогда пушуся въ море
Беззаботенъ и одинъ;
Разгуляюсь на просторѣ
И потѣшусь въ буйномъ спорѣ
Съ дикой прихотью пучинъ.

Дайте мнѣ дворецъ высокой
И кругомъ зеленый садъ,
Чтобъ въ тѣни его широкой
Зрѣлъъ янтарный виноградъ,
Чтобъ фонтанъ, не умолкая,
Въ залѣ мраморномъ журчалъ,
И меня, въ мечтаньяхъ рая,
Хладной пылью орошая,
Усыплялъ и пробуждалъ...

* * *

Гляжу на будущность съ боязнью,
Гляжу на прошлое съ тоской,
И какъ преступникъ передъ казнью,
Ищу кругомъ души родной!...
Придетъ ли вѣстникъ избавленья
Открыть мнѣ жизни назначенье,
Цѣль упованій и страстей,
Повѣдать что мнѣ Богъ готовилъ
Зачѣмъ такъ горько прекословилъ
Надеждамъ юности моей?

Землѣ я отдалъ дань земную
Любви, надеждъ, добра и зла.
Начать готовъ я жизнь другую...
Молчу и жду... Пора пришла...
Я въ міръ не оставлю брата;
И тьмой и холодомъ объята
Душа усталая моя:
Какъ ранній плодъ, лишенный сока,
Она увяла въ буряхъ рока
Подъ знойнымъ солнцемъ бытія.

* * *

Р на поетъ—п звуки тають,
 Какъ поцѣлуи на устахъ;
 Глядитъ—и небеса играютъ
 Въ ея божественныхъ глазахъ;
 Идетъ ли—всѣ ея движенья,
 Иль молвить слово—всѣ черты
 Такъ полны чувства, выраженья,
 Такъ полны дивной простоты!

—o—

* * *

К акъ небеса твой взоръ блистаетъ
 Эмалю голубой;
 Какъ поцѣлуй звучить и таетъ
 Твой голосъ молодой.

За звукъ одинъ волшебной рѣчи,
 За твой единый взглядъ,
 Я радъ отдать красавца сѣчи—
 Грузинскій мой булатъ...

И онъ порою сладко блещетъ,
 Заманчиво звучить;
 При звукѣ томъ душа трепещетъ
 И въ сердцѣ кровь кипитъ.

Но жизнью бранной и мятежной
 Не тѣпусь я съ тѣхъ поръ,
 Какъ услыхалъ твой голосъ нѣжный
 И встрѣтилъ милый взоръ!

—o—

МОЛИТВА.

Я, Матерь Божія, нынѣ съ молитвою
Предъ твоимъ образомъ, яркимъ сіяніемъ,
Не о спасеніи, не передъ битвою,
Не съ благодарностью, иль покаяніемъ,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника въ свѣтѣ безроднаго;
Но я вручить хочу дѣву невинную
Теплой заступницѣ міра холоднаго.

Окружи счастіемъ счастья достойную,
Дай ей сопутниковъ, полныхъ вниманія,
Молодость свѣтлую, старость покойную,
Сердцу незлобному миръ упованія.

Срокъ ли приблизится часу прощальному
Въ утро ли шумное, въ ночь ли безгласную,
Ты воспріять пошли къ ложу печальному
Лучшаго ангела душу прекрасную.

1837.

НА СМЕРТЬ ПУШКИНА.

Погибъ поэтъ, невольникъ чести,
Палъ оклеветанный молвой,
Съ свинцомъ въ груди и съ жаждой мести,
Поникнувъ гордой головой.
Не вынесла душа поэта
Позора мелочныхъ обидъ;

Возсталъ онъ противъ мнѣній свѣта
Одинъ, какъ прежде—и убить!
Убить!... Къ чему теперь рыданья,
Похвалъ и слезъ ненужный хоръ,
И жалкій лепетъ оправданья—
Судьбы свершился приговоръ!
Не вы ль сперва такъ долго гнали
Его свободный, чудный даръ
И, для потѣхи, возбуждали
Чуть затаившійся пожаръ...
Что жъ? Веселитесь!.. Онъ мученій
Послѣднихъ перенести не могъ.
Угасъ, какъ свѣточъ, дивный геній,
Увялъ торжественный вѣнокъ!..
Его убійца хладнокровно
Навелъ ударъ—спасенья нѣтъ:
Пустое сердце бьется ровно,
Въ рукѣ не дрогнетъ пистолетъ.
И что за диво?... Издалека,
Подобно сотнямъ бѣглецовъ,
На ловлю счастья и чиновъ
Заброшенъ къ намъ по волѣ рока,
Смѣясь, онъ дерзко презиралъ
Земли чужой языкъ и нравы:
Не могъ падить онъ нашей славы,
Не могъ понять въ сей мигъ кровавый
На что онъ руку подымалъ!

*

И онъ погибъ и взятъ могиллой,
Какъ тотъ пѣвецъ невѣдомый, но милый,
Добыча ревности нѣмой,
Воспѣтый имъ съ такою чудной силой,
Сраженный, какъ и онъ, безжалостной рукой.
Зачѣмъ отъ мирныхъ нѣгъ и дружбы простодушной
Вступилъ онъ въ этотъ свѣтъ завистливый и душный

Для сердца вольнаго и пламенныхъ страстей?
Зачѣмъ онъ руку далъ клеветникамъ безбожнымъ,
Зачѣмъ повѣрилъ онъ словамъ и ласкамъ ложнымъ—

Онъ, съ юныхъ лѣтъ постигнувшій людей!
И прежній снявъ вѣнокъ, онъ вѣнецъ терновый,
Увитый лаврами, надѣли на него;

Но иглы тайныя сурово

Явили славное челѣ...

Отравлены его послѣднія мгновенья
Коварнымъ шопотомъ безчувственныхъ невѣждъ,

И умеръ онъ съ глубокой жаждой мщенья,
Съ досадой тайною обманутыхъ надеждъ...

Замолкли звуки дивныхъ пѣсень,

Не раздаваться имъ опять,

Пріютъ пѣвца угрюмъ и тѣсень

И на устахъ его печать!

*

А вы, надменные потомки

Извѣстной подлостью прославленныхъ отцовъ,

Пятою рабскою поправшіе обломки

Игрою счастья обиженныхъ родовъ!

Вы, жадною толпой стоящіе у трона,

Свободы, генія и славы палачи!

Таитесь вы подъ сѣнію закона,

Предъ вами судъ и правда—все молчи!

Но есть и Божій судъ, наперсники разврата,

Есть грозный судія, онъ ждетъ,

Онъ недоступенъ звону злата,

И мысли и дѣла онъ знаетъ напередъ.

Тогда напрасно вы прибѣгнете къ злословью:

Оно вамъ не поможетъ вновь,

И вы не смоете всей вашей черной кровью

Поэта праведную кровь!



ВѢТКА ПАЛЕСТИНЫ.

Скажи мнѣ, вѣтка Палестины:
Гдѣ ты росла, гдѣ ты цвѣла?
Какихъ холмовъ, какой долины
Ты украшеніемъ была?

У водъ ли чистыхъ Іордана
Востока лучъ тебя ласкалъ,
Ночной ли вѣтръ въ горахъ Ливана
Тебя сердито колыхалъ?

Молитву ль тихую читали,
Иль пѣли пѣсни старины.
Когда листы твои сплетали
Солима бѣдные сыны?

И пальма та жива ль понинѣ?
Все также ль манить въ лѣтній зной
Она прохожаго въ пустынѣ
Широколиственной главой?

Или въ разлукѣ безотрадной
Она увяла, какъ и ты,
И дольний прахъ ложится жадно
На пожелтѣвшіе листы?..

Повѣдай: набожной рукою
Кто въ этотъ край тебя занесъ?
Грустилъ онъ часто надъ тобою?
Хранишь ты слѣдъ горючихъ слезъ?

Иль Божьей рати лучшій воинъ,
Онъ былъ, съ безоблачнымъ челомъ,
Какъ ты, всегда небесъ достоинъ
Передъ людьми и божествомъ?..

Заботой тайною хранима,
Передъ иконою золотой
Стоишь ты, вѣтвь Ерусалима,
Святини вѣрный часовой!

Прозрачный сумракъ, лучъ лампы,
Кивотъ и крестъ, символъ святой...
Все полно мира и отрады
Вокругъ тебя и надъ тобой.



БОРОДИНО.

«Скажи-ка, дядя, вѣдь не даромъ
Москва, спаленная пожаромъ,
Французу отдана?
Вѣдь были жъ схватки боевыя?
Да, говорятъ, еще какія!
Не даромъ помнитъ вся Россія
Про день Бородина!»

— Да, были люди въ наше время,
Не то, что нынѣшнее племя:
Богатыри—не вы!
Плохая имъ досталась доля:
Немногіе вернулись съ поля...
Не будь на то Господня воля,
Не отдали бъ Москвы!

Мы долго, молча, отступали.
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что жъ мы? На зимнія квартиры?
Не смѣютъ что ли командиры
Чужіе изорвать мундиры
О русскіе штыки?»

И вотъ нашли большое поле:
Есть разгуляться гдѣ на волѣ!

Построили редутъ.

У нашихъ ушки на макушкѣ!

Чуть утро освѣтило пушки

• И лѣса синія верхушки—

Французы тутъ-какъ-тутъ.

Забилъ зарядъ я въ пушку туго,

И думалъ: угощу я друга!

Постой-ка, братъ мусью!

Что тутъ хитрить, пожалуй къ бою;

Ужъ мы пойдемъ ломить стѣною,

Ужъ постоимъ мы головою

За родину свою!

Два дня мы были въ перестрѣлкѣ.

Что толку въ этакой бездѣлкѣ?

Мы ждали третій день.

Повсюду стали слышны рѣчи:

«Пора добратся до картечи!»

И вотъ на поле грозной сѣчи

Ночная пала тѣнь.

Прилежъ вздремнуть я у лафета,

И слышно было до разсвѣта

Какъ ликовалъ французъ.

Но тихъ былъ нашъ бивакъ открытый:

Кто киверъ чистилъ весь избитый,

Кто штыкъ точилъ, ворча сердито,

Кусая длинный усъ.

И только небо засвѣтилось—

Все шумно вдругъ зашевелилось,

Сверкнулъ за строемъ строй.

Полковникъ нашъ рожденъ былъ хватомъ:
Слуга царю, отецъ солдатамъ...
Да, жаль его: сраженъ булатомъ,
Онъ спитъ въ землѣ сырой.

И молвилъ онъ, сверкнувъ очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте жъ подъ Москвой,
Какъ наши братья умирали!»
— И умереть мы обѣщали,
И клятву вѣрности сдержали
Мы въ Бородинскій бой.

Ну-жъ былъ денёкъ! Сквозь дымъ летучій
Французы двинулись, какъ тучи,
И все на нашъ редутъ.
Уланы съ пестрыми значками,
Драгуны съ конскими хвостами—
Всѣ промелькнули передъ нами,
Всѣ побывали тутъ.

Вамъ не видать такихъ сраженій!...
Носились знамена какъ тѣни,
Въ дыму огонь блестѣлъ,
Звучалъ булатъ, картечь визжала,
Рука бойцовъ колоть устала,
И ядрамъ пролетать мѣшала
Гора кровавыхъ тѣлъ.

Извѣдалъ врагъ въ тотъ день немало,
Что значить русскій бой удачный,
Нашъ рукопашный бой!..
Земля тряслась—какъ наши груди;
Смѣшались въ кучу кони, люди;
И залпы тысячи орудій
Слились въ протяжный вой...

Вотъ смерклось. Были всѣ готовы
Завтра бой затѣять новый

И до конца стоять...

Вотъ затрещали барабаны—
И отступили басурманы.

Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.

Да, были люди въ наше время,
Могучее, лихое племя:

Богатыри—не вы!

Плохая имъ досталась доля:
Немногіе вернулись съ поля...

Когда бъ на то не Божья воля,
Не отдали бъ Москвы!



ПѢСНЯ

ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, МОЛОДАГО ОПРИЧНИКА И УДАЛАГО
КУПЦА КАЛАШНИКОВА.

Рхъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ!
Про тебя нашу пѣсню сложили мы,

Про твоего любимаго опричника,
Да про смѣлаго купца, про Калашникова:

Мы сложили ее на старинный ладъ,
Мы пѣвали ее подъ гуслирный звонъ,
И причитывали, да присказывали.

Православный народъ ею тѣшился,
А бояринъ Матвѣй Ромодановскій
Намъ чарку поднесъ меду пѣннаго;
А боярыня его бѣлолицая
Поднесла намъ на блюдѣ серебряномъ

Полотенце новое, шолкомъ шитое.
Угощали насъ три дня, три ночи,
И все слушали—не наслушались.

I.

Не сіяетъ на небѣ солнце красное,
Не любуются имъ тучки синія:
То за трапезой сидитъ во златомъ вѣнцѣ,
Сидитъ грозный царь Иванъ Васильевичъ.
Позади его стоятъ стольники,
Супротивъ его все бояре да князья,
По бокамъ его все опричники;
И пируетъ царь во славу Божію,
Въ удовольствіе свое и веселіе.

Улыбаясь, царь повелѣлъ тогда
Вина сладкаго заморскаго
Нацѣдить въ свой золоченный ковшъ
И поднести его опричникамъ.
— И всѣ пили, царя славили,

Лишь одинъ изъ нихъ, изъ опричниковъ,
Удалой боецъ, буйный мѣлодецъ,
Въ золотомъ ковшѣ не мочилъ усовъ;
Опустилъ онъ въ землю очи темныя,
Опустилъ головушку на широку грудь—
А въ груди его была дума крѣпкая.

Вотъ нахмурилъ царь брови черныя
И навелъ на него очи зоркія,
Словно ястребъ взглянулъ съ высоты небесъ
На младаго голубя сизокрылаго—
Да не поднималъ глазъ молодой боецъ.
— Вотъ обь землю царь стукнулъ палкою,

И дубовый полъ на полчетверти
Онъ желѣзнымъ пробилъ оконечникомъ—
Да не вздрогнулъ и тутъ молодой боецъ.
— Вотъ промолвилъ царь слово грозное—
И очнулся тогда добрый молодецъ.

«Гей ты, вѣрный нашъ слуга, Кирибѣевичъ,
Аль ты думу затаилъ нечестивую?
Али славѣ нашей завидуешь?
Али служба тебѣ честная прискучила?
Когда всходитъ мѣсяцъ—звѣзды радуются,
Что свѣтлѣй имъ гулять по поднебесью;
А которая въ тучку прячется—
Та стрелглавъ на землю падаетъ...
Неприлично же тебѣ, Кирибѣевичъ,
Царской радостью гнущатся;
А изъ роду ты вѣдь Скуратовыхъ
И семьею ты вскормленъ Малютиной!...»

Отвѣчаетъ такъ Кирибѣевичъ,
Царю грозному въ поясъ кланаясь:

— Государь ты нашъ, Иванъ Васильевичъ!
Не кори ты раба недостойнаго:
Сердца жаркаго не залить виномъ,
Думу черную—не запотчивать!
А прогнѣвалъ я тебя—воля царская!
Прикажи казнить, рубить голову:
Тяготить она плечи богатырскія
И сама къ сырой землѣ она клонится.

И сказалъ ему царь Иванъ Васильевичъ:
«Да объ чемъ тебѣ, молодцу, кручиниться?
Не истерся ли твой парчевой кафтанъ?
Не измялась ли шапка соболиная?
Не казна ли у тебя поистратилась?»

Иль вазубрилась сабля закалёная?
Иль конь захромалъ худо-кованный?
Или съ ногъ тебя сбилъ на кулачномъ бою,
На Москвѣ-рѣкѣ, сынъ купеческій?»

Отвѣчаетъ такъ Кирибѣевичъ,
Покачивъ головою кудрявою:

— Не родилась та рука заколдованная
Ни въ боярскомъ роду, ни въ купеческомъ;
Аргамакъ мой степной ходитъ весело;
Какъ стекло горитъ сабля вострая;
А на праздничный день, твоей милостью,
Мы не хуже другаго нарядимся.

— Какъ я сяду, поѣду на лихомъ конѣ
За Москву-рѣку покатайся,
Кушачкомъ подтянуса шолковымъ,
Заломлю на бочокъ шапку бархатную,
Чернымъ соболемъ отороченную—
У воротъ стоять у тесовыхъ
Красны дѣвушки да молодухи,
И любятся, глядя, перешоптываясь;
Лишь одна не глядитъ, не любится,
Полосатой фатой закрывается...

— На святой Руси, нашей матушкѣ,
Не найти, не сыскать такой красавицы:
Ходитъ плавно—будто лебѣдушка,
Смотритъ сладко—какъ голубушка,
Молвить слово—соловей поетъ;
Горять щеки ея румяныя,
Какъ заря на небѣ Божіемъ;
Косы русыя, золотистыя,
Въ ленты яркія заплетенныя,
По плечамъ бѣгутъ, извиваются,

*

Съ грудью бѣлою цалуются.
Во семьѣ родилась она купеческой,
Прозывается Алёной Дмитревной.

— Какъ увижу ее, я и самъ не свой:
Опускаются руки сильныя,
Помрачаются очи бойкія;
Скучно, грустно мнѣ, православный царь,
Одному по свѣту маяться.
Опостыли мнѣ кони легкіе,
Опостыли наряды парчѣвые,
И не надо мнѣ золотой казны:
Съ кѣмъ казною своей подѣлюсь теперь?
Передъ кѣмъ покажу удаљство свое?
Передъ кѣмъ я нарядомъ похвастаюсь?...
Отпусти меня въ степи приволжскія,
На житье на вольное, на казацкое.
Ужъ сложу я тамъ буйную головушку
И сложу на копье басурманское;
И раздѣлять по себѣ злы татаровья
Коня добраго, саблю острую
И сѣдельце бранное черкасское.
Мои очи слезныя коршунъ выклюеть,
Мои кости сырыя дождикъ вымоетъ,
И безъ похоронъ горемычный прахъ
На четыре стороны развѣется...

И сказалъ, смѣясь, Иванъ Васильевичъ:
«Ну, мой вѣрный слуга! я твоей бѣдѣ,
Твоему горю пособить постараюсь.
Вотъ возьми перстенёкъ ты мой яхонтовый,
Да возьми ожерелье жемчужное.
Прежде свахѣ смышлёной поклоняйся,
И пошли дары драгоцѣнные
Ты своей Алёнѣ Дмитревнѣ:

Какъ полюбишься—празднуй свадьбу,
Не полюбишься—не прогнѣвайся.»

— Охъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ!
Обмануль тебя твой лукавый рабъ,
Не сказалъ тебѣ правды истинной,
Не повѣдалъ тебѣ, что красавица
Въ церкви Божіей перевѣнчана,
Перевѣнчана съ молодымъ купцомъ
По закону нашему христіанскому...

*

Ай, ребята, пойте—только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте—дѣло разумѣйте!
Ужъ потѣшите вы добраго боярина
И боярню его бѣлолицую!

II.

За прилавкою сидитъ молодой купецъ,
Статный мѡлодецъ Степанъ Парамоновичъ,
По прозванію Калашниковъ;
Шелковые товары раскладываетъ,
Рѣчью ласковой гостей онъ заманиваетъ,
Злато, серебро пересчитываетъ.
Да не добрый день задался ему:
Ходятъ мимо баре богатые,
Въ его лавочку не заглядываютъ.

Отавонили вечерню во святыхъ церквахъ;
За Кремлемъ горитъ заря туманная,
Набѣгаютъ тучки на небо—
Гонить ихъ метелица распѣваючи;
Опустѣлъ широкій гостинный дворъ.
Запираетъ Степанъ Парамоновичъ
Свою лавочку дверью дубовою

Да замкомъ нѣмецкимъ со пружиною;
Злаго пса-ворчуна зубастаго
На желѣзную цѣпь привязываетъ.
И пошелъ онъ домой, призадумавшись,
Къ молодой хозяйкѣ, за Москву-рѣку.

И приходитъ онъ въ свой высокій домъ,
И дивится Степанъ Парамоновичъ:
Не встрѣчаетъ его молода жена,
Не накрытъ дубовый столъ бѣлой скатертью,
А свѣча передъ образомъ еле-теплится.
И кличетъ онъ старую работницу:
«Ты скажи, скажи, Еремѣвна,
А куда дѣвалась, затаилася
Въ такой поздній часъ Алѣна Дмитревна?
А что дѣтки мои любезныя—
Чай забѣгались, заигрались,
Спозаранку спать уложились?»
— Господинъ ты мой, Степанъ Парамоновичъ!
Я скажу тебѣ диво дивное:
Что къ вечернѣ пошла Алѣна Дмитревна:
Вотъ ужъ попъ прошелъ съ молодой попадѣей,
Засвѣтили свѣчу, сѣли ужинать—
А по-сю-пору твоя хозяйюшка
Изъ приходской церкви не вернулася.
А что дѣтки твои малыя
Почивать не легли, не играть пошли—
Плачемъ плачутъ, все не унимаются.

И смутился тогда душой крѣпкою
Молодой купецъ Калашниковъ.
И онъ сталъ къ окну, глядитъ на улицу—
А на улицѣ ночь темнѣхонька;
Валить бѣлый снѣгъ, разстилается,
Заметаешь слѣдъ человѣческій.

Вотъ онъ слышитъ, въ сѣняхъ дверью хлопнули,
Потомъ слышитъ шаги торопливые;
Обернулся, глядитъ—сила крестная!
Передъ нимъ стоитъ молода жена,
Сама блѣдная, простоволосая,
- Косы русыя расплетенныя
Снѣгомъ-инеемъ пересыпаны,
Смотрять очи мутныя, какъ безумныя;
Уста шепчуть рѣчи непонятныя.

«Ужъ ты гдѣ, жена, жена, шаталася?
На какомъ на дворѣ, на площади,
Что растрепаны твои волосы,
Что одежда вся твоя изорвана?
Ужъ гуляла ты, пировала ты,
Чай, съ сынками все боярскими?...
Не на то предъ святыми иконами
Мы съ тобой, жена обручались,
Золотыми кольцами мѣнялись!...
Какъ запру я тебя за желѣзный замокъ,
За дубовую дверь окованную,
Чтобы свѣту Божьяго ты не видѣла,
Мое имя честное не порочила...»

И услышавъ то, Алёна Дмитревна
Задрожала вся, моя голубушка,
Затряслась, какъ листочекъ осиновый,
Горько-горько она восплакалась,
Въ ноги мужу повалилася.

«Государь ты мой, красно-солнышко,
Иль убей меня, или выслушай!
Твои рѣчи—будто острый ножъ;
Отъ нихъ сердце разрывается.
Не боюся смерти лютыя,

Не боюся я людской молвы,
А боюся твоей немилости.

«Отъ вечерни я домой шла нонече
Вдоль по улицѣ одинѣшенька.
И слышалось мнѣ, будто снѣгъ хруститъ;
Оглянулася—человѣкъ бѣжитъ.
Мои ноженъки подкосилися,
Шелковбй фатой я закрылася.
И онъ сильно схватилъ меня за руки
И сказалъ мнѣ такъ тихимъ шопотомъ:
— Что пугаешься, красная красавица?
Я не воръ какой, душегубъ лѣспой,
Я слуга царя, царя грознаго,
Прозываюся Кирибѣвичемъ,
А изъ славной семьи изъ Малютиной...

«Испугалась я пуще прежняго;
Закружилась моя бѣдная головушка.
И онъ сталъ меня цловать-ласкать,
И цалуя, все приговаривалъ:
— Отвѣчай мнѣ, чего тебѣ надобно,
Моя милая, драгоцѣнная!
Хочешь золота, али жемчугу?
Хочешь яркихъ камней, аль цвѣтной парчи?
Какъ царицу, я наряжу тебя,
Станутъ всѣ тебѣ завидовать.
Лишь не дай мнѣ умереть смертью грѣшною:
Полюби меня, обними меня
Хоть единый разъ на прощаніе!

И ласкалъ онъ меня, цловалъ меня:
На щекахъ моихъ и теперь горять,
Живымъ пламенемъ разливаются
Поцалуи его окалнныя...

А смотрѣли въ калитку сосѣдушки;
Смѣются, на насъ пальцемъ показывали...

«Какъ изъ рукъ его я рванулася
И домой стремглавъ бѣжать бросилась;
И остались въ рукахъ у разбойника
Мой узорный платокъ—твой подарочекъ,
И фата моя бухарская.
Опозорилъ онъ, оскрамилъ меня,
Меня честную, непорочную—
И что скажутъ злыя сосѣдушки?
И кому на глаза покажусь теперь?

«Ты не дай меня, свою вѣрную жену,
Злымъ охульникамъ въ поруганіе!
На кого, кромѣ тебя, мнѣ надѣяться?
У кого просить стану помощи?
На бѣломъ свѣтѣ я сиротинушка:
Родной батюшка ужъ въ сырой землѣ,
Рядомъ съ нимъ лежитъ моя матушка,
А мой старшій братъ, самъ ты вѣдаешь,
На чужой сторонущѣ пропалъ безвѣсти,
А меньшей мой братъ—дитя малое,
Дитя малое, неразумное...»

Говорила такъ Алёна Дмитревна;
Горючими слезами заливалась.

Посылаетъ Степанъ Парамоновичъ
За двумя меньшими братьями;
И пришли его два брата, поклонилися,
И такое слово ему молвили:
«Ты повѣдай намъ, старшій нашъ братъ
Что съ тобой случилось, приключилося
Что послать ты за нами во темную ночь,
Во темную ночь морозную?»

— Я скажу вамъ, братцы любезные.
 Что licha бѣда со мною приключилася:
 Опозорилъ семью нашу честную
 Злой опричникъ царскій, Кирибѣевичъ:
 А такой обиды не стерпѣть душѣ,
 Да не вынести сердцу молодецкому.
 Ужъ какъ завтра будетъ кулачный бой
 На Москвѣ-рѣкѣ при самомъ царѣ,
 И я выйду тогда на опричника,
 Буду на-смерть биться, до послѣднихъ силъ;
 А побѣтъ онъ меня—выходите вы
 За святую правду-матушку.
 Не сробѣйте, братцы любезные!
 Вы моложе меня, свѣжѣй силою,
 На васъ меньше грѣховъ накопилось
 Такъ авось Господь васъ помилуетъ!

И въ отвѣтъ ему братья молвили:
 «Куда вѣтеръ дуетъ въ поднебесьи,
 Туда мчатся и тучки послушныя,
 Когда сизой орелъ зоветъ голосомъ
 На кровавую долину побоища,
 Зоветъ пирь пировать, мертвецовъ убирать,
 Къ нему малые орлята слетаются:
 Ты нашъ старшій братъ, намъ второй отецъ;
 Дѣлай самъ, какъ знаешь, какъ вѣдаешь,
 А ужъ мы тебя роднаго не выдадимъ!»

*

Ай, ребята, пойте—только гусли стройте!
 Ай, ребята, пейте—дѣло разумѣйте!
 Ужъ потѣшьте вы добраго боярина
 И боярню его бѣлолицую!

III

Надъ Москвой великой, златоглавою,
 Надъ стѣнной кремлевской бѣлокаменной,

Изъ-за дальнихъ лѣсовъ, изъ-за синихъ горъ,
По тесовымъ кровелькамъ играючи,
Тучки сѣрыя разгоняючи,
Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистыя,
Умывается снѣгами разсыпчатыми;
Какъ красавица, глядя въ зеркальцо,
Въ небо чистое смотреть, улыбается.
Ужъ затѣмъ ты, алая заря, просыпалася?
На какой ты радости разыгралася

Какъ сходились, собирались
Удалые бойцы московскіе
На Москву-рѣку, на кулачный бой,
Разгуляться для праздника, потѣшиться.
И пріѣхалъ царь со дружиною.
Со боярами и опричниками,
И велѣлъ растянуть цѣпь серебряную,
Чистымъ золотомъ въ кольцахъ спаянную.
Оцѣнили мѣсто въ двадцать пять сажень
Для охотническаго бою, одиночнаго.
И велѣлъ тогда царь Иванъ Васильевичъ
Кличъ кликать звонкимъ голосомъ:
«Ой, ужъ гдѣ вы, добрые молодцы?
Вы потѣшьте царя, нашего батюшку!
Выходите-ка во широкой кругъ;
Кто побьетъ кого, того царь наградить,
А кто будетъ побить, тому Богъ простить!»

И выходитъ удалой Кирибѣевичъ,
Царю въ поясъ молча кланяется,
Скидаетъ съ могучихъ плечъ шубу бархатную.
Подпершися въ бокъ рукою правою,
Поправляетъ другой шапку алую,
Ожидаетъ онъ себѣ противника...

Трижды громкій кличъ прокликали—
Ни одинъ боецъ и не тронулся,
Лишь стоять, да другъ друга поталкиваютьъ.

На просторѣ опричникъ похаживаетъ,
Надъ плохими бойцами подсмѣиваетъ:
«Присмирѣли, не бойсь, призадумались!
Такъ и быть, общаюсь, для праздника,
Отпущу живаго съ покаяніемъ,
Лишь потѣшу царя, нашего батюшку.»

Вдругъ толпа раздалась на обѣ стороны—
И выходитъ Степанъ Пармоновичъ.
Молодой купецъ, удалой боецъ,
По прозванію Калашниковъ.
Поклонился прежде царю грозному,
Послѣ бѣлому Кремлю да святымъ церквамъ,
А потомъ всему народу русскому.
Горять очи его соколиныя
На опричника смотрять пристально.
Супротивъ него онъ становится,
Боевыя рукавицы натягиваетъ,
Могутныя плечи распрямливаетъ,
Да кудряву бороду поглаживаетъ.

И сказалъ ему Кирибѣевичъ:
«А повѣдай мнѣ, добрый молодецъ,
Ты какого роду, племени,
Какимъ именемъ прозываешься?
Чтобы знать, по комъ панихиду служить,
Чтобы было чѣмъ и похвастаться.»

Отвѣчаетъ Степанъ Пармоновичъ:
«А зовутъ меня Степаномъ Калашниковымъ,
А родился я отъ честнова отца,
И жилъ я по закону Господнему:

Не позорилъ я чужой жены,
Не разбойничалъ ночью темною,
Не таился отъ свѣта небеснаго...
И промолвилъ ты правду истинную:
По одному изъ насъ будутъ панихиду пѣть,
И не позже, какъ завтра въ часъ полуденный;
И одинъ изъ насъ будетъ хвастаться,
Съ удалыми друзьями пируючи...
Не шутку шутить, не людей смѣшить
Къ тебѣ вышелъ я теперь, басурманскій сынъ,
Вышелъ я на страшный бой, на послѣдній бой!»

И услышавъ то, Кирибѣевичъ
Поблѣднѣлъ въ лицѣ, какъ осенній снѣгъ;
Бойки очи его затуманились,
Между сильныхъ плечъ пробѣжалъ морозъ,
На раскрытыхъ устахъ слово замерло...

Вотъ молча оба расходятся,
Богатырскій бой начинается.

Размахнулся тогда Кирибѣевичъ
И ударилъ въ-первѣй купца Калашникова,
И ударилъ его посерѣдъ груди—
Затрещала грудь молодецкая,
Попатнулся Степанъ Парамоновичъ;
На груди его широкой висѣлъ мѣдный крестъ
Со святыми мощами изъ Кіева,
И погнулся крестъ, и вдавился въ грудь;
Какъ роса изъ-подъ него кровь закапала.
И подумалъ Степанъ Парамоновичъ:
«Чему быть суждено, то и сбудется;
Постою за правду до-послѣднева!»
Изловчился онъ, приготовился,
Собрался со всею силою

И ударилъ своего ненавистника,
Прямо въ лѣвый високъ со всего плеча,

И опричникъ молодой застоналъ слегка,
Закачался, упалъ замертво;
Повалился онъ на холодный снѣгъ,
На холодный снѣгъ, будто сосенка,
Будто сосенка, во сиромъ бору
Подъ смолистый подъ корень подрубленная.
И, увидѣвъ то, царь Иванъ Васильевичъ
Прогнѣвался гнѣвомъ, топнулъ о землю
И нахмурилъ брови черныя;
Повелѣлъ онъ схватить удалаго купца
И привести его предъ лицо свое.

Какъ возговорилъ православный царь:
«Отвѣчай мнѣ по правдѣ, по совѣсти,
Вольной волею, или нѣхотя,
Ты убилъ на смерть мово вѣрнаго слугу,
Мово лучшаго бойца, Кирибѣевича?»

— Я скажу тебѣ, православный царь:
Я убилъ его вольной волею,
А за что, про что—не скажу тебѣ;
Скажу только Богу единому.
Прикажи меня казнить—и на плаху несть
Мнѣ головушку повинную;
Не оставь лишь малыхъ дѣтушекъ,
Не оставь молодую вдову,
Да двухъ братьевъ моихъ своей милостью...

«Хорошо тебѣ, дѣтинушка,
Удалой боецъ, сынъ куцескій,
Что отвѣтъ держалъ ты по совѣсти.
Молодую жену и сиротъ твоихъ
Изъ казны моей я пожалую,

Твоимъ братьямъ велю отъ сего же дня
По всему царству русскому широкому
Торговать безданно, безошлинно.
А ты самъ ступай, дѣтинушка,
На высокое мѣсто лобное,
Сложи свою буйную головушку.
Я топоръ велю наточить-наострить,
Палача велю одѣть-нарядить,
Въ большой колоколъ прикажу звонить,
Чтобы знали всѣ люди московскіе,
Что и ты не оставленъ моею милостью...

Какъ на площади народъ собирается;
Заунывный гудить-воетъ колоколъ,
Разглашаетъ всюду вѣсть недобрую,
По высокому мѣсту лобному,
Во рубахѣ красной съ яркой запанкой,
Съ большимъ топоромъ, наострѣннымъ,
Руки голая потираючи,
Палачъ весело показиваетъ,
Удалова бойца дожидается;
А лихой боецъ, молодой купецъ,
Со родными братьями прощается:

«Ужъ вы, братцы мои, други кровные,
Поцалуемтесь, да обнимемтесь
На послѣднее разставаніе.
Поклонитесь отъ меня Алѣнѣ Дмитревнѣ,
Закажите ей меньше печалиться,
Про меня моимъ дѣтушкамъ не сказывать.
Поклонитесь дому родительскому,
Поклонись всѣмъ нашимъ товарищамъ,
Помолитесь сами въ церкви Божіей
Вы за душу мою, душу грѣшную!»

И казнили Степана Калашникова
Смертью лютою, позорною;
И головушка безаланная
Во крові на плаху покатилаcя.

Схоронили его за Москвой-рѣкой,
На чистомъ полѣ промежъ трехъ дорогъ:
Промежъ тульской, рязанской, владимірской,
И бугоръ земли сырой тутъ насыпали,
И кленовый крестъ тутъ поставили.
И гуляютъ, шумятъ вѣтры буйные
Надъ его безыменной могилкою.
И проходятъ мимо люди добрые:
Пройдетъ старъ человѣкъ—перекрестится,
Пройдетъ молодецъ—пріосанится,
Пройдетъ дѣвица—пригорюнится,
А пройдутъ гуслары—споютъ пѣсенку.

*

Гей вы, ребята удалые,
Гуслары молодые,
Голоса заливные!
Красно начинали—красно и кончайте.
Каждому правдою и честью воздайте.

Тароватому боярину слава!
И красавицѣ-боярыньѣ слава!
И всему народу христіанскому слава!

—

УЗНИКЪ.

Ртворите мнѣ темницу,
Дайте мнѣ сіянье дня,
Черноглазую дѣвицу,
Черногриваго коня.

Я красавицу младую
 Прежде сладко поцѣлюю,
 На коня потомъ вскочу,
 Въ степь какъ вѣтеръ улечу.

Но окно тюрьмы высоко;
 Дверь тяжелая съ замкомъ;
 Черноокая далѣко
 Въ пышномъ теремѣ своемъ;
 Добрый конь въ зеленомъ полѣ
 Безъ узды, одинъ, по волѣ
 Скачетъ веселъ и игривъ,
 Хвостъ по вѣтру распустивъ.

Одинокъ я—нѣтъ отрады:
 Стѣны голыя кругомъ;
 Тускло свѣтитъ лучъ лампы
 Умиравшимъ огнемъ;
 Только слышно: за дверями.
 Звучномѣрными шагами
 Ходить въ тишинѣ ночной,
 Безотвѣтный часовой.



* * *

Разстались мы; но твой портретъ
 Я на груди моей храню:
 Какъ блѣдный призракъ лучшихъ лѣтъ,
 Онъ душу радуеть мою.

И новымъ преданный страстямъ,
 Я разлюбить его не могъ:
 Такъ храмъ оставленный—все храмъ,
 Кумиръ поверженный—все Богъ!



* * *

Когда волнуется желтѣющая нива
И свѣжій лѣсъ шумитъ при звукѣ вѣтерка,
И прячется въ саду малиновая слива
Подъ тѣнью сладостной зеленаго листка;

Когда росой обрызганный душистой,
Румянѣющимъ вечеромъ, иль утра въ часъ златой,
Изъ-подъ куста мнѣ ландышъ серебристый
Привѣтливо киваетъ головой;

Когда студеный ключъ играетъ по оврагу
И, погружая мысль въ какой-то смутный сонъ,
Лепечетъ мнѣ таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится онъ—

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челѣ,
И счастье я могу постигнуть на землѣ,
И въ небесахъ я вижу Бога...

СОСѢДЪ.

Кто бъ ни былъ ты, печальный мой сосѣдъ,
Люблю тебя, какъ друга юныхъ лѣтъ,
Тебя, товарищъ мой случайный,
Хотя судьбы коварною игрой
Навѣки мы разлучены съ тобой
Стѣной теперь—а послѣ тайной.

Когда зари румяный полусвѣтъ
Въ окно тюрмы прощальный свой привѣтъ

Мнѣ умирая, посылаетъ,
И опершись на звучное ружье,
Нашъ часовой, про старое житье
Мечтая, стоя засыпаетъ,

Тогда чело склонивъ къ сырой стѣнѣ,
Я слушаю—и въ мрачной тишинѣ
Твои напѣвы раздаются.
О чемъ они—не знаю: но тоской
Исполнены, и звуки чередой,
Какъ слезы, тихо льются, льются...

И лучшихъ лѣтъ надежды и любовь—
Въ груди моей все оживаетъ вновь,
И мысли далеко несутся,
И полонъ умъ желаній и страстей,
И кровь кипитъ—и слезы изъ очей,
Какъ звуки, другъ за другомъ льются.

1838.

ДУМА.

Начально я гляжу на наше поколѣнье!
Его грядущее—илъ пусто, илъ темно;
Межъ-тѣмъ подъ бременемъ познанья и сомнѣнья,
Въ бездѣйствіи состарится оно.
Богаты мы, едва изъ колыбели,
Ошибками отцовъ и позднимъ ихъ умомъ,
И жизньъ ужъ насъ томить, какъ ровный путь безъ цѣли,
Какъ пиръ на праздникѣ чужомъ.
Къ добру и злу постыдно равнодушны,
Въ началѣ поприща мы вянемъ безъ борьбы;

*

Передъ опасностью позорно-малодушны,
И передъ властію презрѣнные рабы.

Такъ тощій плодъ, до времени созрѣлый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глазъ,
Виситъ между цвѣтовъ, прищелецъ осиротѣлый,
И часъ ихъ красоты—его паденья часъ!

Мы изсушили умъ наукою безплодной,
Тая завистливо отъ ближнихъ и друзей
Надежды лучшія и голосъ благородный
Невѣріемъ осмѣянныхъ страстей.

Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юныхъ силъ мы тѣмъ не сберегли;
Изъ каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучшій сокъ навѣки извлекли.

Мечты поэзіи, созданія искусства
Восторгомъ сладостнымъ нашъ умъ не шевелятъ;
Мы жадно бережемъ въ груди остатокъ чувства—
Зарытый скупостью и бесполезный кладъ.
И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злѣ, ни любви,
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,

Когда огонь кипитъ въ крови.
И предковъ скучны намъ роскошныя забавы,
Ихъ добросовѣстный, ребяческій развратъ;
И къ гробу мы спѣшимъ безъ счастья и безъ славы,
Глядя насмѣшливо назадъ.

Толпой угрюмою и скоро позабытой,
Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,
Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодovitой,

Ни гениемъ начатаго труда.
И прахъ нашъ, съ строгостью судьи и гражданина,
Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ,

Насмѣшкой горькою обманутаго сына
Надъ промотавшимся отцомъ.

РЕБЕНКУ.

Р грѣзахъ юности томимъ воспоминаньемъ,
Съ отрадой тайною и тайнымъ содроганьемъ,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю...
О, если бъ знало ты, какъ я тебя люблю!
Какъ милы мнѣ твои улыбки молодыя,
И быстрые глаза, и кудри золотыя,
И звонкій голосокъ!—Не правда ль, говорятъ,
Ты на нее похожъ?—Увы! года летятъ;
Страданія ее до срока измѣнили,
Но вѣрные мечты тотъ образъ сохранили
Въ груди моей; тотъ взоръ, исполненный огня,
Всегда со мной. А ты, ты любишь ли меня?
Не скучны ли тебѣ непрошенныя ласки?
Не слишкомъ часто ль я твои цѣлую глазки?
Слеза моя ланить твоихъ не обожгла ль?
Смотри жъ, не говори ни про мою печаль,
Ни вовсе обо мнѣ. Къ чему? Ее, быть можетъ,
Ребяческій рассказъ разсердить или встревожить...

Но мнѣ ты все повѣрь. Когда въ вечерній часъ,
Предъ образомъ съ тобою заботливо склонясь,
Моливу дѣтскую она тебѣ шептала
И въ знаменье креста персты твои сжимала,
И всѣ знакомыя, родныя имена
Ты повторялъ за ней—скажи, тебя она
Ни за кого еще молиться не учила?
Блѣднѣя, можетъ быть, она произносила
Названіе, теперь забытое тобой...

Не вспоминая его... Что имя?—звукъ пустой!
 Дай Богъ, чтобъ для тебя оно осталось тайной.
 Но если, какъ нибудь, когда нибудь, случайно
 Узнаешь ты его—ребяческіе дни
 Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни!

ДЕМОНЪ.

ВОСТОЧНАЯ ПОВѢСТЬ.

[1829—1838].

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

1.

Печальный Демонъ, духъ изгнанья,
 Леталъ надъ грѣшною землею;
 И лучшихъ дней воспоминанья
 Предъ нимъ тѣснилися толпой—
 Тѣхъ дней, когда въ жилищѣ свѣта
 Блисталъ онъ, чистый херувимъ,
 Когда бѣгущая комета
 Улыбкой ласковой привѣта
 Любила помѣняться съ нимъ;
 Когда сквозь вѣчные туманы,
 Познанья жадный, онъ слѣдилъ
 Кочующіе караваны
 Въ пространствѣ брошенныхъ свѣтилъ;
 Когда онъ вѣрилъ и любилъ,
 Счастливый первенецъ творенья,
 Не зналъ ни злобы, ни сомнѣнья,
 И не грозилъ уму его

Вѣковъ безплодныхъ рядъ унылый...
И много, много... и всего
Припомнить не имѣлъ онъ силы.

II.

Давно, отверженный, блуждалъ
Въ пустынѣ міра безъ пріюта.
Вослѣдъ за вѣкомъ вѣкъ бѣжалъ,
Какъ за минутою минута,
Однообразной чередой.
Ничтожной властвуя землей,
Онъ сѣялъ зло безъ наслажденья;
Нигдѣ искусству своему
Онъ не встрѣчалъ сопротивленья—
И зло наскучило ему.

III.

И надъ вершинами Кавказа
Изгнанникъ рая пролеталъ.
Подъ нимъ Казбекъ, какъ грань алмаза,
Свѣтами вѣчными сіялъ,
И глубоко внизу чернѣя,
Какъ трещина, жилище змѣя,
Вился излучистый Дарьялъ,
И Терекъ, прыгая какъ львица
Съ косматой гривой на хребтѣ,
Ревѣлъ, и горный звѣрь, и птица,
Кружась въ лазурной высотѣ,
Глаголу водъ его внимали,
И золотны облака
Изъ южныхъ странъ, издалека,
Его на сѣверъ провожали;
И скалы тѣсною толпой,
Таинственной дремоты полны,

Надъ нимъ склонялись головой,
Слѣдя мелькающія волны;
И башни замковъ на скалахъ
Смотрѣли грозно сквозь туманы:
У вратъ Кавказа на часахъ
Сторожевые великаны!
И дикъ, и чуденъ былъ вокругъ
Весь Божій міръ, но гордый духъ
Презрительнымъ окинулъ окомъ
Творенье Бога своего,
И на челѣ его высокомъ
Не отразилось ничего.

IV.

И передъ нимъ иной картины
Красы живыя разцвѣли:
Роскошной Грузіи долины
Ковромъ раскинулись вдали.
Счастливый, пышный край земли!
Столпообразныя руины,
Звонко-бѣгущіе ручьи
По дну изъ камней разноцвѣтныхъ,
И кущи розъ, гдѣ соловьи
Поютъ красавицъ, безотвѣтныхъ
На сладкій голосъ ихъ любви;
Чинаръ развѣсистыя сѣни,
Густымъ вѣнчанныя плющемъ,
Пещеры, гдѣ палящимъ днемъ
Таятся робкіе олени,
И блескъ, и жизнь, и шумъ листовъ,
Стозвучный говоръ голосовъ,
Дыханье тысячи растений,
И полдня сладострастный зной,
И ароматною росой

Всегда увлажненные ночи,
И звѣзды яркія, какъ очи,
Какъ взоръ грузинки молодой.
Но кромѣ зависти холодной
Природы блескъ не возбудилъ
Въ груди изгнанника безплотной
Ни новыхъ чувствъ, ни новыхъ силъ—
И все, что предъ собой онъ видѣлъ,
Онъ презиралъ, иль ненавидѣлъ.

V.

Высокій домъ, широкій дворъ
Сѣдой Гудалъ себѣ построилъ...
Трудовъ и слезъ онъ много стоилъ
Рабамъ, послушнымъ съ давнихъ поръ.
Съ утра на скатъ сосѣднихъ горъ
Отъ стѣнъ его ложатся тѣни;
Въ скалѣ нарублены ступени;
Онъ отъ башни угловой
Ведутъ къ рѣкѣ; по нимъ мелькая,
Покрыта бѣлою чадрой,
Княжна Тамара молодая
Къ Арагвѣ ходить за водой.

VI.

Всегда безмолвно на долины
Глядѣлъ съ утеса мрачный домъ;
Но пиръ большой сегодня въ немъ,
Звучитъ зурна и льются вина:
Гудалъ сосваталъ дочь свою;
На пиръ онъ созвалъ всю семью.
На кровлѣ, устланной коврами,
Сидитъ невѣста межъ подругъ;
Средь игръ и пѣсенъ ихъ досугъ

Проходить. Дальними горами
Ужъ спрятанъ солнца полукругъ.
Въ ладони мѣрно ударяя,
Онѣ поютъ, и бубенъ свой
Береть невѣста молодая—
И вотъ она, одной рукой
Кружа его надъ головой,
То вдругъ помчится легче птицы,
То остановится—глядить,
И влажный взоръ ея блестить
Изъ-подъ завистливой рѣсницы;
То черной бровью поведетъ,
То вдругъ наклонится немножко,
И по ковру скользить, плыветъ
Ея божественная ножка;
И улыбается она,
Веселья дѣтскаго полна.
И лучъ луны, по влагѣ зыбкой
Слегка играющій порой,
Едва ль сравнится съ той улыбкой,
Какъ жизнь, какъ молодость, живой.

VII.

Клянусь полночною звѣздой,
Лучемъ заката и востока,
Властитель Персіи златой
И ни единый царь земной
Не цѣловалъ такого ока;
Гарема брызжущій фонтанъ
Ни разу, жаркою порою,
Своей жемчужною росой
Не брызгалъ на подобный станъ;
Еще ни чья рука земная,
По милому челу блуждая,

Такихъ волосъ не расплела.
Съ тѣхъ поръ, какъ міръ лишился рая,
Клянусь, красавица такая
Подъ солнцемъ юга не цвѣла.

VIII.

Въ послѣдній разъ она плясала...
Увы! завтра ожидала
Ее, наслѣдницу Гудала,
Свободы рѣзвое дитя,
Судьба печальная рабыни,
Отчизна чуждая понинѣ
И незнакомая семья.
И часто тайное сомнѣнье
Темнило свѣтлыя черты;
Но были всѣ ея движенья
Такъ стройны, полны выраженья,
Такъ полны милой простоты,
Что если бъ Демонъ, пролетая,
Въ то время на нее взглянулъ,
То, прежнихъ братьевъ вспоминая,
Онъ отвернулся бъ — и вздохнулъ...

IX.

И Демонъ видѣлъ... На мгновенье
Неизъяснимое волненье
Въ себѣ почувствовалъ онъ вдругъ.
Нѣмой души его пустыню
Наполнилъ благодатный звукъ,
И вновь постигнуть онъ святыню
Любви, добра и красоты...
И долго сладостной картиной
Онъ любовался — и мечты
О прежнемъ счастьѣ цѣпью длинной,

Какъ будто за звѣздой звѣзда,
Предъ нимъ катилися тогда.
Прикованный незримой силой,
Онъ съ новой грустью сталъ знакомъ,
Въ немъ чувство вдругъ заговорило
Роднымъ когда-то языкомъ.
То былъ ли признакъ возрожденья?
Онъ словъ коварныхъ искушенья
Найти въ умѣ своемъ не могъ.
Забить? — Забвенья не далъ Богъ,
Да онъ и не взялъ бы забвенья.

.....

X.

Измучивъ добраго коня,
На брачный пиръ, къ закату дня,
Спѣшить женихъ нетерпѣливой.
Арагвы свѣтлой онъ счастливо
Достигъ зеленыхъ береговъ.
Подъ тяжкой ношею даровъ
Едва-едва переступая,
За нимъ верблюдовъ длинный рядъ
Дорогой тянется; мелькая,
Ихъ колокольчики звенять...
Онъ самъ, властитель Синодала,
Ведетъ богатый караванъ.
Ремнемъ затянуть ловкій станъ;
Оправа сабли и кинжала
Блестить на солнцѣ; за спиной
Ружье съ насѣчкой вырѣзной;
Играетъ вѣтеръ рукавами
Его чухи;* кругомъ она

* Верхняя одежда съ откидными рукавами.

Вся галуномъ обложена.
Цвѣтными вышито шелками
Его сѣдло; узда съ кистями;
Подъ нимъ весь въ мылѣ конь лихой,
Безцѣнной масти золотой.
Питомецъ рѣзвый Карабаха,
Прядеть ушами и, полный страха,
Храпя, косится съ крутизны
На пѣну скачущей волны.
Опасенъ, узокъ путь прибрежной:
Утесы съ лѣвой стороны,
Направо глубь рѣки мятежной.
Ужъ поздно. На вершинѣ снѣжной
Румянецъ гаснетъ; всталъ туманъ...
Прибавилъ шагу караванъ.

XI.

И вотъ часовня на дорогѣ...
Тутъ съ давнихъ лѣтъ почіеть въ Богѣ
Какой-то князь, теперь святой,
Убитый мстительной рукой.
Съ тѣхъ поръ, на праздникъ, иль на битву,
Куда бы путникъ ни спѣшилъ,
Всегда усердную молитву
Онъ у часовни приносилъ;
И та молитва сберегала
Отъ мусульманскаго кинжала.
Но прѣзрѣлъ молодой женихъ
Обычай пращѣдовъ своихъ —
Его коварною мечтою
Лукавый Демонъ возмущалъ:
Онъ въ мысляхъ подъ ночью тѣмою
Уста невѣсты цѣловалъ...
Вдругъ впереди мелькнули двое,
И больше... Выстрѣлъ... Что такое?

Привставъ на звонкихъ стременахъ,
Надвинувъ на брови папахъ,*
Отважный князь не молвилъ слова;
Въ рукѣ сверкнулъ турецкій стволъ;
Нагайка щёлкътъ — и какъ орелъ
Онъ кинулся.... и выстрѣлъ снова,
И дикій крикъ, и стонъ глухой
Промчались въ глубинѣ долины...
Недолго продолжался бой:
Вѣжали робкіе грузины.

XII.

И стихло все... Тѣснясь толпой
На трупы всадниковъ, порой
Верблюды съ ужасомъ глядѣли,
И глухо въ тишинѣ ночной
Ихъ колокольчики звенѣли.
Разграбленъ пышный караванъ
И надъ тѣлами христіанъ
Чертитъ круги ночная птица.
Не ждетъ ихъ мирная гробница
Подъ слоємъ монастырскихъ плитъ,
Гдѣ прахъ отцовъ ихъ былъ зарытъ;
Не придутъ сестры съ матерями,
Покрыты длинными чадрами,
Съ тоской, рыданьемъ и мольбами
На гробъ ихъ изъ далекихъ мѣстъ!
За-то усердною рукою,
Здѣсь у дороги, подъ скалою,
На память водрузится крестъ;
И плющъ, разросшійся весною,
Его, ласкаясь, обовѣтъ

* Шапка вродѣ эриванки.

Своею сѣткой изумрудной;
И, своротивъ съ дороги трудной,
Не разъ усталый пѣшеходъ
Подъ Божьей тѣнью отдохнуть....

XIII.

Несется конь быстрѣ лани,
Храпитъ и рвется будто къ брани,
То вдругъ осадить на скаку,
Прислушается къ вѣтерку,
Широко ноздри раздувая;
То разомъ въ землю ударяя
Шипами звонкими копытъ,
Взмахнувъ растрепанною гривой,
Впередъ безъ памяти летить.
На немъ есть всадникъ молчаливой;
Онъ бьется на сѣдлѣ порой,
Принавъ на гриву головой.
Ужъ онъ не править поводями,
Задвинулъ ноги въ стремяна,
И кровь широкими струями
На чепракъ его видна....
Скакунъ лихой, ты господина
Изъ боя вынесъ какъ стрѣла,
Но злая пуля осетина
Его во мракъ догнала.

XIV.

Въ семьѣ Гудала плачь и стоны,
Толпится на дворѣ народъ:
Чей конь примчался запаленный,
И пахъ на камни у воротъ?
Кто этотъ всадникъ бездыханный?
Хранили слѣдъ тревоги бранной

Морщины смутлаго чела.
Въ крови оружіе и платье;
Въ послѣднемъ бѣшенѣмъ пожать
Рука на гривѣ замерла.
Недолго жениха младова,
Невѣста, взоръ твой ожидалъ!
Сдержалъ онъ княжеское слово:
На брачный пиръ онъ прискакалъ....
Увы! но никогда ужъ снова
Не сядетъ на коня лихова!...

ху.

На беззаботную семью
Какъ громъ слетѣла Божья кара.
Упала на постель свою,
Рыдаеть бѣдная Тамара;
Слеза катится за слезой,
Грудь высока и трудно дышать....
И вотъ она какъ будто слышитъ
Волшебный голосъ надъ собой:
«Не плачь, дитя, не плачь напрасно!
Твоя слеза на трупъ безгласный
Живой росой не упадетъ;
Она лишь взоръ туманить ясный.
Ланиты дѣвственныя жжетъ!
Онъ далеко, онъ не узнаетъ,
Не опѣнитъ тоски твоей;
Небесный свѣтъ теперь ласкаетъ
Безплотный взоръ его очей;
Онъ слышитъ райскіе напѣвы....
Что жизни мѣлочныя сны,
И стонъ, и слезы бѣдной дѣвы
Для гостя райской стороны?
Нѣтъ, жребій смертнаго творенья,
Повѣрь мнѣ, ангелъ мой земной,

Не стоитъ одного мгновенья
Твоей печали дорогой!

«На воздушнои океанѣ,
Безъ руля и безъ вѣтриль,
Тихо плаваютъ въ туманѣ
Хоры стройныя свѣтилъ.
Средь полей необозримыхъ
Въ небѣ ходятъ безъ слѣда
Облаковъ неувидимыхъ
Волокнистыя стада.
Часъ разлуки, часъ свиданья —
Имъ не радость, не печаль;
Имъ въ грядущемъ нѣтъ желанья,
Имъ прошедшаго не жаль.
Въ день томительный несчастья
Ты о нихъ лишь вспомяни,
Будь къ земному безъ участья
И безпечна, какъ они!

«Лишь только ночь своимъ покровомъ
Верхи Кавказа осѣнитъ,
Лишь только міръ, волшебнымъ словомъ
Завороженный, замолчитъ;
Лишь только вѣтеръ надъ скалою
Увядшей шевельнетъ травю,
И птичка, спрятанная въ ней,
Порхнетъ во мракъ веселій;
И подъ лозю виноградною,
Росу небесъ глотая жадно,
Цвѣтокъ распухнетъ ночью;
Лишь только мѣсяцъ золотой
Изъ-за горы тихонько встанетъ
И на тебя украдкой взглянетъ—
Къ тебѣ я стану прилетать,
Гостить я буду до денницы,

И на шелковыя рѣсницы
Сны золотые навѣвать...»

XVI.

Слова умолкли... Въ отдаленны
Вослѣдъ за звукомъ умеръ звукъ...
Она, вскочивъ, глядитъ вокругъ...
Невыразимое смятенье
Въ ея груди; печаль, испугъ,
Восторга пылъ—ничто въ сравненьи;
Всѣ чувства въ ней кипѣли вдругъ.
Душа рвала свои оковы,
Огонь по жиламъ пробѣгалъ,
И этотъ голосъ чудно новый,
Ей мнилось, все еще звучалъ.
И передъ утромъ сонъ желанный
Глаза усталые смежилъ;
Но мысль ея онъ возмущилъ
Мечтой пророческой и странной:
Пришлецъ туманный и нѣмой,
Красой блистая неземной,
Къ ея склонился изголовью;
И взоръ его съ такой любовью,
Такъ грустно на нее смотрѣлъ,
Какъ будто онъ объ ней жалѣлъ.
То не былъ ангелъ-небожитель,
Ея божественный хранитель:
Вѣнецъ изъ радужныхъ лучей
Не украшалъ его кудрей;
То не былъ ада духъ ужасный,
Порочный мученикъ—о, нѣтъ!
Онъ былъ похожъ на вечеръ ясный:
Ни день, ни ночь, ни мракъ, ни свѣтъ!...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

«Отецъ! отецъ! оставь угрозы,
Свою Тамару не брани.
Я плачу. Видишь эти слезы?...
Уже не первыя они....
Напрасно женихи толпою
Спѣшать сюда изъ дальнихъ мѣстъ....
Не мало въ Грузіи невѣстъ;
А мнѣ не быть ни чѣей женою....
О, не брани, отецъ, меня!
Ты самъ замѣтилъ: день отъ дня
Я вяну—жертва злой отравы!
Меня терзаетъ духъ лукавый
Неотразимою мечтой;
Я гибну—сжался надо мной!
Отдай въ священную обитель
Дочь безразсудную свою:
Тамъ защититъ меня Спаситель,
Предъ нимъ тоску мою пролью.
На свѣтъ нѣтъ ужъ мнѣ веселья....
Святѣнни миромъ осѣня,
Пусть приметъ сумрачная келья,
Какъ гробъ, заранѣе меня.»

II.

И въ монастырь уединенный
Ее родные отвезли,
И власяницею смиренной
Грудь молодую облекли.
Но и въ монашеской одеждѣ,
Какъ подъ узорною парчой,

Все незаконною мечтой
Въ ней сердце билось, какъ прежде.
Предъ алтаремъ, при блескѣ свѣтъ,
Въ часы торжественнаго пѣнья,
Знакомая, среди моленья,
Ей часто слышалася рѣчь.
Подъ сводомъ сумрачнаго храма
Знакомый образъ иногда
Скользилъ безъ звука и слѣда;
Въ туманѣ легкомъ очима
Сіялъ онъ тихо, какъ звѣзда,
Манилъ и звалъ онъ.... но куда?...

III.

Въ прохладѣ межъ двумя холмами
Таился монастырь святой.
Чинарь и тополей рядами,
Онъ окруженъ былъ—и порой,
Когда ложилась ночь въ ущельи,
Сквозь нихъ мелькала въ окнахъ кельи
Лампада схимницы молодой.
Кругомъ въ тѣни деревь миндаальныхъ,
Гдѣ рядъ стоитъ крестовъ печальныхъ,
Безмолвныхъ сторожей гробницъ,
Спѣвались хоры легкихъ птицъ;
По камнямъ прыгали, шумѣли
Ключи студёною волной,
И подъ нависшею скалой,
Сливаясь дружески въ ущельи,
Катились дальше межъ кустовъ,
Покрытыхъ инеемъ цвѣтовъ.

IV.

На сѣверъ видны были горы.
При блескѣ утренней авроры,

Когда синѣющій дымокъ
Курится въ глубинѣ долины,
И обращаясь на востокъ,
Зовутъ къ молитвѣ муэззины;
И, звучный колокола гласъ
Дрожить, обитель пробуждая,
Въ торжественный и мирный часъ;
Когда грузинка молодая
Съ кувшиномъ длиннымъ за водой
Съ горы спускается крутой—
Вершины цѣпи снѣговой,
Свѣтло-лиловою стѣной,
На чистомъ небѣ рисовались;
А въ часъ заката одѣвались
Онѣ румяной пеленой.
И между нихъ, прорѣзавъ тучи,
Стоялъ всѣхъ выше головой
Казбекъ, Кавказа царь могучій,
Въ чалмѣ и ризѣ парчевой.

У.

Но, полно думою преступной,
Тамары сердце недоступно
Восторгамъ чистымъ. Передъ ней
Весь міръ одѣтъ угрюмой тѣнью;
И все ей въ немъ предлогъ къ мученью—
И утра лучъ, и мракъ ночей.
Бывало, только ночи сонной
Прохлада землю обойметъ,
Передъ божественной иконой
Она въ безумьи упадетъ,
И плачетъ; и въ nocturno молчаньи
Ея тяжелое рыданье
Тревожитъ путника вниманье,
И мыслить онъ: «то горный духъ

Прикованный въ пещерѣ стонетъ!»
И, чуткій напрягая слухъ,
Коня измученнаго гонить....

VI.

Тоской и трепетомъ полна,
Тамара часто у окна
Сидитъ въ раздумьи одинокомъ
И смотреть въ даль прилежнымъ окомъ,
И цѣлый день, вздыхая, ждетъ....
Ей кто-то шепчетъ: «онъ придетъ!»
Не даромъ сны ее ласкали,
Не даромъ онъ являлся ей
Съ глазами полными печали
И чудной нѣжностью рѣчей.
Ужъ много дней она томится,
Сама не зная почему;
Святымъ захочетъ ли молиться,
А сердце молится ему;
Утомлена борьбой всегдашней
Склонится ли на ложе сна—
Подушка жжетъ, ей душно, страшно,
И вся, вскочивъ, дрожить она;
Трепещетъ грудь, пылаютъ плечи,
Нѣтъ силъ дышать, туманъ въ очахъ,
Объятья жадно ищутъ встрѣчи,
Лобзанья таютъ на устахъ....

.
.

VII.

Вечерней мглы покровъ воздушный
Ужъ холмы Грузіи одѣлъ.
Привычекъ сладостной послушный,

Въ обитель Демонъ прилетѣлъ.
Но долго, долго онъ не смѣлъ
Святиню мирнаго пріюта
Нарушить—и была минута,
Когда, казалось, онъ готовъ
Оставить умысль жестокой.
Задумчивъ, у стѣны высокой
Онъ бродить; отъ его шаговъ
Безъ вѣтра листь въ тѣни трепещеть.
Онъ поднялъ взоръ: ея окно,
Озарено лампадой, блещеть;
Кого-то ждетъ она давно.
И вотъ средь общаго молчанья
Чингара * стройное бряцанье
И звуки пѣсни раздались;
И звуки тѣ лились, лились,
Какъ слезы, мѣрно другъ за другомъ;
И эта пѣснь была нѣжна,
Какъ будто для земли она
Была на небѣ сложена.
Не ангелъ ли съ забытымъ другомъ
Вновь повидаться захотѣлъ,
Сюда украдкою слетѣлъ,
И о быломъ ему пропѣлъ,
Чтобъ усладить его мученье?...
Тоску любви, ея волненье
Постигнулъ Демонъ въ первый разъ...
Онъ хочеть въ страхѣ удалиться—
Его крыло не шевелится!
И чудо! изъ померкшихъ глазъ
Слеза тяжелая катится....
Понинѣ возлѣ кельи той
Насквозь прожженный виденъ камень

* Чингаръ, чингара—родъ гитары.

Слезою жаркою какъ пламень,
Не человѣческой слезой!...

viii.

И входить онъ, любить готовый,
Съ душой открытой для добра;
И мыслить онъ, что жизни новой
Пришла желанная пора.
Неясный трепеть ожиданья,
Страхъ неизвѣстности нѣмой,
Какъ будто въ первое свиданье,
Спознались съ гордою душой;
То было злое предвѣщанье...
Онъ входить, смотреть, передъ нимъ
Посланникъ рая—херувимъ,
Хранитель грѣшницы прекрасной,
Стоить съ блистающимъ челомъ,
И отъ врага съ улыбкой ясной
Приосѣнилъ ее крыломъ....
И лучъ божественнаго свѣта
Вдругъ ослѣпилъ нечистый взоръ,
И вмѣсто сладкаго привѣта
Раздался тягостный укоръ:

ix.

«Духъ безпокойный, духъ порочный,
Кто звалъ тебя во тьмѣ полночной?
Твоихъ поклонниковъ здѣсь нѣтъ;
Зло не дышало здѣсь понинѣ!
Къ моей любви, къ моей святынѣ
Не пролагай преступный слѣды!
Кто звалъ тебя?»

Ему въ отвѣтъ
Злой духъ коварно усмѣхнулся;

Зардѣлся ревностію взглядъ,
И вновь въ душѣ его проснулся
Старинной ненависти ядъ.
«Она моя!—сказалъ онъ грозно—
Оставь ее! она моя!
Явился ты, защитникъ, поздно,
И ей, какъ мнѣ, ты не судья.
На сердце, полное гордыни,
Я наложилъ печать мою;
Здѣсь больше нѣтъ твоей святыни;
Здѣсь я владѣю и люблю!»

И ангелъ грустными очами
На жертву бѣдную взглянулъ
И, медленно взмахнувъ крылами,
Въ эфирѣ неба потонулъ...

.

Х.

ТАМАРА.

О, кто ты? Рѣчь твоя ужасна!
Тебя послалъ мнѣ адъ или рай?
Чего ты хочешь?

ДЕМОНЪ.

Ты прекрасна!

ТАМАРА.

Но кто ты, кто ты?... Отвѣчай!...

ДЕМОНЪ.

Я тотъ, которому внимала
Ты въ полуночной тишинѣ,
Чья мысль душѣ твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,

Чей образъ видѣла во снѣ;
Я тотъ, чей взоръ надежду губить,
Едва надежда разцвѣтетъ;
Я тотъ, кого никто не любить,
Но все живущее клянеть.
Ничто пространство мнѣ и годы;
Я бичъ рабовъ моихъ земныхъ,
Я царь познанья и свободы,
Я врагъ небесъ, я зло природы,
И видишь—я у ногъ твоихъ!
Тебѣ принесъ я въ умиленьи
Молитву тихую любви,
Земное первое мученье
И слезы первыя мои.
О, выслушай изъ сожалѣнья!
Меня добру и небесамъ
Ты возвратить могла бы словомъ;
Твоей любви святымъ покровомъ
Одѣтый, я предсталъ бы тамъ,
Какъ новый ангелъ въ блескѣ новомъ.
О! только выслушай, молю,
Я рабъ твой, я тебя люблю!
Лишь только я тебя увидѣлъ—
И тайно вдругъ возненавидѣлъ
Безсмертіе и власть мою.
Я позавидовалъ невольно
Неполной радости земной;
Не жить, какъ ты, мнѣ стало больно,
И страшно—розно жить съ тобой.
Въ безкровномъ сердцѣ лучъ нежданный
Опять затеплился живѣй,
И грусть на днѣ старинной раны
Зашевелилася какъ змѣй.
Что безъ тебя мнѣ эта вѣчность?
Моихъ владѣній безконечность?

Пустыя, звучныя слова,
Обширный храмъ безъ божества!

ТАМАРА.

Оставь меня, о духъ лукавый!
Молчи, не вѣрю я врагу!
Творецъ!... увя, я не могу
Молиться... гибельной отравой
Мой умъ слабѣющій объять.
Послушай, ты меня погубишь;
Твои слова—огонь и ядъ....
Скажи, зачѣмъ меня ты любишь?

ДЕМОНЪ.

Зачѣмъ, красавица? Увы,
Не знаю! полонъ жизни новой,
Съ моей преступной головы
Я гордо снялъ вѣнецъ терновый
Я все бывшее бросилъ въ прахъ;
Мой рай, мой адъ въ твоихъ очахъ!
Люблю тебя не здѣшней страстью,
Какъ полюбить не можешь ты:
Всѣмъ упоеніемъ, всей властью
Безсмертной мысли и мечты.
Въ душѣ моей съ начала міра
Твой образъ былъ напечатлѣнъ,
Передо мной носился онъ
Въ пустыняхъ вѣчнаго эмира.
Давно тревожа мысль мою,
Мнѣ имя сладкое звучало;
Во дни блаженства мнѣ въ раю
Одной тебя недоставало.
О! если бъ ты могла понять,
Какое горькое томленье
Всю жизнь, вѣка безъ раздѣленья,

И наслаждаться и страдать,
За зло похвалъ не ожидать,
Ни за добро вознагражденья;
Жить для себя, скучать собой,
И этой вѣчною борьбой
Безъ торжества, безъ примиренья!
Всегда жалѣть и не желать,
Все знать, все чувствовать, все видѣть,
Все противъ воли ненавидѣть,
И все на свѣтѣ презирать!...

Лишь только Божіе проклятье
Исполнилось, съ того же дня
Природы жаркія объятья
Навѣкъ остыли для меня...
Синѣло предо мной пространство,
Я видѣлъ брачное убранство
Свѣтилъ знакомыхъ мнѣ давно....
Они текли въ вѣнцахъ изъ злата;
Но что же?—прежняго собрата
Не узнавало ни одно!
Изгнанниковъ, себѣ подобныхъ,
Я звать въ отчаяніи сталъ,
Но словъ, и лицъ, и взоровъ злобныхъ,
Увы! я самъ не узнавалъ.
И въ страхѣ я, взмахнувъ крылами,
Помчался... но куда? зачѣмъ?—
Не знаю. Препными друзьями
Я былъ отвергнутъ; какъ эдемъ
Міръ для меня сталъ глухъ и нѣмъ.
По вольной прихоти теченья,
Такъ поврежденная ладья
Безъ парусовъ и безъ руля
Плыветъ, не зная назначенья;
Такъ ранней утренней порой

Отрывокъ тучи громовой,
Въ лазурной вышинѣ чернѣя,
Одинъ, нигдѣ пристать не смѣя,
Летитъ безъ цѣли и слѣда,
Богъ вѣсть, откуда и куда!

И я людьми не долго правилъ,
Грѣху не долго ихъ училъ;
Все благородное безславилъ
И все прекрасное хулилъ,
Не долго.... Пламень чистой вѣры
Легко навѣкъ я залилъ въ нихъ....
И стоили ль трудовъ моихъ
Одни глупцы, да лицемѣры?
И скрылся я въ ущельяхъ горъ;
И сталъ бродить, какъ метеоръ,
Во мракѣ полночи глубокой....
И мчался путникъ одинокой,
Обмануть близкимъ огонькомъ,
И, въ бездну падая съ конемъ,
Напрасно звалъ—и слѣдъ кровавый
За нимъ вился по крутизнѣ....
Но злобы мрачныя забавы
Не долго нравились мнѣ.
Въ борьбѣ съ могучимъ ураганомъ,
Какъ часто, подымая прахъ,
Одѣтый молнией и туманомъ,
Я шумно мчался въ облакахъ,
Чтобы въ толпѣ стихій мятежной
Сердечный ропотъ заглушить,
Спасти отъ думы неизбежной
И незабвенное забыть!
Что повѣсть тягостныхъ лишеній,
Трудовъ и бѣдъ толпы людской,
Грядущихъ, прошлыхъ поколѣній,

Передъ минутою одной
Моихъ непризнанныхъ мученій?
Что люди? Что ихъ жизнь и трудъ?
Они прошли, они пройдутъ!
Надежда есть: ждетъ правый судъ;
Простить онъ можетъ, хотъ осудить!
Моя жъ печаль безсмѣнно тутъ
И ей конца, какъ мнѣ, не будетъ,
И не вздремнуть въ могилѣ ей!
Она—то ластится какъ змѣй,
То жжетъ и блещетъ будто пламень,
То давить мысль мою какъ камень—
Надеждъ погибшихъ и страстей
Несокрушимый мавзолей!

ТАМАРА.

Зачѣмъ мнѣ знать твои печали,
Зачѣмъ ты жалуешься мнѣ?
Ты согрѣшилъ....

ДЕМОНЪ.

Противъ тебя ли?

ТАМАРА.

Насъ могутъ слышать...

ДЕМОНЪ.

Мы одни.

ТАМАРА.

А Богъ?

ДЕМОНЪ.

На насъ не кинетъ взгляда:
Онъ занятъ небомъ, не землею!

ТАМАРА.

А наказанье? Муки ада?

ДЕМОНЪ.

Такъ что жъ? Ты будешь тамъ со мной!

ТАМАРА.

Кто бы ни былъ ты, мой другъ случайный,
Покой навѣки погубя,
Неволью я съ отрадой тайной,
Страдалецъ, слушаю тебя.
Но если рѣчь твоя лукава,
Но если ты, обманъ тая...
О! пощади!... Какая слава!...
На что тебѣ душа моя?
Ужели небу я дороже
Всѣхъ незамѣченныхъ тобой?
Онѣ, увя! прекрасны тоже;
Какъ здѣсь, ихъ дѣвственное ложе
Не смято смертнаго рукой!...
Нѣтъ! дай мнѣ клятву роковую....
Скажи—ты видишь, я тоскую,
Ты видишь женскія мечты!
Неволью страхъ въ душѣ ласкаешь...
Но ты все понялъ, ты все знаешь
И сжалишься, конечно, ты!
Клянися мнѣ... отъ злыхъ стяжаній
Отречься нынѣ дай обѣтъ!
Ужель ни клятвъ, ни обѣщаній
Ненарушимыхъ больше нѣтъ?...

ДЕМОНЪ.

Клянусь я первымъ днемъ творенья,
Клянусь его послѣднимъ днемъ,
Клянусь позоромъ преступленья
И вѣчной правды торжествомъ;
Клянусь паденья горькой мукой,
Побѣды краткою мечтой,

Клянусь свиданіемъ съ тобой
И вновь грозящею разлукой;
Клянуся сонмищемъ духовъ,
Судьбою братій мнѣ подвластныхъ,
Мечами ангеловъ безстрастныхъ,
Моихъ недремлющихъ враговъ;
Клянуся небомъ я и адомъ,
Земной святыней и тобой;
Клянусь твоимъ послѣднимъ взглядомъ,
Твоею первою слезой,
Незлобныхъ устъ твоихъ дыханьемъ,
Волною шолковыхъ кудрей;
Клянусь блаженствомъ и страданьемъ,
Клянусь любовію моею—
Отрекся я отъ старой мести,
Отрекся я отъ гордыхъ думъ;
Отнынѣ ядъ коварной лести
Ни чей ужъ не встревожить умъ;
Хочу я съ небомъ примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я вѣровать добру.
Слезой раскаянья сотру
Я на челѣ, тебя достойномъ,
Слѣды небеснаго огия;
И міръ въ невѣдѣнныи спокойномъ
Пусть доцвѣтаетъ безъ меня!
О! вѣрь мнѣ: я одинъ понинѣ
Тебя постигъ и опѣнилъ.
Избравъ тебя моею святыней,
Я власть у ногъ твоихъ сложилъ.
Твоей любви я жду какъ дара,
И вѣчность дамъ тебѣ за мигъ;
Въ любви, какъ въ злобѣ, вѣрь, Тамара,
Я неизмѣненъ и великъ.
Тебя я, вольный сынъ ээира,

Возьму въ надзвѣздные края,
И будешь ты царицей міра,
Подруга первая моя;
Безъ сожалѣнья, безъ участія
Смотрѣть на землю станешь ты,
Гдѣ нѣтъ ни истиннаго счастья,
Ни долговѣчной красоты,
Гдѣ преступленья лишь, да казни,
Гдѣ страсти мелкой только жить;
Гдѣ не умѣютъ безъ боязни
Ни ненавидѣть, ни любить.
Иль ты не знаешь, что такое
Людей минутная любовь?—
Волненіе крови молодое!—
Но дни бѣгутъ и стынетъ кровь.
Кто устоитъ противъ разлуки,
Соблазна новой красоты,
Противъ усталости и скуки,
И своенравія мечты?
Нѣтъ! не тебѣ, моей подругѣ,
Узнай, назначено судьбой
Увянуть молча въ тѣсномъ кругѣ
Ревнивой грубости рабой,
Средь малодушныхъ и холодныхъ,
Друзей притворныхъ и враговъ,
Боязней и надеждъ бесплодныхъ,
Пустыхъ и тягостныхъ трудовъ!
Печально за стѣной высокой
Ты не угаснешь безъ страстей,
Среди молитвъ, равно далеко
Отъ божества и отъ людей.
О, нѣтъ! прекрасное созданье,
Къ иному ты присуждена;
Тебя иное ждетъ страданье,
Иныхъ восторговъ глубина!

Оставь же прежнія желанья
И жалкій свѣтъ его судьбѣ:
Пучину гордаго познанья
Въ замѣнъ открою я тебѣ.
Толпу духовъ моихъ служебныхъ
Я приведу къ твоимъ стопамъ;
Прислужницъ легкихъ и волшебныхъ
Тебѣ, красавица, я дамъ;
И для тебя съ звѣзды восточной
Сорву вѣнецъ я золотой,
Возьму съ цвѣтовъ росы полночной,
Его усыплю той росой;
Лучемъ румянаго заката
Твой станъ, какъ лентой, обовью;
Дыханьемъ чистымъ аромата
Окрестный воздухъ напою!
Всечасно дивною игрою
Твой слухъ лелѣять буду я;
Чертоги пышные построю
Изъ бирюзы и янтаря;
Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дамъ тебѣ все, все земное—
Люби меня!...

XI.

—И онъ слегка

Коснулся жаркими устами
Къ ея трепещущимъ губамъ;
Соблазна полными рѣчами
Онъ отвѣчалъ ея мольбамъ.
Могучій взоръ смотрѣлъ ей въ очи.
Онъ жегъ ее. Во мракъ ночи,
Предъ нею прямо онъ сверкалъ
Неотразимый, какъ кинжалъ.

Увы! злой духъ торжествовалъ!
Смертельный ядъ его лобзанья
Мгновенно въ грудь ея проникъ...
Мучительный, ужасный крикъ
Ночное возмущилъ молчанье...
Въ немъ было все: любовь, страданье,
Упрекъ съ послѣднею мольбой,
И безнадежное прощанье—
Прощанье съ жизнью молодой...

.

XII.

Въ то время сторожъ полуночный,
Одинъ вокругъ стѣны крутой,
Свершая тихо путь урочный,
Бродилъ съ чугунною доской,
И возлѣ кельи дѣвы юной
Онъ шагъ свой жѣрный укротилъ,
И руку надъ доской чугунной,
Смутясь душой, остановилъ,
И сквозь окрестное молчанье,
Ему казалось, слышалъ онъ
Двухъ устъ согласное лобзанье,
Минутный крикъ, и слабый стонъ....
И нечестивое сомнѣнь
Проникло въ сердце старика...
Но пронеслось еще мгновенье —
И стихло все; издалека
Лишь дуновенье вѣтерка
Роптанье листьевъ приносило,
Да съ темнымъ берегомъ уныло
Шепталась горная рѣка.
Канонъ угодника святаго
Спѣшитъ онъ въ страхѣ прочитать,
Чтобъ навожденъ духа злаго

Отъ грѣшной мысли отогнать;
Крестить дрожащими перстами
Мечтой взволнованную грудь,
И, молча, скорыми шагами
Обычный продолжаетъ путь.

.

XIII.

Какъ пери спящая мила,
Она въ гробу своемъ лежала;
Бѣлѣй и чище покрывала
Быль томный цвѣтъ ея чела.
Навѣкъ опущены рѣсницы...
Но кто бѣ, о небо! не сказалъ,
Что взоръ подѣ ними лишь дремалъ,
И, чудный, только ожидалъ
Иль подѣлуя, иль денницы?
Но бесполезно лучъ дневной
Скользиль по нимъ струей златой;
Напрасно ихъ въ нѣмой печали
Уста родныя цѣловали...
Нѣтъ, смерти вѣчную печать
Ничто не въ силахъ ужъ сорвать!

XIV.

Ни разу не былъ въ дни веселья,
Такъ разноцвѣтенъ и богатъ
Тамары праздничный нарядъ:
Цвѣты родимаго ущелья
[Такъ древній требуетъ обрядъ]
Надъ нею льютъ свой аромать,
И, сжаты мертвою рукою,
Какъ бы прощаются съ землею.
И ничего въ ея лицѣ
Не намекало о концѣ

Въ пылу страстей и упоенья;
И были всѣ ея черты
Исполнены той красоты,
Какъ мраморъ, чуждой выраженъ,
Лишенной чувства и ума,
Таинственной, какъ смерть сама.
Улыбка странная застыла,
Мелькнувши по ея устахъ,
О многомъ грустномъ говорила
Она внимательнымъ глазамъ.
Въ ней было холодное презрѣнье,
Души готовой отцвѣсти,
Послѣдней мысли выраженъ,
Землѣ беззвучное: прости!
Напрасный отблескъ жизни прежней,
Она была еще мертвѣй,
Еще для сердца безнадежнѣй
Навѣкъ угаснувшихъ очей.
Такъ въ часъ торжественный заката,
Когда, растаявъ въ морѣ злата,
Ужъ скрылась колесница дня,
Снѣга Кавказа на мгновенье,
Отливъ пурпурный сохраня,
Сіяють въ темномъ отдаленѣ;
Но этотъ лучъ полуживой
Въ пустынѣ отблеска не встрѣтитъ
И путь ни чей онъ не освѣтитъ
Съ своей вершины ледяной....

XV.

Толпой сосѣди и родные
Ужъ собрались въ печальный путь.
Терзая локоны сѣдые,
Безмолвно поражая грудь,
Въ послѣдній разъ Гудаль садится

На бѣлогриваго коня,
И поѣздъ тронулся. — Три дня,
Три ночи путь ихъ будетъ длиться.
Межъ старыхъ дѣдовскихъ костей
Пріюти покойный вырыть ей.
Одинъ изъ праотцевъ Гудала,
Грабитель странниковъ и сель,
Когда болѣзнь его сковала
И часть раскаянья пришелъ,
Грѣховъ минувшихъ въ искупленье,
Построить церковь обѣщалъ
На высотѣ гранитныхъ скалъ,
Гдѣ только вьюги слышно пѣнье,
Куда лишь коршунъ залеталъ.
И скоро межъ сѣговъ Казбека
Поднялся одинокій храмъ,
И кости злаго человѣка
Вновь успокоились тамъ;
И превратилася въ кладбище
Скала родная облакамъ:
Какъ будто ближе къ небесамъ
Теплѣй посмертное жилище;
Какъ будто дальше отъ людей
Послѣдній сонъ не возмутится...
Напрасно! мертвымъ не приснится
Ни грусть, ни радость прежнихъ дней.

XVI.

Въ пространствѣ синяго зѣира
Одинъ изъ ангеловъ святыхъ
Летѣлъ на крыльяхъ золотыхъ,
И душу грѣшную отъ міра
Онъ несъ въ объятіяхъ своихъ;
И сладкой рѣчью упованья
Ея сомнѣнья разгонялъ,

И слѣдъ проступка и страданья
Съ нея слезами онъ смывалъ.
Издалека ужъ звуки рая
Къ нимъ доносилися—какъ вдругъ,
Свободный путь пересѣкая,
Взвился изъ бездны адскій духъ...
Онъ былъ могучъ какъ вихорь шумный,
Блесталъ какъ молніи струя,
И гордо, въ дерзости безумной,
Онъ говорилъ: «она моя!»

Къ груди хранителя прижалась,
Молитвой ужась заглуша,
Тамары грѣшная душа.
Судьба грядущаго рѣшалась:
Предъ нею снова онъ стоялъ.
Но, Боже! кто бы его узналъ?
Какимъ смотрѣлъ онъ злобнымъ взглядомъ,
Какъ полонъ былъ смертельнымъ ядомъ
Вражды, незнающей конца,
И вѣяло могильнымъ хладомъ
Отъ неподвижнаго лица.

«Исчезни мрачный духъ сомнѣнья!»
Посланникъ неба отвѣчалъ:
«Довольно ты торжествовалъ,
Но часъ суда теперь насталъ,
И благо Божіе рѣшенье!
Дни испытанія прошли;
Съ одеждой брэнною земли
Оковы зла съ нея ниспали.
Узнай, давно ее мы ждали!
Ея душа была изъ тѣхъ,
Которыхъ жизнь—одно мгновенье
Невыносимаго мученья,

Недосигаемыхъ утѣхъ;
Творецъ изъ лучшаго зѣира
Соткаль живыя струны ихъ,
Онѣ не созданы для міра,
И міръ былъ созданъ не для нихъ!
Цѣной жестокой искупила
Она сомнѣнія свои...
Она страдала и любила—
И рай открылся для любви!»

И ангелъ строгими очами
На искusstеля взглянулъ,
И радостно взмахнувъ крылами,
Въ сіяньи неба потонулъ.
И проклялъ Демонъ побѣжденный
Мечты безумныя свои,
И вновь остался онъ надменный
Одинъ, какъ прежде, во вселенной
Безъ упованья и любви!...

На склонѣ каменной горы,
Надъ Кайшаурскою долиной,
Еще стоятъ до сей поры
Зубцы развалины старинной.
Разказовъ страшныхъ для дѣтей,
О нихъ еще преданья полны...
Какъ призракъ, памятникъ безмолвный,
Свидѣтель тѣхъ волшебныхъ дней,
Между деревьями чернѣть.
Внизу разсыпался аулъ,
Земля цвѣтетъ и зеленѣть,
И голосовъ нестройный гулъ
Теряется, и караваны
Идутъ, звеня, издалека.

И, низвергаясь сквозь туманы,
Блестить и пѣнится рѣка.
И жизнью вѣчно-молодою,
Прохладой, солнцемъ и весною
Природа тѣшится шутя,
Какъ беззаботное дитя.

Но грустенъ замокъ, отслужившій
Когда-то очередь свою,
Какъ бѣдный старецъ, пережившій
Друзей и милую семью.
И только ждутъ луны восхода
Его незримые жильцы:
Тогда имъ праздникъ и свобода,
Жужжать, бѣгутъ во всѣ концы.
Съдой паукъ, отшельникъ новый,
Прядетъ сѣтей своихъ основн;
Зеленыхъ ящерицъ семья
На кровлѣ весело играетъ,
И осторожная змѣя
Изъ темной щели выползаетъ
На плиту стараго крыльца:
То вдругъ совется въ три кольца,
То ляжетъ длинной полою,
И блещетъ, какъ булатный мечъ,
Забитый въ полѣ давнихъ сѣчъ,
Ненужный падшему герою...
— Все дико. Нѣтъ нигдѣ слѣдовъ
Минувшихъ лѣтъ: рука вѣковъ
Прилежно, долго ихъ сметала,
И не напомнить ничего
О славномъ имени Гудала,
О милой дочери его!
Но церковь на крутой вершинѣ,
Гдѣ взяты кости ихъ землей,

Хранима властію святой,
 Видна межъ тучъ еще понинѣ;
 И у воротъ ея стоятъ
 На стражѣ черные граниты,
 Пластами снѣжными покрыты,
 И на груди ихъ вмѣсто латъ,
 Льды вѣковѣчные горятъ.
 Обваловъ сонныя громады
 Съ уступовъ, будто водопады,
 Морозомъ схваченные вдругъ,
 Висятъ, нахмурившись, вокругъ.
 И тамъ метель дозоромъ ходитъ,
 Сдувая пыль со стѣнъ сѣдыхъ,
 То пѣсню долгую заводитъ,
 То окликаетъ часовыхъ.
 Услыша вѣсти въ отдаленѣ
 О чудномъ храмѣ въ той странѣ,
 Съ востока облака однѣ
 Спѣшать толпой на поклоненье;
 И надъ семьей могильныхъ плитъ
 Давно никто ужъ не груститъ.
 Скала угрюмаго Казбека
 Добычу жадно сторожить,
 И вѣчный ропотъ человѣка
 Ихъ вѣчный миръ не возмутитъ.

 1839.

МОЛИТВА.

Въ минуту жизни трудную,
 Тѣснится ль въ сердце грусть:
 Одну молитву чудную
 Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
Въ созвучьи словъ живыхъ,
И дышетъ непонятная,
Святая прелесть въ нихъ.

Съ души какъ бремя скатится,
Сомнѣнье далеко —
И вѣрится, и плачется,
И такъ легко, легко...



ТРИ ПАЛЬМЫ.

[ВОСТОЧНОЕ СКАЗАНИЕ].

Въ песчаныхъ степяхъ аравійской земли
Три гордыя пальмы высоко росли.
Родникъ между ними изъ почвы безплодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый, подъ сѣнью зеленыхъ листовъ,
Отъ знойныхъ лучей и летучихъ песковъ.

И многіе годы неслышно прошли;
Но странникъ усталый, изъ чуждой земли,
Пылающей грудью ко влагѣ студеной
Еще не склонялся подъ кущей зеленой,
И стали ужъ сохнуть отъ знойныхъ лучей
Роскошные листья и звучный ручей.

И стали три пальмы на Бога роптать:
«На то ль мы родились, чтобъ здѣсь увядать?
Безъ пользы въ пустынь росли и цвѣли мы,
Колелемы вихремъ и зноемъ палимы,
Ни чей благосклонный не радуя взоръ?...
Не правъ твой, о небо, святой приговоръ!...»

И только замолкли—въ дали голубой
Столбомъ ужъ крутился песокъ золотой,
Звонковъ раздавались нестройные звуки,
Пестрыли коврами покрытые выюки,
И шелъ, колыхаясь какъ въ морѣ челнокъ,
Верблюды за верблюдами, взрывая песокъ.

Мотаясь, висѣли межъ твердыхъ горбовъ
Узорныя поля походныхъ шатровъ;
Ихъ смуглыя ручки порой подымали,
И черныя очи оттуда сверкали...
И, станъ худощавый къ лукъ наклоня,
Арабъ горячилъ вороного коня.

И конь на дыбы подымался порой,
И прыгалъ, какъ барсъ пораженный стрѣлой;
И бѣлой одежды красивыя складки
По плечамъ фариса вились въ беспорядкѣ;
И, съ крикомъ и свистомъ несясь по песку,
Бросалъ и ловилъ онъ копье на скаку.

Вотъ къ пальмамъ подходитъ, шумя, караванъ;
Въ тѣни ихъ веселый раскинулся станъ.
Кувшины, звуча, налилися водою;
И, гордо кивая махровой главою,
Привѣтствуютъ пальмы неожиданныхъ гостей,
И щедро поить ихъ студеный ручей.

Но только-что сумракъ на землю упалъ,
По корнямъ упругимъ топоръ застучалъ—
И пали безъ жизни питомцы столѣтій!
Одежду ихъ сорвали малыя дѣти,
Изрублены были тѣла ихъ потомъ,
И медленно жгли ихъ до утра огнемъ.

Когда же на западъ умчался туманъ,
Урочный свой путь совершалъ караванъ;
И слѣдомъ печальнымъ на почвѣ безплодной
Виднѣлся лишь пепель сѣдой и холодной;
И солнце остатки сухіе дожгло,
А вѣтромъ ихъ въ степи потомъ разнесло.

И нынѣ все дико и пусто кругомъ—
Не шепчутся листья съ гремучимъ ключемъ:
Напрасно пророка о тѣни онъ просить—
Его лишь песокъ раскаленный заносить,
Да коршунъ хохлатый, степной нелюдимъ,
Добычу терзаеъ и щиплетъ надъ нимъ.

ДАРЫ ТЕРЕКА.

Т ерекъ воетъ, дикъ и злобенъ,
Межъ утесистыхъ громадъ,
Бурѣ плачь его подобенъ,
Слезы брызгами летять.
Но, по степи разбѣгаясь,
Онъ лукавый принялъ видъ,
И, привѣтливо ласкаясь,
Морю Каспію журчитъ:

«Разступись, о старецъ-море,
Дай приютъ моей волнѣ!
Погулялъ я на просторѣ,
Отдохнуть пора бы мнѣ.
Я родился у Казбека,
Вскормленъ грудью облаковъ,
Съ чуждой властью человѣка
Вѣчно спорить былъ готовъ.
Я, сынамъ твоимъ въ забаву,

Разорилъ родной Дарьялъ,
И валуновъ имъ, на славу,
Стадо цѣлое пригналъ.»

Но, склоняся на мягкій берегъ,
Каспій стихнулъ, будто спать,
И опять, ласкаясь, Терекъ
Старцу на ухо журчить:

«Я привезъ тебѣ гостинецъ!
То гостинецъ не простой:
Съ поля битвы кабардинецъ,
Кабардинецъ удалой.

«Онъ въ кольчугѣ драгоцѣнной,
Въ налокотникахъ стальныхъ:
Изъ Корана стихъ священный
Писанъ золотомъ на нихъ.
Онъ утрюмо сдвинулъ брови,
И усомъ его края
Обагрила знойной крови
Благородная струя;
Взоръ открытый, безотвѣтный,
Полонъ старою враждой;
По затылку чубъ завѣтный
Вьется черною космой.»

Но, склоняся на мягкій берегъ,
Каспій дремлетъ и молчить;
И, волнуясь, буйный Терекъ
Старцу снова говорить:

«Слушай, дядя: даръ безцѣнный!
Что другіе всѣ дары?
Но его отъ всей вселенной
Я таилъ до сей поры.


Я примчу къ тебѣ съ волнами
Трупъ казачки молодой,
Съ темно-блѣдными плечами,
Съ свѣтло-русою косою.
Грустенъ лигъ ея туманный,
Взоръ такъ тихо, сладко спить,
А на грудь изъ малой раны
Струйка алая бѣжитъ.
По красотѣ-молодицѣ
Не тоскуетъ надъ рѣкой
Лишь одинъ во всей станицѣ
Казачина гребенской.

«Осѣдлалъ онъ воронаго,
И въ горахъ, въ ночномъ бою,
На кинжалъ чеченца злаго,
Сложить голову свою.»

Замолчалъ потокъ сердитый,
И надъ нимъ, какъ снѣгъ бѣла,
Голова съ косою размытой,
Колыхаяся, всплыла.

И старикъ во блескѣ власти
Всталъ, могучій какъ гроза,
И одѣлись влагой страсти
Темно-синіе глаза.

Онъ възгралъ, веселья полный,
И въ объятія свои
Набѣгающія волны
Принялъ съ ропотомъ любви.



НЕ ВѢРЬ СЕБѢ.

Que nous font après tout les vulgaires abois
De tous ces charlatans, qui donnent de la voix
Les marchands de pathos et les faiseurs d'emphase;
Et tout les baladins qui dansent sur la phrase?

A. Barbier.

Не вѣрь, не вѣрь себѣ мечтатель молодой,
 Какъ язвы бояся вдохновенья...
 Оно—тяжелый бредъ души твоей больной,
 Иль плѣнной мысли раздраженъе.
 Въ немъ признака небесъ напрасно не ищи:
 То кровь кипитъ, то силъ избытокъ!
 Скорѣе жизнь свою въ заботахъ истощи,
 Разлей отравленный напитокъ!

 Случится ли тебѣ въ завѣтный, чудный мигъ
 Открыть въ душѣ давно-безмолвной
 Еще невѣдомый и дѣвственный родникъ,
 Простыхъ и сладкихъ звуковъ полный—
 Не вслушивайся въ нихъ, не предавайся имъ,
 Набрось на нихъ покровъ забвенья:
 Стихомъ размѣреннымъ и словомъ ледянымъ
 Не передашь ты ихъ значенья.

 Закрадется ль печаль въ тайникъ души твоей,
 Зайдетъ ли страсть съ грозой и вьюгой—
 Не выходи тогда на шумный пиръ людей
 Съ своею бѣшеной подругой;
 Не унижай себя. Стыдися торговать
 То гнѣвомъ, то тоской послушной,
 И гной душевныхъ ранъ надменно выставять
 На диво черни простодушной.

 Какое дѣло намъ, страдать ты или нѣтъ?
 На-что намъ знать твои волненья,

Надежды глупыя первоначальныхъ лѣтъ,
Разсудка злыя сожалѣнья?
Взгляни: передъ тобой играючи идетъ
Толпа дорогою привычной;
На лицахъ праздничныхъ чуть виденъ слѣдъ заботъ,
Слезы не встрѣтишь неприличной.

А между тѣмъ изъ нихъ едва ли есть одинъ,
Тяжелой пыткой не измятый,
До преждевременныхъ добравшійся морщинъ
Безъ преступленья или утраты!....
Повѣрь: для нихъ смѣшонъ твой плачъ и твой укоръ
Съ своимъ напѣвомъ заученнымъ,
Какъ разрумяненный трагическій актеръ,
Махающій мечемъ картоннымъ.

ПА М Я Т И

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ОДОЕВСКАГО.

Я зналъ его: мы странствовали съ нимъ
Въ горахъ Востока, и тоску изгнанья
Дѣлили дружно; но къ полямъ роднымъ
Вернулся я, и время испытанья
Промчалось законной чередой;
А онъ не дождался минуты сладкой:
Подъ бѣдною походною палаткой
Болѣзнь его сразила, и съ собой
Въ могилу онъ унесъ летучій рой
Еще незрѣлыхъ, темныхъ вдохновеній,
Обманутыхъ надеждъ и горькихъ сожалѣній!

Онъ былъ рожденъ для нихъ, для тѣхъ надеждъ,
Поэзiи и счастья... Но, безумный—
Изъ дѣтскихъ рано вырвался одеждъ
И сердце бросилъ въ море жизни шумной.
И свѣтъ не пощадилъ, и Богъ не спасъ!
Но до конца, среди волненiй трудныхъ,
Въ толпѣ людской и средь пустынь безлюдныхъ
Въ немъ тихiй пламень чувства не угасъ:
Онъ сохранилъ и блескъ лазурныхъ глазъ,
И звонкiй дѣтскiй смѣхъ, и рѣчь живую,
И вѣру гордую въ людей и жизнь цную.

Но онъ погибъ далѣко отъ друзей...
Миръ сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужихъ полей,
Пусть тихо спитъ оно, какъ дружба наша
Въ нѣмомъ кладбищѣ памяти моей!
Ты умеръ, какъ и многіе, безъ шума,
Но съ твердостью. Тайнственная дума
Еще блуждала на челѣ твоемъ,
Когда глаза закрылись вѣчнымъ сномъ;
И то, что ты сказалъ передъ кончиной,
Изъ слушавшихъ тебя не понялъ ни единый...

И было ль то—привѣтъ странѣ родной,
Название ли оставленнаго друга,
Или тоска по жизни молодой,
Иль, просто, крикъ послѣдняго недуга,
Кто скажетъ намъ?... Твоихъ послѣднихъ словъ
Глубокое и горькое значеніе
Потеряно. Дѣла твои, и мнѣнья,
И думы—все исчезло безъ слѣдовъ,
Какъ легкiй паръ вечернихъ облаковъ:
Едва блеснуть, ихъ вѣтеръ вновь уноситъ—
Куда они? зачѣмъ? откуда?—кто ихъ спросить...

И послѣ ихъ на небѣ нѣтъ слѣда,
Какъ отъ любви ребенка безнадежной,
Какъ отъ мечты, которой никогда
Онъ не ввѣрялъ заботамъ дружбы нѣжной...
Что за нужда? Пускай забудетъ свѣтъ
Столь чуждое ему существованье:
Зачѣмъ тебѣ вѣнцы его вниманья
И тернія пустыхъ его клеветъ?
Ты не служилъ ему. Ты съ юныхъ лѣтъ
Коварныя его отвергнулъ цѣпи:
Любилъ ты моря шумъ, молчанье синей степи—

И мрачныхъ горъ зубчатые хребты...
И, вокругъ твоей могилы неизвѣстной,
Все, чѣмъ при жизни радовался ты,
Судьба соединила такъ чудесно:
Нѣмая степень синѣть, и вѣнцомъ
Серебрянымъ Кавказъ ее объемлетъ;
Надъ моремъ онъ, нахмурясь, тихо дремлетъ,
Какъ великанъ склонившись надъ щитомъ,
Разсказамъ волнъ кочующихъ внималъ,
А Море Черное шумить не умолкая.

КАЗОТЬ.

Н^а буйномъ пиршествѣ задумчивъ онъ сидѣлъ,
Одинъ, покинутый безумными друзьями,
И въ даль грядущаго, закрытую предъ нами,
Духовный взоръ его смотрѣлъ.

И помню я, исполнены печали,
Средь звона чашъ, и криковъ, и рѣчей,
И пѣсенъ праздничныхъ, и хохота гостей,
Его слова пророчески звучали.

Онъ говорилъ: «Ликуйте, о друзья!
 Что вамъ судьбы дряхлѣющаго міра?
 Надъ вашей головой колеблется сѣкира,
 Но что жъ?... изъ васъ одинъ ее увижу я...

П О Э Т Ъ.

Ртдѣлкой золотой блистаетъ мой кинжалъ:
 Клинокъ надежный, безъ порока;
 Булатъ его хранить таинственный закалъ—
 Наслѣдье браннаго Востока.
 Наѣзднику въ горахъ служилъ онъ много лѣтъ,
 Не зная платы за услугу;
 Не по одной груди провелъ онъ страшный слѣдъ
 И не одну прорвалъ кольчугу.
 Забавы онъ дѣлилъ послушнѣ раба;
 Звенѣлъ въ отвѣтъ рѣчамъ обиднымъ;
 Въ тѣ дни была бъ ему богатая рѣзба
 Нарядомъ чуждымъ и постыднымъ.
 Онъ взятъ за Терекомъ отважнымъ казакомъ
 На хладномъ трупѣ господина,
 И долго онъ лежалъ, заброшенный потомъ,
 Въ походной лавкѣ армянина.
 Теперь родныхъ ножонъ, избитыхъ на войнѣ,
 Лишонъ героя спутникъ бѣдный;
 Игрушкой золотой онъ блещетъ на стѣнѣ—
 Увы! безславный и безвредный!
 Никто привычною, заботливой рукой
 Его не чистить, не ласкаетъ,
 И надписи его, молясь передъ зарей,
 Никто съ усердьемъ не читаетъ...

Въ нашъ вѣкъ изнѣженный не такъ ли ты, поэтъ,
 Свое утратилъ назначенье,
 На злато промѣнявъ ту власть, которой свѣтъ
 Внималъ въ нѣмомъ благоговѣннѣ?
 Бывало, мѣрный звукъ твоихъ могучихъ словъ
 Воспламенялъ бойца для битвы;
 Онъ нуженъ былъ толпѣ, какъ чаша для пировъ,
 Какъ ошмѣтъ въ часы молитвы.
 Твой стихъ, какъ Божій духъ, носился надъ толпой,
 И отзывъ мыслей благородныхъ
 Звучалъ, какъ колоколъ на башнѣ вѣчевой
 Во дни торжествъ и бѣдъ народныхъ.
 Но скученъ намъ простой и гордый твой языкъ,
 Нашъ тѣшутъ блѣстки и обманы;
 Какъ ветхая краса, нашъ ветхій міръ привыкъ
 Морщины прятать подъ румяны...
 Проснешься ль ты опять, осмѣянный пророкъ,
 Иль никогда, на голосъ мщенья,
 Изъ золотыхъ ножонъ не вырвешь свой клинокъ,
 Покрытый ржавчиной презрѣнья?

М Ц Ы Р И. *

Вкушая вкусихъ мало меда, и се
 азъ умираю.

І Книга Царствъ.

І.

Нѣ много лѣтъ тому назадъ,
 Тамъ, гдѣ сливаясь шумятъ,
 Обнявшись, будто двѣ сестры,
 Струи Арагвы и Куры,

* Мцъри — на грузинскомъ языкѣ значитъ «неслужащій монахъ»,
 нѣчто въ родѣ «подслушника».

Былъ монастырь. Изъ-за горы
И нынче видить пѣшеходъ
Столбы обрушенныхъ воротъ,
И башни, и церковный сводъ;
Но не курится ужъ подъ нимъ
Кадилаицъ благовонный дымъ,
Не слышно пѣнья въ поздній часъ
Молящихъ иноковъ за насъ.
Теперь одинъ старикъ сѣдой,
Развалинъ стражъ полуживой,
Людьми и смертію забытъ,
Сметаетъ пылъ съ могилбныхъ плитъ,
Которыхъ надписи говоритъ
О славѣ прошлой—и о томъ,
Какъ удрученъ своимъ вѣнцомъ,
Такой-то царь, въ такой-то годъ,
Вручилъ Россіи свой народъ.

*

И Божья благодать сошла
На Грузію!—Она цвѣла
Съ тѣхъ поръ въ тѣни своихъ садовъ,
Не опасаяся враговъ,
За гранью дружескихъ штыковъ.

II.

Однажды русскій генералъ
Изъ горъ къ Тифлису проѣзжалъ;
Ребенка плѣннаго онъ везъ.
Тотъ занемогъ, не перенесъ
Трудовъ далекаго пути.
Онъ былъ, казалось, лѣтъ шести;
Какъ серна горъ, пугливъ и дикъ,
И слабъ и гибокъ, какъ тростникъ;
Но въ немъ мучительный недугъ
Развилъ тогда могучій духъ

Его отцовъ. Безъ жалобъ онъ
Тоился, даже слабый стонъ
Изъ дѣтскихъ губъ не вылеталъ,
Онъ знакомъ пищу отвергалъ,
И тихо, гордо умиралъ.
Изъ жалости одинъ монахъ
Больнаго призрѣлъ, и въ стѣнахъ
Хранительныхъ остался онъ
Искусствомъ дружескимъ спасенъ.
Но, чуждъ ребяческихъ утѣхъ,
Сначала бѣгалъ онъ отъ всѣхъ,
Бродилъ безмолвенъ, одинокъ,
Смотрѣлъ вздыхая на востокъ,
Томимъ неясною тоской
По сторонѣ своей родной.
Но послѣ къ плѣну онъ привыкъ,
Сталъ понимать чужой языкъ,
Былъ окрещенъ святымъ отцомъ
И, съ шумнымъ свѣтомъ незнакомъ,
Уже хотѣлъ во цвѣтѣ лѣтъ
Изречь монашескій обѣтъ,
Какъ вдругъ однажды онъ исчезъ
Осенней ночью. Темный лѣсъ
Тянулся по горамъ кругомъ.
Три дня всѣ поиски по немъ
Напрасны были; но потомъ
Его въ степи безъ чувствъ пашли
И вновь въ обитель принесли.
Онъ страшно блѣденъ былъ и худъ
И слабъ, какъ будто долгій трудъ,
Болѣзнь, иль голодъ испыталъ.
Онъ на допросъ не отвѣчалъ
И съ каждымъ днемъ примѣтно валь.
И близокъ сталъ его конецъ.
Тогда пришелъ къ нему чернецъ

Съ увѣщеваньемъ и мольбой;
И, гордо выслушавъ, больной
Привсталъ, собравъ остатокъ силъ,
И долго такъ онъ говорилъ:

III.

«Ты слушать исповѣдь мою
Сюда пришелъ, благодарю.
Все лучше передъ кѣмъ-нибудь
Словами облегчить мнѣ грудь;
Но людямъ я не дѣлалъ зла,
И потому мои дѣла
Не много пользы вамъ узнать—
А душу можно ль рассказать?
Я мало жилъ, и жилъ въ плѣну.
Такихъ двѣ жизни за одну,
Но только полную тревогъ,
Я промѣнялъ бы, если бъ могъ.
Я зналъ одной лишь думы власть,
Одну—но пламенную страсть:
Она какъ червь во мнѣ жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
Отъ келій душевныхъ и молитвъ
Въ тотъ чудный міръ тревогъ и битвъ,
Гдѣ въ тучахъ прячутся скалы,
Гдѣ люди вольны, какъ орлы.
Я эту страсть во тьмѣ ночной
Вскормилъ слезами и тоской;
Ее предъ небомъ и землей
Я нынѣ громко признаю
И о прощеньи не молю.

IV.

«Старикъ! я слышалъ много разъ,
Что ты меня отъ смерти спасъ—

Зачѣмъ?... Угрюмъ и одинокъ,
Грозой оторванный листокъ,
Я выросъ въ сумрачныхъ стѣнахъ,
Душой дитя, судьбой монахъ.
Я никому не могъ сказать
Священныхъ словъ «отецъ» и «мать».
Конечно, ты хотѣлъ, старикъ,
Чтобъ я въ обители отвыкъ
Отъ этихъ сладостныхъ именъ —
Напрасно: звукъ ихъ былъ рожденъ
Со мной. Я видѣлъ у другихъ
Отчизну, домъ, друзей, родныхъ,
А у себя не находилъ
Не только милыхъ душъ—могилъ!
Тогда, пустыхъ не тратя слезъ,
Въ душѣ я клятву произнесъ:
Хотя на мигъ когда нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать съ тоской къ груди другой,
Хоть незнакомой, но родной.
Увы! теперь мечтанья тѣ
Погибли въ полной красотѣ,
И я, какъ жилъ, въ землѣ чужой
Умру рабомъ и сиротой.

V.

«Меня могила не страшить:
Тамъ, говорятъ, страданье спитъ
Въ холодной вѣчной тишинѣ.
Но съ жизнью жаль расстаться мнѣ.
Я молодъ, молодъ... зналъ ли ты
Разгульной юности мечты?
Или не зналъ, или забылъ,
Какъ ненавидѣлъ и любилъ;
Какъ сердце билось живѣй

При видѣ солнца и полей
Съ высокой башни угловой,
Гдѣ воздухъ свѣжъ, и гдѣ порой
Въ глубокой скважинѣ стѣны,
Дитя невѣдомой страны,
Прижавшись, голубъ молодой
Сидятъ, испуганный грозой?
Пускай теперь прекрасный свѣтъ
Тебѣ постылъ: ты слабъ, ты сѣдъ,
И отъ желаній ты отвыкъ.
Что за нужда? Ты жилъ, старикъ!
Тебѣ есть въ мірѣ чтò забыть,
Ты жилъ — я также могъ бы жить!

VI.

«Ты хочешь знать, чтò видѣлъ я
На волѣ?—Пышныя поля,
Холмы, покрытые вѣнцомъ
Деревъ, разросшихся кругомъ,
Шумящихъ свѣжею толпой,
Какъ братья въ пляскѣ круговой.
Я видѣлъ груды темныхъ скалъ.
Когда потокъ ихъ раздѣлялъ,
И думы ихъ я угадалъ:
Мнѣ было выше то дано!
Простерты въ воздухъ давно
Объятья каменные ихъ
И жаждутъ встрѣчи каждый мигъ;
Но дни бѣгутъ, бѣгутъ года —
Имъ не сойтиться никогда!
Я видѣлъ горные хребты,
Причудливые какъ мечты,
Когда въ часъ утренней зари
Курился какъ алтари,
Ихъ выси въ небѣ голубомъ,

И облачко за облачкомъ,
Покинувъ тайный свой ночлегъ,
Къ востоку направляло бѣгъ —
Какъ будто бѣлый караванъ
Залетныхъ птицъ изъ разныхъ странъ!
Вдали я видѣлъ сквозь туманъ,
Въ свѣгахъ, горящихъ какъ алмазъ,
Сѣдой, неизблемый Кавказъ —
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.
Мнѣ тайный голосъ говорилъ,
Что нѣкогда и я тамъ жилъ,
И стало въ памяти моей
Прошедшее яснѣй, яснѣй...

VII.

«И вспомнилъ я отцовскій домъ,
Ущелье наше, и кругомъ
Въ тѣни разсыпанный аулъ;
Мнѣ слышался вечерній гулъ
Домой бѣгущихъ табуновъ
И дальній лай знакомыхъ псовъ.
Я помнилъ смуглыхъ стариковъ,
При свѣтѣ лунныхъ вечеровъ
Противъ отцовскаго крыльца
Сидѣвшихъ съ важностью лица;
И блескъ оправленныхъ ноженъ
Кинжаловъ длинныхъ... и какъ сонъ
Все это смутной чередой
Вдругъ пробѣжало предо мной.
А мой отецъ? Онъ какъ живой
Въ своей одеждѣ боевой
Являлся мнѣ, и помнилъ я
Кольчуги звонъ, и блескъ ружья,
И гордый, непреклонный взоръ;

И молодых моихъ сестеръ...
Лучи ихъ сладостныхъ очей,
И звукъ ихъ пѣсенъ и рѣчей
Надъ колыбелю моею...
Въ ущельи томъ бѣжалъ потокъ,
Онъ шуметь былъ но неглубокъ;
Къ нему, на золотой песокъ,
Играть я въ полдень уходилъ
И взоромъ ласточекъ слѣдилъ,
Когда онѣ передъ дождемъ
Волны касались крыломъ.
И вспомнилъ я нашъ мирный домъ
И предъ вечернимъ очагомъ
Разказы долгіе о томъ,
Какъ жили люди прежнихъ дней,
Когда былъ міръ еще пышнѣй.

viii.

«Ты хочешь знать, что дѣлалъ я
На волѣ? Жилъ—и жизнь моя
Безъ этихъ трехъ блаженныхъ дней
Была бѣ печальнѣй и мрачнѣй
Безсильной старости твоей.
Давнымъ-давно задумалъ я
Взглянуть на дальнія поля;
Узнать, прекрасна ли земля;
Узнать, для воли или тюрьмы
На этотъ свѣтъ родимся мы —
И въ часъ ночной, ужасный часъ,
Когда гроза пугала васъ,
Когда, столпясь при алтарѣ,
Вы ницъ лежали на землѣ,
Я убѣжалъ. О! я какъ братъ
Обняться съ бурей былъ бы радъ!
Глазами тучи я слѣдилъ,

Рукою молнію ловить...
Скажи мнѣ, что́ средь этихъ стѣнъ
Могли бы дать вы мнѣ въ замѣнъ
Той дружбы краткой, но живой,
Межъ бурнымъ сердцемъ и грозой?...

IX.

«Бѣжалъ я долго—гдѣ? куда?
Не знаю! Ни одна звѣзда
Не оваряла трудный путь.
Мнѣ было весело вдохнуть
Въ мою измученную грудь
Ночную свѣжесть тѣхъ лѣсовъ —
И только. Много я часовъ
Бѣжалъ, и наконецъ, уставъ,
Прилежъ между высокихъ травъ;
Прислушался: погони нѣтъ.
Гроза утихла. Блѣдный свѣтъ
Тянулся длинной полосой
Межъ темнымъ небомъ и землею,
И различалъ я, какъ узоръ,
На ней зубцы далекихъ горъ.
Недвижимъ, молча, я лежалъ.
Порой въ ущелии шагалъ
Кричалъ и плакалъ какъ дитя,
И, гладкой чешуей блестя,
Змѣя скользила межъ камней;
Но страхъ не сжалъ души моей;
Я самъ, какъ звѣрь, былъ чуждъ людей,
И ползъ и прятался какъ змѣя.

X.

«Внизу глубоко подо мной
Потокъ, усиленный грозой,
Шумѣлъ, и шумъ его глухой

Сердитыхъ сотнѣ голосовъ
Подобился. Хотя безъ словъ,
Мнѣ внятень былъ тотъ разговоръ,
Немолчный ропотъ, вѣчный споръ
Съ упрямой грудю камней.
То вдругъ стихалъ онъ, то сильнѣй
Онъ раздавался въ тишинѣ;
И вотъ, въ туманной вышинѣ
Запѣли птички, и востокъ
Озолотился; вѣтерокъ
Сырые шевельнулъ листы;
Дохнули сонные цвѣты,
И какъ они, навстрѣчу дню
Я поднялъ голову мою...
Я осмотрѣлся; не таю:
Мнѣ стало страшно; на краю
Грозящей бездны я лежалъ,
Гдѣ вилъ, крутятся, сердитый валъ;
Туда вели ступени скалъ:
Но лишь злой духъ по нимъ шагаль,
Когда, низверженный съ небесъ,
Въ подземной пропасти исчезъ.

XI.

«Кругомъ меня цвѣлъ Божій садъ;
Растеній радужный нарядъ
Хранилъ слѣды небесныхъ слезъ,
И кудри виноградныхъ лозъ
Вились, красуясь межъ деревъ
Прозрачной зеленью листовъ;
И грозды полные на нихъ,
Серегъ подобье дорогихъ,
Висѣли пышно, и порой
Къ нимъ птицъ леталъ пугливый рой.
И снова я къ землѣ припалъ,

И снова вслушиваться сталъ
Къ волшебнымъ, страннымъ голосамъ;
Они шептались по кустамъ,
Какъ будто рѣчь свою вели
О тайнахъ неба и земли;
И всѣ природы голоса
Сливались тутъ; не раздался
Въ торжественный хваленъя часъ
Лишь человѣка гордый гласъ.
Все, что я чувствовалъ тогда,
Тѣ думы—имъ ужъ нѣтъ слѣда —
Но я бѣ желалъ ихъ рассказать,
Чтобъ жить, хотъ мысленно, опять.
Въ то утро былъ небесный сводъ
Такъ чистъ, что ангела полетъ
Прилежный взоръ слѣдить бы могъ;
Онъ такъ прозрачно былъ глубокъ,
Такъ полонъ ровной синевой!
Я въ немъ глазами и душой
Тонулъ, пока полуденный зной
Мои мечты не разогналъ,
И жаждой я томиться сталъ.

XII.

«Тогда къ потоку съ высоты,
Держась за гибкіе кусты,
Съ плиты на плиту я, какъ могъ,
Спускаться началъ. Изъ подъ ногъ
Сорвавшись, камень иногда
Катился внизъ—за нимъ бразда
Дымилась, прахъ вился столбомъ;
Гудя и прыгая, потомъ
Онъ поглощаемъ былъ волной;
И я висѣлъ надъ глубиной —
Но юность вольная сильна,

И смерть казалась не страшна!
Лишь только я съ крутыхъ высотъ
Спустился, свѣжесть горныхъ водъ
Повѣяла навстрѣчу мнѣ,
И жадно я припалъ къ волнѣ.
Вдругъ голосъ—легкій шумъ шаговъ...
Мгновенно скрывшись межъ кустовъ,
Невольнымъ трепетомъ объять,
Я поднять боязливый взглядъ
И жадно вслушиваться сталъ:
И ближе, ближе все звучалъ
Грузинки голосъ молодой,
Такъ безъискусственно живой,
Такъ сладко вольный, будто онъ
Лишь звуки дружескихъ именъ
Пронзосить былъ приученъ.
Простая пѣсня то была,
Но въ мысль она мнѣ залегла,
И мнѣ, лишь сумракъ настаеть,
Незримый духъ ее поеть.

хп.

«Держа кувшинъ надъ головой,
Грузинка узкою тропой
Сходила къ берегу. Порой
Она скользила межъ камней,
Смѣясь неловкости своей.
И бѣденъ былъ ея нарядъ;
И шла она легко, назадъ
Изгибы длинные чадры
Откинувъ. Лѣтніе жары
Покрыли тѣнью золотой
Лицо и грудь ея; и зной
Дышалъ отъ устъ ея и щекъ.
И мракъ очей былъ такъ глубокъ,

Такъ полонъ тайнами любви,
Что думы пылкія мои
Смутились. Помню только я
Кувшина звонъ—когда струя
Вливалась медленно въ него —
И шорохъ... больше ничего.
Когда же я очнулся вновь
И отлила отъ сердца кровь,
Она была ужъ далеко;
И шла хоть тише—но легко,
Стройна подъ ношею своей,
Какъ тополь, царь ея полей...
Недалеко въ прохладной, мглѣ,
Казалось, приросли къ скалѣ
Двѣ сакли дружною четой;
Надъ плоской кровлею одной
Дымокъ струился голубой.
Я вижу, будто бы теперь,
Какъ отперлась тихонько дверь
И затворилась опять...
— Тебѣ, я знаю, не понять
Мою тоску, мою печаль;
И если бъ могъ—мнѣ было бъ жаль:
Воспоминанья тѣхъ минутъ
Во мнѣ, со мной пускай умрутъ.

XIV.

«Трудами ночи изнуренъ,
Я легъ въ тѣни. Отрадный сонъ
Сомкнулъ глаза невольно мнѣ...
И снова видѣлъ я во снѣ
Грузинки образъ молодой.
И странной, сладкою тоской
Опять моя заныла грудь.
Я долго силился вздохнуть —

И пробудился. Ужь луна
Вверху сіяла, и одна
Лишь тучка кралася за ней,
Какъ за добычею своей,
Объятыя жадныя раскрывъ.
Міръ темень былъ и молчаливъ;
Лишь серебристой бахрамой
Вершины цѣли снѣговой
Вдали сверкали предо мной,
Да въ берега плескалъ потокъ.
Въ знакомой саклѣ огонекъ
То трепеталъ, то снова гасъ:
На небесахъ въ полночный часъ
Такъ гаснетъ яркая звѣзда!
Хотѣлось мнѣ... но я туда
Взойти не смѣлъ. Я цѣль одну,
Пройти въ родимую страну,
Имѣлъ въ душѣ—и превозмогъ
Страданье голода, какъ могъ.
И вотъ дорогою прямою
Пустился, робкій и нѣмой.
Но скоро въ глубинѣ лѣсной
Изъ виду горы потерялъ
И тутъ съ пути сбиваться сталъ.

ху.

«Напрасно, въ бѣшенствѣ, порой,
Я рвалъ отчаянной рукой
Терновникъ, спутанный плющемъ:
Все лѣсъ былъ, вѣчный лѣсъ кругомъ,
Страшнѣй и гуще каждый часъ;
И миллиономъ черныхъ глазъ
Смотрѣла ночи темнота
Сквозь вѣтви cadaго куста...
Моя кружилась голова.

Я сталъ влѣзать на дерева;
Но даже на краю небесъ
Все тотъ же былъ зубчатый лѣсъ.
Тогда на землю я упалъ
И въ изступленіи рыдалъ,
И грызъ сырую грудь земли,
И слезы, слезы потекли
Въ нее горячею росой...
Но, вѣрь мнѣ, помощи людской
Я не желалъ... Я былъ чужой
Для нихъ навѣкъ, какъ звѣрь степной;
И если бъ хотъ минутный крикъ
Мнѣ измѣнилъ—клянусь, старикъ,
Я бъ вырвалъ слабый мой языкъ.

xvi.

«Ты помнишь, въ дѣтскіе года
Слезы не зналъ я никогда;
Но тутъ я плакалъ безъ стыда.
Кто видѣть могъ? Лишь темный лѣсъ,
Да мѣсяцъ, плывшій средь небесъ!
Озарена его лучемъ,
Покрыта мохомъ и пескомъ,
Непроницаемой стѣной
Окружена, передо мной
Была поляна. Вдругъ по ней
Мелькнула тѣнь, и двухъ огней
Промчались искры... и потомъ
Какой-то звѣрь однимъ прыжкомъ
Изъ чащи выскочилъ и легъ,
Играя, навзничъ на песокъ.
То былъ пустыни вѣчный гость—
Могучій барсъ. Сырую кость
Онъ грызъ и весело визжалъ;
То взоръ кровавый устремлялъ,

*

Мотая ласково хвостомъ,
 На полный мѣсяцъ—и на немъ
 Шерсть отливалась серебромъ.
 Я ждалъ, схвативъ рогатый сукъ,
 Минуту битвы; сердце вдругъ
 Зажглося жаждою борьбы
 И крови... да, рука судьбы
 Меня вела инымъ путемъ...
 Но нынче я увѣренъ въ томъ,
 Что быть бы могъ въ краю отцовъ
 Не изъ послѣднихъ удалцовъ.

XVII.

«Я ждалъ. И вотъ въ тѣни ночной
 Врага почуять онъ, и вой
 Протяжный, жалобный какъ стонъ,
 Раздался вдругъ... и началъ онъ
 Серdito лапой рыть песокъ,
 Всталъ на дыбы, потомъ прилегъ,
 И первый бѣшенный скачокъ
 Мнѣ страшной смертію грозилъ...
 Но я его предупредилъ.
 Ударъ мой вѣренъ былъ и скоръ.
 Надежный сукъ мой, какъ топоръ,
 Широкий лобъ его разсѣкъ...
 Онъ застоналъ, какъ человѣкъ,
 И опрокинулся. Но вновь—
 Хотя лила изъ раны кровь
 Густой, широкою волной—
 Бой закипѣлъ, смертельный бой!

XVIII.

«Ко мнѣ онъ кинулся на грудь;
 Но въ горло я успѣлъ воткнуть
 И тамъ два раза повернуть

Мое оружье... Онъ завылъ,
Рванулся изъ послѣднихъ силъ,
И мы, сплетаясь, какъ пара змѣй,
Обнявшись крѣпче двухъ друзей,
Упали разомъ, и во мглѣ
Бой продолжался на землѣ.
И я былъ страшенъ въ этотъ мигъ;
Какъ барсъ пустынный, золь и дикъ,
Я пламенѣлъ, визжалъ, какъ онъ:
Какъ будто самъ я былъ рожденъ
Въ семействѣ барсовъ и волковъ
Подъ свѣжимъ пологомъ лѣсовъ.
Казалось, что слова людей
Забылъ я—и въ груди моей
Родился тотъ ужасный крикъ,
Какъ будто съ дѣтства мой языкъ
Къ иному звуку не привыкъ...
Но врагъ мой сталъ изнемогать,
Метаться, медленнѣй дышать,
Сдавилъ меня въ послѣдній разъ...
Зрачки его недвижныхъ глазъ
Блеснули грозно—и потомъ
Закрылись тихо вѣчнымъ сномъ;
Но съ торжествующимъ врагомъ
Онъ встрѣтилъ смерть лицомъ къ лицу,
Какъ въ битвѣ слѣдуетъ бойцу!...

XIX.

«Ты видишь на груди моей
Слѣды глубокіе когтей;
Еще они не заросли
И не закрылись; но земли
Сырой покровъ ихъ освѣжить.
И смерть навѣки заживить.
О нихъ тогда я позабылъ,

И, вновь собравъ остатокъ силъ,
Побрелъ я въ глубинѣ лѣсной...
Но тщетно спорилъ я съ судьбой:
Она смѣялась надо мной!

xx.

«Я вышелъ изъ лѣсу. И вотъ
Проснулся день, и хороводъ
Свѣтилъ напутственныхъ исчезъ
Въ его лучахъ. Туманный лѣсъ
Заговорилъ. Вдали аулъ
Куриться началъ. Смутный гулъ
Въ долинѣ съ вѣтромъ пробѣжалъ...
Я сѣлъ и вслушиваться сталъ;
Но смолкъ онъ вмѣстѣ съ вѣтеркомъ.
И кинулъ взоры я кругомъ:
Тотъ край, казалось, мнѣ знакомъ.
И страшно было мнѣ—понять
Не могъ я долго, что опять
Вернулся я къ тюрьмѣ моей;
Что бесполезно столько дней
Я тайный замыселъ ласкалъ,
Терпѣлъ, томился и страдалъ,
И все зачѣмъ?—Чтобъ въ цвѣтѣ лѣтъ,
Едва взглянувъ на Божій свѣтъ,
При звучномъ ропотѣ дубравъ
Блаженство вольности познавъ,
Унести въ могилу за собой
Тоску по родинѣ святой,
Надеждъ обманутыхъ укоръ
И вашей жалости позоръ!...
Еще въ сомнѣнье погруженъ,
Я думалъ—это страшный сонъ...
Вдругъ дальній колокола звонъ
Раздался снова въ тишинѣ—

И тутъ все ясно стало мнѣ...
О, я узналъ его тотчасъ!
Онъ съ дѣтскихъ глазъ уже не разъ
Стоялъ видѣнья сновъ живыхъ
Про милыхъ ближнихъ и родныхъ,
Про волю дикую степей,
Про легкихъ бѣшеныхъ коней,
Про битвы чудныя межъ скалъ,
Гдѣ всѣхъ одинъ я побѣждалъ!...
И слушалъ я безъ слезъ, безъ силъ.
Казалось, звонъ тотъ выходилъ
Изъ сердца—будто кто нибудь
Желѣзомъ ударялъ мнѣ въ грудь.
И смутно понялъ я тогда,
Что мнѣ на родину слѣда
Не проложить ужъ никогда.

XXI.

«Да, заслужилъ я жребій мой!
Могучій конь, въ степи чужой
Плохаго сбросивъ сѣдока,
На родину издалека
Найдетъ прямой и краткій путь...
Что я предъ нимъ?—Напрасно грудь
Полна желаньемъ и тоской:
То жаръ безсильный и пустой,
Игра мечты, болѣзнь ума.
На мнѣ печать свою тюрьма
Оставила... Таковъ цвѣтокъ
Темничный: выросъ одинокъ
И блѣденъ онъ межъ плить сырыхъ;
И долго листьевъ молодыхъ
Не распускалъ, все ждалъ лучей
Живительныхъ. И много дней
Прошло, и добрая рука

Печалью тронулась цвѣтка,
И былъ онъ въ садъ перенесенъ,
Въ сосѣдство розъ. Со всѣхъ сторонъ
Дышала сладость бытія...
Но что жъ? Едва возшла заря,
Палящій лучъ ея обжогъ
Въ тюрьмѣ воспитанный цвѣтокъ...

XXII.

«И какъ его, палилъ меня
Огонь безжалостнаго дня.
Напрасно пряталъ я въ траву
Мою усталую главу:
Иссохшій листъ ея вѣнцомъ
Терновымъ надъ моимъ челомъ
Свивался—и въ лицо огнемъ
Сама земля дышала мнѣ.
Сверкая быстро въ вышинѣ,
Кружились искры; съ бѣлыхъ скалъ
Струился паръ. Міръ Божій спалъ,
Въ оцѣпенѣніи глухомъ,
Отчаянья тяжелымъ сномъ.
Хотя бы крикнулъ коростель,
Иль стрекозы живая трель
Послышалась, или ручья
Ребятій лепетъ... Лишь змѣя,
Сухимъ бурьяномъ шелестя,
Сверкая желтою спиной,
Какъ будто надписью златой
Покрытый до-низу клинокъ,
Браздя разсыпчатый песокъ,
Скользила бережно; потомъ,
Игралъ, нѣжася на немъ.
Тройнымъ свивалася кольцомъ;
То будто вдругъ обожжена,

Металась, прыгала она
И въ дальнихъ пряталась кустахъ...

XXIII.

«И было все на небесахъ
Свѣтло и тихо. Сквозь пары
Вдали чернѣли двѣ горы.
Нашъ монастырь изъ-за одной
Сверкалъ зубчатою стѣной.
Внизу Арагва и Кура,
Обвивъ каймой изъ серебра
Подопыи свѣжихъ острововъ,
По корнямъ шепчущихъ кустовъ
Бѣжали дружно и легко...
До нихъ мнѣ было далеко!
Хотѣлъ я встать—передо мной
Все закружилось съ быстротой;
Хотѣлъ кричать—языкъ сухой
Беззвученъ и недвижимъ былъ...
Я умиралъ. Меня томилъ
Предсмертный бредъ.

Казалось мнѣ,
Что я лежу на влажномъ днѣ
Глубокой рѣчки—и была
Кругомъ таинственная мгла.
И, жажду вѣчную поя,
Какъ ледъ холодная струя,
Журча, вливалась мнѣ въ грудь...
И я боялся лишь заснуть—
Такъ было сладко, любо мнѣ...
А надо мною въ вышинѣ
Волна тѣснилася къ волнѣ
И солнце сквозь хрусталь волны
Сіяло сладостнѣй луны...
И рыбокъ пестрая стада

Въ лучахъ играли иногда.
И помню я одну изъ нихъ:
Она привѣтливѣй другихъ
Ко мнѣ ласкалась. Чешуей
Была покрыта золотой
Ея спина. Она вилась
Надъ головой моею не разъ,
И взоръ ея зеленыхъ глазъ
Былъ грустно-нѣженъ и глубоокъ...
И надивиться я не могъ:
Ея серебристый голосокъ
Мнѣ рѣчи странныя шепталъ,
И пѣлъ, и снова замолкалъ.
Онъ говорилъ:

«Дитя мое,
Останься здѣсь со мной:
Въ водѣ привольное житье—
И холодъ и покой.

*

«Я созову моихъ сестеръ:
Мы пляской круговой
Развеселимъ туманный взоръ
И духъ усталый твой.

*

«Усни! постель твоя мягка,
Прозраченъ твой покровъ.
Пройдутъ года, пройдутъ вѣка
Подъ говоръ чудныхъ сновъ.

*

«О милый мой! не утаю,
Что я тебя люблю,
Люблю, какъ вольную струю,
Люблю, какъ жизнь мою...»

«И долго, долго слушалъ я;
И мнилась, звучная струя
Сливалась тихій ропотъ свой
Съ словами рыбки золотой.
Тутъ я вабылся. Божій свѣтъ
Въ глазахъ утасъ. Безумный бредъ
Безсилью тѣла уступилъ...

xxiv.

«Такъ я найдёнъ и поднятъ былъ...
Ты остальное знаешь самъ.
Я кончилъ. Вѣрь моимъ словамъ,
Или не вѣрь, мнѣ все равно.
Меня печалить лишь одно:
Мой трупъ холодный и нѣмой
Не будетъ глѣтъ въ землѣ родной,
И повѣсть горькихъ мукъ моихъ
Не призоветъ межъ стѣнъ глухихъ
Вниманье скорбное ни чье
На имя темное мое.

xxv.

«Прощай, отецъ... дай руку мнѣ:
Ты чувствуешь, моя въ огнѣ...
Знай, этотъ пламень, съ юныхъ дней
Таяся, жилъ въ груди моей;
Но нынѣ пищи нѣтъ ему,
И онъ прожогъ свою тюрьму,
И возвратится вновь къ Тому,
Кто всѣмъ законной чередой
Даетъ страданье и покой...
Но что мнѣ въ томъ? Пускай въ раю,
Въ святомъ, заоблачномъ краю,
Мой духъ найдетъ себѣ пріютъ...
Увы! за нѣсколько минутъ

Между крутыхъ и темныхъ скалъ,
Гдѣ я въ ребячествѣ игралъ,
Я бѣ рай и вѣчность промѣнялъ!..

XXVI.

«Когда я стану умирать,
И, вѣрь, тебѣ не долго ждать—
Ты перенеси меня вели
Въ нашъ садъ, въ то мѣсто, гдѣ цвѣли
Акаціи бѣлыхъ два куста...
Трава межъ ними такъ густа,
И свѣжій воздухъ такъ душистъ,
И такъ прозрачно золотистъ
Играющій на солнцѣ листъ!
Тамъ положить вели меня.
Сіяньемъ голубаго дня
Уплюся я въ послѣдній разъ.
Оттуда виденъ и Кавказъ!
Быть можетъ, онъ съ своихъ высотъ
Привѣтъ прощальный мнѣ пришлетъ,
Пришлетъ съ прохладнымъ вѣтеркомъ...
И близъ меня передъ концомъ
Родной опять раздастся звукъ!
И стану думать я, что другъ
Иль братъ, склонившись надо мной,
Отеръ внимательной рукой
Съ лица кончины хладный потъ,
И что въ-полголоса поетъ
Онъ мнѣ про милую страну...
И съ этой мыслью я засну,
И никого не прокляну!..»

1840.

—
ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ.

Какъ, часто, пестрою толпою окружонъ,
Когда передо мной, какъ будто бы сквозь сонъ,
При шумѣ музыки и пляски,
При дикомъ шопотѣ затверженныхъ рѣчей,
Мелькають образы бездушные людей —
Приличьемъ станутя маски;

Когда касаются холодныхъ рукъ моихъ,
Съ небрежной смѣлостью, красавицъ городскихъ
Давно-безтрепетныя руки —
Наружно погружась въ ихъ блескъ и суету,
Ласкаю я въ душѣ старинную мечту,
Погибшихъ лѣтъ святые звуки.

И если какъ нибудь на мигъ удастся мнѣ
Забиться—памятью къ недавней старинѣ
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенкомъ; и кругомъ
Родныя все мѣста: высокій барскій домъ
И садъ съ разрушенной теплицей;

Зеленой сѣтью травъ подернуть спящій прудъ,
А за прудомъ село дымится—и встають
Вдали туманы надъ полями.
Въ аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядитъ вечерній лучъ, и желтые листы
Шумять подъ робкими шагами.

И странная тоска тѣснить ужъ грудь мою:
Я думаю объ ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей созданье

Съ глазами полными лазурнаго огня,
 Съ улыбкой розовой, какъ молодого дня
 За рощей первое сіянье.

Такъ царства дивнаго всеильный господинъ —
 Я долгіе часы просиживалъ одинъ,
 И память ихъ жива понынѣ
 Подъ бурей тягостныхъ сомнѣній и страстей,
 Какъ свѣжій островокъ безвредно средь морей
 Цвѣтегъ на влажной ихъ пустынѣ.

Когда жъ, опомнившись, обманъ я узнаю,
 И шумъ толпы людской спутнетъ мечту мою —
 На праздникъ незваную гостью,
 О, какъ мнѣ хочется смутить веселость ихъ,
 И дерзко бросить имъ въ глаза желѣзный стихъ,
 Облитый горечью и злостью!...



КАЗАЧЬЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПѢСНЯ.

Спи, младенецъ мой прекрасный,
 Баюшки-баю.
 Тихо смотреть мѣсяцъ ясный
 Въ колыбель твою.
 Стану сказывать я сказки,
 Пѣсенку спою;
 Ты жъ дремли, закрывши глазки,
 Баюшки-баю.

По камнямъ струится Терекъ,
 Плещетъ мутный валъ;
 Злой чеченъ ползетъ на берегъ,
 Точить свой кинжалъ;

Но отецъ твой — старый воинъ,
Закаленъ въ бою;
Спи, малютка, будь спокоенъ,
Баюшки-баю.

Самъ узнаешь—будетъ время —
Бранное житье;
Смѣло вдѣнешь ногу въ стремя
И возьмешь ружье.
Я сѣдельце боевое
Шолкомъ разошью...
Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю.

Богатырь ты будешь съ виду
И казакъ душой.
Провожать тебя я выйду —
Ты махнешь рукой...
Сколько горькихъ слезъ украдкой
Я въ ту ночь пролью!...
Спи, мой ангелъ, тихо, сладко,
Баюшки-баю.

Стану я тоской томиться,
Безутѣшно ждать;
Стану цѣлый день молиться,
По ночамъ гадать;
Стану думать, что скучаешь
Ты въ чужомъ краю...
Спи жъ, пока заботъ не знаешь,
Баюшки-баю.

Дамъ тебѣ я на дорогу
Образокъ святой;
Ты его, моляся Богу,
Ставь передъ собой;

Да, готовясь въ бой опасный,
 Помни мать свою...
 Спи, младенецъ мой прекрасный,
 Баюшки-баю.

ЖУРНАЛИСТЪ, ЧИТАТЕЛЬ И ПИСАТЕЛЬ.

Les poètes ressemblent aux ours, qui se
 nourrissent en suçant leur paite.

I n é d i t.

Комната писателя; опущенныя шторы. Онъ сидитъ въ большихъ креслахъ передъ каминомъ. Читатель съ сигарой, стоитъ спиной къ камину. Журналистъ входитъ.

ЖУРНАЛИСТЪ.

Я очень радъ, что вы больны:
 Въ заботахъ жизни, въ шумѣ свѣта
 Теряетъ скоро умъ поэта
 Свои божественные сны.
 Среди различныхъ впечатлѣній,
 На мелочь душу размѣнявъ,
 Онъ гибнетъ жертвой общихъ мнѣній.
 Когда ему въ пылу забавъ
 Обдумать зрѣлое творенье?...
 За то какая благодать,
 Коль небо вздумаетъ послать
 Ему изгнанье, заточенье,
 Иль даже долгую болѣзнь:
 Тотчасъ въ его уединеніи
 Раздастся сладостная пѣснь!
 Порой влюбляется онъ страстно
 Въ свою нарядную печаль...
 Ну, что вы пишете? Нельзя ль
 Узнать?

ПИСАТЕЛЬ.

Да ничего...

ЖУРНАЛИСТЪ.

Напрасно!

ПИСАТЕЛЬ.

О чемъ писать? Востокъ и югъ
Давно описаны, воспѣты;
Толпу ругали всѣ поэты,
Хвалили всѣ семейный кругъ;
Всѣ въ небеса неслись душою,
Взывали съ тайною мольбою
Къ Н. Н., невѣдомой красѣ,—
И страшно надоѣли всѣ.

ЧИТАТЕЛЬ.

И я скажу—нужна отвага
Чтобы открыть... хоть вашъ журналъ
[Онъ мнѣ ужъ руки обломалъ]:
Во-первыхъ сѣрая бумага;
Она, быть можетъ, и чиста,
Да какъ-то страшно безъ перчатокъ...
Читаешь—сотни опечатокъ!
Стихи—такая пустота;
Слова безъ смысла, чувства нѣту,
Натянуть каждый оборотъ;
Притомъ—сказать ли по секрету?
И въ приемахъ часто недочетъ.
Возьмешь ли прозу?—переводъ.
А если вамъ и попадутся
Разказы на родимый ладъ,
То вѣрно надъ Москвой смѣются,
Или чиновниковъ бранять.
Съ кого они портреты пишутъ?
Гдѣ разговоры эти слышутъ?
А если и случалось нмъ,
Такъ мы ихъ слышать не хотимъ...

Когда же на Руси бесплодной,
Разставшись съ ложной мишурой,
Мысль обрѣтетъ языкъ простой
И страсти голосъ благородный?

ЖУРНАЛИСТЪ.

Я точно то же говорю;
Какъ вы, открыто негодуя,
На музу русскую смотрю я.
Прочтите критику мою.

ЧИТАТЕЛЬ.

Читалъ я. Мелкія нападки
На шрифтъ, виньетки, опечатки,
Намеки тонкіе на то,
Чего не вѣдаетъ никто.
Хотя бѣ забавно было свѣту!...
Въ чернилахъ вашихъ, господа,
И жолчи ѣдкой даже нѣту—
А просто грязная вода.

ЖУРНАЛИСТЪ.

И съ этимъ надо согласиться.
Но вѣрьте мнѣ, душевно радъ
Я былъ бы вовсе не браниться—
Да какъ же быть?... меня бранять!
Войдите въ наше положенье!
Читаетъ насъ и низшій кругъ:
Нагая рѣзкость выраженья
Не всякій оскорбляетъ слухъ;
Приличье, вкусъ—все такъ условно;
А деньги всѣ вѣдь платятъ ровно!
Повѣрьте мнѣ: судьбою несть
Даны намъ тяжкія вериги.
Скажите, каково прочесть

Весь этотъ вздоръ, всѣ эти книги —
И все зачѣмъ? Чтобъ вамъ сказать,
Что ихъ ненадобно читать!...

ЧИТАТЕЛЬ.

За то какое наслажденье,
Какъ отдыхаетъ умъ и грудь,
Коль попадется какъ нибудь
Живое, свѣтлое творенье!
Вотъ, напримѣръ, пріятель мой:
Владѣеть онъ изряднымъ слогомъ;
И чувствъ и мыслей полнотой
Онъ одаренъ всевышнимъ Богомъ.

ЖУРНАЛИСТЪ.

Все это такъ, да вотъ бѣда:
Не пишутъ эти господа.

ПИСАТЕЛЬ.

О чемъ писать?... Бываетъ время,
Когда заботъ спадаетъ бремя,
Дни вдохновеннаго труда,
Когда и умъ и сердце полны,
И рѣчъ дружныя, какъ волны,
Журча одна востлѣдъ другой
Несутся вольной чередой.
Восходить чудное свѣтило
Въ душѣ проснувшейся едва:
На мысли, дышаніа силой,
Какъ жемчугъ нисходятъ слова...
Тогда съ отвагою свободной
Поэтъ на будущность глядитъ,
И міръ мечтою благородной
Предъ нимъ очищенъ и обмытъ.
Но эти странныя творенья
Читаетъ дома онъ одинъ,

И ими послѣ, безъ зазрѣнья,
Онъ затопляетъ свой каминъ.
Ужель ребяческія чувства,
Воздушный, безотчетный бредъ
Достойны строгаго искусства?
Ихъ осмѣетъ, забудетъ свѣтъ...

Бываютъ тягостныя ночи:
Безъ сна, горять и плачутъ очи,
На сердцѣ—жадная тоска;
Дрожа, холодная рука
Подушку жаркую объемлетъ;
Невольный страхъ власы подъемлетъ;
Болѣзненный, безумный крикъ
Изъ груди рвется—и языкъ
Лепечетъ громко, безъ сознанья,
Давно забытыя названья;
Давно забытыя черты
Въ сіяньи прежней красоты
Рисуетъ память своевольно:
Въ очахъ любовь, въ устахъ обманъ—
И вѣришь снова имъ невольно,
И какъ-то весело и больно
Тревожить язвы старыхъ ранъ...
Тогда пишу. Диктуетъ совѣсть,
Перомъ сердитый водить умъ:
То соблазнительная повѣсть
Сокрытыхъ дѣлъ и тайныхъ думъ;
Картины хладныя разврата,
Преданья глупыхъ юныхъ дней,
Давно безъ пользы и возврата
Погибшихъ въ омутѣ страстей;
Средь битвъ незримыхъ, но упорныхъ,
Среди обманщицъ и невѣждъ,
Среди сомнѣній ложно-черныхъ

И ложно-радужных надеждъ.
 Судья безвѣстный и случайный,
 Не дорожа чужою тайной,
 Приличьемъ скрашенный порокъ
 Я смѣло предаю позору;
 Неумолимъ я и жестокъ...
 Но, право, этихъ горькихъ строкъ
 Неприготовленному взору
 Я не рѣшуся показать...
 Скажите жъ мнѣ, о чемъ писать?
 Къ чему толпы неблагодарной
 Мнѣ злость и ненависть навлечь,
 Чтобъ бражью назвали коварной
 Мою пророческую рѣчь?
 Чтобъ тайный адъ страницы знойной
 Смутилъ ребенка сонъ покойный
 И сердце слабое увлекъ
 Въ свой необузданный потокъ?
 О нѣтъ! преступною мечтою
 Не ослѣпляя мысль мою,
 Такой тяжелою цѣною
 Я вашей славы не куплю...

21 марта 1840.

Подъ арестомъ на арсенальной глубинахъ.

ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ.

[изъ зейдлица].

По синимъ волнамъ океана,
 Лишь звѣзды блеснуть въ небесахъ,
 Корабль одинокій несется,
 Несется на всѣхъ парусахъ.

Не гнутся высокія мачты,
 На нихъ флюгера не шумять,

И, молча, въ открытые люки
Чугунныя пушки глядятъ.

Не слышно на немъ капитана,
Не видно матросовъ на немъ;
Но скалы и тайныя мели,
И бури ему нипочемъ.

Есть островъ на томъ океанѣ —
Пустынный и мрачный гранитъ;
На островѣ томъ есть могила,
А въ ней императоръ зарытъ.

Зарытъ онъ безъ почестей бранныхъ
Врагами въ сыпучій песокъ;
Лежить на немъ камень тяжелый,
Чтобъ встать онъ изъ гроба не могъ.

И въ часъ его грустной кончины,
Въ полночь, какъ свершается годъ,
Къ высокому берегу тихо
Воздушный корабль пристаеъ.

Изъ гроба тогда императоръ,
Очнувшись, является вдругъ;
На немъ треугольная шляпа
И сѣрый походный сюртукъ.

Скрестивши могучія руки,
Главу опустивши на грудь,
Идетъ и къ рулю онъ садится
И быстро пускается въ путь.

Несется онъ къ Франціи милой,
Гдѣ славу оставилъ и тронъ,
Оставилъ наслѣдника-сына,
И старую гвардію онъ.

И только-что землю родную
Завидить во мракѣ nocturno,
Опять его сердце трепещеть
И очи пылають огнемъ.

На берегъ большими шагами
Онъ смѣло и прямо идетъ,
Соратниковъ громко онъ кличетъ
И маршаловъ грозно зоветъ.

Но спать усачи-гренадеры —
Въ равнинѣ, гдѣ Эльба шумить,
Подъ снѣгомъ холодной Россіи,
Подъ знойнымъ пескомъ пирамидъ.

И маршалы зова не слышать:
Иные погибли въ бою,
Другіе ему измѣнили
И продали шпагу свою.

И, топнувъ о землю ногою,
Сердито онъ взадъ и впередъ
По тихому берегу ходить,
И снова онъ громко зоветъ:

Зоветъ онъ любезнаго сына —
Опору въ превратной судьбѣ;
Ему общаетъ полміра,
А Францію только—себѣ.

Но въ цвѣтѣ надежды и силы
Угасъ его царственный сынъ,
И долго, его поджидая,
Стоитъ императоръ одинъ —

Стоить онъ и тяжело вздыхаетъ,
Пока озарится востокъ,
И капаютъ горькія слезы
Изъ глазъ на холодный песокъ.

Потомъ на корабль свой волшебный,
Главу опустивши на грудь,
Идетъ и, махнувши рукою,
Въ обратный пускается путь.



И СКУЧНО И ГРУСТНО.

И скучно, и грустно, и некому руку подать
Въ минуту душевной невзгоды...
Желанья!... что пользы напрасно и вѣчно желать?...
А годы проходятъ—всѣ лучшіе годы!

Любить... но кого же?... на время—не стоитъ труда,
А вѣчно любить невозможно.
Въ себя лишь заглянешь?—тамъ прошлаго нѣтъ и слѣда:
И радость, и муки, и все тамъ ничтожно...

Что страсти?—вѣдь рано или поздно, ихъ сладкій недугъ
Исчезнетъ при словѣ разсудка;
И жизнь, какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ—
Такая пустая и глупая шутка...



О Т Ч Е Г О .

Мнѣ грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цвѣтущую твою

Не пощадить молвы коварное гоненье.
За каждый свѣтлый день, иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбѣ.
Мнѣ грустно... потому что весело тебѣ.

БЛАГОДАРНОСТЬ.

За все, за все Тебя благодарю я:
За тайныя мученія страстей,
За горечь слезъ, отраву поцѣлуя,
За месть враговъ и клевету друзей;
За жаръ души, растроченный въ пустынѣ,
За все, чѣмъ я обмануть въ жизни былъ...
Устрой лишь такъ, чтобы Тебя отнынѣ
Недолго я еще благодарилъ.

ИЗЪ ГЁТЕ.

Горныя вершины
Спать во тьмѣ ночной;
Тихія долины
Покры свѣжей мглой;
Не пылить дорога,
Не дрожать листья...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

ТУЧИ.

Тучки небесныя, вѣчные странники!
Степью лазурною, цѣпью жемчужною

Мчитесь вы, будто какъ я же, изгнанники
Съ милого сѣвера въ сторону южную.

Кто же васъ гонить: судьбы ли рѣшеніе?
Зависть ли тайная? Злоба ль открытая?
Или на васъ тяготитъ преступленіе?
Или друзей клевета ядовитая?

Нѣтъ, вамъ наскучили нивы безплодныя...
Чужды вамъ страсти и чужды страданія;
Вѣчно-холодныя, вѣчно-свободныя,
Нѣтъ у васъ родины, нѣтъ вамъ изгнанія.

Апрѣль 1840.

СОСНА.

[ИЗЪ ГЕЙНЕ].

НА СВѢРЪ ДИКОМЪ СТОИТЬ ОДИНОКО
На голой вершинѣ сосна,
И дремлетъ качаясь, и снѣгомъ сыпучимъ
Одѣта, какъ ризой, она.

И снится ей все, что въ пустынѣ далекой,
Въ томъ краѣ, гдѣ солнца восходъ,
Одна и грустна на утесѣ горячемъ
Прекрасная пальма растетъ.

*
* *

[КН. МАРЬЯ АЛЕКСѢЕВНА ЩЕРБАТОВОЙ].

НА СВѢТСКІЯ ЦѢЛИ,
На блескъ утонченный бала

Цвѣтушія степи
Украины она промѣняла.

Но юга роднаго
На ней сохранилась примѣта
Среди ледянаго,
Среди безпощаднаго свѣта.

Какъ ночи Украины
Въ мерканіи звѣздъ незакатныхъ —
Исполнены тайны
Слова ея устъ ароматныхъ.

Прозрачны и сини,
Какъ небо тѣхъ странъ, ея глазки;
Какъ вѣтеръ пустыни,
И нѣжать и жгутъ ея ласки.

И зрѣющей сливы
Румянецъ на щѣчкахъ пушистыхъ,
И солнца отливы
Играютъ въ кудряхъ золотистыхъ.

И, слѣдуя строго
Печальной отчизны примѣру,
Въ надежду на Бога
Хранить она дѣтскую вѣру.

Какъ племя родное,
У чуждыхъ опоры не просить,
И въ гордомъ покоѣ
Насмѣшку и зло переносить.

Отъ дерзкаго взора
Въ ней страсти не вспыхнуть пожаромъ,
Полюбить не скоро,
За то не разлюбить ужъ даромъ.

ЛЮБОВЬ МЕРТВЕЦА.

Пускай холодною землею
Засыпанъ я,
О, другъ! всегда, вездѣ съ тобою
Душа моя.
Любви безумнаго томленья,
Жилецъ могилъ,
Въ странѣ покоя и забвенья,
Я не забылъ.

Безъ страха, въ часъ послѣдней муки,
Покинувъ свѣтъ,
Отрады ждалъ я отъ разлуки —
Разлуки нѣтъ!
Я видѣлъ прелесть безтѣлесныхъ,
И тосковалъ,
Что образъ твой въ чертахъ небесныхъ
Не узнавалъ,

Что мнѣ сіянье божьей власти
И рай святой!
Я перенесъ земныя страсти
Туда съ собой:
Ласкаю я мечту родную
Вездѣ одну;
Желаю, плачу и ревную,
Какъ встарину.

Коснется ль чуждое дыханье
Твоихъ ланить,
Душа моя въ нѣмомъ страданьѣ
Вся задрожитъ.

Случится ль—шепчешь, засыпая,
 Ты о другомъ;
 Твои слова текутъ, пылая,
 По мнѣ огнемъ.

Ты не должна любить друга,
 Нѣтъ, не должна;
 Ты мертвецу святыней слова
 Обручена.
 Увы! твой страхъ, твои моленья,
 Къ чему онѣ?
 Покоя мира и забвенья
 Не надо мнѣ!



ПОСВЯЩЕНІЕ КЪ ПОЭМѢ ДЕМОНЪ.

Т ебѣ, Кавказъ, суровый царь земли,
 Я посвящаю снова стихъ небрежный:
 Какъ сына ты его благослови
 И осѣни вершиной бѣлоснѣжной.
 Отъ юныхъ лѣтъ къ тебѣ мечты мои
 Прикованы судьбою неизбѣжной;
 На сѣверѣ, въ странѣ тебѣ чужой,
 Я сердцемъ твой, всегда и всюду твой.

Еще ребенкомъ, робкими шагами
 Взбирался я на гордыя скалы,
 Увитыя туманными чалмами,
 Какъ главы поклонниковъ Аллы.
 Тамъ вѣтеръ машетъ вольными крылами,
 Тамъ ночевать слетаются орлы;
 Я въ гости къ нимъ леталъ мечтой послушной
 И сердцемъ былъ товарищъ ихъ воздушный.

Съ тѣхъ поръ прошло тяжелыхъ много лѣтъ,
И вновь меня межъ скалъ своихъ ты встрѣтилъ;
Какъ нѣкогда ребенку, твой привѣтъ
Изгнаннику былъ радостенъ и свѣтелъ;
Онъ пролилъ въ грудь мою забвеніе бѣдъ
И дружески на дружній зовъ, отвѣтилъ.
И нынѣ здѣсь, въ полуночномъ краю,
Все о тебѣ мечтаю и пою.



АЛЕКСАНДРЪ ОСИПОВНЪ СМІРНОВОЙ.

Възъ васъ хочу сказать вамъ много,
При васъ я слушать васъ хочу;
Но, молча, вы глядите строго —
И я, въ смущеніи, молчу.
Что жъ дѣлать?... Рѣчью неискусной
Занять вашъ умъ мнѣ не дано...
Все это было бы смѣшно,
Когда бы не было такъ грустно...



КЪ ПОРТРЕТУ

ГР. А. К. ВОРОНЦОВОЙ-ДАШКОВОЙ.

Какъ мальчикъ кудрявый, рѣзва;
Нарядна, какъ бабочка лѣтомъ;
Значенія пустаго слова
Въ устахъ ея полны привѣтомъ.

Ей правиться долго нельзя,
Какъ цѣль, ей несносна привычка;
Она ускользнетъ, какъ змѣя,
Порхнетъ и умчится, какъ птичка.

Таить молодое чело
 По волѣ—и радость и горе.
 Въ глазахъ, какъ на небѣ, свѣтло;
 Въ душѣ ея темно, какъ въ морѣ.

То истиной дышетъ въ ней все,
 То все въ ней притворно и ложно;
 Понять невозможно ее,
 За то не любить невозможно.

МАРЬЯ ПАВЛОВНА СОЛОМИРСКАЯ.

Надъ бездной адскою блуждая,
 Душа преступная порой
 Читаетъ на воротахъ рай
 Узоры надписи святой;

И часто тайную отраду
 Находить мукѣ неземной,
 За непреклонную ограду
 Стремясь завистливой мечтой.

Такъ, разбирая въ заточеньи
 Досель мнѣ чуждые черты,
 Я былъ свободенъ на мгновенье
 Могучей волею мечты.

Залогомъ вольности желанной,
 Лучемъ надежды въ морѣ бѣдъ
 Мнѣ сталъ тогда вашъ безымянный,
 Но вѣчно-памятный привѣтъ.

ВЪ АЛЬБОМЪ АВТОРУ «КУРДЮКОВОЙ».

[ИВ. ПЕТР. МЯТЛЕВУ].

Н а нашихъ дамъ морозныхъ
Съ досадою я смотрю,
Угрюмыхъ и серьезныхъ
Фигуръ ихъ не терплю.
Вотъ дама Курдюкова!
Ея разсказъ такъ милъ,
Я отъ слова до слова
Его бы затвердилъ.
Мой умъ скакалъ за нею,
И часто былъ готовъ
Я броситься на шею
Къ madame de-Курдюковъ.

КЪ ГР. Э. К. МУСИНОЙ-ПУШКИНОЙ.

Г рафиня Эмилиа
Бѣлѣе, чѣмъ лилія;
Стройнѣй ея таліи
На свѣтѣ не встрѣтится,
И небо Италіи
Въ глазахъ ея свѣтится;
Но сердце Эмилии
Подобно Бастиліи.

ИЗЪ АЛЬБОМА

СОФЬИ НИКОЛАЕВНЫ КАРАМЗИНОЙ.

Любилъ и я въ былые годы,
 Въ невинности души моей,
 И бури шумныя природы,
 И бури тайныя страстей.

Но красоты ихъ безобразной
 Я скоро таинство постигъ,
 И мнѣ наскучилъ ихъ несвязной
 И оглушающій языкъ.

Люблю я больше; годъ отъ году,
 Желаньямъ мирнымъ давъ просторъ,
 Поутру ясную погоду,
 Подъ вечеръ—тихій разговоръ...

.....

ГРАФИНЪ РОСТОПЧИНОЙ.

Я вѣрю: подъ одной звѣздой
 Мы съ вами были рождены;
 Мы шли дорогою одною,
 Насъ обманули тѣ же сны.
 Но что жъ?—Отъ цѣли благородной
 Оторванъ бурей страстей,
 Я позабылъ въ борьбѣ безплодной
 Преданья юности моей.
 Предвидя вѣчную разлуку,
 Боюсь я сердцу волю дать,

Боюсь предательскому звуку
Мечту напрасную вѣрять...

Такъ двѣ волны несутся дружно
Случайной, вольною четой
Въ пустынь моря голубой:
Ихъ гонить вмѣстѣ вѣтеръ южной;
Но ихъ разгонить гдѣ нибудь
Утеса каменная грудь...
И, полны холодомъ привычнымъ,
Онѣ несутъ брегамъ различнымъ
Безъ сожалѣнья и любви
Свой ропотъ сладостный и томный,
Свой бурный шумъ, свой блескъ заемный,
И ласки вѣчныя свои.

* *
*

Слышу ли голосъ твой
Звонкій и ласковый—
Какъ птичка въ клеткѣ
Сердце запрыгаетъ.

Встрѣчу ль глаза твои
Лазурью глубокие—
Душа на встрѣчу имъ
Изъ груди просится.

И какъ-то весело!
И плакать хочется...
И такъ на шею бы
Тебѣ я кинулся...

1841.

* * *

Есть рѣчи—значенье
Темно иль ничтожно;
Но имъ безъ волненья
Внимать невозможно.

Какъ полны ихъ звуки
Безумствомъ желанья!
Въ нихъ слезы разлуки,
Въ нихъ трепеть свиданья.

Не встрѣтитъ отвѣта
Средь шума мірскаго
Изъ пламя и свѣта
Рожденное слово;

Но въ храмѣ, средь боя,
И гдѣ я ни буду,
Услышавъ, его я
Узнаю повсюду;

Не кончивъ молитвы,
На звукъ тотъ отвѣчу
И брошусь изъ битвы
Ему я на встрѣчу.

ЗАВѢЩАНІЕ.

Н аединъ съ тобою, братъ,
 Хотѣлъ бы я побыть:
 На свѣтѣ мало, говорятъ,
 Мнѣ остается жить!
 Поѣдешь скоро ты домой:
 Смотри жъ... Да что! моей судьбой,
 Сказать по правдѣ, очень
 Никто не озабоченъ.

А если спросить кто-нибудь...
 Ну, кто бы ни спросилъ—
 Скажи имъ, что на вылетъ въ грудь
 Я пулей раненъ былъ;
 Что умеръ честно за царя,
 Что плохи наши лекаря,
 И что родному краю
 Поклонъ я посылаю.

Отца и мать мою едва ль
 Застанешь ты въ живыхъ...
 Признаться, право, было бъ жаль
 Мнѣ опечалить ихъ;
 Но если кто изъ нихъ и живъ,
 Скажи, что я писать лѣнивъ,
 Что полкъ въ походъ послали,
 И чтобъ меня не ждали.

Сосѣдка есть у нихъ одна...
 Какъ вспомнишь, какъ давно
 Разстались... Обо мнѣ она
 Не спросить... Все равно,

Ты Расскажи всю правду ей,
Пустаго сердца не жалѣй—
Пускай она поплачетъ...
Ей ничего не значить!

ОПРАВДАНИЕ.

Когда одни воспоминанья
О заблужденіяхъ страстей,
На мѣсто славнаго названья,
Твой другъ оставить межъ людей—

И будетъ спать въ землѣ безгласно
То сердце, гдѣ кипѣла кровь,
Гдѣ такъ безумно, такъ напрасно
Съ враждой боролася любовь;

Когда предъ общимъ приговоромъ
Ты смолкнешь, голову склоня,
И будетъ для тебя позоромъ
Любовь безгрѣшная твоя—

Того, кто страстью и порокомъ
Затмилъ твои молодые дни,
Молю, язвительнымъ упрекомъ
Ты въ оный часъ не помяни.

Но предъ судомъ толпы лукавой
Скажи, что судить насъ Иной,
И что прощать святое право
Страданьемъ куплено тобой.

РОДИНА.

Люблю отчизну я, но странною любовью;
Не побѣдить ея разсудокъ мой!
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордаго довѣрія покой,
Ни темной старины заветныя преданья
Не шевелятъ во мнѣ отраднaго мечтанья.

Но я люблю—за что, не знаю самъ—
Ея степей холодное молчанье,
Ея лѣсовъ безбрежныхъ колыханье,
Разливы рѣкъ ея, подобные морямъ;
Проселочнымъ путемъ люблю скакать въ телегѣ
И, взоромъ медленнымъ пронзая ночи тѣнь,
Встрѣчать по сторонамъ, вздыхая о ночлегѣ,
Дрожащія огни печальныхъ деревень.
Люблю дымокъ спаленной жнивы.
Въ степи кочующій обозъ,
И на холмѣ, средь желтой нивы,
Чету бѣлѣющихъ березъ.
Съ отрадой, многимъ незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
Съ рѣзными ставнями окно;
И въ праздникъ, вечеромъ росистымъ,
Смотрѣть до полночи готовъ
На пляску съ топаньемъ и свистомъ,
Подъ говоръ пьяныхъ мужичковъ.

ПОСЛѢДНЕЕ НОВОСЕЛѢ.

Межъ тѣмъ, какъ Франція, среди рукоплесканій
И кликовъ радостныхъ, встрѣчаетъ хладный прахъ
Погибшаго давно среди нѣмыхъ страданій
Въ изгнаньи мрачномъ и въ цѣпяхъ;
Межъ тѣмъ, какъ міръ услужливой хвалою
Вѣнчаетъ поздняго раскаянья порывъ,
И вздорная толпа, довольная собою,
Гордится, прошлое забывъ—
Негодованію и чувству давъ свободу,
Понявъ тщеславіе сихъ праздничныхъ заботъ,
Мнѣ хочется сказать великому народу:
Ты жалкій и пустой народъ!
Ты жалокъ, потому что вѣра, слава, геній,
Все, все великое, священное земли,
Съ насмѣшкой глупою ребяческихъ сомнѣній
Тобой растоптано въ пыли.
Изъ славы сдѣлалъ ты игрушку лицемѣрья,
Изъ вольности—орудье палача,
И всѣ завѣтныя отцовскія повѣрья
Ты имъ рубилъ, рубилъ съ плеча—
Ты погибалъ... и онъ явился съ строгимъ взоромъ,
Отмѣченный божественнымъ перстомъ,
И признанъ за вожда всеобщимъ приговоромъ,
И ваша жизнь слилася въ немъ—
И вы окрѣпли вновь въ тѣни его державы,
И міръ трепещущій въ безмолвіи взиралъ
На ризу чудную могущества и славы,
Которой васъ онъ одѣвалъ.
Одинъ—онъ былъ вездѣ, холодный, неизмѣнный,
Отецъ сѣдыхъ дружинъ, любимый сынъ молвы,
Въ степяхъ египетскихъ, у стѣнъ покорной Вѣны,
Въ снѣгахъ пылающей Москвы.

А вы что дѣлали, скажите, въ это время,
Когда въ поляхъ чужихъ онъ гордо погибалъ?
Вы потрясали власть, избранную какъ бремя,
Точили въ темнотѣ кинжалъ!

Среди послѣднихъ битвъ, отчаянныхъ усилій,
Въ испугѣ не понявъ позора своего,
Какъ женщина, ему вы измѣнили

И, какъ рабы, вы предали его!
Лишенный правъ и мѣста гражданина,
Разбитый свой вѣнецъ онъ снялъ и бросилъ самъ,
И вамъ оставилъ онъ въ залогъ роднаго сына—

Вы сына выдали врагамъ!
Тогда, отяготивъ позорными цѣпями,
Героя увезли отъ плачущихъ дружинъ—
И на чужой скалѣ, за синими морями,
Забитый, онъ угасъ одинъ—
Одинъ, замученъ мщеніемъ бесплоднымъ,
Безмолвною и гордою тоской,
И, какъ простой солдатъ, въ плащѣ своемъ походномъ
Зарытъ наемною рукой...

*

Но годы протекли, и вѣтрое племя
Кричитъ: «Подайте намъ священный этотъ прахъ!
Онъ нашъ; его теперь, великой жатвы сѣмя,
Зароемъ мы въ спасенныхъ имъ стѣнахъ!»
И возвратился онъ на родину. Безумно,
Какъ прежде, вокругъ него тѣснятся и бѣгутъ
И въ пышный гробъ, среди столицы шумной,
Остатки тлѣнные кладутъ.
Желанье позднее увѣнчано успѣхомъ!
И краткій свой восторгъ смѣнивъ уже другимъ,
Гуляя, топчетъ ихъ съ самодовольнымъ смѣхомъ
Толпа, дрожавшая предъ нимъ!

*

И грустно мнѣ, когда подумаю, что нынѣ
Нарушена святая тишина
Вокругъ того, кто ждалъ въ своей пустынѣ
Такъ жадно, столько лѣтъ—спокойствія и сна!
И если духъ вождя примчится на свиданье
Съ гробницей новою, гдѣ прахъ его лежитъ,
Какое въ немъ негодованье
При этомъ видѣ закипитъ!
Какъ будетъ онъ жалѣть, печалію томимый,
О знойномъ островѣ подъ небомъ дальнихъ странъ,
Гдѣ сторожилъ его, какъ онъ непобѣдимый,
Какъ онъ великій, океанъ!

КИНЖАЛЪ.

Л юблю тебя, булатный мой кинжалъ,
Товарищъ свѣтлый и холодный.
Задумчивый грузинъ на месть тебя ковалъ,
На грозный бой точилъ черкезь свободный.

Лилейная рука тебя мнѣ поднесла
Въ знакъ памяти, въ минуту разставанья,
И въ первый разъ не кровь вдоль по тебѣ текла,
Но свѣтлая слеза—жемчужина страданья.

И черные глаза, остановясь на мнѣ,
Исполнены таинственной печали,
Какъ сталь твоя при трепетномъ огнѣ,
То вдругъ тускнѣли, то сверкали.

Ты данъ мнѣ въ спутники, любви залогъ нѣмой,
И страннику въ тебѣ примѣръ не бесполезный:
Да, я не измѣнюсь и буду твердъ душой
Какъ ты, какъ ты, мой другъ желѣзный.

ПЛѢННЫЙ РЫЦАРЬ.

Молча сижу подъ окошкомъ темницы.
 Синее небо отсюда мнѣ видно:
 Въ небѣ играютъ всё вольныя птицы;
 Глядя на нихъ, мнѣ и больно и стыдно.

Нѣтъ на устахъ моихъ грѣшной молитвы,
 Нѣту ни пѣсни во славу любезной;
 Помню я только старинныя битвы,
 Мечъ мой тяжелый, да панцырь желѣзный.

Въ каменный панцырь я нынѣ закованъ,
 Каменный шлемъ мою голову давить,
 Щитъ мой отъ стрѣлъ и меча заколдованъ,
 Конь мой бѣжить, и никто имъ не править.

Быстрое время—мой конь неизмѣнный,
 Шлема забрало—рѣшотка бойницы,
 Каменный панцырь—высокія стѣны,
 Щитъ мой—чугунныя двери темницы.

Мчись же быстрѣе, летучее время!
 Душно подъ новой броней мнѣ стало!
 Смерть, какъ прійдемъ, поддержи мнѣ стремя;
 Слѣзу и сдерну съ лица я забрало.

СОСѢДКА.

Не дожидаться мнѣ видно свободы
 А тюремные дни будто годы;
 И окно высоко надъ землей,
 А у двери стоитъ часовой.

Умереть бы ужъ мнѣ въ этой клѣткѣ,
Кабы не было милой сосѣдки...
Мы проснулись сегодня съ зарей;
Я кивнулъ ей слегка головой.

Разлучивъ насъ, сдружила неволя,
Познакомила общая доля,
Породнило желанье одно,
Да съ двойною рѣшоткой окно.

У окна лишь поутру я сяду,
Волю дамъ ненасытному взгляду—
Вотъ напротивъ окошечко стукъ!
Занавѣска подымется вдругъ.

На меня посмотрѣла плутовка!
Опустилась на ручку головка,
А съ плеча, будто сдулъ вѣтерокъ,
Полосатый скатился платокъ.

Но блѣдна ея грудь молодая,
И сидитъ она долго, вздыхая;
Видно, буйную думу тая,
Все тоскуетъ по волѣ, какъ я.

Не грусти, дорогая сосѣдка!
Захоти лишь—отворится клѣтка,
И, какъ божіи птички, вдвоемъ
Мы въ широкое поле порхнемъ.

У отца ты ключи мнѣ украдешь,
Сторожей за пирушку усадишь;
А ужъ съ тѣмъ, что поставленъ къ дверямъ,
Постараюсь я справиться самъ.

Избери только ночь потемнѣе,
Да отцу дай вина похмѣльнѣе,
Да повѣсь, чтобы вѣдать я могъ,
На окно полосатый платокъ.

ДОГОВОРЪ.

Пускай толпа клеймить презрѣньемъ
Нашъ неразгаданный союзъ,
Пускай людскимъ предубѣжденьемъ
Ты лишена семейныхъ узъ —

Но передъ идолами свѣта
Не гну колѣни я мои;
Какъ ты, не знаю въ немъ предмета
Ни сильной злобы, ни любви;

Какъ ты, кружусь въ весельи шумномъ,
Не отличая никого:
Дѣлюсь съ умнымъ и безумнымъ,
Живу для сердца своего.

Земнаго счастья мы не цѣнимъ;
Людей привыкли мы цѣнить;
Себѣ мы оба не измѣнимъ,
А намъ не могутъ измѣнить.

Въ толпѣ другъ друга мы узнали;
Сошлись и разойдемся вновь.
Была безъ радостей любовь,
Разлука будетъ безъ печали.

* * *

Ты помнишь ли, какъ мы съ тобою
 Прощались позднѣю порою?
 Вечерній выстрѣлъ загремѣлъ,
 И мы съ волненіемъ внимали...
 Тогда лучи ужъ догорали
 И на морѣ туманъ густѣлъ;
 Ударъ съ усиленіемъ промчался
 И вдругъ за бездною скончался.

Окончивъ трудъ дневныхъ работъ,
 Я часто о тебѣ мечтаю;
 Бродя вблизи пустынныхъ водъ,
 Вечернимъ выстрѣламъ внимаю.
 И между тѣмъ какъ чередой
 Глушить волнами ихъ сѣдыми,
 Я плачу, я томимъ тоской,
 Я умереть желаю съ ними...

* * *

Изъ-подъ таинственной, холодной полумаски
 Звучалъ мнѣ голосъ твой, отрадный какъ мечта,
 Свѣтили мнѣ твои плѣнительныя глазки
 И улыбались лукавыя уста.

Сквозь дымку легкую замѣтилъ я невольно
 И дѣвственныхъ ланитъ и шеи бѣлизну.
 Счастливецъ! видѣлъ я и локоны своевольный,
 Родныхъ кудрей покинувшій волну...

И создалъ я тогда въ моемъ воображеніи
 По легкимъ признакамъ красавицу мою,

И съ той поры безплотное видѣнье
Нощу въ душѣ моей, ласкаю и люблю.

И все мнѣ кажется: живыя эти рѣчи
Въ года минувшіе слыхалъ когда-то я;
И кто-то шепчетъ мнѣ, что послѣ этой встрѣчи
Мы вновь увидимся, какъ старые друзья.

* * *

Не плачь, не плачь, мое дитя!
Не стоить онъ безумной муки.
Вѣрь, онъ ласкалъ тебя шута,
Вѣрь, онъ любилъ тебя отъ скуки!
И мало ль въ Грузіи у насъ
Прекрасныхъ юношей найдется?
Быстрѣй огонь ихъ черныхъ глазъ,
И черный усь ихъ лучше вьется!

Изъ дальней, чуждой стороны
Онъ къ намъ заброшенъ былъ судьбою;
Онъ ищетъ славы и войны—
И что жъ онъ могъ найти съ тобою?
Тебя онъ золотомъ дарилъ,
Клялся, что вѣчно не измѣнить;
Онъ ласки дорого цѣнилъ,
Но слезъ твоихъ онъ не оцѣнить!

* * *

Это случилось въ послѣдніе годы могучаго Рима.
Царствовалъ грозный Тиверій и гналъ христіанъ безпощадно;

Но ежедневно, на мѣстѣ отрубленныхъ вѣтвей, у древа
 Церкви Христовой юные вновь зеленѣли побѣги.
 Въ тайной пещерѣ, надъ Тибромъ ревущимъ, скрывался въ то
 время

Праведный старецъ, въ постѣ и молитвѣ свой вѣкъ доживая;
 Богъ его въ людяхъ своей благодатью прославилъ.
 Чудный онъ даръ получилъ: изцѣлять отъ недуговъ тѣлесныхъ
 И отъ страданій душевныхъ. Рано утромъ однажды,
 Горько рыдая, приходитъ къ нему старуха простаго
 Званія; съ нею и мужъ ея, грусти безмолвной исполненъ.
 Просить она воскресить ея дочь, внезапно во цвѣтѣ
 Дѣвственной жизни умершую.... «Вотъ ужъ два дня и двѣ
 ночи»—

Такъ она говорила—«мы нашихъ боговъ неотступно
 Молимъ во храмахъ и жжемъ ароматы на мраморѣ холодномъ,
 Золото сыплемъ жрецамъ ихъ и плачемъ... но все бесполезно!
 Если бъ зналъ ты Виргинію нашу, то жалость стѣснила бъ
 Сердце твое, равнодушное къ прелестямъ міра: какъ часто
 Дряхлые старцы, любясь на бѣлыя плечи, волнистыя кудри,
 На темныя очи ея—молодѣли; юноши страстными
 Взоромъ ее провожали, когда, напѣвая простую
 Пѣсню, амфору держа надъ головой, осторожно тропинкой
 Къ Тибру спускалась она за водою, иль въ пляскѣ,
 Передъ домашнимъ порогомъ, подругъ побѣждала искусствомъ,
 Звонкимъ ребяческимъ смѣхомъ родительскій слухъ утѣшая.
 Только въ послѣднее время примѣтно она измѣнилась:
 Игры наскучили ей и взоръ отуманился думой,
 Изъ дома стала она уходить до зари; возвращаясь
 Вечеромъ темнымъ, и ночи безъ сна проводила. При свѣтѣ
 Поздней лампы я видѣла рязъ, какъ она, на колѣняхъ,
 Тихо усердно и долго молилась... кому?... неизвѣстно...
 Сѣзвали мы стариковъ и родныхъ для совѣта; рѣшили...

.....



КАЗБЕКУ.

Спѣша на сѣверъ издалека,
Изъ теплыхъ и чужихъ сторонъ,
Тебѣ, Казбекъ, о стражѣ Востока,
Привезъ я—странникъ—свой поклонъ.

Чалмою бѣлою отъ вѣка
Твой лобъ наморщенный увить,
И гордый ропотъ человѣка
Твой гордый миръ не возмутить.

Но сердца тихаго моленье
Да отнесутъ твои скалы
Въ надзвѣздный край, въ твое владѣнье—
Къ престолу вѣчному Аллы.

Молю, да снидетъ день прохладный
На знойный доль и пыльный путь,
Чтобъ мнѣ въ пустынѣ безотрадной
На камнѣ въ полдень отдохнуть;

Молю, чтобъ буря не застала,
Гремя въ нарядѣ боевомъ,
Въ ущельи мрачнаго Дарьяла
Меня съ измученнымъ конемъ.

Но есть еще одно желанье...
Боюсь сказать... душа дрожить...
Что... если я со дня изгнанья
Совсѣмъ на родинѣ забыть!

Найду ль тамъ прежнія объятя?
Старинный встрѣчу ли привѣтъ?
Узнаютъ ли друзья и братья
Страдальца послѣ многихъ лѣтъ?

Или, среди могилъ холодныхъ,
Я наступлю на прахъ родной
Тѣхъ добрыхъ, пылкихъ, благородныхъ,
Дѣлившихъ молодость со мной?

О! если такъ... своей метелью,
Казбекъ, засыпъ меня скорѣй,
И прахъ бездомный по ущелью
Безъ сожалѣнія развѣй!

[Май].

* * *

Я не хочу, чтобъ свѣтъ узналъ
Мою таинственную повѣсть,
Какъ я любилъ, за что страдалъ:
Тому судья лишь Богъ да совѣсть.

Имъ сердце въ чувствахъ дать отчетъ,
У нихъ попросить сожалѣнья—
И пусть меня накажетъ Тотъ,
Кто избрѣлъ мои мученья.

Укоръ невѣждъ, укоръ людей
Души высокой не печалить;
Пушай шумить волна морей—
Утесъ гранитный не повалить:

Его чело межъ облаковъ;
Онъ двухъ стихій жилище угрюмый,
И, кромѣ бури да громовъ,
Онъ никому не вѣритъ думы.

* * *

Не смѣйся надъ моей пророческой тоскою.
 Я зналъ—ударъ судьбы меня не обойдетъ,
 Я зналъ, что голова, любимая тобою,
 Съ твоей груди на плаху перейдетъ.
 Я говорилъ тебѣ: ни счастья, ни славы
 Мнѣ въ мірѣ не найти. Настанетъ часъ кровавый,
 И я паду—и хитрая вражда
 Съ улыбкой очернитъ мой недоцвѣтшій геній,
 И я погибну безъ слѣда
 Моихъ надеждъ, моихъ мученій...
 Но я безъ страха жду довременный конецъ;
 Давно пора мнѣ міръ увидѣть новый.
 Пускай толпа растопчетъ мой вѣнецъ.
 Вѣнецъ пѣвца, вѣнецъ терновый—
 Пускай! я имъ не дорожилъ!...

—

ВИДЪ ГОРЪ ИЗЪ СТЕПЕЙ КОЗЛОВА.

[изъ «БРЫМСКИХЪ СОНЕТОВЪ» МИЦКЕВИЧА].

ПИЛИГРИМЪ.

Аллахъ ли тамъ, среди пустыни
 Застывшихъ волнъ, воздвигъ тверднни,
 Притоны ангеламъ своимъ;
 Иль Дивы, словомъ роковымъ,
 Стѣной умѣли такъ высоко
 Громады скалъ нагромоздить,
 Чтобъ путь на сѣверъ заградить

Звѣздамъ, кочующимъ съ востока?
 Вотъ свѣтъ все небо озарилъ:
 То не пожаръ ли Цареграда?
 Иль Богъ ко сводамъ пригвоздилъ
 Тебя, полночная лампада,
 Маякъ спасительный, отрада
 Плывающихъ по морю свѣтилъ?

МИРЗА.

Тамъ былъ я: тамъ, со дня созданья,
 Бушуетъ вѣчная метель,
 Потоковъ видѣлъ колыбель,
 Дохнуть—и мерзнулъ паръ дыханья.
 Я проложилъ мой смѣлый слѣдъ,
 Гдѣ для орловъ дороги нѣтъ,
 И дремлетъ громъ надъ глубиною,
 И тамъ, гдѣ надъ моей чалмою
 Одна сверкала лишь звѣзда—
 То Чатырдагъ былъ...

ПИЛИГРИМЪ.

А!...

ВЪГЛЕЦЪ.

ГОРСКАЯ ЛЕГЕНДА.

Л арунъ бѣжалъ быстрѣ лани,
 Быстрѣй чѣмъ заяцъ отъ орла:
 Бѣжалъ онъ въ страхѣ съ поля брани,
 Гдѣ кровь черкесская текла.
 Отецъ и два родные брата
 За честь и вольность тамъ легли—

И подъ пятой у супостата
Лежать ихъ головы въ пыли.
Ихъ кровь течеть и просить мщенья.
Гарунъ забылъ свой долгъ и стыдъ,
Онъ растерялъ въ пылу сраженья
Винтовку, пашку—и бѣжить.
И скрылся день; клубясь, туманы
Одѣли темныя поляны
Широкой бѣлой пеленой.
Пахнуло холодомъ съ востока
И надъ пустынею пророка,
Всталъ тихо мѣсяцъ золотой.
Усталый, жаждою томимый,
Съ лица стирая кровь и потъ,
Гарунъ межъ скалъ аулъ родимый
При лунномъ свѣтѣ узнаеть.
Подкрался онъ, никѣмъ незримый;
Кругомъ молчанье и покой.
Съ кровавой битвы невредимый
Лишь онъ одинъ пришелъ домой,
И къ саклѣ онъ спѣшить знакомой;
Тамъ блещетъ свѣтъ: хозяинъ—дома,
Скрѣпясь душой, какъ только могъ,
Гарунъ ступилъ черезъ порогъ.
Селима звалъ онъ прежде другомъ;
Старикъ пришельца не узналъ;
На ложѣ мучимый недугомъ,
Одинъ, онъ молча умиралъ.
«Великъ Аллахъ: отъ злой отравы
Онъ свѣтлымъ ангеламъ своимъ
Велѣлъ беречь тебя для славы...
Что новаго?...» спросилъ Селимъ,
Поднявъ слабѣющія вѣжды.
И взоръ блеснулъ огнемъ надежды,
И онъ привсталъ, и кровь бойца

Вновь разыгралась въ часть конца.
— Два дня мы бились въ тѣснинѣ:
Отецъ мой палъ и братья съ нимъ,
И скрылся я одинъ въ пустынѣ.
Какъ звѣрь преслѣдуемъ, гонимъ,
Съ окровавленными ногами
Отъ острыхъ камней и кустовъ,
Я шель безвѣстными тропами
По слѣду вепрей и волковъ.
Черкесы гибнуть. Врагъ повсюду.
Прими меня, мой старый другъ,
И, вотъ пророкъ!—твоихъ заслугъ,
Я до могилы не забуду. —
А умирающій въ отвѣтъ:
«Ступай! достоинъ ты презрѣнья!
Ни крова, ни благословенья
Здѣсь у меня для труса нѣтъ!»
Стыда и тайной муки полный,
Безъ гнѣва вытерпѣвъ упрекъ,
Ступилъ опять Гарунъ безмолвный
За непривѣтливый порогъ.
И саклю новую минуя,
На мигъ остановился онъ,
И прежнихъ дней летучій сонъ
Вдругъ обдалъ жаромъ поцѣлуя
Его холодное чело.
И стало сладко и свѣтло
Его душѣ; во мракѣ ночи,
Казалось, пламенные очи
Блеснули ласково предъ нимъ,
И онъ подумалъ: «я любимъ...»
Она лишь, мной живетъ и дышетъ...»
И хочетъ онъ войти—и слышитъ...
И слышитъ пѣсню старины.
И сталъ Гарунъ блѣдный луны.

«Мѣсяцъ плыветъ,
И тихъ, и спокоенъ,
А юноша-воинъ
На битву идетъ.
Ружье заряжаетъ джигитъ,
И дѣва ему говорить:
«Мой милый, смѣлѣе
Вѣряться ты року.
Молися Востоку,
Будь вѣренъ пророку,
Будь славѣ вѣрнѣй.
Своимъ измѣнившій —
Измѣной кровавой,
Врага не сразивши,
Погибнетъ безъ славы;
Дожди его ранъ не обмоютъ,
И звѣри костей не зароютъ.—
Въ горахъ никого нѣтъ,
Кто бъ вынесъ позоръ,
И труса прогонитъ
Красавица горь!»

Главой поникнувъ, съ быстротою
Гарунъ свой продолжаетъ путь,
И крупная слеза, порою,
Съ рѣсницы падаетъ на грудь.
Но вотъ, отъ бури наклоненный,
Предъ нимъ родной бѣлѣетъ домъ;
Надеждой снова ободренный,
Гарунъ стучится подъ окномъ;
Тамъ, вѣрно, теплыя молитвы
Восходятъ къ небу за него;
Старуха-мать ждетъ сына съ битвы,
Но ждетъ его—не одного.
«Мать, отвори! Я странникъ бѣдный,
И твой Гарунъ, твой младшій сынъ,

Сквозь пули русскія безвредно
Пришелъ къ тебѣ...»

— Одинъ?

«Одинъ!»

— А гдѣ отецъ и братья?

«Пали.

Пророкъ ихъ смерть благословилъ,
И ангелы ихъ души взяли.»

— Ты отомстилъ?

«Не отомстилъ...

Но я стрѣлой пустился въ горы,
Оставилъ мечъ въ чужомъ краю,
Чтобы твои утѣшить взоры
И утереть слезу твою.»

— Молчи, молчи! гауръ лукавый,
Ты умереть не могъ со славой!

Такъ удались, живи одинъ.

Твоимъ стыдомъ, бѣглецъ свободы,
Не омрачу я стары годы.

Ты рабъ и трусь... а мнѣ не сынъ!—

Умолкло слово отверженья,
И все кругомъ объято сномъ.

Проклятья, стоны и моленья

Звучали долго подъ окномъ,

И наконецъ ударъ кинжала

Пресѣкъ несчастнаго позоръ,

И мать поутру увидала,

И хладно отвернула взоръ.

И трупъ, отъ праведныхъ изгнанный,

Никто къ кладбищу не отнесъ,

И кровь его съ глубокой раны

Лизалъ, рыча, домашній песъ.

Ребята малые ругались

Надъ хладнымъ тѣломъ мертвеца;

Въ преданьяхъ вольности остались

Позоръ и гибель бѣглеца.
 Душа его отъ глазъ проюка
 Со страхомъ удалилась прочь,
 И тѣнь его въ горахъ Востока
 Понинѣ бродить въ темну почъ;
 И подѣ окномъ, по утру рано,
 Онъ въ саклю просится, стуча;
 Но, внемля громкій стихъ Корана,
 Бѣжить опять подѣ сѣнь тумана,
 Какъ прежде бѣгалъ отъ меча.



А Н Н Ъ Г Р И Г О Р Ъ Е В Н Ъ

ХОМУТОВОЙ.

Слѣпецъ, страданьемъ вдохновенный,
 Вамъ строки чудныя писалъ, *
 И прежнихъ лѣтъ восторгъ священный,
 Воспоминаямъ оживленный,
 Онъ передъ вами изливалъ.
 Онъ васъ не зрѣлъ, но ваши рѣчи,
 Какъ отголосокъ юныхъ дней,
 При первомъ звукѣ новой встрѣчи
 Его встревожили сильнѣй.
 Тогда признательную руку
 Въ отвѣтъ на вашъ пріятный взоръ,
 На встрѣчу радостному звуку
 Онъ въ упоеніи простеръ.

И я, повѣренный случайный
 Надеждъ и думъ его живыхъ,

* Поэтъ-слѣпецъ Ив. Ив. Козловъ.

Я буду дорожить, какъ тайной,
Печальнымъ выраженьемъ ихъ.
И вѣрю, годы не убили,
Изгладить даже не могли—
Все, что вы прежде возбудили
Въ его возвышенной груди.
Но да сойdetъ благословенье
На вашу жизнь за то, что вы
Хоть на единое мгновенье
Умѣли снять вѣнецъ мученья
Съ его преклонной головы!

ВАЛЕРИКЪ.

Я къ вамъ пишу случайно; право,
Не знаю какъ и для чего.
Я потерялъ ужъ это право.
И что скажу вамъ?—Ничего!...
Что помню васъ?... Но, Боже правый!
Вы это знаете давно,
И вамъ, конечно, все равно.
И знать вамъ также нѣту нужды—
Гдѣ я, чтó я, въ какой глуши?
Душою мы другъ другу чужды...
Да врядъ ли есть родство души!
Страницы прошлаго читая,
Ихъ по порядку разбирая
Теперь остынувшимъ умомъ,
Разувѣряюсь я во всемъ;
Смѣшно же сердцемъ лицемѣрить
Передъ собою столько лѣтъ;
Добро бѣ, еще морочить свѣтъ...
Да и притомъ, чтó пользы вѣрить

Тому, чего ужъ больше нѣтъ,
Безумно ждать любви заочной?...
Въ нашъ вѣкъ всѣ чувства лишь на срокъ.
Но я васъ помню—да и точно
Я васъ никакъ забыть не могъ!
Во-первыхъ, потому что много
И долго, долго васъ любилъ,
Потомъ страданьемъ и тревогой
За дни блаженства заплатилъ,
Потомъ въ раскаяннхъ безплодныхъ
Влачилъ я цѣпь тяжелыхъ лѣтъ,
И размышленіемъ холоднымъ
Убилъ послѣдній жизни цвѣтъ...
Съ людьми сближаясь осторожно,
Забылъ я шумъ молодыхъ проказъ
Любовь, поэзію... но васъ
Забыть мнѣ было невозможно!
И къ мысли этой я привыкъ;
Мой крестъ несу я безъ роптанья:
То иль другое наказанье —
Не все ль одно! Я жизнь постигъ.
Судьбѣ, какъ турокъ иль татаринъ,
За все равно я благодаренъ;
У Бога счастья не прошу
И молча зло переносу!...
Быть можетъ, небеса Востока
Меня съ ученьемъ ихъ пророка
Невольнo сблизили. Притомъ
И жизнь всечасно кочевая,
Труды, заботы, ночь и днемъ,
Все, размышленію мѣшая,
Приводить въ первобытный видъ
Больную душу; сердце спать,
Простора нѣтъ воображенію
И нѣтъ работы головѣ...

За то лежишь въ густой травѣ
И дремлешь подъ широкой тѣнью
Чинарь иль виноградныхъ лозъ.
Кругомъ бѣлѣются палатки;
Казачьи тощія лошадки
Стоять рядкомъ повѣся носъ;
У мѣдныхъ пушекъ спать прислуга;
Едва дымятся фитили;
Попарно цѣпь стоитъ вдали,
Штыки горять подъ солнцемъ юга.
Вотъ—разговоръ о старинѣ
Въ палаткѣ ближней слышенъ мнѣ:
Какъ при Ермоловѣ ходили
Въ Чечню, въ Аварію, къ горамъ,
И какъ дрались, какъ мы ихъ били,
Какъ доставалось и намъ...
И вижу я, неподалеку,
У рѣчки, слѣдуя пророку,
Мирной татаринъ свой намазъ
Творить, не подымая глазъ.
И вотъ кружкомъ сидятъ другіе:
Люблю я цвѣтъ ихъ желтыхъ лицъ,
Подобный цвѣту наговѣцъ,
Ихъ шапки, рукава худые;
Ихъ томный и лукавый взоръ
И ихъ гортанный разговоръ.

Чу!—дальній выстрѣлъ... прожужжала
Шальная пуля... славный звукъ!...
Вотъ крикъ—и снова все вокругъ
Затихло... Но жара ужъ спала,
Ведутъ коней на водоной,
Зашевелилася пѣхота;
Вотъ проскакалъ одинъ, другой...
Шумъ, говоръ... «Гдѣ вторая рота?»

«Что? Вьючить?»—«Что же капитанъ?»
«Повозки выдвигайте живо!»
«Савельичь!...»—Ой ли?—«Дай огниво!»
Подъемъ ударилъ барабанъ;
Гудить музыка полковая;
Между колоннами въѣзжая,
Звенять орудья; генералъ
Впередъ со свитой поскакалъ;
Разсыпались въ широкомъ полѣ,
Какъ пчелы, съ гикомъ казаки;
Ужъ показались значки
Тамъ, на опушкѣ — два и боѣ;
А вотъ въ чалмѣ одинъ мюридъ,
Въ черкескѣ красной ѣдетъ важно,
Конь свѣтло-сѣрый весь кипитъ;
Онъ машетъ, кличетъ... Гдѣ отважный?
Кто выйдетъ съ нимъ на смертный бой?...
Сейчасъ... Смотрите: въ шапкѣ черной
Казакъ пустился гребенской,
Винтовку выхватилъ проворно,
Ужъ близко... выстрѣлъ.... легкій дымъ...
«Эй вы, станичники, за нимъ!...»
«Что? раненъ?»—Ничего, бездѣлка!—
И завязалась перестрѣлка.

Но въ этихъ спибкахъ удамыхъ
Забавы много, толку мало;
Прохладнымъ вечеромъ, бывало,
Мы любовались на нихъ
Безъ кровожаднаго волненья,
Какъ на трагическій балетъ;
За то видалъ я представленья,
Какихъ у васъ на сценѣ нѣтъ...

Разъ—это было подъ Гехами—
Мы проходили темный лѣсъ;
Огнемъ дыша, пылалъ надъ нами
Лазурно-яркій сводъ небесъ.
Намъ былъ обѣщанъ бой жестокой.
Изъ горъ Ичкеріи далекой
Уже въ Чечню на страшный зовъ
Толпы стекались удалцовъ.
Надъ допотопными лѣсами
Мелькали маяки кругомъ
И дымъ ихъ то вился столбомъ,
То разстился облаками;
И оживились лѣса,
Скликались дико голоса
Подъ ихъ зелеными патрами...
Едва лишь выбрался обозъ
Въ поляну—дѣло началось.
Чу! въ арьергардъ орудье просять;
Вотъ ружья изъ кустовъ выносить,
Вотъ тащить за ноги людей
И кличутъ громко лекарей...
И вотъ изъ лѣса, изъ опушки,
Вдругъ съ гикомъ кинулись на пушки...
И градомъ пуль съ вершинъ деревъ
Отрядъ осыпанъ... Впереди же
Все тихо... Тамъ, между кустовъ
Бѣжалъ потокъ; подходимъ ближе;
Пустили нѣсколько гранатъ;
Еще подвинулись... молчать!
Но вотъ, подъ бревнами завала
Ружье какъ будто заблестало,
Потомъ мелькнуло шапки двѣ —
И вновь все спряталось въ травѣ.
То было грозное молчанье;
Недолго длилось оно,

Но въ этомъ страшномъ ожиданьи
Забилось сердце не одно...
Вдругъ залпъ... глядимъ: лежатъ рядами.
Что нужды? Здѣшніе полки
Народъ испытанный... Въ штыки!...
Дружище!—раздалось за нами.
Кровь загорѣлася въ груди!
Всѣ офицеры впереди;
Верхомъ помчался на завалы,
Кто не успѣлъ прыгнуть съ коня.
Ура!—и смолкло... Вонъ кинжалы...
Въ приклады!... и пошла рѣзня...
И два часа въ струяхъ потока
Бой длился; рѣзались жестоко.
Какъ звѣри, молча, съ грудью грудь...
Ручей тѣлами запрудили.
Хотѣлъ воды я зачерпнуть —
И зной и битва утомили
Меня—но мутная волна
Была тепла, была красна...

На берегу, подъ тѣнью дуба,
Пройдя заваловъ длинный рядъ,
Стоялъ кружокъ. Одинъ солдатъ
Былъ на колѣнахъ; мрачно, грубо
Казалось выраженіе лицъ,
Но слезы капали съ рѣсницъ
Покрытыхъ пылью. На шинели,
Спиною къ дереву, лежалъ
Ихъ капитанъ... Онъ умиралъ:
Въ груди его едва чернѣли
Двѣ раны; кровь изъ нихъ чуть-чуть
Сочилась; но высоко грудь
И трудно подымалась; взоры
Бродили страшно; онъ шепталъ:

«Спасите, братцы!.. Тащутъ въ горы!...
Постойте!... Гдѣ же генераль?...
Не слышу...» Долго онъ стоналъ,
Но все слабѣй, и понемногу
Затихъ—и душу отдалъ Богу.
На ружья опершись, кругомъ
Стояли усачи сѣдые
И тихо плакали... потомъ
Его останки боевые
Покрыли бережно плащемъ
И понесли... Тоской томимый
Имъ вслѣдъ смотрѣлъ я недвижимый.

Уже затихло все; тѣла
Стащили въ кучу... Кровь текла
Струею дымной по каменьямъ:
Ея тяжелымъ испареньемъ
Былъ полонъ воздухъ. Генераль
Сидѣлъ въ тѣни на барабанѣ
И донесенья принималъ.
Окрестный лѣсъ, какъ бы въ туманѣ,
Синѣлъ въ дыму пороховомъ;
А тамъ вдали—грядой нестройной,
Но вѣчно гордой и спокойной,
Въ своемъ нарядѣ снѣговомъ
Тянулись горы—и Казбекъ
Сверкалъ главой остроконечной.
И съ грустью тайной и сердечной
Я думалъ: жалкій человѣкъ!
Чего онъ хочетъ?... Небо ясно;
Подъ небомъ мѣста много всѣмъ;
Но безпрестанно и напрасно
Одинъ враждуетъ онъ... Зачѣмъ?..
Галубъ * прервалъ мое мечтанье,

* Собственное имя.

Ударивъ по плечу—онъ былъ
Кунакъ мой—я его спросилъ,
Какъ мѣсту этому названье?
Онъ отвѣчалъ мнѣ: «Валерикъ—
А перевести на вашъ языкъ,
Такъ будетъ—рѣчка смерти; вѣрно,
Дано старинными людьми!»
—А сколько ихъ дралось, примѣрно,
Сегодня?—«Тысячъ до семи.»
— А много горцы потеряли?
«Какъ знать! зачѣмъ вы не считали?»
— Да, будетъ, кто-то тутъ сказалъ,
Имъ въ память этотъ день кровавый!—
Чеченецъ посмотрѣлъ лукаво
И головою покачалъ...

Но я боюсь вамъ наскучить.
Въ забавахъ свѣта вамъ смѣшны
Тревоги дикія войны;
Свой умъ вы не привыкли мучить
Тяжелой думой о концѣ;
На вашемъ молодомъ лицѣ
Слѣдовъ заботы и печали
Не отыскать, и вы едва ли
Вблизи когда нибудь видали,
Какъ умирають... Дай вамъ Богъ
И не видать!.. Иныхъ тревогъ
Довольно есть; въ самозабвеньи
Не лучше ль кончить жизни путь,
И безпробуднымъ сномъ заснуть
Съ мечтой о близкомъ пробужденьи?

Теперь прощайте!—Если васъ
Мой безыскусственный рассказъ
Развеселить, займетъ хоть малость—

Я буду счастливъ; а не такъ...
 Простите мнѣ его, какъ шалость,
 И тихо молвите: чудака!

СКАЗКА ДЛЯ ДѢТЕЙ.

Умчался вѣкъ эпическихъ поэмъ
 И повѣсти въ стихахъ пришли въ упадокъ;
 Поэты въ томъ виновны не совсѣмъ
 [Хотя у многихъ стихъ не вовсе гладокъ].
 И публика не права, между тѣмъ.
 Кто виновать, кто правъ, ужъ я не знаю,
 А самъ стиховъ давно я не читаю,
 Не потому, чтобъ не любилъ стиховъ,
 А такъ—смѣшно жъ терять для звучныхъ строфъ
 Златое время... Въ нашемъ вѣкѣ зрѣломъ,
 Извѣстно вамъ, всѣ заняты мы дѣломъ.

Стиховъ я не читаю, но люблю
 Марать, шутя, бумаги листъ летучій;
 Свой стихъ за хвостъ отважно я ловлю:
 Я безъ ума отъ тройственныхъ созвучій
 И влажныхъ риѣмъ, какъ наприимѣръ, на ю.
 Вотъ почему пишу я эту сказку.
 Ея волшебнo-темную завязку
 Не стану я подробно объяснять,
 Чтобъ кой-какихъ допросовъ избѣжать;
 За то конецъ не будетъ безъ морали,
 Чтобы ея хоть дѣти прочитали.

Герой извѣстенъ и не новъ предметъ.
 Тѣмъ лучше: устарѣло все, что ново!

Кипя огнемъ и силой юныхъ лѣтъ,
Я прежде пѣлъ про демона инова:
То былъ безумный, страстный, дѣтскій бредъ.
Богъ знаетъ, гдѣ завѣтная тетрадка?
Касается ль душистая перчатка
Ея листовъ и слышно *c'est jolii!*..
Ильмышь надъ ней старается въ пыли.
Но этотъ чортъ совсѣмъ инаго сорта—
Аристократъ и не похожъ на чорта.

Перенестись теперь прошу сейчасъ
За мною въ спальню: розовыя шторы
Опущены; съ трудомъ лишь можетъ глазъ
Слѣдить ковра восточныя узоры;
Пріятный трепетъ вдругъ объемлетъ васъ,
И, дѣвственнымъ дыханьемъ напоенный,
Огнемъ въ лицо вамъ пышетъ воздухъ сонный.
Вотъ ручка, вотъ плечо, и возлѣ нихъ,
На кистѣ подушекъ кружевныхъ,
Рисуется молодой, но строгій профиль...
И на него взираетъ Мефистофель.

То былъ ли самъ великій сатана,
Иль мелкій бѣсъ изъ самыхъ нечиновныхъ,
Которыхъ дружба людямъ такъ нужна
Для тайныхъ дѣлъ семейныхъ и любовныхъ —
Не знаю. Если бъ имъ была дана
Земная форма, по рогамъ и платью
Я могъ бы сволочь различить со знатію.
Но духъ—извѣстно, что такое духъ:
Жизнь, сила, чувство, зрѣнье, голосъ, слухъ,
И мысль безъ тѣла—часто въ видахъ разныхъ
[Бѣсовъ вообще рисуютъ безобразныхъ].

Но я не такъ всегда воображалъ
 Врага святыхъ и чистыхъ побуждений.
 Мой юный умъ, бывало, возмущалъ
 Могучій образъ. Межъ иныхъ видѣній,
 Какъ царь, нѣмой и гордый онъ сіялъ
 Такой волшебной-сладкой красотою,
 Что было страшно... И душа тоскою
 Сжималася—и этотъ дикій бредъ
 Преслѣдовалъ мой разумъ много лѣтъ.
 Но я, разставшись съ прочими мечтами,
 И отъ него отдѣлался—стихами!

Оружіе отличное: врагамъ
 Кидаете въ лицо вы эпитафией...
 Вамъ насолить захочется ль друзьямъ?
 Пустите въ нихъ поэмой или драмой...
 Но полно, къ дѣлу. Я сказалъ ужъ вамъ,
 Что въ спальнѣ той таился хитрый демонъ;
 Невиннымъ сномъ былъ тронутъ не совсѣмъ онъ—
 Не мудрено: кипѣла въ немъ не кровь,
 И понималъ иначе онъ любовь;
 И рѣчь его коварныхъ искушений
 Была полна—вѣдь онъ не даромъ геній!

«Не знаешь ты, кто я, но ужъ давно
 Читаю я въ душѣ твоей; незримо,
 Неслышно говорю съ тобою; но
 Слова мои, какъ тѣнь, проходятъ мимо
 Ребяческаго сердца, и оно
 Дивится имъ спокойно и въ молчаньи.
 Пускай! Затѣмъ тебѣ мое названье?
 Ты съ ужасомъ отвергнула бъ мою
 Безумную любовь. Но я люблю
 По-своему: терпѣть и ждать могу я;
 Не надо мнѣ ни ласкъ, ни поцѣлуя.

«Когда ты спишь, о, ангель мой земной!
 И шибко бьется дѣвственной кровью
 Младая грудь подъ грѣзою ночной,
 Знай, это я, склонившись къ изголовью,
 Любуюся и говорю съ тобой;
 И, въ тишинѣ, наставникъ твой случайный,
 Чудесныя рассказываю тайны...
 А много было взору моему
 Доступно и понятно, потому
 Что узами земными я не связанъ
 И вѣчностью и знаніемъ наказанъ...

«Тому назадъ еще не много лѣтъ,
 Я пролеталъ надъ сонною столицей;
 Кидала ночь свой странный полусвѣтъ;
 Румяный западъ съ новою денницей
 На сѣверѣ сливались—какъ привѣтъ
 Свиданія съ моленіемъ разлуки;
 Надъ городомъ таинственные звуки,
 Какъ грѣшныхъ сновъ нескромныя слова,
 Неясно раздавались—и Нева,
 Межъ кораблей сверкая на просторѣ,
 Журча, съ волной ихъ уносила въ море.

«Задумчиво столбы дворцовъ нѣмыхъ
 По берегамъ тѣснились, какъ тѣни,
 И въ пѣнѣ водъ—гранитныхъ крылецъ ихъ
 Купались широкія ступени;
 Минувшихъ лѣтъ событій роковыхъ
 Волна слѣды смывала роковые...
 И улыбались звѣзды голубыя,
 Глядя съ высотъ на гордый прахъ земли,
 Какъ будто міръ достоинъ ихъ любви,
 Какъ будто имъ земля небесъ дороже...
 И я тогда... я улыбнулся тоже.

«И я крутомъ глубокой кинулъ взглядъ;
И увидалъ съ невольною отрадой
Преступный сонъ подъ сѣнію палатъ,
Корыстный трудъ предъ тощею лампадой,
И страшныхъ тайнъ вездѣ печальный рядъ.
Я сталъ ловить блуждающіе звуки,
Веселый смѣхъ и крикъ послѣдней муки:
То ликовалъ иль мучился порокъ!
Въ молитвѣ я подслушивалъ упрекъ,
Въ бреду любви—безстыдное желанье!
Вездѣ обманъ, безумство, иль страданье!

«Но близъ Невы одинъ старинный домъ
Казался полнъ священной тишиною.
Все важностью наслѣдственной въ немъ
И роскошью дышало вѣковой:
Украшенъ былъ онъ княжескимъ гербомъ;
Изъ мрамора волнистаго колонны
Крутомъ тѣснились чинно, и балконы
Чугунные, воздушною семьей,
Межъ нихъ гордились дивною рѣзбой;
И оконъ рядъ, всегда прозрачно темныхъ,
Манилъ, пугая, взоръ очей нескромныхъ.

«Пора была, боярская пора!
Тѣснилась знать въ роскошные покои—
Былая знать минувшаго двора,
Забытыхъ дѣлъ померкшіе герои!
Музыкой тутъ гремѣли вечера,
Въ Невѣ дробился блескъ высокихъ оконъ,
Напудренный мелькалъ и вился локонъ,
И часто ножка съ краснымъ каблучкомъ
Давала знакъ условный подъ столомъ;
И старики, въ звѣздахъ и брилліантахъ,
Судили рѣзко о тогдашнихъ франтахъ.

«Тотъ вѣкъ прошелъ, и люди тѣ прошли;
Смѣнили ихъ другіе; родъ старинный
Перевелся; въ готической пыли
Портреты гордыхъ баръ, краса гостинной,
Забутые, тускнѣли; поросли
Дворы травой, и, блескъ смѣнивъ бывалой,
Сырая мгла и сумракъ длинной залой
Спокойно завладѣли... Тихій домъ
Казался пустъ; но жилъ хозяинъ въ немъ—
Старикъ худой и съ виду величавый,
Озлобленный на новый вѣкъ и нравы.

«Онъ ростомъ былъ двѣнадцати вершковъ;
Съ домашними былъ строгъ неумолимо;
Всегда молчалъ; ходилъ до двухъ часовъ,
Обѣдалъ, спалъ... да иногда, томимый
Бессонницей, собранье острыхъ словъ
Перебиралъ или читалъ Вольтера.
Какъ бытъ!—сильна къ преданьямъ въ людяхъ вѣра...
Имѣлъ онъ дочь четырнадцати лѣтъ;
Но съ ней видался рѣдко; за обѣдъ
Она являлась въ фартучкѣ, съ мадамой,
Сидѣла чинно и держалась прямо.

«Всегда одна, запугана отцомъ
И англичанки строгостью небрежной,
Она росла, какъ ландышъ за стекломъ,
Или, скорѣй, какъ бѣлый цвѣтъ подснѣжный.
Она была стройна, но съ каждымъ днемъ
Съ ея лица сбѣгали жизни краски,
Задумчивѣй большіе стали глазки;
Покинувъ книжку скучную, она
Охотнѣе садилась у окна —
И вдалекѣ мечты ея летали,
Пока ее играть не посылали.

«Тогда она сходила въ длинный залъ,
Но бѣгать въ немъ ей какъ-то страшно было,
И какъ-то странно дѣтскій шагъ звучалъ
Между колоннъ. Разрытою могилой
Надъ юной жизнью воздухъ тамъ дышалъ,
И въ зеркалахъ являлись предметы
Длиннѣе и безцвѣтнѣе, одѣты
Какой то мертвой дымкою; и вдругъ
Неясный шорохъ слышался вокругъ:
То загремить, то снова тише, тише...
[То были тѣни предковъ или мыши].

«И что жъ?—Она привыкла толковать
По-своему развалинъ говоръ странный,
И стала мысль горячая летать
Надъ блѣдною головкой, и туманный,
Воздушный рой видѣній навѣвать.
Я съ ней не разлучался. Дѣтскій лепетъ
Подслушивать, невинной груди трепеть
Слѣдить, ея дыханіемъ съ нѣмой,
Мучительной и жадною тоской,
Какъ жизнью, упиваться... это было
Смѣшно—но мнѣ такъ ново и такъ мило!

«Влюбился я... И точно хороша
Была не въ шутку маленькая Нина.
Нѣтъ никогда свинецъ карандаша
Рафаэля, иль кисти Перуджина
Не начертали, пламенемъ дыша,
Подобный профиль. Всѣ ея движенья
Особаго, казалось, выраженья
Исполнены. Но съ самыхъ дѣтскихъ дней
Ея глаза не измѣняли ей,
Тая равно надежду, радость, горе —
И было тѣмно въ нихъ, какъ въ синемъ морѣ.

«Я понялъ, что душа ея была
Изъ тѣхъ, которымъ рано все понятно.
Для мукъ и счастья, для добра и зла
Въ нихъ пищи много; только невозвратно
Онѣ идутъ, куда ихъ повела
Случайность, безъ раскаянья, упрековъ
И жалобы. Имъ въ жизни нѣтъ уроковъ;
Ихъ чувствамъ повторяться не дано...
Такія души я любилъ давно
Отыскивать по свѣту на свободѣ:
Я самъ вѣдь былъ немножко въ этомъ родѣ!

«Ее смущали странныя мечты.
Порой, она среди пустаго зала
Сіянье, роскошь, музыку, цвѣты,
Толпу гостей и шумъ воображала;
Кипѣла кровь отъ душевной тѣсноты.
На платицѣ чудесные узоры
Видѣлись ей—и вотъ гремѣли шпоры:
Къ ней кавалеръ незримый подходилъ
И въ мнимый вальсъ съ собою уносилъ;
И вотъ она кружилась въ вихрѣ бала,
И, утомясь, на кресла упала...

«И тутъ она, склонивъ лукавый взоръ
И выставивъ едва примѣтно ножку,
Двусмысленный и темный разговоръ
Съ нимъ завести старалась понемножку.
Сначала онъ былъ веселъ и остеръ,
А иногда и черезчуръ небреженъ;
Но подъ конецъ за то какъ милъ и нѣженъ!...
Что дѣлать ей? Притворно-строгій взглядъ
Его, какъ громъ, отталкивалъ назадъ,
И сердце билось въ ней такъ шибко, шибко...
И по устамъ змѣнилась улыбка.

«Предъ зеркаломъ, бывало, цѣлый часъ
То волосы пригладить, то красивый
Цвѣтокъ припилиить къ нимъ; движенью глазъ,
Головкѣ наклоненной видѣ лѣнивый
Придавъ, стоитъ... и учится. Не разъ
Хотѣлось мнѣ совѣтъ ей дать лукавый;
Но умъ ея, и смѣтливый и здравый,
Отгадывалъ все мигомъ самъ собой...
Такъ годы шли безмолвной чередой,
И вотъ насталъ тотъ возрастъ, о которомъ
Такъ полны ваши книги всякимъ вздоромъ.

«То былъ великій день: семнадцать лѣтъ!
Все, что досель таилось за рѣпоткой,
Теперь надменно явится на свѣтъ!...
Старикъ-отецъ послалъ за старой теткой,
И съѣхались родные на совѣтъ:
Ихъ затруднялъ удачный выборъ бала.
Что, будетъ дворъ, иль нѣтъ? Иныхъ пугала
Застѣнчивость дикарки молодой;
Но очень тонко замѣчалъ другой,
Что это видѣ ей дастъ оригинальный.
Потомъ нарядъ осматривали балъный.

«Но вотъ насталъ и вечеръ роковой.
Она съ утра была какъ въ лихорадкѣ;
Поплакала немножко; золотой
Браслетъ сломала; въ суетахъ, перчатки
Разорвала... Со страхомъ и тоской
Она въ карету сѣла, и дорогой
Была полна мучительной тревогой,
И, выходя, споткнулась на крыльцѣ,
И съ блѣдностью печальной на лицѣ
Вступила въ залу... Странный шопотъ встрѣтилъ
Ея явленье—свѣтъ ее замѣтилъ.

Кипѣлъ, сіялъ ужъ въ полномъ блескѣ балъ.
 Тутъ было все, что называютъ свѣтомъ...
 Не я ему названье это далъ,
 Хотя смыслъ глубокій есть въ названѣ этомъ.
 Своихъ друзей я тутъ бы не узналъ:
 Улыбки, лица лгали такъ искусно,
 Что даже мнѣ чуть-чуть не стало грустно.
 Прислушаться хотѣлъ я; но едва
 Ловилъ мой слухъ летучія слова,
 Отрывки безыменныхъ чувствъ и мнѣній —
 Эпиграфы невѣдомыхъ твореній!...

.....



СПОРЪ.

Какъ-то разъ, передъ толпою
 Соплеменныхъ горъ
 У Казбека Шать-горою *
 Былъ великій споръ.
 «Берегись!» сказалъ Казбеку
 Сѣдовласый Шать:
 «Покорился человѣку
 Ты не даромъ, братъ!
 Онъ настроитъ дымныхъ келій
 По уступамъ горъ;
 Въ глубинѣ твоихъ ущелій
 Загремитъ топоръ;
 И желѣзная лопата
 Въ каменную грудь,
 Добывая мѣдь и золото,
 Врѣжетъ страшный путь.

* Эльбрусъ.

Ужъ проходятъ караваны
Черезъ тѣ скалы,
Гдѣ носились лишь туманы,
Да цари-орлы.
Люди хитры! Хоть и труденъ
Первый былъ скачекъ —
Берегися! многолюденъ
И могучъ Востокъ!»

— Не боюсь я Востока!
Отвѣчалъ Казбекъ:
Родъ людской тамъ спитъ глубоко
Ужъ девятый вѣкъ.
Посмотри: въ тѣни чинары,
Пѣну сладкихъ винъ
На узорные шальвары
Сонный льетъ грузинъ;
И, склоняся въ дыму кальяна
На цвѣтной диванъ,
У жемчужнаго фонтана
Дремлетъ Тегеранъ
Вотъ у ногъ Ерусалима,
Богомъ сожжена,
Безглагольна, недвижима
Мертвая страна.
Дальше: вѣчно чуждый тѣни,
Моешь желтый Нилъ
Раскаленные ступени
Царственныхъ могилъ.
Бедуинъ забылъ наѣзды
Для цвѣтныхъ шатровъ,
И поетъ, считая звѣзды,
Про дѣла отцовъ.
Все, что здѣсь доступно оку,
Спитъ, покой цѣня.

Нѣтъ! не драхлomu Востоку
Покорить меня! —

«Не хвались еще заранѣ!»
Молвилъ старшій Шатъ:
«Вотъ на сѣверѣ въ туманѣ
Что-то видно, братъ!»

Тайно былъ Казбекъ огромный
Вѣстью той смущенъ;
И, смутясь, на сѣверъ темный
Взоры кинулъ онъ;
И туда въ недоумѣнѣ
Смотрить, полный думъ:
Видитъ странное движенье,
Слышитъ звонъ и шумъ.
Отъ Урала до Дуная,
До большой рѣки,
Колыхаясь и сверкая
Движутся полки;
Вѣютъ бѣлые султаны,
Какъ степной ковыль;
Мчатся пестрые уланы,
Подымая пыль;
Боевые батальоны
Тѣсно въ рядъ идутъ,
Впереди несутъ знамены,
Въ барабаны бьютъ;
Батареи мѣднымъ строемъ
Скачутъ и гремятъ,
И, дымясь, какъ передъ боемъ,
Фитили горятъ.
И испытанный трудами
Бури боевой,

Ихъ ведетъ, грозя очами,
 Генералъ сѣдой.
 Идутъ всѣ полки, могучи,
 Шумны какъ потокъ,
 Страшно-медленны какъ тучи,
 Прямо на востокъ.

И, томимъ зловѣщей думой,
 Полный черныхъ сновъ,
 Сталь считать Казбекъ угрюмый,
 И не счелъ враговъ.
 Грустнымъ взоромъ онъ окинулъ
 Племя горъ своихъ,
 Шапку на брови надвинулъ—
 И навѣкъ затихъ.

С О Н Ъ.

Въ полдневный жаръ, въ долину Дагестана,
 Съ свинцомъ въ груди лежалъ недвижимъ я;
 Глубокая еще дымилась рана,
 По каплѣ кровь точилась моя.

Лежалъ одинъ я на пескѣ долины,
 Уступы скалъ тѣснилися кругомъ,
 И солнце жгло ихъ желтыя вершины
 И жгло меня—но спалъ я мертвымъ сномъ.

И снился мнѣ сіяющій огнями
 Вечерній пиръ въ родимой сторонѣ;
 Межъ юныхъ женъ, увѣнчанныхъ цвѣтами,
 Шелъ разговоръ веселый обо мнѣ.

Но, въ разговоръ веселый не вступая,
 Сидѣла тамъ задумчиво одна,
 И въ грустный сонъ душа ея младая
 Богъ знаетъ чѣмъ была погружена.

И снилась ей долина Дагестана;
 Знакомый трупъ лежалъ въ долинѣ той,
 Въ его груди, дымясь, чернѣла рана
 И кровь лилась хладѣющей струей...

У Т Е С Ъ.

Ночевала тучка золотая
 На груди утеса великана.
 Утромъ въ путь она умчалась рано,
 По лазури весело играя;

Но остался влажный слѣдъ въ морщинѣ
 Старого утеса. Одиноко
 Онъ стоитъ; задумался глубоко
 И тихонько плачетъ онъ въ пустынѣ...

[и з ъ г е й н е].

Рни любили другъ друга такъ долго и нѣжно
 Съ тоскою глубокой и страстью безумно-матейной;
 Но, какъ враги, избѣгали признанья и встрѣчи,
 И были пусты и хладны ихъ краткія рѣчи.
 Они разстались въ безмолвномъ и гордомъ страданьѣ
 И милый образъ во снѣ лишь порою видали;
 И смерть пришла; наступило за гробомъ свиданье—
 Но въ мірѣ новомъ другъ друга они не узнали.

ТАМАРА.

Въ глувокой тѣснинѣ Дарьяла,
Гдѣ роется Терекъ во мглѣ,
Старинная башня стояла,
Чернѣя, на черной скалѣ.

Въ той башнѣ высокой и тѣсной
Царица Тамара жила,
Прекрасна, какъ ангелъ небесный,
Какъ демонъ—коварна и зла.

И тамъ, сквозь туманъ полуночи,
Блисталъ огонекъ золотой,
Кидался онъ путнику въ очи,
Манилъ онъ на отдыхъ ночной.

И слышался голосъ Тамары—
Онъ весь былъ желанье и страсть,
Въ немъ были всеильныя чары,
Была непонятная власть.

На голосъ невидимой пери
Шелъ воинъ, купецъ и пастухъ;
Предъ нимъ отворялися двери,
Встрѣчалъ его мрачный евнухъ.

На мягкой пуховой постели,
Въ парчу и жемчугъ убрана,
Ждала она гостя. Шипѣли
Предъ нею два кубка вина.

Сплетались горячія руки,
Уста прилипали къ устамъ,
И страстныя, дикіе звуки
Всю ночь раздавались тамъ—

Какъ будто въ ту башню пустую
Сто юношей пылкихъ и женъ
Сошлись на свадьбу ночную,
На тризну большихъ похоронъ.

Но только-что утра сіянье
Кидало свой лучъ по горамъ:
Мгновенно и мракъ и молчанье
Опять воцарялися тамъ.

Лишь Терекъ въ тѣсницѣ Дарьяла,
Гремя, нарушалъ тишину;
Волна на волну набѣгала,
Волна погоняла волну.

И съ плачемъ безгласное тѣло
Спѣшили онѣ унести...
Въ окнѣ тогда что-то бѣлѣло,
Звучало оттуда: «прости!»

И было такъ нѣжно прощанье,
Такъ сладко тотъ голосъ звучалъ,
Какъ будто восторги свиданья
И ласки любви общалъ...

СВИДАНІЕ.

Ужъ за горой дремучею
Погасъ вечерній лучъ,

Едва струей гремячею
Сверкаетъ жаркій ключъ;
Сады благоуханіемъ
Наполнились живымъ;
Тифлисъ объять молчаніемъ;
Въ ущельи мгла и дымъ;
Летаютъ сны мучители
Надъ грѣшными людьми,
И ангелы хранители
Бесѣдуютъ съ дѣтьми.

Тамъ, за твердыней старою
На сумрачной горѣ
Подъ свѣжею чинарою
Лежу я на коврѣ—
Лежу одинъ и думаю:
Ужели не во снѣ
Свиданье въ ночь угрюмую
Назначила ты мнѣ?
И въ этотъ часъ таинственный,
Но сладкій для любви,
Тебя, мой другъ единственный,
Зовутъ мечты мои.

Внизу огни дозорные
Лишь на мосту горятъ,
И колокольни черныя
Какъ сторожи стоятъ;
И поступью несмѣлою
Изъ бань со всѣхъ сторонъ
Выходятъ цѣпью бѣлою
Четы грузинскихъ женъ;
Вотъ улицей пустынною
Вредутъ, едва скользя...

Но подъ чадрую длинною
Тебя узнать нельзя!

Твой домикъ съ крышей гладкою
Мнѣ виденъ вдаль, въ
Крыльцо съ ступенью шаткою
Купается въ рѣкѣ.
Среди проклады, вѣющей
Надъ синею Курой,
Онъ съѣтъ зеленѣющей
Окутанъ плющевой.
За тополью высокою
Я вижу тамъ окно...
Но свѣчкой одинокою
Не свѣтится оно!

Я жду. Въ недоумѣніи
Напрасно бродить взоръ;
Кинжаломъ въ нетерпѣніи
Изрѣзалъ я коверъ.
Я жду съ тоской безплодною;
Мнѣ грустно, тяжело...
Вотъ сыростью холодною
Съ востока понесло;
Краснѣютъ за туманами
Сѣдыхъ вершинъ зубцы;
Выходятъ съ караванами
Изъ города купцы...

Прочь, прочь, слеза позорная!
Кипи, душа моя!
Твоя измѣна черная
Понятна мнѣ, змѣя!
Я знаю, чѣмъ утѣшенный
По звонкой мостовой

Вчера скакалъ, какъ бѣшеный,
 Татаринъ молодой.
 Недаромъ онъ красуется
 Передъ твоимъ окномъ,
 И твой отецъ любитъся
 Персидскимъ жеребцомъ!

Возьму винтовку длинную,
 Пойду я изъ воротъ:
 Тамъ, подъ скалой пустынною
 Есть узкій поворотъ.
 До полдня за могильною
 Часовней подожду,
 И на дорогу пыльную
 Винтовку наведу.
 Напрасно грудь колыхнется!
 Я легъ между камней...
 Чу! близкій топотъ слышится.
 А! это ты, злодѣй!

* * *

Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой
 И въ степь укатился, жестокою бурей гонимый;
 Засохъ и увялъ онъ отъ холода, зноя и горя,
 И вотъ, наконецъ, докатился до Чернаго Моря.

У Чернаго Моря чинара стоитъ молодая,
 Съ ней шепчется вѣтеръ, зеленныя вѣтви лаская;
 На вѣтвяхъ зеленыхъ качаются райскія птицы,
 Поютъ онѣ пѣсни про славу морской царь-дѣвицы.

И странникъ прижался у корня чинары высокой,
 Пріюта на время онъ молить съ тоскою глубокой.

*

И такъ говорить онъ: «Я бѣдный листочекъ дубовый,
До срока созрѣлъ я и выросъ въ отчизнѣ суровой.

«Одинъ и безъ цѣли по свѣту ношуся давно я,
Засохъ я безъ тѣни, увялъ я безъ сна и покоя.
Прими же пришельца межъ листьевъ своихъ изумрудныхъ—
Немало я знаю разказовъ мудреныхъ и чудныхъ.»

— На что мнѣ тебя! отвѣчаетъ младая чинара:
Ты пыленъ и желтъ, и сынамъ моимъ свѣжимъ не пара.
Ты много видалъ, да къ чему мнѣ твои небылицы?
Мнѣ слухъ утомили давно ужъ и райскія птицы...

Иди себѣ дальше, о странникъ! тебя я не знаю.
Я солнцемъ любима, цвѣту для него и блистаю;
По небу я вѣтви раскинула здѣсь на просторѣ,
И корни мои умываетъ холодное море.

* * *

Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье—
Люблю въ тебѣ я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.

Когда, порой, я на тебя смотрю,
Въ твои глаза вникая долгимъ взоромъ,
Таинственнымъ я занятъ разговоромъ,
Но не съ тобой я сердцемъ говорю—

Я говорю съ подругой юныхъ дней,
Въ твоихъ чертахъ ищу черты другія,
Въ устахъ живыхъ—уста давно нѣмья,
Въ глазахъ—огонь угаснувшихъ очей.

* * *

Выхожу одинъ я на дорогу:
Сквозь туманъ кремнистый путь блестить:
Ночь тиха; пустыня внемлетъ Богу,
И звѣзда съ звѣздою говоритъ.

Въ небесахъ торжественно и чудно!
Спитъ земля въ сѣнѣхъ голубомъ...
Что же мнѣ такъ больно и такъ трудно:
Жду ль чего? жалью ли о чемъ?

Ужъ не жду отъ жизни ничего я,
И не жаль мнѣ прошлаго ничуть;
Я ищу свободы и покоя:
Я бь хотѣлъ забыться и заснуть...

Но не тѣмъ холоднымъ сномъ могилы —
Я бь желалъ навѣки такъ заснуть,
Чтобъ въ груди дрожали жизни силы,
Чтобъ, дыша, вздымалась тихо грудь;

Чтобъ всю ночь, весь день мой слухъ лелѣя,
Про любовь мнѣ сладкій голосъ пѣлъ;
Надо мной чтобъ, вѣчно зеленѣя,
Темный дубъ склонялся и шумѣлъ.

МОРСКАЯ ЦАРЕВНА.

Въ морѣ царевичъ купаетъ коня,
Слышитъ: «Царевичъ, взгляни на меня!»

Фыркаетъ конь и ушами прядетъ,
Брызжетъ и плещетъ, и дагъ плыветъ.

Слышитъ царевичъ: «Я царская дочь;
Хочешь провести ты съ царвною ночью?»

Вотъ показалась рука изъ воды,
Ловить за кисти шелковой узды.

Вышла младая потомъ голова:
Въ косу вплелася морская трава.

Синія очи любовью горять,
Брызги на шеѣ какъ жемчугъ дрожать.

Мыслить царевичъ: «добро же, постой!»
За косу ловко схватилъ онъ рукой.

Держить. Рука боевая сильна...
Плачетъ, и молить, и бьется опа.

Къ берегу витязь отважно плыветъ;
Выплыль, товарищей громко зоветъ.

«Эй вы! сходитесь, лихіе друзья!
Гляньте, какъ бьется добыча моя...

«Что жъ вы стоите смущенной толпой?
Али красы не видали такой?»

Вотъ оглянулся царевичъ назадъ,
Ахнулъ!—померкъ торжествующій взглядъ.

Видить: лежитъ на пескѣ золотомъ
Чудо морское съ зеленымъ хвостомъ.

Хвостъ чешую змѣиной покрытъ,
Весь замирая, свиваясь, дрожить.

Пѣна струями сбѣгаетъ съ чела,
Очи одѣла смертельная мгла.

Блѣдныя руки хватаютъ песокъ,
Шепчутъ уста непонятный упрекъ...

Ѣдетъ царевичъ задумчиво прочь...
Будетъ онъ помнить про царскую дочь!

ПРОРОКЪ.

Съ тѣхъ поръ, какъ Вѣчный Судія
Мнѣ далъ всевѣдѣнъе пророка,
Въ очахъ людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я сталъ любви
И правды чистня ученья:
Въ меня всѣ ближніе мои
Бросали бѣшено каменья.


Посыпалъ пепломъ я главу,
Изъ городовъ бѣжалъ я нищій,
И вотъ, въ пустынѣ я живу,
Какъ птицы—даромъ Божьей пищи.

Завѣтъ Предвѣчнаго храня,
Мнѣ тварь покорна тамъ земная,
И звѣзды слушаютъ меня,
Лучами радостно играя.

Когда же черезъ шумный градъ
Я пробираюсь торопливо,
То старцы дѣтямъ говорятъ
Съ улыбкою самолюбивой:

«Смотрите: вотъ примѣръ для васъ!
Онъ гордъ былъ, не ужился съ нами;
Глупецъ—хотѣлъ увѣрить насъ,
Что Богъ гласить его устами!

«Смотрите жъ, дѣти, на него,
Какъ онъ угрюмъ, и худъ, и блѣденъ!
Смотрите, какъ онъ нагъ и бѣденъ!
Какъ презирають всѣ его!»



ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

[1839—1840].

ПРЕДИСЛОВІЕ

ко 2-му изданію.

Во всякой книгѣ предисловіе есть первая и вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдняя вещь. Оно или служить объясненіемъ цѣли сочиненія, или оправданіемъ и отвѣтомъ на критики. Но обыкновенно читателямъ дѣла нѣтъ до нравственной цѣли и до журнальных нападокъ, и потому они не читаютъ предисловія. А жаль, что это такъ; особенно у насъ! Наша публика такъ еще молода и простодушна, что не понимаетъ басни, если въ концѣ ея не находитъ правоученія. Она не угадываетъ шутки, не чувствуетъ ироніи; она, просто, дурно воспитана. Она еще не знаетъ, что въ порядочномъ обществѣ и въ порядочной книгѣ явная брань не можетъ имѣть мѣста; что современная образованность изобрѣла орудіе болѣе острое, почти невидимое, и тѣмъ не менѣе смертельное, которое, подъ одеждою лесты, наноситъ неотразимый и вѣрный ударъ. Наша публика похожа на провинціала, который, подслушавъ разговоръ двухъ дипломатовъ, принадлежащихъ къ враждебнымъ дворамъ, остался бы увѣренъ, что каждый изъ нихъ обманываетъ свое правительство въ пользу взаимной, нѣжнѣйшей дружбы.

Эта книга испытала на себѣ еще недавно несчастную довѣрчивость нѣкоторыхъ читателей и даже журналовъ къ буквальному значенію словъ. Иные ужасно обидѣлись, и не шутя, что имъ ставятъ въ примѣръ такого безнравственнаго человѣка,

какъ «Герой Нашего Времени»; другіе же очень тонко замѣчали, что сочинитель нарисовалъ свой портретъ и портреты своихъ знакомыхъ... Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь такъ ужъ сотворена, что все въ ней обновляется, кромѣ подобныхъ нелѣпостей. Самая волшебная изъ волшебныхъ сказокъ у насъ едва ли избѣгнетъ упрека въ покушеніи на оскорбленіе личности.

«Герой Нашего Времени», милостивые государи мои, точно портретъ, но не одного человѣка; это портретъ, составленный изъ пороковъ всего нашего поколѣнія, въ полномъ ихъ развитіи. Вы мнѣ опять скажете, что человѣкъ не можетъ быть такъ дуренъ; а я вамъ скажу, что ежели вы вѣрили возможности существованія всѣхъ трагическихъ и романтическихъ злодѣевъ, отчего же вы не вѣруете въ дѣйствительность Печорина? Если вы любовались вымыслами, гораздо болѣе ужасными и уродливыми, отчего же этотъ характеръ, даже какъ вымыселъ, не находить у васъ пощады? Ужъ не оттого ли, что въ немъ больше правды, нежели бы вы того желали?

Вы скажете, что нравственность отъ этого не выиграиваетъ? Извините. Довольно людей кормили сластями: у нихъ отъ этого испортился желудокъ; нужны горькія лекарства, ѣдкія истины. Но не думайте, однако, послѣ этого, чтобъ авторъ этой книги имѣлъ когда-нибудь гордую мечту сдѣлаться исправителемъ людскихъ пороковъ. Боже его избави отъ такого невѣжества! Ему, просто, было весело рисовать современнаго человѣка, какимъ онъ его понимаетъ, и къ его, и, вашему несчастію, слишкомъ часто встрѣчалъ. Будетъ и того, что болѣзнь указана, а какъ ее излечить—это ужъ Богъ знаетъ!—[1841].

I.

Б Э Л А.

Я вхалъ на перекладныхъ изъ Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла изъ одного небольшого чемодана, кото-

рый до половины былъ набитъ путевыми записками о Грузин. Бóльшая часть изъ нихъ, къ счастью для васъ, потеряна, а чемоданъ съ остальными вещами, къ счастью для меня, остался цѣль.

Ужъ солнце начинало прятаться за снѣговой хребетъ, когда я вѣхалъ въ Койшаурскую Долину. Осетинъ-извозчикъ неутомимо погонялъ лошадей, чтобъ успѣть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распѣвалъ пѣсни. Славное мѣсто эта долина! Со всѣхъ сторонъ горы неприступныя, красноватыя скалы, обвѣшенные зеленымъ плющемъ и увѣнчанныя купами чинаръ, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а тамъ высоко, высоко, золотая бахрома снѣговъ; а внизу Арагва, обнявшись съ другой безымянной рѣчкой, шумно вырывающейся изъ чернаго, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкаетъ, какъ змѣя своею чешуею.

Подѣхавъ къ подошвѣ Койшаурской горы, мы остановились возлѣ духана. Тутъ толпилось шумно десятка два грузинъ и горцевъ: по близости караванъ верблюдовъ остановился для ночлега. Я долженъ былъ нанять быковъ, чтобъ втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица—а эта гора имѣетъ около двухъ верстъ длины.

Нечего дѣлать, я нанялъ шесть быковъ и нѣсколькихъ осетинъ. Одинъ изъ нихъ взвалилъ себѣ на плечи мой чемоданъ, другіе стали помогать быкамъ почти однимъ крикомъ.

За мою тележку четверка быковъ тащила другую, какъ ни въ чемъ не бывала, не смотря на то, что она была до верху наложена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шелъ ея хозяинъ, покуривая изъ маленькой кабардинской трубочки, обдѣланной въ серебро. На немъ былъ офицерскій сюртукъ безъ эполетъ и черкесская мохнатая шапка. Онъ казался лѣтъ пятидесяти; смуглый цвѣтъ лица его показывалъ, что оно давно знакомо съ закавказскимъ солнцемъ, и преждевременно посѣдѣвшіе усы не соотвѣтствовали его твердой походкѣ и бодрому виду. Я подошелъ къ нему и поклонился; онъ молча отвѣчалъ мнѣ на поклонъ и пустилъ огромный клубъ дыма.

— Мы съ вами попутчики, кажется?

Онъ молча опять поклонился.

— Вы, вѣрно, ѣдете въ Ставрополь?

— Такъ-съ точно... съ казенными вещами.

— Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащатъ шута, а мою, пустую, шесть скотовъ едва подвигаютъ съ помощію этихъ осетинъ?

Онъ лукаво улыбнулся и значительно взглянулъ на меня. — Вы, вѣрно, недавно на Кавказѣ?

— Съ годъ, отвѣчалъ я.

Онъ улыбнулся вторично.

— А что жъ?

— Да такъ-съ; ужасныя бестіи эти азіаты? Вы думаете они помогаютъ, что кричатъ? А чортъ ихъ разберетъ, что они кричатъ? Быки-то ихъ понимаютъ; запрягите хоть двадцать, такъ коли они крикнуть по-своему, быки все ни съ мѣста... Ужасные плуты! А что съ нихъ возьмешь?... Любятъ деньги драть съ проѣзжающихъ... Избаловали мошенниковъ! Увидите, они еще съ васъ возьмутъ на водку. Ужъ я ихъ знаю; меня не проведутъ!

— А вы давно здѣсь служите?

— Да я ужъ здѣсь служилъ при Алексѣѣ Петровичѣ, * отвѣчалъ онъ, пріосанившись. Когда онъ пріѣхалъ на Линію, я былъ подпоручикомъ — прибавилъ онъ — и при немъ получилъ два чина за дѣла противъ горцевъ.

— А теперь вы?...

— Теперь считаюсь въ третьемъ линейномъ батальонѣ. А вы, смѣю спросить?...

Я сказалъ ему.

Разговоръ этимъ кончился, и мы продолжали молча идти другъ подле друга. На вершинѣ горы нашли мы снѣгъ. Солнце закатилось, и ночь послѣдовала за днемъ безъ промежутка, какъ это обыкновенно бываетъ на югѣ; но, благодаря отливу снѣговъ, мы легко могли различать дорогу, которая все еще шла въ гору,

* Ермоловъ.

хотя уже не такъ круто. Я велѣлъ положить чемоданъ свой въ тележку, замѣнить быковъ лошадьми, и въ послѣдній разъ оглянулся внизъ на долину; но густой туманъ, нахлынувшій волнами изъ ущелій, покрывалъ ее совершенно, и ни единый звукъ не долеталъ уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали на водку; но штабсъ-капитанъ такъ грозно на нихъ прикрикнулъ, что они вмгъ разбѣжались. — Вѣдь этакой народъ! сказалъ онъ: и хлѣба порусски назвать не умѣеть, а выучилъ: «офицеръ, дай на водку?» Ужъ татары по мнѣ лучше: тѣ хоть непьющіе...

До станціи оставалось еще съ версту. Крутомъ было тихо, такъ тихо, что по жужжанію комара можно было слѣдить за его полетомъ. Налѣво чернѣло глубокое ущелье; за нимъ и впереди насъ темносинія вершины горъ, изрытыя морщинами, покрытыя слоями снѣга, рисовались на блѣдномъ небосклонѣ, еще сохранявшемъ послѣдній отблескъ зари. На темномъ небѣ начинали мелькать звѣзды, и странно, мнѣ показалось, что онѣ гораздо выше, чѣмъ у насъ на сѣверѣ. По обѣимъ сторонамъ дороги торчали голые, черные камни, кой-гдѣ изъ-подъ снѣга выглядывали кустарники, но ни одинъ сухой листокъ не шевелился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякиванье русскаго колокольчика.

— Завтра будетъ славная погода! сказалъ я. Штабсъ-капитанъ не отвѣчалъ ни слова и указалъ мнѣ пальцемъ на высокую гору, поднимавшуюся прямо противъ насъ.

— Что жъ это? спросилъ я.

— Гуть-Гора.

— Ну, такъ что жъ?

— Посмотрите какъ курится.

И въ самомъ дѣлѣ, Гуть-Гора курилась; по бокамъ ея ползали легкія струйки облаковъ, а на вершинѣ лежала черная туча, такая черная, что на темномъ небѣ она казалась пятномъ.

Уже мы различали почтовую станцію, кровли окружающихъ ее саклей, и передъ нами мелькали привѣтные огоньки, когда

пахнулъ сырой, холодный вѣтеръ, ущелье загудѣло и пошелъ мелкій дождь. Едва успѣлъ я накинуть бурку, какъ повалилъ снѣгъ. Я съ благоговѣніемъ посмотрѣлъ на штабсъ-капитана...

— Намъ придется здѣсь ночевать, сказалъ онъ съ досадою: въ такую метель черезъ горы не переѣдешь. Что? Были ль обвалы на Крестовой? спросилъ онъ извозчика.

— Не было, господинъ, отвѣчалъ осетинъ-извозчикъ: — а виситъ много, много.

За неимѣніемъ комнаты для проѣзжающихъ настанціи, намъ отвели ночлегъ въ дымной саклѣ. Я пригласилъ своего спутника выпить вмѣстѣ стаканъ чаю, ибо со мной былъ чугунный чайникъ—единственная отрада моя въ путешествіяхъ по Кавказу.

Сакля была прилѣплена однимъ бокомъ къ скалѣ; три скользкія мокрыя ступени вели къ ея двери. Ощупью вошелъ я и наткнулся на корову [хлѣвъ у этихъ людей замѣняетъ лакейскую]. Я не зналъ куда дѣваться: тутъ блѣютъ овцы, тамъ ворчитъ собака. Къ счастью, въ сторонѣ блеснулъ тусклый свѣтъ и помогъ мнѣ найти другое отверстіе наподобіе двери. Тутъ открылась картина, довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. По серединѣ трещалъ огонекъ, разложенный на землѣ, и дымъ, выталкиваемый обратно вѣтромъ изъ отверстія въ крышѣ, разстился вокругъ такой густой пеленою, что я долго не могъ осмотрѣться; у огня сидѣли двѣ старухи, множество дѣтей и одинъ худошавый грузинъ, всѣ въ лохмотьяхъ. Нечего было дѣлать! мы пріютились у огня, закурили трубки, и скоро чайникъ зашипѣлъ привѣтливо.

— Жалкіе люди! сказалъ я штабсъ-капитану, указывая на нашихъ грязныхъ хозяевъ, которые молча на насъ смотрѣли въ какомъ-то остоленѣніи.

— Преглупый народъ! отвѣчалъ онъ. Повѣрите ли? ничего не умѣютъ, неспособны ни къ какому образованію! Ужъ по крайней мѣрѣ наши кабардинцы, или чеченцы, хотя разбойники, голыши, за то отчаянныя башки; а у этихъ и къ оружію ника-

кой охоты нѣтъ: порядочнаго кинжала ни на одномъ не увидишь. Ужъ подлинно осетины!

— А вы долго были въ Чечнѣ?

— Да я лѣтъ десять стоялъ тамъ въ крѣпости съ ротою, у Каменнаго Брода—знаете?

— Слыхалъ.

— Вотъ, батюшка, надоѣли намъ эти головорѣзы. Нынче, слава Богу, смириѣе; а бывало, на сто шаговъ отойдешь за валъ, ужъ гдѣ нибудь косматый дьяволъ сидитъ и караулитъ: чуть зазѣвался, того и гляди — либо арканъ на шеѣ, либо пуля въ затылкѣ. А молодцы!...

— А, чай много съ вами бывало приключеній? сказалъ я, подстрекаемый любопытствомъ.

— Какъ не бывать! бывало...

Тутъ онъ началъ шипать лѣвый усъ, повѣсилъ голову и призадумался. Мнѣ страхъ хотѣлось вытянуть изъ него какую нибудь исторію—желаніе, свойственное всѣмъ путешествующимъ и записывающимъ людямъ. Между тѣмъ чай поспѣлъ; я вытащилъ изъ чемодана два походные стаканчика, налилъ и поставилъ одинъ передъ нимъ. Онъ отхлебнулъ и сказалъ какъ будто про себя: «да, бывало!» Это восклицаніе подало мнѣ большія надежды. Я знаю, старые кавказцы любятъ поговорить, порассказать; имъ такъ рѣдко это удается: другой лѣтъ пять стоитъ гдѣ нибудь въ заколустѣ съ ротою, и цѣлыя пять лѣтъ ему никто не скажетъ: здравствуйте [потому что фельдфебель говорить здравія желаю]. А поболтать было бы о чемъ: кругомъ народъ дикій, любопытный; каждый день опасность; случаи бываютъ чудные, и тутъ поневолѣ пожалѣешь о томъ, что у насъ такъ мало записываютъ.

— Не хотите ли подбавить рому? сказалъ я моему собесѣднику: у меня есть бѣлый изъ Тифлиса; теперь холодно.

— Нѣтъ-съ, благодарствуйте, не пью.

— Что такъ?

— Да такъ. Я далъ себѣ заклятье. Когда я былъ еще подпоручикомъ, разъ, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью

сдѣлалась тревога; вотъ мы и вышли передъ фронтъ навеселѣть, да ужъ и досталось намъ, какъ Алексѣй Петровичъ узналъ: не дай Господи, какъ онъ разсердился! чуть-чуть не отдалъ подъ судъ. Оно и точно: другой разъ цѣлый годъ живешь никого не видишь, да какъ тутъ еще водка—пропадшій человѣкъ!

Услышавъ это, я почти потерялъ надежду.

— Да вотъ хоть черкесы, продолжалъ онъ: какъ наньются бузы на свадьбѣ, или на похоронахъ, такъ и пошла рубка. Я разъ насили ноги унесъ, а еще у мирнова князя былъ въ гостяхъ.

— Какъ же это случилось?

— Вотъ... [онъ набилъ трубку, затянулся и началъ рассказывать], вотъ изволите видѣть, я тогда стоялъ въ крѣпости за Терекомъ съ ротой—этому скоро пять лѣтъ. Разъ, осенью, пришелъ транспортъ съ провіантомъ; въ транспортѣ былъ офицеръ, молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-пяти. Онъ явился ко мнѣ въ полной формѣ и объявилъ, что ему велѣно остаться у меня въ крѣпости. Онъ былъ такой тоненькій, бѣленькій; на немъ мундиръ былъ такой новенькій, что я тотчасъ догадался, что онъ на Кавказѣ у насъ недавно. «Вы, вѣрно», спросилъ я его, «переведены сюда изъ Россіи?»—Точно такъ, господинъ штабсъ-капитанъ, отвѣчалъ онъ. Я взялъ его за руку и сказалъ: «Очень радъ, очень радъ. Вамъ будетъ немножко скучно... ну, да мы съ вами будемъ жить попріятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максимъ Максимычъ, и пожалуйста—къ чему эта полная форма? приходите ко мнѣ всегда въ фуражкѣ.» Ему отвели квартиру, и онъ поселился въ крѣпости.

— А какъ его звали? спросилъ я Максима Максимыча.

— Его звали... Григорьемъ Александровичемъ Печоринъ. Славный былъ малый, смѣю васъ увѣрить; только немножко страненъ. Вѣдь, напримѣръ, въ дождикъ, въ холодъ, цѣлый день на охотѣ; всѣ иззябнуть, устануть—а ему ничего. А другой разъ сидитъ у себя въ комнатѣ, вѣтеръ пахнетъ, увѣряетъ, что простудился; ставнемъ стукнетъ, онъ вздрогнетъ и поблѣднѣетъ; а при мнѣ ходилъ на кабана одинъ на одинъ; бывало, по цѣлымъ часамъ слова не добьешься, за то ужъ иногда

какъ начнетъ разсказывать, такъ животики надорвешь со смѣха... Да-съ, съ большими странностями, и должно быть богатый человекъ: сколько у него было разныхъ дорогихъ вещей!...

— А долго онъ съ вами жилъ? спросилъ я опять.

— Да съ годъ. Ну, да ужъ за то памятенъ мнѣ этотъ годъ; надѣлалъ онъ мнѣ хлопотъ, не тѣмъ будь помянутъ!... Вѣдь есть, право, этакіе люди, у которыхъ на роду написано, что съ ними должны случаться разныя необыкновенныя вещи!

— Необыкновенныя? воскликнулъ я съ видомъ любопытства, подливая ему чаю.

— А вотъ я вамъ расскажу. Верстъ шесть отъ крѣпости жилъ одинъ мирной князь. Сынишко его, мальчикъ лѣтъ пятнадцати, повадился къ намъ ѣздить: всякій день, бывало, то за тѣмъ, то за другимъ. И ужъ точно избаловали мы его съ Григорьемъ Александровичемъ. А ужъ какой былъ головорѣзъ, проворный на что хочешь; шапку ли поднять на всемъ скаку, изъ ружья ли стрѣлять. Одно было въ немъ нехорошо: ужасно падохъ былъ на деньги. Разъ, для смѣха, Григорій Александровичъ обѣщался ему дать червонецъ, коли онъ ему украдетъ лучшаго козла изъ отцовскаго стада; и что жъ вы думаете? на другую же ночь притащилъ его за рога. А, бывало, мы его вздумаемъ дразнить, такъ глаза кровью и нальются, и сейчасъ за кинжалъ. «Эй, Азамать, не сносить тебѣ головы», говорилъ я ему: «яманъ будетъ твоя башка!»

— Разъ, пріѣзжаетъ самъ старый князь звать насъ на свадьбу: онъ отдавалъ старшую дочь замужъ, а мы были съ нимъ кунаки: такъ нельзя же, знаете, отказаться, хотъ онъ и татаринъ. Отправились. Въ аулѣ множество собакъ встрѣтило насъ громкимъ лаемъ. Женщины, увидя насъ, прятались; тѣ, которыхъ мы могли разсмотрѣть въ лицо, были далеко не красавицы. «Я имѣлъ гораздо лучшее мнѣніе о черкешенкахъ», сказалъ мнѣ Григорій Александровичъ. — Погодите! отвѣчалъ я, усмѣхаясь. У меня было свое на умѣ.

— У князя въ саклѣ собралось уже множество народа. У азіатовъ, знаете, обычай всѣхъ встрѣчныхъ и поперечныхъ

приглашать на свадьбу. Насъ приняли со всѣми почестями и повели въ кунацкую. Я, однако жъ, не позабылъ подмѣтить, гдѣ поставили нашихъ лошадей, знаете, для непредвидимаго случая.

— Какъ же у нихъ празднуютъ свадьбу? спросилъ я штабсъ-капитана.

— Да обыкновенно. Сначала мулла прочитаетъ имъ что-то изъ корана; потомъ дарятъ молодыхъ и всѣхъ ихъ родственниковъ; ѣдятъ, пьютъ бузу, потомъ начинается джигитовка и всегда одинъ какой-нибудь оборвышъ, засаленный, на скверной хромой лошаде́нкѣ, ломается, паясничаетъ, смѣшнить честную компанію; потомъ, когда смеркнется, въ кунацкой начинается, по нашему сказать, балъ. Бѣдный старичишка бренчитъ на трехструнной... забылъ какъ по ихнему... ну, да въ родѣ нашей балаалайки. Дѣвки и молодые ребята становятся въ двѣ шеренги, одна противъ другой, хлопаютъ въ ладоши и ноютъ. Вотъ выходитъ одна дѣвка и одинъ мужчина на середину, и начинаютъ говорить другъ другу стихи нараспѣвъ, что попало, а остальные подхватываютъ хоромъ. Мы съ Печоринимъ сидѣли на почетномъ мѣстѣ и вотъ къ нему подошла меньшая дочь хозяина, дѣвушка лѣтъ шестнадцати, и пропѣла ему... какъ бы сказать въ родѣ комплиментъ?...

— А что жъ такое она пропѣла, не помните ли?

— Да, кажется, вотъ такъ: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на нихъ серебромъ выложены, а молодой русскій офицеръ стройнѣе ихъ, и галуны на немъ золотые. Онъ какъ тополь между ними; только не расти, не цвѣсти ему въ нашемъ саду». Печоринъ всталъ, поклонился ей, приложилъ руку ко лбу и сердцу, и просилъ меня отвѣчать ей; я хорошо знаю по-ихнему, и перевелъ его отвѣтъ.

— Когда она отъ насъ отошла, тогда я шепнулъ Григорью Александровичу: ну что, какова?—Прелестъ! отвѣчалъ онъ; а какъ ее зовутъ?—Ее зовутъ Валою, отвѣчалъ я.

— И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, какъ у горной серны, такъ и заглядывали къ намъ въ

душу. Печоринъ въ задумчивости не сводилъ съ нея глазъ, и она частенько изподлѣбья на него посматривала. Только не одинъ Печоринъ любовался хорошенькой княжной: изъ угла комнаты на нее смотрѣли другіе два глаза, неподвижные, огненные. Я сталъ вглядываться, и узналъ моего стараго знакомаго Казбича. Онъ, знаете, былъ не то, чтобъ мирной, не то, чтобъ немирной. Подозрѣній на него было много, хоть онъ ни въ какой шалости не былъ замѣченъ. Бывало, онъ приводилъ къ намъ въ крѣпость барановъ и продавалъ дешево, только никогда не торговался: что запросить, давай,—хоть зарѣжь, не уступитъ. Говорили про него, что онъ любитъ таскаться за Кубань съ абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья; маленькій, сухой, широкоплечій... А ужъ ловокъ-то ловокъ-то былъ, какъ бѣсъ! Бешметъ всегда изорванный, въ заплаткахъ, а оружіе въ серебрѣ. А лошадь его славилась въ цѣлой Кабардѣ—и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаромъ ему завидовали всѣ наѣзники, и не разъ пытались ее украсть, только не удавалось. Какъ теперь гляжу на эту лошадь: вороная какъ смоль, ноги—струнки, и глаза не хуже чѣмъ у Бѣлы; а какая сила! скажи хоть на 50 верстъ; а ужъ выѣзжена—какъ собака бѣгаетъ за хозяиномъ; голосъ даже его знала! Бывало, онъ ее никогда и не привязываетъ. Ужъ такая разбойничья лошадь!...

— Въ этотъ вечеръ Казбичъ былъ угрюмѣе, чѣмъ когда нибудь, и я замѣтилъ, что у него подъ бешметомъ надѣта кольчуга.—«Не даромъ на немъ эта кольчуга», подумалъ я: «ужъ онъ вѣрно что нибудь замышляетъ.»

— Душно стало въ саклѣ, и я вышелъ на воздухъ освѣжиться. Ночь ужъ ложилась на горы, и туманъ начиналъ бродить по ущельямъ.

— Мнѣ вздумалось завернуть подъ навѣсъ, гдѣ стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у нихъ кормъ, и притомъ осторожность никогда не мѣшаетъ; у меня же была лошадь славная, и ужъ не одинъ кабардинецъ на нее умильно поглядывалъ, приговаривая: якши тхе, чекъ якши!

— Пробираюсь вдоль забора, и вдруг слышу голоса; одинъ голосъ я тотчасъ узналъ: это былъ повѣса Азамать, сынъ нашего хозяина; другой говорилъ рѣже и тише. «О чемъ они тутъ толкуютъ?» подумалъ я: «ужъ не о моей ли лошади?» Вотъ присѣлъ я у забора и сталъ прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шумъ пѣсенъ и говоръ голосовъ, вылетая изъ сакли, заглушали любопытный для меня разговоръ.

— «Славная у тебя лошадь! говорилъ Азамать: если бъ я былъ хозяинъ въ домѣ и имѣлъ табунъ въ триста кобылъ, то отдалъ бы половину за твоего скакуна, Казбичъ!»

— А! Казбичъ!—подумалъ я, и вспомнилъ кольчугу.

— «Да», отвѣчалъ Казбичъ послѣ нѣкотораго молчанія: «въ цѣлой Кабардѣ не найдешь такой. Разъ—это было за Тереккомъ—я ѣздилъ съ абреками отбивать русскіе табуны; намъ не посчастливилось и мы разсыпались кто куда. За мной неслись четыре казака; ужъ я слышалъ за собою крики гуяровъ и передо мною былъ густой лѣсъ. Прилегъ я на сѣдло, поручилъ себя Аллаху, и въ первый разъ въ жизни оскорбилъ коня ударомъ плети. Какъ птица нырнулъ онъ между вѣтвями; острия колючки рвали мою одежду, сухіе сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгалъ черезъ пни, разрывалъ кусты грудью. Лучше было бы мнѣ его бросить у опушки и скрыться въ лѣсу пѣшкомъ, да жаль было съ нимъ разстаться—и пророкъ вознаградилъ меня. Нѣсколько пуль провизжало надъ моей головою; я ужъ слышалъ, какъ спѣшившіеся казаки бѣжали по слѣдамъ... Вдругъ передо мною рытвина глубокая; скакунъ мой призадумался—и прыгнулъ. Заднія его копыта оборвались съ противнаго берега, и онъ повисъ на переднихъ ногахъ. Я бросилъ новодѣя и полетѣлъ въ оврагъ; это спасло моего коня: онъ выскочилъ. Казаки все это видѣли, только ни одинъ не спустился меня искать: они вѣрно думали, что я убится до смерти, и я слышалъ, какъ они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью; поползъ я по густой травѣ вдоль по оврагу—смотри: лѣсъ кончился, нѣсколько казаковъ выѣзжаютъ изъ него

на поляну, и вотъ выскакиваетъ прямо къ нимъ мой Карагёзъ; всѣ кинулись за нимъ съ крикомъ; долго, долго они за нимъ гонялись, особенно одинъ раза два чуть-чуть не накинулъ ему на шею аркана; я задрожалъ, опустил глаза и началъ молиться. Черезъ нѣсколько мгновений поднимаю ихъ—и вижу, мой Карагёзъ летитъ, развѣвая хвостъ, вольный какъ вѣтеръ: а гуды далеко одинъ за другимъ таятся по степи на измученныхъ коняхъ. Валлахъ! это правда, истинная правда! До поздней ночи я сидѣлъ въ своемъ оврагѣ. Вдругъ, что жъ ты думаешь, Азаматъ? во мракѣ слышу, бѣгаетъ по берегу оврага конь, фыркаетъ, ржетъ и бьетъ копытами о землю; я узналъ голосъ моего Карагёза, это былъ онъ, мой товарищъ!... Съ тѣхъ поръ мы не разлучались.»

— И слышно было, какъ онъ трепалъ рукою по гладкой шеѣ своего скакуна, давая ему разныя нѣжныя названья.

— «Если бъ у меня былъ табунъ въ тысячу кобылицъ, сказалъ Азаматъ: то отдалъ бы тебѣ его весь за твоего Карагёза.»

— «Йокъ, не хочу,» отвѣчалъ равнодушно Казбичъ.

— «Послушай, Казбичъ, говорилъ, ласкаясь къ нему Азаматъ:—ты добрый человѣкъ, ты храбрый джигитъ, а мой отецъ боится русскихъ и не пускаетъ меня въ горы; отдай мнѣ свою лошадь, и я сдѣлаю все, что ты хочешь; украду для тебя у отца лучшую его винтовку, или шашку, что только пожелаешь — а шашка его настоящая гурда: приложи лезвеемъ къ рукѣ, сама въ тѣло вопьется; а кольчуга такая, какъ твоя, ни почемъ.»

— Казбичъ молчалъ.

— «Въ первый разъ, какъ я увидѣлъ твоего коня, продолжалъ Азаматъ: когда онъ подъ тобой крутился и прыгалъ раздувая ноздри, и кремни брызгами летѣли изъ-подъ копытъ его, въ моей душѣ сдѣлалось что-то непонятное, и съ тѣхъ поръ все мнѣ опостылило: на лучшихъ скакуновъ моего отца смотрѣлъ я съ презрѣнiемъ, стыдно было мнѣ на нихъ показаться, и тоска овладѣла мной; и, тоскуя, просиживалъ я на утесѣ цѣлые дни, и ежеминутно мыслямъ моимъ являлся вороной скакунъ твой съ своей стройной поступью, съ своимъ гладкимъ,

прямымъ, какъ стрѣла, хребтомъ; онъ смотрѣлъ мнѣ въ глаза своими бойкими глазами, какъ будто хотѣлъ слово вымолвить. Я умру, Казбичъ, если ты мнѣ не продашь его!» сказалъ Азамать дрожащимъ голосомъ.

— Мнѣ слышалось, что онъ заплакалъ; а надо вамъ сказать, что Азамать былъ преупрямый мальчишка, и ничѣмъ, бывало, у него слезъ не выбьешь, даже когда онъ былъ и по-моложе.

— Въ отвѣтъ на его слезы слышалось что-то въ родѣ смѣха.

— «Послушай, сказалъ твердымъ голосомъ Азамать: видишь, я на все рѣшаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Какъ она пляшетъ! какъ поетъ! а вышиваетъ золотомъ—чудо! не бывало такой жены и у турецкаго падишаха... Хочешь? Дождись меня завтра ночью, тамъ въ ущельѣ, гдѣ бѣжитъ потокъ: я пойду съ нею мимо въ сосѣдній аулъ—и она твоя. Неужли не стоить Бѣла твоего скакуна?»

— Долго, долго молчалъ Казбичъ; наконецъ, вмѣсто отвѣта, онъ затянулъ старинную пѣсню вполголоса: *

Много красавицъ въ аулахъ у насъ,
Звѣзды сіяютъ во мракѣ ихъ глазъ.
Сладко любить ихъ—завидная доля;
Но веселѣй молодецкая воля.
Золото купить четыре жены,
Конь же лихої не имѣетъ цѣны:
Онъ и отъ вихря въ степи не отстанетъ,
Онъ не измѣнитъ, онъ не обманетъ.

— Напрасно упрасивалъ его Азамать согласиться, и плакалъ, и лѣстилъ ему, и клялся; наконецъ Казбичъ нетерпѣливо прервалъ его:

— «Поди прочь, безумный мальчишка! Гдѣ тебѣ ѣздить на

* Я прошу прощенія у читателей въ томъ, что переложилъ въ стихи пѣсню Казбича, переданную мнѣ, разумѣется, прозой; но привычка—вторая натура.

моемъ конѣ? На первыхъ трехъ шагахъ онъ тебя сброситъ, и ты разобьешь себѣ затылокъ объ камни.»

— «Меня!» крикнулъ Азаматъ въ бѣшенствѣ, и желѣзо дѣтскаго кинжала зазвенѣло объ кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь и онъ ударился объ плетень такъ, что плетень запнулся. «Будетъ потѣха!» подумалъ я, кинулся въ конюшню, взнуздавъ лошадей нашихъ и вывелъ ихъ на задній дворъ. Черезъ двѣ минуты ужъ въ саклѣ былъ ужасный гвалтъ. Вотъ что случилось: Азаматъ вбѣжалъ туда въ разорванномъ бешметѣ, говоря, что Казбичъ хотѣлъ его зарѣзать. Всѣ выскочили, схватились за ружья—и пошла потѣха! Крикъ, шумъ, выстрѣлы; только Казбичъ ужъ былъ верхомъ и вертѣлся среди толпы по улицѣ, какъ бѣсъ, отмахиваясь шашкой. «Плохое дѣло—въ чужомъ пиру похмѣлье», сказалъ я Григорью Александровичу, поймавъ его за руку: «не лучше ли намъ поскорѣй убраться?»

— Да погодите, чѣмъ кончится.

— Да ужъ, вѣрно, кончится худо; у этихъ азіатовъ все такъ: натянулись бузы—и пошла рѣзня!—Мы сѣли верхомъ и усакали домой.

— А что Казбичъ? спросилъ я нетерпѣливо у штабсъ-капитана.

— Да что этому народу дѣлается! отвѣчалъ онъ, допивая стаканъ чая—вѣдь ускользнулъ!

— И не раненъ? спросилъ я.

— А Богъ его знаетъ! Живущи разбойники! Видалъ я-съ инныхъ въ дѣлѣ, на примѣръ: вѣдь весь исколотъ, какъ рѣшето, штыками, а все махаетъ шашкой.—Штабсъ-капитанъ послѣ нѣкотораго молчанія продолжалъ, топнувъ ногою о землю:

— Никогда себѣ не прощу одного: чортъ меня дернулъ, пріѣхавъ въ крѣпость, пересказать Григорью Александровичу все, что я слышалъ, сидя за заборомъ; онъ посмѣялся—такой хитрый!—а самъ задумалъ кое-что.

— А что такое? Расскажите, пожалуйста.

— Ну, ужъ нѣчего дѣлать! началъ рассказывать, такъ надо продолжать.

— Дня черезъ четыре пріѣзжаетъ Азамать въ крѣпость. По обыкновенію, онъ зашелъ къ Григорію Александровичу, который его всегда кормилъ лакомствами. Я былъ тутъ. Зашелъ разговоръ о лошадяхъ, и Печоринъ началъ расхваливать лошадь Казбича: ужъ такая-то она рѣзвая, красивая, словно серна—ну, просто, по его словамъ, этакой и въ цѣломъ мірѣ нѣтъ.

— Засверкали глазѣнки у татарченка, а Печоринъ будто не замѣчаетъ; я заговорю о другомъ, а онъ, смотришь, тотчасъ собьетъ разговоръ на лошадь Казбича. Эта исторія продолжалась всякій разъ, какъ пріѣзжалъ Азамать. Недѣли три спустя, сталъ я замѣчать, что Азамать блѣднѣетъ и сохнетъ, какъ бываетъ отъ любви въ романахъ-съ. Чтѣ за диво?...

— Вотъ видите, я ужъ послѣ узналъ всю эту штуку: Григорій Александровичъ до того его задразнилъ, что хоть въ воду. Разъ, онъ ему и скажи: «Вижу, Азамать, что тебѣ больно понравилась эта лошадь, а не видать тебѣ ея, какъ своего затылка! Ну, скажи, чтѣ бы ты далъ тому, кто тебѣ ее подарилъ бы?...»

— Все, что онъ захочетъ, отвѣчалъ Азамать.

— Въ такомъ случаѣ я тебѣ ее достану, только съ условіемъ... Поклянись, что ты его исполнишь...

— Клянусь... Клянись и ты!

— Хорошо! Клянусь, ты будешь владѣть конемъ; только за него ты долженъ отдать мнѣ сестру Бѣлу: Карагѣзъ будетъ ея калымомъ. Надѣюсь, что торгъ для тебя выгоденъ.

— Азамать молчалъ.

— Не хочешь? Ну, какъ хочешь! Я думалъ, что ты мужчина, а ты еще ребенокъ: рано тебѣ ѣздить верхомъ...

— Азамать вспыхнулъ.

— А мой отецъ? сказалъ онъ.

— Развѣ онъ никогда не ѣзжаетъ?

— Правда...

— Согласенъ?...

— Согласенъ, прошепталъ Азаматъ, блѣдный какъ смерть.—
Когда же?

— Въ первый разъ, какъ Казбичъ пріѣдетъ сюда; онъ обѣщался пригнать десятокъ барановъ; остальное—мое дѣло. Смотри же, Азаматъ!

— Вотъ они и сладили это дѣло... по правдѣ сказать, нехорошее дѣло! Я послѣ говорилъ это Печорину, да только онъ мнѣ отвѣчалъ, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имѣя такого милаго мужа, какъ онъ, потому что, по ихнему, онъ все-таки ея мужъ, а что Казбичъ—разбойникъ, котораго надобно было наказать. Сами посудите, что жъ я могъ отвѣчать противъ этого?... Но въ то время я ничего не зналъ объ ихъ заговорѣ. Вотъ, разъ пріѣхалъ Казбичъ и спрашиваетъ, не нужно ли барановъ и меду; я велѣлъ ему привести на другой день. «Азаматъ!» сказалъ Григорій Александровичъ: «завтра Карагѣзъ въ моихъ рукахъ; если нынче ночью Бэла не будетъ здѣсь, то не видать тебѣ коня...»

— Хорошо! сказалъ Азаматъ и поскакалъ въ аулъ. Вечеромъ Григорій Александровичъ вооружился и выѣхалъ изъ крѣпости: какъ они сладили это дѣло—не знаю, только ночью они оба возвратились, и часовой видѣлъ, что поперегъ сѣдла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.

— А лошадь? спросилъ я у штабсъ-капитана.

— Сейчасъ, сейчасъ. На другой день утромъ рано пріѣхалъ Казбичъ и пригналъ десятокъ барановъ на продажу. Привязавъ лошадь у забора, онъ вошелъ ко мнѣ; я поподчивалъ его чаемъ, потому что хотя разбойникъ онъ, а все-таки былъ моимъ кунакомъ. *

— Стали мы болтать о томъ о семъ... Вдругъ, смотрю, Казбичъ вздохнулъ, перемѣнился въ лицѣ—и къ окну; но окно, къ несчастію, выходило на задворье.—«Что съ тобой?» спросилъ я.

* Кунакъ значить пріятель.

— Моя лошадь!... лошадь! сказалъ онъ, весь дрожа.

Точно, я слышалъ топотъ копытъ:—это, вѣрно, какой нибудь казакъ прїѣхалъ...

— Нѣтъ! Урусъ-яманъ, яманъ! заревѣлъ онъ и опрометью бросился вонъ, какъ дикій барсъ. Въ два прыжка онъ былъ ужъ на дворѣ; у воротъ крѣпости часовой загородилъ ему путь ружьемъ; онъ перескочилъ черезъ ружье и кинулся бѣжать по дорогѣ... Вдали вилась пыль—Азаматъ скакалъ на лихомъ Карагѣзѣ; на-бѣгу Казбичъ выхватилъ изъ чехла ружье и выстрѣлилъ. Съ минуту онъ остался неподвиженъ, пока не убѣдился, что далъ промахъ; потомъ завизжалъ, ударилъ ружье о камень, разбилъ его въ дребезги, повалился на землю и зарыдалъ какъ ребенокъ... Вотъ кругомъ него собрался народъ изъ крѣпости—онъ никого не замѣчалъ; постояли, потолковали, и пошли назадъ; я велѣлъ возлѣ него положить деньги за барановъ—онъ ихъ не тронулъ, лежалъ себѣ ничкомъ, какъ мертвый. Повѣрите ли, онъ такъ пролежалъ до поздней ночи и цѣлую ночь?... Только на другое утро пришелъ въ крѣпость и сталъ просить, чтобъ ему назвали похитителя. Часовой, который видѣлъ какъ Азаматъ отвязалъ коня и ускакалъ на немъ, не почелъ за нужное скрывать. При этомъ имени глаза Казбича засверкали, и онъ отправился въ аулъ, гдѣ жилъ отецъ Азамата.

— Что жъ отецъ?

— Да въ томъ-то и штука, что его Казбичъ не нашелъ: онъ куда-то уѣзжалъ дней на шесть, а то удалось ли бы Азамату увести сестру?

— А когда отецъ возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрецъ: вѣдь смекнулъ, что не сносить ему головы, если бъ онъ попался. Такъ съ тѣхъ поръ и пропалъ: вѣрно, присталъ къ какой нибудь шайкѣ абрековъ, да и сложилъ буйную голову за Терекомъ, или за Кубанью; туда и дорога!...

— Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Какъ я только провѣдалъ, что черкешенка у Григорья Александровича, то надѣлъ эполеты, шпагу и пошелъ къ нему.

— Онъ лежалъ въ первой комнатѣ на постели, подложивъ

одну руку подъ затылокъ, а въ другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта на замокъ, и ключа въ замкѣ не было. Я все это тотчасъ замѣтилъ... Я началъ кашлять и постукивать каблуками о порогъ—только онъ притворился, будто не слышитъ.

— Господинъ прапорщикъ! сказалъ я какъ можно строже:— развѣ вы не видите, что я къ вамъ пришелъ?

— Ахъ, здравствуйте, Максимъ Максимычъ! Не хотите ли трубку? отвѣчалъ онъ, не приподнимаясь.

— Извините, я не Максимъ Максимычъ: я штабсъ-капитанъ.

— Все равно. Не хотите ли чаю? Если бъ вы знали, какая мучить меня забота!

— Я все знаю, отвѣчалъ я, подошедъ къ кровати.

— Тѣмъ лучше: я не въ духѣ рассказывать.

— Господинъ прапорщикъ, вы сдѣлали проступокъ, за который и я могу отвѣчать...

— И, полноте! что жъ за бѣда? Вѣдь у насъ давно все пополамъ.

— Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу!

— Митька, шпагу!...

— Митька принеси шпагу. Исполнивъ долгъ свой, сѣлъ я къ нему на кровать и сказалъ: Послушай, Григорій Александровичъ; признайся, что нехорошо.

— Что нехорошо?

— Да то, что ты увезъ Валу... Ужъ эта мнѣ бестія Азаматъ!.. Ну, признайся, сказалъ я ему.

— Да когда она мнѣ нравится?...

— Ну, что прикажете отвѣчать на это?... Я сталъ въ-тупикъ. Однако жъ, послѣ нѣкотораго молчанія, я ему сказалъ, что если отецъ станетъ ее требовать, то надо будетъ отдать.

— Вовсе не надо!

— Да онъ узнаетъ, что она здѣсь.

— А какъ онъ узнаетъ?

— Я опять сталъ въ-тупикъ.—«Послушайте, Максимъ Ма-

ксимичъ!» сказалъ Печоринъ, приподнявшись: «вѣдь вы добрый человекъ — а если отдадимъ дочь этому дикарю, онъ ее зарѣжетъ, или продастъ. Дѣло сдѣлано, не надо только охотою портить, оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...»

— Да покажите мнѣ ее, сказалъ я.

— Она за этой дверью; только я самъ нынче напрасно хотѣлъ ее видѣть: сидитъ въ углу, закутавшись въ покрывало, не говорить и не смотреть; пуглива, какъ дикая серна. Я нанялъ нашу духанщицу: она знаетъ потатарски, будетъ ходить за нею и приучить ее къ мысли, что она моя; потому что она никому не будетъ принадлежать кромѣ меня! — прибавилъ онъ, ударивъ кулакомъ по столу. — Я и въ этомъ согласился... Что прикажете дѣлать? Есть люди, съ которыми непременно должно соглашаться.

— А что? спросилъ я у Максима Максимыча: въ самомъ ли дѣлѣ онъ приучилъ ее къ себѣ, или она зачахла въ неволѣ, съ тоски по родинѣ?

— Помилуйте, отчего же съ тоски по родинѣ? Изъ крѣпости видны были тѣ же горы, что изъ аула — а этимъ дикарямъ больше ничего не надобно. Да притомъ Григорій Александровичъ каждый день дарилъ ей что нибудь; первые дни она, молча, гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщицѣ и возбуждали ея краснорѣчіе. Ахъ, подарки! чего не сдѣлаетъ женщина за цвѣтную трапичку!... Ну, да это въ сторону... Долго бился съ нею Григорій Александровичъ, между тѣмъ учился потатарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало по малу, она приучилась на него смотрѣть, сначала изподлобья, искоса, и все грустила, напѣвала свои пѣсни въ полголоса, такъ что, бывало, и мнѣ становилось грустно, когда слушалъ ее изъ сосѣдней комнаты. Никогда не забуду одной сцены: шелъ я мимо и заглянулъ въ окно; Бѣла сидѣла на лежанкѣ, повѣсивъ голову на грудь, а Григорій Александровичъ стоялъ передъ нею. «Послушай, моя пери», говорилъ онъ: «вѣдь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею — отчего же только мучишь меня? Развѣ ты любишь какого ни-

будь чеченца? Если такъ, я тебя сейчасъ отпущу домой.»—Она вздрогнула едва примѣтно и покачала головой. — «Или», продолжалъ онъ, «я тебѣ совершенно ненавистенъ?»—Она вздохнула. — «Или твоя вѣра запрещаетъ полюбить меня?»—Она поблѣднѣла и молчала. — «Повѣрь мнѣ, Аллахъ для всѣхъ племенъ одинъ и тотъ же, и если онъ мнѣ позволяетъ любить тебя, отчего же запретить тебѣ платить мнѣ взаимностью?»—Она посмотрѣла ему пристально въ лицо, какъ будто пораженная этой новой мыслию; въ глазахъ ея выразились недоувѣрчивость и желаніе убѣдиться. Что за глаза! они такъ и сверкали, будто два угля.

— Послушай, милая, добрая Бѣла! продолжалъ Печоринъ: ты видишь, какъ я тебя люблю; я все готовъ отдать, чтобы тебя развеселить! я хочу, чтобы ты была счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселѣй?»—Она призадумалась, не спуская съ него черныхъ глазъ своихъ; потомъ улыбнулась ласково и кивнула головой въ знакъ согласія. Онъ взялъ ее руку и сталъ ее уговаривать, чтобы она его поцѣловала; она слабо защищалась и только повторяла: «поджалуста, поджалуста, не нада, не нада». Онъ сталъ настаивать; она задрожала, заплакала.—«Я твоя плѣнница», говорила она: «твоя раба; конечно, ты можешь меня принудить!»—и опять слезы.

— Григорій Александровичъ ударилъ себя въ лобъ кулакомъ и выскочилъ въ другую комнату. Я зашелъ къ нему; онъ сложа руки прохаживался угрюмый взадъ и впередъ. «Что, батюшка?» сказалъ я ему.—«Дьяволъ, а не женщина!» отвѣчалъ онъ: «только я вамъ даю мое честное слово, что она будетъ моя...» Я покачалъ головою. «Хотите пари?» сказалъ онъ: «черезъ недѣлю!» — Извольте! — Мы ударили по рукамъ и разошлись.

— На другой день онъ тотчасъ отправилъ нарочнаго въ Кизляръ за разными покупками; привезено было множество разныхъ персидскихъ матерій, всѣхъ не перечесть.

— Какъ вы думаете. Максимъ Максимычъ, сказалъ онъ мнѣ, показывая подарки:—устойтъ ли азіятская красавица противъ такой батареи? — Вы черкешенокъ не знаете, отвѣчалъ я; это совсѣмъ не то, что грузинки или закавказскія татарки — совсѣмъ не то. У нихъ свои правила; онѣ иначе воспитаны. — Григорій Александровичъ улыбнулся и сталъ насвистывать маршъ.

— А вѣдь вышло, что я былъ правъ: подарки подѣйствовали только въ половину: она стала ласковѣе, довѣрчивѣе — да и только; такъ что онъ рѣшился на послѣднее средство. Разъ утромъ онъ велѣлъ осѣдлатъ лошадь, одѣлся почеркески, вооружился и вошелъ къ ней. «Баба!» сказалъ онъ: «ты знаешь, какъ я тебя люблю. Я рѣшился тебя увести, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь; я ошибся:—прощай! оставайся полной хозяйкой всего, что я имѣю; если хочешь, вернись къ отцу—ты свободна. Я виноватъ передъ тобой и долженъ наказывать себя. Прощай, я ѣду—куда? почему я знаю! Авось, недолго буду гоняться за пулей или ударомъ пашки; тогда вспомни обо мнѣ и прости меня.»—Онъ отвернулся и протянулъ ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только стоя за дверью, я могъ въ щель разсмотрѣть ея лицо; и мнѣ стало жаль—такая смертельная блѣдность покрыла это милое личико! Не слыша отвѣта, Печоринъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ двери; онъ дрожалъ — и сказать ли вамъ? я думаю, онъ въ состояніи былъ исполнить въ самомъ дѣлѣ то, о чемъ говорилъ шута. Таковъ ужъ былъ человѣкъ, Богъ его знаетъ! Только едва онъ коснулся двери, какъ она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. — Повѣрите ли? я, стоя за дверью, таеже заплакалъ, то есть, знаете, не то, чтобъ заплакалъ, а такъ—глупость!...

Штабсъ-капитанъ замолчалъ.

— Да, признаюсь, сказалъ онъ потомъ, теребя усы: мнѣ стало досадно, что никогда ни одна женщина меня такъ не любила.

— И продолжительно было ихъ счастье? спросилъ я.

— Да, она намъ призналась, что съ того дня, какъ увидѣла

Печорина, онъ часто ей грезился во снѣ, и что ни одинъ мужчина никогда не производилъ на нее такого впечатлѣнія. — Да, они были счастливы!

— Какъ это скучно! воскликнулъ я невольно. Въ самомъ дѣлѣ, я ожидалъ трагической развязки, и вдругъ такъ неожиданно обмануть мои надежды!... «Да неужели,» продолжалъ я: «отецъ не догадался, что она у васъ въ крѣпости?»

— То есть, кажется, онъ подозрѣвалъ. Спустя нѣсколько дней, узнали мы, что старикъ убитъ. Вотъ какъ это случилось...

Вниманіе мое пробудилось снова.

— Надо вамъ сказать, что Казбичъ вообразилъ, будто Азамать съ согласія отца украсть у него лошадь, по крайней мѣрѣ я такъ полагаю. Вотъ онъ разъ и дожидался у дороги, версты три за ауломъ; старикъ возвращался изъ напрасныхъ поисковъ за дочерью; уздени его отстали — это было въ сумерки — онъ ѣхалъ задумчиво шагомъ, какъ вдругъ Казбичъ, будто кошка, нырнулъ изъ-за куста, прыгъ сзади его на лошадь, ударомъ кинжала свалилъ его на земь, схватилъ поводья — и былъ таковъ; нѣкоторые уздени все это видѣли съ пригорка; они бросились догонять, только не догнали.

— Онъ вознаградилъ себя за потерю коня и отмстилъ, сказать я, чтобъ вызвать мнѣніе моего собесѣдника.

— Конечно, по-ихнему, сказалъ штабсъ-капитанъ, — онъ былъ совершенно правъ.

Меня невольно поразила способность русскаго человѣка привыкаться къ обычаямъ тѣхъ народовъ, среди которыхъ ему случается жить. Не знаю, достойно порицанія или похвалы это свойство ума, только оно доказываетъ неимоверную его гибкость и присутствіе этого яснаго, здраваго смысла, который прощаетъ зло вездѣ, гдѣ видитъ его необходимость, или невозможность его уничтоженія.

Между тѣмъ чай былъ выпить; давно запряженные кони продрогли на снѣгу; мѣсяцъ блѣднѣлъ на западѣ и готовъ ужъ былъ погрузиться въ черныя свои тучи, висящія на дальнихъ вершинахъ, какъ клочки разодраннаго занавѣса. Мы вышли изъ

сакли. Вопреки предсказанію моего спутника, погода прояснилась и общала намъ тихое утро; хороводы звѣздъ чудными узорами сплетались на далекомъ небосклонѣ и одна за другою гасли по мѣрѣ того, какъ блѣдноватый отблескъ востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно крутыя отлогости горъ, покрытыя дѣвственными снѣгами. Направо и налево чернѣли мрачныя, таинственныя пропасти; и туманы, клубясь и извиваясь какъ змѣи, сползали туда по морщинамъ сосѣднихъ скалъ, будто чувствуя и пугаясь приближенія дня.

Тихо было все на небѣ и на землѣ, какъ въ сердцѣ человека въ минуту утренней молитвы; только изрѣдка набѣгали прохладный вѣтеръ съ востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеемъ. Мы тронулись въ путь; съ трудомъ пять худыхъ клячъ тащили наши повозки по извилистой дорогѣ на Гудъ-гору. Мы шли пѣшкомъ сзади, подкладывая камни подъ колеса, когда лошади выбивались изъ силъ; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глазъ могъ разглядѣть, она все поднималась и наконецъ пропадала въ облакѣ, которое еще съ вечера отдыхало на вершинѣ Гудъ-горы, какъ коршунъ, ожидающій добычу; снѣгъ хрустѣлъ подъ ногами нашими; воздухъ становился такъ рѣдокъ, что было больно дышать: кровь поминутно прилиwała въ голову, но со всѣмъ тѣмъ какое-то отрадное чувство распространилось по всѣмъ моимъ жиламъ, и мнѣ было какъ-то весело, что я такъ высоко надъ міромъ — чувство дѣтское, не спору, но, удаляясь отъ условій общества и приближаясь къ природѣ, мы невольно становимся дѣтьми: все пріобрѣтенное отпадаетъ отъ души, и она дѣлается вновь такою, какой была нѣкогда и вѣрно будетъ когда нибудь опять. Тотъ, кому случалось, какъ мнѣ, бродить по горамъ пустыннымъ и долго-долго всматриваться въ ихъ причудливые образы, и жадно глотать животворящій воздухъ, разлитый въ ихъ ущельяхъ, тотъ, конечно, пойметъ мое желаніе передать, рассказать, нарисовать эти волшебныя картины. Вотъ, наконецъ, мы взобрались на Гудъ-гору, остановились и оглянулись: на ней висѣло сѣрое облако, и его холодное дыханіе грозило близ-

кой бурею; но на востокъ все было такъ ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабсъ-капитанъ, совершенно о немъ забыли... Да, и штабсъ-капитанъ: въ сердцахъ простыхъ чувство красоты и величія природы сильнѣе, живѣе во стократъ, чѣмъ въ насъ, восторженныхъ раскащикахъ на словахъ и на бумагѣ.

— Вы, я думаю, привыкли къ этимъ великолѣпнымъ картинамъ? сказалъ я ему.

— Да-съ, и къ свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное бѣненіе сердца.

— Я слышалъ, напротивъ, что для иныхъ старыхъ воиновъ эта музыка даже пріятна?

— Разумѣется, если хотите, оно пріятно; только все же потому, что сердце бьется сильнѣе. Посмотрите, прибавилъ онъ, указывая на востокъ: что за край!

И точно такую панораму врядъ ли гдѣ еще удастся мнѣ видѣть: подъ нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой рѣчкой, какъ двумя серебряными нитями; голубоватный туманъ скользилъ по ней, убѣгая въ сосѣднія тѣнины отъ теплыхъ лучей утра; направо и налѣво гребни горъ, одинъ выше другаго, пересекались, тянулись, покрытые снѣгами, кустарникомъ; вдали тѣ же горы, но хоть бы двѣ скалы похожія одна на другую — и всѣ эти снѣга горѣли румянымъ блескомъ такъ весело, такъ ярко, что кажется, тутъ бы и остаться жить навѣки; солнце чуть показалось изъ за темноси-ней горы, которую только привычный глазъ могъ бы различить отъ грозовой тучи; но надъ солнцемъ была кровавая полоса, на которую мой товарищъ обратилъ особенное вниманіе. «Я говорилъ вамъ», воскликнулъ онъ, «что нынче будетъ погода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанетъ насъ на Крестовой. Трогайтесь!» закричалъ онъ ямщикамъ.

Подложили цѣпи подъ колеса вмѣсто тормазовъ, чтобъ они не раскатывались; взяли лошадей подъ-узды и начали спускаться; направо былъ утесъ, налѣво пропасть такая, что цѣлая деревушка осетинъ, живущихъ на днѣ ея, казалась гнѣздомъ ласточки; я содрогнулся, подумавъ, что часто здѣсь, въ

глухую, ночь, по этой дорогѣ, гдѣ двѣ повозки не могутъ разъѣхаться, какой нибудь курьеръ разъ десять въ годъ проѣзжаетъ, не выѣзая изъ своего трясаго экипажа. Одинъ изъ нашихъ извозчиковъ былъ русскій ярославскій мужикъ, другой осетинъ. Осетинъ велъ коренную подъ-узды со всѣми возможными предосторожностями, отпрягши заранѣе уносныхъ — а нашъ безпечный русакъ даже не слѣзъ съ облучка! Когда я ему замѣтилъ, что онъ могъ бы побезпокоиться въ пользу хотя моего чемодана, за которымъ я вовсе не желаю лазить въ эту бездну, онъ отвѣчалъ мнѣ: «И, баринъ! Богъ дастъ не хуже ихъ доѣдемъ; вѣдь намъ не впервые!»—и онъ былъ правъ: мы точно могли бы не доѣхать, однако жъ все-таки доѣхали. И если бъ всѣ люди побольше разсуждали, то убѣдились бы, что жизнь не стоитъ того, чтобъ объ ней такъ много заботиться...

Но, можетъ быть, вы хотите знать окончаніе исторіи Бэли?—Во-первыхъ, я пишу не повѣсть, а путевыя записки: слѣдовательно, не могу заставить штабсъ-капитана разсказывать прежде, нежели онъ началъ разсказывать въ самомъ дѣлѣ. Итакъ, погодите, или, если хотите, переверните нѣсколько страницъ, только я вамъ этого не совѣтую, потому что переѣздя черезъ Крестовую гору [или, какъ называетъ ее ученый Гамба, *le Mont St.-Christophe*] достоинъ вашего любопытства. Итакъ, мы спустились съ Гудъ-горы въ Чертову долину... Вотъ романтическое названіе! Вы уже видите гнѣздо злаго духа между неприступными утесами—не тутъ-то было: названіе Чертовой долины происходитъ отъ слова «черта», а не «чортъ»—ибо здѣсь когда-то была граница Грузіи. Эта долина была завалена снѣговыми сугробами, напоминавшими довольно живо Саратовъ, Тамбовъ и прочія милыя мѣста нашего отечества.

«Вотъ и Крестовая!» сказалъ мнѣ штабсъ-капитанъ, когда мы съѣхали въ Чертову долину, указывая на холмъ, покрытый пеленою снѣга; на его вершинѣ чернѣлся каменный крестъ, и мимо его вела едва-едва замѣтная дорога, по которой проѣзжаютъ только тогда, когда боковая завалена снѣгомъ: наши извозчики объявили, что обваловъ еще не было, и сберегая лоша-

дей, повезли насъ кругомъ. При поворотѣ встрѣтили мы чело-
вѣкъ пять осетинъ; они предложили намъ свои услуги и, уцѣ-
пясь за колеса, съ крикомъ принялись тащить и поддерживать
нашу тележку. И точно, дорога опасная: направо висѣли надъ
нашими головами груды снѣга, готовые, кажется, при первомъ
порывѣ вѣтра оборваться въ ущелье; узкая дорога частію была
покрыта снѣгомъ, который въ иныхъ мѣстахъ проваливался
подъ ногами, въ другихъ превращался въ ледъ отъ дѣйствія
солнечныхъ лучей и ночныхъ морозовъ, такъ что съ трудомъ
мы сами пробирались; лошади падали;—налѣво зіяла глубокая
разсѣлина, гдѣ катился потокъ, то скрываясь подъ ледяной ко-
рою, то съ пѣною прыгая по чернымъ камнямъ. Въ два часа
едва могли мы обогнуть Крестовую гору — двѣ версты въ два
часа! Между тѣмъ тучи спустились, повалилъ градъ, снѣгъ;
вѣтеръ, врываясь въ ущелья, ревѣлъ, свисталъ, какъ Соловей-
Разбойникъ, и скоро каменный крестъ скрылся въ туманѣ, ко-
торого волны, одна другой гуще и тѣснѣе, набѣгали съ восто-
ка... Кстати, объ этомъ крестѣ существуетъ странное, но все-
общее преданіе, будто его поставилъ императоръ Петръ I, про-
ѣзжая черезъ Кавказъ; но, во-первыхъ, Петръ былъ только въ
Дагестанѣ, и во-вторыхъ, на крестѣ было написано крупными
буквами, что онъ поставленъ по приказанію ген. Ермолова, а
именно въ 1824 году. Но преданіе, не смотря на надпись, такъ
укоренилось, что, право, не знаешь чему вѣрить, тѣмъ болѣе,
что мы не привыкли вѣрить надписямъ.

Намъ должно было спускаться еще верстъ пять по обледе-
нѣвшимъ скаламъ и топкому снѣгу, чтобъ достигнуть станціи
Коби. Лошади измучились, мы продрогли; метель гудѣла силь-
нѣе и сильнѣе, точно наша родимая, сѣверная; только ея дикіе
напѣвы были печальнѣе, заунывнѣе. «И ты, изгнанница,» ду-
малъ я, «плачешь о своихъ широкихъ, раздольныхъ степяхъ!
Тамъ есть гдѣ развернуть холодныя крылья, а здѣсь тебѣ душ-
но и тѣсно какъ орлу, который съ крикомъ бьется о рѣшетку
желѣзной своей кѣтки.»

— Плохо! говорилъ штабсъ-капитанъ: посмотрите, кругомъ

ничего не видно, только туманъ да снѣгъ; того и гляди, что свалимся въ пропасть или засядемъ въ трущобу; а тамъ пониже, чай, Байдара такъ разыгралась, что и не переѣдешь. Ужъ эта мнѣ Азія! что люди, что рѣчки—никакъ нельзя положиться.

Извозчики съ крикомъ и бранью колотили лошадей, которыя фыркали, упирались не хотѣли ни за что въ свѣтѣ тронуться съ мѣста, несмотря на краснорѣчіе кнутовъ. «Ваше благородіе,» сказалъ наконецъ одинъ: «вѣдь мы нынче до Коби не доѣдемъ; не прикажете ли, покажѣсть можно, своротить налѣво? Вонъ тамъ что-то на косогорѣ чернѣется—вѣрно, сакли: тамъ всегда-съ проѣзжающіе останавливаются въ погоду; они говорятъ, что проведутъ, если дадите на водку,» прибавилъ онъ, указывая на осетина.

— Знаю, братецъ, знаю безъ тебя! сказалъ штабсъ-капитанъ. Ужъ эти бестіи! рады придраться, чтобъ сорвать на водку.

— Признайтесь, однако, сказалъ я, что безъ нихъ намъ было бы хуже.

— Все такъ, все такъ, пробормоталъ онъ: — ужъ эти мнѣ проводники! чутьемъ слышать, гдѣ можно попользоваться будто безъ нихъ и нельзя найти дороги.

Вотъ мы свернули налѣво и кое-какъ послѣ многихъ хлопотъ, добрались до скуднаго пріюта, состоявшаго изъ двухъ саклей, сложенныхъ изъ плитъ и булыжника и обведенныхъ такою же стѣною. Оборванные хозяева приняли насъ радушно. Я послѣ узналъ, что правительство имъ платитъ и кормитъ ихъ съ условіемъ, чтобъ они принимали путешественниковъ, застигнутыхъ бурей. — Всекъ лучшему, сказалъ я, присѣвъ у огня: — теперь вы мнѣ доскажете вашу исторію про Бѣлу; я увѣренъ, что этимъ не кончилось.

— А почему жъ вы такъ увѣрены? отвѣчалъ мнѣ штабсъ-капитанъ, примитивная съ хитрой улыбкою.

— Оттого, что это не въ порядкѣ вещей: что началось необыкновеннымъ образомъ, то должно такъ же и кончиться.

— Вѣдь вы угадали...

— Очень радъ.

— Хорошо вамъ радоваться, а мнѣ такъ, право, грустно, какъ вспомню. Славная была дѣвочка, эта Бѣла. Я къ ней наконецъ такъ привыкъ, какъ къ дочери, и она меня любила. Надо вамъ сказать, что у меня нѣтъ семейства: объ отцѣ и матери я лѣтъ двѣнадцать ужъ не имѣю извѣстiя, а завестись женой не догадался раньше—такъ теперь ужъ, знаете, и не къ лицу; я и радъ быть, что нашелъ кого баловать. Она, бывало, намъ поетъ пѣсни, или пляшетъ лезгинку... А ужъ какъ плясала! Видалъ я нашихъ губернскихъ барышень, а разъ былъ-съ и въ Москвѣ въ благородномъ собраніи, лѣтъ двадцать тому назадъ, —только куда имъ! совсѣмъ не то!.. Григорій Александровичъ наряжалъ ее какъ куклоку; холилъ и лелѣялъ, и она у насъ такъ похорошѣла, что чудо! съ лица и съ рукъ сошелъ загаръ, румянецъ разыгрался на щекахъ... Ужъ какая, бывало, веселая, и все надо мной, проказница, подшучивала... Богъ ей прости!..

— А что, когда вы ей объявили о смерти отца?

— Мы долго отъ нея это скрывали, пока она не привыкла къ своему положенію; а когда сказали, такъ она дня два плакала, а потомъ забыла.

— Мѣсяца четыре все шло какъ нельзя лучше. Григорій Александровичъ, я ужъ кажется говорилъ, страстно любилъ охоту: бывало, такъ его въ лѣсъ и подмываетъ за кабанами, или козами—а тутъ хоть бы вышелъ за крѣпостной валъ. Вотъ, однако жъ, смотрю онъ сталъ снова задумываться; ходитъ по комнатѣ, загнувъ руки назадъ; потомъ разъ, не сказавъ никому, отправился стрѣлять—цѣлое утро пропадалъ; разъ и другой, все чаще и чаще... «Нехорошо,» подумалъ я: «вѣрно между ними черная кошка проскочила.»

— Одно утро захожу къ нимъ—какъ теперь передъ глазами: Бѣла сидѣла на кровати въ черномъ, шелковомъ бешметѣ, блѣдненькая, такая печальная, что я испугался.

— А гдѣ Печоринъ? спросилъ я.

— На охотѣ.

— Сегодня ушелъ?—Она молчала, какъ будто ей трудно было выговорить.

— Нѣтъ, еще вчера, наконецъ сказала она, тяжело вздохнувъ.

— Ужъ не случилось ли съ нимъ чего?

— Я вчера цѣлый день думала, думала, отвѣчала она сквозь слезы; придумывала разныя несчастія: то казалось мнѣ, что его ранилъ дикій кабанъ, то чеченецъ утащилъ въ горы... А нынче мнѣ ужъ кажется, что онъ меня не любитъ.

— Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать!

— Она заплакала, потомъ съ гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала:

— Если онъ меня не любитъ, то кто ему мѣшаетъ отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это такъ будетъ продолжаться, то я сама уйду: я не раба его—я княжеская дочь!...

— Я сталъ ее уговаривать.—Послушай, Бѣла, вѣдь нельзя же ему вѣкъ сидѣть здѣсь, какъ пришитому къ твоей юбкѣ: онъ человѣкъ молодой, любитъ погоняться за дичью—походить да и придеть; а если ты будешь грустить, то скорѣй ему наскучишь.

— Правда, правда, отвѣчала она: я буду весела.—И съ хохотомъ схватила свой бубень, начала пѣть, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно: она опять упала на постель и закрыла лицо руками.

— Что было съ нею мнѣ дѣлать? Я, знаете, никогда съ женщинами не обращался; думалъ, думалъ, чѣмъ ее утѣшить, и ничего не придумалъ; нѣсколько времени мы оба молчали... Пренепріятное положеніе-съ!

Наконецъ я ей сказалъ: «хочешь, пойдемъ прогуляться на валъ, погода славная!»—Это было въ сентябрѣ. И точно, день былъ чудесный, свѣтлый и не жаркій; всѣ горы видны были какъ на блюдечкѣ. Мы пошли, походили по крѣпостному валу взадъ и впередъ, молча; наконецъ она сѣла на дернъ, и я сѣлъ возлѣ нея. Ну, право, вспомнить смѣшно: я бѣгалъ за нею, точно какая нибудь нянька.

— Крѣпость наша стояла на высокомъ мѣстѣ, и видъ былъ съ вала прекрасный: съ одной стороны широкая поляна, изрытая нѣсколькими балками,* оканчивалась лѣсомъ, который тянулся до самаго хребта горъ; кое-гдѣ на ней дымились аулы, ходили табуны; съ другой бѣжала мелкая рѣчка, и къ ней примыкалъ частый кустарникъ, покрывавшій кремнистыя возвышенности, которыя соединялись съ главной цѣпью Кавказа. Мы сидѣли на углу бастіона, такъ что въ обѣ стороны могли видѣть все. Вотъ, смотрю: изъ лѣса выѣзжаетъ кто-то на сѣрой лошади, все ближе и ближе, и наконецъ остановился по ту сторону рѣчки саженьяхъ во стѣ отъ насъ, и началъ кружить лошадь свою какъ бѣшеный. Что за притча!... «Посмотри-ка, Бѣла, сказалъ я: у тебя глаза молодые, что это за джигитъ: кого это онъ пріѣхалъ тѣшить?...»

— Она взглянула, и вскрикнула: «это Казбичъ!»

— Ахъ онъ разбойникъ! смѣяться что ли пріѣхалъ надъ нами?—Всматриваюсь, точно Казбичъ: его смуглая рожа, оборванный, грязный какъ всегда.—«Это лошадь отца моего,» сказала Бѣла, схвативъ меня за руку; она дрожала какъ листъ, и глаза ея сверкали.—Ага! подумалъ я: и въ тебѣ, душенька, не молчить разбойничья кровь!

— Подойди-ка сюда, сказалъ я часовому: осмотри ружье, да ссади мнѣ этого молодца—получишь рубль серебромъ.—«Слушаю, ваше высокоблагородіе; только онъ не стоитъ на мѣстѣ...» —Прикажи! сказалъ я, смѣясь.—«Эй! любезный!» закричалъ часовой, махая ему рукой: «подожди маленько, что ты ерутишься какъ волчокъ?» — Казбичъ остановился въ самомъ дѣлѣ и сталъ вслушиваться: вѣрно думалъ, что съ нимъ заводятъ переговоры—какъ не такъ!... Мой гренадеръ приложился... бацъ!... мимо;—только-что порохъ на полкѣ вспыхнулъ, Казбичъ толкнулъ лошадь, и она дала скачекъ въ сторону. Онъ привсталъ на стременахъ, крикнулъ что-то по своему, погрозилъ нагайкой—и былъ таковъ.

* Оврага.

— Какъ тебѣ не стыдно! сказалъ я часовому.

— Ваше высокоблагородіе! умирать отправился, отвѣчалъ онъ: такой проклятый народъ, съ разу не убьешь.

— Четверть часа спустя, Печоринъ вернулся съ охоты. Бѣла бросилась ему на шею, и ни одной жалобы, ни одного упрека за долгое отсутствіе... Даже я ужъ на него разсердился. — Помилуйте, говорилъ я: вѣдь вотъ сейчасъ тутъ былъ за рѣчкою Казбичъ и мы по немъ стрѣляли; ну, долго ли вамъ на него наткнуться? Эти горцы народъ мстительный; вы думаете, что онъ не догадывается, что вы частію помогли Азамату? А я бьюсь объ закладъ, что нынче онъ узналъ Бѣлу. Я знаю, что, годъ тому назадъ, она ему больно нравилась — онъ мнѣ самъ говорилъ — и если бъ надѣялся собрать порядочный калымъ, то вѣрно бы посватался... — Тутъ Печоринъ задумался. — Да, отвѣчалъ онъ: надо быть осторожнѣе... Бѣла! съ нынѣшняго дня ты не должна болѣе ходить на крѣпостной валъ.

— Вечеромъ я имѣлъ съ нимъ длинное объясненіе: мнѣ было досадно, что онъ переимѣнился къ этой бѣдной дѣвочкѣ; кромѣ того, что онъ половину дня проводилъ на охотѣ его обращеніе стало холодно, ласкалъ онъ ее рѣдко, и она замѣтно начинала сохнуть, личико ея вытянулось, большіе глаза потускнѣли. Бывало спросишь: о чемъ ты вздохнула, Бѣла? ты печальна? «Нѣтъ.» Тебѣ чего нибудь хочется? «Нѣтъ.» Ты тоскуешь по роднымъ? «У меня нѣтъ родныхъ.» Случалось по цѣлымъ днямъ, кромѣ «да» да «нѣтъ», отъ нея ничего больше не добьешься.

— Вотъ объ этомъ-то я и сталъ ему говорить. «Послушайте, Максимъ Максимычъ,» отвѣчалъ онъ: «у меня несчастный характеръ: воспитаніе ли меня сдѣлало такимъ, Богъ ли такъ меня создалъ — не знаю; знаю только то, что если я причиною несчастія другихъ, то и самъ не менѣе несчастливъ. Разумѣется, это имѣ плохое утѣшеніе — только дѣло въ томъ, что это такъ. Въ первой моей молодости, съ той минуты, когда я вышелъ изъ опеки родныхъ, я сталъ наслаждаться бѣшено всѣми удовольствіями, которыя можно достать за деньги, и разумѣется,

удовольствія эти мнѣ опротивѣли. Потомъ пустился я въ большой свѣтъ, и скоро общество мнѣ также надоѣло; влюблялся въ свѣтскихъ красавицъ, и былъ любимъ; но ихъ любовь только раздражала мое воображеніе и самолюбіе, а сердце осталось пусто... Я сталъ читать, учиться—науки также надоѣли; я видѣлъ, что ни слава ни счастье отъ нихъ не зависятъ нисколько, потому что самые счастливые люди—невѣжды, а слава удача, и чтобъ добиться ея, надо только быть ловкимъ. Тогда мнѣ стало скучно... Вскорѣ перевели меня на Кавказъ: это самое счастливое время моей жизни. Я надѣялся, что скука не живесть подъ чеченскими пулями—напрасно: черезъ мѣсяцъ я такъ привыкъ къ ихъ жужжанью и къ близости смерти, что, право, обращалъ больше вниманія на комаровъ, и мнѣ стало скучнѣе прежняго, потому что я потерялъ почти послѣднюю надежду. Когда я увидѣлъ Бэлу въ своемъ домѣ, когда въ первый разъ, держа ее на колѣняхъ, цѣловалъ ея черныя локоны, я, глупецъ, подумалъ, что она ангелъ, посланный мнѣ сострадательной судьбой... Я опять ошибся: любовь дикарки немногимъ лучше любви знатной барыни; невѣжество и простосердечіе одной также надоѣдаютъ, какъ и кокетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодаренъ за нѣсколько минутъ довольно сладкихъ, а за нее отдамъ жизнь—только мнѣ съ нею скучно... Глупецъ я, или злодѣй—не знаю; но то вѣрно, что я также очень достоинъ сожалѣнія, можетъ быть больше, нежели она: во мнѣ душа испорчена свѣтомъ, воображеніе безпокойное, сердце ненасытное; мнѣ все мало, къ печали я также легко привыкаю, какъ къ наслажденію, и жизнь моя становится пустѣе день отъ дня; мнѣ осталось одно средство: путешествовать. Какъ только будетъ можно, отправлюсь—только не въ Европу, избави Боже!—поѣду въ Америку, въ Аравію, въ Индію—авось гдѣ нибудь умру на дорогѣ. По крайней мѣрѣ, я увѣренъ, что это послѣднее утѣшеніе нескоро истощится, съ помощію бурь и дурныхъ дорогъ.»—Такъ онъ говорилъ долго, и его слова врѣзались у меня въ памяти, потому что въ первый разъ я слышалъ такіа вещи отъ двадцатипяти-лѣтняго чело-

вѣка, и, Богъ дастъ, въ послѣдній... Чтѣ за диво! Скажите-ка, пожалуйста, продолжалъ штабсъ-капитанъ, обращаясь ко мнѣ: вы вотъ, кажется, бывали въ столицѣ, и недавно — неужто тамошняя молодежь вся такова?

Я отвѣчалъ, что много есть людей, говорящихъ то же самое; что есть, вѣроятно, и такіе, которые говорятъ правду; что впрочемъ разочарованіе, какъ всѣ моды, начавъ съ высшихъ слоевъ общества, спустилось къ низшимъ, которые его донашиваютъ, и что нынче тѣ, которые больше всѣхъ и въ самомъ дѣлѣ скучаютъ, стараются скрыть это несчастіе, какъ пороки. — Штабсъ-капитанъ не понялъ этихъ тонкостей, покачалъ головою и улыбнулся лукаво.

— А все, чай, французы ввели моду скучать?

— Нѣтъ, англичане.

— Ага, вотъ что!... отвѣчалъ онъ: да вѣдь они всегда были отъявленные пьяницы!...

Я невольно вспомнилъ объ одной московской барынѣ, которая утверждала, что Байронъ былъ больше ничего, какъ пьяница. Впрочемъ, замѣчаніе штабсъ-капитана было извинительнѣе: чтобъ воздерживаться отъ вина, онъ конечно старался увѣрить себя, что всѣ въ мірѣ несчастія происходятъ отъ пьянства.

Между тѣмъ онъ продолжалъ свой разсказъ такимъ образомъ:

— Казбичъ не являлся снова. Только, не знаю почему, я не могъ выбить изъ головы мысль, что онъ не даромъ пріѣзжалъ и затѣваетъ что-нибудь худое.

— Вотъ, разъ уговариваетъ меня Печоринъ ѣхать съ нимъ на кабана; я долго отпѣкивался: ну, что мнѣ быть за диковинка кабанъ! Однако жъ утащилъ-таки онъ меня съ собою. — Мы взяли человѣкъ пять солдатъ и уѣхали рано утромъ. До десяти часовъ шныряли по камышамъ и по лѣсу — нѣтъ звѣря. «Эй, не воротиться ли?» говорилъ я. «Къ чему упрямиться? Ужъ, видно, такой задался несчастный день!» Только Григорій Александровичъ; не смотря на зной и усталость, не хотѣлъ воротиться безъ добычи... Таковъ ужъ былъ человѣкъ: что задума-

еть—подавай; видно, въ дѣтствѣ былъ маменькой избалованъ... Наконецъ въ полдень отыскали проклятаго кабана — пафъ! пафъ! не тутъ-то было: ушелъ въ камыши... такой ужъ былъ несчастный день!... Вотъ мы, отдохнувъ маленько, отправились домой.

— Мы ѣхали рядомъ, молча, распустивъ поводья, и были ужъ почти у самой крѣпости; только кустарникъ закрывалъ ее отъ насъ. Вдругъ выстрѣлъ... Мы взглянули другъ на друга: насъ поразило одинаковое подозрѣніе... Опрометью поскакали мы на выстрѣлъ—смотримъ: на валу солдаты собрались въ кучку и указываютъ въ поле, а тамъ летитъ стремглавъ всадникъ и держитъ что-то бѣлое на сѣдлѣ. Григорій Александровичъ взвизгнулъ не хуже любого чеченца; ружье изъ чекла—и туда; я за нимъ.

— Къ счастью, по причинѣ неудачной охоты, наши кони не были измучены: они рвались изъ-подъ сѣдла и съ каждымъ мгновеніемъ мы были все ближе и ближе... И наконецъ я узналъ Казбича, только не могъ разобрать, что такое онъ держалъ передъ собою. Я тогда поравнялся съ Печоринимъ и кричу ему: это Казбичъ!... Онъ посмотрѣлъ на меня, кивнулъ головою, и ударилъ коня плетью.

— Вотъ наконецъ мы были ужъ отъ него на ружейный выстрѣлъ; измучена ли была у Казбича лошадь, или хуже нашихъ, только, не смотря на всѣ его старанія, она не больно подавалась впередъ. Я думаю, въ эту минуту онъ вспомнилъ своего Карагёза...

— Смотрю: Печоринъ на скаку приложился изъ ружья... «Не стрѣляйте!» кричу я ему: «берегите зарядъ; мы и такъ его догонимъ.»—Ужъ эта молодежь! вѣчно нехстати горячитъ... Но выстрѣлъ раздался и пуля перебила заднюю ногу лошади: она сгоряча сдѣлала еще прыжковъ десять, споткнулась и упала на колѣни. Казбичъ соскочилъ и тогда мы увидѣли, что онъ держалъ на рукахъ своихъ женщину, окутанную чадрою... Это была Бэла... бѣдная Бэла! — Онъ что-то намъ закричалъ по-своему и занесъ надъ нею кинжалъ... Медлить

было нечего: я выстрѣлилъ въ свою очередь, на удачу; вѣрно пуля попала ему въ плечо, потому что вдругъ онъ опустил руку. Когда дымъ разсѣлся, на землѣ лежала раненая лошадь и возлѣ нея Бѣла; а Казбичъ, бросивъ ружье, по кустарникамъ, точно кошка, карабкался на утесъ. Хотѣлось мнѣ его снять оттуда—да не было заряда готоваго! Мы соскочили съ лошадей и кинулись къ Бѣлѣ. Бѣдняжка, она лежала неподвижно и кровь лилась изъ раны ручьями... Такой злодѣй! хоть бы въ сердце ударилъ — ну, такъ ужъ и быть, однимъ разомъ все бы кончилось, а то въ спину... самый разбойничій ударъ! Она была безъ памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану какъ можно туже. Напрасно Печоринъ цѣловалъ ея холодныя губы—ничто не могло привести ее въ себя.

— Печоринъ сѣлъ верхомъ; я поднялъ ее съ земли и кое-какъ посадилъ къ нему на сѣдло; онъ обхватилъ ее рукой, и мы поѣхали назадъ. Послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія, Григорій Александровичъ сказалъ мнѣ: «послушайте, Максимъ Максимычъ, мы этакъ ее не доведемъ живую.» — «Правда!» сказалъ я, и мы пустили лошадей во весь духъ. — Насъ у воротъ крѣпости ожидала толпа народа. Осторожно перенесли мы раненую къ Печорину и послали за лекаремъ. Онъ былъ хотя пьянъ, но пришелъ, осмотрѣлъ рану и объявилъ, что она больше дня жить не можетъ; только онъ ошибся...

— Выздоровѣла? спросилъ я у штабсъ-капитана, схвативъ его за руку и невольно обрадовавшись.

— Нѣтъ, отвѣчалъ онъ: — а ошибся лекарь тѣмъ, что она еще два дня прожила.

— Да объясните мнѣ, какимъ образомъ ее похитилъ Казбичъ?

— А вотъ какъ: не смотря на запрещеніе Печорина, она вышла изъ крѣпости къ рѣчкѣ. Было, знаете, очень жарко; она сѣла на камень и опустила ноги въ воду. Вотъ Казбичъ подкрался—цапъ-царапъ ее, зажалъ ротъ и потащилъ въ кусты, а тамъ вскочилъ на коня, да и тягу. Она, между тѣмъ успѣла закричать; часовые всполошились, выстрѣлили, да мимо, а мы тутъ и подоспѣли.

— Да зачѣмъ Казбичъ ее хотѣлъ увести?

— Помилюйте! да эти черкесы извѣстный воровской народъ: что плохо лежить, не могутъ не стануть; другое и не нужно, а все украдуть... ужъ въ этомъ прошу ихъ извинить! Да при томъ она ему давно-таки нравилась.

— И Бѣла умерла?

— Умерла; только долго мучилась, и мы ужъ съ нею измучились порядкомъ. Около десяти часовъ вечера она пришла въ себя; мы сидѣли у постели; только что она открыла глаза, начала звать Печорина. — «Я здѣсь, подлѣ тебя, моя джанечка!» [то есть, понашему, душенька], отвѣчалъ онъ, взявъ ее за руку. — Я умру! сказала она.

— Мы начали ее утѣшать: говорили, что лекарь обѣщалъ ее вылечить непременно. Она покачала головкой и отвернулась къ стѣнѣ: ей не хотѣлось умирать!...

— Ночью она начала бредить; голова ея горѣла; по всему тѣлу иногда пробѣгала дрожь лихорадки. Она говорила несвязныя рѣчи объ отцѣ, братѣ; ей хотѣлось въ горы, домой... Потомъ она также говорила о Печоринѣ; давала ему разныя нѣжныя названія, или упрекала его въ томъ, что онъ разлюбилъ свою джанечку.

— Онъ слушалъ ее молча, опустивъ голову на руки; но только я во все время незамѣтилъ ни одной слезы на рѣсницахъ его: въ самомъ ли дѣлѣ онъ не могъ плакать, или владелъ собою — не знаю; что до меня, то я ничего жалче этого не видывалъ.

— Къ утру бредъ прошелъ; съ часъ она лежала неподвижная, блѣдная, и въ такой слабости, что едва можно было замѣтить, что она дышетъ; потомъ ей стало лучше, и она начала говорить, только, какъ вы думаете, о чемъ?.. Этакая мысль придеть вѣдь только умирающему!... Начала печалиться о томъ, что она не христіанка, и что на томъ свѣтѣ душа ея никогда не встрѣтится съ душою Григорья Александровича, и что иная женщина будетъ въ раю его подругой. Мнѣ пришло на мысль окрестить ее передъ смертю: я ей это предложилъ; она посмо-

трѣла на меня въ нерѣшимости и долго не могла слова вымолвить; наконецъ отвѣчала, что она умереть въ той вѣрѣ, въ какой родилась. Такъ прошелъ цѣлый день. Какъ она переѣмнилась въ этотъ день! Блѣдныя щеки впали, глаза сдѣлались большіе, большіе; губы горѣли; она чувствовала внутренній жаръ, какъ будто въ груди у ней лежало раскаленное желѣзо.

— Настала другая ночь; мы не смыкали глазъ, не отходили отъ ея постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только-что боль начинала утихать, она старалась увѣрить Григорья Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, цѣловала его руку, не выпускала ея изъ своихъ. Передъ утромъ стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбивала перевязку и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтобъ онъ ее поцѣловалъ. Онъ сталъ на колѣни возлѣ кровати, приподнялъ ея голову съ подушки и прижалъ свои губы къ ея холодѣющимъ губамъ: она крѣпко обвила его шею дрожащими руками, будто въ этомъ поцѣлуѣ хотѣла передать ему свою душу... Нѣтъ, она хорошо сдѣлала, что умерла! Ну, что бы съ ней стало, если бъ Григорій Александровичъ ее покинулъ? А это бы случилось, рано или поздно...

— Половину слѣдующаго дня она была тиха, молчалива и послушна, какъ ни мучилъ ее нашъ лекарь припарками и микстурой. — Помилюйте! говорилъ я ему: вѣдь вы сами сказали, что она умереть непремѣнно, такъ зачѣмъ тутъ всѣ ваши препараты?—Все-таки лучше, Максимъ Максимычъ, отвѣчалъ онъ: чтобъ совѣсть была покойна.—Хороша совѣсть!

— Послѣ полудня она начала томиться жаждой. Мы отворили окна, но на дворѣ было жарче, чѣмъ въ комнатѣ; поставили льду около кровати — ничего не помогало. Я зналъ, что эта невыносимая жажда—признакъ приближенія конца, и сказалъ это Печорину.

— Воды, воды!... говорила она хриплымъ голосомъ, приподнявшись съ постели.

— Онъ сдѣлался блѣденъ какъ полотно, схватилъ стаканъ, налилъ и подаль ей. Я закрылъ глаза руками и сталъ читать молитву — не помню какую... Да, батюшка видалъ я много, какъ люди умирають въ госпиталяхъ и на полѣ сраженія, только это все не то, совсѣмъ не то!... Еще, признаться, меня вотъ что печалить: она передъ смертью ни разу не вспомнила обо мнѣ; а кажется я ее любилъ какъ отецъ... Ну, да Богъ ее простить!... И вправду молвить: что же я такое, чтобъ обо мнѣ вспоминать передъ смертью?...

— Только-что она испила воды, какъ ей стало легче, а минуть черезъ три она скончалась. Приложили зеркало къ губамъ — гладко!...

Я вывелъ Печорина вонъ изъ комнаты и мы пошли на крѣпостной валъ; долго мы ходили взадъ и впередъ рядомъ, не говоря ни слова, загнувъ руки на спину; его лицо ничего не выражало особеннаго, и мнѣ стало досадно: я бы, на его мѣстѣ, умеръ съ горя. Наконецъ онъ сѣлъ на землю, въ тѣни, и началъ что-то чертить палочкой на пескѣ. Я, знаете, больше для приличія, хотѣлъ утѣшить его, началъ говорить; онъ поднялъ голову и засмѣялся... У меня морозъ пробѣжалъ по кожѣ отъ этого смѣха... Я пошелъ заказывать гробъ.

— Признаться, я частію для развлеченія занялся этимъ. У меня былъ кусокъ термаламы, я обилъ ею гробъ и украсилъ его черкесскими серебряными галунами, которыхъ Григорій Александровичъ накупилъ для нея же.

— На другой день рано утромъ мы ее похоронили за крѣпостью, у рѣчки, возлѣ того мѣста, гдѣ она въ послѣдній разъ сидѣла: кругомъ ея могилки теперь разрослись кусты бѣлой акаціи и бузины. Я хотѣлъ было поставить крестъ, да, знаете, неловко: все-таки она была нехристіанка...

— А что Печоринъ? спросилъ я.

— Печоринъ былъ долго нездоровъ, исхудалъ, бѣдняжка; только никогда съ этихъ поръ мы не говорили о Бѣлѣ; я видѣлъ, что это ему будетъ непріятно, такъ зачѣмъ же!—Мѣсяца три спустя, его назначили въ е—й полкъ, и онъ уѣхалъ въ Гру-

зію. Мы съ тѣхъ поръ не встрѣчались... Да, помнится, кто-то недавно мнѣ говорилъ, что онъ возвратился въ Россію, но въ приказахъ по корпусу не было. Впрочемъ, до нашего брата вѣсти поздно доходить.

Тутъ онъ пустился въ длинную диссертацию о томъ, какъ непріятно узнавать новости годомъ позже—вѣроятно для того, чтобъ заглушить печальныя воспоминанія.

Я не перебивалъ его и не слушалъ.

Черезъ часъ явилась возможность ѣхать; метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. Дорогой невольно я опять завелъ разговоръ о Балѣ и Печоринѣ.

— А не слыхали ли вы, что сдѣлалось съ Казбичемъ? спросилъ я.

— Съ Казбичемъ? А, право, не знаю... Слышалъ я, что на правомъ флангѣ у шапсуговъ есть какой-то Казбичъ, удалецъ, который въ красномъ бешметѣ развѣзжаетъ шажкомъ подъ нашими выстрѣлами и превѣжливо раскланивается, когда пуля прожужжитъ близко; да врядъ ли это тотъ самый!...

Въ Коби мы расстались съ Максимомъ Максимычемъ; я поѣхалъ на почтовыхъ, а онъ по причинѣ тяжелой поклажи не могъ за мной слѣдовать. Мы не надѣялись никогда болѣе встрѣтиться, однако встрѣтились, и, если хотите, я расскажу: это цѣлая исторія... Сознайтесь, однако жъ, что Максимъ Максимычъ человекъ достойный уваженія?... Если вы сознаетесь въ этомъ, то я вполне буду вознагражденъ за свой, можетъ быть, слишкомъ длинный рассказъ.

II.

МАКСИМЪ МАКСИМЫЧЪ.

Разставшись съ Максимомъ Максимычемъ, я живо проскакалъ Терекское и Дарьяльское ущелія, завтракалъ въ Казбекѣ, чай пилъ въ Ларсѣ, а къ ужину поспѣшилъ въ Владикав-

казъ. Избавляю васъ отъ описанія горъ, отъ возгласовъ, которые ничего не выражаютъ, отъ картинъ, которыя ничего не изображаютъ, особенно для тѣхъ, которые тамъ не были, и отъ статистическихъ замѣчаній, которыхъ рѣшительно никто читать не станетъ.

Я остановился въ гостинницѣ, гдѣ останавливаются всѣ проезжіе, и гдѣ между тѣмъ некому велѣтъ зажарить фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которымъ она поручена, такъ глупы или такъ пьяны, что отъ нихъ никакого толка нельзя добиться.

Мнѣ объявили, что я долженъ прожить тутъ еще три дня, ибо «оказія» изъ Екатеринограда еще не пришла и слѣдовательно отправиться обратно не можетъ. Что за оказія!... Но дурной каламбуръ не утѣшеніе для русскаго человѣка, и я для развлеченія вздумалъ записывать рассказъ Максима Максимыча о Бѣлѣ, не воображая, что онъ будетъ первымъ звѣномъ длинной цѣпи повѣстей; видите, какъ иногда маловажный случай имѣетъ жестокія послѣдствія!... А вы можете быть не знаете что такое «оказія»? Это — прикрытіе, состоящее изъ полроты пѣхоты и пушки, съ которымъ ходятъ обозы чрезъ Кабарду изъ Владикавказа въ Екатериноградъ.

Первый день я провелъ очень скучно; на другой, рано утромъ въѣзжаетъ на дворъ повозка... А! Максимъ Максимычъ!... Мы встрѣтились какъ старые пріятели. Я предложилъ ему свою комнату; онъ не церемонился, даже ударилъ меня по плечу и скривилъ ротъ на манеръ улыбки. Такой чудакъ!...

Максимъ Максимычъ имѣлъ глубокія свѣдѣнія въ поваренномъ искусствѣ: онъ удивительно хорошо зажарилъ фазана, удачно полилъ его огуречнымъ разсолонъ, и я долженъ признаться, что безъ него пришлось бы остаться на сухояденіи. Бутылка кахетинскаго помогла намъ забыть о скромномъ числѣ блюдъ, которыхъ было всего одно, и, закуривъ трубки, мы усѣлись—я у окна, онъ у затопленной печи, потому что день былъ сырой и холодный. Мы молчали. О чемъ было намъ говорить?... Онъ ужъ рассказалъ мнѣ о себѣ все, что было занимательнаго,

а мнѣ было нечего рассказывать. Я смотрѣлъ въ окно. Множество низенькихъ домиковъ, разбросанныхъ по берегу Терека, который разбѣгается шире и шире, мелькали изъ-за деревьевъ, а дальше синѣлись зубчатою стѣною горы и изъ-за нихъ выглядывалъ Казбекъ въ своей бѣлой архиерейской шапкѣ. Я съ ними мысленно прощался: мнѣ стало ихъ жалко...

Такъ сидѣли мы долго. Солнце пряталось за холодныя вершины, и бѣловатый туманъ начиналъ расходиться въ долинахъ, когда на улицѣ раздался звонъ дорожнаго колокольчика и крикъ извозчиковъ. Нѣсколько повозокъ съ грязными армянами въѣхало на дворъ гостинницы и за ними пустая дорожная коляска; ея легкій ходъ, удобное устройство и щегольской видъ имѣли какой-то заграничный отпечатокъ. За нею шелъ человекъ съ большими усами, въ венгеркѣ, довольно хорошо одѣтый для лакея; въ его званіи нельзя было ошибиться, видя ухарскую замашку, съ которою онъ вытряхивалъ золу изъ трубки и покрывалъ на ящика. Онъ явно былъ балованный слуга лѣниваго барина—нѣчто вродѣ русскаго Фигаро. — «Скажи, любезный, закричалъ я ему въ окно, что это—оказія пришла, что ли?» — Онъ посмотрѣлъ довольно дерзко, поправилъ галстухъ и отвернулся; шедшій возлѣ него армянинъ, улыбаясь, отвѣчалъ за него, что точно пришла оказія и завтра утромъ отправится обратно. — «Слава Богу!» сказалъ Максимъ Максимычъ, подошедшій къ окну въ это время. «Экая чудная коляска!» прибавилъ онъ: «вѣрно какой нибудь чиновникъ ѣдетъ на слѣдствіе въ Тифлисъ. Видно не знаетъ нашихъ горокъ! Нѣтъ, шутить, любезный: онъ не свой братъ, растрясуть хоть англійскую!» — А кто бы это такое былъ — подойдемте-ка узнать...» Мы вышли въ корридоръ. Въ концѣ корридора была отворена дверь въ боковую комнату. Лакей съ извозникомъ перетаскивали въ нее чемоданы.

— Послушай, братецъ, спросилъ у него штабсъ-капитанъ: чья эта чудесная коляска?... а?... Прекрасная коляска!... Лакей, не оборачиваясь, бормоталъ что-то про себя, развязывая

чемоданъ. Максимъ Максимычъ разсердился: онъ тронулъ неучтивца по плечу и сказалъ: я тебѣ говорю, любезный...

— Чья коляска?... Моего господина...

— А кто твой господинъ?

— Печоринъ...

— Что ты? что ты? Печоринъ?... Ахъ, Боже мой!... да не служилъ ли онъ на Кавказѣ?... воскликнулъ Максимъ Максимычъ, дернувъ меня за рукавъ. У него въ глазахъ сверкала радость.

— Служилъ, кажется—да я у нихъ недавно.

— Ну, такъ!... такъ!... Григорій Александровичъ?... Такъ вѣдь его зовутъ? Мы съ твоимъ бариномъ были пріатели, прибавилъ онъ, ударивъ дружески по плечу лакея, такъ что заставилъ его пошатнуться...

— Позвольте, сударь; вы мнѣ мѣшаете, сказалъ тотъ, нахмурившись.

— Экой ты, братецъ!... да знаешь ли, мы съ твоимъ бариномъ были друзья закадычные, жили вмѣстѣ?... Да гдѣ жъ онъ самъ остался?...

Слуга объявилъ, что Печоринъ остался ужинать и ночевать у полковника Н....

— Да не зайдетъ ли онъ вечеромъ сюда? сказалъ Максимъ Максимычъ: или ты, любезный, не пойдешь ли къ нему за тѣмъ нибудь?... Коли пойдешь, такъ скажи, что здѣсь Максимъ Максимычъ—такъ скажи... ужъ онъ знаетъ... Я тебѣ дамъ восьмигривенный на водку...

Лакей сдѣлалъ презрительную мину, слыша такое скромное обѣщаніе, однако увѣрилъ Максима Максимыча, что онъ исполнитъ его порученіе.

— Вѣдь сейчасъ прибѣжитъ!... Сказалъ мнѣ Максимъ Максимычъ съ торжествующимъ видомъ: пойду за ворота его дожидаться... Эхъ! жалко, что я не знакомъ съ Н...

Максимъ Максимычъ сѣлъ за воротами на скамейку, а я ушелъ въ свою комнату. Признаюсь, я также съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ ждалъ появленія этого Печорина; хотя по разска-

зу штабсъ-капитана, я составилъ себѣ о немъ не очень выгодное понятіе, однако нѣкоторыя черты въ его характерѣ показались мнѣ замѣчательными. Черезъ часъ инвалидъ принесъ кипящій самоваръ и чайникъ. «Максимъ Максимычъ, не хотите ли чаю?» закричалъ я ему въ окно.

— Благодарствуйте; что-то не хочется.

— Эй выпейте! Смотрите, вѣдь ужъ поздно, холодно.

— Ничего; благодарствуйте...

— Ну, какъ угодно! Я сталъ пить чай одинъ; минутъ черезъ десять входитъ мой старикъ.

— А вѣдь вы правы: все лучше выпить чайку—да я все ждалъ. Ужъ человѣкъ его давно къ нему пошелъ, да видно что нибудь задержало.

Онъ наскоро выхлебнулъ чашку, отказался отъ второй и ушелъ опять за ворота въ какомъ-то безпокойствѣ: явно было, что старика огорчало небреженіе Печорина, и тѣмъ болѣе, что онъ мнѣ недавно говорилъ о своей съ ними дружбѣ, и еще часъ тому назадъ былъ увѣренъ, что онъ прибѣжитъ, какъ только услышитъ его имя.

Ужъ было поздно и темно, когда я снова отворилъ окно и сталъ звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать; онъ что-то пробормоталъ сквозь зубы; я повторилъ приглашеніе—онъ ничего не отвѣчалъ.

Я легъ на диванъ, завернувшись въ шинель и оставивъ свѣчу на лежанкѣ, скоро задремалъ и проспалъ бы покойно, если бъ, уже очень поздно, Максимъ Максимычъ, войдя въ комнату, не разбудилъ меня. Онъ бросилъ трубку на столъ, сталъ ходить по комнатѣ, шевырать въ печи, наконецъ легъ но долго кашлялъ, плевалъ, ворочался...

— Не клопы ли васъ кусаютъ? спросилъ я.

— Да, клопы... отвѣчалъ онъ, тяжело вздохнувъ.

— На другой день утромъ я проснулся рано, но Максимъ Максимычъ предупредилъ меня. Я нашелъ его у воротъ сидящаго на скамейкѣ. «Мнѣ надо сходить къ коменданту», сказалъ онъ: «такъ пожалуйста, если Печоринъ придетъ, пришлите за мной...»

Я общался. Онъ побѣждалъ, какъ будто члены его получили вновь юношескую силу и гибкость.

Утро было свѣжее и прекрасное. Золотыя облака громоздились на горахъ, какъ новый рядъ воздушныхъ горъ; передъ воротами разстилалась широкая площадь; за нею базаръ кипѣлъ народомъ, потому что было воскресенье: босые мальчики-осетины, неся за плечами котомки съ сотовымъ медомъ, вертѣлись вокругъ меня; я ихъ проклиналъ: мнѣ было не до нихъ—я начиналъ раздѣлять безпокойство добраго штабсъ-капитана.

Не прошло десяти минутъ, какъ на концѣ площади показался тотъ, котораго мы ожидали. Онъ шелъ съ полковникомъ Н..., который, доведя его до гостинницы, простился съ нимъ и поворотилъ въ крѣпость. Я тотчасъ же послалъ инвалида за Максимомъ Максимовичемъ.

На встрѣчу Печорина вышелъ его лакей и доложилъ, что сейчасъ станутъ закладывать, подалъ ему ящикъ съ сигарами и, получивъ нѣсколько приказаній, отправился хлопотать. Его господинъ, закуривъ сигару, вѣвнулъ раза два и сѣлъ на скамью по другую сторону воротъ. Теперь я долженъ нарисовать вамъ его портретъ.

Онъ былъ средняго роста; стройный, тонкій станъ его и широкія плечи доказывали крѣпкое сложеніе, способное переносить всѣ трудности кочевой жизни и перемѣны климатовъ, непобѣжденное ни развратомъ столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный сюртучекъ его, застегнутый только на двѣ нижнія пуговицы, позволялъ разглядѣть ослѣпительно-чистое бѣлье, изобличавшее привычки порядочнаго человѣка; его запачканныя перчатки казались нарочно спитыми по его маленькой аристократической рукѣ, и когда онъ снялъ одну перчатку, то я былъ удивленъ худобой его блѣдныхъ пальцевъ. Его походка была небрежна и лѣнлива, но я замѣтилъ, что онъ не размахивалъ руками—вѣрный признакъ нѣкоторой скрытности характера. Впрочемъ, это мои собственные замѣчанія, основанныя на моихъ же наблюденіяхъ, и я вовсе не хочу васъ заставить вѣровать въ нихъ слѣпо. Когда онъ опу-

стился на скамью, то прямой станъ его согнулся, какъ будто у него въ спинѣ не было ни одной косточки; положеніе всего его тѣла изобразило какую-то нервическую слабость; онъ сидѣлъ, какъ сидитъ Бальзакова тридцатилѣтняя кокетка на своихъ пуховыхъ креслахъ послѣ утомительнаго бала. Съ перваго взгляда на лицо его, я бы не далъ ему болѣе двадцати трехъ лѣтъ, хотя послѣ я готовъ былъ дать ему тридцать. Въ его улыбкѣ было что-то дѣтское. Его кожа имѣла какую-то женскую нѣжность; блѣдныя волосы, вьющіеся отъ природы, такъ живописно обрисовывали его блѣдный, благородный лобъ, на которомъ только по долгомъ наблюденіи можно было замѣтить слѣды морщинъ, пересѣкавшихъ одна другую и, вѣроятно, обозначающихъ гораздо явственнѣе въ минуты гнѣва, или душевнаго безпокойства. Не смотря на свѣтлый цвѣтъ его волосъ, усы его и брови были черныя — признакъ породы въ человѣкѣ, такъ какъ черная грива и черный хвостъ у бѣлой лошади. Чтобы закончить портретъ, я скажу, что у него былъ немного вздернутый носъ, зубы ослѣпительной бѣлизны и каріе глаза; о глазахъ я долженъ сказать еще нѣсколько словъ.

Во-первыхъ, они не смѣялись, когда онъ смѣялся! — Вамъ не случалось замѣчать такой странности у нѣкоторыхъ людей?... Это признакъ или злаго нрава, или глубокой, постоянной грусти. Изъ-за полуопущенныхъ рѣсницъ они сіяли какимъ-то фосфорическимъ блескомъ, если можно такъ выразиться. То не было отраженіе жара душевнаго или играющаго воображенія: то былъ блескъ, подобный блеску гладкой стали, ослѣпительный, но холодный; взглядъ его — непродолжительный, но пронизательный и тяжелый, оставлялъ по себѣ непріятное впечатлѣніе нескромнаго вопроса и могъ бы казаться дерзкимъ, если бъ не былъ столь равнодушно-спокоенъ. Всѣ эти замѣчанія пришли мнѣ на умъ, можетъ быть, только потому, что я зналъ нѣкоторыя подробности его жизни, и, можетъ быть, на другаго видъ его произвелъ бы совершенно различное впечатлѣніе; но такъ какъ вы о немъ не услышите ни отъ кого, кромѣ меня, то по неволѣ должны довольствоваться этимъ изобра-

женіемъ. Скажу въ заключеніе, что онъ былъ вообще очень недуренъ и имѣлъ одну изъ тѣхъ оригинальныхъ фizioномій которыя особенно нравятся женщинамъ.

Лошади были уже заложены; колокольчикъ по временамъ звенѣлъ подъ дугою, и лакей уже два раза подходилъ къ Печорину съ докладомъ, что все готово, а Максимъ Максимычъ еще не являлся. Къ счастью, Печоринъ былъ погруженъ съ задумчивость, глядя на синіе зубцы Кавказа, и кажется, вовсе не торопился въ дорогу. Я подошелъ къ нему. «Если вы захотите еще немного подождать», сказалъ я, «то будете имѣть удовольствіе увидѣться съ старымъ пріятелемъ...»

— Ахъ, точно! быстро отвѣчалъ онъ: мы вчера говорили; но гдѣ же онъ?—Я обернулся къ площади и увидѣлъ Максима Максимыча, бѣгущаго что было мочи... Черезъ нѣсколько минутъ онъ былъ уже возлѣ насъ; онъ едва могъ дышать; потъ градомъ катился съ лица его; мокрые клочки сѣдыхъ волосъ, вырвавшись изъ-подъ шапки, приклеились ко лбу его; колѣни его дрожали... онъ хотѣлъ кинуться на шею Печорину, но тотъ довольно холодно, хотя съ пріятливою улыбкой, протянулъ ему руку. Штабсъ-капитанъ на минуту остолебѣлъ, но потомъ жадно схватилъ его руку обѣими руками: онъ еще не могъ говорить.

— Какъ я радъ, дорогій Максимъ Максимычъ! Ну, какъ вы поживаете? сказалъ Печоринъ.

— А... ты?... а вы?... пробормоталъ со слезами на глазахъ старикъ: сколько лѣтъ... сколько дней... да куда это?...

— Ъду въ Персію—и дальше...

— Неужто сейчасъ?... Да подождите, дражайшій!... Неужто сейчасъ разстанемся?... Сколько времени не видались...

— Мыѣ пора, Максимъ Максимычъ,—былъ отвѣтъ.

— Боже мой, Боже мой! да куда это такъ спѣшите?... Мыѣ столько бы хотѣлось вамъ сказать... столько разспросить... Ну, что? въ отставку?... какъ?... что подѣлывали?...

— Скучалъ! отвѣчалъ Печоринъ, улыбаясь.

— А помните наше житьѣ-бытьѣ въ крѣпости?... Славная

страна для охоты!... Вѣдь вы были страстный охотникъ стрѣлять... А Бѣла?...

Печоринъ чуть-чуть поблѣднѣлъ и отвернулся...

— Да, помню! сказалъ онъ, почти тотчасъ принужденно ~~зѣвнувъ~~.

Максимъ Максимычъ сталъ его упрашивать остаться съ нимъ еще часа два. «Мы славно пообѣдаемъ», говорилъ онъ: «у меня есть два фазана; а кахетинское здѣсь прекрасное... разумѣется не то, что въ Грузіи, однако лучшаго сорта... Мы поговоримъ... Вы мнѣ расскажете про свое житіе въ Петербургѣ... А?...»

— Право, мнѣ нечего рассказывать, дорогой Максимъ Максимычъ... Однако прощайте, мнѣ пора... я спѣшу... Благодарю, что не забыли... прибавилъ онъ, взявъ его за руку.

Старикъ нахмурилъ брови... Онъ былъ печаленъ и сердитъ, хотя старался скрыть это. «Забытъ!» проворчалъ онъ: «я-то не забылъ ничего... Ну, да Богъ съ вами... Не такъ я думать съ вами встрѣтиться...

— Ну, полно, полно! сказалъ Печоринъ, обнявъ его дружески: неужели я не тотъ же? Что дѣлать?... всякому своя дорога... Удастся ли еще встрѣтиться—Богъ знаетъ!... Говоря это, онъ уже сидѣлъ въ коляскѣ и ямщикъ ужъ началъ подбирать возжи.

— Постой, постой! закричалъ вдругъ Максимъ Максимычъ, ухватясь за дверцы коляски:—совсѣмъ было забылъ... У меня остались ваши бумаги, Григорій Александровичъ... я ихъ таскаю съ собой... думалъ найти васъ въ Грузіи, а вотъ гдѣ Богъ далъ свидѣться... Что съ ними дѣлать?...

— Что хотите! отвѣчалъ Печоринъ.—Прощайте...

— Такъ вы въ Персію?... а когда вернетесь?... кричалъ въ слѣдъ Максимъ Максимычъ.

Коляска была уже далеко, но Печоринъ сдѣлалъ знакъ рукой, который можно было перевести слѣдующимъ образомъ: врядъ ли! да и не зачѣмъ!

Давно уже не слышно было ни звона колокольчика, ни сту-

ка колесъ по кремнистой дорогѣ, а бѣдный старикъ, еще стоялъ на томъ же мѣстѣ въ глубокой задумчивости.

«Да», сказалъ онъ наконецъ, стараясь принять равнодушный видъ, хотя слеза досады по временамъ сверкала на его рѣсницахъ: «конечно, мы были пріатели — ну, да что пріатели въ нынѣшнемъ вѣкѣ!... Что ему во мнѣ? Я не богатъ, не чиновенъ, да и по лѣтамъ совсѣмъ ему не пара... Вишь какимъ онъ франтомъ сдѣлался, какъ побывалъ опять въ Петербургѣ... Что за коляска!... сколько поклажи!... и лакей такой гордый!...» Эти слова были произнесены съ иронической улыбкой. «Скажите, продолжалъ онъ, обратясь ко мнѣ: ну, что вы объ этомъ думаете?... ну, какой бѣсъ несетъ его теперь въ Персію?... Смѣшно, ей-Богу, смѣшно!... Да я всегда зналъ, что онъ вѣтренный человѣкъ, на котораго нельзя надѣяться... А, право, жаль, что онъ дурно кончить... да и нельзя иначе!... Ужъ я всегда говорилъ, что нѣтъ проку въ томъ, кто старыхъ друзей забываетъ!...» Тутъ онъ отвернулся, чтобы скрыть свое волненіе, и пошелъ ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматриваетъ колеса, тогда какъ глаза его поминутно наполнялись слезами.

— Максимъ Максимычъ, сказалъ я, подошедши къ нему, а что это за бумаги вамъ оставилъ Печоринъ.

— А Богъ его знаетъ! какія-то записки...

— Что вы изъ нихъ сдѣлаете?

— Что? Я велю надѣлать патроновъ.

— Отдайте ихъ лучше мнѣ.

Онъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ, проворчалъ что-то сквозь зубы и началъ рыться въ чемоданѣ; вотъ онъ вынулъ одну тетрадку и бросилъ ее съ презрѣніемъ на землю; потомъ другая, третья и десятая имѣли ту же участь: въ его досадѣ было что-то дѣтское; мнѣ стало смѣшно и жалко....

— Вотъ онъ всѣ, сказалъ онъ; поздравляю васъ съ находкою....

— И я могу дѣлать съ ними все, что хочу?

— Хоть въ газетахъ печатайте. Какое мнѣ дѣло?... Что я,

развѣ другъ его какой, или родственникъ?... Правда, мы жили долго подъ одной кровлей... Да мало ли съ кѣмъ я не жилъ?...

Я схватилъ бумаги и поскорѣе унесъ ихъ, боясь, чтобы штабсъ-капитанъ не раскаялся. Скоро пришли намъ объявить, что черезъ часъ тронется окая; я велѣлъ закладывать. Штабсъ-капитанъ вошелъ въ комнату въ то время, когда я уже надевалъ шапку; онъ, казалось, не готовился къ отъѣзду; у него былъ какой-то принужденный, холодный видъ.

— А вы, Максимъ Максимычъ, развѣ не ѣдете?

— Нѣтъ-съ.

— А что такъ?

— Да я еще коменданта не видалъ, а мнѣ надо сдать кой-какія казенныя вещи...

— Да вѣдь вы же были у него?

— Былъ, конечно, сказалъ онъ, заминаясь; да его дома не было... а я не дождался.

Я понялъ его: бѣдный старикъ въ первый разъ отъ роду, можетъ быть, бросилъ дѣла службы для собственной надобности, говоря языкомъ бумажнымъ, — и какъ же онъ былъ на-гражденъ!

— Очень жаль, сказалъ я ему, очень жаль, Максимъ Максимычъ, что намъ до срока надо разстаться.

— Гдѣ намъ, необразованнымъ старикамъ, за вами гоняться!... Вы молодежь свѣтская, гордая; еще покажѣсь подъ черкесскими пулями, такъ вы туда-сюда... а послѣ встрѣтитесь, такъ стыдитесь и руку протянуть нашему брату.

— Я не заслужилъ этихъ упрековъ, Максимъ Максимычъ.

— Да я, знаете, такъ, къ слову говорю; а впрочемъ, желаю вамъ всякаго счастья и веселой дороги.

Мы простились довольно сухо. Добрый Максимъ Максимычъ сдѣлался упрямымъ, сварливымъ штабсъ-капитаномъ. И отчего? Оттого, что Печоринъ, въ разсѣянности, или отъ другой причины, протянулъ ему руку, когда тотъ хотѣлъ кинуться ему на шею. Грустно видѣть, когда юноша теряетъ лучшія свои надежды и мечты, когда предъ нимъ отдергивается розовый флёръ,

сквозь который онъ смотрѣлъ на дѣла и чувства человѣческія, хотя есть надежда, что онъ замѣнитъ старыя заблужденія новыми, не менѣе преходящими, но за то не менѣе сладкими... Но чѣмъ ихъ замѣнить въ глѣта Максима Максимыча? По неволѣ сердце очерствѣетъ и душа закроется...

Я уѣхалъ одинъ.

ЖУРНАЛЪ ПЕЧОРИНА.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Недавно я узналъ, что Печоринъ, возвращаясь изъ Персіи, умеръ. Это извѣстіе меня очень обрадовало: оно давало мнѣ право печатать эти записки, и я воспользовался случаемъ поставить свое имя надъ чужимъ произведеніемъ. Дай Богъ, чтобъ читатели меня не наказали за такой невинный подлогъ!

Теперь я долженъ нѣсколько объяснить причины, побудившія меня предать публикѣ сердечныя тайны человѣка, котораго я никогда не зналъ. Добро бы я былъ еще его другомъ: коварная нескромность истиннаго друга понятна каждому; но я видѣлъ его только разъ въ моей жизни на большой дорогѣ, слѣдовательно, не могу питать къ нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь подъ личиною дружбы, ожидаетъ только смерти или несчастія любимаго предмета, чтобъ разразиться надъ его головою градомъ упрековъ, совѣтовъ, насмѣшекъ и сожалѣній.

Перечитывая эти записки, я убѣдился въ искренности того, кто такъ безпощадно выставлялъ наружу собственныя слабости и пороки. Исторія души человѣческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнѣе и не полезнѣе исторіи цѣлаго народа, особенно когда она—слѣдствіе наблюденій ума зрѣлаго надъ самимъ собою, и когда она писана безъ тщеславнаго же-

ланія возбудить участіе или удивленіе. Исповѣдь Руссо имѣетъ уже тотъ недостатокъ, что онъ читалъ ее своимъ друзьямъ.

Итакъ, одно желаніе пользы заставило меня напечатать отрывки изъ журнала, доставшагося мнѣ случайно. Хотя я перемѣнилъ всѣ собственныя имена, но тѣ, о которыхъ въ немъ говорится, вѣроятно, себя узнаютъ и, можетъ быть, они найдутъ оправданіе поступкамъ, въ которыхъ до сей поры обвиняли человека, уже не имѣющаго отнынѣ ничего общаго съ здѣшнимъ міромъ: мы почти всегда извиняемъ то, что понимаемъ.

Я помѣстилъ въ этой книгѣ только то, что относилось къ пребыванію Печорина на Кавказѣ. Въ моихъ рукахъ осталась еще толстая тетрадь, гдѣ онъ рассказываетъ всю жизнь свою. Когда нибудь и она явится на судъ свѣта; но теперь я не смѣю взять на себя эту отвѣтственность по многимъ важнымъ причинамъ.

Можетъ быть, нѣкоторые читатели захотятъ узнать мое мнѣніе о характерѣ Печорина. Мой отвѣтъ—заглавіе этой книги. «Да это злая пропія!» скажутъ они.—Не знаю.

I.

ТАМАНЬ.

Тамань—самый скверный городишка изъ всѣхъ приморскихъ городовъ Россіи. Я тамъ чуть-чуть не умеръ съ голода, да еще въ добавокъ меня хотѣли утопить. Я пріѣхалъ на перекладной тележкѣ поздно ночью. Ямщикъ остановилъ усталую тройку у воротъ единственнаго каменнаго дома, что при въѣздѣ. Часовой, черноморскій казакъ, услышавъ звонъ колокольчика, закричалъ съ просонья дикимъ голосомъ: «кто идетъ?» Вышелъ урядникъ и десятникъ. Я имъ объяснилъ, что я офицеръ, ѣду въ дѣйствующій отрядъ по казенной надобно-

сти, и сталъ требовать казенную квартиру. Десятникъ насъ повелъ по городу. Къ которой избѣ ни подъѣдемъ—занята. Было холодно: я три noci не спалъ, измучился и началъ сердиться.—Веди меня куда-нибудь, разбойникъ! хоть къ чорту, только къ мѣсту! закричалъ я.—«Есть еще одна фатера», отвѣчалъ десятникъ, почесывая затылокъ: «только вашему благородію не понравится: тамъ нечисто!» Не понявъ точнаго значенія послѣдняго слова, я велѣлъ ему идти впередъ, и послѣ долгаго странствованія по грязнымъ переулкамъ, гдѣ по сторонамъ я видѣлъ одни только ветхіе заборы, мы подъѣхали къ небольшой хатѣ на самомъ берегу моря.

Полный мѣсяцъ свѣтилъ на камышевую крышку и бѣлыя стѣны моего новаго жилища; на дворѣ, обведенномъ оградой изъ булыжника, стояла, избочась, другая лачужка, менѣе и древнѣе первой. Берегъ обрывомъ спускался къ морю почти у самыхъ стѣнъ ея, и внизу съ непрерывнымъ ропотомъ плескались темносинія волны. Луна тихо смотрѣла на безпокойную, но покорную ей стихію, и я могъ различить при свѣтѣ ея, далеко отъ берега, два корабля, которыхъ черныя снасти, подобно паутинѣ, неподвижно рисовались на блѣдной чертѣ небосклона. «Суда въ пристани есть, подумалъ я: завтра отправлюсь въ Геленджикъ.»

При мнѣ исправлялъ должность деньщика линейскій казакъ. Велѣвъ ему выложить чемоданъ и отпустить извозчика, я сталъ звать хозяина—молчать; стучу—молчать... что это? Наконецъ изъ сѣней вышелъ мальчикъ лѣтъ четырнадцать.

— «Гдѣ хозяинъ?» — Не-мѣ. — «Какъ совсѣмъ нѣту?» — Совсѣмъ. — «А хозяйка?» — Побѣгла въ слободку. — «Кто же мнѣ отогреть дверь?» сказалъ я, ударивъ въ нее ногою. Дверь сама отворилась; изъ хаты повѣяло сыростью. Я засвѣтилъ сѣрную спичку и поднесъ ее къ носу мальчика: она озарила два бѣлые глаза. Онъ былъ слѣпой, совершенно слѣпой отъ природы. Онъ стоялъ передо мною неподвижно и я началъ разсматривать черты его лица.

Признаюсь, я имѣю сильное предубѣжденіе противъ всѣхъ слѣпыхъ, кривыхъ, глухихъ, нѣмыхъ, безногихъ, безрукихъ, горбатыхъ и проч. Я замѣчалъ, что всегда есть какое-то странное отношеніе между наружностью человѣка и его душою; какъ будто, съ потерю члена, душа теряетъ какое-нибудь чувство.

Итакъ, я началъ разсматривать лицо слѣпаго; но что прикажете прочитать на лицѣ, у котораго нѣтъ глазъ?... Долго я глядѣлъ на него съ невольнымъ сожалѣніемъ, какъ вдругъ едва примѣтная улыбка пробѣжала по тонкимъ губамъ его и, не знаю отчего, она произвела на меня самое непріятное впечатлѣніе. Въ головѣ моей родилось подозрѣніе, что этотъ слѣпой не такъ слѣпъ, какъ оно кажется; напрасно я старался увѣрить себя, что бѣлыми поддѣлать невозможно, да и съ какой цѣлью? Но что дѣлать? — я часто склоненъ къ предубѣжденіямъ...

— «Ты хозяйскій сынъ?» спросилъ я его наконецъ. — Ни. — «Кто же ты?» — Сирота, убогій. — «А у хозяйки есть дѣти?» — Ни; была дочь, да утѣкла за море съ татаринѣмъ. — «Съ какимъ татаринѣмъ?» — А бисъ его знаетъ! крымскій татаринъ, лодочникъ изъ Керчи.

Я вошелъ въ хату: двѣ лавки и столъ, да огромный сундукъ возлѣ печи составляли всю ея мебель. На стѣнѣ ни одного образа — дурной знакъ! Въ разбитое стекло врывался морской вѣтеръ. Я вытащилъ изъ чемодана восковой огарокъ и, засвѣтивъ его, сталъ раскладывать вещи, поставилъ въ уголокъ шапку и ружье, пистолеты положилъ на столъ, разостлалъ бурку на лавкѣ, казакъ свою на другой; черезъ десять минутъ онъ захрапѣлъ, но я не могъ заснуть: передо мной во мракѣ все вертѣлся мальчикъ съ бѣлыми глазами.

Такъ прошло около часа. Мѣсяцъ свѣтилъ въ окно и лучъ его игралъ по земляному полу хаты. Вдругъ на яркой полосѣ, пересѣкающей полъ, промелькнула тѣнь. Я привсталъ и взглянулъ въ окно: кто-то вторично пробѣжалъ мимо его и скрылся. Богъ знаетъ куда. Я не могъ полагать, чтобы это существо сбѣжало по отвѣсу берега; однако иначе ему некуда было дѣ-

ваться. Я всталъ накинута бешметъ, опоясалъ кинжалъ и тихо-тихо вышелъ изъ каты; на встрѣчу мнѣ слѣпой мальчикъ. Я притаялся у забора, и онъ вѣрной, но осторожной поступью прошель мимо меня. Подъ мышкой онъ несъ какой-то узелъ и, повернувъ къ пристани, сталъ спускаться по узкой и крутой тропинкѣ. «Въ тотъ день нѣмые возопіють и слѣпые прозрять», подумалъ я, слѣдуя за нимъ въ такомъ разстояніи, чтобъ не терять его изъ вида.

Между тѣмъ луна начала одѣваться тучами и на морѣ поднялся туманъ; едва сквозь него свѣтился фонарь на кормѣ ближняго корабля; у берега сверкала пѣна валуновъ, ежеминутно грозившихъ его потопить. Я, съ трудомъ спускаясь, пробираясь по крутизнамъ, и вотъ вижу: слѣпой приостановился, потомъ повернулъ низомъ направо; онъ шелъ такъ близко отъ воды, что, казалось, сейчасъ волна его схватитъ и унесетъ; но, видно это была не первая его прогулка, судя по увѣренности, съ которой онъ ступалъ съ камня на камень и избѣгалъ рывинъ. Наконецъ онъ остановился, будто прислушиваясь къ чему-то, присѣлъ на землю и положилъ возлѣ себя узелъ. Я наблюдалъ за его движеніями, спрятавшись за выдавшеюся скалою берега. Спусти нѣсколько минутъ, съ противоположной стороны показалась бѣлая фигура; она подошла къ слѣпому и сѣла возлѣ него. Вѣтеръ по временамъ приносилъ мнѣ ихъ разговоръ.

— Что, слѣпой? сказалъ женскій голосъ:—бура сильна; Янко не будетъ.—Янко не боится бури, отвѣчалъ тотъ.—Туманъ густѣетъ, возразилъ опять женскій голосъ, съ выраженіемъ печали.

— Въ туманѣ лучше пробраться мимо сторожевыхъ судовъ, былъ отвѣтъ.—А если онъ утонетъ?—Ну, что жъ? въ воскресенье ты пойдешь въ церковь безъ новой ленты.

Послѣдовало молчаніе; меня, однако, поразило одно: слѣпой говорилъ со мною малороссійскимъ нарѣчіемъ, а теперь изъяснялся чисто по русски.

— Видишь, я правъ, сказалъ опять слѣпой, ударивъ въ ладоши: — Яко не боится ни моря, ни вѣтровъ, ни тумана, ни береговыхъ сторожей; прислушайся-ка: это не вода плещетъ, меня не обманешь—это его длинныя весла.

Женщина вскочила и стала всматриваться въ даль съ видомъ безпокойства.

— Ты бредишь, слѣпой! сказала она: я ничего не вижу.

Признаюсь, сколько я ни старался различить вдаль что-нибудь на подобіе лодки, но безуспѣшно. Такъ прошло минутъ десять; и вотъ показалась между горами волнъ черная точка: она то увеличивалась, то уменьшалась. Медленно поднимаясь на хребты волнъ, быстро спускаясь съ нихъ, приближалась къ берегу лодка. «Отваженъ былъ пловецъ, рѣшившійся въ такую ночь пуститься чрезъ проливъ на разстояніе двадцати верстъ, и важная должна быть причина, его къ тому побудившая.» Думая такъ, я, съ невольнымъ біеніемъ сердца, глядѣлъ на бѣдную лодку; но она, какъ утка, ныряла, и потомъ, быстро взмахнувъ веслами, будто крыльями, выскакивала изъ пропасти среди брызговъ пѣны; и вотъ, я думалъ, она ударится съ размаха объ берегъ и разлетится въ дребезги; но она ловко повернулась бокомъ и вскочила въ маленькую бухту невредима. Изъ нея вышелъ человѣкъ средняго роста, въ татарской бараньей шапкѣ; онъ махнулъ рукою—и всѣ трое принялись вытаскивать что-то изъ лодки; грузъ былъ такъ великъ, что я до сихъ поръ не понимаю, какъ она не потонула. Взявъ на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу, и скоро я потерялъ ихъ изъ вида. Надо было вернуться домой; но, признаюсь, всѣ эти странности меня тревожили, и я насилу дождался утра.

Казакъ мой былъ очень удивленъ, когда, проснувшись, увидѣлъ меня совсѣмъ одѣтаго; я ему, однако жъ, не сказалъ причины. Полюбовавшись нѣсколько времени изъ окна на голубое небо, усыянное разорванными облачками, на дальній берегъ Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесомъ. на вершинѣ коего бѣлѣтся маячная башня, я отправился въ

крѣпость Фанагорію, чтобъ узнать отъ коменданта о часѣ моего отъѣзда въ Геленджикъ.

Но—увы! комендантъ ничего не могъ сказать мнѣ рѣшительнаго. Суда, стоявшія въ пристани, были всѣ или сторожевыя, или купеческія, которыя еще даже не начинали нагружаться.—«Можетъ быть, дня черезъ три, четыре придетъ почтовое судно, сказалъ комендантъ:—и тогда мы увидимъ». Я вернулся домой утрюмъ и сердитъ. Меня въ дверяхъ встрѣтилъ казакъ мой съ испуганнымъ лицомъ.

— Плохо, ваше благородіе! сказалъ онъ мнѣ.

— Да, братъ, Богъ знаетъ, когда мы отсюда уѣдемъ!

Тутъ онъ еще больше встревожился и, наклонясь ко мнѣ, сказалъ шопотомъ:—здѣсь нечисто! я встрѣтилъ сегодня черноморскаго урядника; онъ мнѣ знакомъ—былъ прошлаго года въ отрядѣ; какъ я ему сказалъ, гдѣ мы остановились, а онъ мнѣ: здѣсь, братъ, нечисто, люди недобрыя!... Да и въ самомъ дѣлѣ, что это за слѣпой!... ходитъ вездѣ одинъ, и на базаръ, за хлѣбомъ и за водой... ужъ, видно, здѣсь къ этому привыкли.

— Да что жъ? по крайней мѣрѣ, показалась ли хозяйка?...

— Сегодня безъ васъ пришла старуха и съ ней дочь.

— Какая дочь? у нея нѣтъ дочери.—А Богъ ее знаетъ, кто она, коли не дочь; да вонъ старуха сидитъ теперь въ своей хатѣ.

Я вошелъ въ лачужку. Печь была жарко натоплена, и въ ней варился обѣдъ довольно роскошный для бѣдняковъ. Старуха на всѣ мои вопросы отвѣчала, что она глуха, не слышитъ. Что было съ ней дѣлать? Я обратился къ слѣпому, который сидѣлъ передъ печью и подкладывалъ въ огонь хворостъ. «Ну-ка, слѣпой чертенокъ, сказалъ я, взявъ его за ухо:—говори, куда ты ночью таскался съ узломъ—а?» Вдругъ мой слѣпой заплакалъ, закричалъ, заохалъ: куда я ходивъ?... никуда не ходивъ... съ узломъ?... якимъ узломъ? — Старуха на этотъ разъ услышала и стала ворчать: «Вотъ выдумываютъ, да еще на убогаго! За что вы его? что онъ вамъ сдѣлалъ?» Мнѣ это надоѣло и я вышелъ, твердо рѣшившись достать ключъ этой загадки.

Я завернулся въ бурку и сѣлъ у забора на камень, поглядывая въ даль; передо мной тянулось ночью бурюю взволнованное море, и однообразный шумъ его, подобный ропоту засыпающаго города, напомнилъ мнѣ старые годы, перенесъ мои мысли на сѣверъ, въ нашу холодную столицу. Волнуемый воспоминаніями, я забылся... Такъ прошло около часа; можетъ быть, и болѣе... Вдругъ что-то похожее на пѣсню поразило мой слухъ. Точно это была пѣсня, и женскій свѣжій голосокъ—но откуда?... Прислушиваюсь: напѣвъ стройный—то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь—никого нѣтъ кругомъ; прислушиваюсь снова—звуки какъ будто падаютъ съ неба. Я поднялъ глаза: на крышѣ хаты моей стояла дѣвушка въ полосатомъ платьѣ, съ распущенными косами, настоящая русалка. Защитивъ глаза ладонью отъ лучей солнца, она пристально всматривалась въ даль, то смѣялась и разсуждала сама съ собой, то запѣвала снова пѣсню.

Я запомнилъ эту пѣсню отъ слова до слова:

Какъ по вольной волюшкѣ—
По зелену морю,
Ходятъ все кораблики
Бѣлопарусники.

Промежъ тѣхъ корабликовъ
Моя лодочка,
Лодка не снащенная
Двухвесельная.

Буря ль разыграется—
Старые кораблики
Приподымутъ крылышки,
По морю размечутся.

Стану морю кланяться
Я низехонько:
«Ужъ не тронь ты, злое море.
Мою лодочку:

Везетъ моя лодочка
Вещи драгоцѣнныя,
Править ея въ темну ночь
Буйная головушка.»

Мнѣ невольно пришло на мысль, что ночью я слышалъ тотъ же голосъ; я на минуту задумался, и когда снова посмотрѣлъ на крышу, дѣвушки тамъ не было. Вдругъ она пробѣжала мимо меня, напѣвая что-то другое, и, прищелкивая пальцами, вбѣжала къ старухѣ, и тутъ начался между ними споръ. Старуха сердилась, она громко хохотала. И вотъ вижу, бѣжить опять въ припрыжку моя ундина; поровнявшись со мной, остановилась и пристально посмотрѣла мнѣ въ глаза, какъ будто удивленная моимъ присутствіемъ; потомъ небрежно обернулась и тихо пошла къ пристани. Этимъ не кончилось: цѣлый день она вертѣлась около моей квартиры; пѣнье и прыганье не прекращались ни на минуту. Странное существо! На лицѣ ея не было никакихъ признаковъ безумія; напротивъ, глаза ея съ бойкою пронизательностью останавливались на мнѣ, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то магнетическою властью, и всякій разъ они какъ будто бы ждали вопроса. Но только я начиналъ говорить, она убѣжала, коварно улыбаясь.

Рѣшительно, я никогда подобной женщины не видывалъ. Она была далеко не красавица, но я имѣю свои предубѣжденія также и на счетъ красоты. Въ ней было много породы... порода въ женщинахъ, какъ и въ лошадяхъ, великое дѣло: это открытіе принадлежитъ юной Франціи. Она, т. е. порода, а не юная Франція, большею частью изобличается въ поступи, въ рукахъ и ногахъ; особенно носъ очень много значитъ. Правильный носъ въ Россіи рѣже маленькой ножки. Моей пѣвунѣ казалось не болѣе 18 лѣтъ. Необыкновенная гибкость ея стана, особенное, ей только свойственное, наклоненіе головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отливъ ея слегка загорѣлой кожи на шеѣ и плечахъ, и особенно правильный носъ — все это было для меня обворожительно. Хотя въ ея косвенныхъ взглядахъ я читалъ что-то дикое и подозрительное, хотя въ ея улыбкѣ было

что-то неопредѣленное, но такова сила предубѣжденій: правильный носъ свелъ меня съ ума; я вообразилъ, что нашла Гётеву Миньйону — это причудливое созданіе его нѣмецкаго воображенія; и точно, между ними было много сходства: тѣ же быстрые переходы отъ величайшаго безпокойства къ полной неподвижности, тѣ же загадочныя рѣчи, тѣ же прыжки, странныя пѣсни...

Подо́ждь вечеръ, остановивъ ее въ дверяхъ, я завелъ съ нею слѣдующій разговоръ:

— Скажи-ка мнѣ, красавица, спросилъ я: — что ты дѣлала сегодня на кровлѣ? — А смотрѣла, откуда вѣтеръ дуетъ. — За чѣмъ тебѣ? — Откуда вѣтеръ, оттуда и счастье. — Что же? развѣ ты пѣсней зазывала счастье? — Гдѣ поѣтся, тамъ и счастливится. — А какъ неравно напоешь себѣ горе? — Ну что жъ? гдѣ не будетъ лучше, тамъ будетъ хуже, а отъ худа до добра опять не далеко. — Кто жъ тебя выучилъ эту пѣсню? — Никто не выучилъ; вздумается — запою; кому услышать, тотъ услышитъ; а кому не должно слышать, тотъ не пойметъ. — А какъ тебя зовутъ, моя пѣвунья? — Кто крестилъ, тотъ знаетъ. — А кто крестилъ? — Почему я знаю. — Экая скрытная! А вотъ я кое-что про тебя узналъ [она не измѣнилась въ лицѣ, не пошевелила губами, какъ будто не объ ней дѣло]. Я узналъ, что ты вчера ночью ходила на берегъ. — И тутъ я очень важно пересказалъ ей все, что видѣлъ, думая смутить ее; нимало! Она захохотала во все горло. — Много видѣли, да мало знаете; а что знаете такъ держите подъ замочкомъ. — А если бъ я, напримѣръ, вздумалъ донести коменданту? — и тутъ я сдѣлалъ очень серьезную, даже строгую мину. Она вдругъ прыгнула, запѣла и скрылась, какъ птичка, выпугнутая изъ кустарника. Послѣднія слова мои были вовсе не умѣста; я тогда не подозрѣвалъ ихъ важности, но впоследствии имѣлъ случай въ нихъ раскаться.

Только что смерклось, я велѣлъ казаку нагрѣть чайникъ по походному, засвѣтилъ свѣчку и сѣлъ у стола, покуривая изъ дорожной трубки. Ужъ я доканчивалъ второй стаканъ чая, какъ вдругъ дверь скрипнула, легкій шорохъ платья и шаговъ послышался за мной; я вздрогнулъ и обернулся — то была она, моя

ундина. Она сѣла противъ меня тихо и безмолвно, и устремила на меня глаза свои, и, не знаю почему, но этотъ взоръ показался мнѣ чудно нѣженъ; онъ мнѣ напомнилъ одинъ изъ тѣхъ взглядовъ, которые въ старые годы такъ самовластно играли моею жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчалъ, полный неизъяснимаго смущенія. Лицо ея было покрыто тусклою блѣдностью, изобличавшей волненіе душевное; рука ея безъ цѣли бродила по столу, и я замѣтилъ въ ней легкій трепетъ; грудь ея то высоко подымалась, то, казалось, она удерживала дыханіе. Эта комедія начинала мнѣ надоедать, и я готовъ былъ прервать молчаніе самымъ прозаическимъ образомъ, то есть предложить ей стаканъ чая, какъ вдругъ она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный поцѣлуй прозвучалъ на губахъ моихъ. Въ глазахъ у меня потемнѣло, голова закружилась, я сжалъ ее въ моихъ объятіяхъ со всею силою юношеской страсти, но она, какъ змѣя, скользнула между моими руками, шепнувъ мнѣ на ухо: «нынче ночью, какъ всѣ уснутъ, выходи на берегъ», и стрѣлою выскочила изъ комнаты. Въ снѣгахъ она опрокинула чайникъ и свѣчу, стоявшую на полу. «Экой бѣсъ-дѣвка!» закричалъ казакъ, расположившійся на соломѣ и мечтавшій согрѣться остатками чая. Только тутъ я опомнился.

— Часа черезъ два, когда все на пристани умокло, я разбудилъ своего казака. «Если я выстрѣлю изъ пистолета, скажи я ему, то бѣги на берегъ». Онъ выпучилъ глаза и машинально отвѣчалъ: «слушаю, ваше благородіе». Я заткнулъ за поясъ пистолетъ и вышелъ. Она дожидалась меня на краю спуска; ея одежда была болѣе нежели легкая, небольшой платокъ опоясывалъ ея гибкій станъ.

— Иди за мной! сказала она, взявъ меня за руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, какъ я не сломилъ себѣ шеи; вижу мы повернули направо и пошли по той же дорогѣ, гдѣ наканунѣ я слѣдовалъ за слѣпымъ. Мѣсяцъ еще не вставалъ и только двѣ звѣздочки, какъ два спасительные маяка, сверкали на темносинемъ сводѣ. Тяжелыя волны мѣрно и ровно катились

одна за другой, едва приподнимая одинокую лодку, причаленную къ берегу. «Войдемъ въ лодку», сказала моя спутница. Я колебался—я не охотникъ до сантиментальныхъ прогулокъ по морю; но отступить было не время. Она прыгнула въ лодку, я за ней, и не успѣлъ еще опомниться, какъ замѣтилъ, что мы плывемъ. «Что это значить?» сказалъ я сердито. — «Это значить, отвѣчала она, сажая меня на скамью и обвивъ мой станъ руками:—это значить, что я тебя люблю...» И щека ея прижалась къ моей, я почувствовалъ на лицѣ моемъ ея пламенное дыханіе. Вдругъ что-то шумно упало въ воду; я хватъ за поясъ—пистолета нѣтъ. О! тутъ ужасное подозрѣніе закралось мнѣ въ душу, кровь хлынула мнѣ въ голову! Отглядываюсь—мы отъ берега около пятидесяти сажень, а я не умѣю плавать! Хочу оттолкнуть ее отъ себя — она, какъ кошка, вцѣпилась въ мою одежду, и вдругъ сильный толчокъ едва не сбросилъ меня въ море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба; бѣшенство придавало мнѣ силы, но я скоро замѣтилъ, что уступаю моему противнику въ ловкости... «Чего ты хочешь!» закричалъ я, крѣпко сжавъ ея маленькія руки; пальцы ея хрустѣли, но она не вскрикнула: ея змѣиная натура выдержала эту пытку.

— Ты видѣлъ, отвѣчала она: ты донесешь! и сверхъестественнымъ усиліемъ повалила меня на бортъ; мы оба по поясъ свѣсились изъ лодки; ея волосы касались воды; минута была рѣшительная. Я уперся колѣнкою въ дно, схватилъ ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно сбросилъ ее въ волны.

Было уже довольно темно; голова ея мелькнула раза два среди морской пѣны, и больше я ничего не видалъ...

На днѣ лодки я нашелъ половину стараго весла, и кое-какъ, послѣ долгихъ усилій, причалилъ къ пристани. Пробираясь берегомъ къ своей хатѣ, я невольно всматривался въ ту сторону, гдѣ наканунѣ слѣпой дожидался ночнаго пловца. Луна уже катилась по небу и мнѣ показалось, что кто-то въ бѣломъ сидѣлъ на берегу; я подкрался, подстрекаемый любопытствомъ, и при-

лесть въ травѣ надъ обрывомъ берега; высунувъ немного голову, я могъ хорошо видѣть съ утеса все, что внизу дѣлалось и не очень удивился, а почти обрадовался, узнавъ мою русалку. Она выжимала морскую пѣну изъ длинныхъ волосъ своихъ; мокрая рубашка обрисовывала гибкій станъ ея и высокую грудь. Скоро показалась вдали лодка: быстро приблизилась она; изъ нея, какъ наканунѣ, вышелъ человекъ въ татарской шапкѣ, но остриженъ онъ былъ показавши, и за ременнымъ поясомъ его торчалъ большой ножъ. «Янко, сказала она: все пропало!» Потомъ разговоръ ихъ продолжался, но такъ тихо, что я ничего не могъ разслушать.—А гдѣ же слѣпой? сказалъ наконецъ Янко, возвыся голосъ. «Я его послала», былъ отвѣтъ. Черезъ нѣсколько минутъ явился слѣпой, таща на спинѣ мѣшокъ, который положили въ лодку.

— Послушай, слѣпой! сказалъ Янко: — ты береги то мѣсто... знаешь? тамъ богатые товары... скажи [имени я не разслушалъ], что я ему больше не слуга; дѣла пошли худо, онъ меня больше не увидитъ; теперь опасно; поѣду искать работы въ другомъ мѣстѣ, а ему ужъ такого удальца не найти. Да скажи, кабы онъ получше платилъ за труды, такъ и Янко бы его не покинулъ; а мнѣ вездѣ дорога, гдѣ только вѣтеръ дуетъ и море шумитъ! — Послѣ нѣкотораго молчанія Янко продолжалъ: она поѣдетъ со мною; ей нельзя здѣсь оставаться; а старухѣ скажи, что, дескать, пора умирать, зажила, надо знать и честь. Насъ же больше не увидитъ.

— А я! сказалъ слѣпой жалобнымъ голосомъ.

— На что мнѣ тебя? былъ отвѣтъ.

Между тѣмъ моя ундина вскочила въ лодку и махнула товарищу рукою; онъ что-то положилъ слѣпому въ руку, примолвивъ: «На, купи себѣ пряниковъ». — Только? сказалъ слѣпой. «Ну, вотъ тебѣ еще!»—и упавшая монета зазвенѣла, ударясь о камень. Слѣпой ея не поднималъ. Янко сѣлъ въ лодку; вѣтеръ дулъ отъ берега; они подняли маленькій парусъ и быстро поплыли. Долго при свѣтѣ мѣсяца мелькалъ бѣлый парусъ между темныхъ волнъ; слѣпой все сидѣлъ на берегу, и вотъ мнѣ

послышалось что-то похожее на рыданіе: слѣпой мальчикъ точно плакалъ, и долго, долго... Мнѣ стало грустно. И затѣмъ было судьбѣ кинуть меня въ мирный кругъ честныхъ контробандистовъ? Какъ камень, брошенный въ гладкій источникъ, я встревожилъ ихъ спокойствіе, и какъ камень едва самъ не пошелъ ко дну?

Я возвратился домой. Въ сѣняхъ трещала догорѣвшая свѣча въ деревянной тарелкѣ, и казакъ мой, вопреки приказанію, спалъ крѣпкимъ сномъ, держа ружье обѣими руками. Я его оставилъ въ покоѣ, взялъ свѣчу и вошелъ въ хату. Увы! моя шкатулка, шапка съ серебряной оправой, дагестанскій кинжалъ — подарокъ пріятеля, все исчезло. Тутъ-то я догадался, какія вещи тащилъ проклятый слѣпой. Разбудивъ казака довольно невѣжливымъ толчкомъ, я побранилъ его, посердился, а дѣлать было нечего! И не смѣшно ли было бы жаловаться начальству, что слѣпой мальчикъ меня обокралъ, а восемнадцатилѣтняя дѣвушка чуть-чуть не утопила? Слава Богу, поутру явилась возможность ѣхать, и я оставилъ Тамань. Что сталося съ старухой и съ бѣднымъ слѣпымъ — незнаю. Да и какое дѣло мнѣ до радостей и бѣдствій человѣческихъ, мнѣ, странствующему офицеру, да еще съ дорожной по казенной надобности!...

II.

КНЯЖНА МЕРИ.

11-го мая.

Вчера я пріѣхалъ въ Пятигорскъ, нанялъ квартиру на краю города, на самомъ высокомъ мѣстѣ, у подошвы Машука: во время грозы облака будутъ спускаться до моей кровли. Нынче въ пять часовъ утра, когда я открылъ окно, моя комната наполнилась запахомъ цвѣтовъ, растущихъ въ скромномъ полисадникѣ. Вѣтки цвѣтущихъ черешень смотрятъ мнѣ въ окно и

вѣтеръ иногда усыпаетъ мой письменный столъ ихъ бѣлыми лепестками. Видъ съ трехъ сторонъ у меня чудесный: на западъ пятиглавый Бѣшту синѣетъ, какъ «послѣдняя туча разсѣянной бури»; на сѣверъ поднимается Машухъ, какъ мохнатая персидская шапка, и закрываетъ всю эту часть небосклона; на востокъ смотрѣть веселѣе: внизу передо мною пестрѣетъ чистенькій, новенькій городокъ, шумятъ цѣлебные ключи, шумитъ разноязычная толпа, — а тамъ, дальше, амфитеатромъ громоздятся горы все синѣе и туманнѣе, а на краю горизонта тянется серебряная цѣпь снѣговыхъ вершинъ, начинаясь Казбекомъ и оканчиваясь двуглавымъ Эльборусомъ... Весело жить въ такой землѣ! Какое-то отрадное чувство разлито во всѣхъ моихъ жилахъ. Воздухъ чистъ и свѣжъ, какъ подблуду ребенка; солнце ярко, небо сине—чего бы, кажется, больше? Зачѣмъ тутъ страсти, желанія, сожалѣнія?... Однако пора. Пойду къ Елизаветинскому источнику: тамъ, говорятъ, утромъ собирается все водяное общество.

.....
Спустясь въ середину города, я пошелъ бульваромъ, гдѣ встрѣтилъ нѣсколько печальныхъ группъ, медленно поднимающихся въ гору: то были большею частію семейства степныхъ помѣщиковъ; объ этомъ можно было тотчасъ догадаться по истертымъ старомоднымъ сюртукамъ мужей и по изысканнымъ нарядамъ женъ и дочерей. Видно, у нихъ вся водяная молодежь была уже на перечеѣ, потому что они на меня посмотрѣли съ нѣжнымъ любопытствомъ; петербургскій покрой сюртука ввелъ ихъ въ заблужденіе, но скоро, узнавъ армейскіе эполеты, они съ негодованіемъ отвернулись.

Жены мѣстныхъ властей, такъ сказать хозяйки водъ, были благосклоннѣе; у нихъ есть лорнеты; онѣ менѣе обращаютъ вниманія на мундиръ; онѣ привыкли на Кавказѣ встрѣчать подъ нумерованной пуговицей пылкое сердце, и подъ бѣлой фуражкой образованный умъ. Эти дамы очень милы, и долго милы! Всякій годъ ихъ обожатели смѣняются новыми, и въ этомъ-то, можетъ быть, секретъ ихъ неутомимой любезности. Поднимаясь

не узкой тропинкѣ къ Елизаветинскому источнику, я обогналъ толпу мужчинъ статскихъ и военныхъ, которые, какъ я узналъ послѣ, составляютъ особенный классъ людей между чающими движенія воды. Они пьютъ—однако не воду, гуляютъ мало, вожатся только мимоходомъ: они играютъ и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стаканъ въ колодезь кислѣйной воды, они принимаютъ академическія позы; статскіе носятъ свѣтло-голубые галстуки, военные выпускаютъ изъ-за воротника брыжи. Они исповѣдываютъ глубокое презрѣніе къ провинціальнымъ дамамъ и вздыхаютъ о столичныхъ аристократическихъ гостиницахъ, куда ихъ не пускаютъ.

Наконецъ вотъ и колодезь... На площадѣ, близъ него, построены домикъ съ красной кровлею надъ ванной, а подальше галерея, гдѣ гуляютъ во время дождя. Нѣсколько раненныхъ офицеровъ сидѣло на лавкѣ, подобравъ костыли—блѣдные, грустные. Нѣсколько дамъ скорыми шагами ходило взадъ и впередъ по площадѣ, ожидая дѣйствія воды. Между ними были два-три хорошенькія личика. Подъ виноградными аллеями, покрывающими скатъ Машука, мелькала порою пестрая шляпка любительницы уединенія вдвоемъ, потому что всегда возлѣ такой шляпки я замѣчалъ или военную фуражку, или безобразную круглую шляпу. На крутой скалѣ, гдѣ построенъ павильонъ, называемый Золовой Арфой, торчали любители видовъ и наводили телескопъ на Эльбурсъ; между ними были два гувернера съ своими воспитанниками, пріѣхавшими лечиться отъ золотухи.

Я остановился, запыхавшись, на краю горы, и, прислонясь къ углу домика, сталъ разсматривать живописную окрестность, какъ вдругъ слышу за собой знакомый голосъ:

— Печоринъ! давно ли здѣсь?

Оборачиваюсь: Грушницкій! Мы обнялись. Я познакомился съ нимъ въ дѣйствующемъ отрядѣ. Онъ былъ раненъ пулей въ ногу и поѣхалъ на воды, съ недѣлю прежде меня.

Грушницкій—юнкеръ. Онъ только годъ въ службѣ; носитъ по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель,

У него георгіевскій солдатскій крестикъ. Онъ хорошо сложенъ, смугль и черноволося; ему на видъ можно дать 25 лѣтъ, хотя ему едва ли 21 годъ. Онъ закидываетъ голову назадъ, когда говоритъ, и поминутно крутитъ усы лѣвой рукой, ибо правою опирается на костыль. Говорить онъ скоро и вычурно; онъ изъ тѣхъ людей, которые навсѣ случаи жизни имѣютъ готовыя пышныя фразы, которыхъ просто прекрасное не трогаетъ, и которые важно драпируются въ необыкновенныя чувства, возвышенныя страсти и исключительныя страданія. Производитъ эффектъ — ихъ наслажденіе; они нравятся романтическимъ провинціаламъ до безумія. Подъ старость они дѣлаются либо мирными помѣщиками; либо пьяницами; иногда тѣмъ и другимъ. Въ ихъ душѣ часто много добрыхъ свойствъ, но ни на грошъ поэзіи. Грушницкаго страсть была декламировать: онъ закидывалъ васъ словами, какъ скоро разговоръ выходилъ изъ круга обыкновенныхъ понятій; спорить съ нимъ я никогда не могъ. Онъ не отвѣчаетъ на ваши возраженія, онъ васъ не слушаетъ. Только что вы остановитесь, онъ начинаетъ длинную тираду, повидимому имѣющую какую-то связь съ тѣмъ, что вы сказали, но которая въ самомъ дѣлѣ есть только продолженіе его собственной рѣчи.

Онъ довольно остѣръ; эпиграммы его часто забавны, но никогда не бываютъ жѣстки и злы: онъ никого не убьетъ однимъ словомъ; онъ не знаетъ людей и ихъ слабыхъ струнъ, потому что занимался цѣлую жизнь однимъ собою. Его цѣль — сдѣлаться героемъ романа. Онъ такъ часто старался увѣрить другихъ въ томъ, что онъ существо не созданное для міра, обреченное какимъ-то тайнымъ страданіемъ, что онъ самъ почти въ этомъ увѣрился. Оттого онъ такъ гордо носитъ свою толстую солдатскую шинель. Я его понималъ, и онъ за это меня не любить, хотя мы наружно въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ. Грушницкій слыветъ отличнымъ храбрецомъ; а его видѣлъ въ дѣлѣ: онъ махаетъ шашкой, кричитъ и бросается впередъ, зажимура глаза. Это что-то не русская храбрость!...

Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда нибудь съ

нимъ столкнемся на узкой дорогѣ—и одному изъ насъ не сдобровать.

Пріѣздъ его на Кавказъ — также слѣдствіе его романтическаго фанатизма. Я увѣренъ, что наканунѣ отъѣзда изъ отцовской деревни, онъ говорилъ съ мрачнымъ видомъ какой нибудь хорошенькой сосѣдкѣ, что онъ ѣдетъ не такъ, просто, служить, но что ищетъ смерти, потому что... тутъ онъ, вѣрно, закрывъ глаза рукою, продолжаетъ такъ: «нѣтъ, вы [или ты] этого не должны знать! Ваша чистая душа содрогнется! Да къ чему? Чтѣ я для васъ? Поймете ли вы меня?...» и такъ далѣе.

Онъ мнѣ самъ говорилъ, что причина, побудившая его вступить въ К. полкъ, останется вѣчною тайною между нимъ и небесами.

Впрочемъ, въ тѣ минуты, когда сбрасываетъ трагическую мантию, Грушницкій довольно милъ и забавенъ. Мнѣ любопытно видѣть его съ жепщинами: тутъ-то, я думаю, старается!

Мы встрѣтились старыми пріятелями. Я началъ его разспрашивать объ образѣ жизни на водахъ и о примѣчательныхъ лицахъ.

— Мы ведемъ жизнь довольно прозаическую, сказалъ онъ, вздохнувъ: пьющіе утромъ воду — вялы, какъ всѣ больные, а пьющіе вино повечеру — несомны, какъ всѣ здоровые. Женскія общества есть; только отъ нихъ небольшое утѣшеніе: онѣ играютъ въ вистъ, одѣваются дурно и ужасно говорятъ по-французски! Нынѣшній годъ изъ Москвы одна только княгиня Лиговская съ дочерью; но я съ ними не знакомъ. Моя солдатская шинель — какъ печать отверженія. Участіе, которое она возбуждаетъ, тяжело какъ милостыня.

Въ эту минуту прошли къ колодцу мимо насъ двѣ дамы: одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Ихъ лицъ за шляпками я не разглядѣлъ, но онѣ одѣты были по строгимъ правиламъ лучшаго вкуса: ничего лишняго. На второй было закрытое платье gris de perles; легкая шолковая косынка вилась вокругъ ея гибкой шеи. Ботинки couleur russe стягивали у щиколки ея сухощавую ножку такъ мило, что даже непосвященный

въ таинства красоты непременно бы ахнулъ, хотя отъ удивленія. Ея легкая, но благородная походка имѣла въ себѣ что-то дѣвственное, ускользающее отъ опредѣленія, но понятное взору. Когда она прошла мимо насъ, отъ нея повѣяло тѣмъ неизъяснимымъ ароматомъ, которымъ дышетъ иногда записка милой женщины.

— Вотъ княгиня Лиговская, сказала Грушницкій: и съ нею дочь ея Мери, какъ она ее называетъ на англійскій манеръ. Онѣ здѣсь только три дня.

— Однако ты ужъ знаешь ея имя?

— Да, я случайно слышалъ, отвѣчалъ онъ покраснѣвъ.— Признаюсь, я не желаю съ ними познакомиться. Эта гордая знать смотритъ на насъ, армейцевъ, какъ на дикихъ. И какое имъ дѣло, есть ли умъ подъ нумерованной фуражкой и сердце подъ толстой шинелью?

— Бѣдная шинель! сказала я, усмѣхаясь. А кто этотъ господинъ, который къ нимъ подходитъ и такъ услужливо подаетъ имъ стаканъ?

— О! это московскій франтъ Раевичъ. Онъ игрокъ: это видно тотчасъ по золотой огромной цѣпи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость—точно у Робинзона Крузо; да и борода кстатъ, и прическа à la moujik.

— Ты охлобленъ противъ всего рода человѣческаго?

— И есть за что...

— О! право?

Въ это время дамы отошли отъ колодца и поровнялись съ нами. Грушницкій успѣлъ принять драматическую позу съ помощью костыля и громко отвѣчалъ мнѣ по-французски:

— Mon cher, je hais les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoûtante.

Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгимъ, любопытнымъ взоромъ. Выраженіе этого взора было очень неопредѣленно, но не насмѣшливо, съ чѣмъ я внутренно отъ души его поздравилъ.

— Эта княжна Мери прехорошенькая, сказать я ему.— У нея такіе бархатные глаза—именно бархатные: я тебя совѣтую присвоить это выраженіе, говоря объ ея глазахъ; нижнія и верхнія рѣсницы такъ длинны, что лучи солнца не отражаются въ ея зрачкахъ. Я люблю эти глаза безъ блеска: они такъ мягки, они будто бы тебя гладятъ. Впрочемъ, кажется, въ ея лицѣ только и есть хорошаго... А что, у нея зубы бѣлы? Это очень важно! Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу.

— Ты говоришь о хорошенькой женщинѣ, какъ объ англійской лошади, сказалъ Грушницкій съ негодованіемъ.

— Mon cher, отвѣчалъ я ему, стараюсь поддѣлаться подъ его тонъ: *je méprise les femmes pour ne pas les aimer, car autrement la vie serait un mélodrame trop ridicule.*

Я повернулся и пошелъ отъ него прочь. Съ полчаса гулялъ я по винограднымъ аллеямъ, по известчатымъ скаламъ и висящимъ между ними кустарникамъ. Становилось жарко, и я поспѣшилъ домой. Проходя мимо кислосѣрнаго источника, я остановился у крытой галереи, чтобъ вздохнуть подъ ея тѣнью, и это доставило мнѣ случай быть свидѣтелемъ довольно любопытной сцены. Дѣйствующія лица находились вотъ въ какомъ положеніи: княгиня съ московскимъ франтомъ сидѣла на лавкѣ, въ крытой галерей, и оба были заняты, кажется, серьезнымъ разговоромъ. Княжна, вѣроятно, допивъ ужъ послѣдній стаканъ, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкій стоялъ у самаго колодца; больше на площадкѣ никого не было.

Я подошелъ ближе и спрятался за уголъ галереи. Въ эту минуту Грушницкій уронилъ свой стаканъ на песокъ и усиливался нагнуться, чтобъ его поднять; больная нога ему мѣшала. Бѣдняжка! какъ онъ ухитрился, опираясь на костыль и все напрасно. Выразительное лицо его въ самомъ дѣлѣ изображало страданіе.

Княжна Мери видѣла все это лучше меня.

Легче птички она къ нему подскочила, нагнулась, подняла стаканъ и подала ему съ тѣлодвиженіемъ, исполненнымъ невыразимой прелести: потомъ ужасно покраснѣла, оглянулась на

галерею, и убѣдившись, что ея маменька ничего не видала, кажется, тотчасъ же успокоилась. Когда Грушницкій открылъ ротъ, чтобы поблагодарить ее, она была уже далеко. Черезъ минуту она вышла изъ галереи съ матерью и франтомъ, но, проходя мимо Грушницкаго, приняла видъ такой чинный и важный — даже не обернулась, даже не замѣтила его страстнаго взгляда, которымъ онъ долго ее провожалъ, пока, спустившись съ горы, она не скрылась за липками бульвара... Но вотъ ея шляпка мелькнула черезъ улицу: она вѣжала въ ворота одного дома изъ лучшихъ домовъ Пятигорска; за нею прошла княгиня и у воротъ раскланялась съ Раевичемъ.

Только тогда бѣдный, страстный юнкеръ замѣтилъ мое присутствіе.

— Ты видѣлъ? сказалъ онъ, крѣпко пожимая мнѣ руку: — это просто ангелъ!

— Отчего? спросилъ я съ видомъ чистѣйшаго простодушія.

— Развѣ ты не видалъ?

— Нѣтъ, видѣлъ: она подняла твой стаканъ. Если бъ былъ тутъ сторожъ, то онъ сдѣлалъ бы то же самое, и еще поспѣшнѣе, надѣясь получить на водку. Впрочемъ, очень понятно, что ей стало тебя жалко: ты сдѣлалъ такую ужасную гримасу, когда ступилъ на прострѣленную ногу...

— И ты не былъ нисколько тронутъ, глядя на нее въ эту минуту, когда душа сіяла на лицѣ ея?

— Нѣтъ.

Я лгалъ; но мнѣ хотѣлось его побѣсить. У меня врожденная страсть противорѣчить; цѣлая моя жизнь была только цѣпь грустныхъ и неудачныхъ противорѣчій сердцу или разуму. Присутствіе энтузіаста обдастъ меня крещенскимъ холодомъ в, я думаю, частія сношенія съ вялымъ флегматикомъ сдѣлали бы изъ меня страстнаго мечтателя. Признаюсь еще, чувство непріятное, но знакомое, пробѣжало слегка въ это мгновеніе по моему сердцу; это чувство было—зависть; я говорю смѣло «зависть», потому что привыкъ себя во всемъ признавать; и врядъ ли найдется молодой человѣкъ, который, встрѣтивъ хорошенькую

женщину, приковавшую его праздное вниманіе и вдругъ явно при немъ отличившую другаго, ей равно незнакомаго, врядъ ли, говорю, найдется такой молодой человѣкъ [разумѣется, жившій въ большомъ свѣтѣ и привыкшій баловать свое самолюбіе], который бы не былъ этимъ пораженъ непріятно.

Молча съ Грушницкимъ спустились мы съ горы и прошли по бульвару мимо оконъ дома, гдѣ скрылась наша красавица. Она сидѣла у окна. Грушницкій, дернувъ меня за руку, бросилъ на нее одинъ изъ тѣхъ мутно-нѣжныхъ взглядовъ, которые такъ мало дѣйствуютъ на женщинъ. Я навелъ на нее лорнетъ и замѣтилъ, что она отъ его взгляда улыбнулась, и что мой дерзкій лорнетъ разсердилъ ее не на шутку. И какъ, въ самомъ дѣлѣ, смѣетъ кавказскій армеецъ наводить стеклышко на московскую княжну?...

18-го мая.

Нынче по утру зашелъ ко мнѣ докторъ; его имя Вернеръ, но онъ русскій. Что тутъ удивительнаго? Я зналъ одного Иванова, который былъ нѣмецъ.

Вернеръ человѣкъ замѣчательный по многимъ причинамъ. Онъ скептикъ и матеріалистъ, какъ всѣ почти медики, а вмѣстѣ съ этимъ и поэтъ не на шутку—поэтъ на дѣлѣ всегда, и часто на словахъ, хотя въ жизнь свою не написалъ двухъ стиховъ. Онъ изучалъ всѣ живыя струны сердца человѣческаго, какъ изучаютъ жилы трупъ, но никогда не умѣлъ онъ воспользоваться своимъ знаніемъ: такъ иногда отличный анатомикъ не умѣетъ вылечить отъ лихорадки. Обыкновенно Вернеръ исподтишка насмѣхался надъ своими больными; но я разъ видѣлъ, какъ онъ плакалъ надъ умирающимъ солдатомъ... Онъ былъ бѣденъ, мечталъ о миллионахъ, а для денегъ не сдѣлалъ бы лишняго шага. Онъ мнѣ разъ говорилъ, что скорѣе сдѣлаетъ одолженіе врагу, чѣмъ другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда какъ ненависть только усилится соразмѣрно великодушію противника. У него былъ злой языкъ:

подъ вывѣскою его эпиграммы не одинъ добрякъ прослылъ пошлымъ дуракомъ; его соперники, завистливые водяные медики, распустили слухъ, будто онъ рисуетъ каррикатуры на своихъ больныхъ—больные взбѣленились: почти всѣ ему отказали. Его пріатели, то есть всѣ истинно порядочные люди, служившіе на Кавказѣ, напрасно старались возстановить его упавшій кредитъ.

Его наружность была изъ тѣхъ, которыя съ перваго взгляда поражаютъ непріятно, но которыя нравятся впослѣдствіи, когда глазъ выучится читать въ неправильныхъ чертахъ отпечатокъ души испытаной и высокой. Бывали примѣры, что женщины влюблялись въ такихъ людей до безумія и не промѣняли бы ихъ безобразія на красоту самыхъ свѣжихъ и рововыхъ эндиμόновъ. Надобно отдать справедливость женщинамъ: онѣ имѣютъ инстинктъ красоты душевной, оттого-то, можетъ быть, люди, подобные Вернеру, такъ страстно любятъ женщинъ.

Вернеръ былъ малъ ростомъ, и худъ и слабъ какъ ребенокъ; одна нога была у него короче другой, какъ у Байрона; въ сравненіи съ туловищемъ, голова его казалась огромна; онъ стригъ волосы подъ гребенку, и неровности его черепа, обнаженные такимъ образомъ, поразили бы френолога страннымъ сплетеніемъ противоположныхъ наклонностей. Его маленькіе черные глаза, всегда безпокойные, старались проникнуть въ ваши мысли. Въ его одеждѣ замѣтны были вкусъ и опрятность; его худощавыя, жилистыя и маленькія руки красовались въ свѣтло-желтыхъ перчаткахъ. Его сюртукъ, галстухъ и жилетъ были постоянно чернаго цвѣта. Молодежь прозвала его Мефистофелемъ; онъ показывалъ, будто сердился за это прозваніе, но въ самомъ дѣлѣ оно льстило его самолюбію. Мы другъ друга скоро поняли и сдѣлались пріателями, потому что я къ дружбѣ неспособенъ; изъ двухъ друзей всегда одинъ рабъ другаго, хотя часто ни одинъ изъ нихъ въ этомъ себѣ не признается; работою я быть не могу, а повелѣвать въ этомъ случаѣ—трудъ утомительный, потому что надо вмѣстѣ съ этимъ и обманывать; да, притомъ, у меня есть лакеи и деньги! Вотъ какъ мы сдѣлались пріателями: я встрѣтилъ Вернера въ С... среди многочислен-

наго и шумнаго круга молодежи; разговоръ принялъ подѣ конецъ вечера философско-метафизическое направленіе; толковали объ убѣжденіяхъ: каждый былъ убѣжденъ въ разныхъ разностяхъ.

— Что до меня касается, то я убѣжденъ только въ одномъ... сказалъ докторъ.

— Въ чемъ это? спросилъ я, желая узнать мнѣніе человѣка, который до сихъ поръ молчалъ.

— Въ томъ, отвѣчалъ онъ: что, рано или поздно, въ одно прекрасное утро я умру.

— Я богаче васъ, сказалъ я: у меня, кромѣ этого, есть еще убѣжденіе, именно то, что я въ одинъ прегадкій вечеръ имѣлъ несчастіе родиться.

Всѣ нашли, что мы говоримъ вздоръ, а право изъ нихъ никто ничего умнѣе этого не сказалъ. Съ этой минуты мы отличили въ толпѣ другъ друга. Мы часто сходились вмѣстѣ и толковали вдвоемъ объ отвлеченныхъ предметахъ очень серьезно, пока замѣчали оба, что мы взаимно другъ друга морочимъ. Тогда, посмотрѣвъ значительно другъ другу въ глаза, какъ дѣлали римскіе авгуры, по словамъ Цицерона, мы начинали хохотать, и нахохотавшись, расходились довольные своимъ вечеромъ.

Я лежалъ на диванѣ, устремивъ глаза въ потолокъ и заложивъ руки подѣ затылокъ, когда Вернеръ вошелъ въ мою комнату. Онъ сѣлъ въ кресла, поставилъ трость въ уголъ, зѣвнулъ и объявилъ, что на дворѣ становится жарко. Я отвѣчалъ, что меня беспокоятъ мухи—и мы оба замолчали.

— Замѣйте, любезный докторъ, сказалъ я, что безъ дураковъ было бы на свѣтѣ очень скучно... Посмотрите, вотъ насъ двое умныхъ людей; мы знаемъ заранѣе, что обо всемъ можно спорить до безконечности, и потому не споримъ; мы знаемъ почти всѣ сокровенныя мысли другъ друга; одно слово—для насъ цѣлая исторія; видимъ зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное намъ смѣшно, смѣшное грустно, а вообще, по правдѣ, мы ко всему довольно равно-

душни, кромѣ самихъ себя. Итакъ, разнѣна чувствъ и мыслей между нами не можетъ быть: мы знаемъ одинъ о другомъ все, что хотимъ знать; и знать больше не хотимъ; остается одно средство: рассказывать новости. Скажите же мнѣ какую нибудь новость.

Утомленный долгою рѣчью, я закрылъ глаза и зѣвнулъ...

Онъ отвѣчалъ подумавши: Въ вашей галиматѣй однакожъ есть идея.

— Двѣ, отвѣчалъ я.

— Скажите мнѣ одну, я вамъ скажу другую.

— Хорошо, начинайте! сказалъ я, продолжая разсматривать потолокъ и внутренно улыбаясь.

— Вамъ хочется знать какія нибудь подробности на-счетъ кого нибудь изъ прѣхавшихъ на воды, и я ужъ догадываюсь о комъ вы это заботитесь, потому что объ васъ тамъ уже спрашивали.

— Докторъ! рѣшительно намъ нельзя разговаривать: мы читаемъ въ душѣ другъ друга.

— Теперь другая...

— Другая идея вотъ: мнѣ хотѣлось васъ заставить рассказать что нибудь; во-первыхъ, потому что слушать менѣ утомительно; во-вторыхъ, нельзя проговориться; въ-третьихъ, можно узнать чужую тайну; въ-четвертыхъ, потому что такіе умные люди, какъ вы, лучше любятъ слушателей, чѣмъ рассказчиковъ. Теперь къ дѣлу; что вамъ сказала княгиня Лиговская обо мнѣ?

— Вы очень увѣрены, что это княгиня... а не княжна?...

— Совершенно убѣжденъ.

— Почему?

— Потому что княжна спрашивала о Грушницкомъ.

— У васъ большой даръ соображенія. Княжна сказала, что она увѣрена, что этотъ молодой человѣкъ въ солдатской шинели разжалованъ въ солдаты за дуэль...

— Надѣюсь вы ее оставили въ этомъ пріятномъ заблужденіи...

— Разумѣется...

— Завязка есть! закричалъ я въ восхищеніи; объ развязкѣ этой комедіи мы похлопочемъ. Явно судьба заботится о томъ, чтобъ мнѣ не было скучно.

— Я предчувствую, сказалъ докторъ, что бѣдный Грушницкій будетъ вашей жертвой...

— Дальше, докторъ.

— Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо. Я ей замѣтилъ, что, вѣрно, она васъ встрѣчала въ Петербургѣ, гдѣ нибудь въ свѣтѣ... я сказалъ ваше имя. Оно было ей извѣстно. Кажется, ваша исторія тамъ надѣлала много шуму... Княгиня стала разсказывать о вашихъ походахъ, прибавляя, вѣроятно, къ свѣтскимъ сплетнямъ свои замѣчанія... Дочка слушала съ любопытствомъ. Въ ея воображеніи вы сдѣлались героемъ романа въ новомъ вкусѣ... Я не противорѣчилъ княгинѣ, хотя зналъ, что она говорить вздоръ.

— Достойный другъ! сказалъ я, протянувъ ему руку. Докторъ пожалъ ее съ чувствомъ и продолжалъ:

— Если хотите, я васъ представляю...

— Помилуйте! сказалъ я, всплеснувъ руками; развѣ героевъ представляютъ? Они не иначе знакомятся, какъ спасая отъ вѣрной смерти свою любезную...

— И вы въ самомъ дѣлѣ хотите волочиться за княжной?...

— Напротивъ, совсѣмъ напротивъ!... Докторъ, наконецъ я торжествую: вы меня не понимаете!... Это меня, впрочемъ, огорчаетъ, докторъ, продолжалъ я послѣ минуты молчанія; я никогда самъ не открываю моихъ тайнъ, а ужасно люблю, чтобъ ихъ отгадывали, потому что такимъ образомъ я всегда могу, при случаѣ, отъ нихъ отпереться. Однакожъ, вы мнѣ должны описать маменьку съ дочкой. Что они за люди?

— Во-первыхъ, княгиня—женщина сорока-пяти лѣтъ, отвѣчалъ Вернеръ; у ней прекрасный желудокъ, но кровь испорчена; на щекахъ красныя пятна. Послѣднюю половину своей жизни она провела въ Москвѣ и тутъ, на покой, растолстѣла. Она любитъ соблазнительные анекдоты и сама говоритъ иногда неприличныя вещи, когда дочери нѣтъ въ комнатѣ. Она мнѣ

объявила, что дочь ея невинна какъ голубь. Какое мнѣ дѣло?... Я хотѣлъ ей отвѣчать, чтобъ она была спокойна, что я никому этого не скажу. Княгиня лечится отъ ревматизма, а дочь Богъ знаетъ отъ чего. Я велѣлъ обѣимъ пить по два стакана въ день кислородной воды и купаться два раза въ недѣлю въ разводной ваннѣ. Княгиня, кажется, не привыкла повелѣвать: она питаетъ уваженіе къ уму и знаніямъ дочки, которая читала Байрона по-англійски и знаетъ алгебру: въ Москвѣ, видно, барышни пустились въ ученость, и хорошо дѣлаютъ, право! Наши мужчины такъ не любезны вообще, что съ ними кокетничать должно быть для умной женщины несносно. Княгиня очень любитъ молодыхъ людей; княжна смотритъ на нихъ съ нѣкоторымъ презрѣніемъ — московская привычка! Онѣ въ Москвѣ только и питаются, что сорокалѣтними остріяками.

— А вы были въ Москвѣ, докторъ?

— Да, я имѣлъ тамъ нѣкоторую практику.

— Продолжайте.

— Да я, кажется, все сказалъ... Да! вотъ еще: княжна, кажется, любитъ разсуждать о чувствахъ, страстяхъ и проч. Она была одну зиму въ Петербургѣ, и онъ ей не понравился, особенно общество: ее, вѣрно, холодно приняли.

— Вы никого у нихъ не видали сегодня?

— Напротивъ, былъ одинъ адъютантъ, одинъ натянутый гвардеецъ и какая-то дама изъ новопріѣзжихъ, родственница княгини по мужѣ, очень хорошенькая, но очень, кажется, больная... Не встрѣтилъ ль вы ее у колодца? — она средняго роста, блондинка, съ правильными чертами, цвѣтъ лица чахоточный, а на правой щекѣ черная родинка: ея лицо меня поразило своею выразительностью.

— Родинка! пробормоталъ я сквозь зубы. — Неужели?

Докторъ посмотрѣлъ на меня и сказалъ торжественно, положивъ мнѣ руку на сердце: «Она вамъ знакома!...» Мое сердце, точно, билось сильнѣе обыкновеннаго.

— Теперь ваша очередь торжествовать! сказалъ я; только я на васъ надѣюсь: вы мнѣ не измѣните. Я ее не видалъ еще,

но, увѣренъ, узнаю въ вашемъ портретѣ одну женщину, которую любилъ встарину... Не говорите ей обо мнѣ ни слова; если она спроситъ, отнесите обо мнѣ дурно.

— Пожалуй! сказалъ Вернеръ, пожавъ плечами.

Когда онъ ушелъ, ужасная грусть стѣснила мое сердце. Судьба ли насъ свела опять на Кавказѣ, или она нарочно сюда пріѣхала, зная, что меня встрѣтитъ?... и какъ мы встрѣтимся?... и потомъ, она ли это?... Мои предчувствія меня никогда не обманывали. Нѣтъ въ мірѣ человѣка, надъ которымъ прошедшее пріобрѣтало бы такую власть, какъ надо мною. Всякое напоминаніе о минувшей печали или радости болѣзненно ударяетъ въ мою душу и извлекаетъ изъ нея все тѣ же звуки... Я глупо созданъ: ничего не забываю—ничего!

Послѣ обѣда часовъ въ шесть я пошелъ на бульваръ; тамъ была толпа: княгиня съ княжною сидѣли на скамьѣ; окруженные молодежью, которая любезничала наперерывъ. Я помѣстился въ нѣкоторомъ разстояніи на другой лавкѣ; остановилъ двухъ знакомыхъ драгунскихъ офицеровъ, и началъ имъ что-то рассказывать; видно, было смѣшно, потому что они начали хохотать какъ сумасшедшіе. Любопытство привлекло ко мнѣ нѣкоторыхъ изъ окружавшихъ княжну; мало по малу и всѣ ее покинули и присоединились къ моему кружку. Я не умолкалъ; мои анекдоты были умны до глупости, мои насмѣшки надъ проходящими мимо оригиналами были злы до неистовства... Я продолжалъ увеселять публику до захождения солнца. Нѣсколько разъ княжна подъ ручку съ матерью проходила мимо меня, сопровождаемая какимъ-то хромымъ старичкомъ; нѣсколько разъ ея взглядъ, упавъ на меня, выражалъ досаду, стараясь выразить равнодушіе...

— Что онъ вамъ рассказывалъ? спросила она у одного изъ молодыхъ людей возвратившихся къ ней изъ вѣжливости; вѣрно очень занимательную исторію—свои подвиги въ сраженіяхъ?... Она сказала это довольно громко и, вѣроятно, съ намѣреніемъ кольнуть меня. «Ага!» подумалъ я: «вы не на шутку сердитесь, милая княжна; погодите, то ли еще будетъ!»

Грушницкій слѣдилъ за нею какъ хищный звѣрь, и не спускалъ ее съ глазъ: бьюсь объ закладъ, что завтра онъ будетъ просить, чтобъ его кто нибудь представилъ княгинѣ. Она будетъ рада, потому что ей скучно.

16-го мая.

Въ продолженіе двухъ дней мои дѣла ужасно подвинулись. Княжна меня рѣшительно ненавидитъ; мнѣ уже пересказывали двѣ-три эпиграммы на мой счетъ, довольно колкія, но вмѣстѣ очень лестныя. Ей ужасно странно, что я, который привыкъ къ хорошему обществу, который такъ коротокъ съ ея петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться съ нею. Мы встрѣчаемся каждый день у колодца, на бульварѣ; я употребляю всѣ свои силы на то, чтобъ отвлекать ея обожателей, блестящихъ адъютантовъ, блѣдныхъ москвичей и другихъ — и мнѣ почти всегда удается. Я всегда ненавидѣлъ гостей у себя; теперь у меня каждый день полонъ домъ, обѣдаютъ, ужинаютъ, играютъ и, увы! мое шампанское торжествуетъ надъ силою магнетическихъ ея глазокъ!

Вчера я ее встрѣтилъ въ магазинѣ Челахова; она торговала чудесный персидскій коверъ. Княжна упрашивала свою маменьку не скупиться: этотъ коверъ такъ украсилъ бы ея кабинетъ!... Я далъ сорокъ рублей лишнихъ и перекупилъ его; за это я былъ вознагражденъ взглядомъ, гдѣ блистало самое восхитительное бѣшенство. Около обѣда я велѣлъ нарочно провести мимо ея оконъ мою черкесскую лошадь, покрытую этимъ ковромъ. Вернеръ былъ у нихъ въ это время и говорилъ мнѣ, что эффектъ этой сцены былъ самый драматическій. Княжна хочетъ проповѣдывать противъ меня ополченіе; я даже замѣтилъ, что ужъ два адъютанта при ней со мною очень сухо кланяются, однако всякій день у меня обѣдаютъ.

Грушницкій принялъ таинственный видъ: ходить закинувъ руки за спину и никого не узнаеть; нога его вдругъ выздоровѣла; онъ едва хромаетъ. Онъ напелъ случай вступить въ раз-

говоръ съ княгиней и сказать какой-то комплиментъ княжнѣ: она, видно, не очень разборчива, ибо съ тѣхъ поръ отвѣчаетъ на его поклонъ самой милой улыбкой.

— Ты рѣшительно не хочешь познакомиться съ Литовскими? сказалъ онъ мнѣ вчера.

— Рѣшительно.

— Помилуй! самый пріятный домъ на водахъ! Все здѣшнее лучшее общество...

— Мой другъ, мнѣ и нездѣшнее ужасно надоѣло. А ты у нихъ бываешь?

— Нѣтъ еще; я говорилъ раза два съ княжной, не болѣе. Знаешь, какъ-то напрашиваться въ домъ неловко, хотя здѣсь это и водится... Другое дѣло, если бы я носилъ эполеты...

— Помилуй! да этакъ ты гораздо интереснѣе! Ты, просто, не умѣешь пользоваться своимъ выгоднымъ положеніемъ... Да, солдатская шинель въ глазахъ всякой чувствительной барышни тебя дѣлаетъ героемъ и страдальцемъ.

Грушницкій самодовольно улыбнулся.

— Какой вздоръ! сказалъ онъ.

— Я увѣренъ, продолжалъ я, что княжна въ тебя ужъ влюблена.

Онъ покраснѣлъ до ушей и надулся.

О самолюбіе! ты рычагъ, которымъ Архимедъ хотѣлъ приподнять земной шаръ!...

— У тебя все шутки! сказалъ онъ, показывая, будто сердит-ся: во-первыхъ, она меня еще такъ мало знаетъ...

— Женщины любятъ только тѣхъ, которыхъ не знаютъ.

— Да я вовсе не имѣю претензіи ей нравиться; я, просто, хочу познакомиться съ пріятнымъ домомъ; и было бы очень смѣшно, если бъ я имѣлъ какія нибудь надежды... Вотъ вы, на-примѣръ, другое дѣло: вы, побѣдители петербургскіе, только посмотрите—такъ женщины таютъ... А знаешь ли, Печоринъ, что княжна о тебѣ говорила?...

— Какъ? Она тебѣ ужъ говорила обо мнѣ?...

— Не радуйся, однако. Я какъ-то вступилъ съ нею въ раз-

говоръ у колодца, случайно; третье слово ея было: «Кто этотъ господинъ, у котораго такой непріятный, тяжелый взглядъ? онъ былъ съ вами, тогда...» Она покраснѣла и не хотѣла назвать дня, вспомнивъ свою милую выходку. «Вамъ не нужно сказывать дня, отвѣчалъ я ей, онъ вѣчно мнѣ будетъ памятенъ...» Мой другъ, Печоринъ! я тебя не поздравляю: ты у нея на дурномъ замѣчаніи... А, право, жаль, потому что Мери очень мила!...

Надобно замѣтить, что Грушницкій изъ тѣхъ людей, которые, говоря о женщинѣ, съ которой они едва знакомы, называютъ ее моя Мери, моя Sophie, если она имѣла счастье имъ понравиться.

Я принялъ серьезный видъ и отвѣчалъ ему:

— Да, она недурна... Только берегись, Грушницкій! Русскія барышни большею частью питаются только платоническою любовью, не примѣшивая къ ней мысли о замужствѣ; а платоническая любовь самая безпокойная. Княжна, кажется, изъ тѣхъ женщинъ, которыя хотятъ, чтобъ ихъ забавляли; если двѣ минуты сряду ей будетъ возлѣ тебя скучно—ты погибъ невозвратно: твое молчаніе должно возбуждать ея любопытство, твой разговоръ—никогда не удовлетворять его вполне; ты долженъ ее тревожить ежеминутно; она десять разъ публично для тебя пренебрежетъ мнѣніемъ и назоветъ это жертвой, и чтобъ вознаградить себя за это, станетъ тебя мучить, а потомъ просто скажетъ, что она тебя терпѣть не можетъ. Если ты надъ нею не приобрѣтешь власти, то даже ея первый поцѣлуй не дастъ тебѣ права на второй; она съ тобою накокетничается вдоволь, а года черезъ два выйдетъ замужъ за уroda, изъ покорности къ маменькѣ, и станетъ себя увѣрять, что она несчастна, что она одного только человѣка и любила, то есть тебя, но что небо не хотѣло соединить ее съ нимъ, потому что на немъ была солдатская шинель, хотя подъ этой толстой, сѣрой шинелью билось сердце страстное и благородное...

Грушницкій ударилъ по столу кулакомъ и сталъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ.

Я внутренно хохоталъ и даже раза два улыбнулся, но онъ, къ счастью, этого не замѣтилъ. Явно, что онъ влюбленъ, потому что сталъ еще довѣрчивѣе прежняго; у него даже появилось серебряное кольцо съ чернью, здѣшней работы: оно мнѣ показалось подозрительнымъ. Я сталъ его разсматривать, и что же?... мелкими буквами имя Мери было вырѣзано на внутренней сторонѣ, и рядомъ—число того дня, когда она подняла знаменитый стаканъ. Я утаилъ свое открытіе; я не хочу вынуждать у него признаній; я хочу, чтобы онъ самъ выбралъ меня въ свои повѣренныя—и тутъ-то я буду наслаждаться!...

Сегодня я всталъ поздно; прихожу къ колодезю—никого уже нѣтъ. Становилось жарко; бѣлая мохнатая тучка быстро бѣжали отъ сѣровыхъ горъ, обѣщая грозу; голова Машука дымилась, какъ загашенный факель; кругомъ его вились и ползали какъ змѣи сѣрые клочки облаковъ, задержанные въ своемъ стремленіи и будто зацѣпившіеся за колючій его кустарникъ. Воздухъ былъ напоенъ электричествомъ. Я углубился въ виноградную аллею, ведущую въ гротъ; мнѣ было грустно. Я думалъ о той молодой женщинѣ съ родинкой на щекѣ, про которую говорилъ мнѣ докторъ... Зачѣмъ она здѣсь? И она ли? И почему я думаю, что это она? И почему я даже такъ въ этомъ увѣренъ! Мало ли женщинъ съ родинками на щекахъ! — Размышляя такимъ образомъ, я подошелъ къ самому гроту. Смотрю: въ прохладной тѣни его свода, на каменной скамьѣ сидитъ женщина, въ соломенной шляпкѣ, окутанная черной шалью; опустивъ голову на грудь; шляпка закрывала ея лицо. Я хотѣлъ уже вернуться, чтобы не нарушить ея мечтаній, когда она на меня взглянула.

— Вѣра! вскрикнулъ я невольно.

Она вздрогнула и поблѣднѣла.

— Я знала, что вы здѣсь, сказала она.

Я сѣлъ возлѣ нея и взялъ ее за руку. Давно забытый трепетъ пробѣжалъ по моимъ жиламъ при звукѣ этого милого голоса; она посмотрѣла мнѣ въ глаза своими глубокими и спокой-

ными глазами; въ нихъ выражалась недовѣрчивость и что-то похожее на упрекъ.

— Мы давно не видались, сказалъ я.

— Давно, и перемѣнились оба во многомъ!

— Стало быть, ужъ ты меня не любишь?...

— Я замужемъ!... сказала она.

— Опять? Однако, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, эта причина также существовала, но между тѣмъ...

Она выдернула свою руку изъ моей, и щеки ея запылали.

— Можетъ быть, ты любишь своего второго мужа?...

Она не отвѣчала и отвернулась.

— Или онъ очень ревнивъ?

Молчаніе.

— Что жъ? Онъ молодъ, хорошъ, особенно вѣрно богатъ, и ты боишься... Я взглянулъ на нее и испугался: ея лицо выражало глубокое отчаяніе; на глазахъ сверкали слезы.

— Скажи мнѣ, наконецъ прошептала она, тебѣ очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидѣть. Съ тѣхъ поръ, какъ мы знаемъ другъ друга, ты ничего мнѣ не далъ, кромѣ страданій... Ея голосъ задрожалъ; она склонилась ко мнѣ и опустила голову на грудь мою.

— «Можетъ быть», подумалъ я, «ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда...»

Я ее крѣпко обнялъ, и такъ мы оставались долго. Наконецъ губы наши сблизились и слились въ жаркій, упоительный поцѣлуй; ея руки были холодны какъ ледъ, голова горѣла. Тутъ между нами начался одинъ изъ тѣхъ разговоровъ, которые на бумагѣ не имѣютъ смысла, которыхъ повторить нельзя и нельзя даже запомнить: значеніе звуковъ замѣняетъ и дополняетъ значеніе словъ, какъ въ итальянской оперѣ.

Она рѣшительно не хочетъ, чтобъ я познакомился съ ея мужемъ, тѣмъ хромымъ старичкомъ, котораго я видѣлъ мелькомъ на бульварѣ; она вышла за него для сына: онъ богатъ и страдаетъ ревматизмами. Я не позволилъ себѣ надъ нимъ ни одной насмѣшки: она его уважаетъ какъ отца — и будетъ обманы-

вать какъ мужа... Странная вещь сердце человѣческое вообще, и женское въ особенности!

Мужъ Вѣры, Семенъ Васильевичъ Г...въ, дальній родственникъ княгини Лиговской. Онъ живетъ съ нею рядомъ. Вѣра часто бываетъ у княгини; я ей далъ слово познакомиться съ Лиговскими и волочиться за княжной, чтобы отвлечь отъ нея вниманіе. Такимъ образомъ мои планы ни мало не разстроились, и мнѣ будетъ весело...

Весело!... Да, я ужъ прошелъ тотъ періодъ жизни душевной, когда ищутъ только счастья, когда сердце чувствуетъ необходимость любить сильно и страстно кого нибудь: теперь я только хочу быть любимымъ, и то очень немногими; даже мнѣ кажется, одной постоянной привязанности мнѣ было бы довольно: жалкая привычка сердца!...

Одно мнѣ всегда было странно: я никогда не дѣлался рабомъ любимой женщины, напротивъ я всегда пріобрѣталъ надъ ихъ волей и сердцемъ непобѣдимую власть, вовсе объ этомъ не стараясь. Отчего это?—оттого ли, что я никогда ничѣмъ очень не дорожу, и что онѣ ежеминутно боялись выпустить меня изъ рукъ? или это магнетическое вліяніе сильнаго организма? или мнѣ просто не удавалось встрѣтить женщину съ упорнымъ характеромъ?

Надо признаться, что я, точно, не люблю женщинъ съ характеромъ: ихъ ли это дѣло!...

Правда, теперь вспомнилъ: одинъ разъ, одинъ только разъ я любилъ женщину съ твердою волей, которую никогда не могъ побѣдить... Мы разстались врагами—и то, можетъ быть, если бъ я ее встрѣтилъ пятью годами позже, мы разстались бы иначе...

Вѣра больна, очень больна, хотя въ этомъ и не признается; я боюсь, чтобы не было у нея чахотки, или той болѣзни, которую называютъ *fièvre lente*—болѣзнь не русская вовсе, и ей на нашемъ языкѣ нѣтъ названія.

Гроза застала насъ въ гротѣ и удержала лишніе полчаса. Она не заставила меня клясться въ вѣрности, не спрашивала,

любилъ ли я другихъ съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались... Она ввѣрилась мнѣ снова съ прежней безпечностью—и я ее не обману: она единственная женщина въ мірѣ, которую я не въ силахъ былъ бы обмануть. Я знаю, мы скоро разлучимся опять и, быть можетъ, навѣки: оба пойдемъ разными путями до гроба; но воспоминаніе о ней останется неприкосновеннымъ въ душѣ моей; я ей это повторять всегда, и она мнѣ вѣрить, хотя говорить противное.

Наконецъ мы разстались; я долго слѣдилъ за нею взоромъ, пока ея шляпка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце мое болѣзненно жалось, какъ послѣ перваго разставанія. О, какъ я обрадовался этому чувству! Ужъ не молодость ли съ своими благотворными бурями хочетъ вернуться ко мнѣ опять, или это только ея прощальный взглядъ, послѣдній подарокъ — на память?... А смѣшно подумать, что на видѣ я еще мальчикъ: лицо хотя блѣдно, но еще свѣжо; члены гибки и стройны; густыя кудри вьются, глаза горять, кровь кипитъ...

Возвратясь домой, я сѣлъ верхомъ и поскакалъ въ степь. Я люблю скакать на горячей лошади по высокой травѣ, противъ пустыннаго вѣтра; съ жадностью глотаю я благовонный воздухъ и устремляю взоры въ синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметовъ, которые ежеминутно становятся все яснѣе и яснѣе. Какая бы горестъ ни лежала на сердцѣ, какое бы безпокойство ни томило мысль—все въ минуту разсѣется; на душѣ станетъ легко; усталость тѣла побѣдитъ тревогу ума. Нѣтъ женскаго взора, котораго бы я не забылъ при видѣ кудрявыхъ горъ, озаренныхъ южнымъ солнцемъ, при видѣ голубаго неба, или внимая шуму потока, падающаго съ утеса на утесъ.

Я думаю, казаки, зѣвующіе на своихъ вышкахъ, видя меня скачущаго безъ нужды и цѣли, долго мучились этою загадкой ибо вѣрно, по одеждѣ приняли меня за черкеса. Мнѣ въ самомъ дѣлѣ говорили, что въ черкесскомъ костюмѣ верхомъ я больше похожъ на кабардинца, чѣмъ многіе кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я со-

вершенный денди: ни одного галуна лишняго, оружіе цѣнное въ простой отдѣлкѣ, мѣхъ на шапкѣ не слишкомъ длинный, не слишкомъ короткій; ноговицы и черевки пригнаны со всевозможной точностью; бешметъ бѣлый, черкеска темнобурая. Я долго изучалъ горскую посадку: ничѣмъ нельзя такъ польстить моему самолюбію, какъ признавая мое искусство въ верховой ѣздѣ на кавказскій ладъ. Я держу четырехъ лошадей: одну для себя, трехъ для пріятелей, чтобъ не скучно было одному таскаться по полямъ; они берутъ моихъ лошадей съ удовольствіемъ и никогда со мной не ѣздятъ вмѣстѣ. Было уже шесть часовъ пополудни, когда вспомнилъ я, что пора обѣдать. Лошадь моя была измучена; я выѣхалъ на дорогу, ведущую изъ Пятигорска въ нѣмецкую колонію, куда часто водяное общество ѣздитъ en pique-nique. Дорога идетъ извиваясь между кустарниками, опускаясь въ небольшие овраги, гдѣ протекаютъ шумные ручьи подъ сѣнью высокихъ травъ; кругомъ амфитеатромъ возвышаются синія громады Бешту, Змѣиной, Желѣзной и Лысой горы. Спустился въ одинъ изъ такихъ овраговъ, называемыхъ на здѣшнемъ нарѣчій балками, я остановился, чтобъ напоить лошадей; въ это время показалась на дорогѣ шумная и блестящая кавалькада; дамы въ черныхъ и голубыхъ амазонкахъ, кавалеры въ костюмахъ, составляющихъ смѣсь черкесскаго съ нижегородскимъ; впереди ѣхалъ Грушницкій съ княжною Мери.

Дамы на водахъ еще вѣрятъ нападеніямъ черкесовъ среди бѣлаго дня; вѣроятно, поэтому Грушницкій сверхъ солдатской шинели повѣсилъ шашку и пару пистолетовъ; онъ былъ довольно смѣшонъ въ этомъ геройскомъ облаченіи. Высокій кустъ закрывалъ меня отъ нихъ; но сквозь листья его я могъ видѣть все и отгадать по выраженіямъ ихъ лицъ, что разговоръ былъ сантиментальный. Наконецъ они приблизились къ спуску; Грушницкій взялъ за поводъ лошадь княжны, и тогда я услышалъ конецъ ихъ разговора:

— И вы цѣлую жизнь хотите остаться на Кавказѣ? говорила княжна.

— Что для меня Россія? отвѣчалъ ей кавалеръ, страна, гдѣ тысячи людей, потому что они богаче меня, будутъ смотрѣть на меня съ презрѣніемъ, тогда какъ здѣсь—здѣсь эта толстая шинель не помѣшала моему знакомству съ вами...

— Напротивъ... сказала княжна, покраснѣвъ.

Лицо Грушницкаго изобразило удовольствіе. Онъ продолжалъ:

— Здѣсь моя жизнь протечетъ шумно, незамѣтно и быстро, подъ пулями дикарей, и если бы Богъ мнѣ каждый годъ посылалъ одинъ свѣтлый женскій взглядъ, одинъ, подобный тому...

Въ это время они поровнялись со мной; я ударилъ плетью по лошади и выѣхалъ изъ-за куста...

— Mon Dieu, un circassien!... вскрикнула княжна въ ужасѣ.

Чтобъ ее совершенно разувѣрить, я отвѣчалъ по французски, слегка наклонясь:

— Ne craignez rien, madame, je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier...

Она смутилась—но отчего? отъ своей ошибки, или оттого, что мой отвѣтъ ей показался дерзкимъ? Я желалъ бы, чтобъ послѣднее мое предположеніе было справедливо. Грушницкій бросилъ на меня недовольный взглядъ.

Поздно вечеромъ, т. е. часовъ въ одиннадцать, я пошелъ гулять по липовой аллеѣ бульвара. Городъ спалъ; только въ нѣкоторыхъ окнахъ мелькали огни. Съ трехъ сторонъ чернѣли гребни утесовъ, отрасли Машука, на вершинѣ котораго лежало злобщее облачко; мѣсяцъ подымался на востокъ; вдали серебряной бахромой сверкали снѣговья горы. Оклики часовыхъ перемежались съ шумомъ горячихъ ключей, спущенныхъ на ночь. Порою звучный топотъ коня раздавался по улицѣ, сопровождаемый скрипомъ нагайской арбы и заунывнымъ татарскимъ припѣвомъ. Я сѣлъ на скамью и задумался... Я чувствовалъ необходимость излить свои мысли въ дружескомъ разговорѣ... но съ кѣмъ?... «Что дѣлаетъ теперь Вѣра?» думалъ я... Я бы дорого далъ, чтобъ въ эту минуту позвать ее руку.

Вдруг слышу быстрые и неровные шаги... Вѣрно Грушницкій... Такъ и есть!

— Откуда?

— Отъ княгини Лиговской, сказалъ онъ очень важно. — Какъ Мери поетъ!...

— Знаешь ли что? сказалъ я ему, я пари держу, что она не знаетъ, что ты юнкеръ; она думаетъ, что ты разжалованный...

— Можетъ быть. Какое мнѣ дѣло!.. сказалъ онъ разсѣянно.

— Нѣтъ, я только такъ это говорю...

— А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно разсердилъ? Она нашла, что это неслыханная дерзость; я насилу могъ ее увѣрить, что ты такъ хорошо воспитанъ и такъ хорошо знаешь свѣтъ, что не могъ имѣть намѣренія ее оскорбить. Она говорить, что у тебя наглый взглядъ, что ты, вѣрно, о себѣ самого высокаго мнѣнія.

— Она не ошибается... А ты не хочешь ли за нее вступить?

— Мнѣ жаль, что я не имѣю еще этого права...

«Ого!» подумалъ я: «у него, видно, есть уже надежды».

— Впрочемъ, для тебя же хуже, продолжалъ Грушницкій: тебѣ теперь трудно познакомиться съ ними—а жаль! это одинъ изъ самыхъ пріятныхъ домовъ, какіе я только знаю...

Я внутренно улыбнулся.

— Самый пріятный домъ для меня теперь мой, сказалъ я, зѣвая, и всталъ, чтобъ идти.

— Однако признайся, ты раскаяваешься?...

— Какой вздоръ! Если я захочу, то завтра же вечеромъ буду у княгини...

— Посмотримъ...

— Даже, чтобъ тебѣ сдѣлать удовольствіе, стану волочиться за княжной...

— Да, если она захочетъ говорить съ тобой...

— Я подожду только той минуты, когда твой разговоръ ей наскучитъ... Прощай...

— А я пойду шататься: я ни за что теперь не засну... Послушай, пойдемъ лучше въ ресторацію, тамъ игра... мнѣ нужны нынче сильныя ощущенія...

— Желаю тебѣ проигратъся...

Я пошелъ домой.

21-го мая.

Прошла почти недѣля, а я еще не познакомился съ Лиговскими. Жду удобнаго случая. Грушницкій какъ тѣнь слѣдуетъ за княжной вездѣ; ихъ разговоры безконечны; когда же онъ ей наскучить?... Мать не обращаетъ на это вниманія, потому что онъ не женихъ. Вотъ логика матерей! Я подмѣтилъ два, три нѣжные взгляда—надо этому положить конецъ.

Вчера у колодца въ первый разъ явилась Вѣра... Она съ тѣхъ поръ, какъ мы встрѣтились въ гротѣ, не выходила изъ дома. Мы въ одно время опустили стаканы и, наклонясь, она мнѣ сказала шопотомъ:

— Ты не хочешь познакомиться съ Лиговскими?... Мы только тамъ можемъ видѣться...

Упрекъ!... скучно! Но я его заслужилъ...

Кстати: завтра балъ по подпискѣ въ залѣ рестораціи, и я буду танцевать съ княжной мазурку.

29-го мая.

Зала рестораціи превратилась въ залу благороднаго собранія. Въ девять часовъ всѣ съѣхались. Княгиня съ дочерью явилась изъ послѣднихъ; многія дамы посмотрѣли на нее съ завистью и недоброжелательствомъ, потому что княжна Мери одѣвается со вкусомъ. Тѣ, которые почитаютъ себя здѣшними аристократами, утаивъ зависть, примкнулись къ ней. Какъ быть? Гдѣ есть общество женщинъ, тамъ сейчасъ явится высшій и низшій кругъ. Подъ окномъ, въ толпѣ народа, стоялъ

Грушницкій, прижавъ лицо къ стеклу и не спуская глазъ съ своей богини; она, проходя мимо, едва примѣтно кивнула ему головой. Онъ просіялъ какъ солнце... Танцы начались польскимъ; потомъ заиграли вальсъ. Шпоры зазвенѣли, фалды поднялись и закружились.

Я стоялъ сзади одной толстой дамы, осѣненной розовыми перьями; пышность ея платья напоминала времена фижмъ, а пестрота ея негладкой кожи — счастливую эпоху мушекъ изъ черной тафты. Самая большая бородавка на ея шеѣ прикрыта была фермуаромъ. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану:

— Эта княжна Лиговская пренесносная дѣвчонка! Вообразите, толкнула меня и не извинилась, да еще обернулась и посмотрѣла на меня въ лорнетъ... *C'est impayable...* И чѣмъ она гордится? Ужъ ее надо бы проучить...

— За этимъ дѣло не станеть! отвѣчалъ услужливый капитанъ и отправился въ другую комнату.

Я тотчасъ подошелъ къ княжнѣ, приглашая ее вальсировать, пользуясь свободой здѣшнихъ обычаевъ, позволяющихъ танцовать съ незнакомыми дамами.

Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть свое торжество; ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгій видъ. Она небрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка головку на бокъ — и мы пустились. Я не знаю тали болѣе сладострастной и гибкой! Ея свѣжее дыханіе касалось моего лица; иногда локонъ, отдѣлившійся въ вихрѣ вальса отъ своихъ товарищей, скользилъ по горящей щекѣ моей... Я сдѣлалъ три тура [она вальсируетъ удивительно хорошо]. Она запыхалась, глаза ея помутнились, полураскрытыя губки едва могли прошептать необходимое: *merci, monsieur*.

Послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія, я сказалъ ей, принявъ самый покорный видъ:

— Я слышалъ, княжна, что, будучи вамъ вовсе незнакомъ, я

имѣлъ уже несчастіе заслужить вашу немилость... что вы меня назвали дерзкимъ... Неужели это правда?

— И вамъ бы хотѣлось теперь меня утвердить въ этомъ мнѣніи? отвѣчала она съ иронической гримаской, которая, впрочемъ, очень идетъ къ ея подвижной фizioноміи.

— Если я имѣлъ дерзость васъ чѣмъ нибудь оскорбить, то позвольте мнѣ имѣть еще бѣльшую дерзость: просить у васъ прощенія... И, право, я бы очень желалъ доказать вамъ, что вы насчетъ меня ошибались...

— Вамъ это будетъ довольно трудно...

— Отчего же?...

— Оттого, что вы у насъ не бываете, а эти балы, вѣроятно, не часто будутъ повторяться.

«Это значить», подумалъ я: «что ихъ двери для меня навѣки закрыты.»

— Знаете, княжна, сказалъ я съ нѣкоторой досадой, — никогда не должно отвергать кающагося преступника: съ отчаянія онъ можетъ сдѣлаться еще вдвое преступнѣе... и тогда...

Хохотъ и шушуканье насъ окружающихъ заставили меня обернуться и прервать мою фразу. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня стояла группа мужчинъ, и въ ихъ числѣ драгунскій капитанъ, изъявившій враждебныя намѣренія противъ милой княжны; онъ особенно былъ чѣмъ-то очень доволенъ; потиралъ руки, хохоталъ и перемигивался съ товарищами. Вдругъ изъ среды ихъ отдѣлился господинъ во фракѣ съ длинными усами и красной рожей, и направилъ невѣрные шаги свои прямо къ княжнѣ: онъ былъ пьянъ. Остановясь противъ смутившейся княжны и заложивъ руки за спину, онъ уставилъ на нее мутно сѣрые глаза и произнесъ хриплымъ дискантомъ:

— Пермете... ну, да что тутъ!... просто: ангажирую васъ на мазурку...

— Что вамъ угодно? произнесла она дрожащимъ голосомъ, бросая кругомъ умоляющій взглядъ. Увы! ея мать была далеко, и возлѣ никого изъ знакомыхъ ей кавалеровъ не было; одинъ

адъютантъ, кажется, все это видѣлъ, да спрятался за толпой, чтобъ не быть замѣшану^{близ} въ исторію.

— Что же? сказалъ пьяный господинъ, мигнувъ драгунско-му капитану, который ободрялъ его знаками:—развѣ вамъ не угодно?... Я-таки опять имѣю честь васъ ангажировать роуш-мазиге... Вы, можетъ, думаете, что я пьянъ? Это ничего!... Гораздо свободнѣе, могу васъ увѣрить...

Я видѣлъ, что она готова упасть въ обморокъ отъ страха и негодованія.

Я подошелъ къ пьяному господину, взялъ его довольно крѣпко за руку и, посмотрѣвъ ему пристально въ глаза, попросилъ удалиться—потому, прибавилъ я, что княжна давно ужъ общалась танцевать мазурку со мною.

— Ну, нечего, дѣлать!... въ другой разъ! сказалъ онъ, засмѣявшись, и удалился къ своимъ пристыженнымъ товарищамъ, которые тотчасъ увели его въ другую комнату.

Я былъ вознагражденъ глубокимъ, чудеснымъ взглядомъ.

Княжна подошла къ своей матери и рассказала ей все; та отыскала меня въ толпѣ и благодарила. Она объявила мнѣ, что знала мою мать и была дружна съ поддружиной моихъ тетусекъ.

— Я не знаю, какъ случилось, что мы до сихъ поръ съ вами незнакомы, прибавила она:—но признайтесь, вы этому одни виною; вы дичитесь всѣхъ такъ, что ни на что не похоже. Я надѣюсь, что воздухъ моей гостиной разгонитъ вашъ сплинъ... Не правда ли?

Я сказалъ ей одну изъ тѣхъ фразъ, которыя у всякаго должны быть заготовлены на подобный случай.

Кадрили тянулись ужасно долго.

Наконецъ съ хоръ загремѣла музыка; мы съ княжной усѣлись.

Я не намекалъ ни разу ни о пьяномъ господинѣ, ни о прежнемъ моемъ поведеніи, ни о Грушницкомъ. Впечатлѣніе произведенное на нее непріятною сценою, мало по малу разсѣялось; личико ея разцвѣло; она шутила очень мило; ея разговоръ былъ остеръ, безъ притязанія на остроу, живъ и свободенъ; ея за-

мѣчанія иногда глубоки... Я далъ ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мнѣ давно нравится. Она наклонила головку и слегка покраснѣла.

— Вы странный человѣкъ! сказала она потомъ, подиавъ на меня свои бархатные глаза и принужденно засмѣявшись.

— Я не хотѣлъ съ вами знакомиться, продолжалъ я: — потому что васъ окружаетъ слишкомъ густая толпа поклонниковъ, и я боялся въ ней исчезнуть совершенно.

— Вы напрасно боялись: они всѣ прескучные...

— Всѣ! неужели всѣ?

Она посмотрѣла на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потомъ опять слегка покраснѣла и наконецъ произнесла рѣшительно: всѣ!

— Даже мой другъ Грушницкій?

— А онъ вашъ другъ? сказала она, показывая нѣкоторое сомнѣніе.

— Да.

— Онъ, конечно, не входитъ въ разрядъ скучныхъ...

— Но въ разрядъ несчастныхъ, сказалъ я, смѣясь.

— Конечно! А вамъ смѣшно? Я бы желала, чтобъ вы были на его мѣстѣ...

— Что жъ? я былъ самъ нѣкогда юнкеромъ и, право, это самое лучшее время моей жизни!

— А развѣ онъ юнкеръ?... сказала она быстро, и потомъ прибавила: а я думала...

— Что вы думали?...

— Ничего!... Кто эта дама?

— Тутъ разговоръ перемѣнилъ направленіе и къ этому ужъ болѣе не возвращался.

Вотъ мазурка кончилась, и мы разстались — до свиданія. Дамы разѣхались. Я пошелъ ужинать и встрѣтилъ Вернера.

— А-га! сказалъ онъ: такъ-то вы! А еще хотѣли не иначе знакомиться съ княжной, какъ спасши ее отъ вѣрной смерти.

— Я сдѣлалъ лучше, отвѣчалъ я ему: спасъ ее отъ обморока на балѣ...

— Какъ это? Разскажите.

— Нѣтъ отгадывайте—о вы, отгадывающій все на свѣтѣ!

30-го мая.

Около семи часовъ вечера я гулялъ на бульварѣ. Грушницкій, увидѣвъ меня издали, подошелъ ко мнѣ; какой-то смѣшной восторгъ блисталъ въ его глазахъ. Онъ крѣпко пожалъ мнѣ руку и сказалъ трагическимъ голосомъ:

— Благодарю тебя, Печоринъ... Ты понимаешь меня?...

— Нѣтъ; но во всякомъ случаѣ не стоить благодарности, отвѣчалъ я, не имѣя точно на совѣсти никакого благодѣянія.

— Какъ? а вчера? ты развѣ забылъ?... Мери мнѣ все разсказала....

— А что? развѣ у васъ ужъ нынче все общее? и благодарность?

— Послушай, сказалъ Грушницкій очень важно:—пожалуйста, не подшучивай надъ моей любовью, если хочешь остаться моимъ пріятелемъ. Видишь: я ее люблю до безумія... и я думаю, я надѣюсь, она также меня любить... У меня есть до тебя просьба: ты будешь нынче у нихъ вечеромъ; обѣдай мнѣ замѣчать все: я знаю, ты опытенъ въ этихъ вещахъ, ты лучше меня знаешь женщинъ... Женщины! женщины! кто ихъ пойметъ? Ихъ улыбки противорѣчатъ ихъ взорамъ, ихъ слова обѣщаютъ и манятъ, а звукъ ихъ голоса отталкиваетъ... То онѣ въ минуту постигаютъ и угадываютъ самую потаенную нашу мысль, то не понимаютъ самыхъ ясныхъ намековъ... Вотъ хоть княжна: вчера ея глаза пылали страстью, останавливаясь на мнѣ, нынче они тусклы и холодны...

— Это, можетъ быть, слѣдствіе дѣйствія водъ, отвѣчалъ я.

— Ты во всемъ видишь худую сторону... матеріалистъ! прибавилъ онъ презрительно.—Впрочемъ, перемѣнимъ матерію—и, довольный плохимъ каламбуромъ, онъ развеселился.

Въ девятомъ часу мы вмѣстѣ пошли къ княгинѣ.

Проходя мимо оконъ Вѣры, я видѣлъ ее у окна. Мы кинули другъ другу бѣглый взглядъ. Она вскорѣ послѣ насъ вошла въ гостиную Лиговскихъ. Княгиня меня ей представила, какъ своей родственницѣ. Пили чай; гостей было много; разговоръ былъ общій. Я старался понравиться княгинѣ, шутилъ, заставлялъ ее нѣсколько разъ смѣяться отъ души; княжнѣ также не разъ хотѣлось поохотать, но она удерживалась, чтобъ не выйти изъ принятой роли: она находить, что томность къ ней идетъ, и, можетъ быть, не ошибается. Грушницкій, кажется, очень радъ, что моя веселость ее не заражаетъ.

Послѣ чая всѣ пошли въ залу.

— Довольна ль ты моимъ послушаніемъ, Вѣра? сказалъ я, проходя мимо ея.

Она мнѣ кинула взглядъ, исполненный любви и благодарности. Я привыкъ къ этимъ взглядамъ; но нѣкогда они составляли мое блаженство. Княгиня усадила дочь за фортепьяно; всѣ просили ее спѣть что-нибудь—я молчалъ, и, пользуясь суматохой, отошелъ къ окну съ Вѣрой, которая мнѣ хотѣла сказать что-то очень важное для насъ обоихъ... Вышло—вздорь...

Между тѣмъ княжнѣ мое равнодушіе было досадно, какъ я могъ догадаться по одному сердитому, блестящему взгляду... О, я удивительно понимаю этотъ разговоръ, нѣмой, но выразительный, краткій, но сильный!...

Она запѣла; ея голосъ не дуренъ, но поетъ она плохо... впрочемъ, я не слушалъ. За то Грушницкій, облокотясь на рояль противъ нея, пожиралъ ее глазами и поминутно говорилъ вполголоса: *charmant! délicieux!*

— Послушай, говорила мнѣ Вѣра: — я не хочу, чтобъ ты знакомился съ моимъ мужемъ, но ты долженъ непременно понравиться княгинѣ; тебѣ это легко: ты можешь все, что хочешь. Мы здѣсь только будемъ видѣться...

— Только?...

Она покраснѣла и продолжала: — Ты знаешь, что я твоя раба; я никогда не умѣла тебѣ противиться... и я буду за это наказана: ты меня разлюбилъ! По крайней мѣрѣ, я хочу сбе-

речь свою репутацію... не для себя—ты это знаешь очень хорошо!... О, я прошу тебя: не мучь меня попрежнему пустыми сомнѣніями и притворной холодною; я, можетъ быть, скоро умру; я чувствую, что слабѣю со дня на день... и, не смотря на это, я не могу думать о будущей жизни, я думаю только о тебѣ... Вы, мужчины, не понимаете наслажденій взора, пожатія руки... а я, клянусь тебѣ, я, прислушиваясь къ твоему голосу, чувствую такое глубокое странное блаженство, что самые жаркіе поцѣлуи не могутъ замѣнить его.

Между тѣмъ княжна Мери перестала пѣть. Ропотъ похвалъ раздался вокругъ нея; я подошелъ къ ней послѣ всѣхъ и сказалъ ей что-то на счетъ ея голоса довольно небрежно.

Она сдѣлала гримаску, выдвинувъ нижнюю губу, и присѣла очень насмѣшливо.

— Мнѣ это тѣмъ болѣе лестно, сказала она, что вы меня вовсе не слушали; но вы, можетъ быть, не любите музыки?...

— Напротивъ... послѣ обѣда особенно.

— Грушницкій правъ, говоря, что у васъ самые прозаическіе вкусы... и я вижу, что вы любите музыку въ гастрономическомъ отношеніи.

— Вы ошибаетесь опять; я вовсе не гастрономъ: у меня прескверный желудокъ. Но музыка послѣ обѣда усыпляетъ, а спать послѣ обѣда здорово; слѣдовательно, я люблю музыку въ медицинскомъ отношеніи. Вечеромъ же она, напротивъ, слишкомъ раздражаетъ мои нервы: мнѣ дѣлается или слишкомъ грустно или слишкомъ весело. То и другое утомительно, когда нѣтъ положительной причины грустить или радоваться, и притомъ грусть въ обществѣ смѣшна, а слишкомъ большая веселость неприлична...

Она не дослушала, отошла прочь, сѣла возлѣ Грушницкаго, и между ними начался какой-то сантиментальный разговоръ; кажется, княжна отвѣчала на его мудрыя фразы довольно разсѣянно и неудачно, хотя старалась показать, что слушаетъ его со вниманіемъ, потому что онъ иногда смотрѣлъ на нее съ удив-

леніемъ, стараясь угадать причину внутренняго волненія, изображавшагося иногда въ ея безпокойномъ взглядѣ...

Но я васъ оттадалъ, милая княжна, берегитесь! Вы хотите мнѣ отплатить тою же монетою, кольнуть мое самолюбіе—вамъ не удастся! и если вы мнѣ объявите войну, то я буду безпопаденъ.

Въ продолженіе вечера я нѣсколько разъ нарочно старался вмѣшаться въ ихъ разговоръ, но она довольно сухо встрѣчала мои замѣчанія, и я съ притворною досадою наконецъ удалился. Княжна торжествовала; Грушницкій тоже. Торжествуйте, друзья мои, торопитесь... вамъ недолго торжествовать!... Какъ быть! у меня есть предчувствіе... Знакомась съ женщиной, я всегда безошибочно отгадывалъ, будетъ она меня любить или нѣтъ...

Остальную часть вечера я провелъ возлѣ Вѣры и до сѣна наговорился о старинѣ... За что она меня такъ любить—право не знаю; тѣмъ болѣе, что это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всѣми моими мелкими слабостями, дурными страстями... Неужели зло такъ привлекательно?...

Мы вышли вмѣстѣ съ Грушницкимъ; на улицѣ онъ взялъ меня подъ руку и послѣ долгаго молчанія сказалъ:

— Ну, что?

«Ты глупъ», хотѣлъ я ему отвѣтить, но удержался и только пожалъ плечами.

6-го іюня.

Всѣ эти дни я ни разу не отступилъ отъ своей системы. Княжѣ начинаетъ нравиться мой разговоръ; я рассказалъ ей нѣкоторые изъ странныхъ случаевъ моей жизни, и она начинаетъ видѣть во мнѣ человека необыкновеннаго. Я смѣюсь надъ всѣмъ на свѣтѣ, особенно надъ чувствами: это начинается ее пугать. Она при мнѣ не смѣетъ пускаться съ Грушницкимъ въ сантиментальныя пренія, и уже нѣсколько разъ отвѣчала на его выходки насмѣшливой улыбкой; но я всякій разъ, какъ, Грушницкій подходитъ къ ней, принимаю смиренный видъ и

оставляю ихъ вдвоемъ; въ первый разъ была она этому рада, или старалась показать; во второй разсердилась на меня; въ третій—на Грушницкаго.

— У васъ очень мало самолюбія! сказала она мнѣ вчера.— Отчего вы думаете, что мнѣ веселѣе съ Грушницкимъ?

Я отвѣчалъ, что жертвую счастію пріятеля своимъ удовольствіемъ...

— И мнѣ, прибавила она.

Я пристально посмотрѣлъ на нее и принялъ серьезный видъ. Потомъ цѣлый день не говорилъ съ ней ни слова... Вечеромъ она была задумчива; нынче поутру у колодца еще задумчивѣе. Когда я подошелъ къ ней, она разсѣянно слушала Грушницкаго, который, кажется, восхищался природой, но только что завидѣла меня, она стала хохотать [очень не кстати], показывая, будто меня не примѣчаетъ. Я отошелъ подальше и украдкой сталъ наблюдать за ней; она отвернулась отъ своего собесѣдника и зѣвнула два раза. Рѣшительно, Грушницкій ей надоелъ.—Еще два дня не буду съ ней говорить.

13-го іюня.

Я часто себя спрашиваю, зачѣмъ я такъ упорно добиваюсь любви молоденькой дѣвочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? Къ чему это женское кокетство? Вѣра меня любить больше, чѣмъ княжна Мери будетъ любить когда нибудь; если бъ она мнѣ казалась непобѣдимой красавицей, то, можетъ быть, я бы завлекся трудностью предпріятія...

Но ни чуть не бывало! Слѣдовательно, это не та безпокойная потребность любви, которая насъ мучитъ въ первые годы молодости, бросаетъ насъ отъ одной женщины къ другой, пока мы найдемъ такую, которая насъ терпѣть не можетъ: тутъ начинается наше постоянство—истинная, безконечная страсть, которую математически можно выразить линіей, падающей изъ точки въ пространство; секретъ этой безмечности—только въ невозможности достигнуть цѣли, то есть конца.

Изъ чего же я хлопочу?—Изъ зависти къ Грушницкому? Бѣдняжка! онъ вовсе ея не заслуживаетъ. Или это слѣдствіе того сквернаго, но непобѣдимаго чувства, которое заставляетъ насъ уничтожать сладкія заблужденія ближняго, чтобъ имѣть мелкое удовольствіе сказать ему, когда онъ въ отчаяніи будетъ спрашивать, чему онъ долженъ вѣрить:

— Мой другъ, со мною было то же самое, и ты видишь, однако, я обѣдаю, ужинаю и сплю преспокойно и, надѣюсь, съумѣю умереть безъ крика и слезъ.

А вѣдь есть необъятное наслажденіе въ обладаніи молодой, едва распустившейся души! Она, какъ цвѣтокъ, котораго лучшій ароматъ испаряется навстрѣчу первому лучу солнца; его надо сорвать въ эту минуту и, подышавъ имъ до сыта, бросить на дорогѣ: авось кто нибудь подниметъ! Я чувствую въ себѣ эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встрѣчается на пути; я смотрю на страданія и радости другихъ только въ отношеніи къ себѣ, какъ на пищу, поддерживающую мои душевныя силы. Самъ я больше неспособенъ безумствовать подъ вліяніемъ страсти; честолюбіе у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось въ другомъ видѣ; ибо честолюбіе есть не что иное, какъ жажда власти, а первое мое удовольствіе—подчинять моей волѣ все, что меня окружаетъ. Возбуждать къ себѣ чувство любви, преданности и страха—не есть ли первый признакъ и величайшее торжество власти? Быть для кого нибудь причиною страданій и радостей, не имѣя на то никакого положительнаго права—не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость. Если бъ я почиталъ себя лучше, могущественнѣе всѣхъ на свѣтѣ, я былъ бы счастливъ; если бъ всѣ меня любили, я въ себѣ нашелъ бы безконечные источники любви. Зло порождаетъ зло; первое страданіе даетъ понятіе объ удовольствіи мучить другаго. Идея зла не можетъ войти въ голову человѣка безъ того, чтобъ онъ не захотѣлъ приложить ее къ дѣйствительности. Идеи—созданія органическія, сказалъ кто-то: ихъ рожденіе даетъ уже имъ форму, и эта форма есть дѣйствіе; тотъ, въ чьей головѣ родилось больше идей, тотъ

больше других дѣйствуетъ. Отъ этого гений, прикованный къ чиновническому столу, долженъ умереть, или сойти съ ума, точно также, какъ человѣкъ съ могучимъ тѣлосложеніемъ, при сидячей жизни и скромномъ поведеніи, умираетъ отъ апоплексическаго удара.

Страсти не что иное, какъ идеи при первомъ своемъ развитіи; онѣ принадлежность юности сердца, и глупецъ тотъ, кто думаетъ цѣлую жизнь ими волноваться: многія спокойныя рѣки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачетъ и не пѣнится до самаго моря. Но это спокойствіе часто признакъ великой, хотя скрытой силы; полнота и глубина чувствъ и мыслей не допускаетъ бѣшеныхъ порывовъ; душа, страдающая и надеясь, даетъ во всемъ себѣ строгій отчетъ и убѣждается въ томъ, что такъ должно; она знаетъ, что безъ грозъ постоянной зной солнца ее иссушить; она проникается своей собственной жизнью—лелѣетъ и наказываетъ себя, какъ любимаго ребенка. Только въ этомъ высшемъ состояніи самопознанія человѣкъ можетъ оцѣнить правосудіе Божіе.

Перечитывая эту страницу, я замѣчаю, что далеко отвлечся отъ своего предмета... Но что за нужда?... Вѣдь этотъ журналъ пишу я для себя и, слѣдственно, все, что я въ него и брошу, будетъ современемъ для меня драгоценнымъ воспоминаніемъ.

Пришелъ Грушницкій и бросился мнѣ на шею: онъ произведенъ въ офицеры. Мы выпили шампанскаго. Докторъ Вернеръ вошелъ вслѣдъ за нимъ.

— Я васъ не поздравляю, сказалъ онъ Грушницкому.

— Отчего?

— Оттого, что солдатская шинель къ вамъ очень идетъ, и признайтесь, что армейскій пѣхотный мундиръ спитый здѣсь на водахъ, не придастъ вамъ ничего интереснаго... Видите ли, вы до сихъ поръ были исключеніемъ, а теперь подойдетъ подъ общее правило.

— Толкуйте, толкуйте, докторъ! вы мнѣ не помѣшаете радоваться. Онъ не знаетъ, прибавилъ Грушницкій мнѣ на ухо: сколько надеждъ придали мнѣ эти эпoletы... О... эпoletы, эпoletы! ваши звѣздочки—путеводительныя звѣздочки... Нѣтъ! я теперь совершенно счастливъ.

— Ты идешь съ нами гулять къ провалу? спросилъ я его.

— Я? Ни за что не покажусь княжнѣ, пока не готовъ будетъ мундиръ.

— Прикажешь ей объявить о твоей радости?

— Нѣтъ, пожалуста, не говори... Я хочу ее удивить...

— Скажи мнѣ однако, какъ твои дѣла съ нею?

Онъ смутился и задумался: ему хотѣлось похвастаться, солгать—и было совѣстно, а вмѣстѣ съ этимъ было стыдно признаться въ истинѣ.

— Какъ ты думаешь, любить ли она тебя?...

— Любить ли? Помилуй, Печоринъ, какія у тебя понятія!... какъ можно такъ скоро?... Да если даже она и любитъ, то порядочная женщина этого не скажетъ...

— Хорошо! И, вѣроятно, по твоему, порядочный человекъ долженъ тоже молчать о своей страсти?...

— Эхъ братецъ! на все есть манера; многое не говорится, а отгадывается...

— Это правда... Только любовь, которую мы читаемъ въ глазахъ, ни къ чему женщину не обязываетъ, тогда какъ слова... Берегись, Грушницкій, она тебя надуваетъ...

— Она?... отвѣчалъ онъ, поднявъ глаза къ небу и самодовольно улынувшись: мнѣ жаль тебя, Печоринъ!...

Онъ ушелъ.

Вечеромъ многочисленное общество отправилось пѣшкомъ къ провалу.

По мнѣнію здѣшнихъ ученыхъ, этотъ провалъ не что иное, какъ угасшій кратеръ; онъ находится на отлогости Машука, въ верстѣ отъ города. Къ нему ведетъ узкая тропинка между кустарниковъ и скалъ; взбираясь на гору, я подалъ руку княжнѣ, и она ее не покидала въ продолженіе цѣлой прогулки.

Разговоръ нашъ начался злословіемъ: я сталъ перебирать присутствующихъ и отсутствующихъ нашихъ знакомыхъ; сначала выказывалъ смѣшныя, а послѣ дурныя ихъ стороны. Желчь моя взволновалась. Я началъ шутя и окончилъ искреннею злостью. Сперва это ее забавляло, а потомъ испугало.

— Вы опасный человѣкъ! сказала она мнѣ: я бы лучше желала попасться въ лѣсу подъ ножъ убійцы, чѣмъ вамъ на язычокъ... Я васъ прошу не шутя: когда вамъ вздумается обо мнѣ говорить дурно, возьмите лучше ножъ и зарѣжьте меня—я думаю, это вамъ не будетъ очень трудно.

— Развѣ я похожъ на убійцу?...

— Вы хуже...

Я задумался на минуту и потомъ сказалъ, принявъ глубоко-тронутый видъ:

— Да, такова была моя участь съ самаго дѣтства! всѣ читали на моемъ лицѣ признаки дурныхъ свойствъ, которыхъ не было; но ихъ предполагали—и они родились. Я былъ скроменъ—меня обвиняли въ лукавствѣ: я сталъ скрытенъ. Я глубоко чувствовалъ добро и зло—никто меня не ласкалъ, всѣ оскорбляли: я сталъ злопамятенъ; я былъ угрюмъ—другія дѣти веселы и болтливы; я чувствовалъ себя выше ихъ—меня ставили ниже: я сдѣлался завистливъ. Я былъ готовъ любить весь міръ—меня никто не понималъ: и я выучился ненавидѣть. Моя безцвѣтная молодость протекла въ борьбѣ съ собой и свѣтомъ; лучшія мои чувства, боясь насмѣшки, я хоронилъ въ глубинѣ сердца: они тамъ и умерли. Я говорилъ правду—мнѣ не вѣрили: я началъ обманывать; узнавъ хорошо свѣтъ и пружины общества, я сталъ искусенъ въ наукѣ жизни, и видѣлъ, какъ другіе безъ искусства счастливы, пользуясь даромъ тѣми выгодами, которыхъ я такъ неутомимо добивался. И тогда въ груди моей родилось отчаяніе—не то отчаяніе, которое лечатъ дуломъ пистолета, но холодное, безсильное отчаяніе, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сдѣлался нравственнымъ калѣжкой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла; я ее отрѣзалъ и бросилъ—тогда

какъ другая шевелилась и жила къ услугамъ каждому, и этого никто не замѣтилъ, потому что никто не зналъ о существованіи погибшей ея половины: но вы теперь во мнѣ разбудили воспоминаніе о ней, и я вамъ прочелъ ея эпитафію. Многимъ всѣ вообще эпитафіи кажутся смѣшными, но мнѣ — нѣтъ; особенно, когда вспомню о томъ, что подъ ними покоится. Впрочемъ, я не прошу васъ раздѣлять мое мнѣніе: если моя выходка вамъ кажется смѣшна—пожалуста, смѣйтесь; предупреждаю васъ, что это меня не огорчить ни мало.

Въ эту минуту я встрѣтилъ ея глаза: въ нихъ бѣгали слезы; рука ея, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали; ей было жаль меня! Состраданіе—чувство, которому покоряются такъ легко всѣ женщины, впустило свои когти въ ея неопытное сердце. Во все время прогулки она была разсѣянна, ни съ кѣмъ не кокетничала—а это великій признакъ!

Мы пришли къ провалу: дамы оставили своихъ кавалеровъ, но она не покидала руки моей. Остроты здѣшнихъ денди ее не смѣшили; крутизна обрыва, у котораго она стояла, ее не пугала, тогда какъ другія барышни пищали и закрывали глаза.

На возвратномъ пути я не возобновлялъ нашего печальнаго разговора, но на пустые мои вопросы и шутки она отвѣчала коротко и разсѣянно.

— Любили ли вы? спросилъ я ее наконецъ.

Она посмотрѣла на меня пристально, покачала головой и опять впала въ задумчивость: явно было, что ей хотѣлось что-то сказать, но она не знала съ чего начать; ея грудь волновалась... Какъ быть! кисейный рукавъ слабая защита, и электрическая искра пробѣжала изъ моей руки въ ея руку; всѣ почти страсти начинаются такъ, и мы часто себя очень обманываемъ, думая что насъ женщина любитъ за наши физическія или нравственныя достоинства; конечно, они приготавливаютъ, располагаютъ ея сердце къ принятію священнаго огня; а все-таки первое прикосновеніе рѣшаетъ дѣло.

— Не правда ли, я была очень любезна сегодня? сказала мнѣ княжна съ принужденной улыбкой, когда мы возвратились съ гулянья.

Мы разстались.

Она недовольна собой: она себя обвиняет въ холодности... О, это первое, главное торжество!

Завтра она захочетъ вознаградить меня. Я все это ужъ знаю наизусть—вотъ что скучно.

12-го іюня.

Ничего я видѣлъ въру. Она замучила меня своею ревностью. Княжна вздумала, кажется, ей повѣрять свои сердечныя тайны: надо признаться, удачный выборъ!

— Я отгадываю, къ чему все это клонится, говорила мнѣ въру: лучше скажи мнѣ просто теперь, что ты ее любишь.

— Но если я ее не люблю?

— То за чѣмъ же ее преслѣдовать, тревожить, волновать ея воображеніе!... О, я тебя хорошо знаю! Послушай, если ты хочешь, чтобы я тебѣ върула, то приѣзжай черезъ недѣлю въ Кисловодскъ; послѣзавтра мы переѣзжаемъ туда. Княгиня остается здѣсь дольше. Найми квартиру рядомъ: мы будемъ жить въ большомъ домѣ близъ источника, въ мезонинѣ; внизу княгиня Лиговская, а рядомъ есть домъ того же хозяина, который еще не занятъ... Приѣдешь?...

— Я обѣщалъ, и въ этотъ же день послалъ занять эту квартиру.

Грушницкій пришелъ ко мнѣ въ шесть часовъ и объявилъ, что завтра будетъ готовъ его мундиръ, какъ разъ къ балу.

— Наконецъ я буду съ нею танцовать цѣлый вечеръ... Вотъ наговорюсь! прибавилъ онъ.

— Когда же балъ?

— Да завтра! Развѣ не знаешь? Большой праздникъ, и здѣшнее начальство взялось его устроить...

— Пойдемъ на бульваръ...

— Ни за что, въ этой гадкой шинели...

— Какъ, ты ее разлюбилъ?...

Я ушелъ одинъ и, встрѣтивъ княжну Мери, позвалъ ее на мазурку. Она казалась удивлена и обрадована.

— Я думала, что вы танцуете только по необходимости, какъ прошлый разъ, сказала она, очень мило улыбаясь...

Она, кажется, вовсе не замѣчаетъ отсутствія Грушницкаго.

— Вы будете завтра пріятно удивлены, сказалъ я ей.

— Чѣмъ?...

— Это секретъ... на балѣ вы сами догадаетесь.

Я окончилъ вечеръ у княгини; гостей не было, кромѣ Вѣры и одного презабавнаго старичка. Я былъ въ духѣ, импровизировалъ разныя необыкновенныя исторіи; княжна сидѣла противъ меня и слушала мой вздоръ съ такимъ глубокимъ, напряженнымъ, даже нѣжнымъ вниманіемъ, что мнѣ стало совѣстно. Куда дѣвалась ея живость, ея кокетство, ея капризы, ея дерзкая мина, презрительная улыбка, разсѣянный взглядъ?...

Вѣра все это замѣтила; на ея болѣзненномъ лицѣ изображалась глубокая грусть; она сидѣла въ тѣни у окна, погружаясь въ широкія кресла... Мнѣ стало жаль ее.

Тогда я рассказалъ всю драматическую исторію нашего знакомства съ нею, нашей любви—разумѣется, прикрывъ все это вымышленными именами.

Я такъ живо изобразилъ мою нѣжность, мои безпокойства, восторги; я въ такомъ выгодномъ свѣтѣ выставилъ ея поступки, характеръ, что она поневолѣ должна была простить мнѣ мое кокетство съ княжной.

Она встала, подсѣла къ намъ, оживилась... и мы только въ два часа ночи вспомнили, что доктора велѣтъ ложиться спать въ одиннадцать.

13-го іюня.

За полчаса до бала явился ко мнѣ Грушницкій въ полномъ сіяніи армейскаго пѣхотнаго мундира. Къ третьей пуговицѣ пристегнута была бронзовая цѣпочка, на которой висѣлъ двойной лорнетъ; эполеты, неимоверной величины, были загнуты

кверху, въ видѣ крылышекъ Амура; сапоги его скрипѣли; въ лѣвой рукѣ держалъ онъ коричневые лайковые перчатки и фуражку, а правую взбивалъ ежеминутно въ мелкія кудри завитой хохоль. Самодовольствіе и вмѣстѣ нѣкоторая неувѣренность изображались на его лицѣ; его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если бъ это было согласно съ моими намѣреніями.

Онъ бросилъ фуражку съ перчатками на столъ и началъ оттягивать фалды и поправляться передъ зеркаломъ; черный огромный платокъ, навернутый на высочайшій подгалстучникъ, котораго щетина поддерживала его подбородокъ, высывался на полвершка изъ-за воротника; ему показалось мало: онъ вытащилъ его кверху, до ушей; отъ этой трудной работы—ибо воротникъ мундира былъ очень узокъ и беспокоенъ—лицо его налилось кровью.

— Ты, говорятъ, эти дни ужасно волочился за моею княжной? сказалъ онъ довольно небрежно и не глядя на меня.

— Гдѣ намъ дуракамъ чай пить! отвѣчалъ я ему, повторяя любимую поговорку одного изъ самыхъ ловкихъ повѣсь прошлаго времени, воспѣтаго нѣкогда Пушкинымъ.

— Скажи-ка, хорошо на мнѣ сидитъ мундиръ?... Охъ, проклятый жидъ!... какъ подъ мышками рѣжетъ?... Нѣтъ ли у тебя духовъ.

— Помилуй, чего тебѣ еще? отъ тебя и такъ ужъ несетъ розовой помадой.

— Ничего, дай-ка сюда...

Онъ налилъ себѣ полстаканки загалстухъ, въ носовой платокъ, на рукава.

— Ты будешь танцевать? спросилъ онъ.

— Не думаю.

— Я боюсь что мнѣ съ княжной придется начинать мазурку—я не знаю почти ни одной фигуры...

— А ты звалъ ее на мазурку?

— Нѣтъ еще...

— Смотри, чтобъ тебя не предупредили...

— Въ самомъ дѣлѣ? сказалъ онъ, ударивъ себя по лбу. Прощай... Пойду дожидаться ее у подъѣзда. Онъ схватилъ фуражку и побѣжалъ.

Черезъ полчаса и я отправился. На улицѣ было темно и пусто; вокругъ собранія, или трактира, какъ угодно, тѣснился народъ; окна его свѣтились; звуки полковой музыки доносили ко мнѣ вечерній вѣтеръ. Я шелъ медленно; мнѣ было грустно... Неужели, думалъ я, мое единственное назначеніе на землѣ—разрушать чужія надежды? Съ тѣхъ поръ, какъ я живу и дѣйствую, судьба какъ-то всегда приводила меня къ развязкѣ чужихъ драмъ, какъ будто безъ меня никто не могъ бы ни умереть, ни прійти въ отчаяніе! Я былъ необходимое лицо пятаго акта; невольно я разыгрывалъ жалкую роль палача, или предателя. Какую цѣль имѣла на это судьба?... Ужъ не назначенъ ли я ею въ сочинители мѣщанскихъ трагедій и семейныхъ романовъ — или въ сотрудники поставщику повѣстей, напримеръ, для «Библіотеки для Чтенія»?... Почему знать?... Мало ли людей, начиная жизнь, думаютъ кончить ее какъ Александръ Великій, или лордъ Байронъ, а между тѣмъ цѣлый вѣкъ остаются титулярными совѣтниками?...

Войдя въ залу, я спрятался въ толпѣ мужчинъ и началъ дѣлать свои наблюденія. Грушницкій стоялъ возлѣ княжны и что-то говорилъ съ большимъ жаромъ: она его разсѣянно слушала, смотрѣла по сторонамъ, приложивъ вѣеръ къ губамъ; на лицѣ ея изображалось нетерпѣніе, глаза ея искали кругомъ кого-то; я тихонько подошелъ сзади, чтобъ подслушать ихъ разговоръ.

— Вы меня мучите, княжна! говорилъ Грушницкій: вы ужасно переѣбились съ тѣхъ поръ, какъ я васъ не видалъ...

— Вы также переѣбились, отвѣчала она, бросивъ на него быстрый взглядъ, въ которомъ онъ не умѣлъ разобрать тайной насмѣшки.

— Я? я переѣбился?... О, никогда! Вы знаете, что это невозможно! Кто видѣлъ васъ однажды, тотъ навѣки унесетъ съ собою вашъ божественный образъ.

— Перестаньте...

— Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно, и такъ часто, внимали благосклонно?...

— Потому что я не люблю повтореній, отвѣчала она, смѣясь.

— О, я горько ошибся!... Я думалъ, безумный, что по крайней мѣрѣ эти эпюлеты дадутъ мнѣ право надѣяться... Нѣтъ, лучше бы мнѣ вѣкъ остаться въ этой презрѣнной солдатской шинели, которой, можетъ быть, я былъ обязанъ вашимъ вниманіемъ...

— Въ самомъ дѣлѣ, вамъ шинель гораздо болѣе къ лицу...

Въ это время я подошелъ и поклонился княжнѣ: она немножко покраснѣла и быстро проговорила:

— Не правда ли, мсье Печоринъ, что сѣрая шинель гораздо больше идетъ къ мсье Грушницкому?...

— Я съ вами не согласенъ, отвѣчалъ я: въ мундирѣ онъ еще моложавѣе.

Грушницкій не вынесъ этого удара: какъ всѣ мальчики, онъ имѣетъ претензію быть старикомъ; онъ думаетъ, что на его лицѣ глубокіе слѣды страстей замѣняютъ отпечатокъ лѣтъ. Онъ на меня бросилъ бѣшенный взглядъ, топнулъ ногою и отошелъ прочь.

— А признайтесь, сказалъ я княжнѣ: что хотя онъ всегда былъ очень смѣшонъ, но еще недавно онъ вамъ казался интересенъ... въ сѣрой шинели?...

Она потупила глаза и не отвѣчала.

Грушницкій цѣлый вечеръ преслѣдовалъ княжну, танцовалъ или съ нею, или *vis-à-vis*; онъ пожиралъ ее глазами, вздыхалъ и надѣлалъ ей мольбами и упреками. Послѣ третьей кадрили она его ужъ ненавидѣла.

— Я этого не ожидалъ отъ тебя, сказалъ онъ, подходя ко мнѣ и взявъ меня за руку.

— Чего?

— Ты съ нею танцуешь мазурку? просилъ онъ торжественнымъ голосомъ. — Она мнѣ призналась...

— Ну, такъ что-жъ? а развѣ это секретъ?

— Разумѣется... Я долженъ былъ этого ожидать отъ дѣвчонки, отъ кокетки... Ужъ я отомщу!

— Пѣняй на свою шинель, или на свои эполеты, а за чѣмъ же обвинять ее? Чѣмъ она виновата: что ты ей больше не нравишься?...

— Зачѣмъ же подавать надежды?

— Зачѣмъ же ты надѣялся? Желать и добиваться чего нибудь—понимаю; а кто жъ надѣется?

— Ты выигралъ пари, только не совсѣмъ, сказалъ онъ, злобно улыбаясь.

Мазурка началась. Грушницкій выбиралъ одну только княжну, другіе кавалеры поминутно ее выбирали: это явно былъ заговоръ противъ меня—тѣмъ лучше: ей хочется говорить со мною, ей мѣшаютъ—ей захочется вдвое болѣе.

Я раза два пожалъ ея руку; во второй разъ она ее выдернула, не говоря ни слова.

— Я дурно буду спать эту ночь, сказала она мнѣ, когда мазурка кончилась.

— Этому виновать Грушницкій.

— О нѣтъ!—И лицо ея стало такъ задумчиво, такъ грустно, что я далъ себѣ слово въ этотъ вечеръ непремѣнно поцѣловать ея руку.

Стали разбѣзжаться. Сажая княжну въ карету, я быстро прижалъ ея маленькую ручку къ губамъ своимъ. Было темно, и никто не могъ этого видѣть.

Я возвратился въ залу очень доволенъ собою.

— За большимъ столомъ ужинала молодежь и между ними Грушницкій. Когда я вошелъ, всѣ замолчали; видно, говорили обо мнѣ. Многіе съ прошедшаго бала на меня дуются, особенно драгунскій капитанъ; а теперь кажется, рѣшительно составляется противъ меня враждебная шайка подъ командой Грушницкаго. У него такой гордый и храбрый видъ...

Очень радъ; я люблю враговъ, хотя не по христіански. Они меня забавляютъ, волнуютъ мнѣ кровь. Быть всегда на стражѣ,

ловить каждый взглядъ, значеніе каждаго слова, угадывать намѣреніе, разрушать заговоры, притворяться обманутымъ, и вдругъ однимъ толчкомъ опрокинуть все огромное и многотрудное зданіе изъ хитростей и замысловъ—вотъ что я называю жизнью.

Въ продолженіе ужина Грушницкій шептался и перемигивался съ драгунскимъ капитаномъ.

14-го іюня.

Нынче поутру Вѣра уѣхала съ мужемъ въ Кисловодскъ. Я встрѣтилъ ихъ карету, когда шелъ къ княгинѣ Лиговской. Она мнѣ кивнула головой: во взглядѣ ея былъ упрекъ.

Кто жъ виноватъ? Зачѣмъ она не хочетъ дать мнѣ случай видѣться съ нею наединѣ? Любовь, какъ огонь, — безъ пищи гаснетъ. Авось ревность сдѣлаетъ то, чего не могли мои просьбы.

Я сидѣлъ у княгини битый часъ. Мери не вышла: больна. Вечеромъ на бульварѣ ея не было. Вновь составившаяся шайка, вооруженная лорнетами, приняла въ самомъ дѣлѣ грозный видъ. Я радъ, что княжна больна: они сдѣлали бы ей какую нибудь дерзость. У Грушницкаго растрепанная прическа и отчаянный видъ: онъ, кажется, въ самомъ дѣлѣ огорченъ, особенно самолюбіе его оскорблено; но вѣдь есть же люди, въ которыхъ даже отчаяніе забавно!...

Возвратясь домой, я замѣтилъ, что мнѣ чего-то недостаетъ. Я не видалъ ея! Она больна? Ужъ не влюбился ли я въ самомъ дѣлѣ?... Какой вздоръ!

15-го іюня.

Въ одинадцать часовъ утра — часъ, въ который княгиня Лиговская обыкновенно потѣетъ въ Ермоловской ваннѣ — я шелъ мимо ея дома. Княжна сидѣла задумчиво у окна; увидѣвъ меня, вскочила.

Я вошелъ въ переднюю, людей никого не было, и я безъ доклада, пользуясь свободой здѣшнихъ нравовъ, пробрался въ гостиную.

Тусклая блѣдность покрывала милое лицо княжны. Она стояла у фортепьяно, опершись одной рукой на спинку кресель; эта рука чуть-чуть дрожала. Я тихо подошелъ къ ней и сказалъ:

— Вы на меня сердитесь?...

Она подняла на меня томный, глубокий взоръ и покачала головой; ея губы хотѣли проговорить что-то, и не могли; глаза наполнились слезами; она опустилась въ кресла и закрыла лицо руками.

— Что съ вами? сказалъ я, взявъ ея руку.

— Вы меня не уважаете!... О, оставьте меня!...

Я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ... Она выпрямилась въ креслахъ; глаза ея засверкали.

Я остановился, взявшись за ручку двери, и сказалъ:

— Простите меня, княжна! я поступилъ какъ безумецъ... этого въ другой разъ не случится; я приму свои мѣры... Затѣмъ вамъ знать то, что происходило до сихъ поръ въ душѣ моей? Вы этого никогда не узнаете и тѣмъ лучше для васъ. Прощайте.

Уходя, мнѣ кажется, я слышалъ, что она плакала.

Я до вечера бродилъ пѣшкомъ по окрестностямъ Машука, утомился ужасно и, пришедши домой, бросился на постель въ совершенномъ изнеможеніи.

Ко мнѣ зашелъ Вернеръ.

— Правда ли, спросилъ онъ, что вы женитесь на княжнѣ Лиговской?

— А что?

— Весь городъ говоритъ; всѣ мои больные заняты этой важной новостью; а ужъ эти больные такой народъ: все знаютъ!

«Это штуки Грушницкаго», подумалъ я.

— Чтобъ вамъ доказать, докторъ, ложность этихъ слуховъ, объявляю вамъ по секрету, что завтра я переѣзжаю въ Кисловодскъ...

— И княжна также?...

— Нѣтъ; она остается еще на недѣлю здѣсь...

— Такъ вы не женитесь?...

— Докторъ, докторъ! посмотрите на меня: неужели я похожъ на жениха, или на что нибудь подобное?

— Я этого не говорю... Но вы знаете, есть случаи... прибавилъ, онъ, хитро улыбаясь: въ которыхъ благородный человѣкъ обязанъ жениться, и есть маменьки, которыя по крайней мѣрѣ не предупреждаютъ этихъ случаевъ... Итакъ, я вамъ совиѣтую, какъ пріятель, быть осторожнѣе. Здѣсь, на водахъ, преопасный воздухъ: сколько я видѣлъ прекрасныхъ молодыхъ людей, достойныхъ лучшей участи, и увѣжавшихъ отсюда прямо подъ вѣнецъ... Даже, повѣрите ли, меня хотѣли женить! Именно, одна увѣдная маменька, у которой дочь была очень блѣдна. Я имѣлъ несчастье сказать ей, что цвѣтъ лица возвратится послѣ свадьбы; тогда она со слезами благодарности предложила мнѣ руку своей дочери и все свое состояніе — пятьдесятъ душъ, кажется. Но я отвѣчалъ, что я къ этому неспособенъ.

Вернеръ ушелъ въ полной увѣренности, что онъ меня предостерегъ.

Изъ словъ его я замѣтилъ, что про меня и княжну ужъ распущены въ городѣ разные дурные слухи: это Грушницкому даромъ не пройдетъ!

18-го іюня.

Вотъ ужъ три дня, какъ я въ Кисловодскѣ. Каждый день вижу Вѣру у колодца и на гуляньѣ. Утромъ, просыпаясь, сажусь у окна и навожу дорнетъ на ея балконъ; она давно ужъ одѣта и ждетъ условленнаго знака; мы встрѣчаемся, будто нечаянно, въ саду, который отъ нашихъ домовъ спускается къ колодцу. Живительный горный воздухъ возвратилъ ей цвѣтъ лица и силы. Не даромъ Нарзанъ называется богатырскимъ

ключемъ. Здѣшніе жители утверждаютъ, что воздухъ Кисловодска располагаетъ къ любви, что здѣсь бывають развязки всѣхъ романовъ, которые когда либо начинались у подошвы Машука. И въ самомъ дѣлѣ, здѣсь все дышетъ уединеніемъ; здѣсь все таинственно — и густыя сѣни липовыхъ аллей, склоняющихся надъ потокомъ, который съ шумомъ и пѣною, падая съ плиты на плиту, прорѣзываетъ себѣ путь между зеленѣющими горами — и ущелья, полныя мглою и молчаніемъ, которыхъ вѣтви разбѣгаются отсюда во всѣ стороны — и свѣжесть ароматическаго воздуха, отягощеннаго испареніями высокихъ южныхъ травъ и бѣлой акаціи — и постоянный сладостно-усыпительный шумъ студенихъ ручьевъ, которые, встрѣтаясь въ концѣ долины, бѣгутъ дружно въ запусты и наконецъ кидаются въ Подкумокъ. Съ этой стороны ущелье шире и превращается въ зеленую лошину; по ней вьется пыльная дорога. Всякій разъ, какъ я на нее взгляну, мнѣ все кажется, что ѣдетъ карета, а изъ окна, кареты выглядываетъ розовое личико. Уже много каретъ проѣхало по этой дорогѣ — а той все нѣтъ. Слободка, которая за крѣпостью, населилась; въ рестораціи, построенной на холмѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ моей квартиры, начинаютъ мелькать вечеромъ огни сквозь двойной рядъ тополей; шумъ и звонъ стакановъ раздаются до поздней ночи.

Нигдѣ такъ много не пьютъ кахетинскаго вина и минеральной воды, какъ здѣсь.

Но смѣшивать два эти ремесла

Есть тѣмъ охотниковъ — а не изъ ихъ числа.

Грушницкій съ своей шайкой бушуетъ каждый день въ трактирѣ, и со мной почти не кланяется.

Онъ только вчера пріѣхалъ, а успѣлъ уже поссориться съ тремя стариками, которые хотѣли прежде его сѣсть въ ванну, рѣшительно — несчастія развиваютъ въ немъ воинственный духъ.

22-го іюня.

Наконецъ онѣ пріѣхали. Я сидѣлъ у окна, когда услышалъ стукъ ихъ кареты, у меня сердце вздрогнуло... Что же это такое? Неужто я влюбленъ?... Я такъ глупо созданъ, что этого можно отъ меня ожидать.

Я у нихъ обѣдалъ. Княгиня на меня смотрѣла очень нѣжно, и не отходитъ отъ дочери... плохо! За то Вѣра ревнуетъ меня къ княжнѣ—добился же я этого благополучія. Чего женщина не сдѣлаетъ, чтобъ огорчить соперницу? Я помню, одна меня полюбила за то, что я любилъ другую. Нѣтъ ничего парадоксальнѣе женскаго ума; женщинъ трудно убѣдить въ чемъ нибудь; надо ихъ довести до того, чтобъ онѣ убѣдили себя сами. Порядокъ доказательствъ, которыми онѣ уничтожаютъ свои предубѣжденія, очень оригиналенъ; чтобъ выучиться ихъ диалектикѣ, надо опрокинуть въ умѣ своемъ всѣ школьныя правила логики. Напримѣръ, способъ обыкновенный:

Этотъ человѣкъ любить меня; но я замужемъ: слѣдовательно, не должна его любить.

Способъ женскій:

— Я не должна его любить, ибо я замужемъ; но онъ меня любить—слѣдовательно...

Тутъ нѣсколько точекъ, ибо разсудокъ ужъ ничего не говорить, а говорить большею частью: языкъ, глаза и вслѣдъ за ними сердце, если оное имѣется.

Что если когда нибудь эти записки попадутся на глаза женщинѣ?—«Клевета!» закричитъ она съ негодованіемъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ поэты пишутъ и женщины ихъ читаютъ [за что имъ глубочайшая благодарность], ихъ столько разъ называли ангелами, что онѣ въ самомъ дѣлѣ, въ простотѣ душевной, повѣрили этому комплименту, забывая, что тѣ же поэты за деньги величали Нерона полубогомъ...

Не кстати было бы мнѣ говорить о нихъ съ такою злостью, мнѣ, который, кромѣ ихъ, на свѣтѣ ничего не любить, мнѣ, который всегда готовъ былъ имъ жертвовать спокойствіемъ,

честолюбіемъ, жизнию... Но вѣдь я не въ припадкѣ досады и оскорбленнаго самолюбія стараюсь сдернуть съ нихъ то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взоръ проникаетъ. Нѣтъ, все, что я говорю о нихъ, есть только слѣдствіе—

Ума холодныхъ наблюденій
И сердца горестныхъ замѣтъ.

Женщины должны бы желать, чтобъ всѣ мужчины ихъ также хорошо знали, какъ я, потому что люблю ихъ во сто разъ больше съ тѣхъ поръ, какъ ихъ не боюсь и постигъ ихъ мелкія слабости.

Кстати: Вернеръ намеренъ сравнить женщинъ съ заколдованнымъ лѣсомъ, о которомъ рассказываетъ Тассъ въ своемъ «Освобожденномъ Іерусалимѣ». «Только приступи», говорилъ онъ, «на тебя полетятъ со всѣхъ сторонъ такіе страхи, что Боже упаси: долгъ, гордость, приличіе, общее мнѣніе, насмѣшка, презрѣніе... Надо только не смотрѣть, а идти прямо; мало по малу чудовища исчезаютъ и открывается предъ тобой тихая и свѣтлая поляна, среди которой цвѣтеть зеленый миртъ. За то бѣда, если на первыхъ шагахъ сердце дрогнетъ и обернешься назадъ!»

24-го іюня.

Сегодняшній вечеръ былъ обилень происшествіями. Верстахъ въ трехъ отъ Кисловодска, въ ущельи, гдѣ протекаетъ Подкумокъ, есть скала называемая Кольцомъ; это—ворота, образованныя природой; они поднимаются на высокомъ холмѣ и заходящее солнце сквозь нихъ бросаетъ на міръ свой послѣдній, пламенный взглядъ. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотрѣть на закатъ солнца сквозь каменное окошко. Никто изъ нихъ, по правдѣ сказать, не думалъ о солнцѣ. Я ѣхалъ возлѣ княжны; возвращаясь домой, надо было переѣзжать Подкумокъ въ бродѣ. Горныя рѣчки самыя мелкія опасны особенно тѣмъ, что дно ихъ совершенный калейдоскопъ: каждый день

отъ напора волнъ оно измѣняется: гдѣ былъ вчера камень, тамъ нынче яма. Я взялъ подъ уздцы лошадей княжны и свелъ ее въ воду, которая не была выше коленъ; мы тихонько стали подвигаться наискось прогивъ теченія. Известно, что проѣзжая быстрыя рѣчки, не должно смотрѣть на воду, ибо тотчасъ голова закружится. Я забылъ объ этомъ предупредить княжну Мери.

Мы были уже на срединѣ, въ самой быстротѣ, когда она вдругъ на сѣдлѣ покачнулась. «Мнѣ дурно!» проговорила она слабымъ голосомъ. Я быстро наклонился къ ней, обвилъ рукой ея гибкую талію.

— Смотрите на верхъ! шепнулъ я ей: это ничего, только не бойтесь; я съ вами.

Ей стало лучше; она хотѣла освободиться отъ моей руки, но я еще крѣпче обвилъ ея нѣжный, мягкій станъ; моя щека почти касалась ея щеки, отъ нея вѣяло пламенемъ.

— Что вы со мною дѣлаете?... Боже мой!...

Я не обращалъ вниманія на ея трепеть и смущеніе, и губы мои коснулись ея нѣжной щечки; она вздрогнула, но ничего не сказала; мы вѣхали сзади: никто не видалъ. Когда мы выбрались на берегъ, то всѣ пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь; я остался возлѣ нея; видно было, что ее беспокоило мое молчаніе, но я поклялся не говорить ни слова—изъ любопытства. Мнѣ хотѣлось видѣть, какъ она выпутается изъ этого затруднительнаго положенія.

— Или вы меня презираете, или очень любите! сказала она наконецъ голосомъ, въ которомъ были слезы.—Можетъ быть, вы хотите посмѣяться надо мной, возмутить мою душу, и потомъ оставить... Это было бы такъ подло, такъ низко, что одно предположеніе... О, нѣтъ! не правда ли, прибавила она голосомъ нѣжной довѣренности: не правда ли, во мнѣ нѣтъ ничего такого, что бы исключало уваженіе? Вашъ дерзкій поступокъ... я должна, я должна вамъ его простить, потому что позволила... Отвѣчайте, говорите же, я хочу слышать вашъ голосъ!...

Въ послѣднихъ словахъ было такое женское нетерпѣніе, что я невольно улыбнулся; къ счастью, начинало смеркаться... Я ничего не отвѣчалъ.

— Вы молчите? продолжала она: вы, можетъ быть, хотите, чтобъ я первая вамъ сказала, что я васъ люблю...

Я молчалъ.

— Хотите ли этого? продолжала она, быстро обратясь ко мнѣ... Въ рѣшительности ея взора и голоса было что-то страшное...

— Зачѣмъ? отвѣчалъ я, пожавъ плечами.

Она ударила хлыстомъ свою лошадь и пустилась во весь духъ по узкой, опасной дорогѣ; это произошло такъ скоро, что я едва могъ ее догнать, и то, когда ужъ она присоединилась къ остальному обществу. До самого дома она говорила и смѣялась поминутно. Въ ея движеніяхъ было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу. Всѣ замѣтили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренно радовалась, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервическій припадокъ: она проведетъ ночь безъ сна и будетъ плакать. Эта мысль мнѣ доставляетъ необыкновеннаго наслажденіе: есть минуты, когда я понимаю Вампира... А еще слышу добрымъ малымъ и добиваюсь этого названія!

Слѣзши съ лошадей, дамы вошли къ княгинѣ; я былъ взволнованъ и поскакалъ въ горы развѣять мысли, толпившіяся въ головѣ моей. Росистый вечеръ дышалъ упонительной прохладой. Луна подымалась изъ-за темныхъ вершинъ. Каждый шагъ моей некованной лошади глухо раздавался въ молчаніи ущелій; у водопада я напоилъ коня, жадно вдохнулъ въ себя раза два свѣжій воздухъ южной ночи и пустился въ обратный путь. Я ѣхалъ черезъ слободку. Огни начинали угасать въ окнахъ; часовые на валу крѣпости и казаки на окрестныхъ пикетахъ протяжно переключались...

Въ одномъ изъ домовъ слободки, построенномъ на краю оврага, замѣтилъ я чрезвычайное освѣщеніе; по временамъ раздавался нестройный говоръ и крики, изобличавшіе военную пирушку. Я слѣзъ и подкрался къ окну; неплотно притворенный

ставень позволилъ мнѣ видѣть пирующихъ и разслушать ихъ слова. Говорили обо мнѣ.

Драгунскій капитанъ, разгоряченный виномъ, ударилъ по столу кулакомъ, требуя вниманія.

— Господа! сказалъ онъ, это ни на что не похоже. Печорина надо проучить! Эти петербургскія слѣтки всегда зазнаются, пока ихъ не ударишь по носу! Онъ думаетъ, что онъ только одинъ и жилъ въ свѣтѣ, оттого что носить всегда чистыя перчатки и вычищенные сапоги.

— И что за надменная улыбка! А я увѣренъ, между тѣмъ, что онъ трусъ,—да, трусъ?

— Я думаю то же, сказалъ Грушницкій.—Онъ любитъ отшучиваться. Я разъ ему такихъ вещей наговорилъ, что другой бы меня изрубилъ на мѣстѣ, а Печоринъ все обратилъ въ смѣшную сторону. Я, разумѣется, его не вызвалъ, потому что это было его дѣло; да не хотѣлъ и связываться...

— Грушницкій на него золъ за то, что онъ отбилъ у него княжну, сказалъ кто-то.

— Вотъ еще что вздумали! Я, правда, немножко волочился за княжной, да и тотчасъ отсталъ, потому что не хочу жениться, а компрометировать дѣвушку не въ моихъ правилахъ.

— Да, я васъ увѣраю, что онъ первѣйшій трусъ, то есть Печоринъ, а не Грушницкій,—а Грушницкій молодецъ, и притомъ онъ мой истинный другъ! сказалъ опять драгунскій капитанъ.

— Господа! никто здѣсь его не защищаетъ? Никто? Тѣмъ лучше! Хотите испытать его храбрость? Это васъ позабавить...

— Хотимъ; только какъ?

— А вотъ слушайте: Грушницкій на него особенно сердитъ—ему первая роль! Онъ придерется къ какойнибудь глупости и вызоветъ Печорина на дуэль... Погодите; вотъ въѣздомъ и штука... Вызоветъ на дуэль: хорошо! Все это—вызовъ, приготовленія, условія, будетъ какъ можно торжественнѣе и ужаснѣе—я за это берусь; я буду твоимъ секундантомъ, мой бѣдный другъ! Хорошо! Только вотъ гдѣ закорючка: въ писто-

лети мы не положить пуль. Ужъ я вамъ отвѣчаю, что Печоринъ струсить—на шести шагахъ ихъ поставлю, чортъ возьми! Согласны ли, господа?

— Славно придумано!... Согласны!... Почему же нѣтъ?... раздалось со всѣхъ сторонъ.

— А ты, Грушницкій?

Я съ трепетомъ ждалъ отвѣта Грушницкаго; холодная злость овладѣла мною при мысли, что если бъ не случай, то я могъ бы сдѣлаться посмѣшищемъ этихъ дураковъ. Если бъ Грушницкій не согласился, я бросился бъ ему на шею. Но послѣ нѣкотораго молчанія, онъ всталъ съ своего мѣста, протянулъ руку капитану и сказалъ очень важно: «Хорошо, я согласенъ!»

Трудно описать восторгъ всей честной компаніи.

Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть. «Зачто они всѣ меня ненавидятъ?» думалъ я.—«Зачто? Обидѣлъ ли я кого нибудь? Нѣтъ. Неужели я принадлежу къ числу тѣхъ людей, которыхъ одинъ видъ уже порождаетъ недоброжелательство?» И я чувствовалъ, что ядовитая злость мало по малу наполняла мою душу. «Берегитесь, господинъ Грушницкій!» говорилъ я, прохаживаясь взадъ и впередъ по комнатѣ: «со мной этакъ не шутятъ. Вы дорого можете заплатить за одобреніе вашихъ глупыхъ товарищей. Я вамъ не игрушка!...»

Я не спалъ всю ночь. Къ утру я былъ желтъ, какъ померанецъ.

Путру я встрѣтилъ княжну у колодца.

— Вы больны? сказала она, пристально посмотрѣвъ на меня.

— Я не спалъ ночь.

— И я также... Я васъ обвиняла... можетъ быть, напрасно?

Но объяснитесь, я могу вамъ простить все...

— Все ли?...

— Все... только говорите правду... только скорѣе... Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение: можетъ быть, вы боитесь препятствій со стороны моихъ родныхъ... это ничего: когда они узнаютъ... [ея голосъ задро-

жалъ] я ихъ упрошу. Или ваше собственное положеніе... но знайте, что я всёмоу пожертвовать для того, котораго люблю... О, отвѣчайте скорѣй—сжальтесь... вы меня не презираете—не правда ли?

Она схватила меня за руку.

Княгиня шла впереди насъ съ мужемъ Вѣры и ничего не видала; но насъ могли видѣть гуляющіе больные, самые любопытные сплетники изъ всѣхъ любопытныхъ, и я быстро освободилъ свою руку отъ ея страстнаго пожатія.

— Я вамъ скажу всю истину, отвѣчалъ я княжнѣ: не буду оправдываться, ни объяснять своихъ поступковъ: я васъ не люблю.

Ея губы слегка поблѣднѣли.

— Оставьте меня, сказала она едва внятно.

Я пожалъ плечами, повернулся и ушелъ.

25-го іюня.

Я иногда себя презираю... Не оттого ли я презираю и другихъ?... Я сталъ неспособенъ къ благороднымъ порывамъ; я боюсь показаться смѣшнымъ самому себѣ. Другой бы; на моемъ мѣстѣ, предложилъ княжнѣ *son coeur et sa fortune*; но надо мною слово жениться—имѣетъ какую-то волшебную власть: какъ бы страстно я ни любилъ женщину, если она мнѣ дастъ только почувствовать, что я долженъ на ней жениться—прости любовь! мое сердце превращается въ камень, и ничто его не разогрѣетъ снова. Я готовъ на всѣ жертвы, кромѣ этой; двадцать разъ жизнь свою, даже честь поставлю на карту... но свободы моей не продамъ. Отчего я такъ дорожу ею? что мнѣ въ ней? куда я себя готовлю? чего я жду отъ будущаго?... Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страхъ, неизъяснимое предчувствіе... Вѣдь есть люди, которые безотчетно боятся пауковъ, таракановъ, мышей... Признаться ли? Когда я былъ еще ребенкомъ, одна старуха гадала про меня моей матери; она пред-

сказала мнѣ смерть отъ злой жены; это меня тогда глубоко поразило: въ душѣ моей родилось непреодолимое отвращеніе къ женитбѣ... Между тѣмъ что-то мнѣ говорить, что ея предсказаніе сбудется; по крайней мѣрѣ буду стараться, чтобъ оно сбылось какъ можно позже.

26-го іюня.

Вчера пріѣхалъ сюда фокусникъ Апфельбаумъ. На дверяхъ рестораціи явилась длинная афишка, извѣщающая почтеннѣйшую публику о томъ, что вышеименованный удивительный фокусникъ, акробатъ, химикъ и оптикъ, будетъ имѣть честь дать великолѣпное представленіе сегодняшняго числа въ восемь часовъ вечера, въ залѣ благороднаго собранія [иначе — въ рестораціи]; билеты по два рубля съ полтиной.

Всѣ собираются идти смотрѣть удивительнаго фокусника; даже княгиня Лиговская, не смотря на то, что дочь ея больна, взяла для себя билетъ.

Нынче послѣ обѣда я шелъ мимо оконъ Вѣры; она сидѣла на балконѣ одна; къ ногамъ моимъ упала записка:

«Сегодня въ десятомъ часу вечера приходи ко мнѣ по большой лѣстницѣ; мужъ мой уѣхалъ въ Пятигорскъ, и завтра утромъ только вернется. Моихъ людей и горничныхъ не будетъ въ домѣ; я имъ всѣмъ раздала билеты, также и людямъ княгини. — Я жду тебя; приходи непременно.»

«Ага!» подумалъ я, «наконецъ таки вышло по моему».

Въ восемь часовъ пошелъ я смотрѣть фокусника. Публика собралась въ исходѣ девятаго; представленіе началось. Въ заднихъ рядахъ стульевъ узналъ я лакеевъ и горничныхъ Вѣры и княгини. Всѣ были тутъ наперечетъ. Грушницкій сидѣлъ въ первомъ ряду съ лорнетомъ. Фокусникъ обращался къ нему всякій разъ, какъ ему нуженъ былъ носовой платокъ, часы, кольцо, и проч.

Грушницкій мнѣ не кланяется ужъ нѣсколько времени, а

нынче раза два посмотрѣлъ на меня довольно дерзко. Все это ему припомнится, когда намъ придется расплачиваться.

Въ исходѣ десятаго я всталъ и вышелъ.

На дворѣ было темно, хотъ глазъ выколи. Тяжелыя, холодныя тучи лежали на вершинахъ окрестныхъ горъ; лишь изрѣдка умирающій вѣтеръ шумѣлъ вершинами тополей, окружающихъ ресторацію; у оконъ ея толпился народъ. Я спустился съ горы и, повернувъ въ ворота, прибавилъ шагу. Вдругъ мнѣ показалось, что кто-то идетъ за мною. Я остановился и осмотрѣлся. Въ темнотѣ ничего нельзя было разобрать; однако я, изъ осторожности, обошелъ, будто гуляя, вокругъ дома. Проходя мимо оконъ княжны, я слышалъ снова шаги за собою; человѣкъ, завернутый въ шинель, пробѣжалъ мимо меня. Это меня встревожило; однако я прокрался къ крыльцу и поспѣшно взбѣжалъ на темную лѣстницу. Дверь отворилась, маленькая ручка схватила мою руку...

— Никто тебя не видалъ? сказала шопотомъ Вѣра, прижавшись ко мнѣ.

— Никто.

— Теперь ты вѣришь ли, что я тебя люблю? О! я долго колебалась, долго мучилась... но ты изъ меня дѣлаешь все, что хочешь.

Ея сердце сильно билось, руки были холодны, какъ ледъ. Начались упреки ревности, жалобы; она требовала отъ меня, чтобъ я ей во всемъ признался, говоря, что она съ покорностью перенесетъ мою измѣну, потому что хочетъ единственно моего счастья. Я этому не совсѣмъ вѣрилъ, но успокоилъ ее клятвами, обѣщаніями и проч.

— Такъ ты не женишься на Мери? не любишь ее?... А она думаетъ... знаешь ли, она влюблена въ тебя до безумія, бѣдняжка!...

.

Около двухъ часовъ пополуночи я отворилъ окно и, связавъ двѣ шали, спустился съ верхняго балкона на нижній, придер-

живаясь за колонну. У княжны еще горѣлъ огонь. Что-то меня толкнуло къ этому окну. Занавѣсъ былъ не совсѣмъ задернутъ, и я могъ бросить любопытный взглядъ во внутренность комнаты. Мери сидѣла на своей постели, скрестивъ на колѣняхъ руки; ея густые волосы были собраны подъ ночнымъ чепчикомъ обшитымъ кружевами; большой пунцовый платокъ покрывалъ ея бѣлыя плечики и маленькая ножка пряталась въ пестрыхъ персидскихъ туфляхъ. Она сидѣла неподвижно, опустивъ голову на грудь; предъ нею на столикѣ была раскрыта книга, но глаза ея, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, въ сотый разъ пробѣгали одну и ту же страницу, тогда какъ мысли ея были далеко...

Въ эту минуту кто-то шевельнулся за кустомъ. Я спрыгнулъ съ балкона на дерѣв. Невидимая рука схватила меня за плечо:

— Ага! сказалъ грубый голосъ:—попался!... будешь у меня къ княжнамъ ходить ночью!

— Держи его крѣпче! закричалъ другой, выскочившій изъ за угла.

Это были Грушницкій и драгунскій капитанъ.

Я ударилъ послѣдняго по головѣ кулакомъ, спибы его съ ногъ и бросился въ кусты. Всѣ тропинки сада, покрывавшаго отлогость противъ нашихъ домовъ, были мнѣ извѣстны.

— Воры! караулъ!... кричали они; раздался ружейный выстрѣлъ; дымящійся пыжъ упалъ почти къ моимъ ногамъ.

Черезъ минуту я былъ уже въ своей комнатѣ, раздѣлся и легъ. Едва мой лакей заперъ дверь на замокъ, какъ ко мнѣ начали стучаться Грушницкій и капитанъ.

— Печоринъ! вы спите? здѣсь вы?... закричалъ капитанъ.

— Сплю, отвѣчалъ я сердито.

— Вставайте!—воры... черкесы...

— У меня насморкъ, отвѣчалъ я; боюсь простудиться.

Они ушли. Напрасно я имъ откликнулся: они бѣ еще съ часъ проискали меня въ саду. Тревога между тѣмъ, сдѣлалась ужасная. Изъ крѣпости прискакалъ казакъ. Все зашевелилось;

стали искать черкесовъ во всѣхъ кустахъ—и, разумѣется, ничего не нашли. Но многіе, вѣроятно, остались въ твердомъ убѣжденіи, что если бѣ гарнизонъ показалъ болѣе храбрости и поспѣшности, то по крайней мѣрѣ десятка два хищниковъ остались бы на мѣстѣ.

27-го іюня.

Нынче поутру у колодца только и было толковъ, что о ночномъ нападеніи черкесовъ. Выпивши положенное число стакановъ нарзана, пройдясь разъ десять по длинной липовой аллеѣ, я встрѣтилъ мужа Вѣры, который только что пріѣхалъ изъ Пятигорска. Онъ взялъ меня подъ руку, и мы пошли въ ресторацію завтракать; онъ ужасно беспокоился о женѣ. «Какъ она перепугалась нынче ночью!» говорилъ онъ: «вѣдь надобно жѣ, чтобъ это случилось именно тогда, какъ я въ отсутствіи.» Мы усѣлись завтракать возлѣ двери, ведущей въ угловую комнату, гдѣ находилось человѣкъ десять молодежи, въ числѣ которой былъ и Грушницкій. Судьба вторично доставила мнѣ случай подслушать разговоръ, который долженъ былъ рѣшить его участь. Онъ меня не видалъ и, слѣдственно, я не могъ подозрѣвать умысла; но это только увеличивало его вину въ моихъ глазахъ.

— Да неужели въ самомъ дѣлѣ это были черкесы? сказалъ кто-то.—Видѣлъ ли ихъ ктонибудь?

— Я вамъ расскажу всю истину, отвѣчалъ Грушницкій: только пожалуйста не выдавайте меня. Вотъ какъ это было: вчера одинъ человѣкъ, котораго я вамъ не назову, приходитъ ко мнѣ и рассказываетъ, что видѣлъ въ десятомъ часу вечера, какъ кто-то прокрался въ домъ къ Лиговскимъ. Надо вамъ замѣтить, что княгиня, была здѣсь, а княжна дома. Вотъ мы съ нимъ и отправились подъ окна, чтобъ подстеречь счастливецъ.

Признаюсь, я испугался, хотя мой собесѣдникъ очень былъ занятъ своимъ завтракомъ: онъ могъ услышать вещи

для себя довольно неприятныя, если бы неравно Грушницкій отгадал истину; но ослѣпленный ревностью, онъ не подозрѣвалъ ея.

— Вотъ видите ли, продолжалъ Грушницкій: мы и отправились, взявши съ собой ружье, заряженное холостымъ патрономъ, только такъ, чтобъ поугатъ. До двухъ часовъ ждали въ саду. Наконецъ—ужь Богъ знаетъ откуда онъ явился, только не изъ окна, потому что оно не отворялось, а должно быть онъ вышелъ въ стеклянную дверь, что за колонной,—наконецъ, говорю я, видимъ мы, сходить кто-то съ балкона... Какова княжна?—а? Ну, ужь признаюсь, московскія барышни! Послѣ этого чему же можно вѣрить? Мы хотѣли его схватить, только онъ вырвался и, какъ заяцъ, бросился въ кусты; тутъ я по немъ выстрѣлилъ.

Вокругъ Грушницкаго раздался ропотъ недовѣрчивости.

— Вы не вѣрите? продолжалъ онъ: даю вамъ честное, благородное слово, что все это сущая правда, и въ доказательство я вамъ, пожалуй, назову этого господина.

— Скажи, скажи, кто жъ онъ! раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Печоринъ, отвѣчалъ Грушницкій.

Въ эту минуту онъ поднялъ глаза — я стоялъ въ дверяхъ противъ него; онъ ужасно покраснѣлъ. Я подошелъ къ нему и сказалъ медленно и внятно:

— Мнѣ очень жаль, что я вошелъ послѣ того, какъ вы ужь дали честное слово въ подтвержденіе самой отвратительной клеветы. Мое присутствіе избавило бы васъ отъ лишней подлости.

Грушницкій вскочилъ съ своего мѣста и хотѣлъ разгорячиться.

— Прошу васъ, продолжалъ я тѣмъ же тономъ: прошу васъ сейчасъ же отказаться отъ вашихъ словъ; вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтобъ равнодушіе женщины къ вашимъ блестящимъ достоинствамъ заслуживало такое ужасное мнѣніе. Подумайте хорошенько: поддерживая ваше мнѣніе, вы теряете право на имя благороднаго человѣка и рискуете жизнью.

Грушницкій стоялъ передо мною, опутивъ глаза, въ сильномъ волненіи. Но борьба совѣсти съ самолюбіемъ была непродолжительна. Драгунскій капитанъ, сидѣвшій возлѣ него, толкнулъ его локтемъ; онъ вздрогнулъ и быстро отвѣчалъ мнѣ, не подымая глазъ:

— Милостивый государь, когда я что говорю, такъ я это думаю, и готовъ повторить... Я не боюсь вашихъ угрозъ и готовъ на все.

— Последнее вы ужъ доказали, отвѣчалъ я ему холодно, и взявъ подъ руку драгунскаго капитана, вышелъ изъ комнаты.

— Что вамъ угодно? спросилъ капитанъ.

— Вы пріятель Грушницкаго и, вѣроятно, будете его секундантомъ?

Капитанъ поклонился очень важно.

— Вы отгадали, отвѣчалъ онъ: я даже обязанъ быть его секундантомъ, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мнѣ: я былъ съ нимъ вчера ночью, прибавилъ онъ, выпрямля свой сутуловатый станъ.

— А! такъ это васъ ударилъ я такъ неловко по головѣ?...

Онъ пожелтѣлъ, посинѣлъ; скрытая злоба изобразилась на лицѣ его.

— Я буду имѣть честь прислать къ вамъ нынче моего секунданта, прибавилъ я, раскланявшись очень вѣжливо и показывая видъ, будто не обращаю вниманія на его бѣшенство.

На крыльцѣ рестораціи я встрѣтилъ мужа Вѣры. Кажется, онъ меня дожидался.

Онъ схватилъ мою руку съ чувствомъ, похожимъ на восторгъ.

— Благородный молодой человѣкъ, сказалъ онъ, съ слезами на глазахъ. Я все слышалъ. Какой мерзавецъ! неблагодарный!... Принимай ихъ послѣ этого въ порядочный домъ! Слава Богу, у меня нѣтъ дочерей! Но васъ наградить та, для которой вы рискуете жизнью. Будьте увѣрены въ моей скромности до поры до времени, продолжалъ онъ. — Я самъ былъ мо-

лодѣ и служилъ въ военной службѣ: знаю, что въ эти дѣла не должно вмѣшиваться. Прощайте.

Бѣдняжка! радуется, что у него нѣтъ дочерей...

Я пошелъ прямо къ Вернеру, засталъ его дома и разсказалъ ему все—отношенія мои къ Вѣрѣ и княжнѣ, и разговоръ, подслушанный мною, изъ котораго я узналъ намѣреніе этихъ господъ—подурочить меня, заставивъ стрѣляться холостыми зарядами. Но теперь дѣло выходило изъ границъ шутки: они, вѣроятно, не ожидали такой развязки.

Докторъ согласился быть моимъ секундантомъ; я далъ ему нѣсколько наставленій насчетъ условій поединка; онъ долженъ былъ настоять на томъ, чтобы дѣло обошлось какъ можно секретнѣе, потому что хотя я когда угодно готовъ подвергать себя смерти, но ни мало не расположенъ испортить навсегда свою будущность въ здѣшнемъ мірѣ.

Послѣ этого я пошелъ домой. Черезъ часъ докторъ вернулся изъ своей экспедиціи.

— Противъ васъ, точно, есть заговоръ, сказалъ онъ. — Я нашелъ у Грушницкаго драгунскаго капитана и еще одного господина, котораго фамиліи не помню. Я на минуту остановился въ передней, чтобъ снять калоши. У нихъ былъ ужасный шумъ и споръ... «Ни за что не соглашусь!» говорилъ Грушницкій: «онъ меня оскорбилъ публично; тогда было совсѣмъ другое...» — «Какое тебѣ дѣло?» отвѣчалъ капитанъ: «я все беру на себя. Я былъ секундантомъ на пяти дуэляхъ, и ужъ знаю, какъ это устроить. Я все придумалъ. Пожалуйста, только мнѣ не мѣшай. Пострадать не худо. А за чѣмъ подвергать себя опасности, если можно избавиться?» Въ эту минуту я вошелъ. Они вдругъ замолчали. Переговоры наши продолжались довольно долго; наконецъ мы рѣшили дѣло вотъ какъ: верстахъ въ пяти отсюда есть глухое ущелье; они туда поѣдутъ завтра въ четыре часа утра, и мы выѣдемъ полчася послѣ нихъ; стрѣляться будете на шести шагахъ—этого требовалъ самъ Грушницкій. Убитаго—на счетъ черкесовъ. Теперь вотъ какія у меня подозрѣнія: они, то есть секунданты, должно быть, нѣсколь-

ко переѣмили свой прежній планъ и хотѣть зарядить пулюю одинъ пистолеть Грушницкаго. Это немножко похоже на убійство, но въ военное время, и особенно въ азіатской войнѣ, хитрости позволяютъ; только Грушницкій, кажется, полагороднѣе своихъ товарищей. Какъ вы думаете: должны ли мы показывать имъ, что догадались!

— Ни за что на свѣтѣ докторъ! Будьте спокойны; я имъ не поддамся.

— Что же вы хотите дѣлать?

— Это моя тайна.

— Смотрите не попадитесь... вѣдь на шести шагахъ!

— Докторъ, я васъ жду завтра въ четыре часа; лошади будутъ готовы... Прощайте.

Я до вечера просидѣлъ дома, запершись въ своей комнатѣ. Приходилъ лакей, звать меня къ княгинѣ—я велѣлъ сказать, что боленъ.

Два часа ночи... не спится... А надо бы заснуть, чтобъ завтра рука не дрожала. Впрочемъ, на шести шагахъ промахнуться трудно. А! господинъ Грушницкій! ваша мистификація вамъ не удастся... мы помѣняемся ролями: теперь мнѣ придется отыскивать на вашемъ блѣдномъ лицѣ признаки тайнаго страха. За чѣмъ вы сами назначили эти роковые шесть шаговъ? Вы думаете, что я безъ спора подставлю свой лобъ... но мы бросимъ жребій... и тогда... тогда... что если, его счастье перетянетъ? если моя звѣзда наконецъ мнѣ измѣнитъ?... И немудрено: она такъ долго служила вѣрно моимъ прихотямъ.

Что жъ? умереть, такъ умереть! потеря для міра небольшая; да и мнѣ самому порядочно ужъ скучно. Я — какъ человѣкъ, зѣвующій на балѣ, который не ѣдетъ спать только потому, что еще нѣтъ его кареты. Но карета готова... прощайте!...

Пробѣгаю въ памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачѣмъ я жилъ? для какой цѣли я родился?... А вѣрно, она существовала и, вѣрно было мнѣ назначеніе высокое, потому что я чувствую въ душѣ моей силы необъятныя...

Но я не угадалъ этого назначенія я увлекся приманками страстей, пустыхъ и неблагодарныхъ; изъ горнила ихъ я вышелъ твердъ и холоденъ какъ желѣзо, но утратилъ навѣки пылъ благородныхъ стремленій—лучшій цвѣтъ жизни. И съ той поры сколько разъ уже я игралъ роль топора въ рукахъ судьбы! Какъ орудіе казни, я упадалъ на голову обреченныхъ жертвъ, часто безъ злобы, всегда безъ сожалѣнія... Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничѣмъ не жертвовалъ для тѣхъ, кого любилъ: я любилъ для себя, для собственнаго удовольствія; я только удовлетворялъ странную потребность сердца, съ жадностью поглощая ихъ чувства, ихъ вѣжность, ихъ радости и страданія — и никогда не могъ насытиться. Такъ, томимый голодомъ, въ изнеможеніи засыпаетъ и видитъ предъ собою роскошныя кушанья и шипучія вина; онъ пожираетъ съ восторгомъ воздушные дары воображенія, и ему кажется легче; но только проснулся — мечта исчезаетъ... остается удвоенный голодъ и отчаяніе.

И, можетъ быть, я завтра умру!... и не останется на землѣ ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитаютъ меня хуже, другія лучше, чѣмъ я въ самомъ дѣлѣ... Одни скажутъ: онъ былъ добрый малый, другіе—мерзавецъ. И то и другое будетъ ложно. Послѣ этого стоитъ ли труда жить? а все живешь—изъ любопытства: ожидаешь чего-то новаго... Смѣшно и досадно!

Вотъ уже полтора мѣсяца, какъ я въ крѣпости Н. Максимъ Максимычъ ушелъ на охоту... я одинъ сижу у окна; сѣрыя тучи закрыли горы до подошвы; солнце сквозь туманъ кажется желтымъ пятномъ. Холодно; вѣтеръ свищетъ и колеблетъ ставни... Скучно!... Стану продолжать свой журналъ, прерванный столькими странными событіями.

Перечитываю послѣднюю страницу: смѣшно!—Я думалъ умереть; это было невозможно: я еще не осушилъ чаши страданій, и теперь чувствую, что мнѣ еще долго жить.

Какъ все прошедшее ясно и рѣзко отлилось въ моей памяти! Ни одной черты, ни одного оттѣнка не стерло время!

Я помню, что въ продолженіе ночи, предшествовавшей поединку, я не спалъ ни минуты. Писать я не могъ долго; тайное беспокойство мною овладѣло. Съ часъ я ходилъ по комнатѣ, потомъ сѣлъ и открылъ романъ Вальтеръ Скотта, лежавшій у меня на столѣ: то были «Шотланскіе Пуритане»; я читалъ сначала съ усиліемъ, потомъ забылся, увлеченный волшебнымъ вымысломъ...

Наконецъ разсвѣло. Нервы мои успокоились. Я посмотрѣлся въ зеркало; тусклая блѣдность покрывала лицо мое, хранившее слѣды мучительной безсонницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тѣнью, блистали гордо и неумолимо. Я остался доволенъ собою.

Велѣвъ сѣдлать лошадей, я одѣлся и сбѣжалъ къ купальнѣ. Погружаясь въ холодный кипятокъ нарзана, я чувствовалъ, какъ тѣлесныя и душевныя силы мои возвращались. Я вышелъ изъ ванны свѣжъ и бодръ, какъ будто собирался на балъ. Послѣ этого говорите, что душа не зависитъ отъ тѣла!...

Возвратясь, я нашелъ у себя доктора. На немъ были сѣрые рейтузы, архалукъ и черкесская шапка. Я расхохотался, увидѣвъ эту маленькую фигурку подъ огромной косматой шапкой; у него лицо вовсе не воинственное, а въ этотъ разъ оно было еще длиннѣе обыкновеннаго.

— Отчего вы такъ печальны, докторъ? сказалъ я ему. — Развѣ вы сто разъ не провожали людей на тотъ свѣтъ съ величайшимъ равнодушіемъ? Вообразите, что у меня желчная горячка; я могу выздоровѣть, могу и умереть; то и другое въ порядкѣ вещей; старайтесь смотрѣть на меня, какъ на пациента, одержимаго болѣзью, вамъ еще неизвѣстной—и тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени; вы можете надо мною сдѣлать теперь нѣсколько важныхъ физиологическихъ наблюденій... Ожиданіе насильственной смерти не есть ли уже настоящая болѣзнь?

Эта мысль поразила доктора, и онъ развеселился.

Мы съѣли верхомъ. Вернеръ уцѣпился за поводья обѣими руками, и мы пустились—мигомъ проскакали мимо крѣпости черезъ слободку и вѣхали въ ущелье, по которому вилась дорога, полузаросшая высокой травой, и ежеминутно пересѣкаемая шумнымъ ручьемъ, черезъ который нужно было переправляться въ бродъ, къ великому отчаянію доктора, потому что лошадь его каждый разъ въ водѣ останавливалась.

Я не помню утра болѣе голубаго и свѣжаго! Солнце едва выказалось изъ-за зеленыхъ вершинъ, и сліяніе первой теплоты его лучей съ умирающей прохладной ночи наводило на всѣ чувства какое-то сладкое томленіе; въ ущелье не проникалъ еще радостный лучъ молодого дня; онъ золотилъ только верхи утесовъ, висящихъ съ обѣихъ сторонъ надъ нами; густолиственные кусты, растущіе въ ихъ глубокихъ трещинахъ, при малѣйшемъ дыханіи вѣтра осыпали насъ серебрянымъ дождемъ. Я помню—въ этотъ разъ, больше чѣмъ когда нибудь прежде, я любилъ природу. Какъ любопытно всматривался я въ каждую росинку, трепещущую на широкомъ листкѣ виноградномъ и отражавшую миллионы радужныхъ лучей! какъ жадно взоръ мой старался проникнуть въ дымную даль! Тамъ путь все становился уже, утесы синѣе и страшнѣе, и наконецъ они, казалось, сходились непроницаемой стѣной. Мы ѣхали молча.

— Написали ли вы свое завѣщаніе? вдругъ спросилъ Вернеръ.

— Нѣтъ.

— А если будете убиты?...

— Наслѣдники отыщутся сами.

— Неужели у васъ нѣтъ друзей, которымъ бы вы хотѣли послать свое послѣднее прощаніе?...

Я покачалъ головой.

— Неужели нѣтъ на свѣтѣ женщины, которой вы хотѣли бы оставить что нибудь на память?...

— Хотите ли, докторъ, отвѣчалъ я ему, чтобы я раскрылъ вамъ мою душу?... Видите ли, я выжилъ изъ тѣхъ лѣтъ, когда умирають, произнося имя своей любезной и завѣщая другу

клочекъ напoмаженныхъ или ненапoмаженныхъ волосъ. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю объ одномъ себѣ; нынѣ не дѣлаютъ и этого. — Друзья, которые завтра меня забудутъ, или, хуже, взведутъ на мой счетъ Богъ знаетъ какія неблицы; женщины, которыя, обнимая другаго, будутъ смѣяться надо мною, чтобъ не возбудить въ немъ ревности къ усopшeму — Богъ съ ними! Изъ жизненной бури я вынесъ только нѣсколько идей — и ни одного чувства. Я давно ужъ живу не сердцемъ, а головою. Я взвѣшиваю, разбираю свои собственныя страсти и поступки съ строгимъ любопытствомъ, но безъ участія. Во мнѣ два челоуѣка: одинъ живетъ въ полномъ смыслѣ этого слова, другой мыслить и судить его; первый, быть можетъ, черезъ часъ простится съ вами и міромъ навѣки, а второй... второй?... Посмотрите, докторъ: видите ли вы на скалѣ, направо, чернѣются три фигуры? Это, кажется, наши противники?...

Мы пустились.

У подошвы скалы, въ кустахъ, были привязаны три лошади; мы своихъ привязали тутъ же, а сами по узкой тропинкѣ взобрались на площадку, гдѣ ожидалъ насъ Грушницкій съ драгунскимъ капитаномъ и другимъ своимъ секундантомъ, котораго звали Иваномъ Игнатьевичемъ; фамиліи его я никогда не слыхалъ.

— Мы давно ужъ васъ ожидаемъ, сказалъ драгунскій капитанъ съ иронической улыбкой.

Я вынулъ часы и показалъ ему.

Онъ извинился, говоря, что его часы уходятъ.

Нѣсколько минутъ продолжалось затруднительное молчаніе; наконецъ докторъ прервалъ его; обратясь къ Грушницкому.

— Мнѣ кажется, сказалъ онъ: что, показавъ оба готовность драться и заплативъ этимъ долгъ условіямъ чести, вы бы могли, господа, объясниться и кончить это дѣло полюбовно.

— Я готовъ, сказалъ я.

Капитанъ мигнулъ Грушницкому, и этотъ, думая, что я трушу, принявъ гордый видъ, хотя до сей минуты тусклая блѣдность покрывала его щеки. Съ тѣхъ поръ, какъ мы пріѣхали, онъ въ первый разъ поднялъ на меня глаза; но во взглядѣ его было какое-то безпокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу.

— Объясните ваши условія, сказалъ онъ: и все, что я могу для васъ сдѣлать, то будьте увѣрены...

— Вотъ мои условія: вы нынче же публично откажетесь отъ своей клеветы и будете просить у меня извиненія...

— Милостивый государь, я удивляюсь, какъ вы смѣете мнѣ предлагать такіа вещи?...

— Что жъ я вамъ могъ предложить, кромѣ этого?...

— Мы будемъ стрѣляться.

Я пожалъ плечами.

— Пожалуй; только подумайте, что одинъ изъ насъ непременно будетъ убитъ.

— Я желаю, чтобы это были вы...

— А я такъ увѣренъ въ противномъ...

Онъ смутился, покраснѣлъ, потомъ принужденно захохоталъ.

Капитанъ взялъ его подъ руку и отвелъ въ сторону; они долго шептались. Я пріѣхалъ въ довольно миролюбивомъ расположеніи духа, но все это начинало меня бѣсить.

Ко мнѣ подошелъ докторъ.

— Послушайте, сказалъ онъ съ явнымъ безпокойствомъ: вы вѣрно забыли про ихъ заговоръ?... Я не умѣю зарядить пистолета, но въ этомъ случаѣ... Вы странный человѣкъ! Скажите имъ, что вы знаете ихъ намѣреніе—и они не посмѣютъ... Что за охота? подстрѣлять васъ, какъ птицу...

— Пожалуйста, не безпокойтесь, докторъ, и погодите... Я все такъ устрою, что на ихъ сторонѣ не будетъ никакой выгоды. Дайте имъ пошептаться...

— Господа! это становится скучно, сказалъ я имъ громко: драться, такъ драться; вы имѣли время вчера наговориться.

— Мы готовы, отвѣчалъ капитанъ. Становитесь, господа! Докторъ, извольте отмѣрить шесть шаговъ...

— Становитесь! повторилъ Иванъ Игнатьевичъ пискливымъ голосомъ.

— Позвольте! сказалъ я: еще одно условіе; такъ какъ мы будемъ драться на смерть, то мы обязаны сдѣлать все возможное, чтобъ это осталось тайною и чтобъ секунданты наши не были въ отвѣтственности. Согласны ли вы?...

— Совершенно согласны.

— Итакъ, вотъ что я придумалъ. Видите ли на вершинѣ этой отвѣсной скалы, направо, узенькую площадку? Оттуда до низу будетъ сажень тридцать, если не больше: внизу острые камни. Каждый изъ насъ станетъ на самомъ краю площадки; такимъ образомъ даже легкая рана будетъ смертельна: это должно быть согласно съ вашимъ желаніемъ, потому что вы сами назначили шесть шаговъ. Тотъ, кто будетъ раненъ, полетитъ непремѣнно внизъ и разобьется въ дребезги; пулю докторъ вынетъ, и тогда можно будетъ очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачнымъ прыжкомъ. Мы бросимъ жребій, кому первому стрѣлять. Объявляю вамъ въ заключеніе, что иначе я не буду драться.

— Пожалуй! сказалъ капитанъ, посмотрѣвъ выразительно на Грушницкаго, который кивнулъ головой, въ знакъ согласія. Лицо его ежеминутно мѣнялось. Я его поставилъ въ затруднительное положеніе. Стрѣляясь при обыкновенныхъ условіяхъ, онъ могъ цѣлить мнѣ въ ногу, легко меня ранить и удовлетворить такимъ образомъ свою месть, не отягощая слишкомъ своей совѣсти; но теперь онъ долженъ былъ выстрѣлить на воздухъ, или сдѣлаться убійцей, или наконецъ оставить свой подлый замыселъ и подвергнуться одинаковой со мною опасности. Въ эту минуту я не желалъ бы быть на его мѣстѣ. Онъ отвелъ капитана въ сторону и сталъ говорить ему что-то съ большимъ жаромъ; я видѣлъ, какъ посинѣвшія губы его дрожали, но капитанъ отъ него отвернулся съ презрительной улыбкой. — Ты

дуракъ! сказалъ онъ Грушницкому довольно громко: ничего не понимаешь!... Отправимтесь же, господа!

Узкая тропинка вела между кустарниками на крутизну; обломки скалъ составляли шаткія ступени этой природной лѣстницы; цѣпляясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкій шелъ впереди, за нимъ его секунданты, а потомъ мы съ докторомъ.

— Я вамъ удивляюсь, сказалъ докторъ, пожавъ мнѣ крѣпко руку.— Дайте пощупать пульсъ!... Ого! лихорадочный!... но на лицѣ ничего не замѣтно... только глаза у васъ блестятъ ярче обыкновеннаго.

Вдругъ мелкіе камни съ шумомъ покатались намъ подъ ноги. Что это? Грушницкій споткнулся; вѣтка, за которую онъ уцѣпился, изломалась, и онъ скатился бы внизъ на спинѣ, если бъ его секунданты не поддержали.

— Берегитесь! закричалъ я ему: не падайте заранѣе; это дурная примѣта. Вспомните Юлія Цезаря!

Вотъ мы взобрались на вершину выдавшейся скалы; площадка была покрыта мелкимъ пескомъ, будто нарочно для поединка. Кругомъ, теряясь въ золотомъ туманѣ утра, тѣснились вершины горъ, какъ безчисленные стада, и Эльбурсъ на югѣ вставалъ бѣлою громадой, замыкая цѣпь льдистыхъ вершинъ, между которыхъ ужъ бродили волокнистыя облака, набѣжавшія съ востока. Я подошелъ къ краю площадки и посмотрѣлъ внизъ: голова чуть-чуть у меня не закружилась; тамъ, внизу, казалось темно и холодно, какъ въ гробѣ; мшистые зубцы скалъ, сброшенныхъ грозю и временемъ, ожидали своей добычи.

Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольникъ. Отъ выдавагося угла отмѣрили шесть шаговъ, и рѣшили, что тотъ, кому придется первому встрѣтить непріятельскій огонь, станетъ на самомъ углу спиною къ пропасти; если онъ не будетъ убитъ, то противники помѣняются мѣстами.

Я рѣшился предоставить всѣ выгоды Грушницкому; я хотѣлъ испытать его; въ душѣ его могла проснуться искра вели-

кодушія—и тогда все устроилось бы къ лучшему; но самолюбіе и слабость характера должны были торжествовать!... Я хотѣлъ дать себѣ полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключалъ такихъ условій съ своею совѣстью?

— Бросьте жребій, докторъ! сказалъ капитанъ.

— Докторъ вынулъ изъ кармана серебряную монету и поднялъ ее кверху.

— Рѣшетка! закричалъ Грушницкій поспѣшно, какъ человѣкъ, котораго вдругъ разбудилъ дружескій толчокъ.

— Орелъ! сказалъ я.

Монета взвилась и упала, звеня; всѣ бросились къ ней.

— Вы счастливы, сказалъ я Грушницкому: вамъ стрѣлять первому! Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь—даю вамъ честное слово.

Онъ покраснѣлъ; ему было стыдно убить человѣка безоружнаго; я глядѣлъ на него пристально; съ минуту мнѣ казалось, что онъ бросится къ ногамъ моимъ, умоляя о прощеніи; но какъ признаться въ такомъ подломъ умыслѣ?... Ему оставалось одно средство—выстрѣлить на воздухъ. Я былъ увѣренъ, что онъ выстрѣлитъ на воздухъ! Одно могло этому помѣшать: мысль, что я потребую вторичнаго поединка.

— Пора! шепнулъ мнѣ докторъ, дергая за рукавъ: если вы теперь не скажете, что мы знаемъ ихъ намѣренія, то все пропало. Посмотрите, онъ ужъ заряжаетъ... если вы ничего не скажете, то я самъ...

— Ни за что на свѣтѣ, докторъ, отвѣчалъ я, удерживая его за руку: вы все испортите; вы мнѣ дали слово не мѣшать... Какое вамъ дѣло? Можетъ быть, я хочу быть убитъ...

Онъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ.

— О, это другое!... только на меня на томъ свѣтѣ не жалуйтесь...

Капитанъ между тѣмъ зарядилъ свои pistols, подаль одинъ Грушницкому, съ улыбкою шепнувъ ему что-то; другой мнѣ.

Я сталъ на углу площадки, крѣпко упершись лѣвой ногою въ камень и наклонясь немного напередъ, чтобы въ случаѣ легкой раны не опрокинуться назадъ.

Грушницкій сталъ противъ меня и, по данному знаку, началъ поднимать пистолетъ. Колѣни его дрожали. Онъ цѣлилъ мнѣ прямо въ лобъ.

Неизъяснимое бѣшенство закипѣло въ груди моей.

Вдругъ онъ опустилъ дуло пистолета и, поблѣднѣвъ какъ полотно, повернулся къ своему секундantu:

— Не могу, сказалъ онъ глухимъ голосомъ.

— Трусъ! отвѣчалъ капитанъ.

Выстрѣлъ раздался. Пуля оцарапала мнѣ колѣно. Я невольно сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ, чтобы поскорѣй удалиться отъ края.

— Ну, братъ Грушницкій, жаль, что промахнулся! сказалъ капитанъ. Теперь твоя очередь, становись! Обними меня прежде: мы ужъ не увидимся! Они обнялись; капитанъ едва могъ удержаться отъ смѣха. — Не бойся, прибавилъ онъ, хитро взглянувъ на Грушницкаго: все вздоръ на свѣтѣ... Натура — дура, судьба — индѣйка, а жизнь — копѣйка!

Послѣ этой трагической фразы, сказанной съ приличною важною, онъ отошелъ на свое мѣсто. Иванъ Игнатьевичъ со слезами обнялъ также Грушницкаго, и вотъ онъ остался одинъ противъ меня. Я до-сихъ поръ стараюсь объяснить себѣ, какого рода чувство кипѣло тогда въ груди моей: то было и досада оскорбленнаго самолюбія, и презрѣніе, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этотъ человѣкъ, теперь съ такою увѣренностью, съ такой спокойной дерзостью на меня глядящій, двѣ минуты тому назадъ, не подвергая себя никакой опасности хотѣлъ меня убить какъ собаку, ибо, раненный въ ногу не много сильнѣе, я бы непременно свалился съ утеса.

Я нѣсколько минутъ смотрѣлъ ему пристально въ лицо, стараясь замѣтить хоть легкій слѣдъ раскаянія. Но мнѣ показалось, что онъ удерживалъ улыбку.

— Я вамъ совѣтую передъ смертію помолиться Богу, сказалъ я ему тогда.

— Не заботьтесь о моей душѣ больше, чѣмъ о своей собственной. Объ одномъ васъ прошу: стрѣляйте скорѣе.

— И вы не отказываетесь отъ своей клеветы? не просите у меня прощенія?... Подумайте хорошенько: не говорить ли вамъ чего нибудь совѣсть!

— Господинъ Печоринъ! закричалъ драгунскій капитанъ: вы здѣсь не для того, чтобъ исповѣдывать, позвольте вамъ замѣтить... Кончите скорѣе: неравно кто нибудь пройдетъ по ущелью—и насъ увидятъ.

— Хорошо. Докторъ, подойдите ко мнѣ.

Докторъ подошелъ. Бѣдный докторъ! онъ былъ блѣднѣе, чѣмъ Грушницкій, десять минутъ тому назадъ.

Слѣдующія слова я произнесъ нарочно съ разстановкой, громко и внятно, какъ произносятъ смертный приговоръ:

— Докторъ, эти господа, вѣроятно въ торопяхъ, забыли положить пулю въ мой пистолетъ: прошу васъ зарядить его снова—и хорошенько!

— Не можетъ быть! кричалъ капитанъ: не можетъ быть! я зарядилъ оба пистолета: развѣ что изъ вашего пуля выкатилась... Это не моя вина!—А вы не имѣете права перерезать... никакого права... Это совершенно противъ правилъ; я не позволяю...

— Хорошо! сказалъ я капитану: если такъ, то мы будемъ съ вами стрѣляться на тѣхъ же условіяхъ...

Онъ замаялся.

Грушницкій стоялъ, опустивъ голову на грудь, смущенный и мрачный.

— Оставь ихъ! сказалъ онъ наконецъ капитану, который хотѣлъ вырвать пистолетъ мой изъ рукъ доктора.—Вѣдь ты самъ знаешь, что они правы.

Напрасно капитанъ дѣлалъ ему разные знаки—Грушницкій не хотѣлъ и смотрѣть.

Между тѣмъ докторъ зарядилъ пистолетъ и подалъ мнѣ.

Увидѣвъ это, капитанъ плюнулъ и топнулъ ногой.

— Дуракъ же ты, братецъ! сказалъ онъ: пошлый дуракъ!... Ужъ положился на меня, такъ слушайся во всемъ... По дѣломъ же тебѣ! околѣвай себѣ какъ муха... Онъ отвернулся и, отходя, пробормоталъ: «А все таки это совершенно противъ правилъ».

— Грушницкій! сказалъ я, еще есть время: откажись отъ своей клеветы и я тебѣ прошу все. Тебѣ не удалось меня подурчить, и мое самолюбіе удовлетворено. Вспомни, мы были когда-то друзьями...

Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали...

— Стрѣляйте! отвѣчалъ онъ: я себя презираю, а васъ ненавижу. Если вы меня не убьете, я васъ зарѣжу ночью изъ-за угла. Намъ на землѣ вдвоемъ нѣтъ мѣста...

Я выстрѣлилъ...

Когда дымъ разсѣлся, Грушницкаго на площадкѣ не было. Только прахъ легкимъ столбомъ еще виселъ на краю обрыва.

Всѣ въ одинъ голосъ вскрикнули.

— *Finita la comedia!* сказалъ я доктору.

Онъ не отвѣчалъ и съ ужасомъ отвернулся.

Я пожалъ плечами и раскланялся съ секундантами Грушницкаго.

Спускаясь по тропинкѣ внизъ, я замѣтилъ между разсѣлинами скалъ окровавленный трупъ Грушницкаго. Я невольно закрылъ глаза.

Отвязавъ лошадь, я шагомъ пустился домой; у меня на сердцѣ былъ камень. Солнце казалось мнѣ тускло; лучи его меня не грѣли.

Не доѣзжая до слободки, я повернулъ направо по ущелью. Видъ челоуѣка былъ бы мнѣ тягостенъ; я хотѣлъ быть одинъ. Бросивъ поводья, опутивъ голову на грудь, я ѣхалъ долго, наконецъ очутился въ мѣстѣ, мнѣ вовсе незнакомомъ; я повернулъ коня назадъ и сталъ отыскивать дорогу; ужъ солнце садилось, когда я подѣхалъ къ Кисловодску, измученный на измученной лошади.

Лакей мой сказалъ мнѣ, что заходилъ Вернеръ; и подаль мнѣ двѣ записки: одну отъ него, другую... отъ Вѣры.

Я распечаталъ первую; она была слѣдующаго содержанія:

«Все устроено какъ можно лучше: тѣло привезено обезображенное; пуля изъ груди вынута. Всѣ увѣрены, что причиною его смерти несчастный случай; только комендантъ, которому, вѣроятно, извѣстна ваша ссора, покачалъ головой, но ничего не сказалъ. Доказательствъ противъ васъ нѣтъ ни какихъ, и вы можете спать спокойно... если можете... Прощайте.»

Я долго не рѣшался открыть вторую записку... Что могла она мнѣ писать?... Тяжелое предчувствіе волновало мою душу.

Вотъ оно, это письмо, котораго каждое слово неизгладимо врѣзалось въ моей памяти:

«Я пишу къ тебѣ въ полной увѣренности, что мы никогда болѣе не увидимся. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, разставаясь съ тобою, я думала то же самое; но небу было угодно испытать меня вторично: я не вынесла этого испытанія, мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу... ты не будешь презирать меня за это—не правда ли? Это письмо будетъ вмѣстѣ прощаньемъ и исповѣдью: я обязана сказать тебѣ все, что накопилось въ моемъ сердцѣ съ тѣхъ поръ, какъ оно тебя любить. Я не стану обвинять тебя—ты поступилъ со мною, какъ поступилъ бы всякій другой мужчина: ты любилъ меня какъ собственность, какъ источникъ радостей, тревогъ и печалей, смѣнявшихся взаимно, безъ которыхъ жизнь скучна и однообразна. Я это поняла сначала... Но ты былъ несчастливъ, и я пожертвовала собою, надѣясь, что когда нибудь ты оцѣнишь мою жертву, что когда нибудь ты поймешь мою глубокую нѣжность, независящую ни отъ какихъ условій. Прошло съ тѣхъ поръ много времени: я проникла во всѣ тайны души твоей... и убѣдилась, что то была надежда напрасная. Горько мнѣ было! Но моя любовь срослась съ душой моей: она потемнѣла, но не угасла.

«Мы расстаемся навѣки; однако ты можешь быть увѣренъ, что я никогда не буду любить другаго: моя душа истощила на

«тебя всѣ свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая «разъ тебя не можетъ смотрѣть безъ нѣкотораго презрѣнія на «прочихъ мужчинъ, не потому, чтобъ ты былъ лучше ихъ, о, «нѣтъ! но въ твоей природѣ есть что-то особенное — тебѣ «одному свойственное, что-то гордое и таинственное; въ твоёмъ «голосѣ, что бы ты ни говорилъ, есть власть непобѣдимая; ни- «кто не умѣетъ такъ постоянно хотѣть быть любимымъ, ни въ «комъ зло не бываетъ такъ привлекательно, ни чей взоръ не «общаетъ столько блаженства, никто не умѣетъ лучше пользо- «ваться своими преимуществами и никто не можетъ быть такъ «истинно несчастливъ, какъ ты, потому что никто столько не «стареется увѣрить себя въ противномъ.

«Теперь я должна тебѣ объяснить причину моего поспѣш- «наго отъѣзда; она тебѣ покажется маловажна, потому что ка- «сается до одной меня.

«Нынче поутру мой мужъ вошелъ ко мнѣ и рассказалъ про «твою ссору съ Грушницкимъ. Видно, я очень переѣбилась въ «лицѣ, потому что онъ долго и пристально смотрѣлъ мнѣ въ «глаза; я едва не упала безъ памяти при мысли, что ты нынче «долженъ драться и что я этому причиной; мнѣ казалось, что я «сойду съ ума... Но теперь, когда я могу рассуждать, я увѣ- «рена, что ты останешься живъ: невозможно, чтобъ ты умеръ «безъ меня, невозможно! Мой мужъ долго ходилъ по комнатѣ: «я не знаю, что онъ мнѣ говорилъ, не помню, что я ему отвѣ- «чала... вѣрно, я ему сказала, что я тебя люблю... Помню «только, что подъ конецъ нашего разговора онъ оскорбилъ «меня ужаснымъ словомъ и вышелъ. Я слышала какъ онъ ве- «дѣлъ закладывать карету... Вотъ ужъ три часа, какъ я сижу «у окна и жду твоего возврата... Но ты живъ, ты не можешь «умереть!... Карета почти готова... Прощай, прощай... Я по- «гибла—но что за нужда? Если бъ я могла быть увѣрена, что «ты всегда меня будешь помнить—не говорю ужъ любить— «нѣтъ, только помнить... Прощай; идуть... я должна спрятать «письмо...

«Не правда ли, ты не любишь Мери? ты не женишься

«на ней?—Послушай, ты долженъ мнѣ принести эту жертву: я «для тебя потеряла все на свѣтѣ...»

Я, какъ безумный, выскочилъ на крыльцо, прыгнувъ на своего Черкеса, котораго водили по двору, и пустился во весь духъ по дорогѣ въ Пятигорскъ. Я безпощадно погонялъ измученнаго коня, который, храпя и весь въ пѣнѣ, мчалъ меня по каменистой дорогѣ.

Солнце уже спряталось въ черной тучѣ, отдыхавшей на хребтѣ западныхъ горъ; въ ущельѣ стало темно и сыро. Подкумокъ, пробираясь по камнямъ, ревѣлъ глухо и однообразно. Я скакалъ, задыхаясь отъ нетерпѣнья. Мысль не заставить ее въ Пятигорскѣ молоткомъ ударила мнѣ въ сердце. Одну минуту, еще одну минуту видѣть ее, проститься, пожать ея руку... Я молился, проклиналъ, плакалъ, смѣялся... нѣтъ, ничто не выразить моего безпокойства, отчаянія!... При возможности потерять ее навѣки, Вѣра стала для меня дороже всего на свѣтѣ, дороже жизни, чести, счастья! Богъ знаетъ, какіе странные, какіе бѣшеные замыслы роились въ головѣ моей... И между тѣмъ я все скакалъ, погоняя безпощадно.—И вотъ я сталъ замѣчать, что конь мой тяжелѣе дышитъ; онъ раза два ужъ споткнулся на ровномъ мѣстѣ... Оставалось пять верстъ до Есентуковъ—казачьей станицы, гдѣ я могъ пересѣсть на другую лошадь.

Все было бы спасено, если бъ у моего коня достало силъ еще на десять минутъ! Но вдругъ, поднимаясь изъ небольшого оврага, при выѣздѣ изъ горъ, на крутомъ поворотѣ, онъ грянулся о землю. Я проворно соскочилъ, хочу поднять его, держу за поводъ — напрасно: едва слышный стонъ вырвался сквозь стиснутые его зубы; черезъ нѣсколько минутъ онъ издохъ; я остался въ степи одинъ, потерявъ послѣднюю надежду; попробовалъ идти пѣшкомъ—ноги мои подкосились: изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упалъ на мокрую траву и какъ ребенокъ заплакалъ.

И долго я лежалъ неподвижно и плакалъ горько, не стараясь удерживать слезъ и рыданій; я думалъ, грудь моя разо-

рвется; вся моя твердость, все мое хладнокровіе исчезли какъ дымъ; душа обезсилѣла, разсудокъ замолкъ, и если бъ въ эту минуту кто нибудь меня увидѣлъ, онъ бы съ презрѣніемъ от-вернулся.

Когда ночная гроза и горный вѣтеръ освѣжили мою горящую голову и мысли пришли въ обычный порядокъ, то я понялъ, что гнаться за погибшимъ счастіемъ бесполезно и безразсудно. Чего мнѣ еще надобно? — ее видѣть? — зачѣмъ? не все ли кончено между нами? Одинъ горькій прощальный поцѣлуй не обогатитъ моихъ воспоминаній, а послѣ него намъ только труднѣе будетъ разставаться.

Мнѣ однако пріятно, что я могу плакать. Впрочемъ, можетъ быть, этому причиной разстроенные нервы, ночь, проведенная безъ сна, двѣ минуты противъ дула пистолета и пустой желу-докъ.

Все къ лучшему! Это новое страданіе, говоря военнымъ сло-гомъ, сдѣлало во мнѣ счастливую диверсію. Плакать здорово, и потомъ, вѣроятно, если бъ я не проѣхался верхомъ и не былъ принужденъ на обратномъ пути пройти пятнадцать верстъ, то и эту ночь сонъ не сомкнулъ бы глазъ моихъ.

Я возвратился въ Кисловодскъ въ пять часовъ утра, бро-сился на постель и заснулъ сномъ Наполеона послѣ Ватер-лоо.

Когда я проснулся, на дворѣ ужъ было темно. Я сѣлъ у от-вореннаго окна, разстегнулъ архакуъ — и горный вѣтеръ освѣ-жилъ грудь мою, еще неуспокоенную тяжелымъ сномъ устало-сти. Вдали за рѣкою, сквозь верхи густыхъ липъ, ее осѣняю-щихъ, мелькали огни въ строеніяхъ крѣпости и слободки. На дворѣ у насъ все было тихо, въ домѣ княгини было темно.

Вошелъ докторъ; лобъ у него былъ нахмуренъ; онъ противъ обыкновенія, не протянулъ мнѣ руки.

— Откуда вы, докторъ?

— Отъ княгини Лиговской; дочь ея больна — расслабленіе нервовъ... Да не въ этомъ дѣло, а вотъ что: начальство дога-дывается и, хотя ничего нельзя доказать положительно, однако

я вамъ совѣтую быть осторожнѣе. Княгиня мнѣ говорила иначе, что она знаетъ, что вы стрѣлялись за ея дочь. Ей все этотъ старичекъ разсказалъ... какъ бишь его? Онъ былъ свидѣлемъ вашей стычки съ Грушницкимъ въ рестораціи. Я пришелъ васъ предупредить.—Пронцайте. Можетъ быть, мы больше не увидимся: васъ ушлиютъ куда нибудь.

Онъ на порогѣ остановился: ему хотѣлось пожать мнѣ руку... и если бъ я показалъ ему малѣйшее на это желаніе, то онъ бросился бы мнѣ на шею; но я остался холоденъ какъ камень —и онъ вышелъ.

Вотъ люди! всѣ они таковы: знаютъ заранѣе всѣ дурныя стороны поступка, помогаютъ, совѣтуютъ, даже одобряютъ его, видя невозможность другаго средства—а потомъ умываютъ руки и отворачиваются съ негодованіемъ отъ того, кто имѣлъ смѣлость взять на себя всю тягость отвѣтственности. Всѣ они таковы, даже самые добрые, самые умные.

На другой день утромъ, получивъ приказаніе отъ высшаго начальства отправиться въ крѣпость N., я зашелъ къ княгинѣ проститься.

Она была удивлена, когда на вопросъ ея: имѣю ли я ей сказать что нибудь особенно важное, я отвѣчалъ, что желаю ей быть счастливой и проч.

— А мнѣ нужно съ вами поговорить очень серьезно.

Я сѣлъ молча.

Явно было, что она не знала съ чего начать; лицо ея побавровѣло, пухлые ея пальцы стучали по столу; наконецъ она начала такъ, прерывистымъ голосомъ:

— Послушайте, мсьё Печоринъ, я думаю, что вы благородный человѣкъ.

Я поклонился.

— Я даже въ этомъ увѣрена, продолжала она: хотя ваше поведеніе нѣсколько сомнительно, но у васъ могутъ быть причины, которыхъ я не знаю, и ихъ-то вы должны теперь мнѣ повѣрить. Вы защитили дочь мою отъ клеветы, стрѣлялись за нее —слѣдственно рисковали жизнью... Не отвѣчайте, я знаю, что

вы въ этомъ не признаетесь, потому что Грушницкій убить [она перекрестилась]. Богъ ему простить—и, надѣюсь, вамъ также!... Это до меня не касается... я не смѣю осуждать васъ, потому что дочь моя, хотя невинно, но была этому причиной. Она мнѣ все сказала... я думаю, все; вы изъяснились ей въ любви... она вамъ призналась въ своей? [тутъ княгиня тяжело вздохнула]. Но она больна, и я увѣрена, что это не простая болѣзнь! Печаль тайная ее убиваетъ; она не признается, но я увѣрена, что вы этому причиной... Послушайте: вы, можетъ быть, думаете, что я ищу чиновъ, огромнаго богатства—разувѣрьтесь, я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положеніе незавидно, но оно можетъ поправиться: вы имѣете состояніе; васъ любитъ дочь моя; она воспитана такъ, что поставитъ счастье мужа. Я богата, она у меня одна... Говорите, что васъ удерживаетъ?... Видите, я не должна была бы вамъ всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь—вспомните, у меня одна дочь... одна...

Она заплакала.

— Княгиня, сказалъ я: мнѣ невозможно отвѣчать вамъ; позвольте мнѣ поговорить съ вашей дочерью наединѣ...

— Никогда! воскликнула она, вставъ со стула въ сильномъ волненіи.

— Какъ хотите, отвѣчалъ я, приготовляясь уйти.

Она задумалась, сдѣлала мнѣ знакъ рукою, чтобъ я подождать, и вышла.

Прошло минутъ пять; сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна; какъ я ни искалъ въ груди моей хоть искры любви къ милой Мери, но старанія мои были напрасны.

Вотъ дверь отворилась и вошла она. Боже! какъ перемѣнилась съ тѣхъ поръ, какъ я не видалъ ее—а давно ли?

Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочилъ, подавъ ей руку и довелъ ее до кресель.

Я стоялъ противъ нея. Мы долго молчали; ея большіе глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали въ моихъ

что нибудь похожее на надежду; ея блѣдныя губы напрасно старались улыбнуться, ея нѣжныя руки, сложенныя на колѣняхъ, были такъ худы и прозрачны, что мнѣ стало жаль ее.

— Княжна, сказалъ я: вы знаете, что я надъ вами смѣлясь?... Вы должны презирать меня.

На ея щекахъ показался болѣзненный румянецъ.

Я продолжалъ: Слѣдственно, вы меня любить не можете...

Она отвернулася, облокотилась на столъ, закрыла глаза рукою, и мнѣ показалось, что въ нихъ блеснули слезы.

— Боже мой! произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо: еще минута—и я бы упалъ къ ногамъ ея.

— Итакъ, вы сами видите, сказалъ я, сколько могъ, твердымъ голосомъ и съ принужденной усмѣшкою: вы сами видите, что я не могу на васъ жениться. Если бъ вы даже этого теперь хотѣли, то скоро бы раскаялись. Мой разговоръ съ вашей матушкой принудилъ меня объясниться съ вами такъ откровенно и такъ грубо; я надѣюсь, что она въ заблужденіи: вамъ легко ее разуверить. Вы видите, я играю въ вашихъ глазахъ самую жалкую и гадкую роль, и даже въ этомъ признаюсь—вотъ все, что я могу для васъ сдѣлать. Какое бы вы дурное мнѣніе обо мнѣ ни имѣли, я ему покоряюсь... Видите ли, я передъ вами низокъ?... Не правда ли, если даже вы меня и любили, то съ этой минуты презираете?...

Она обернулася ко мнѣ, блѣдная какъ мраморъ, только глаза ея чудесно сверкали.

— Я васъ ненавижу... сказала она.

Я поблагодарилъ, поклонился почтительно и вышелъ.

Черезъ часъ курьерская тройка мчала меня изъ Кисловодска. За нѣсколько верстъ отъ Ессентуковъ, я узналъ близъ дороги трупъ моего лихаго коня; сѣдло было снято, вѣроятно, проѣжимъ казакомъ и, вмѣсто сѣдла, на спинѣ его сидѣли два ворона. Я вздохнулъ и отвернулся...

И теперь, здѣсь, въ этой скучной крѣпости, я часто, пробѣгая мыслію прошедшее, спрашиваю себя: отчего я не хотѣлъ

ступить на этотъ путь, открытый мнѣ судьбою, гдѣ меня ожидали тихія радости и спокойствіе душевное?... Нѣтъ, я бы не ужился съ этой долею! Я, какъ матросъ, рожденный и выросшій на палубѣ разбойничьего брига: его душа сжилась съ бурями и битвами и, выброшенный на берегъ, онъ скучаетъ и томится, какъ ни мани его тѣнистая роща, какъ ни свѣти ему мирное солнце; онъ ходитъ себѣ цѣлый день по прибрежному песку, прислушивается къ однообразному ропоту набѣгающихъ волнъ и всматривается въ туманную даль: не мелькнетъ ли тамъ, на блѣдной чертѣ, отдѣляющей синюю пучину отъ сѣрыхъ тучекъ, желанный парусъ, сначала подобный крылу морской чайки, но мало по малу отдѣляющійся отъ пѣны валуновъ и ровнымъ бѣгомъ приближающійся къ пустынной пристани...

III.

ФАТАЛИСТЪ.

Мнѣ какъ-то разъ случилось прожить двѣ недѣли въ казачьей станицѣ на лѣвомъ флангѣ; тутъ же стоялъ батальонъ пѣхоты; офицеры собирались другъ у друга поочередно, по вечерамъ играли въ карты.

Однажды, наскучивъ бостономъ и бросивъ карты подъ столъ, мы засидѣлись у майора С*** очень долго; разговоръ, противъ обыкновенія, былъ занимателенъ. Разсуждали о томъ, что мусульманское повѣрье, будто судьба человѣка написана на небесахъ, находить и между нами многихъ поклонниковъ; каждый разсказывалъ разные необыкновенные случаи про или contra.

— Все это, господа, ничего не доказываетъ, сказалъ старшій майоръ, — вѣдь никто изъ васъ не былъ свидѣтелемъ тѣхъ странныхъ случаевъ, которыми вы подтверждаете свои мнѣнія?

— Конечно, никто, сказали многіе: — но мы слышали отъ вѣрныхъ людей...

— Все это вздоръ! сказалъ кто-то:—гдѣ эти вѣрные люди, видѣвшіе списокъ, на которомъ назначенъ часъ нашей смерти?... И если точно есть предопредѣленіе, то зачѣмъ же намъ дана воля, разсудокъ? Почему мы должны давать отчетъ въ нашихъ поступкахъ?

Въ это время одинъ офицеръ, сидѣвшій въ углу комнаты, всталъ и, медленно подойдя къ столу, окинулъ всѣхъ спокойнымъ и торжественнымъ взглядомъ. Онъ былъ родомъ сербъ, какъ видно было изъ его имени.

Наружность поручика Вулича отвѣчала вполнѣ его характеру. Высокій ростъ и смуглый цвѣтъ лица, черные волосы, черные пронизательные глаза, большой, но правильный носъ—принадлежность его націи, печальная и холодная улыбка, вѣчно блуждавшая на губахъ его—все это будто согласовалось для того, чтобы придать ему видъ существа особеннаго, 'неспособнаго дѣлиться мыслями и страстями съ тѣми, которыхъ судьба дала ему въ товарищи.

Онъ былъ храбръ, говорилъ мало, но рѣзко; никому не повѣрялъ своихъ душевныхъ и семейныхъ тайнъ; вина почти вовсе не пилъ; за молодыми казачками—которыхъ прелесть трудно постигнуть, не выдавъ ихъ—онъ никогда не волочился. Говорили, однако, что жена полковника была равнодушна къ его выразительнымъ глазамъ; но онъ не шутилъ сердился, когда объ этомъ намекали.

Была только одна страсть, которой онъ не тайлъ—страсть къ игрѣ. За зеленымъ столомъ онъ забывалъ все, и обыкновенно проигрывалъ; но постоянныя неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что разъ, во время экспедиціи, ночью, онъ на подушкѣ металъ банкъ; ему ужасно везло. Вдругъ раздались выстрѣлы, ударили тревогу, всѣ вскочили и бросились къ оружію. «Поставь ва-банкъ!» кричалъ Вуличъ, не дымаясь, одному изъ самыхъ горячихъ понтѣровъ.—Идетъ семерка, отвѣчалъ тотъ, убѣгая. Не смотря на всеобщую суматоху, Вуличъ докинулъ талью; карта была дана.

Когда онъ явился въ цѣпь, тамъ была ужъ сильная перестрѣлка. Вуличъ не заботился ни о пуляхъ, ни о пашкахъ чеченскихъ: онъ отыскивалъ своего счастливаго понтеръ.

— Семерка дана! закричалъ онъ, увидѣвъ его наконецъ въ цѣпи застрѣльщиковъ, которые начинали вытѣснять изъ лѣса непріятеля, и, подойдя ближе, онъ вынулъ свой кошелекъ и бумажникъ, и отдалъ ихъ счастливцу, не смотря на возраженія о неумѣстности платежа. Исполнивъ этотъ непріятный долгъ, онъ бросился впередъ, увлекъ за собою солдатъ и до самаго конца дѣла прехладнокровно перестрѣливался съ чеченцами.

Когда поручикъ Вуличъ подошелъ къ столу, то всѣ замолчали, ожидая отъ него какой нибудь оригинальной выходки.

— Господа! сказалъ онъ [голосъ его былъ спокоенъ, хотя тономъ ниже обыкновеннаго]:—господа, къ чемупустые споры? Вы хотите доказательствъ? Я вамъ предлагаю испробовать на себѣ: можетъли человѣкъ своевольно располагать своею жизнью, или каждому изъ насъ заранѣе назначена роковая минута... Кому угодно?

— Не мнѣ, не мнѣ! раздалось со всѣхъ сторонъ.—Вотъ чудакъ! придетъ же въ голову!...

— Предлагаю пари, сказалъ я шутя.

— Какое?

— Утверждаю, что нѣтъ предопредѣленія, сказалъ я, высыпая на столъ десятка два червонцевъ—все, что было у меня въ кармаиѣ.

— Держу отвѣчалъ Вуличъ глухимъ голосомъ. — Майоръ, вы будете судьей: вотъ пятнадцать червонцевъ; остальные пять вы мнѣ должны и сдѣлаете мнѣ дружбу, прибавите ихъ къ этимъ.

— Хорошо, сказалъ майоръ; только не понимаю, право, въ чемъ дѣло, и какъ вы рѣшите споръ?...

Вуличъ молча вышелъ въ спальню майора; мы за нимъ поспѣдовали. Онъ подошелъ къ стѣнѣ, на которой висѣло оружіе, и на удачу снялъ съ гвоздя одинъ изъ разнокалиберныхъ пистолетовъ. Мы еще его не понимали; но когда онъ взвелъ ку-

рокъ и насыпалъ на полку пороху, то многіе, невольно вскрикнувъ, схватили его за руки.

— Что ты хочешь дѣлать? Послушай, это сумасшествіе! закричали ему.

— Господа! сказалъ онъ медленно, освобождая свою руку:— кому угодно заплатить за меня двадцать червонцевъ?

Всѣ замолчали и отошли.

Вуличъ вышелъ въ другую комнату и сѣлъ у стола; всѣ послѣдовали за нимъ. Онъ знакомъ пригласилъ насъ сѣсть кругомъ. Молча повиновались ему: въ эту минуту онъ приобрѣлъ надъ нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрѣлъ ему въ глаза, но онъ спокойнымъ и неподвижнымъ взоромъ встрѣтилъ мой испытующій взглядъ, и блѣдныя губы его улыбнулись; но, не смотря на его хладнокровіе, мнѣ казалось, я читалъ печать смерти на блѣдномъ лицѣ его. Я замѣчалъ — и многіе старые воины подтверждали мое замѣчаніе — что часто на лицѣ человѣка, который долженъ умереть черезъ нѣсколько часовъ, есть какой-то странный отпечатокъ неизбѣжной судьбы, такъ что привычнымъ глазомъ трудно ошибиться.

— Вы нынче умрете! сказалъ я ему. Онъ быстро ко мнѣ обернулся, но отвѣчалъ медленно и спокойно:

— Можетъ быть да, можетъ быть нѣтъ... Потомъ обратился къ майору, спросилъ: заряженъ ли пистолетъ? Майоръ въ замѣшательствѣ не помнилъ хорошенько.

— Да полно, Вуличъ! закричалъ кто-то: — ужъ вѣрно заряженъ, коли въ головахъ висѣлъ; что за охота шутить!...

— Глупая шутка! подхватилъ другой.

— Держу пятьдесятъ рублей противъ пяти, что пистолетъ не заряженъ! закричалъ третій.

Составилось новое пари.

Мнѣ надоѣла эта длинная церемонія. — Послушайте, сказалъ я: или застрѣлитесь, или повѣсьте пистолетъ на прежнее мѣсто, и пойдемте спать.

— Разумѣется, воскликнули многіе: пойдемте спать.

— Господа, я васъ прошу не трогаться съ мѣста! сказалъ Вуличъ, приставивъ дуло пистолета ко лбу.

Всѣ будто окаменѣли. — Господинъ Печоринъ, прибавилъ онъ: возьмите карту и бросьте вверхъ.

Я взялъ со стола, какъ теперь помню, червоннаго туза и бросилъ вверху: дыханіе у всѣхъ остановилось; всѣ глаза, выражая страхъ и какое-то неопредѣленное любопытство, бѣгали отъ пистолета къ роковому тузу, который, трепеща на воздухѣ, опускался медленно; въ ту минуту, какъ онъ коснулся стола, Вуличъ спустилъ курокъ... осѣчка!

— Слава Богу! вскрикнули многіе: не заряженъ...

— Посмотримъ, однако жъ, сказалъ Вуличъ. Онъ взвелъ опять курокъ, прицѣлился въ фуражку, висѣвшую надъ окномъ; выстрѣлъ раздался—дымъ наполнилъ комнату; когда онъ разсѣялся, сняли фуражку: она была пробита въ самой серединѣ и пуля глубоко засѣла въ стѣнѣ.

Минуты три никто не могъ слова вымолвить. Вуличъ преспокойно пересыпалъ въ свой кошелекъ мои червонцы.

Пошли толки о томъ, отчего пистолетъ въ первый разъ не выстрѣлилъ; иные утверждали, что вѣроятно полка была засорена; другіе говорили шопотомъ, что прежде порохъ былъ сырой и что послѣ Вуличъ присыпалъ свѣжаго; но я утверждалъ, что послѣднее предположеніе несправедливо, потому что я во все время не спускалъ глазъ съ пистолета.

— Вы счастливы въ игрѣ! сказалъ я Вуличу...

— Въ первый разъ отъ роду, отвѣчалъ онъ, самодовольно улыбаясь:—это лучше банка и штосса.

— За то немножко опаснѣе.

— А что? Вы начали вѣрить предопредѣленію?

— Вѣрю; только не понимаю теперь, отчего мнѣ казалось, будто вы непременно должны нынче умереть...

Этотъ же челоуѣкъ, который такъ недавно мѣтилъ себѣ преспокойно въ лобъ, теперь вдругъ вспыхнулъ и смутился.

— Однако жъ довольно! сказалъ онъ, вставая:—пари наше кончилось и теперь ваши замѣчанія, мнѣ кажется, неумѣстны...

Онъ взялъ шапку и ушелъ. Это мнѣ показалось страннымъ— и не даромъ.

Скоро всѣ разошлись по домамъ, различно толкуя о причинахъ Вулича и, вѣроятно, въ одинъ голосъ называя меня эгоистомъ, потому что я держалъ пари противъ челоуѣка, который хотѣлъ застрѣлиться; какъ будто онъ безъ меня не могъ найти удобнаго случая...

Я возвращался домой пустыми переулками станицы; мѣсяцъ полный и красный, какъ зарево пожара, началъ показываться изъ-за зубчатаго горизонта домовъ; звѣзды спокойно сіяли на темноголубомъ сводѣ, и мнѣ стало смѣшно, когда я вспомнилъ, что были нѣкогда люди премудрые, думавшіе, что свѣтила небесныя принимаютъ участіе въ нашихъ ничтожныхъ спорахъ за клочекъ земли или за какія нибудь вымышленныя права. И что жъ? Эти лампы, зажженныя, по ихъ мнѣнію, только для того, чтобъ освѣщать ихъ битвы и торжества, горятъ съ прежнимъ блескомъ, а ихъ страсти и надежды давно утасли вмѣстѣ съ ними, какъ огонекъ, зажженный на краю лѣса безпечнымъ странникомъ! Но за то какую силу воли придавали имъ увѣренность, что цѣлое небо, съ своими безчисленными жителями, на нихъ смотритъ съ участіемъ, хотя нѣмымъ, но неизмѣннымъ!... А мы, ихъ жалкіе потомки, скитающіеся по землѣ безъ убѣжденій и гордости, безъ наслажденія и страха, кромѣ той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежномъ концѣ, мы неспособны болѣе къ великимъ жертвамъ ни для блага челоуѣчества, ни даже для собственнаго нашего счастья, потому что знаемъ его невозможность и равнодушно переходимъ отъ сомнѣнія къ сомнѣнію, какъ наши предки бросались отъ одного заблужденія къ другому, не имѣя, какъ они, ни надежны, ни даже того неопредѣленнаго, хотя и сильнаго наслажденія, которое встрѣчаетъ душа во всякой борьбѣ съ людьми или съ судьбою...

И много другихъ подобныхъ думъ проходило въ умѣ моемъ: я ихъ не удерживалъ, потому что не люблю останавливаться на какой нибудь отвлеченной мысли; и къ чему это ведетъ?... Въ

первой молодости моей я былъ мечтателемъ; я любилъ ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мнѣ безпокойное и жадное воображеніе. Но что отъ этого мнѣ осталось? — одна усталость, какъ послѣ ночной битвы съ привидѣніемъ, и смутное воспоминаніе, исполненное сожалѣній. Въ этой напрасной борьбѣ я истощилъ и жаръ души и постоянство воли, необходимыя для дѣйствительной жизни; я вступилъ въ эту жизнь, переживъ ее уже мысленно, и мнѣ стало скучно и гадко, какъ тому, кто читаетъ дурное подражаніе давно ему извѣстной книгѣ.

Присшествіе этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатлѣніе и раздражило мои нервы. Не знаю навѣрное, вѣрю ли я теперь въ предопредѣленіе или нѣтъ, но въ этотъ вечеръ я ему твердо вѣрилъ; доказательство было разительное, и я, не смотря на то, что посмѣялся надъ нашими предками и ихъ услужливой астрологіей, попалъ невольнo въ ихъ колею; но я остановилъ себя во-время на этомъ опасномъ пути и, имѣя правило ничего не отвергать рѣшительно и ничему не вѣряться слѣпо, отбросилъ метафизику въ сторону и сталъ смотрѣть подъ ноги. Такая предосторожность была очень кстати: я чуть-чуть не упалъ, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но повидимому не живое. Наклоняюсь—мѣсяцъ уже свѣтилъ прямо на дорогу—и что же? передо мною лежала свинья, разрубленная пополамъ шашкой... Едва я успѣлъ ее разсмотрѣть, какъ услышалъ шумъ шаговъ: два казака бѣжали изъ переулка. Одинъ подошелъ ко мнѣ и спросилъ: не видалъ ли я пьянаго казака, который гнался за свиньей. Я объявилъ имъ, что не встрѣчалъ казака, и указалъ на несчастную жертву его неистовой храбрости.

— Экой разбойникъ! сказалъ второй казакъ:—какъ напѣтся чихиря, такъ и пошелъ крошить все, что ни попало. Пойдемъ за нимъ Еремейчъ; надо его связать, а то...

Они удалились, а я продолжалъ свой путь съ болѣею осторожностью и наконецъ счастливо добрался до своей квартиры.

Я жилъ у одного стараго урядника, котораго любилъ за добрый его нравъ, а особенно за хорошенькую дочку, Настю.

Она по, обыкновенію, дожидалась меня у калитки, завернувшись въ шубку; луна освѣщала ея милыя губки, поспѣвшія отъ ночнаго холода. Узнавъ меня, она улыбнулась, но мнѣ было не до нея. «Прощай, Настя!» сказалъ я, проходя мимо. Она хотѣла что-то отвѣчать, но только вздохнула.

Я затворилъ за собою дверь моей комнаты, засвѣтилъ свѣчу и бросился на постель; только сонъ на этотъ разъ заставилъ себя ждать болѣе обыкновеннаго. Ужъ востокъ начиналъ блѣднѣть, когда я заснулъ, но, видно, было написано на небесахъ, что въ эту ночь я не выплуюсь. Въ четыре часа утра два кулака застучали ко мнѣ въ окно. Я вскочилъ: что такое?... «Вставай одѣвайся!» кричало мнѣ нѣсколько голосовъ. Я наскоро одѣлся и вышелъ. «Знаешь, что случилось?» сказали мнѣ въ одинъ голосъ три офицера, пришедшіе за мною; они были блѣдны, какъ смерть.

— Что?

— Вуличъ убить.

Я остобенѣлъ.

— Да, убить! продолжали они.—Пойдемъ скорѣе.

— Да куда же?

— Дорогой узнаешь.

Пошли. Они рассказали мнѣ все, что случилось, съ примѣсью разныхъ замѣчаній насчетъ страннаго предопредѣленія, которое спасло его отъ неминуемой смерти за полчаса до смерти. Вуличъ шелъ одинъ по темной улицѣ; на него наскочилъ пьяный казакъ; изрубившій свинью и, можетъ быть, прошелъ бы мимо, не замѣтивъ его, если бъ Вуличъ вдругъ остановился, не сказалъ: «Кого ты, братецъ, ищешь?—Тебѣ! отвѣчалъ казакъ, ударивъ его шашкой, и изрубилъ его отъ плеча почти до сердца... Два казака, встрѣтившіе меня и слѣдившіе за убійцей, подоспѣли, подняли раненаго, но онъ былъ уже при послѣднемъ издыханіи, и сказалъ только два слова: «Онъ правъ!» —Я одинъ понималъ темное значеніе этихъ словъ: они отно-

сились ко мнѣ; я предсказать невольно бѣдному его судьбу; мой инстинктъ не обманулъ меня: я точно прочелъ на его измѣнившемся лицѣ печать близкой кончины.

Убійца заперся въ пустой хатѣ, на концѣ станицы: мы шли туда. Множество женщинъ бѣжало съ плачемъ въ ту же сторону; по-временамъ опоздавшій казакъ выскакивалъ на улицу, второпяхъ пристегивая кинжалъ, и бѣгомъ опережалъ насъ. Суматоха была страшная.

Вотъ, наконецъ, мы пришли; смотримъ: вокругъ хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоитъ толпа. Офицеры и казаки толкуютъ горячо между собою; женщины воютъ, приговаривая и причитывая. Среди ихъ бросилось мнѣ въ глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчаяніе. Она сидѣла на толстомъ бревнѣ, облокотясь на свои колѣни и поддерживая голову руками: то была мать убійцы. Ея губы по-временамъ шевелились... молитву онѣ шептали или проклятіе?

Между тѣмъ, надо было на что нибудь рѣшиться и схватить преступника. Никто, однако, не отваживался броситься первымъ.

Я подошелъ къ окну и посмотрѣлъ въ щель ставни: блѣдный, онъ лежалъ на полу, держа въ правой рукѣ пистолетъ; окровавленная шапка лежала возлѣ него. Выразительные глаза его страшно вращались кругомъ; порою онъ вздрагивалъ и хваталъ себя за голову, какъ будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочелъ большой рѣшимости въ этомъ безпокойномъ взглядѣ и сказалъ майору, что напрасно онъ не велитъ выломать дверь и броситься туда казакамъ, потому что лучше это сдѣлать теперь, нежели послѣ, когда онъ совсѣмъ опомнится.

Въ это время старый есаулъ подошелъ къ двери и назвалъ его по имени; тотъ откликнулся.

— Согрѣшилъ, братъ Ефимичъ, сказалъ есаулъ:—такъ ужъ нечего дѣлать, покорись!

— Не покорюсь! отвѣчалъ казакъ.

— Побойся Бога! вѣдь ты не чеченецъ окаинный, а честный христіанинъ. Ну, ужъ коли грѣхъ твой тебя попуталъ, нечего дѣлать: своей судьбы не минуешь!

— Не покорюсь закричалъ казакъ грозно, и слышно было какъ шелкнулъ взведенный курокъ.

— Эй, тетка! сказалъ есаулъ старухѣ: — поговори сыну, авось тебя послушаетъ... Вѣдь это только Бога гнѣвить. Да посмотри, вотъ и господя ужъ два часа дожидаются.

Старуха посмотрѣла на него пристально и покачала головой.

— Василій Петровичъ, сказалъ есаулъ, подойдя къ майору: онъ не сдастся — я его знаю; а если дверь разломать, то много нашихъ перебьетъ. Не прикажете ли лучше его пристрѣлить? въ ставнѣ щель широкая.

Въ эту минуту у меня въ головѣ промелькнула странная мысль: подобно Вуличу, я вздумалъ испытать судьбу.

— Погодите, сказалъ я майору:—я его возьму живаго.

Велѣвъ есаулу завести съ нимъ разговоръ и поставивъ у дверей трехъ казаковъ, готовыхъ ее выбить и броситься мнѣ на помощь при данномъ знакѣ, я обошелъ хату и приблизился къ роковому окну; сердце мое сильно билось.

— Ахъ, ты окаинный! кричалъ есаулъ:—что ты надъ нами смѣешься что ли? али думаешь, что мы съ тобой не совладаемъ?—Онъ сталъ стучать въ дверь изо всей силы; я, приложивъ глазъ къ щели, слѣдилъ за движеніями казака, не ожидавшаго съ этой стороны нападенія—и вдругъ оторвалъ ставень и бросился въ окно головой внизъ. Выстрѣлъ раздался у меня надъ самымъ ухомъ, пуля сорвала эполетъ; но дымъ, наполнившій комнату, помѣшалъ моему противнику найти пашку, лежавшую возлѣ него. Я схватилъ его за руки; казаки ворвались и, не прошло трехъ минутъ, какъ преступникъ былъ уже связанъ и отведенъ подъ конвоемъ. Народъ разошелся; офицеры меня поздравляли—и точно, было съ чѣмъ.

Послѣ всего этого, какъ бы, кажется, не сдѣлаться фаталистомъ? Но кто знаетъ навѣрное, убѣжденъ ли онъ въ чемъ,

или нѣтъ?... И какъ часто мы принимаемъ за убѣжденіе обманъ чувствъ, или промахъ разсудка!... Я люблю сомнѣваться во всемъ: это расположеніе не мѣшаетъ рѣшительности характера; напротивъ, что до меня касается, то я всегда смѣлѣе иду впередъ, когда не знаю, что меня ожидаетъ. Вѣдь хуже смерти ничего не случится—а смерти не минуешь.

Возвратясь въ крѣпость, я рассказалъ Максиму Максимичу все, что случилось со мною и чему былъ я свидѣтель, и пожелалъ узнать его мнѣніе насчетъ предопредѣленія. Онъ сначала не понималъ этого слова, но я объяснилъ его, какъ могъ, и тогда онъ сказалъ, значительно покачавъ головою:

— Да-съ, конечно-съ! Это штука довольно мудреная!... Впрочемъ, эти азіатскіе курки часто осѣкаются, если дурно смазаны, или недовольно крѣпко прижмешь пальцемъ. Признаюсь, не люблю я также винтовокъ черкесскихъ: онѣ какъ-то нашему брату неприличны: прикладъ маленький—того и гляди, носъ обожжетъ... За то ужъ пашки у нихъ — просто, мое почитеніе!

Потомъ онъ промолвилъ, нѣсколько подумавъ:

— Да, жаль бѣднягу... Чортъ же его дернулъ ночью съ пьянымъ разговаривать!... Впрочемъ, видно ужъ такъ у него на роду было написано!...

Больше я отъ него ничего не могъ добиться: онъ вообще не любитъ метафизическихъ преній.

А Ш И К Ъ - К Е Р И Б Ъ .

ТУРЕЦКАЯ СКАЗКА.

Давно тому назадъ, въ городѣ Тифлисѣ жилъ одинъ богатый турокъ. Много Аллахъ далъ ему золота; но дороже золота была ему единственная дочь, Магуль - Мегери. Хороши звѣзды на небеси, но за звѣздами живутъ ангелы, и они еще

лучше; такъ и Магуль - Мегери была лучше всѣхъ дѣвушекъ Тифлиса. Былъ также въ Тифлисѣ бѣдный Ашикъ-Керибъ. Пророкъ не далъ ему ничего, кромѣ высокаго сердца и дара пѣсень. Играя на саазѣ [балалайкѣ] и прославляя древнихъ вѣтязей Туркестана, ходилъ онъ по свадьбамъ увеселять богатыхъ и счастливыхъ. На одной свадьбѣ онъ увидѣлъ Магуль-Мегери, и они полюбили другъ друга. Мало было надежды у Ашикъ-Кериба получить ея руку, и онъ сталъ грустенъ, какъ зимнее небо.

Вотъ, разъ онъ лежалъ въ саду подѣ виноградникомъ и наконецъ заснулъ. Въ это время шла мимо Магуль-Мегери съ своими подругами, и одна изъ нихъ, увидѣвъ спавшаго Ашика [балалаечника], отстала и подошла къ нему. «Что ты спишь подѣ виноградникомъ», заплѣла она, «вставай, безумный, твоя газель идетъ мимо». Онъ проснулся: дѣвушка порхнула прочь, какъ птичка. Магуль-Мегери слышала ея пѣсню и стала ее бранить. «Если бѣ ты знала», отвѣчала та, «кому я пѣла пѣсню, ты бы меня поблагодарила: это твой Ашикъ-Керибъ». — «Веди меня къ нему!» сказала Магуль-Мегери и онъ пошелъ. Увидѣвъ его печальное лицо, Магуль-Мегери стала его спрашивать и утѣшать. — «Какъ мнѣ не грустить», отвѣчалъ Ашикъ-Керибъ, «я тебя люблю и ты никогда не будешь моею!» — «Проси мою руку у отца моего», говорила она: «и отецъ мой сыграетъ нашу свадьбу на свои деньги и наградитъ меня столько, что намъ вдвоемъ достанетъ». — «Хорошо», отвѣчалъ онъ, «положимъ, Аякъ-Ага ничего не пожалѣетъ для своей дочери; но кто знаетъ, что послѣ ты не будешь меня упрекать въ томъ, что я ничего не имѣлъ и тебѣ всѣмъ обязанъ? Нѣтъ, милая Магуль-Мегери, я положилъ зарокъ на свою душу: обѣщаюсь семь лѣтъ странствовать по свѣту и нажить себѣ богатство, либо погибнуть въ дальнихъ пустыняхъ. Если ты согласна на это, то по истеченіи срока будешь моею». Она согласилась, но прибавила, если въ назначенный день онъ не вернется, то она сдѣлается женою Куршудъ-бека, который уже давно за нее сватается.

Пришелъ Ашикъ-Керибъ къ своей матери, взялъ на дорогу

ея благословеніе, поцѣловалъ маленькую сестру, повѣсилъ черезъ плечо сумку, оперся на посохъ странничій и вышелъ изъ города Тифлиса. И вотъ догоняетъ его всадникъ; онъ смотритъ: это Куршудъ-бекъ. «Добрый путь!» кричалъ ему бекъ, «куда бы ты ни шелъ, странникъ, я твой товарищъ». Не радъ былъ Ашикъ своему товарищу, но нечего дѣлать. Долго они шли вмѣстѣ, наконецъ завидѣли передъ собою рѣку. Ни моста, ни брода. «Ндыви впередъ», сказалъ Куршудъ-бекъ, «я за тобою послѣдую». Ашикъ сбросилъ верхнее платье и поплылъ. Переправившись, глядъ назадъ—о горе! о всемогущій Аллахъ!—Куршудъ-бекъ, взявъ его одежду, уѣхалъ обратно въ Тифлисъ; только пылъ вилась за нимъ змѣю по гладкому полю. Прискакавъ въ Тифлисъ, несетъ бекъ платье Ашикъ-Кериба къ его старой матери. «Твой сынъ утонулъ въ глубокой рѣкѣ», говоритъ онъ, «вотъ его одежда». Въ невыразимой тоскѣ упала мать на одежды любимого сына и стала обливать ихъ жаркими слезами; потомъ взяла ихъ и понесла къ нареченной невѣстѣ своей, Магуль-Мегери. «Мой сынъ утонулъ», сказала она ей: «Куршудъ-бекъ привезъ его одежды; ты свободна». Магуль-Мегери улыбнулась и отвѣчала: «Не вѣрь: это все выдумки Куршудъ-бека. Прежде истеченія семи лѣтъ никто не будетъ моимъ мужемъ». Она взяла со стѣны свою саазъ и спокойно начала пѣть любимую пѣсню бѣднаго Ашикъ-Кериба.

Между тѣмъ странникъ пришелъ босъ и нагъ въ одну деревню. Добрые люди одѣли его и накормили; онъ за это пѣлъ имъ чудесныя пѣсни. Такимъ образомъ переходилъ онъ изъ деревни въ деревню, изъ города въ городъ, и слава его разнеслась повсюду. Прибылъ онъ наконецъ въ Халафъ. По обыкновенію, вошелъ въ кофейный домъ, спросилъ саазъ и сталъ пѣть. Въ это время жилъ въ Халафѣ паша, большой охотникъ до пѣсенниковъ. Многихъ къ нему приводили—ни одинъ ему не понравился. Его чауши измучились, бѣгая по городу. Вдругъ, проходя мимо кофейнаго дома, слышать удивительный голосъ. Они туда. «Иди съ нами къ великому пашѣ», закричали они, «или ты отвѣчаешь намъ головою».—«Я человѣкъ вольный, стран-

никъ изъ города Тифлиса», говоритъ Ашикъ-Керибъ: «хочу—пойду, хочу—нѣтъ; пою, когда придется, и вашъ папа мнѣ не начальникъ». Однако, не смотря на то, его схватили и привели къ пашѣ. «Пой!» сказалъ паша, и онъ запѣлъ. И въ этой пѣснѣ онъ славилъ свою дорогую Магуль-Мегери, и эта пѣсня такъ понравилась гордому пашѣ, что онъ оставилъ у себя бѣднаго Ашикъ-Кериба. Посыпалось къ нему серебро и золото, заблистали на немъ богатая одежды. Счастливо и весело сталъ жить Ашикъ-Керибъ и сдѣлался очень богатъ. Забылъ онъ свою Магуль-Мегери или нѣтъ—не знаю, только срокъ истекалъ. Последній годъ скоро долженъ былъ кончиться, а онъ не готовился къ отъѣзду. Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаяваться. Въ это время отправлялся одинъ купецъ съ караваномъ изъ Тифлиса съ сорока верблюдами и 80 невольниками. Призываетъ она купца къ себѣ и даетъ ему золотое блюдо. «Возьми ты это блюдо», говорила она, «и въ какой бы ты городъ ни пріѣхалъ, выставь это блюдо въ своей лавкѣ и объяви вездѣ, что тотъ, кто признается моему блюду хозяиномъ и докажетъ это, получить его и, въ добавокъ, вѣсь его золотомъ». Отправился купецъ; вездѣ исполнялъ порученіе Магуль-Мегери, но никто не признался хозяиномъ золотому блюду. Уже онъ продалъ почти всѣ свои товары и пріѣхалъ съ остальными въ Халафъ. Объявилъ онъ вездѣ порученіе Магуль-Мегери. Услыхавъ это, Ашикъ-Керибъ прибѣгаетъ въ караванъ-сарай и видитъ золотое блюдо въ лавкѣ тифлисскаго купца. «Это мое!» сказалъ онъ, схвативъ его рукою.—«Точно твое», сказалъ купецъ: «я узналъ тебя, Ашикъ-Керибъ. Ступай же скорѣе въ Тифлисъ: твоя Магуль-Мегери велѣла тебѣ сказать, что срокъ истекаетъ, и если ты не будешь въ назначенный день, то она выйдетъ за другого». Въ отчаяніи, Ашикъ-Керибъ схватилъ себя за голову: оставалось только три дня до роковаго часа. Однако онъ сѣлъ на коня, взялъ съ собою суму съ золотыми монетами и поскакалъ, не жалѣя коня. Наконецъ, измученный бѣгунъ упалъ бездыханный изъ Арзиньянъ-горѣ, что между Арзиньяномъ и Арзерумомъ. Что ему было дѣлать? Отъ Арзиньяна до Тифлиса два мѣсяца

ѣзды, а оставалось только два дня. «Аллахъ всемогущій!» воскликнулъ онъ, «если ты ужъ мнѣ не поможешь, то мнѣ нечего на землѣ дѣлать!» И хотѣтъ онъ броситься съ высокаго утеса. Вдругъ видитъ внизу человѣка на бѣломъ конѣ, и слышитъ громкій голосъ: «Огланъ [юноша], чтó ты хочешь дѣлать?» — «Хочу умереть», отвѣчалъ Ашикъ. — «Слѣзай же сюда, если такъ, я тебя убью». Ашикъ спустился кое-какъ съ утеса. «Ступай за мною», сказалъ грозно всадникъ. — «Какъ я могу за тобою слѣдовать», отвѣчалъ Ашикъ: «твой конь летитъ, какъ вѣтеръ, а я отягощенъ сумою». — «Правда. Повѣсь же суму свою на сѣдло мое и слѣдуй». Отсталъ Ашикъ-Керибъ, какъ ни старался бѣжать. «Что жъ ты отстаешь? спросилъ всадникъ. — «Какъ же я могу слѣдовать за тобою: твой конь быстрѣ мысли, а я ужъ измученъ». — «Правда. Садись свади на коня моего и говори всю правду: куда тебѣ нужно ѣхать?» — «Хотя бы въ Арзерумъ постѣтъ нынче», отвѣчалъ Ашикъ. — «Закрой же глаза». Онъ закрылъ. «Теперь открой». Смотритъ Ашикъ: передъ нимъ блѣютъ стѣны и блещутъ минареты Арзерума. «Виноватъ, Ага», сказалъ Ашикъ: «я ошибся; я хотѣлъ сказать, что мнѣ надо въ Карсъ». — «Тото же! отвѣчалъ всадникъ, «я предупредилъ тебя, чтобъ ты говорилъ мнѣ сущую правду. Закрой же опять глаза. Теперь открой». Ашикъ себѣ не вѣритъ, что это Карсъ. Онъ упалъ на колѣни и сказалъ: «Виноватъ, Ага, трижды виноватъ твой слуга Ашикъ-Керибъ; но ты самъ знаешь, что если человѣкъ рѣшился лгать съ утра, то долженъ лгать до конца дня. Мнѣ по настоящему надо въ Тифлисъ». — «Экой ты невѣрный!» сказалъ сердито всадникъ: «но, нечего дѣлать, прощаю тебѣ. Закрой же глаза. Теперь открой», прибавилъ онъ по прошествіи минуты. Ашикъ вскрикнулъ отъ радости: они были у воротъ Тифлиса. Принеся искреннюю благодарность и взявъ свою суму съ сѣдла, Ашикъ-Керибъ сказалъ всаднику: «Ага, конечно, благодарѣніе твое велико; но сдѣлай еще больше. Если я теперь буду рассказывать, что въ одинъ день посѣлъ изъ Арзиняна въ Тифлисъ, мнѣ никто не повѣритъ: дай мнѣ какое нибудь доказательство». — «Накло-

нисъ»; сказалъ тотъ улыбнувшись: «своими изъ-подъ копыта коня комокъ земли и положи себѣ за пазуху, и тогда, если не стануть вѣрить истинѣ словъ твоихъ, то вели къ себѣ привести слѣпую, которая семь лѣтъ ужъ въ этомъ положеніи, помажь ей глаза—и она увидитъ». Ашикъ взялъ кусокъ земли изъ-подъ копыта бѣлаго коня; но только онъ подымалъ голову—всадникъ и конь исчезли. Тогда онъ убѣдился въ душѣ, что покровитель былъ не кто иной, какъ Хадериліазъ [св. Георгій].

Только поздно вечеромъ Ашикъ-Керибъ отыскалъ домъ свой. Стучить онъ въ двери дрожащею рукою, говоря «Ана, ана [мать], отвори! я Божій гость, и холоденъ и голоденъ: прошу, ради странствующаго твоего сына,пусти меня». Слабый голосъ старухи отвѣчалъ ему: «Для ночлега есть дома богатыхъ и сильныхъ; есть теперь въ городѣ свадьбы—ступай туда: тамъ можешь провести ночь въ удовольствіи». — «Ана», отвѣчалъ онъ: «я здѣсь никого знакомыхъ не имѣю, и потому повторяю мою просьбу: ради странствующаго своего сына,пусти меня!» Тогда сестра его говоритъ матери: «Мать, я встану и отворю ему двери». — «Негодная!» отвѣчала старуха: «ты рада принимать молодыхъ людей и угощать ихъ, потому что вотъ уже семь лѣтъ, какъ я отъ слезъ потеряла зрѣніе». Но дочь, не внимая ея упрекамъ, встала, отворила дверь ипустила Ашикъ-Кериба. Сказавъ обычное привѣтствіе, онъ сѣлъ и съ тайнымъ волненіемъ сталъ осматриваться. И видитъ онъ: на стѣнѣ виситъ, въ пыльномъ чехлѣ, его сладковзвучная саазъ, и сталъ спрашивать у матери: «Что виситъ у тебя на стѣнѣ?» — «Любопытный ты гость», отвѣчала она: «будетъ и того, что тебѣ дадутъ кусокъ хлѣба и завтра отпустятъ тебя съ Богомъ». — «Я ужъ сказалъ тебѣ!» возразилъ онъ, «что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мнѣ, что это виситъ на стѣнѣ?» — «Это саазъ, саазъ», отвѣчала старуха сердито, не вѣря ему. «А что значитъ саазъ?» — «Саазъ то значить, что на ней играютъ и поютъ пѣсни». И проситъ Ашикъ-Керибъ, чтобъ она позволила сестрѣ снять саазъ и показать ему. «Нельзя», отвѣчала старуха: «это саазъ моего несчастнаго сы-

на. Вотъ уже семь лѣтъ она виситъ на стѣнѣ и ничья живая рука до нея не дотрогивалась». Но сестра его встала, сняла со стѣны саазъ и отдала ему. Тогда онъ поднялъ глаза къ небу и сотворилъ такую молитву: «О, всемогущій Аллахъ! если я долженъ достигнуть до желаемой цѣли, то моя семиструнная саазъ будетъ также стройна, какъ въ тотъ день, когда я въ послѣдній разъ игралъ на ней!» И онъ ударилъ по мѣднымъ струнамъ—и струны согласно заговорили; и онъ началъ пѣть: «Я бѣдный керибъ [странникъ] и слова мои бѣдны; но великій Хадерилиазъ помогъ мнѣ спуститься съ крутаго утеса. Хотя я бѣденъ и бѣдны слова мои, узнай меня, мать, своего странника». Послѣ этого мать его зарыдала и спрашиваетъ его: «Какъ тебя зовутъ?»—«Рашидъ [простодушный]», отвѣчалъ онъ. — «Разъ говори, другой разъ слушай, Рашидъ», сказала она: «своими рѣчами ты изрѣзалъ сердце мое въ куски. Нынѣшнюю ночь я во снѣ видѣла, что на головѣ моей волосы побѣлѣли. Я вотъ уже семь лѣтъ какъ ослѣпла отъ слезъ. Скажи мнѣ ты, который имѣешь его голосъ, когда мой сынъ придетъ?» И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно онъ называлъ себя ея сыномъ, но она не вѣрила. И спустя нѣсколько времени, проситъ онъ: «Позвольте, матушка, взять саазъ и идти; я слышалъ, здѣсь близко есть свадьба; сестра меня проводить. Я буду пѣть и играть, и все, что получу, принесу сюда и раздѣлю съ вами». — «Не позволю», отвѣчала старуха: «съ тѣхъ поръ, какъ нѣтъ моего сына, его саазъ не выходила изъ дому». Но онъ сталъ клясться, что не повредитъ ни одной струны. «А если хоть одна струна порвется», продолжалъ Ашикъ, «то отвѣчаю моимъ имуществомъ». Старуха оцупала его суму и, узнавъ, что она наполнена монетами, отпустила его. Проводивъ его до богатаго дома, гдѣ шумѣлъ свадебный пиръ, сестра осталась у дверей слушать, что будетъ.

Въ этомъ домѣ жила Магуль - Мегери, и въ эту ночь она должна была сдѣлаться женою Куршудъ-бека. Куршудъ-бекъ пировалъ съ родными и друзьями, а Магуль-Мегери, сидя за богатою чадрой [занавѣсомъ] съ своими подругами, держала въ

одной рукѣ чашу съ ядомъ, а въ другой острый кинжалъ: она поклялась умереть прежде, чѣмъ опуститъ голову на ложе Куршудъ-бека. И слышитъ она изъ-за чадры, что пришелъ незнакомецъ, который говорилъ: «Селямъ алейкумъ! вы здѣсь веселитесь и пируете, такъ позвольте мнѣ, бѣдному страннику, сѣсть съ вами, и за то я спою вамъ пѣсню». — «Почему же нѣтъ?» сказалъ Куршудъ-бекъ. «Сюда должны быть впускаемы пѣсенники и плясуны, потому что здѣсь свадьба. Спой же что нибудъ, ашикъ [пѣвецъ], и я отпущу тебя съ полной горстью золота».

Тогда Куршудъ-бекъ спросилъ его: «А какъ тебя зовутъ, путникъ?» — «Шинди-гѣрурсезъ [скоро узнаете]». — «Что это за имя?» воскликнулъ тотъ со смѣхомъ: «я въ первый разъ слышу». — «Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многіе сосѣди приходили къ дверямъ спрашивать: сына или дочь Богъ ей далъ? Имъ отвѣчали: шинди-гѣрурсезъ [скоро узнаете]. И вотъ поэтому, когда я родился, мнѣ дали это имя». Послѣ этого онъ взялъ саазъ и началъ пѣть:

«Въ городѣ Халафѣ я пилъ мисирское вино, но Богъ мнѣ далъ крылья и я прилетѣлъ сюда въ три дня».

Братъ Куршудъ-бека, человѣкъ малоумный, выхватилъ кинжалъ, воскликнувъ: «Ты лжешь! какъ можно изъ Халафа пріѣхать сюда въ три дня?»

«За что жъ ты меня хочешь убить?» сказалъ Ашикъ. «Пѣвцы обыкновенно со всѣхъ четырехъ сторонъ собираются въ одно мѣсто; и я съ васъ ничего не беру, вѣрьте мнѣ или не вѣрьте».

«Пускай продолжаетъ», сказалъ женихъ, и Ашикъ-Керивъ запѣлъ снова:

«Утренній намазъ творилъ я въ Арзиньянской долині, полуденный намазъ—въ городѣ Арзерумѣ; предъ захожденіемъ солнца творилъ намазъ въ городѣ Карсѣ, и вечерній намазъ—въ Тифлисѣ. Аллахъ далъ мнѣ крылья и я прилетѣлъ сюда: дай Богъ, чтобъ я сталъ жертвою благаго коня; онъ скакалъ быстро, какъ пясунъ по канату, съ горы въ ущелье, изъ уще-

лы на гору: Мевлянъ [Господь нашъ] далъ Ашику крылья и онъ прилетѣлъ на свадьбу Магуль-Мегери.

Тогда Магуль-Мегери, узнавъ его голосъ, бросила ядъ въ одну сторону, а кинжалъ въ другую. «Такъ-то ты сдержала свою клятву», сказала ей подруга: «стало быть, сегодня ночью ты будешь женою Куршудъ-бека?»—«Вы не узнали, а я узнала милый мнѣ голосъ», отвѣчала Магуль-Мегери и, взявъ ножницы, она прорѣзала чадру. Когда же посмотрѣла и точно узнала своего Ашикъ-Кериба, то вскрикнула и бросилась къ нему на шею и оба упали безъ чувствъ. Братъ Куршудъ-бека бросился на нихъ съ кинжаломъ, намѣреваясь заколотъ обоихъ, но Куршудъ-бекъ остановилъ его, примолвивъ: «Успокойся и знай, что написано у человѣка на лбу при его рожденіи, того онъ не минуетъ».

Придя въ чувство, Магуль-Мегери покраснѣла отъ стыда, закрыла лицо рукою и спряталась за чадру.

«Теперь точно видно, что ты Ашикъ-Керибъ», сказалъ женихъ: «но повѣдай, какъ же ты могъ въ такое короткое время проѣхать такое великое пространство?» — «Въ доказательство истины», отвѣчалъ Ашикъ: «сабля моя перерубитъ камень; если же лгу, то да будетъ шея моя тоньше волоса. Но лучше всего, приведите ко мнѣ слѣпую, которая бы семь лѣтъ уже не видѣла свѣта Божьяго, и я возвращу ей зрѣніе». Сестра Ашикъ-Кериба, стоя въ сѣняхъ у двери и услышавъ такую рѣчь, побѣжала къ матери. «Матушка!» закричала она: «это точно братъ и точно твой сынъ, Ашикъ-Керибъ!» и, взявъ старуху подъ-руку, привела ее на пиръ свадебный. Тогда Ашикъ взялъ комокъ земли изъ-за пазухи, развелъ его водою и намазалъ матери глаза, примолвя: «Знайте всѣ люди, какъ могущъ и великъ Хадерилиазъ!»—и мать его прозрѣла. Послѣ того никто не смѣлъ сомнѣваться въ истинѣ словъ его, и Куршудъ-бекъ уступилъ ему безмолвно прекрасную Магуль-Мегери.

Тогда, въ радости, Ашикъ-Керибъ сказалъ ему: «Послушай, Куршудъ-бекъ, я тебя утѣшу. Сестра моя не хуже твоей прежней невѣсты; я богатъ, у ней будетъ не меньше серебра и зо-

лота; и такъ, возьми ее за себя, и будьте также счастливы, какъ я съ моею дорогою Магуль-Мегери».

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ НАЧАТОЙ ПОВѢСТИ.

I.

У графини В*** былъ музыкальный вечеръ. Первые артисты столицы платили своимъ искусствомъ за честь аристократическаго приѣма; въ числѣ гостей мелькало нѣсколько литераторовъ и ученыхъ, двѣ или три молодыя красавицы, нѣсколько барышень и старушекъ, и одинъ гвардейскій офицеръ; около десятка доморощенныхъ львовъ красовалось въ дверяхъ второй гостиной и у камина. Все шло своимъ чередомъ; было ни скучно, ни весело.

Въ ту самую минуту, какъ новопріѣзжая пѣвица подходила къ роялю и развѣртывала ноты, одна молодая женщина зѣвнула, встала и вышла въ сосѣднюю комнату, на это время опустѣвшую. На ней было черное платье, кажется, по случаю придворнаго траура. На плечѣ припиленный къ голубому банту сверкалъ брилліантовый вензель. Она была средняго роста, стройная, медленна и лѣнива въ своихъ движеніяхъ; черные, длинные, чудесные волосы отгнѣняли ея еще молодое и правильное, но блѣдное лицо, и на лицѣ сіяла печать мысли.

— Здравствуйте, мсье Лугинъ, сказала Минская кому-то. Я устала... Скажите что нибудь.

И она опустила въ широкое пате возлѣ камина. Тотъ, къ кому она обращалась, сѣлъ противъ нея и ничего не отвѣчалъ. Въ комнатѣ ихъ было только двое, и холодное молчаніе Лугина показывало ясно, что онъ не принадлежитъ къ числу ея обожателей.

— Скучно! сказала Минская и снова зѣвнула. Вы видите, я съ вами не церемонюсь, прибавила она.

— И у меня сплинь!... отвѣчалъ Лугинъ.

— Вамъ опять хочется въ Италію, сказала она послѣ нѣкотораго молчанія: не правда ли?

Лугинъ, въ свою очередь, не слыхалъ вопроса; онъ продолжалъ, положивъ ногу на ногу и уставя глаза безотчетливо на бѣломраморныя плечи своей собесѣдницы:

— Вообразите, какое со мной несчастье! Что можетъ быть хуже для человѣка, который, какъ я, посвящалъ себя живописи? Вотъ уже двѣ недѣли, какъ всѣ люди мнѣ кажутся желтыми— и одни только люди! Добро бы всѣ предметы, тогда была бы гармонія въ общемъ колоритѣ: я бы думалъ, что гуляю въ галереѣ испанской школы... такъ нѣтъ! все остальное какъ и прежде: одни лица измѣнились; мнѣ иногда кажется, что у людей, вмѣсто головъ, лимоны.

Минская улыбнулась.

— Призовите доктора, сказала она.

— Доктора не помогутъ: это сплинь!

— Влюбитесь!

Во взглядѣ, который сопровождалъ это слово, выражалось что-то похожее на слѣдующее: мнѣ бы хотѣлось его немножко помучить.

— Въ кого?

— Хоть въ меня.

— Нѣтъ! вамъ даже кокетничать со мною было бы скучно, и потому скажу вамъ откровенно: ни одна женщина не любитъ меня.

— А эта... какъ бишь ее? итальянская графиня, которая послѣдовала за вами изъ Неаполя въ Миланъ?...

— Вотъ видите, отвѣчалъ задумчиво Лугинъ: я сужу другихъ по себѣ и въ этомъ отношеніи, увѣренъ, не ошибаюсь. Мнѣ точно случалось возбуждать въ иныхъ женщинахъ всѣ признаки страсти. Но такъ какъ я очень знаю, что въ этомъ обязанъ только искусству и привычкѣ кстати трогать нѣкоторыя струны человѣческаго сердца, то и не радуюсь своему счастью. Я себя спрашивалъ: «могу ли я влюбиться въ дурную?»

Вышло: нѣтъ; я дурень и, слѣдственно, женщина меня любить не можетъ—это ясно. Аристократическое чувство развито въ женщинахъ сильнѣе, чѣмъ въ насъ; онѣ чаще и долѣе насъ покорны первому впечатлѣнію. Если я умѣлъ подогрѣть въ нѣкоторыхъ то, что называютъ капризомъ, то это стоило мнѣ немовѣрныхъ трудовъ и жертвъ; но такъ какъ я зналъ поддѣльность чувства, внушеннаго мною, и благодарилъ за него только себя, то и самъ не могъ забыться до полной, безотчетной любви; къ моей страсти примѣшивалось всегда не много злости. Все это грустно, а правда!...

— Какой вздоръ! сказала Минская и, окинувъ его быстрымъ взглядомъ, она невольно съ нимъ согласилась.

Наружность Лугина была въ самомъ дѣлѣ ни чуть не привлекательна, не смотря на то, что въ странномъ выраженіи глазъ его было много огня и остроумія. Во всемъ его существѣ мы не встрѣтимъ ни одного изъ тѣхъ условій, которыя дѣлаютъ человѣка пріятнымъ въ обществѣ: онъ былъ неловко и грубо сложенъ, говорилъ рѣзко и отрывисто; большіе и рѣдкіе волосы на вискахъ, неровный цвѣтъ лица—признаки постоянного и тайнаго недуга—дѣлали его на видъ старѣе, чѣмъ онъ былъ въ самомъ дѣлѣ. Онъ три года лечился въ Италіи отъ ипохондріи, и хотя не вылечился, но по крайней мѣрѣ нашелъ средство развлекаться съ пользою: онъ пристрастился къ живописи. Природный талантъ, сжатый обязанностями службы, развился въ немъ широко и свободно подъ животворнымъ небомъ юга, при чудныхъ памятникахъ древнихъ учителей. Онъ вернулся истиннымъ художникомъ, хотя одни только друзья имѣли право наслаждаться его прекраснымъ талантомъ. Въ его картинахъ всегда дышало какое-то неясное, но тяжелое чувство; на нихъ была печать той горькой поэзіи, которую нашъ бѣдный вѣкъ выжималъ изъ сердца ея первыхъ проповѣдниковъ.

Лугинъ уже два мѣсяца какъ вернулся въ Петербургъ. Онъ имѣлъ независимое состояніе, мало родныхъ и нѣсколько старинныхъ знакомствъ въ высшемъ кругу столицы, гдѣ и хотѣлъ провести зиму. Онъ бывалъ часто у Минской. Ея красота, рѣд-

кій умъ, оригинальный взглядъ на вещи должны были произвести впечатлѣніе на человека съ умомъ и воображеніемъ; но о любви между ними не было и въ поминѣ.

Разговоръ ихъ на время прекратился и они оба, казалось, заслушались музыки. Заѣзжая пѣвица пѣла балладу Шуберта на слова Гёте: «Лѣсной царь». Когда она кончила, Лутинъ всталъ.

— Куда вы? спросила Минская.

— Прощайте.

— Еще рано.

Онъ опять сѣлъ.

— Знаете ли, сказалъ онъ съ какою-то важностью: что я начинаю сходить съ ума?

— Право?

— Кромѣ шутокъ. Вамъ это можно сказать: вы надо мною не будете смѣяться. Вотъ уже нѣсколько дней, какъ я слышу голосъ; кто-то мнѣ твердитъ на ухо съ утра до вечера, и—какъ вы думаете, что—адресъ. Вотъ и теперь слышу: «въ Столярномъ переулкѣ, у Кокушкина моста, домъ титулярнаго совѣтника Штосса, квартира нумеръ 27», и такъ шибко, шибко, точно торопится... Несносно!...

Онъ поблѣднѣлъ, но Минская этого не замѣтила.

— Вы, однако, не видите того, кто говоритъ? спросила она разсѣянно.

— Нѣтъ; но голосъ звонкій, рѣзкій дискантъ.

— Когда же это началось?

— Признаться ли? Я не могу сказать навѣрное... не знаю... вотъ что, право, забавно! сказалъ онъ, принужденно улыбаясь.

— У васъ кровь приливаетъ къ головѣ и въ ухахъ звенитъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! Научите, какъ мнѣ избавиться?

— Самое лучшее средство, сказала Минская, подумавъ съ минуту: идти къ Кокушкину мосту, отыскать этотъ нумеръ, и такъ какъ, вѣрно, въ немъ живетъ какойнибудь сапожникъ или часовой мастеръ, то, для приличія закажите ему работу и,

возвратясь домой, ложитесь спать, потому что... Вы въ самомъ дѣлѣ нездоровы... прибавила она, взглянувъ на его встревоженное лицо съ участіемъ.

— Вы правы, отвѣчалъ угрюмо Лутинъ: я непременно пойду. Онъ всталъ, взялъ шляпу и вышелъ.

Она посмотрѣла ему вслѣдъ съ удивленіемъ.

II.

Сырое ноябрьское утро лежало надъ Петербургомъ. Мокрый снѣгъ падалъ хлопьями; дома казались грязны и темны; лица прохожихъ были зелены; извозчики на биржахъ дремали подъ рыжими полостями своихъ саней; мокрая, длинная шерсть ихъ бѣдныхъ клячъ завивалась барашкомъ; туманъ придавалъ отдаленнымъ предметамъ, какой-то сѣро-лиловый цвѣтъ. По тротуарамъ лишь изрѣдка хлопали калоши чиновника, да иногда раздавался шумъ и хохотъ въ подземной полпивной лавочкѣ, когда оттуда выталкивали пьяного молодца въ зеленой фризовой шинели и клеенчатой фуражкѣ. Разумѣется, эти картины встрѣтили бы вы только въ глухихъ частяхъ города, какъ напримѣръ, у Кокушкина моста. Черезъ этотъ мостъ шелъ человѣкъ средняго роста, ни худой, ни толстый, ни стройный, но съ широкими плечами, въ пальто, и вообще одѣтый со вкусомъ. Жалко было видѣть его лакированные сапоги, вымоченные снѣгомъ и грязью; но онъ, казалось, объ этомъ ни мало не заботился. Засунувъ руки въ карманы, повѣся голову, онъ шелъ неровными шагами, какъ будто боялся достигнуть цѣли своего путешествія или не имѣлъ ея вовсе. На мосту онъ остановился, поднялъ голову и осмотрѣлся. То былъ Лутинъ. Слѣды душевной усталости виднѣлись на его измятомъ лицѣ; въ глазахъ горѣло тайное безпокойство. «Гдѣ Столярный переулокъ?» спросилъ онъ нерѣшительнымъ голосомъ у порожняго извозчика, который въ ту минуту проѣзжалъ мимо него шагомъ, закрывшись по шею мохнатою полостью и насвистывая камаринскую.

Извозникъ посмотрѣлъ на него, хлыстнулъ лошадь кончикомъ кнута и проѣхалъ мимо.

Ему это показалось странно. «Ужъ полно есть ли Столярный переулокъ?» Онъ сошелъ съ моста и обратился съ тѣмъ же вопросомъ къ мальчику, который бѣжалъ съ полухтофомъ черезъ улицу.

— Столярный? сказалъ мальчикъ: а вотъ идите прямо по Малой Мѣщанской и тотчасъ направо; первый переулокъ и будетъ Столярный.

Лугинъ успокоился. Дойдя до угла, онъ повернулъ направо и увидѣлъ небольшой грязный переулокъ, въ которомъ съ каждой стороны было не больше десяти высокихъ домовъ. Онъ постучалъ въ дверь первой мелочной лавочки и, назвавъ лавочника, спросилъ: гдѣ домъ Штосса?

— Штосса? Не знаю, баринъ; здѣсь этакихъ нѣтъ; а вотъ здѣсь рядомъ есть домъ купца Блинникова, а подальше...

— Да мнѣ надо Штосса...

— Ну, не знаю!... Штосса?—сказалъ лавочникъ, почесавъ затылокъ, и потомъ прибавилъ: нѣтъ, не слыхать-съ!

Лугинъ самъ пошелъ смотрѣть надписи: что-то ему говорило, что онъ съ перваго взгляда узнаетъ домъ, хотя никогда его не видалъ. Такъ онъ добрался почти до конца переулка и ни одна надпись ни чѣмъ не поразила его воображенія, какъ вдругъ онъ кинулъ случайно глаза на противоположную сторону улицы и увидалъ надъ одними воротами жестяную доску вовсе безъ надписи; онъ подбѣжалъ къ этимъ воротамъ и сколько ни разсматривалъ, не замѣтилъ ничего похожаго даже на слѣды стертой временемъ надписи; доска была совершенно новая. Подъ воротами дворникъ, въ долгополомъ полинявшемъ кафтанѣ, съ сѣдой, давно небритой бородою, безъ шапки и подпоясанный грязнымъ фартукомъ, разметалъ снѣгъ.

— Эй, дворникъ! закричалъ Лугинъ.

Дворникъ что-то проворчалъ сквозь зубы.

— Чей это домъ?

— Проданъ! отвѣчалъ грубо дворникъ.

— Да чей онъ былъ?

— Чей?—Кифейкина, купца.

— Не можетъ быть! вѣрно Штосса! вскрикнулъ невольно Лугинъ.

— Нѣтъ, былъ Кифейкина, а теперь такъ Штосса, отвѣчалъ дворникъ, не подымая головы.

У Лугина руки опустились.

Сердце его забилося, какъ будто предчувствуя несчастье. Долженъ ли онъ былъ продолжать свои преслѣдованія? Не лучше ли вовремя остановиться? Кому не случалось находиться въ такомъ положеніи, тотъ съ трудомъ пойметъ его. Любопытство, говорятъ, сгубило родъ человѣческій; оно и понинѣ наша главная, первая страсть, такъ что даже всѣ остальные страсти могутъ имъ объясниться. Но бываютъ случаи, когда таинственность предмета даетъ любопытству необычайную власть: покорные ему, подобно камню, сброшенному съ горы сильною рукою, мы не можемъ остановиться, хотя увидимъ ожидающую насъ бездну.

Лугинъ долго стоялъ передъ воротами, наконецъ обратился къ дворнику съ вопросомъ:

— Новый хозяинъ здѣсь живетъ?

— Нѣтъ.

— Гдѣ же?

— А чортъ его знаетъ!

— Ты ужъ давно здѣсь дворникомъ?

— Давно.

— А есть въ этомъ домѣ жильцы?

— Есть.

— Скажи, пожалуйста, сказалъ Лугинъ послѣ нѣкотораго молчанія, сунувъ дворнику цѣлковый: кто живетъ въ 27 номерѣ?

Дворникъ поставилъ метлу въ воротахъ, взялъ цѣлковый и пристально посмотрѣлъ на Лугина.

— Въ 27 номерѣ?... Да кому тамъ жить? Онъ ужъ Богъ знаетъ сколько лѣтъ пустой.

— Развѣ его не нанимали?

— Какъ не нанимать, сударь, нанимали!

— Какъ же ты говоришь, что въ немъ не живутъ...

— А Богъ ихъ знаетъ! такъ таки не живутъ. Наймутъ на годъ, да и не переѣзжаютъ.

— Ну, а кто же послѣдній нанималъ?

— Полковникъ, изъ анженеровъ, что ли?

— Отчего же онъ не жилъ?

— Да переѣхалъ было... а тутъ, говорятъ, его сослали въ Вятку—такъ нумеръ пустой за нимъ и остался.

— А прежде полковника?

— Прежде его было нанялъ какой-то баронъ, изъ нѣмцевъ, да этотъ и не переѣзжалъ: слышно, умеръ.

— А прежде барона?

— Нанималъ купецъ для какой-то своей... гм! да обанкрутился, такъ у насъ и задатокъ остался...

«Странно!» подумалъ Лугинъ.

— А можно посмотрѣть нумеръ?

Дворникъ опять пристально взглянулъ на него.

— Какъ нельзя? Можно! отвѣчалъ онъ и пошелъ, переваливаясь, за ключами.

Онъ скоро возвратился и повелъ Лугина во второй этажъ по широкой, но довольно грязной лѣстницѣ. Ключъ заскрипѣлъ въ заржавленномъ замкѣ и дверь открылась; имъ въ лицо пахнуло сыростью. Они вошли. Квартира состояла изъ четырехъ комнатъ и кухни. Старая, пыльная мебель, нѣкогда позолоченная, была правильно разставлена кругомъ стѣнъ, обтянутыхъ обоями, на которыхъ изображены были, на зеленомъ грунтѣ, красные попугаи и золотыя лиры; изразцовыя печи кое-гдѣ порастрескались; сосновый полъ, выкрашенный подъ паркетъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ скрипѣлъ довольно подозрительно; въ простѣнкахъ висѣли овальныя зеркала съ рамками рококо; вообще комнаты имѣли какую-то странную, несовременную наружность. Она, не знаю почему, понравилась Лугину.

— Я беру эту квартиру, сказалъ онъ. Вели вымыть окна и вытереть мебель... посмотри сколько паутины!... да надо хоро-

шенько вытопить. — Въ эту минуту онъ замѣтилъ на стѣнѣ послѣдней комнаты поясной портретъ, изображавшій человѣка лѣтъ сорока въ бухарскомъ халатѣ, съ правильными чертами и большими, сѣрыми глазами; въ правой рукѣ онъ держалъ золотую табакерку необыкновенной величины; на пальцахъ красовалось множество разныхъ перстней. Казалось, этотъ портретъ писанъ несмѣлой, ученической кистью; платье, волосы, руки, перстни — все было очень плохо сдѣлано; за то въ выраженіи лица, особенно губъ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глазъ оторвать; въ линіи рта былъ какой-то невольный изгибъ, недоступный искусству и, конечно, начертанный бессознательно, придававшій лицу выраженіе насмѣшливое, грустное, злое и ласковое попеременно. Не случилось ли вамъ на замороженномъ стеклѣ, или въ зубчатой тѣни, случайно брошенной на стѣну какимъ нибудь предметомъ, различать профиль человѣческаго лица, профиль, иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте переложить ихъ на бумагу — вамъ не удастся; попробуйте на стѣнѣ обрисовать карандашомъ силуэтъ, васъ такъ сильно поразившій — и очарованіе исчезаетъ. Рука человѣка никогда съ намѣреніемъ не произведетъ этихъ линій; математически малое отступленіе — и прежнее выраженіе погибло невозвратно. Въ лицѣ портрета дышало именно то неизъяснимое, возможное только генію или случаю.

«Странно, что я замѣтилъ этотъ портретъ только въ ту минуту, какъ сказалъ, что беру квартиру!» подумалъ Лугинъ.

Онъ сѣлъ въ кресло, опустилъ голову на руку и забылся.

Долго дворникъ стоялъ противъ него, помахивая ключами.

— Что жъ, баринъ? проговорилъ онъ наконецъ.

— А?

— Какъ же? Коли берете, такъ пожалуйста задатокъ.

Они условились въ цѣнѣ. Лугинъ далъ задатокъ, послалъ къ себѣ съ приказаніемъ сейчасъ же перевозиться, а самъ просидѣлъ противъ портрета до вечера. Въ 9 часовъ самъ нуж-

ныя вещи были перевезены изъ гостинницы, гдѣ жилъ до сей поры Лугинъ.

«Вздоръ, чтобъ на этой квартирѣ нельзя было жить!» думалъ Лугинъ: «моимъ предшественникамъ, видно, не суждено было въ нее перебраться—это, конечно, странно! Но я взялъ свои мѣры: переѣхалъ тотчасъ!... Что жъ?—ничего».

До двѣнадцати часовъ онъ съ своимъ старымъ камердинеромъ Никитой разставлялъ вещи... и, надо прибавить, что онъ выбралъ для своей спальни комнату, гдѣ висѣлъ портретъ.

Передъ тѣмъ, какъ лечь спать, онъ подошелъ со свѣчей къ портрету, желая еще разъ на него взглянуть хорошенько, и прочиталъ внизу, вмѣсто имени живописца, красными буквами: *середа*.

— Какой нынче день? спросилъ онъ Никиту.

— Понедѣльникъ, сударь...

— Послѣзавтра среда, сказалъ разсѣянно Лугинъ.

— Точно такъ-съ?

Богъ знаетъ, почему Лугинъ на него разсердился.

— Пошелъ вонъ! закричалъ онъ, топнувъ ногою.

Старый Никита покачалъ головой и вышелъ. Послѣ того Лугинъ легъ въ постель и заснулъ. На другой день утромъ привезли остальные вещи и нѣсколько начатыхъ картинъ.

III.

Въ числѣ недоконченныхъ картинъ, большею частію маленькихъ, была одна, размѣра довольно значительнаго. Посреди холста, исчерченнаго углемъ, мѣломъ, и загрунтованнаго зелено-коричневою краской, эскизъ женской головки остановилъ бы вниманіе знатока; но, не смотря на прелесть рисунка и на живость колорита, она поражала непріятно тѣмъ-то неопредѣленнымъ въ выраженіи глазъ и улыбки. Видно было, что Лугинъ перерисовывалъ ее въ другихъ видахъ и не могъ остаться довольнымъ, потому что въ разныхъ углахъ холста являлась

та же головка, замаранная коричневой краской; то не былъ портретъ. Можетъ быть, подобно молодымъ поэтамъ, вздыхающимъ по небывалой красавицѣ, онъ старался осуществить на холстѣ свой идеалъ—женщину ангела—причуда, понятная въ первой юности, но рѣдкая въ человѣкѣ, который сколько нибудь испыталъ жизнь. Однако есть люди, у которыхъ опытность ума не дѣйствуетъ на сердце, и Лугинъ былъ изъ числа этихъ несчастныхъ и поэтическихъ созданий. Самый тонкій плутъ, самая опытная кокетка съ трудомъ могли бы его проведеть, а самъ себя онъ ежедневно обманывалъ съ простодушiемъ ребенка. Съ нѣкотораго времени его преслѣдовала постоянная идея, мучительная и несносная, тѣмъ болѣе, что отъ нея страдало его самолюбiе. Онъ былъ далеко не красавецъ—это правда, однако въ немъ ничего не было отвратительнаго, и люди, знавшiе его умъ, талантъ и добродушiе, находили даже выраженiе лица его довольно прiятнымъ. Но онъ твердо убѣдился, что степень его безобразiя исключаетъ возможность любви, и сталъ смотрѣть на женщинъ, какъ на природныхъ своихъ враговъ, подозрѣвая въ ихъ случайныхъ ласкахъ побужденiя постороннiя и объясняя грубымъ и положительнымъ образомъ самую явную ихъ благосклонность.

Не стану разсматривать, до какой степени онъ былъ правъ: но дѣло въ томъ, что подобное расположенiе души извиняетъ достаточно фантастическую любовь къ воздушному идеалу, любовь самую невинную и вмѣстѣ самую вредную для человѣка съ воображенiемъ.

Въ этотъ день, который былъ вторникъ, ничего особеннаго съ Лугинымъ не случилось: онъ до вечера просидѣлъ дома, хотя ему нужно было куда-то ѣхать. Непостижимая лѣнь овладѣла всѣми чувствами его; хотѣлъ работать — кисти выпадали изъ рукъ; пробовалъ читать — взоры его скользили надъ строками и читали совсѣмъ не то, что было написано; его бросало въ жаръ и холодъ; голова болѣла; звенѣло въ ушахъ. Когда смерклось, онъ не велѣлъ подавать свѣтъ и сѣлъ у окна, которое выходило на дворъ. На дворѣ было темно; у бѣдныхъ со-

сѣдей тускло свѣтились окна. Онъ долго сидѣлъ; вдругъ на дворѣ заиграла шарманка; она играла какой-то старинный нѣмецкій вальсъ: Лугинъ слушалъ, слушалъ; ему стало ужасно грустно. Онъ началъ ходить по комнатѣ; небывалое безпокойство имъ овладѣло; ему хотѣлось плакать, хотѣлось смѣяться... онъ бросился на постель и заплакалъ: ему представилось все его прошедшее. Онъ вспомнилъ, какъ часто бывалъ обманутъ, какъ часто дѣлалъ зло именно тѣмъ, которыхъ любилъ; какая дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видѣлъ слезы, вызванныя имъ изъ глазъ, нынѣ закрытыхъ навѣки, и онъ съ ужасомъ замѣтилъ и признался, что онъ недостойнъ былъ любви безотчетной и истинной—и ему стало такъ больно, такъ тяжело!

Около полуночи онъ успокоился, сѣлъ къ столу, зажегъ свѣчу, взялъ листъ бумаги и сталъ что-то чертить. Все было тихо вокругъ. Свѣча горѣла ярко и спокойно. Онъ рисовалъ голову старика, и когда кончилъ, то его поразило сходство этой головы съ тѣмъ-то знакомымъ. Онъ поднялъ глаза на портретъ, висѣвшій противъ него—сходство было разительное; онъ невольно вздрогнулъ и обернулся: ему показалось, что дверь ведущая въ пустую гостиную, закрипѣла; глаза его не могли оторваться отъ двери. «Кто тамъ?» вскрикнулъ онъ.

За дверьми послышался шорохъ, какъ будто хлопали туфли; известка посыпалась съ печи на полъ. «Кто это?» повторилъ онъ слабымъ голосомъ.

Въ эту минуту обѣ половинки двери тихо, беззвучно стали отворяться; холодное дыханіе повѣяло въ комнату; дверь отворилась сама; въ той комнатѣ было темно, какъ въ погребѣ.

Когда дверь отворилась настежъ, въ ней показалась фигура, въ полосатомъ халатѣ и туфляхъ: то былъ сѣдой, сторбленный старичекъ; онъ медленно подвигался, присѣдая; лицо его, блѣдное и длинное, было неподвижно, губы сжаты; сѣрые, мутные глаза, обведенные красной каймою, смотрѣли прямо, безъ цѣли. И вотъ онъ сѣлъ у стола противъ Лугина, вынулъ изъ

за пазухи двѣ колоды картъ, положилъ одну противъ Лугина, другую передъ собой, и улыбнулся.

— Что вамъ надобно? сказалъ Лугинъ съ храбростью отчаянія. Его кулаки судорожно сжимались и онъ былъ готовъ пустить шандаломъ въ незваннаго гостя.

Подъ халатомъ вздохнуло.

— Это несносно! сказалъ Лугинъ задыхающимся голосомъ. Его мысли мѣшались.

Старичекъ зашевелился на стулѣ; вся его фигура измѣнилась ежеминутно: онъ дѣлался то выше, то толще, то почти совсѣмъ стѣживался; наконецъ принялъ прежній видъ.

«Хорошо», подумалъ Лугинъ: «если это привидѣніе, то я ему не поддамся».

— Не угодно ли, я вамъ промечу штосось? сказалъ старичокъ.

Лугинъ взялъ передъ нимъ лежавшую колоду картъ и отвѣчалъ насмѣшливымъ тономъ:

— А на что же мы будемъ играть? Я васъ предвараю, что душу свою на карту не поставлю! [Онъ думалъ этимъ озадачить привидѣніе]. А если хотите, продолжалъ онъ: я поставлю кляунгеръ: не думаю, чтобъ они водились въ вашемъ воздушномъ банкѣ.

Старика эта шутка ни мало не сконфузила.

— У меня въ банкѣ вотъ это! отвѣчалъ онъ, протянувъ руку.

— Это? сказалъ Лугинъ, испугавшись и кинувъ глаза налѣво. — Что это?

Возлѣ него колыхалось что-то бѣлое, неясное и прозрачное. Онъ съ отвращеніемъ отвернулся.

— Мечите! потомъ сказалъ онъ, оправившись, и вынулъ изъ кармана кляунгеръ, положилъ его на карту. — Идетъ, темная.

Старичекъ поклонился, стасовалъ карты, срѣзалъ и сталъ метать. Лугинъ поставилъ семерку бубенъ, и она сонника была убита; старичекъ протянулъ руку и взялъ золотой.

— Еще талью! сказалъ съ досадою Лугинъ.

Онъ покачалъ головою.

— Что же это значить?

— Въ среду, сказалъ старичекъ.

— А, въ среду! вскрикнулъ въ бѣшенствѣ Лугинъ. Такъ вѣтъ же! не хочу въ среду! завтра или никогда! Слышишь ли?

Глаза страннаго гостя засверкали, и онъ опять безпокойно зашевелился.

— Хорошо! наконецъ сказалъ онъ, всталъ, поклонился и вышелъ, присѣдая. Дверь опять тихо за нимъ затворилась, въ сосѣдней комнатѣ опять захлопали туфли и мало по малу все утихло. У Лугина кровь стучала въ голову молоткомъ; странное чувство волновало и грызло его душу. Ему было досадно, обидно, что онъ проигралъ. «Однако жъ я не поддаюсь ему!» говорилъ онъ, стараясь себя утѣшить: «Переупрямилъ! Въ среду! Какъ бы не такъ! что я за сумасшедшій! Это хорошо!... очень хорошо! онъ у меня не отдѣлается... А какъ похожъ на этотъ портретъ!... ужасно, ужасно похожъ!... А! теперь я понимаю!...»

«Однако я не посмотрѣлъ хорошенько на то, что у него въ банкѣ!» думалъ онъ: «вѣрно что нибудь необыкновенное!»

На этомъ словѣ онъ заснулъ въ креслахъ. На другой день поутру онъ никому о случившемся не говорилъ, просидѣлъ цѣлый день дома и съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ дожидался вечера. Когда наступила ночь, онъ всталъ съ своихъ кресель, вышелъ въ сосѣднюю комнату, заперъ на ключъ дверь, ведущую въ переднюю, и возвратился на свое мѣсто. Онъ недолго дожидался: опять раздался шорохъ, хлопанье туфель, кашель старика, и въ дверяхъ показалась его мертвая фигура. За нимъ подвигалась другая, но до того туманная, что Лугинъ не могъ разсмотрѣть ея формы. Старичекъ сѣлъ, какъ наканунѣ, положилъ на столъ двѣ колоды картъ, срывалъ одну и приготовился метать, повидимому, не ожидая отъ Лугина никакого сопротивленія. Въ его глазахъ блистала необыкновенная увѣренность, какъ будто они читали въ будущемъ.

Лугинъ, остолбенѣвшій совершенно подъ магнитическимъ

вліяніемъ его сѣрыхъ глазъ, уже бросилъ было на столъ два полумперіала, какъ вдругъ онъ опоминился.

— Позвольте!... сказать онъ, покрывъ рукою свою колоду. Старичекъ сидѣлъ неподвиженъ.

— Что, бишь, я хотѣлъ сказать?... Позвольте... да!...

Лугинъ запутался.

Наконецъ, сдѣлавъ усиліе, онъ медленно проговорилъ:

— Хорошо... я съ вами буду играть... я принимаю вызовъ... я не боюсь... только съ условіемъ: я долженъ знать, съ кѣмъ играю. Какъ ваша фамилія?

Старичекъ улыбнулся.

— Я иначе не играю, проговорилъ Лугинъ; а межъ тѣмъ дрожавшая рука его вытаскивала изъ колоды очередную карту.

— Что-съ? проговорилъ неизвѣстный, насмѣшливо улыбаясь.

— Штоссъ? — это? У Лугина руки опустились, онъ испугался.

Въ эту минуту онъ почувствовалъ возлѣ себя чье-то свѣжее ароматическое дыханіе, и слабый шорохъ, и вздохъ невольный, и легкое, огненное прикосновеніе. Станный, сладкій и вмѣстѣ болѣзненный трепетъ пробѣжалъ по его жиламъ; онъ на мгновеніе обернулъ голову и тотчасъ опять устремилъ взоръ на карты; но этого минутнаго взгляда было бы довольно, чтобы заставить его проиграть душу. То было чудное, божественное видѣніе: склонясь надъ его плечемъ, сіяла женская голова; ея уста умоляли; въ ея глазахъ была тоска невыразимая; она отдѣлялась на темныхъ стѣнахъ комнатъ, какъ утренняя звѣзда на туманномъ востокѣ. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземнаго; никогда смерть не уносила изъ міра ничего столь полнаго пламенной жизни; то не было существо земное, то были краски и свѣтъ вмѣсто формъ и тѣла, теплое дыханіе вмѣсто крови, мысль вмѣсто чувства; то не былъ также пустой и ложный призракъ, потому что въ неясныхъ чертахъ дышала страсть бурная и жадная, желаніе, грусть, любовь. страхъ, надежда... то была одна изъ тѣхъ чудныхъ красавицъ,

которыхъ рисуешь намъ молодое воображеніе, передъ которыми, въ волненіи пламенныхъ грезъ, стоимъ и плачемъ, и молимъ, и радуемся, Богъ янаетъ чему; одно изъ тѣхъ прекрасныхъ созданій молодой души, когда она, въ избыткѣ силъ, творить для себя новую природу лучше и полнѣе той, къ которой она прикована!

Въ эту минуту Лугинъ не могъ объяснить того, что съ нимъ сдѣлалось; но съ этой минуты онъ рѣшился играть, пока не выиграетъ; эта цѣль сдѣлалась цѣлью его жизни: онъ былъ этому очень радъ.

Старичекъ сталъ метать: карта Лугина была убита. Блѣдная рука опять потащила по столу два полунимперіала.

— Завтра! сказалъ Лугинъ.

Старичекъ вздохнулъ тяжело, но кивнулъ головой въ знакъ согласія, и вышелъ, какъ наканунѣ.

Всякую ночь въ продолженіе мѣсяца эта сцена повторялась. Всякую ночь Лугинъ проигрывалъ, но ему не было жаль денегъ: онъ былъ увѣренъ, что наконецъ хоть одна карта будетъ дана, и потому все удваивалъ куши. Онъ былъ въ сильномъ проигрышѣ, но за то каждую ночь на минуту встрѣчалъ взглядъ и улыбку, за которые онъ готовъ былъ отдать все на свѣтѣ. Онъ похудѣлъ и пожелтѣлъ ужасно. Цѣлые дни просиживалъ дома, запершись въ кабинетѣ; часто не обѣдалъ. Онъ ожидалъ вечера, какъ любовникъ — свиданья, и каждый вечеръ былъ награжденъ взглядомъ болѣе нѣжнымъ, улыбкой болѣе пріятливой. Она — не знаю какъ назвать ее — она, казалось, принимала трепетное участіе въ игрѣ: казалось, она ждала съ нетерпѣніемъ минуты, когда освободится отъ ига несноснаго старика, и всякій разъ, когда карта Лугина была убита, она съ грустнымъ взоромъ оборачивала къ нему эти страстные, глубокіе глаза, которые, казалось, говорили: «смѣлѣе, не упадай духомъ, подожди: я буду твоею, во что бы то ни стало; я тебя люблю!» — и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тѣнью ея измѣнчивыя черты. И всякій вечеръ, когда они разставались, у Лугина болѣзненно сжималось сердце отчаяніемъ

и бѣшенствомъ. Онъ уже продавалъ вещи, чтобъ поддерживать игру; онъ видѣлъ, что невадѣлкѣ та минута, когда ему нечего будетъ поставить на карту. Надо будетъ на что нибудь рѣшиться. Онъ рѣшился...

II.

ДРУГОЙ ОТРЫВОКЪ ИЗЪ НАЧАТОЙ ПОВѢСТИ.

Я хочу рассказать вамъ исторію женщины, которую вы всѣ видѣли и которую никто изъ васъ не зналъ. Вы ее встрѣчали ежедневно на балѣ, въ театрѣ, на гуляньѣ, у нея въ кабинетѣ. Теперь она уже сошла со сцены большаго свѣта; ей тридцать лѣтъ, и она схоронила себя въ деревнѣ; но когда ей было только двадцать, весь Петербургъ шумно занимался ею въ продолженіе пѣлой зимы. Объ этомъ совершенно забыли — и слава Богу! потому что, иначе, я бы не могъ печатать своей повѣсти. Въ обществѣ про нее было въ то время много разногласныхъ толковъ. Старушки говорили объ ней, что она прехитрая и прелукавая, пріятельницы — что она преглупенькая, соперницы — что она предобрая, молодые женщины — что она кокетка, а раздуженные старики значительно улыбались при ея имени и ничего не говорили. Еще прибавлю странность. Иные жалѣли, что такой правильной и свѣжей красотѣ недостаетъ фizioноміи, тогда какъ другіе утверждали, что хотя она вовсе не хороша, но неизъяснимая прелесть выраженія въ ея лицѣ замѣняетъ всѣ прочіе недостатки. При томъ мужъ ея, пятидесятилѣтній мужчина, имѣлъ графскій титулъ и сомнительно-огромное состояніе. Всего этого, кажется, довольно, чтобы доставить молодой женщинѣ ту соблазнительную, мимолетную славу, за которой онѣ всѣ такъ жадно гоняются и за которую нѣкоторые изъ нихъ такъ дорого платятъ.

Подробности моего разсказа покажутся не очень нравственными, но ручаюсь вамъ, что въ немъ будетъ заключаться глубокий нравственный смыслъ, который не ускользнетъ ни отъ кого, развѣ отъ 18-лѣтнихъ барышень—да имъ моей книги не дадутъ; а если она имъ и попадется случайно, то умоляю ихъ, послѣ этихъ строкъ закрыть ее и не класть на ночь подъ подушку, потому что отъ этого находятъ дурные сны. Молодыя же дамы, прочитавъ эти правдивыя страницы, вѣрно, отдадутъ справедливость моимъ описаніямъ и замѣчаніямъ, вспомнивъ нѣчто подобное въ своей жизни; но онѣ, конечно, этого никому не скажутъ, тогда какъ многіе молодые франты станутъ увѣрять, что такія приключенія были съ ними на дняхъ, тогда какъ съ болѣею частію изъ нихъ ничего такого случиться даже не можетъ. Всѣ почти жалуются у насъ на однообразие свѣтской жизни, и забываютъ, что надо бѣгать за приключеніями, чтобъ они встрѣтились; а для того чтобы за ними гоняться, надо быть взволновану сильной страстью или имѣть одинъ изъ тѣхъ безпокойно-любопытныхъ характеровъ, которые готовы сто разъ пожертвовать жизнію, только бы достать ключъ самой незамысловатой, повидимому, загадки; но на днѣ одной есть уже вѣрно другая, потому что все для насъ въ мірѣ тайна, и тотъ, кто думаетъ отгадать чужое сердце или знать всѣ подробности жизни своего лучшаго друга, горько ошибается. Во всякомъ сердцѣ, во всякой жизни пробѣжало чувство, промелькнуло событіе, которыхъ никто никому не откроетъ, а они-то самыя важныя и есть; они-то обыкновенно даютъ тайное направленіе чувствамъ и поступкамъ.

Въ нашемъ равнодушномъ вѣкѣ любопытныхъ и страстныхъ людей немного; но, около десяти лѣтъ тому назадъ, случился одинъ такой чудакъ въ Петербургѣ, и судьба, какъ нарочно, поставила его предъ непонятной женщиною, которой исторію я хочу вамъ разсказать.

Александръ Сергѣевичу Арбенину было тридцать лѣтъ—возрастъ силы и зрѣлости для мужчины, если только молодость его прошла неслишкомъ бурливо и неслишкомъ спокойно. Изъ

вѣстно, что въ природѣ противоположныя причины часто производятъ одинакія дѣйствія: лошадь равно падаетъ на ноги отъ застоя и отъ излишней ѣзды.

Вотъ какова была молодость Арбенина.

Начнемъ сначала.

Онъ родился въ Москвѣ. Скоро послѣ появленія его на этотъ свѣтъ, его мать развѣхалась съ его отцемъ по неизвѣстнымъ причинамъ. Сообразивъ всѣ городскіе толки, можно было сдѣлать только одно вѣрное заключеніе, а именно, что Сергѣй Васильевичъ развѣхался съ своей супругой.

Саша остался на рукахъ отца. Когда ему минуло годъ, его посадили съ кормилицей и няней въ карету и отвезли въ симбирскую деревню. Сергѣй Васильевичъ вскорѣ самъ туда пріѣхалъ и поселился на житье. Деревня эта находилась на берегу Волги. Отъ барскаго дома по скату горы до самой рѣки разстилался фруктовый садъ. Съ балкона видны были дымящіяся села луговой стороны, синѣющія степи и желтыя нивы. Весной, во время разлива, рѣка превращалась въ море, усѣянное лѣсистыми островами; по ней мелькали бѣлые паруса барокъ и вечеромъ раздавались пѣсни бурлаковъ. Барскій домъ былъ похожъ на всѣ барскіе дома: деревянный, съ мезониномъ, выкрашенный желтой краской, а дворъ обстроенъ былъ одноэтажными, длинными флигелями, сараями, конюшнями и обведенъ валомъ, на которомъ качались и сохли жидкія ветли; среди двора красовались качели; по воскресеньямъ дворня толпилась вокругъ нихъ и, порой, двѣ горничныя садились на полусогнутую доску, висящую межъ двухъ сомнительныхъ веревокъ, и двое изъ самыхъ любезныхъ лакеевъ, взявшись каждый за конецъ толстаго каната, взбрасывали скромную чету подъ облака; мальчишки били въ ладони, когда пугливыя дѣвы начинали визжать—и всѣмъ было очень весело. Надо замѣтить, что качели среди барскаго двора—признакъ отечески-добраго правленія, а между тѣмъ вотъ какъ хорошо судятъ о насъ иностранцы: въ путевыхъ запискахъ одного француза я недавно читалъ, что у насъ противъ господскаго дома обыкновенно тор-

чить висьлица. Французъ замѣчалъ остроумно, что это должно быть, злоупотребленіе, ибо смертная казнь въ Россіи уничтожена. Бѣдныя качели!...

Мужики Арбенина большею частью занимались рыбной ловлей. Во время бури жены и дочери рыбаковъ выбѣгали съ лавчемъ на берегъ; въ жаркіе лѣтніе дни толпы крестьянскихъ дѣвокъ купались въ студѣныхъ струяхъ Волги; ихъ русые косы мелькали надъ пѣнистой влагой; ихъ громкій смѣхъ раздавался далеко... Зимой горничныя дѣвушки приходили шить и вязать въ дѣтскую, во-первыхъ, потому что нянѣ Саша было поручено женское хозяйство, а во-вторыхъ, чтобъ потѣшать маленькаго барченка. Сашѣ было съ ними очень весело. Онѣ его ласкали и цѣловали наперерывъ, рассказывали ему сказки про волжскихъ разбойниковъ, и его воображеніе наполнялось чудесами дикой храбрости и картинами мрачными и понятіями противуобщественными. Онѣ разлюбили игрушки и начали мечтать. Шести лѣтъ онѣ уже заглядывался на закатъ, усыянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство уже волновало его душу, когда полный мѣсяцъ свѣтилъ въ окно на его дѣтскую кроватку. Ему хотѣлось, чтобъ кто нибудь его приласкалъ, поцѣловалъ, приголубилъ, но у старой няньки руки были такія жесткія! Отецъ имъ вовсе не занимался, хозяйничалъ и ѣздилъ на охоту. Саша былъ пренебреженный пресвоевольный ребенокъ. Онѣ семи лѣтъ умѣлъ уже прикрикнуть на непослушнаго лакея. Принявъ гордый видъ, онѣ умѣлъ съ презрѣніемъ улыбнуться на низкую лестъ толстой ключницы. Между тѣмъ природная всѣмъ склонность къ разрушенію развивалась въ немъ необыкновенно. Въ саду онѣ то-и-дѣло ломалъ кусты и срывалъ лучшіе цвѣты, усыпая ими дорожки. Онѣ съ истиннымъ удовольствіемъ давилъ несчастную муху и радовался, когда брошенный имъ камень сбивалъ съ ногъ бѣдную курицу. Богъ знаетъ, какое направленіе принялъ бы его характеръ, если бъ не пришла на помощь корь—болѣзнь опасная въ его возрастѣ. Его спасли отъ смерти, но тяжелый недугъ оставилъ его въ совершенномъ расслабленіи: онѣ не могъ ходить, не

могъ приподнять ложки. Цѣлые три года оставался онъ въ самомъ жалкомъ положеніи, и если бъ онъ не получилъ отъ природы желѣзнаго тѣлосложенія, то вѣрно бы отправился на тотъ свѣтъ. Болѣзнь эта имѣла важныя слѣдствія и странное вліяніе на умъ и характеръ Саши: онъ выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами дѣтей, онъ началъ искать ихъ въ самомъ себѣ. Воображеніе стало для него новой игрушкой. Не даромъ учать дѣтей, что съ огнемъ играть не должно. Но—увы! никто и не подозревалъ въ Сашѣ этого скрытаго огня, а между тѣмъ онъ обхватилъ все существо бѣднаго ребенка. Въ продолженіе мучительныхъ безсонницъ, задыхаясь между горячихъ подушекъ, онъ уже привыкалъ побѣждать страданья тѣла, увлекался грезами души. Онъ воображалъ себя волжскимъ разбойникомъ, среди синихъ и студѣныхъ волнъ, въ тѣни дремучихъ лѣсовъ, въ шумѣ битвъ, въ ночныхъ наѣздахъ при звукѣ пѣсень, подъ свистомъ волжской бури. Вѣроятно, что раннее развитіе умственныхъ способностей немало помѣшало его развитію...

ПРИЛОЖЕНІЯ.

МАСКАРАДЪ.

ДРАМА ВЪ ПЯТИ ДѢЙСТВІЯХЪ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА.

ВЕНГЕНІЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ АРВЕННИЧЪ.	КНЯЗЬ ЗВѢЗДИЧЪ.
НИНА, ЕГО ЖЕНА.	ШПРИХЪ.
ОЛИНЬКА.	ИГРОКИ.
КАЗАРИНЪ.	ГОСТИ.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

ЯВЛЕНІЕ 1.

ИГРОКИ, КНЯЗЬ ЗВѢЗДИЧЪ, КАЗАРИНЪ И ШПРИХЪ.

[За столомъ мечутъ банкъ и понтируютъ. Кругомъ стоятъ].

1-й ПОНТЕРЪ.

Иванъ Ильичъ, позвольте мнѣ поставить.

ВАНКОМЕТЪ.

Извольте.

1-й ПОНТЕРЪ.

Сто рублей.

ВАНКОМЕТЪ.

Идетъ.

2-й ПОНТЕРЪ.

Ну, добрый путь.

3-й ПОНТЕРЪ.

Вамъ надо счастье поправить...

И не мѣшало бы загнуть.

2-й ПОНТЕРЪ.

На все?... Нѣтъ, жжется!

4-й ПОНТЕРЪ.

Послушай, милый другъ, кто нынче не гнется, .

Ни до чего тотъ не добьется.

3-й ПОНТЕРЪ [тихо первому].

Смотри во всѣ глаза.

КНЯЗЬ ЗВѢЗДИЧЪ.

Ва—банкъ.

2-й ПОНТЕРЪ.

Эй, князь.

Гнѣвъ только портить кровь; играйте не сердясь!

КНЯЗЬ.

На этотъ разъ оставьте хоть совѣты.

БАНКОМЕТЪ.

Убита.

КНЯЗЬ.

Чортъ возьми!

БАНКОМЕТЪ.

Позвольте получить...

2-й ПОНТЕРЪ [насмѣшливо].

Я вижу, вы въ пылу готовы все спустить.

Что стоять ваши эполеты?

КНЯЗЬ.

Я съ честью ихъ досталъ, и вамъ ихъ не купить.

ЯВЛЕНІЕ II.

ТѢЖЕ И АРБЕНИНЪ.

АРБЕНИНЪ [входитъ, кланяется подходя
къ столу, потомъ дѣлаетъ
нѣкоторые знаки и отходитъ
съ Казариннымъ].

АРБЕНИНЪ.

Ну что, ужъ ты не мечешь?... а? Казаринъ?

КАЗАРИНЪ.

Смотрю, братъ, на другихъ.

А ты, любезнѣйшій! женатъ, богатъ, сталъ баринъ,
И позабылъ товарищей своихъ!

АРБЕНИНЪ.

Да, я давно ужъ не былъ съ вами.

КАЗАРИНЪ.

Дѣлами занять все?

АРБЕНИНЪ.

Любовью... не дѣлами.

КАЗАРИНЪ.

Съ женой по баламъ?

АРБЕНИНЪ.

Нѣтъ.

КАЗАРИНЪ.

Играешь?

АРБЕНИНЪ.

Нѣтъ... утихъ!

Но здѣсь есть новыя; кто этотъ франтикъ?

КАЗАРИНЪ.

Шприхъ.

Адамъ Петровичъ!... я васъ познакомлю разомъ—

[Шприхъ подходитъ и кланяется].

Вотъ здѣсь пріятель мой, рекомендую вамъ,
Арбенинъ.

Ш П Р И Х Ъ.

Я васъ знаю.

А Р В Е Н И Н Ъ.

Помнится, что намъ
Встрѣчаться не случилось.

Ш П Р И Х Ъ.

По рассказамъ...

И столько я о васъ слыхалъ того сего,
Что познакомиться давнымъ давно желаю.

А Р В Е Н И Н Ъ.

Про васъ я не слыхалъ, къ несчастью, ничего;
Но многое отъ васъ, конечно, я узнаю.

[Раскланивается опять. Шприхъ,
скорчивъ късю мину, уходитъ].

Онъ мнѣ не нравится... видалъ я много рожъ,

А этакой не выдумать нарочно:

Улыбка злобная, глаза... стеклярусь точно;
Взглянуть—не человѣкъ, а съ чортомъ не похожъ.

КА ЗА Р И Н Ъ.

Эхъ, братецъ мой, что видъ наружный?
Пусть будетъ хоть самъ чортъ—да человѣкъ онъ нужный!

Лишь адресуйся — одолжить.

Какой онъ націи, сказать не знаю смѣло;

На всѣхъ языкахъ говорить,—

Вѣрнѣй всего, что жидъ.

Со всѣми онъ знакомъ, вездѣ ему есть дѣло;
Все помнить, знаетъ все, въ заботѣ цѣлый вѣкъ;

Былъ битъ не разъ; съ безбожникомъ—безбожникъ,
Съ святошей—езуитъ, межъ нами злой картѣжникъ,
А съ честными людьми—пречестный человѣкъ.
Короче, ты его полюбишь — я увѣренъ.

А Р В Е Н И Н Ъ.

Портретъ хорошъ—оригиналъ-то скверенъ!

Ну, а вонъ тотъ высокій и въ усахъ,

И нарумяненный въ добавокъ?
 Конечно, житель модныхъ лавокъ,
 Любезникъ отставной, и былъ въ чужихъ краяхъ?
 Конечно, онъ герой не въ дѣлѣ
 И мастерски стрѣляетъ въ цѣль?

КАЗАРИНЪ.

Почти... онъ изъ полка былъ выгнанъ за дуэль,
 Или за то, что не былъ на дуэли:
 Боялся быть убійцей, да и мать
 Къ тому жъ строга... потомъ лѣтъ черезъ нять
 Былъ вызванъ онъ опять,
 И тутъ дрался ужъ въ самомъ дѣлѣ.

АРВЕНИНЪ.

А этотъ маленькій каковъ?
 Съ крестомъ, растрѣпанннй?...

КАЗАРИНЪ.

Трушцовъ.

Онъ малый необыкновенный!
 Не знаю, штатскій иль военный,
 Но въ Грузіи когда-то онъ служилъ
 Иль посланъ былъ туда съ какимъ-то генераломъ,
 Кого-то тамъ изъ-за угла хватилъ;
 Пять лѣтъ за то былъ подъ началомъ,
 И крестъ на шею получилъ.

ИГРОКИ [кричать Казарину].
 Пожалуйста сюда.

КАЗАРИНЪ.

Иду.

1-й ПОНТИРЪ.

Скорѣй!

КАЗАРИНЪ.

Какая тамъ бѣда?

[Живой разговоръ между игроками, потомъ успокоиваются; Арвенинъ замѣчаетъ князя Звѣздича и подходитъ].

А Р В Е Н И Н Ъ.

Князь, какъ вы здѣсь? Ужель не въ первый разъ?

К Н Я З Ъ [недовольно].

Я то же самое хотѣлъ спросить у васъ.

А Р В Е Н И Н Ъ.

Я вашъ отвѣтъ предупрежду, пожалуй:

Я здѣсь давно знакомъ, и часто здѣсь, бывало,

Смотрѣлъ съ волненіемъ нѣмымъ,

Какъ колесо вертѣлось счастья:

Одинъ былъ вознесенъ, другой раздавленъ имъ!

Я не завидовалъ, но и не зналъ участья.

Видалъ я много юношей, надеждъ

И чувства полныхъ, счастливыхъ невѣждъ

Въ наукѣ жизни... пламенныхъ душою,

Которыхъ прежде цѣль была одна любовь...

Они погибли быстро предо мною.

И вотъ мнѣ суждено увидѣть это вновь!

К Н Я З Ъ [съ чувствомъ беретъ его за руку].

Я проигрался!

А Р В Е Н И Н Ъ.

Что жъ?... Топиться?...

К Н Я З Ъ.

О! я въ отчаяньи!

А Р В Е Н И Н Ъ.

Два средства только есть:

Дать клятву за игру вовѣки не садиться,

Или опять сейчасъ же сѣсть.

Но, чтобъ у нихъ выигрывать рѣшиться,

Вамъ надо кинуть все: родныхъ, друзей и честь;

Вамъ надо испытать, оцупать безпристрастно

Свои способности и душу; по частямъ

Ихъ разобрать; привыкнуть ясно

Читать на лицахъ, чуть знакомыхъ вамъ,

Всѣ побужденія, мысли; годы

Употребить на упражненіе рукъ;
Все презирать: законъ людей, законъ природы;
День думать, ночь играть, отъ мукъ не знать свободы—

И чтобъ никто не поналъ вашихъ мукъ!
Не трепетать, когда близъ васъ искусствомъ равный;
Удачи каждый мигъ постыдный ждать конецъ,

И не краснѣть, когда вамъ скажутъ явно:

«Подлецъ!»

[Молчаніе. Князь едва его слушаетъ и былъ въ волненіи].

КНЯЗЬ.

Не знаю, какъ мнѣ быть, что дѣлать?

АРВЕНИНЪ.

Что хотите.

КНЯЗЬ.

Быть можетъ, счастье...

АРВЕНИНЪ.

О, счастья здѣсь нѣтъ!

КНЯЗЬ.

Я все вѣдь проигралъ... Ахъ, дайте мнѣ совѣтъ!

АРВЕНИНЪ.

Совѣтовъ не даю.

КНЯЗЬ.

Ну, сяду...

АРВЕНИНЪ [вдругъ беретъ его за руку].

Погодите!

Я сяду вмѣсто васъ. Вы молодн—я былъ

Неопытенъ когда-то и моложе;

Какъ вы заносчивъ, опрометчивъ тоже.

И если бъ... [Останавливается] кто нибудь меня остановилъ,
То... [Смотритъ на него пристально].

[Перемѣнивъ тонъ]. Дайте мнѣ на счастье руку смѣло,

А остальное ужъ не ваше дѣло!

[Подходить къ столу; ему даютъ мѣсто].

Не откажите инвалиду;

Хочу я испытать, что скажетъ мнѣ судьба,

И дасть ли нынѣшнимъ поклонникамъ въ обиду
Она стариннаго раба?

КАЗАРИНЪ.

Не вытерпѣлъ... зажглось ретивое!
[Тихо]. Ну, не ударься въ грязь лицомъ,
И докажи имъ, что такое
Возиться съ прежнимъ игрокомъ.

ИГРОКИ.

Извольте, вамъ и книги въ руки; вы хозяинъ,
Мы гости.

1-й ПОНТИРЪ [на ухо второму].

Берегись, имѣй теперь глаза!...

Не по нутру мнѣ этотъ Ванька Каннъ
И притузить онъ моего туза.

[Игра начинается. Всѣ толпятся во-
кругъ стола; иногда разные возгласы;
въ продолженіе слѣдующаго разговора
многіе мрачно отходятъ отъ стола].

[Шприхъ отводитъ на авансцену Казарина].

ШПРИХЪ [лукаво].

Стопнулись въ кучку всѣ; кажись, нашла гроза.

КАЗАРИНЪ.

Задастъ онъ имъ на мѣсяцъ страху!

ШПРИХЪ.

Видно,

Что мастеръ!

КАЗАРИНЪ.

Былъ.

ШПРИХЪ.

Былъ? а теперь...

КАЗАРИНЪ.

Теперь?

Женился и богатъ, сталъ человѣкъ солидный;
Глядитъ ягненоккомъ, а, право, тотъ же звѣрь...

Мнѣ скажутъ: можно отучиться,

Натуру побѣдить! Дуракъ, кто говоритъ!

Пусть ангеломъ и притворится,

Да чортъ въ душѣ его сидитъ.

И ты, мой другъ [ударивъ по плечу], хоть передъ
нимъ ребенокъ,

А и въ тебѣ сидитъ чертенкомъ.

[Подходятъ игроки].

Что, господа, иль не подѣ силу—а?...

1-й игрокъ.

Арбенинъ вашъ мастакъ.

КАЗАРНИНЪ.

И! что вы, господа?

[Воиненіе между игроками].

3-й понтеръ.

Да этакъ онъ загнетъ, пожалуй, тысячъ на сто.

4-й понтеръ [въ сторону].

Обрѣжется...

5-й понтеръ.

Посмотримъ.

АРБЕНИНЪ [встаетъ].

Баста!

[Беретъ золото и отходитъ; другіе
остаются у стола. Казарнинъ и
Шприхъ также у стола. Арбе-
нинъ молча беретъ за руку князя
и отдаетъ ему деньги. Арбенинъ
блѣденъ].

КНЯЗЬ.

Ахъ, никогда мнѣ это не забыть!...

Вы жизнь мою спасли...

АРБЕНИНЪ.

И деньги ваши тоже.

[Горько] А право, трудно разрѣшить,

Которое изъ этихъ двухъ дороже.

КНЯЗЬ.

Большую жертву вы мнѣ сдѣлали.

АРВЕНИНЪ.

Ничуть.

Я радъ былъ случаю, чтобъ кровь привести въ волненье,
Тревогою опять наполнить умъ и грудь;
Я сѣлъ играть—какъ вы пошли бы на сраженье.

КНЯЗЬ.

Но проигратъся вы могли?

АРВЕНИНЪ.

Я? Нѣтъ!... Тѣ дни блаженные прошли!
Я вижу все насквозь... всѣ тонкости ихъ знаю,
И вотъ зачѣмъ я нынче не играю.

КНЯЗЬ.

Вы избѣгаете признательность мою...

АРВЕНИНЪ.

По чести вамъ сказать, ее я не терплю.
Ни въ чемъ и никому я не былъ въ жизнь обязанъ,
И если я кому платилъ добромъ,
То все не потому, чтобъ былъ къ нему привязанъ,
А просто—видѣлъ пользу въ томъ.

[Арвенинъ уходитъ].

ЯВЛЕНІЕ III.

ТѢЖЕ, КРОМЪ АРВЕНИНА.

КНЯЗЬ.

Мнѣ кажется, онъ говорилъ съ презрѣніемъ...
Досадно!... деньги я не долженъ былъ принять.

КАЗАРИНЪ.

Задумались... о чемъ, нельзя ль узнать?

КНЯЗЬ.

Смущенъ я страннымъ приключеньемъ,
Великодушіемъ...

КАВАРИНЪ.

Арбенинъ не таковъ—

Онъ никого безъ видовъ не обяжетъ!
За то вы можете сегодня жъ безъ чиновъ
Въ пухъ обыграть его—онъ ничего не скажетъ.

КНЯЗЬ.

Но согласитесь вы со мной,
Что одолжаться неприятно
Тому, кто по-сердцу для насъ совсѣмъ чужой.

КАВАРИНЪ.

Особенно, когда онъ знатный
И требуетъ покорности нѣмой,
Или когда хотимъ мы волочиться
За дочерью его или за женой—
Все это можетъ же случиться!
Жена Арбенина собою недурна,
И, кажется, въ него не очѣнь влюблена;
И я замѣтилъ вотъ недавно,
Какъ у Нероновыхъ движеньемъ томныхъ глазъ,
Она кругомъ искала васъ... да, васъ!
Э, князь! да вы себя ведете славно,
По нашимъ вы ступаете слѣдамъ.

Мое благословенье вамъ.
Что нынче молодежь! Трудятся, изнуряютъ
Себя для службы и наградъ,
О добродѣтели кричатъ,
И возлѣ женщины порядочно зѣваютъ.
Жить не умѣютъ, мой отецъ!
Стыдятся неудачъ, боятся приключеній,
И чѣмъ кончаютъ наконецъ?
Лѣтъ въ двадцать пять всѣ женятся отъ лѣни.

КНЯЗЬ.

Да кто же вамъ сказать? Какъ догадаться вамъ?

КАЗАРИНЪ.

Когда Арбенинъ былъ въ деревнѣ,
Вы ѣздили къ Настасѣѣ Алексѣевнѣ,
По вечерамъ и по утрамъ.

КНЯЗЬ.

Вы правы—что же тутъ дурнаго?

КАЗАРИНЪ.

Напротивъ...

КНЯЗЬ.

Я боюсь молвы,
И потому надѣюсь, что вы
Объ этомъ никому ни слова...

КАЗАРИНЪ.

Мнѣ измѣнить вамъ? Васъ предать?

КНЯЗЬ.

Но вы Арбенину пріятель.

КАЗАРИНЪ.

Ха! ха! ха! ха! о мой Создатель!
Да, онъ мой другъ; вамъ не угодно ль знать
Начало дружбы нашей: я былъ молодъ—
Двѣнадцать лѣтъ тому назадъ—
Неопытенъ, и пылокъ, и богатъ,
Но онъ—въ его груди ужъ крылся этотъ холодъ.
То адское презрѣнье ко всему,
Которымъ онъ гордится всюду!
Не знаю приписать его къ уму,
Иль обстоятельствамъ—я разбирать не буду.
Разъ, онъ меня завелъ подвѣчерокъ
Къ себѣ—я вѣрилъ счастью! Кошелекъ
Мой полонъ былъ... я сѣлъ играть [признаться,
Страстишка эта ужъ владѣла мной]
И проигралъ... Отецъ мой былъ скупой
И строгій человекъ; я вздумалъ отыграться!
Но онъ меня въ когтяхъ своихъ держалъ

И я все снова проигралъ.
 Я предался отчаянью: тутъ были,
 Я стану правду говорить,
 И слезы и мольбы... Онѣ въ немъ возбудили
 Одинъ холодный смѣхъ—о! лучше бы пронзить
 Меня кинжаломъ!...

И съ того мгновенья
 Покинулъ я забавы юныхъ лѣтъ,
 Мечтанья нѣжныя и сладкія волненья,
 И въ свѣтѣ мнѣ открылся новый свѣтъ:
 Міръ безобразныхъ, странныхъ ощущеній,
 Міръ обществомъ отвергнутыхъ людей,
 Самолюбивыхъ думъ и ледяныхъ страстей,
 И увлекательныхъ мученій!
 Я увидалъ, что деньги—царь земли,
 И поклонился имъ... Года прошли,
 Все унеслось—богатство и здоровье,
 Навѣкъ передо мной закрылась счастья дверь,
 Я заключилъ съ судьбой послѣднее условье,
 И вотъ сталъ тѣмъ, что я теперь:
 Умѣренный игрокъ и наблюдатель строгой,
 Не дѣйствую нигдѣ, за то ужъ вижу много.

КНЯЗЬ.

Послушать васъ—Арбенинъ вамъ злодѣй!

КАЗАРИНЪ.

Однако жъ явно мы понинѣ
 Не ссорились, хотя въ душѣ, ей-ей!
 Я не терплю его...

КНЯЗЬ [въ сторону].

Поѣду завтра къ Нинѣ!

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

В А Л Ъ.

[Музыка въ другой комнатѣ].

ЯВЛЕНІЕ I.

I-й гость.

Угодно ли?

Н И Н А.

Я не танцую;

Я васъ сейчасъ рекомендую
Премилой дамѣ.

I-й гость.

Жертвую собой

Для вашей прихоти.

Н И Н А.

Вы истинный герой!

ЯВЛЕНІЕ II.

К Н Я З Ъ.

Охота вамъ такъ много суетиться.

Н И Н А.

Всѣмъ надо угодить.

К Н Я З Ъ.

Нельзя ли, хоть на смѣхъ,
Меня въ число поставить всѣхъ...

Н И Н А.

Неблагодарный! есть за что сердиться!

Подумайте, мы не однѣ...

К Н Я З Ъ.

Для свѣта—все, а мнѣ

Ни взора кинуть не хотите,

Ни слова нѣжнаго промолвить.

Н И Н А.

Погодите! [Уходить].

ЯВЛЕНІЕ III.

АРБЕНИНЪ [Олинкѣ].

Гдѣ Нина? Отчего ты не танцуешь?

ОЛИНКА.

Съ кѣмъ!

АРБЕНИНЪ.

А! не охотница до пляски...

Послушай, Олинка, когда пріѣдутъ маски,
Вели отказывать не всѣмъ.

[Олинка уходитъ].

[Гостю] Вотъ истинная компаньонка!...

Какъ не скучаетъ съ ней жена?

Всегда молчитъ: блѣдна, грустна,

За то послушнѣе ребенка!...

ГОСТЬ.

Давно ль она у васъ живетъ?...

АРБЕНИНЪ.

Ужъ скоро третій годъ;

Я взялъ ее, когда женился.

У матери жены моей

Она росла, сиротка съ раннихъ дней.

ГОСТЬ.

Да, если такъ—а то я бѣ подивился.

[Арбенинъ, пожавъ
плечами, уходитъ].

ЯВЛЕНІЕ IV.

2-й гость выходитъ изъ залы съ дамой.

ДАМА.

Вы съ нѣкоторыхъ поръ на мѣръ, какъ на Содомъ,
Глядите строгимъ мудрецомъ!...

2-й гость.

Премудрость нынѣшняго свѣта

Не сморгнуть за предѣлъ балета!

Балетъ на сценѣ—въ обществѣ балетъ —
 Страдаютъ ноги и паркетъ —
 Куда какъ весело, ей-Богу!
 Захочется у насъ кому
 Въ beau monde открыть себѣ дорогу,
 Работы нѣтъ его уму,
 Умѣй онъ поднимать лишь ногу.

И все, чтобы сказать: сегодня я туда,
 А завтра буду тамъ... есть изъ чего стараться!
 Тоска!...

ДАМА.

Зачѣмъ же вы сюда
 Приѣхали?

2-й гость.

Куда же мнѣ дѣваться?

ДАМА.

Вамъ не понравится, боюсь, мой совѣтъ...

2-й гость.

Здѣсь отъ передней до гостинной
 Все такъ высоко, холодно и чинно,
 Такъ приторно и такъ невинно,
 Что мочи нѣтъ!

ДАМА.

Тѣмъ лучше...

ЯВЛЕНИЕ V.

3-й гость.

Объ закладъ побиться не хотите ль,
 Что онъ московскій житель;
 Но впрочемъ не дивлюсь, что здѣсь скучаетъ онъ:
 Блестящій балъ, да что за тонъ,
 La société est si mêlée
 De ces figures qu'on voit passer
 Aux boulevards, à l'assemblée.
 Madame, voudrez vous bien valser.
 [Музыка, всѣ уходятъ].

О Л И Н Ъ К А [одна].

Имъ весело, для нихъ судьбою

Жизнь такъ роскошно убрана,

А я одна, всегда одна!

Всѣмъ быть обязанной, всѣмъ жертвовать собою,

И никого не смѣть любить,

О! развѣ это значить жить?...

Счастливыя царицы моды!

Имъ не измѣнить свѣтъ, ихъ не измѣнять годы.

За что же?... Красота моя

Ихъ красотѣ поддѣльной не уступить:

Жемчугъ, алмазы, кисея

Морщинъ и глупости собою не искупить,

Но счастье—ихъ!... восторга своего

Несутъ имъ дань мужчины ежечасно!

Я лучше, я умнѣй... Напрасно!...

Никто не видитъ ничего!

[Сзади проходить нѣсколько
гостей и между ними маски].

И онъ, онъ также какъ другіе

Бѣжитъ за вѣтреной толпой

И мимоходомъ лишь порой

Мнѣ кинетъ взглядъ... мечты пустыя!...

И какъ его винить, и какъ ему узнать,

Что грудь моя полна желанья неземнова,

Что я ему готова жизнь отдать

За мигъ одинъ... за слово!...

Все ждать, да ждать... О, Боже... это онъ!

Разстроены, кажется, смущены....

к н я з ь [быстро подходит].

Ахъ, извините! я васъ принялъ за другую.

О Л И Н Ъ К А.

И потому лишь подошли.

к н я з ь.

Вы размышляли!... отъ земли

Мечты васъ вѣрно унесли
Въ міръ лучшій, жизнь иную.
Я не прощу себѣ! такъ дерзко помѣшать...

О Л И Н Ь К А.

Чему?

К Н Я З Ъ.

Мечтамъ.

О Л И Н Ь К А.

Дай Богъ вамъ не мечтать!
Вдаваться вредно въ заблужденье...

К Н Я З Ъ.

Вы правы: чувства, страсти—все обманъ.

О Л И Н Ь К А.

О! для чего жъ отъ нихъ такое намъ мученье.

К Н Я З Ъ.

Васъ взволновалъ какой нибудь романъ?

О Л И Н Ь К А [въ сторону].

Нѣтъ, истинное приключенье.

К Н Я З Ъ.

Не вѣрьте сердцу, ни уму,
Когда они бывають въ спорѣ.

О Л И Н Ь К А.

Чему же вѣрить?

К Н Я З Ъ.

Ничему.

[Отходить въ сторону].

ЯВЛЕНІЕ VI.

К Н Я З Ъ.

Не въ духѣ я болтать о вздорѣ,
А компаньонка мнѣ нужна.

Н И Н А [входитъ].

Измучилась!...

КНЯЗЬ.

Но къ вамъ идетъ усталость.

НИНА.

Я думала найти въ васъ жалость.

КНЯЗЬ.

Гдѣ есть любовь, тамъ жалость ужъ смѣшна.

НИНА.

О! вы не знаете какъ тягостно, какъ скучно

Жить для толпы; всегда въ ея глазахъ,

Не смѣть ни передъ кѣмъ открыться простодушно;

Вездѣ съ улыбкою являться на губахъ;

Для выгодъ мужа быть съ однимъ любезной,

Холодностію мстить другому за него,

И слышать: «Нина, это мнѣ полезно;

Благодарю тебя!» и больше ничего.

КНЯЗЬ.

Восторгъ толпы и свѣта удивленья

Замѣнять счастье легко.

НИНА.

Къ толпѣ я чувствую презрѣнье.

КНЯЗЬ.

Чего жъ вамъ надобно?

НИНА.

Любви хоть на мгновенье!

КНЯЗЬ.

О, вамъ искать недалеко!...

Любви вы ищите, глубокой, сильной, страстной:

Она предъ вами здѣсь, въ груди моей;

Вы это знаете—и сколько, сколько дней

Я мучился и думалъ все напрасно!

Но я любимъ, я былъ любимъ всегда?

О, я молю, скажите: да!...

Когда, вы помните, на балѣ

Мы увидались въ первый разъ,
Лежало облако печали
На свѣтломъ небѣ вашихъ глазъ;
Они усталые, безъ цѣли,
Бродили медленно вокругъ,
И не искалъ ихъ всрѣчи вашъ супругъ,
И на него поднять вы ихъ не смѣли.
И онъ стоялъ близъ васъ безчувственный какъ сталь,
Съ лицомъ исполненнымъ безстрастья,
Какъ неизбѣжная печаль
Близъ неожиданнаго счастья.
Тогда во мнѣ проснулся чудный звукъ...
Я поклялся любить и клятву не нарушу—
Я чувствовалъ: вамъ нуженъ другъ—
И въ жертву я принесъ вамъ душу.

Н И Н А.

Насъ могутъ слышать умоляю васъ,
Уйдите!...

К Н Я З Ъ.

Нѣтъ, скажите мнѣ хоть разъ,
Что я любимъ; скажите, общайтесь...

Н И Н А.

Да! я люблю васъ!... Боже мой, ступайте!...

К Н Я З Ъ [хватаетъ ея руку].

Одинъ лишь подѣлуй на счастье въ залогъ,
Одинъ, не больше, видитъ Богъ.

Н И Н А [не вырывая руку].

Неблагодарный! вотъ мужчины:
Похожи всѣ на одного!
Теперь вамъ мало сердца Нины,
Теперь вамъ хочется всего!
Вамъ надо честь мою на поруганье!
Чтобъ встрѣтившись на балѣ, на гуляньѣ,
Могли бы вы со смѣхомъ рассказать

Друзьямъ смѣшное приключенье,
И, разрѣшая ихъ сомнѣнье,
Промолвить: вотъ она, и пальцемъ указать.
[Маска въ дверяхъ].

К Н Я З Ъ.

Обидно ваше подозрѣнье,
И я васъ долженъ наказать [срываетъ браслетъ].
Вотъ мнѣ залогъ любви. Доволенъ я! Прощайте!

Н И Н А [въ испугѣ].

Ахъ! что вы сдѣлали? Отдайте мнѣ, отдайте!

Мой мужъ замѣтитъ, онъ меня убьетъ!

Да—нѣтъ, вы шутите! о, это злая шутка!

Отдайте, я лишусь разсудка.

Вы такъ-то любите? Всѣ обѣщанья вотъ!...

Вотъ за довѣренность какъ нынче отвѣчаютъ.

ЯВЛЕНІЕ VII.

О Л И Н Ъ К А [становится между ними].

Скорѣй, скорѣй, за вами примѣчаютъ!

Н И Н А [убѣгая].

Хоть пощадите честь мою.

К Н Я З Ъ [задумываясь].

Мнѣ кажется... что я ее люблю.

О Л И Н Ъ К А.

Хотя бъ сказалъ: благодарю!

Ни взгляда, ни привѣта...

Онъ вѣрно думаетъ, что платять мнѣ за это.

Нѣтъ, вижу, что всегда останусь я рабой

Привычки—жертвовать собой.

[Уходить].

ЯВЛЕНІЕ VIII.

К Н Я З Ъ.

Что дѣлаешь ты здѣсь, таинственная маска?

М А С К А.

Смотрю на вашъ романъ...
Завязка дѣльная, да будетъ ли развязка?

К Н Я З Ъ.

Узнать нельзя ль, кто вы?

М А С К А.

Изъ дальнихъ странъ
Пріѣзжій... Вамъ знакома Уналаска?

К Н Я З Ъ.

Пусть такъ, на этотъ разъ;
Тамъ, вѣрно, принято у васъ
Подсматривать, подслушивать стараться,
И не въ свои дѣла мѣшаться!
Но это здѣсь, мой милый другъ,
Не такъ свободно сходить съ рукъ!

М А С К А.

Угрозы!... и еще какія!...
Гостепріимства нѣтъ въ Россіи!...

К Н Я З Ъ [увидавъ Арбенина].

Теперь не время... но...

[Уходитъ].

ЯВЛЕНІЕ ІХ.

К А З А Р И Н Ъ [снимаетъ маску и хохочетъ].

А Р В Е Н И Н Ъ [подходитъ].

Что Звѣздичъ такъ взбѣшонъ?...
Ужъ вѣрно зацѣпилъ его ты эпиграммой.

К А З А Р И Н Ъ.

Нѣтъ, сердится за то, что видѣлъ я, какъ онъ
Любезничалъ съ одною дамой!

А Р В Е Н И Н Ъ.

Съ кѣмъ?... Съ Олинъкой?

К А З А Р И Н Ъ.

Быть можетъ... не совсѣмъ.

АРВЕНИНЪ.

Ты для друзей и слѣпъ, и нѣмъ,
А помнится глаза-то были зорки...

Бывало, тотчасъ различать
Хоть за версту пятарку отъ шестерки:
Подобный глазъ для мужа кладъ!
Вотъ я такъ ничего не вижу и не знаю,
Женѣ свободу полную даю,
Мечтаю, что любимъ, о вѣрности мечтаю,
Лишь потому, что вѣренъ и люблю.

КАЗАРИНЪ.

Мечтай, мечтай, судьба твоя завидна!
Безпечность рѣдкая въ такихъ, какъ ты, мужьяхъ.

АРВЕНИНЪ.

Ты правъ, я не молодъ.

КАЗАРИНЪ.

И опытенъ... Обидно
Съ такимъ умомъ...

АРВЕНИНЪ.

Ну, что же?

КАЗАРИНЪ.

Ахъ!

Не спрашивай.

АРВЕНИНЪ.

Ужъ вѣрно подозрѣнье.

КАЗАРИНЪ.

Нѣтъ, я тебя оставлю въ заблужденъ,
Тебя, мой старый, первый другъ.
Вступилъ ты въ новый, лучший кругъ,
И знанье сердца, знанье свѣта
Ты презрѣлъ для любви законной и святой,
И лаской женщины душа твоя согрѣта.
Я не дивлюся, Богъ съ тобой!
Вѣдь это иногда бываетъ:

Кто въ дѣтствѣ разсуждалъ, тотъ въ старости мечтаетъ;
Но я все тотъ, каковъ и былъ...

А Р В Е Н И Н Ъ.

Чужаго счастья отчаянный Зонль...

Ну, что же? продолжай! вѣдь цѣлый часъ хлопочешь;
Прищурься, ха-ха-ха! поохай, пожалѣй.

К А З А Р И Н Ъ.

Такъ... если самъ ты этого ужъ хочешь...

А Р В Е Н И Н Ъ.

Ужъ эти мнѣ разношники вѣстей!

К А З А Р И Н Ъ.

Я радъ, что ты какъ прежде хладнокровенъ,

И стану говорить смѣлѣй:

Союзъ вашъ нѣсколько неровенъ,

И начинаю думать я,

Что ты не вовсе безъ разсчета...

Пожалуй, есть мужья —

Имъ подражать кому охота:

Ревнуютъ, бѣсятся, шумять.

Провелъ меня ты славно, братъ!

И надо бѣ отомстить, да штука мастерская,

И я мирюсь, искусство уважая!

Великодушіемъ прямымъ

Князька ты одурачилъ славно;

Началомъ пользуясь такимъ,

Ты оберешь его исправно.

Пускай женѣ въ отсутствіи твоёмъ,

Онъ платитъ нѣжные визиты,

Тебѣ же платится за карточнымъ столомъ,

И дѣло слажено—вы квиты!

А Р В Е Н И Н Ъ [въ негодованіи].

Казаринъ!

К А З А Р И Н Ъ.

Видѣлъ я сейчасъ,

Какъ нѣжничалъ, шепталъ онъ съ нею...
 Я издали смотрѣлъ и утверждать не смѣю —
 Трельяжъ ихъ закрывалъ отъ любопытныхъ глазъ —
 Два вдоха слышалъ я, да звуки поцѣлуя,
 И больше ничего, поклясться въ томъ могу я.

А Р В Е Н И Н Ѣ.

Ты видѣлъ, слышалъ, помни, что сказалъ!
 Я доберусь до истины! Терпѣнья
 Достанетъ у меня, но если ты солгалъ,
 Казаринъ, о! тогда не жди спасенья,
 Ты въ десять лѣтъ успѣлъ меня узнать.
 Я въ жизни разъ лишь былъ обманутъ—разъ—не болѣ,
 И отомстилъ, и отомщу опять!
 И страшно отомстить—въ моей, ты знаешь, волѣ.

КА ЗА Р И Н Ѣ.

Мой бѣдный другъ, все тотъ же онъ,
 Все тотъ же чортъ, когда взбѣшонъ!
 Дни, объ которыхъ я тоскую,
 Невольно ты напомнилъ мнѣ теперь,
 Жизнь безпокойную, кипучую, лихую...
 Тогда ты былъ не человѣкъ, а звѣрь.
 [Смѣясь уходитъ].

А Р В Е Н И Н Ѣ.

О, кто мнѣ возвратитъ всѣ буйныя надежды,
 Васъ нестерпимые, но сладостные дни?
 За васъ отдамъ я счастье невѣжды,
 Безпечность и покой—не для меня они!
 Мнѣ ль быть супругомъ и отцомъ семейства?
 Мнѣ ль, мнѣ ль, который испыталъ
 Всѣ ужасы и сладости злодѣйства
 И съ нимъ лицомъ къ лицу ни разу не дрожалъ.
 [Погружается въ задумчивость;
 музыка играетъ и онъ садится].
 Въ кругу обманщицъ милыхъ я напрасно
 И глупо юность погубилъ,

Любимъ былъ часто нѣжно, страстно,
 И ни одну изъ нихъ я не любилъ.
 Романа не начавъ, я зналъ уже развязку
 И для другихъ сердецъ твердилъ
 Слова любви, какъ няня сказку.
 И скучно стало мнѣ и тяжело жить,
 И кто-то подалъ мнѣ тогда совѣтъ лукавой
 Жениться... чтобъ имѣть святое право
 Ужъ ровно никого на свѣтѣ не любить.
 И я нашелъ жену—покорное созданье,
 Она была прекрасна и нѣжна;
 Какъ агнецъ Божій на закланье,
 Мной къ алтарю она приведена;
 И вдругъ во мнѣ забытый звукъ проснулся!
 Я въ душу мертвую свою
 Взглянулъ—и увидалъ, что я ее люблю,
 И стыдно молвить... ужаснулся!
 И снова ревность, бѣшенство, любовь,
 Въ пустой груди бушуютъ на просторѣ;
 Изломанный челнокъ, я снова брошенъ въ море!
 Вернусь ли къ пристани я вновь?

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

ЯВЛЕНІЕ I.

А Р В Е Н И Н Ѣ [одинъ].

Ночь, проведенная безъ сна,
 Страхъ видѣть истину—и миллионъ сомнѣній!
 Съ утра по улицамъ бродилъ, подобно тѣни,
 И не усталъ—и въ сердцѣ мысль одна!...
 Одинъ лишь злой намекъ, обманчивый быть можетъ,
 Разбилъ въ куски спокойствіе мое!
 И все воскресло вновь—и все меня тревожитъ:
 Былое, будущность, обманъ и правда—все!...

Но я рѣшился, буду твердъ... узнаю прежде,
 Увѣрюсь... доказательства... да!... да!...
 Мнѣ доказательства надо... и тогда...
 Тогда... конецъ любви... конецъ надеждъ!...

ЯВЛЕНІЕ II.

А Р В Е Н И Н Ъ [входитъ Н и н а].

А, здравствуй, Нина!... Наконецъ...

Н И Н А.

Недавно я проснулась.

А Р В Е Н И Н Ъ.

Поздно...

Я жду тебя ужъ цѣлый часъ...

Н И Н А.

Серьезно?

Ахъ, какъ ты милъ!...

А Р В Е Н И Н Ъ.

А думаешь: глупецъ...

Н И Н А.

Вотъ ты опять не въ духѣ, смотришь грозно
 И на тебя ни чѣмъ не угодишь...

А Р В Е Н И Н Ъ.

Скучаю я съ тобою розно.

Н И Н А.

А встрѣтимся—ворчишь.

[Ласкаясь] Скажи мнѣ просто: «Нина,

Кинь свѣтъ, я буду жить съ тобой

И для тебя. Зачѣмъ другой мужчина,

Какойнибудь бездушный и пустой,

Бульварный франтъ, затанутый въ корсетъ,

Съ утра до вечера тебя встрѣчаетъ въ свѣтъ;

А я лишь часъ какой на дню

Могу сказать тебѣ два слова!»

Скажи мнѣ это—я готова:

Въ деревнѣ молодость свою я скорюю.

Но что меня умчало

Воображеніе... и къ чему?

Положимъ, ты меня и любишь, но такъ мало,

Что даже не ревнуешь ни къ кому!

А Р В Е Н И Н Ъ.

Какъ быть, я жить привыкъ безопасно,

А ревновать смѣшно.

Н И Н А.

Конечно.

Ты столько видѣлъ, испыталъ,

И ревность и любовь тебѣ не новы...

Ты отдыхаешь...

А Р В Е Н И Н Ъ [въ сторону. Въ продолженіе этого монолога онъ по временамъ останавливается и наблюдаетъ Нину].

О, не долго отдыхалъ.

[Ей] Послушай, насъ одной судьбы оковы

Связали навсегда—ошибкой, можетъ быть,

Не мнѣ и не тебѣ судить!...

Ты молода лѣтами и душою;

Въ огромной книгѣ жизни ты прочла

Одинъ заглавный листъ, и предъ тобою

Открыто море счастья и зла.

Иди любой дорогой:

Надѣйся и мечтай—вдали надежды много,

А въ прошломъ жизнь твоя бѣла.

Ни сердца своего, ни моего не зная,

Ты отдалася мнѣ и любишь—вѣрю я—

И безотчетно чувствами играя,

И рѣваясь какъ дитя.

Но я люблю иначе: я все видѣлъ,

Все перечувствовалъ, все понялъ, все узналъ;

Любилъ я часто, чаще ненавидѣлъ,
 И болѣе всего—страдать.
 Сначала все любилъ, потомъ все презиралъ я,
 То самъ себя не понималъ я,
 То міръ меня не понималъ.
 На жизни я своей узналъ печать проклятья.
 И холодно закрылъ объята
 Для чувствъ и счастья земли;
 Такъ годы многіе прошли!
 О дняхъ, отравленныхъ волненьемъ
 Порочной юности моей,
 Съ какимъ глубокимъ отвращеньемъ
 Я мыслю на груди твоей!
 Такъ, прежде я тебѣ цѣны не зналъ, несчастный:
 Но нынче черствая кора
 Съ моей души слетѣла—міръ прекрасный
 Моимъ глазамъ открылся не напрасно,
 И я воскресъ для жизни и добра.
 Но иногда опять какой-то духъ враждебный
 Меня уносить въ бурю прежнихъ дней,
 Стираетъ съ памяти моей
 Твой свѣтлый взоръ и голосъ твой волшебный;
 Въ борьбѣ съ собой, подъ грузомъ тяжкихъ думъ,
 Я молчаливъ, суровъ, угрюмъ;
 Боюсь осквернить тебя прикосновеньемъ;
 Боюсь, чтобы тебя не испугалъ ни стонъ,
 Ни звукъ, исторгнутый мученьемъ.
 Тогда ты говоришь: меня не любить онъ!
 [Она ласково смотритъ на него и проводитъ рукой по волосамъ].

Н И Н А.

Тебя понять, ей-Богу, трудно;
 Чего ты требуешь, могу ль я отгадать.

А Р В Е Н И Н Ъ.

Да! требовать любви конечно безразсудно,
 И я не требую—мнѣ поздно покупать

Лукавый подѣлуй признаньями и лестью, .

Моя душа съ твоей душой

Не встрѣтились... что дѣлать—Богъ съ тобой...

Позволь мнѣ дорожить по крайней мѣрѣ честью!

Честь, имя—вотъ чего я требую отъ васъ.

Вы ихъ толпѣ на поруганье дали!

Я внятно говорю... вы все не понимали,

Поймите же меня, хотя на этотъ разъ.

Н И Н А.

Мнѣ отвѣчать вамъ было бѣ стыдно.

А Р В Е Н И Н Ъ.

Стыдъ, такъ... пора!... его давно не видно...

Зачѣмъ явился онъ теперь!

Гоните прочь его скорѣй, въ окно или въ дверь,

Откуда входитъ къ вамъ любезный,

Чувствительный, услужливый князекъ.

Н И Н А.

Такъ вотъ что? Это мнѣ урокъ.

А Р В Е Н И Н Ъ.

И вѣрно бесполезный.

Н И Н А.

Не знаю, кто оклеветалъ меня!

Я это заслужила:

Смѣялася, рѣзвилася, шутила; [съ провѣей]:

Нѣтъ, съ нынѣшняго дня

Не будетъ смѣть ко мнѣ приблизиться мужчина

На разстояннн въ три аршина!

Рѣшусь не говорить, рѣшуся не смотрѣть,

Не танцовать, за картами сидѣть,

Какъ кукла, какъ статуя,

Тогда на васъ конечно ужоу я.

Тогда вы скажете—вотъ вѣрная жена!

Какъ зло на всѣхъ глядитъ она! [смѣясь]:

Смѣшно, смѣшно, ей-Богу,

Не стыдно ли, не грѣхъ,
Изъ пустяковъ поднять тревогу?

А Р В Е Н И Н Ъ.

Дай Богъ, чтобъ это былъ не твой послѣдній смѣхъ.

Н И Н А.

О, если ваши продолжятся бредни,
То это вѣрно не послѣдній.

А Р В Е Н И Н Ъ.

Увидимъ.

Н И Н А.

Я тебя люблю,
Мнѣ жаль тебя, Евгенийъ.

А Р В Е Н И Н Ъ.

Ну, по чести,

Признание въ пору...

Н И Н А.

Выслушай, молю;

Я оправдаюсь.

А Р В Е Н И Н Ъ,

Нѣтъ!

Н И Н А.

Чего жъ ты хочешь?

А Р В Е Н И Н Ъ.

Мести!

Н И Н А.

Кому жъ ты хочешь мстить?

А Р В Е Н И Н Ъ.

О, часъ придетъ,

И, право, мнѣ вы надивитесь!

Н И Н А.

Не мнѣ ль?

А Р В Е Н И Н Ъ.

Геройство къ вамъ нейдетъ.

Н И Н А.

Кому жъ?

А Р В Е Н И Н Ъ.

Вы за кого бонтесь?

Н И Н А.

О, это нестерпимо!... Что жъ онъ самъ
Не явится сюда, мой тайный обвинитель?
Пусть повторить при мнѣ, пускай покажетъ вамъ
Всѣ доказательства, вы этого хотите.

А если онъ не явится? Какой

Найдете вы предлогъ, чтобъ оправдаться.

[Плача] Но, право, вы слезы не стоите одной

И мнѣ приличнѣ смѣяться.

А Р В Е Н И Н Ъ.

Такъ суждено мнѣ, можетъ быть,
Весельемъ оскорблять, страданіемъ смѣшать.

И что за диво? У другихъ на свѣтѣ

Надеждъ и цѣлей миллионъ.

У одного богатство есть въ предметѣ,

Другой въ науки погруженъ.

Тотъ добивается чиновъ, крестовъ и славы,

Тотъ любить общество, забавы,

Тотъ странствуетъ, тому игра волнуетъ кровь;

Я странствовалъ, игралъ, былъ вѣтренъ и трудился,

Постигъ друзей, коварную любовь,

Чиновъ я не хотѣлъ, а славы не добился;

Богатъ и безъ гроша былъ скукою томимъ,

Вездѣ я видѣлъ зло и, гордый, передъ нимъ

Нигдѣ не преклонился.

Все, что осталось мнѣ отъ жизни, это ты,

Созданье слабое, но ангель красоты:

Твоя любовь, улыбка, взоръ, дыханье —

Я человекъ, пока они мои:

Безъ нихъ—нѣтъ у меня ни счастья, ни души,

Ни чувства, ни существованья!

Но если я обмануть... если я
Обмануть, если на груди моей змѣя
Такъ много дней была согрѣта—если точно
Я правду отгадать... и, лаской усыпленъ,
Съ другимъ осмѣянъ былъ заочно?
Послушай, Нина... я рожденъ
Съ душой кипучею, какъ лава:
Покуда не растопится, тверда
Она какъ камень... но плоха забава
Съ ея потокомъ встрѣтиться! тогда,
Тогда не ожидай прощенья!
Закона я на мѣсть свою не призову,
Но самъ безъ слезъ и сожалѣнья
Двѣ наши жизни разорву!
[Хочетъ взять ее за руку, она отскакиваетъ въ сторону].

НИНА.

Не подходи... о, какъ ты страшенъ!

АРВЕНИНЪ.

Неужели?

Я страшенъ! нѣтъ, ты шутишь, я смѣшонъ;
Да, ты своей достигла цѣли;
Зачѣмъ же не пришелъ полюбоваться онъ
Моимъ отчаяньемъ!... теперь бы очень кстати
Вчерашній разговоръ вамъ повторить живой.

Чай, въ промежуткахъ ласкъ, объятій,
Смѣялись вы жестоко надо мной?

НИНА.

Вчера!...

АРВЕНИНЪ.

Вчера на балѣ.

НИНА [въ сторону].

Онъ все знаетъ!

[Ему]. Такъ вотъ причина! А ты видѣлъ самъ?

*

Ты видѣлъ?... Нѣтъ!... Кто жь обвиняетъ
Меня?... Никто... ты слѣдуешь мечтамъ,
Тебѣ спокойствіе и счастье надобно!

Прекрасно! продолжай же снѣло!...
Ты хочешь правды? Вѣрь или не вѣрь,
Тебѣ я все скажу теперь.
Князь любить Олинку... давно ли—я не знаю —
И безъ тебя онъ для нея одной
Бѣжалъ сюда... онъ не бывалъ со мной,
Онъ избѣгалъ меня... вчера, я понимаю!...
Вчера онъ съ ней, отъ бала удался,
Былъ здѣсь... и на меня подумать!... Этотъ князь
Хвастунъ, мальчишка... да, я ихъ застала
Вчера; вдругъ Олинка, краснѣя, убѣжала.
И я за это, я терплю
Угрозы ревности, упрёки подозрѣнія!...

А Р В Е Н И Н Ъ.

Я вѣрю... и сейчасъ за Олинкой пошлю.

Н И Н А.

Избавьте хоть ее отъ пытокъ и мученья.
Чего еще вамъ надо?

А Р В Е Н И Н Ъ.

Убѣжденья!

Н И Н А.

Но не теперь, въ другой хоть разъ...

А Р В Е Н И Н Ъ [звонить; лакей входитъ].

Поди и позови мнѣ Олинку сейчасъ.

Н И Н А.

Евгеній, я прошу, не говори съ ней строго,
Она такъ молода... вина ея скорѣй
Простая вѣтреность...

ЯВЛЕНІЕ III.

ВХОДИТЬ ОЛИНЬКА.

НИНА [подбѣгая къ ней, тихо говорить].

Не бойся, будь смѣлѣй.

ОЛИНЬКА.

Что вамъ угодно?

АРВЕНИНЪ.

Много! очень много!...

ОЛИНЬКА.

Что сдѣлялось?...

НИНА [ей тихо].

Не погуби меня! [упадая въ кресло]

Молчи, молчи!...

ОЛИНЬКА.

Готова слушать я...

АРВЕНИНЪ.

Скажи мнѣ, Олинька... на сердце руку смѣло...

Всю правду, какъ предъ Богомъ, все скажи.

ОЛИНЬКА.

Я не охотница, вы знаете, до лжи.

АРВЕНИНЪ.

О, да! я знаю, ты всегда умѣла

Открыто правду говорить,

Собою жертвовать и искренно любить;

Ты чувствовать умѣла одолженья,

Не замѣчать, не помнить зла.

Какъ ангелъ-примиритель, ты жила

Въ семействѣ нашемъ... Но ужасныя мученья

Столпились къ сердцу моему.

И я теперь не вѣрю ничему.

Клянись... но можетъ быть моленье

Отвергнешь ты мое?

И что мудренаго! кому моей судьбою
Заняться! я суровъ, я холоденъ душою...
Одинъ лишь разъ, одинъ пожертвуй ты собою
Не для меня, нѣтъ—для нее...

О Л И Н Ъ К А.

О, мнѣ конечно ничего не стоитъ
Собой пожертвовать для васъ.
Вы точно знаете, васъ это успокоитъ?
Извольте... гдѣ? когда? сейчасъ?...

А Р В Е Н И Н Ъ.

Вотъ, видишь, это дѣло важно: въ свѣтѣ
Смѣюсь надъ этимъ самъ,
А въ сердцахъ цѣлый адъ... такъ знай, въ твоемъ отвѣтѣ
Жизнь или смерть обонмъ намъ.
Я былъ въ отлучкѣ долго... слухъ промчался,
Что Звѣздичъ въ Нину былъ влюбленъ.
Онъ каждый день сюда являлся,
Но для кого? Свѣтъ часто ошибался:
Его сужденья не законъ.
Вчера здѣсь слышали признанья, объясненья,
Вы обѣ были тутъ—съ которой же изъ васъ?
Я долженъ знать сейчасъ...
О, если не съ тобой—то нѣтъ ему спасенья!...

О Л И Н Ъ К А [въ сторону].

Теперь я понимаю... онъ убьетъ,
Убьетъ его...

А Р В Е Н И Н Ъ.

Ты видишь, рѣчь идетъ
О жизни, счастьи и чести.
Я истины хочу: она сказала мнѣ,
Что съ княземъ здѣсь вы оставались вмѣстѣ?

О Л И Н Ъ К А.

Она сказала? съ нимъ? на единѣ?

АРВЕНИНЪ.

Она! а ты молчишь?

ОЛИНЬКА.

Что дѣлать, Боже!

АРВЕНИНЪ.

Я вашу связь не осуждаю... что же...
Но если это такъ, то домъ оставить мой
Должна ты завтра же: не ссорюсь я съ тобой,
Но честь жены всего дороже мужу!
Ошибку свѣта я предъ свѣтомъ обнаружу.

ОЛИНЬКА.

А я? Куда я дѣнусь?... Ни родныхъ,
Ни друга на землѣ... чѣмъ жить... въ презрѣнны
У всѣхъ... въ мои лѣта... за что? О, въ этого мигъ
[Нинѣ] Отъ васъ я требую, да, требую спасенья,
Защиты—вы должны, вы можете однѣ...

АРВЕНИНЪ.

Она не признается. Для терпѣнья
Граница есть...

НИНА.

Но что же дѣлать мнѣ?

АРВЕНИНЪ.

Подумай, Олинька! одно лишь средство
Окончить все: скажи мнѣ—да или нѣтъ;
Скорѣй, скорѣй, какойнибудь отвѣтъ!

Но также вспомни время дѣтства:
Заботы, ласки матери ее
Тебя не покидали на мгновенье;
Чужая ей, ты съ ней дѣлила все...

Есть сердце у тебя? Смушенье,
Страхъ, обморокъ!... ну, право, я не звѣрь,
Прошу лишь слова правды... Не хотите...
Ошибся я—не надобно, идите.

О Л И Н Ъ К А [черезъ силу].

Минуту погодите!...

Да... я всему виной... довольны ль вы теперь?

А Р В Е Н И Н Ъ.

О, наконецъ!

[Послѣ молчанія, женѣ]:

Здѣсь на колѣна

Я упадаю предъ тобой;

Прости, прости меня... глупецъ я злой

И недостойный! можетъ ли измѣна

Такую душу омрачить!

Я чувствую: я недостойнъ жить.

Здѣсь, здѣсь клянусь не знать успокоенья,

Пока коварный клеветникъ,

Какъ я передъ тобой теперь, у ногъ моихъ

Не будетъ умолять о жизни и прощеньи.

На Божій судъ пойду я съ нимъ...

Скажи мнѣ: я прощенъ? я вновь тобой любимъ?

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

ЯВЛЕНІЕ I.

КА ЗА Р И Н Ъ.

Я утверждалъ всегда,

Чего судьба упрямая захочетъ,

Пусть цѣлый міръ хлопочетъ,

А сбудется навѣрно! да!

Князь Звѣздичъ, напримѣръ, была ему острастка,

А нынче самъ ко мнѣ на вечеръ назвался.

Играть не станеть онъ, посмотримъ, только сказка—

Ужъ быть тому, за что я разъ взялся!

Вотъ кажется онъ самъ... Какое нетерпѣнье:

Явился прежде всѣхъ. [Отворяя дверь]. А, князь, мое почтенье.

ЯВЛЕНІЕ II.

КАЗАРИНЪ И АРБЕНИНЪ.

КАЗАРИНЪ [оправившись].

Ну, братъ, не ждалъ я, виновать;
Я, впрочемъ, очень радъ.

АРБЕНИНЪ.

Не торопись заранѣ веселиться!

КАЗАРИНЪ.

Мой бѣдный другъ, какъ приунылъ!
Да что жъ могло съ тобой случиться?
Ахъ, помню! видишь ли, я правду говорю!
Изъ благодарности, однако, умоляю,
Старинную припомни связь,
Умѣрь себя, ко мнѣ сегодня будетъ князь.
Хоть нынче помолчи, его я обыграю,
А завтра дѣлайся нимъ, чего душа
Попросить...

АРБЕНИНЪ.

Мысль отмѣнно хороша;
Я князю не скажу ни слова.

КАЗАРИНЪ.

Вотъ сердце доброе! да, въ свѣтѣ нѣтъ такого!

АРБЕНИНЪ.

Тебѣ же я скажу всю правду, какъ привыкъ:
Ты, милый мой, презрѣнный клеветникъ!
Клеймомъ стыда я васъ, сударь, отмѣчу,
Чтобъ каждый почиталъ обидой съ вами встрѣчу.

КАЗАРИНЪ.

Ахъ, Боже мой... меня, за что жъ меня?
Вотъ хлопочи, совѣтуй другу?
Зло за добро, брань за услугу!
Что? Этакъ дѣлають друзья?...

А Р Б Е Н И Н Ъ.

Да, да! я помню, время было,
Когда съ тобой однимъ путемъ
Стремленіе страстей насъ уносило;
Я нуженъ былъ тебѣ; искусствомъ и умомъ
Я защищалъ тебя въ опасныя мгновенья,
Съ тобой добычу я дѣлилъ—
И только! вотъ твое о дружбѣ мнѣнье,
Иначе въ жизни ты ни разу не любишь.
Когда всю ночь я въ шумномъ кругѣ
Сидѣлъ и хохоталъ съ истерзанной душой,
Искалъ ли я въ тебѣ, какъ въ другѣ,
Надежды, жалости?... Бывалъ ли я съ тобой
Таковъ, какъ иногда бываю
Одинъ съ моимъ творцомъ, когда подъ гнетомъ бѣдъ
За преступленья юныхъ лѣтъ
Я, горько плача, умоляю?
Нѣтъ, нѣтъ!
Ты мнѣ завидуешь, тебя жъ я презираю!

К А З А Р И Н Ъ.

Пусть такъ! возьми назадъ, возьми
Ты дружбу глупую—все кончено межъ нами,
Я никогда не дорожилъ людьми,
Тѣмъ болѣ гордецами!
А чѣмъ же лучше ты меня?
Тѣмъ, что бѣснуешься, кричишь ты безъ разбору,
А я, разсудокъ свой храня,
Немного говорю, да въ пору!...
Чѣмъ виновать я, что жена
Тебѣ немного не вѣрна...
Съ такою совѣстью, измученной и грозной,
Тебѣ бы въ монастырь; а ужъ влюбляться поздно.
А хочешь ты купить прощеніе грѣховъ,
Молчи, терпи...

А Р В Е Н И Н Ъ.

О нѣтъ, я не таковъ!...

Я не стерплю стыда и оскорбленья;

При первомъ подозрѣннѣ,

Тебѣ я это ужъ сказалъ;

И все жъ ты на нее безстыдно клеветалъ,

Но я открылъ глаза... и будешь ты наказанъ,

Да, совѣстью моею не такъ еще я связанъ,

Какъ ты, быть можетъ, полагалъ.

КА ЗА Р И Н Ъ.

Твоихъ угрозъ я не пугаюсь, право.

А Р В Е Н И Н Ъ.

Посмотримъ! помнишь ли, совѣтникъ мой лукавый,

Второе сентября, семь лѣтъ тому назадъ...

КА ЗА Р И Н Ъ [смутился].

Что жъ, помню.

А Р В Е Н И Н Ъ.

Очень радъ.

Я стану говорить короче:

Дольчини, ты и Штраль, товарищъ твой,

Играли вы до поздней ночи;

Я рано убрался домой;

Когда я уходилъ, во взорахъ итальянца

Блистая радость; на его щекахъ

Безжизненныхъ игралъ огонь румянца;

Колода картъ тряслась въ его рукахъ

И золото предъ нимъ катилось; вы же оба

Разсѣлись тѣнами, возставшими изъ гроба;

Ты это помнишь ли?...

КА ЗА Р И Н Ъ.

Ну, что жъ?

А Р В Е Н И Н Ъ.

Сейчасъ

Я кончу мой рассказъ.

Предъ вашимъ домомъ, утромъ рано,

Дольчини былъ найдёнъ на мостовой
 Въ крови, съ разбитой головой.
 Вы всѣхъ увѣрили, что пьяный
 Онъ выскочилъ въ окно,
 Такъ это и осталось! Но
 Волшебной сказкою меня не обморочишь,
 И кѣмъ онъ былъ убитъ, скажу я, если хочешь.

КАЗАРИНЪ.

Ты доказать не можешь ничего.

АРВЕНИНЪ.

Конечно!... вотъ письмо, кто написалъ его?

КАЗАРИНЪ [упадая на стулъ].

Злодѣи! вѣдь я погибъ...

АРВЕНИНЪ.

Твой другъ мнѣ проигрался
 И отдалъ свой бумажникъ. Въ немъ
 Нашелъ я этотъ кладъ—кто въ дуракахъ остался?
 Ты мнѣ хотѣлъ вредить... за зло плачу я зломъ.

КАЗАРИНЪ.

Помилуй, сжался, я твой рабъ отнынѣ!
 Конечно, что ужъ дѣлать—согрѣшилъ,
 Но я клянусь...

АРВЕНИНЪ.

Какой святыней?

КАЗАРИНЪ [плача].

Я ужъ раскаялся.

АРВЕНИНЪ.

А! плачешь, крокодилъ!

КАЗАРИНЪ [вскакиваетъ].

[Въ сторону] Одно осталось средство для спасенья.
 [Громко] Постой, смотри, вотъ шкафъ и отъ него ключи,
 Тамъ тысячь пятьдесятъ, съ условіемъ—молчи,
 Тебѣ все, все мое имѣнье!

А Р В Е Н И Н Ъ.

Ха-ха-ха-ха! смѣшное предложеніе!...

КА ЗА Р И Н Ъ.

Не хочешь?

А Р В Е Н И Н Ъ.

Я богатъ.

КА ЗА Р И Н Ъ.

Онъ правъ! но если такъ,
Я остаюсь при первомъ мнѣніи.

А Р В Е Н И Н Ъ.

Что? что?

КА ЗА Р И Н Ъ.

Я, просто, былъ дуракъ,
Что испугался—докажи сначала,
Что я солгалъ... да—докажи сперва,
Что мнѣ вредить имѣешь ты права
И что жена тебѣ не измѣняла.

Ты мужъ, какихъ на свѣтѣ мало,
Всѣмъ вѣрилъ! Прежде мнѣ,
Потомъ проказницѣ женѣ;
Съ тобой, я вижу, надо осторожно...

А Р В Е Н И Н Ъ.

Изволь, тебя утѣшить можно!
Ты знаешь Олинъку—она,
Вѣдняяжка, въ князя влюблена;
Онъ для нея ѣзжалъ ко мнѣ—межъ ними
Что было, я не знаю, только все
Упало на жену; намеками своими
Ты очернилъ ее!

Но я хотѣлъ знать правду... и не много
Трудился—Олинъка призналась... строго
Я поступилъ—но требуетъ нужда:
Она мой домъ оставитъ навсегда.

КАЗАРИНЪ.

Сама призналась?

АРБЕНИНЪ.

Да!

КАЗАРИНЪ.

Заставили признаться?

АРБЕНИНЪ.

Сама!

КАЗАРИНЪ.

Не можетъ быть! уговорить легко!

АРБЕНИНЪ.

Мнѣ любопытно знать, какъ можетъ далеко

Такая дерзость простирается.

КАЗАРИНЪ.

Я милости прошу—минуть чрезъ пять

Князь будетъ здѣсь—дай слово не мѣшать.

АРБЕНИНЪ.

Въ чемъ?

КАЗАРИНЪ.

Ради Бога!

АРБЕНИНЪ.

Про жену ни слова!

КАЗАРИНЪ.

Пусть, ни-гугу!

АРБЕНИНЪ.

Посмотримъ, это ново!

Послѣднее то будетъ шельмовство,

Пѣснь лебедя... а тамъ къ разсчету.

КАЗАРИНЪ.

Заплатишь, милый, за охоту

Знать верхъ искусства моего.

[Ходить по комнатѣ].

Онъ скоро будетъ... кажется идетъ...

Нѣтъ, если онъ не будетъ—право
Злой духъ меня толкнетъ
Съ нимъ заключить расчетъ кровавый.

ЯВЛЕНІЕ III.

ТѢЖЕ. ВХОДИТЪ КНЯЗЬ.

КАЗАРИНЪ [тихо].

Насилу! Кажется, еще на этотъ разъ
Судьба меня спасти взялась. [Князю].
Князь, поздно, поздно! что? откуда?

КНЯЗЬ.

Я былъ въ театрѣ.

КАЗАРИНЪ.

Что даютъ?

КНЯЗЬ.

Балетъ.

КАЗАРИНЪ.

А я про васъ здѣсь слышалъ чудо
И вѣрить не хотѣлъ...

КНЯЗЬ.

Конечно, не секретъ?

КАЗАРИНЪ.

Сказать бы радъ—да мудрено рѣшиться:
Не вздумали бы разсердиться.

КНЯЗЬ.

За правду не сержусь, а если ложь—
На васъ сердиться мнѣ за что жъ?

КАЗАРИНЪ.

Люблю за это нашу молодежь!

Разсудить прежде, послѣ скажетъ.

Бывало, намъ ничто языкъ не свяжетъ:

Врутъ, хотъ сердись, хотъ не сердись,

За то и доврались.

КНЯЗЬ.

Да что жъ вы про меня узнали?

КАЗАРИНЪ.

Да вотъ что! бѣдная... ее вы наказали
За жертвы, за любовь... любите васъ шалуновъ,
Потомъ терпи. Кто жъ виноватъ—она ли?
Анъ нѣтъ! Чай, сколько просьбъ и словъ,
Утросъ и ласкъ, и слезъ и общаній
Вы расточили передъ ней,
И все зачѣмъ?—изъ сущей дряни:
Повеселиться пять, шесть дней!
Прекрасно, князь, прекрасно!
Скажите-ка: она васъ любить страстно?
Вы долго волочилисъ?... О, злодѣи!

КНЯЗЬ.

Позвольте хоть узнать, о комъ вы говорите?

КАЗАРИНЪ.

Не знаетъ, о невинность! посмотрите,
Какой серьезный видъ и недовольный взоръ:
Да я не зналъ, что вы такой актеръ!
А для кого, скажите-ка по чести,
Ѣзжали вы къ нему такъ часто въ домъ?
А кто съ утра ждалъ подъ окномъ,
Какъ вы проѣдете... ужъ я на вашемъ мѣстѣ,
Теперь, когда открылося, когда
Она безъ крова, жертвою стыда,
Осуждена искать дневнаго пропитанья,
Ужъ я женился бы... хотя бъ изъ состраданья.

КНЯЗЬ.

Да ради Бога, кто жъ она? И въ чемъ
Я виноватъ?

КАЗАРИНЪ.

Нашли же вы на комъ,
На компаньонкѣ пробовать искусство,

И трудно ль обмануть простое чувство
И погубить невинное дитя:

За это я возьмусь шутя!

КНЯЗЬ.

Послушайте, зашли вы дальше шутки.

КАЗАРИНЪ.

Да, я и не шучу... я правду вамъ сказалъ;

Арбенинъ Олинку прогналъ...

Что жъ дѣлать, у него свои есть предразсудки.

КНЯЗЬ.

Помилуйте, да вы сошли съ ума,

Кто такъ наклеветалъ безбожно?

КАЗАРИНЪ.

Она сама призналась.

КНЯЗЬ.

Какъ?

КАЗАРИНЪ.

Она сама.

КНЯЗЬ.

Не можетъ быть.

КАЗАРИНЪ.

Случилось—такъ возможно.

КНЯЗЬ.

Не можетъ быть. Ея признанье ложно!

Я не хочу, чтобъ за меня она,

Она страдала. Я помочь не въ силахъ, право...

Я не люблю ее... жениться—мысль смѣшна.

АРБЕНИНЪ.

И то, за чѣмъ?... Ужъ вы покрылись славой.

КНЯЗЬ.

Съ чего вы вздумали, что я женюсь на ней?

АРБЕНИНЪ.

Ну, князь, я думалъ вы честнѣй...

КНЯЗЬ.

Вы это думали?... А! это оскорбленье!

Останьтесь же при первомъ мѣнѣи

И прежде, чѣмъ рѣшить свинецъ,

Я докажу, что я не трусь и не подлецъ.

Хотите ль правду знать?

АРВЕНИНЪ.

Посмотримъ... Что же?

КНЯЗЬ.

Вы не раскаялись?

АРВЕНИНЪ.

У васъ спрошу я тоже.

КНЯЗЬ.

Хотите?

АРВЕНИНЪ.

Да!

КНЯЗЬ.

Скажите лучше: нѣтъ!

АРВЕНИНЪ.

Хочу.

КНЯЗЬ [подавая браслетъ].

Смотрите: чей браслетъ?

Узнали ль?

АРВЕНИНЪ.

Да—узналъ!

КНЯЗЬ.

Я думаю узнали.

Теперь раскаялись?...

АРВЕНИНЪ.

Нѣтъ! вы его украли!...

А! вы подумали, что можете со мной

Шутить, какъ съ мальчикомъ... глупцы вы оба, дѣти...

Вы видите, какъ ваши сѣти

Я разорвалъ одной рукой...

А, князь! вы сами захотѣли
 Себя достойно наказать!
 Какъ вы рѣшились, какъ вы смѣли
 Въ глаза все это мнѣ сказать!
 Скорѣе на колѣни, на колѣни!...
 Нѣтъ!... очень радъ! тѣмъ меньше затрудненій!
 Вамъ жизнь наскучила—не странно... жизнь глупца,
 Жизнь площаднаго волокиты...
 Утѣштесь же теперь, вы будете убиты;
 Умрите жъ съ именемъ и смертью поддлаца.

КНЯЗЬ.

Скорѣе—часъ и мѣсто!

КАЗАРИНЪ.

Ну, насилу

Избавлюсь отъ него: не въ крѣпость такъ въ могилу.

АРВЕНИНЪ.

Я жду васъ завтра къ девяти часамъ

И у себя. [Подходить къ Казарину].

КАЗАРИНЪ [смѣясь].

Не споръ со мною.

АРВЕНИНЪ.

Не веселись по пустякамъ,

Твоя дѣла сегодня жъ я устрою.

[Уходитъ быстро].

ЯВЛЕНІЕ IV.

КАЗАРИНЪ. [Нѣсколько времени пораженъ, потомъ вскакиваетъ].

Князь, а вашъ секунданта! угодно?

КНЯЗЬ.

Очень радъ!

[Въ сторону] Я глупо поступилъ, да ужъ нельзя назадъ.

ДѢЙСТВІЕ ПЯТОЕ.

КОМНАТА АРВЕНИНА. НИНА СПИТЬ НА КАНАПЕ.

ЯВЛЕНІЕ I.

АРВЕНИНЪ [входя оборачивается въ дверь].

Князь Звѣздичъ скоро долженъ быть. Ко мнѣ
Его проси. Ступай! Какъ ты сюда попала?

СЛУЖАНКА.

Тихонько-съ! барыня сейчасъ започивала;
Ждала васъ цѣлу ночь и бредила во снѣ...

Потомъ тѣмъ-свѣтъ одѣлась, встала,
Изволила придти къ вамъ въ кабинетъ,
Да и уснула здѣсь на креслахъ.

АРВЕНИНЪ.

Я исправитъ
Хочу вину свою... ты можешь насъ оставить.
[Служанка уходитъ].

ЯВЛЕНІЕ II.

АРВЕНИНЪ И НИНА.

АРВЕНИНЪ [подходя къ Нинѣ].

Спать! точно спать! сомнѣнья нѣтъ:
Улыбка по лицу струится
И грудь колыхнется и смутныя слова
Межъ губъ скользятъ едва-едва!
Понять не трудно, кто ей снится.
О! эта мысль запала въ грудь мою,
Бѣжить за мной и шепчетъ: мщенье, мщенье!
А я, безумный, все еще ловлю
Надежду сладкую и сладкое сомнѣнье!
И кто подумалъ бы и кто смѣлъ ожидать?
Меня... меня... меня продать
За поцѣлуй глупца—меня, который

Готовъ былъ жизнь за ласку ей отдать!
 Мнѣ измѣнить! мнѣ—и такъ скоро!
 [Задумывается].

Да... да... я этого хочу
 Я вырву у нея признанье
 Угрозой, страхомъ!... Я ей отомщу,
 Какъ прежде мстилъ—безъ состраданья.
 [Молчаніе].

Бывало, я искалъ могучею душой
 Заботъ, трудовъ, глубокихъ ощущеній,
 Въ страданіяхъ мой пробуждался гений
 И весело боролся я съ судьбой,
 И былъ я гордъ, и силенъ, и свободенъ
 На жизнь глядѣлъ какъ на игрушку я,
 И въ злобѣ былъ я благороденъ,
 И жалось не смѣшна казалася моя...
 Но часъ пришелъ, и я упалъ—ничтожный.
 Безумецъ, безоруженъ противъ мукъ и зла.
 Добро, какъ счастье, мнѣ стало невозможно
 И мечь какъ жизнь мнѣ тяжела.

ЯВЛЕНІЕ III.

АРВЕНИНЪ, НИНА И ОЛИНЬКА.

ОЛИНЬКА [входя и увидавъ].

Ахъ, Боже мой!... онъ здѣсь.

АРВЕНИНЪ.

Не разбуди... [увидавъ узелъ].

Что это значить?

ОЛИНЬКА.

Я пришла проститься...

АРВЕНИНЪ.

Къ кому же ты пойдешь?

ОЛИНЬКА.

Къ кому случится...

Прощайте!

АРВЕНИНЪ.

Погоди!

Мнѣ жаль тебя... бѣдняжка, ни роднова,
Ни друга на землѣ...

ОЛИНЬКА.

Что жъ? Я на все готова.

АРВЕНИНЪ.

Легко сказать, презрѣнье, нищета...

Ужасно!

ОЛИНЬКА.

Да, ужасно!...

АРВЕНИНЪ.

Тебѣ упрекомъ будетъ красота,
Придутъ и скажутъ: да, она прекрасна!
Съ подобнымъ личикомъ невинность сохранить
Задача трудная! Къ тому жъ, вѣдь надо жить!...

ОЛИНЬКА.

О, я умру!

АРВЕНИНЪ.

Кто виновать, не ты ли?...

Подумай.

ОЛИНЬКА.

Я одна.

АРВЕНИНЪ.

Признайся мнѣ: вы въ заговорѣ были;
Тебя солгать заставила она...
Ты гибнешь. Если нѣтъ—признайся—спасена!
Есть время...

ОЛИНЬКА.

О, не искушайте!

АРВЕНИНЪ.

Я жду послѣдній твой отвѣтъ.

О Л И Н Ъ К А [уходя].

Прощайте!

А Р В Е Н И Н Ъ.

Постой... войди сюда... и черезъ часъ
Я кликну... можетъ быть, и прежде.

О Л И Н Ъ К А.

Для чего же?

А Р В Е Н И Н Ъ.

Узнаешь. [Она уходитъ].

ЯВЛЕНІЕ IV.

А Р В Е Н И Н Ъ и Н И Н А.

А Р В Е Н И Н Ъ.

Боже! Боже!

Дай твердость мнѣ въ послѣдній разъ.
[Подходя къ Нинѣ].

Проснись... пора...

Н И Н А.

Ахъ, это ты, Евгений!

Какой тяжелый сонъ... толпа видѣній
Въ умѣ моемъ еще тѣснится... снилось мнѣ,
Что ты ласкалъ меня такъ страстно;
А говорятъ, что все во снѣ
Наоборотъ—и вѣрить снамъ опасно...
Боюсь, что ждетъ меня бѣда!

А Р В Е Н И Н Ъ.

Предчувствіямъ я вѣрю иногда.

Н И Н А.

Тебя я жду всю ночь—была готова
Послать искать.

А Р В Е Н И Н Ъ.

О, рѣдкая жена!

Н И Н А.

Послушай, милый другъ, я что-то нездорова.

АРВЕНИНЪ. [въ сторону].

Судьба мнѣ помогаетъ снова.

НИНА.

Я очень, кажется, больна.

АРВЕНИНЪ.

Мнѣ жаль.

НИНА.

Послушай, я сказать тебѣ должна,
Со мною ты ужасно измѣнился,
Сталъ холоденъ и принужденъ.
И отчего?

АРВЕНИНЪ.

Какъ быть, мнѣ также снился
Зловѣщій сонъ!...

НИНА.

Все грустенъ, все ворчишь—мнѣ въ тягость жизнь такая.

АРВЕНИНЪ.

Ты права! что такое жизнь? Жизнь вещь пустая!

Покуда въ сердцѣ быстро льется кровь,
Все въ мірѣ намъ и радость и отрада,
Пройдутъ года желаній и страстей

И все вокругъ темнѣй, темнѣй!

Что жизнь? Давно извѣстная шарада

Для упражненія дѣтей,

Гдѣ первое—рожденье, гдѣ второе—
Ужасный рядъ заботъ и муки тайныхъ ранъ,
Гдѣ смерть—послѣднее... а цѣлое—обманъ.

НИНА.

О, нѣтъ! я жить хочу.

АРВЕНИНЪ.

Пустое!

НИНА.

И умереть боюсь...

А Р В Е Н И Н Ъ.

Жизнь—вѣчность, смерть лишь мигъ.

Н И Н А.

Нельзя ль отъ шутокъ мнѣ твоихъ
Избавиться. Я слушать все готова,
Но не теперь... Евгенийъ, я молю:
Пошли за докторомъ—я очень нездорова
И голова кружится.

А Р В Е Н И Н Ъ.

Не пошлю.

Н И Н А.

О, ты меня не любишь...

А Р В Е Н И Н Ъ.

А за что же
Тебя любить?... за то ль, скажи,
Что былъ обманутъ я? Ты требуешь любви—
Насмѣшка горькая...

Н И Н А.

О, Боже!

А Р В Е Н И Н Ъ.

Тому назадъ лѣтъ десять я вступалъ
Еще на поприще разврата.
Разъ въ ночь одну я все до капли проигралъ;
Тогда я зналъ ужъ цѣну злата,
Но цѣну жизни я не зналъ.
Я былъ въ отчаяньи—ушелъ и яду
Купилъ—и возвратился вновь
Къ игорному столу. Въ груди кипѣла кровь;
Въ одной рукѣ держалъ я лимонаду
Стаканъ, въ другой четверку пикъ.
Послѣдній рубль въ карманѣ дожидался
Съ завѣтнымъ порошкомъ. Рискъ, право, былъ великъ,
Но счастье вынесло и въ часъ я отыгрался!
И этотъ порошокъ я долго сберегалъ

Среди волнений жизни шумной,
 Какъ талисманъ таинственный и чудной
 Хранилъ на черный день, и этотъ день насталъ.

Н И Н А.

Что хочешь ты сказать? Не мучь меня, Евгений!
 Но ты дрожишь? Ты сталъ блѣднѣе тѣни?

А Р В Е Н И Н Ъ.

Тутъ былъ стаканъ—онъ пустъ... кто выпилъ лимонадъ.

Н И Н А.

Я выпила... Смѣешься?...

А Р В Е Н И Н Ъ.

Да—я радъ!

Н И Н А.

Что жъ было въ немъ?

А Р В Е Н И Н Ъ.

Что? Ядъ!

Н И Н А.

Не вѣрю, невозможно! и съ такою
 Холодностью смѣяться надо мною!

И въ чемъ виновна я—ни въ чемъ,
 Что балы я люблю, вотъ вся бѣда въ одномъ.

Ядъ! ядъ! О, это было бы ужасно!

Нѣтъ, поскорѣй разсѣй мой страхъ...

Зачѣмъ терзать меня напрасно.

Взгляни сюда? О, смерть въ твоихъ глазахъ!

А Р В Е Н И Н Ъ [бросая браслетъ на столъ].

Ты измѣнила мнѣ—вотъ обвиненье!

Н И Н А.

Не вѣрь—не вѣрь... Изъ сожалѣнья...

А Р В Е Н И Н Ъ.

Признайся?

Н И Н А.

Не могу.

А Р В Е Н И Н Ъ.

Подумай, ты умрешь.

Н И Н А.

Но я невинна!

А Р В Е Н И Н Ъ.

Ложь!

Н И Н А.

Такъ нѣтъ спасенья?

А Р В Е Н И Н Ъ.

Нѣтъ спасенья!

[Нина плачетъ].

Да, горько я ошибся... возмечталъ

О счастья—думалъ снова

Любить и вѣровать... но часъ судьбы насталъ

И все прошло, какъ бредъ больнова.

Я могъ бы воскресить погибшія мечты,

Я могъ бы, вѣруя надеждѣ,

Быть снова тѣмъ, чѣмъ былъ я прежде,

Ты не хотѣла—ты!

Плачь, плачь—но что такое, Нина,

Что слезы женскія?—Вода!

Я жъ плакалъ! Я, мужчина!

Отъ злости, ревности, мученья и стыда

Я плакалъ—да!

А ты не знаешь, что такое значить

Когда мужчина плачетъ!

Въ тотъ мигъ къ нему не подходи—

Смерть у него въ рукахъ и адъ въ его груди.

Н И Н А.

О, ты ужасенъ! О, помилуй, пощади!

Я все исполню, я признаюсь... поскорѣе,

Еще есть время—говори, чего

Ты хочешь... смерть всего страшнѣе...

Смерть, смерть—да, я люблю его...

Нѣтъ, нѣтъ—то было заблужденіе,
 Ребячество, обманъ воображенія;
 Я не любила никого.
 Позволь обнять твои колѣни.
 Ты видишь, я у ногъ твоихъ, Евгений!
 Скажи, скажи какой цѣной
 Купить мнѣ жизнь... цѣной мученій...
 Чѣмъ хочешь буду я—твоей рабой...
 Я молода, жизнь такъ прекрасна
 О! ты меня спасешь—ты не злодѣй,
 Я знаю, жалость есть въ душѣ твоей,
 Помучишь и простишь... Напрасно, все напрасно...
 Мнѣ кажется, я чувствую въ груди
 Огонь, огонь—о, сжапись, пощади!...
 [Бросается къ дверямъ].
 Сюда, сюда... на помощь!... умираю!...
 Ядъ, ядъ, не слышать... понимаю!
 Ты остороженъ и ко мнѣ нейдешь,
 Но помни, я тебя жестокій проклинаю
 И ты придешь на вѣчный судъ!

ЯВЛЕНІЕ V.

АРВЕНИНЪ, НИНА И ОЛИНЬКА.

ОЛИНЬКА.

Я здѣсь! Что съ вами?

НИНА.

Ахъ, скорѣе, ради Бога!
 Покуда время есть! Я жить хочу, жить, жить!
 Ужели и тебя мнѣ надо такъ молить.

ОЛИНЬКА.

О, что вы сдѣлали?...

АРВЕНИНЪ [помогавъ].

Перепугалъ немного!

Хотѣлъ знать правду и узнать...

Опомнитесь и встаньте—я солгалъ;
 Я не ношу съ собою яда...
 Въ васъ сердце низкаго разряда,
 И ваша казнь—не смерть, а стыдъ!
 Что вы дрожите? Будьте вновь спокойны,
 Вамъ долго жить на свѣтѣ суждено,
 И счастье вамъ еще возможно—но
 Ни чьей любви, ни чьей вы мести недостойны.
 Да! нынѣ чувствую—я старъ,
 Измученъ долгою борьбою;
 Послѣдній на меня упалъ судьбы ударъ,
 И я поникъ покорной головою.
 Желаній нѣтъ, надежды нѣтъ,
 Я выброшенъ изъ круга жизни шумной,
 Съ несносной памятью невозвратимыхъ лѣтъ,
 Страдалецъ мрачный и безумный.
 [Садится. Входитъ князь съ пистолетами].

ЯВЛЕНІЕ VI.

АРВЕНИНЪ, НИНА, ОЛИНЬКА, КНЯЗЬ И КАВАРИНЪ.

КНЯЗЬ.

Что это значить, смѣю васъ спросить?
 Дуэль въ кругу семейства—очень ново!
 Тѣмъ лучше, случая такого
 Мнѣ, вѣрно, болѣе не нажить.

КАВАРИНЪ.

По чести, странный выборъ секундантовъ!
 Гдѣ о дуэли рѣчь, тамъ я въ числѣ педантовъ.

КНЯЗЬ.

Мнѣ все равно, безъ дальнихъ словъ,
 Вотъ пистолеты я готовъ...

АРВЕНИНЪ [встаетъ].

День, часъ тому назадъ, хотѣлъ я крови, мести;
 Защитникъ правъ своихъ и чести,

Съ надеждой трепетной въ груди,
 Я думалъ отравить позоръ и обвиненье,
 И я ошибся. Съ глазъ слетѣло заблужденіе;
 Вы правы—торжествуйте! Впередѣ
 Васъ ждутъ побѣды славныя, какъ эта,
 Отчаянье мужей, рукоплесканье свѣта...
 И мало ль женщинъ есть, во всемъ подобныхъ ей—
 Онѣ того, кто посмѣлѣй!
 Смотрите, какъ блѣдна, почти безъ чувства,
 А отчего, не отгадаешь вдругъ—
 Что это? Стыдъ, раскаянье, искусство?
 Ничуть! испугъ, одинъ испугъ!
 Ни вы, ни я, мы не имѣли власти
 Въ ней поселить хоть искру страсти.
 Ея душа безсильна и черства,
 Мольбой не тронется, боится лишь угрозы,
 Въ замѣнъ любви у ней—слова.
 Въ замѣнъ печали—слезы.
 За что жъ мы будемъ драться? Пусть убьетъ
 Одинъ изъ насъ другаго, такъ что жъ далѣ?
 Мы жъ въ дуракахъ—на первомъ багѣ
 Она любовника, или мужа вновь найдетъ.
 Теперь стрѣляться вы хотите?
 Вотъ грудь моя обнажена,
 Возьмите жизнь мою, возьмите,
 Она ни мнѣ, ни міру не нужна.

КАЗАРИНЪ.

Стрѣляйте же скорѣй, скорѣй.

АРВЕНИНЪ.

Молчите?

Задумались?... итакъ, оставьте насъ!

Мы квиты...

[Князь уходитъ].

ЯВЛЕНІЕ VII.

КАЗАРИНЪ.

Обманулъ! еще разъ увернулся!
Скорѣй и мнѣ убраться съ глазъ,
Покуда не очнулся. [Уходитъ].

АРВЕНИНЪ.

Куда бѣжишь постой, постой,
Разсчетъ у насъ не кончился съ тобой.
[Послѣ долгаго молчанія].

Я ѣду, Олинька! прощай!
Будь счастлива—прекрасное созданье,
Душѣ твоей удѣлъ—небесный рай,
Душѣ благородныхъ воздаянье.
Какъ утѣшенье, образъ твой
Я унесу въ изгнаніе съ собой.
Пускай прошедшее тебя не возмущаетъ.
Я будущность твою устрою: ни нужда,
Ни бѣдность вновь тебѣ не угрожаетъ.

ОЛИНЬКА.

Вы возвратитесь?...

АРВЕНИНЪ.

Никогда!

1836/37

6-1814 -

ПИСЬМА ЛЕРМОНТОВА.

I. Къ М. А. Шанъ-Гирей.

(1828).

Милая тетинька! * Наконецъ, настало то время, которое вы столь ожидаете, но ежели я къ вамъ мало напишу, то это будетъ не отъ моей лѣности, но отъ того, что у меня не будетъ время. Я думаю, что вамъ пріятно будетъ узнать, что я въ русской грамматикѣ учу синтаксисъ, и что мнѣ даютъ сочинять; я къ вамъ это пишу не для похвалы, но собственно отъ того, что вамъ это будетъ пріятно. Въ географіи я учу математическую по небесному глобусу, градусы, планеты, ходъ ихъ, и проч. Препрежне учене історіи мнѣ очень помогло. Заставьте пожалуйста Екимъ рисовать контуры; мой учитель говорить, что я еще буду ихъ рисовать съ полгода; но я лучше сталъ рисовать, однако жъ мнѣ запрещено рисовать свое. Катюшѣ въ знакъ благодарности за подвязку, посылаю ей бисерный ящикъ моей работы. Я еще ни въ какихъ садахъ не бывалъ, но я былъ въ театрѣ, гдѣ я видѣлъ оперу Невидимку, ту самую, что я видѣлъ въ Москвѣ 8 лѣтъ назадъ; мы сами дѣлаемъ театръ, который довольно хорошо выходитъ и будутъ восковыя фигуры играть (сдѣлайте милость пришлите мои воски); я нарочно замѣчаю, чтобы вы въ хлопотахъ не забыли, я думаю что эта punctualность не мѣшаетъ; я бы приписалъ къ брату; онъ здѣсь, но я имъ напишу особливо; Катюшу же цѣлую и благодарю за подвязку. — Прощайте, милая тетинька, цѣлую ваши руки и остаюсь вашъ покорный племянникъ.

* Марья Акимовна Шанъ-Гирей, дочь родной сестры бабушки поэта — Екатерины Алексѣевны Хостатовой (рожденной Столпниной). Упоминаемые ниже Екимъ и Катюша—ея дѣти.

II. Къ ней же.

(Въ концѣ 1828).

Милая тетинька! Зная вашу любовь ко мнѣ, я не могу медлить, чтобы обрадовать васъ: экзаменъ кончился и вакаціи начались до 8-го января; слѣдственно, онѣ будутъ продолжаться 3 недѣли. Испытаніе наше продолжалось отъ 13-го до 20 числа. Я вамъ посылаю баллы, гдѣ вы увидите, что г. Дубенской поставилъ 4 рус. и 3 лат.; но онѣ продолжалъ мнѣ ставить 3 и 2 до самаго экзамена, вдругъ какъ-то сжалился и наканунѣ переправилъ, что произвело меня вторымъ ученикомъ. *

Папинька сюда пріѣхалъ и вотъ уже 2 картины извлечены изъ моего portefeuille; слава Богу, что такими любезными мнѣ руками!... Скоро я начну рисовать съ (buste) бюстовъ... Какое удовольствіе!... Къ тому жъ Александръ Степановичъ мнѣ показываетъ также, какъ должно рисовать пейзажи.—Я продолжалъ подавать сочиненія мои Дубенскому, а Геркулеса и Прометея взялъ инспекторъ, ** который хочетъ издавать журналъ Каліопу (подражая мнѣ) (?), гдѣ будутъ помѣщаться сочиненія воспитанниковъ.—Какowo вамъ покажется. Павловъ мнѣ подражаетъ, перенимаетъ у... меня!... стало быть... стало быть... но выводите заключенія, какія вамъ угодно.

Бабушка была немного нездорова зубами, однако жъ теперь гораздо лучше, а я—o! je me porte comme a l'ordinaire... bien!—Прощайте, милая тетинька, желаю, чтобы вы были внутренно покойны, слѣд. здоровы, ибо: les douleurs du corps proviennent des maux de l'âme.—Остаюсь покорный вашъ племянникъ.

Я прилагаю вамъ, милая тетинька, стихи, кои прошу помѣстить къ себѣ въ альбомъ, а картинку я еще не нарисовалъ. На вакацію надѣюсь исполнить свое обѣщаніе; вотъ стихи:

* Въ вѣдомости о баллахъ Лермонтовъ названъ ученикомъ 4 класса. Въ пансіонѣ было 6 классовъ и Лермонтовъ прошелъ 4, 5 и 6-й; онѣ поступилъ въ пансіонъ въ 1828 г., а въ апрѣлѣ 1830 г. уже окончилъ въ немъ курсъ.

** Мих. Григ. Павловъ, профессоръ Московскаго университета, издавшій курсы Физики и Сельскаго Хозяйства.

ПОЭТЪ.

Когда Рафаэль вдохновенный
 Пречистой Дѣвы ликъ священный
 Живою кистью окончалъ:
 Своимъ искусствомъ восхищенный
 Онъ предъ картиною упалъ!
 Но скоро сей порывъ чудесный
 Слабѣлъ въ груди его молодой,
 И утомленный и нѣмой
 Онъ забывалъ все въ поднебесной.
 Таковъ поэтъ: чуть мысль блеснетъ,
 Какъ онъ перомъ своимъ пролетъ
 Всю душу; звукомъ громкой лиры
 Чаруетъ свѣтъ, и въ тишинѣ
 Поетъ, забывшись въ райскомъ снѣ,
 Васъ, васъ, души его кумиры!
 И вдругъ хладѣтъ жаръ ланить,
 Его сердечныя волненья
 Все тише, и призракъ бѣжить!
 Но долго, долго умъ хранить
 Первоначальны впечатлѣнья.

Р. S. Не зная, что дядинька въ Апалихѣ, * я не писалъ къ нему, но прошу извиненія, и свидѣтельствую ему мое почтеніе.

III. Къ ней же.

(1829).

Милая тетинька! Извините меня что я такъ долго не писалъ. Но теперь постараюсь почаще увѣдомлять васъ о себѣ, зная что это вамъ будетъ пріятно. Вакація приближаются и... прости! достопочтенный пансіонъ. Но не думайте, чтобы я былъ радъ оставить его, потому что ученіе прекратится; нѣтъ!

* Имѣніе Шанъ-Гирея, по сосѣдству съ селомъ Тарханы, принадлежавшимъ бабушкѣ поэта, Е. А. Арсеньевой.

дома я заниматься буду еще болѣе, нежели тамъ. Вы спрашиваете о баллахъ милая тетинька, увы!—у насъ въ пятомъ классѣ съ самаго новаго года еще не всѣ учителя поставили сѣн въ вѣски нашей премудрости. * Помните ли, милая тетинька, вы говорили, что наши актеры (московскіе) хуже петербургскихъ. Какъ жалко, что вы не видали здѣсь: Игрока, трагедію: Разбойники. Вы бы иначе думали. Многіе изъ петербургскихъ господъ соглашаются что эти пьесы лучше идутъ, нежели тамъ, и что Мочаловъ во многихъ мѣстахъ превосходитъ Каратыгина. Бабушка, я и Екимъ, всѣ слава Богу здоровы, но М-г G. Gendroz былъ боленъ; однако теперь почти совсѣмъ поправился. Постараюсь слѣдовать совѣтамъ вашимъ, ибо я увѣренъ, что они служатъ къ моей пользѣ. Цѣлую ваши ручки, покорный вашъ племянникъ — М. Лермонтовъ.

Р. S. Прошу васъ дядинкѣ засвидѣтельствовать мое почтение и у тетиньки Анны Акимовны цѣлую ручки. Также прошу подѣловать за меня Алешу, двухъ Катюшъ и Машу.—М. Л.

IV. Къ Н. И. Поливанову.

Москва 7-го іюня 1831.

Любезный другъ, здравствуй! протяни руку и думай, что она встрѣчаетъ мою; я теперь сумасшедшій совсѣмъ. Нашъ судьба разноситъ въ разныя стороны, какъ вѣтеръ листы осени. Завтра свадьба твоей кузины Лужиной, на которой меня не будетъ [*?!]; впрочемъ, мнѣ теперь не до подробностей. Чортъ возьми всѣ свадебные пиры. Нѣтъ, другъ мой! мы съ тобой не для свѣта созданы; я не могу тебѣ много писать: боленъ, разстроенъ, глаза каждую минуту мокры. — *Source intarissable*. Много со мной было. Прощай; напиши чтонибудь веселѣе. Что ты дѣлаешь? Прощай, другъ мой.—М. Лермонтовъ.

* Выраженіе одного ученика.

V. Къ С. А. Бахметевой.

Ваше Атмосфераторство! Милостивѣйшая государыня, Софія, дочь Александра?.. Вашъ рабъ всепокорнѣйшій Михайло, сынъ Юрьевъ, бьетъ челомъ вамъ. — Дѣло въ томъ, что я обрѣтаюсь въ ужасной тоскѣ; извозчикъ ѣдетъ тихо, дорога пряма, какъ палка, на квартирѣ вонь и перо скверное!... Кажется довольно, чтобъ истощить ангельское терпѣніе, подобное моему.

Что вы дѣлаете? — Приѣхала ли Александра, Михайлова дочь—и какія ея рѣчи? Все пишете—а моего писанія никому не являйте. Растрясло меня и потому къ благовѣрной кузинѣ не пишу—а вамъ мало; извините моей немощи!...

До Петербурга съ обѣими прощаюсь. Рабъ вашъ М. Лерма.

Прошу засвидѣтельствовать мое нижайшее почтеніе тетинѣ кѣ и всѣмъ домочадцамъ.—Тверь. 1832.

VI. Къ ней же.

(С.-Петербургъ. Августъ 1832).

До самаго нынѣшняго дня я былъ въ ужасныхъ хлопотахъ: ѣздилъ туда-сюда, къ Вѣрѣ Николаевнѣ на дачу и проч.; рассматривалъ городъ по частямъ, и на людей ѣздилъ въ морѣ. Короче, ищу впечатлѣній, какихъ нибудь впечатлѣній...

Преглуное состояніе человѣка то, когда онъ долженъ занимать себя, чтобъ жить, какъ занимали нѣкогда придворные старыхъ королей; быть своимъ шутомъ! Какъ послѣ этого не презирать себя, не потерять довѣренности, которую имѣлъ въ душѣ своей?... Одну добрую вещь скажу вамъ: наконецъ я догадался, что не гожусь для общества, и теперь больше, чѣмъ когда нибудь. Вчера я былъ въ одномъ домѣ, у ***, гдѣ просидѣлъ четыре часа, и не сказалъ ни одного путнаго слова. У меня нѣтъ ключа отъ ихъ умовъ—быть можетъ, слава Богу!

Вашей комиссіи я еще не исполнилъ, ибо мы только вчера перебрались на квартиру. Прекрасный домъ, и со всѣмъ тѣмъ душа моя къ нему не лежитъ: мнѣ кажется, что отнынѣ я самъ буду пустъ, какъ былъ онъ, когда мы вѣхали.

Пишите мнѣ, что дѣлается въ странахъ вашего царства. Какъ свадьба? Все ли вы въ Средниковѣ или въ Москвѣ? Чай, Александра Михайловна да Елизавета Александровна покою не знаютъ, все хлопочутъ!

Странная вещь! Только мѣсяцъ тому назадъ я писалъ:

Я жить хочу! хочу печали,
Любви и счастію на зло!
Они мой умъ избаловали
И слишкомъ сгладили чело.
Пора, пора насмѣшкамъ свѣта
Прогнать спокойствія туманъ;
Что безъ страданій жизнь поэта,
И что безъ бури океанъ? *

И пришла буря, и прошла буря, и океанъ замерзъ, но замерзъ съ поднятыми волнами, храня театральнѣйшій видъ движенія и безпокойства, но въ самомъ дѣлѣ мертвѣе, чѣмъ когда нибудь...

Признайтесь, надобѣлъ я вамъ своими диссертациями! Я короче сошелся съ Павломъ Евреиновымъ; у него есть душа въ душѣ. Одна вещь меня безпокоитъ: я почти совсѣмъ лишился сна, Богъ знаетъ, надолго ли. Не скажу, чтобъ отъ горести: были у меня и больше горести, а я спалъ крѣпко и хорошо. Нѣтъ, я не знаю: тайное сознаніе, что я кончу жизнь ничтожнымъ человѣкомъ, меня мучить.

Дорогой еще былъ туда-сюда; пріѣхавши, не гоюсь ни на что. Право, мнѣ необходимо путешествовать: я—цыганъ!

Прощайте. Пишите мнѣ, чѣмъ поминаете вы меня? Обѣщаю вамъ, что не всѣ мои письма будутъ такіа; теперь я бол-

* Въ одной изъ рукописныхъ тетрадей Лермонтова, это стихотвореніе оканчивается такъ:

Онъ хочетъ жить цѣною муки,
Цѣной томительныхъ заботъ,
Онъ покупаетъ неба звуки,
Онъ даромъ—славы не беретъ.

таю вздоръ, потому что натошакъ. Прощайте... Членъ вашей
bande joyeuse M. L.

Р. S. У тетусекъ моихъ цѣлую ручки, и прошу васъ отъ
меня отнестн поклонъ всѣмъ моимъ друзьямъ... во второй
разрядъ конхъ Achille, арапъ; и если вы не въ Москвѣ, то ии-
сленно. Прощайте.

VII. Къ ней же.

Примите дивное П о с л а н ѣ
Изъ края дальняго сего;
Оно не П а в л о в о писанье,
Хоть Павелъ вамъ отдасть его.

Увы! какъ скученъ этотъ городъ
Съ своимъ туманомъ и водой!
Куда ни взглянешь—красный воротъ,
Какъ шишъ, торчитъ передъ тобой,
Нѣтъ милыхъ сплетень—все сурово,
Законъ сидитъ на лбу людей;
Все удивительно и ново,
А нѣтъ ни пошлыхъ новостей!
Доволенъ каждый самъ собою,
Не беспокоясь о другихъ,
И что у насъ зовутъ душою,
То безъ названія у нихъ!...

И наконецъ я видѣлъ море!
Но кто поэта обманулъ?
Я въ роковомъ его просторѣ
Великихъ думъ не почерпнулъ.
Нѣтъ, какъ оно, я не былъ воленъ;
Болѣзнью жизни—скукой боленъ
(На зло былымъ и новымъ днямъ);
Я не завидовалъ, какъ прежде,
Его серебряной одеждѣ,
Его бунтующимъ волнамъ.

Экспромтомъ написалъ я вамъ эти стихи, любезная Софья Александровна, и не имѣю духу продолжать такимъ образомъ. Въ самомъ дѣлѣ, не знаю отчего, поэзія души моей погасла.

По произволу дивной власти
Я выкинуть изъ царства страсти,
Какъ послѣ бури на песокъ
Волной расшибенный челнокъ.
Пускай приливъ его ласкаетъ—
Не слышитъ ласки инвалидъ:
Свое безсиліе онъ знаетъ
И притворяется что спитъ.
Никто ему не ввѣритъ болѣ
Себя или ноши дорогой:
Онъ негодится и на волѣ!
Погибъ—и данъ ему покой!

Мнѣ кажется, что это недурно вышло. Пожалуста, вы не рвите этого письма на нужныя вещи. Впрочемъ, если бы я началъ писать къ вамъ за часъ прежде, то, быть можетъ, написалъ бы вовсе другое; каждый мигъ у меня новыя фантазіи. Прощайте, дражайшая. Я къ вамъ писалъ изъ Твери и отсюда, а до сихъ поръ не получилъ отвѣта — стыдно; однако я прощаю—и прощаюсь. М. Лерма.

Тетинькѣ и всѣмъ нижайшее мое почтеніе. Пишите, что дѣлается, и слышится, и говорится.

У Демидовой былъ—дома не засталъ; она была у какой-то директорши — Богъ знаетъ; я письма не отдалъ и на дняхъ поѣду опять. Не имѣю слишкомъ большаго влеченія къ обществу: надоѣло! Все люди, такая тоска: хоть бы черти для смѣха попадались.—(1832).

VIII. Къ Марьѣ Александровнѣ Лопухиной.

S.-Pétérsv. 1832, le 28 Août.

Dans le moment ou je vous écris, je suis très-inquiet, car grand-maman est très malade, et depuis deux jours au lit. Ayant

reçu une seconde lettre de vous, c'est maintenant une consolation que je me donne.—Vous nommer toutes les personnes que je fréquente?—moi c'est la personne que je fréquente avec le plus de plaisir. En arrivant je suis sorti, il est vrai, assez souvent chez des parents, avec lesquels je devais faire connaissance; mais à la fin j'ai trouvé que mon meilleur parent c'était moi. J'ai vu des échantillons de la société d'ici, des dames fort aimables, des jeunes gens fort polis—tous ensemble ils me font l'effet d'un jardin français, bien étroit et simple, mais où l'on peut se perdre, pour la première fois, car entre un arbre et un autre le ciseau du maître a ôté toute différence!...

J'écris peu, je ne lis pas plus; mon roman devient une œuvre de désespoir; j'ai fouillé dans mon âme pour en retirer tout ce qui est capable de se changer en haine, et je l'ai versé pêle-mêle sur le papier: vous me plaindriez en le lisant!... A propos de votre mariage, cher amie, vous avez deviné mon enchantement d'apprendre qu'il soit rompu; * j'ai déjà écrit à ma cousine que ce nez en l'air n'était bon que pour flairer les alouettes—cette expression m'a beaucoup plu à moi-même. Dieu soit loué, que ça soit fini comme cela et pas autrement! Au reste n'en parlons plus; on n'en a que trop parlé.

J'ai une qualité que vous n'avez pas; quand on me dit qu'on m'aime, je ne doute plus ou (ce qui est pire) je ne fais pas semblant de douter.—Vous avez ce défaut, et je vous prie de vous en corriger, du moins dans vos chères lettres.

Hier il y a eu, à 10 heures du soir, une petite inondation et même on a tiré deux fois du canon à trois différentes reprises, à mesure que l'eau baissait et montait. Il y avait claire de lune, et j'étais à ma fenêtre qui donne sur le canal; voila ce que j'ai écrit:

Для чего я не родился
Этой синей волной?

* «Pas français».

Какъ бы шумно я катился
 Подъ серебряной луной;
 О, какъ страстно я лобзалъ бы
 Золотистый мой песокъ,
 Какъ надменно презиралъ бы
 Недовѣрчивый челнокъ;
 Все чѣмъ такъ гордятся люди,
 Мой набѣгъ бы разрушалъ;
 И къ моей студёной груди
 Я бѣ страдальцевъ прижималъ:
 Не страшился бѣ муки ада,
 Раемъ не былъ бы прельщенъ;
 Безпокойство и прохлада
 Были бѣ вѣчный мой законъ:
 Не искалъ бы я забвенья
 Въ дальномъ сѣверномъ краю,
 Былъ бы воленъ отъ рожденья —
 Жить и кончить жизнь мою!

Voici une autre; ces deux pièces, vous expliqueront mon état moral mieux que j'aurais pu le faire en prose:

Конецъ! какъ звучно это слово!
 Какъ много-мало мыслей въ немъ!
 Послѣдній стонъ—и все готово,
 Безъ дальнихъ справокъ... а потомъ?
 Потомъ васъ чинно въ гробъ положутъ,
 И черви вашъ скелетъ обгложутъ;
 А тамъ наслѣдникъ въ добрый часъ
 Придавитъ монументомъ васъ;
 Простивъ вамъ каждую обиду,
 Отслужитъ въ церкви панихиду,
 Которой—(я боюсь сказать)
 Не суждено вамъ услышать;
 И если вы скончались въ вѣрѣ,
 Какъ христiанинъ, то гранить

На сорокъ лѣтъ по крайней мѣрѣ
 Названье ваше сохранить
 Съ двумя плачевными стихами,
 Которыхъ къ счастью, вы сами
 Не прочтаете во вѣкъ. —
 Когда жъ чиновный человѣкъ
 Захочетъ мѣста на кладбищѣ,
 То ваше тѣсное жилище
 Разростъ заступъ похоронъ
 И грубо выкинетъ васъ вонъ;
 И можетъ быть изъ вашей кости,
 Подливъ воды, подсыпавъ крупъ,
 Кухмейстеръ изготovitъ супъ —
 (Все это дружески, безъ злости).
 А тамъ голодный аппетитъ
 Хвалить васъ будетъ съ восхищеньемъ,
 А тамъ желудокъ васъ сварить,
 А тамъ—но съ вашимъ позволеньемъ
 Я здѣсь окончу мой разсказъ,
 И этого довольно съ васъ.

Adieu!... je ne puis plus vous écrire, la tête me tourne à force de sottises; je crois que c'est aussi la cause qui fait tourner la terre depuis 7000 ans; ce Moïse n'a pas menti.—Mes compliments à tout le monde.—Votre ami les plus sincère.—
 M. Lerma.

Переводъ: Въ эту минуту, какъ пишу вамъ, я въ тревожномъ состояннн, потому что бабушка очень больна и два дня въ постели. Отведу себѣ душу отвѣтомъ на второе письмо ваше. Назвать ли васъ всѣхъ, у кого я бываю? Назову—себя, потому что у этой особы бываю я съ наибольшимъ удовольствіемъ. Правда по приѣздѣ, я навѣщалъ довольно часто родныхъ, съ которыми мнѣ слѣдовало познакомиться; но подѣ-конецъ нашель, что самый лучшій мнѣ родственникъ, это я самъ. Видѣлъ я обрашки здѣшняго общества, дажъ очень любезныхъ, молодыхъ людей весьма воспитанныхъ; всѣ они вмѣстѣ производятъ на меня впечатлѣніе французскаго сада, очень

тѣснаго и безъ затѣй, но въ которомъ съ перваго разу можно заблудиться, потому что хозяйскія ножницы уничтожали въ немъ всякое различіе между деревьями. — Пишу мало, читаю не болѣе; романъ мой становится произведеніемъ отчаянія: я перебралъ себѣ всю душу, добывая изъ нея все, что только способно обратиться въ ненависть, и въ беспорядкѣ излилъ ее на бумагу. Читая это, вы бы пожалѣли меня! Относительнаго вашего брака, мой другъ, вы угадали мое восхищеніе при вѣсти, что онъ не состоялся; я ужъ писалъ кузинѣ que se nez en l'air n'était bon que pour flâner les alouettes— это выраженіе мнѣ самому очень понравилось. Слава Богу, что это кончилось такъ, а не иначе. Впрочемъ, не будемъ больше говорить объ этомъ—и безъ того ужъ много наговорились.—У меня есть свойство, котораго нѣтъ у васъ: когда мнѣ говорятъ, что меня любятъ, я больше не сомнѣваюсь, или (что хуже) я не показываю вида, что сомнѣваюсь. Вы напротивъ. Пожалуста исправьтесь отъ этого недостатка, хоть въ вашихъ милыхъ письмахъ. — Вчера, въ 10 часовъ послѣ обѣда, было небольшое наводненіе, и даже трижды сдѣлано было по два пушечныхъ выстрѣла, по мѣрѣ того, какъ вода опускалась и подымалась. Ночь была лунная, и я былъ у своего окна, которое выходитъ на каналъ. Вотъ что я написалъ: (слѣдуютъ стихи). Вотъ еще стихи. Тѣ и другіе лучше покажутъ вамъ мое нравственное состояніе, чѣмъ бы я могъ это сдѣлать въ прозѣ (другіе стихи). Прощайте, не могу больше писать вамъ. Голова вертится отъ глупостей. Мнѣ кажется, что по той же причинѣ и земля вертится вотъ уже 7000 лѣтъ. Монсей не солгалъ. Всѣмъ мой поклонъ.—Вашъ искреннѣйшій другъ. М. Лерма.

IX. Къ ней жѣ.

2 Septembre. (1832).

Dans ce moment même je commence à dessiner quelque chose pour vous, et je vous l'enverrai peut-être dans cette lettre. Savez vous, chère amie, comment je vous écrirai? Par moments! Une lettre durera quelquefois plusieurs jours; une pensée me viendra-t-elle, je l'inscrerai; quelque chose de remarquable se gravera-t-il dans mon esprit, je vous en ferai part; êtes-vous contente de ceci!

Voilà plusieurs semaines déjà que nous sommes séparés, peut-être pour bien longtemps, car je ne vois rien de trop consolant dans l'avenir, et pourtant je suis toujours le même,

malgré les malignes suppositions de quelques personnes que je ne nommerai pas. Enfin, pensez vous que j'ai été aux anges de voir Наталья Алексѣевна, * parcequ' elle vient de nos contrées—car Moscou est et sera toujours ma patrie: j'y suis né, j'y ai beaucoup souffert, et j'y ai été trop heureux—ces trois choses auraient bien mieux fait de ne pas arriver... mais que faire? — Mademoiselle Annette m'a dit qu'on n'avait pas effacé la célèbre tête sur la muraille... ** pauvre ambition! Cela m'a rejoui... et encore comment! Cette drôle passion de laisser partout des traces de son passage!... Une idée d'homme, quelque grande qu'elle soit, vaut-elle la peine d'être répétée dans un objet matériel, avec le seul mérite de se faire comprendre à l'âme de quelques-uns? il faut que les hommes ne soient pas nés pour penser, puisqu'une idée forte et libre est pour eux chose si rare!

Je me suis proposé pour but de vous enterrer sous mes lettres et mes vers: cela n'est pas bien amical, ni même philanthropique, mais chacun doit suivre sa destination.

Voici encore des vers, que j'ai faits au bord de la mer:

Бѣлѣтъ парусъ одинокій и т. д.

— Adieu donc, adieu... je ne me porte pas bien: un songe heureux, un songe divin m'a gâté la journée... Je ne puis ni parler, ni lire, ni écrire.—Chose étrange que les songes! une double de la vie, qui souvent est plus agréable que la réalité: car je ne partage pas du tout l'avis de ceux qui disent que la vie n'est qu'un songe; je sens bien fortement sa réalité, son vide engageant!—Je ne pourrai jamais m'en détacher assez pour la mépriser de bon coeur; car ma vie—c'est moi, moi, qui vous parle — et qui dans un moment peut devenir rien, un nom, c'est à dire encore rien. — Dieu sait, si après la vie le moi existera. C'est terrible quand on pense, qu'il peut arriver un

* Родная сестра бабушки поэта Елизаветы Алексѣевны.

** Голову эту Лермонтовъ начертилъ углемъ на стѣнѣ у московскихъ своихъ знакомыхъ, Лопухинныхъ.

jour où je ne pourrai pas dire: moi!—A cette idée l'univers n'est qu'un morceau de boue.

Adieu; n'oubliez pas de me rappeler au souvenir de votre frère et de vos soeurs, car je ne suppose pas ma cousine de retour.

Dites moi, chère miss Mary, si monsieur mon cousin Evreinoff vous a rendu mes lettres, et comment vous le trouvez, car dans ce cas je vous choisis pour mon termomètre—Adieu. Votre dévoué. Lerma.

P. S. J'aurais bien voulu vous faire une petite question; mais elle se refuse de sortir de ma plume.—Si vous me devinez — bien, je serai content; si — non... alors, cela veut dire que si même je vous avais dit la question, vous n'y auriez pas su répondre.

C'est le genre de question dont peut-être vous ne doutez pas!

Переводъ: Сейчасъ я началъ кое-что рисовать для васъ, и можетъ быть пошлю съ этимъ же письмомъ. Знаете ли, милый другъ какъ я стану писать къ вамъ? — Какъ только улучу минуту. Иной разъ письмо продлится нѣсколько дней: придетъ ли мнѣ въ голову какая мысль, я вамъ запишу ее; если что примѣчательное займетъ мой умъ, тотчасъ подѣлюсь съ вами. Согласны?—Вотъ уже нѣсколько недѣль, какъ мы разстались и можетъ быть надолго, потому что впереди я не вижу ничего особенно отраднаго. Однако я все тотъ же, вопреки лукавымъ предположеніямъ нѣкоторыхъ людей, которыхыхъ не назову. Представьте наконецъ, что я пришелъ въ восторгъ, увидавъ Наталью Алексѣевну, потому что она пріѣхала съ нашей стороны, такъ какъ Москва моя родина, и такою будетъ для меня всегда: тамъ я родился, тамъ много страдалъ, и тамъ же былъ слишкомъ счастливъ! Пожалуй, лучше бы не быть ни тому, ни другому, ни третьему, но что дѣлать? M-lle Annette сказывала, что еще не стерли со стѣны знаменитую голову... Жалкое самолюбіе! Вѣсть эта меня обрадовала, да еще какъ! Что за глупая страсть: вездѣ отмѣчать чѣмъ нибудь свое пребываніе! Мысль чело-вѣка, хотя бы самую возвышенную, стоитъ ли впечатлѣвать въ предметъ вещественномъ, изъ-за того только, чтобъ сдѣлать ее понятною для другихъ, немногихъ людей. Надо полагать, что люди вовсе не созданы мыслить, потому что мысль сильная и свободная—большая для нихъ рѣдкость. Я намѣренъ замучить васъ своими письмами

и стихами. Это конечно не по дружески, и даже противно челоуѣколюбію; но каждый долженъ слѣдовать своему предназначенію. Вотъ еще стихи, которые сочинилъ я на берегу моря (слѣдуютъ стихи). Прощайте же, прощайте. Я не совсѣмъ хорошо себя чувствую: сонъ счастливый, божественный сонъ, разстроилъ меня на нынѣшній день... Не могу ни говорить, ни читать, ни писать. Странная вещь эти сны! Двойникъ жизни, и часто лучшей, нежели дѣйствительная жизнь. Вѣдь я вовсе не раздѣляю мнѣнія, будто жизнь есть сонъ; я осязательно чувствую ея дѣйствительность, она манитъ въ себя, чтобъ я ее наполнилъ! Я никогда не могу отрѣшиться отъ нея на столько, чтобъ чистосердечно ее ненавидѣть; потому что жизнь моя—я самъ, я, говорящій теперь съ вами, и могущій черезъ минуту обратиться въ ничто, въ одно имя, т. е. опять таки въ ничто. Богъ знаетъ, будетъ ли существовать это я послѣ жизни! Страшно подумать, что настанетъ день, когда я не могу сказать: я! При этой мысли весь міръ есть не что иное, какъ комъ грязи.—Прощайте, не забудьте напомнить обо мнѣ своему брату и сестрамъ, потому что кузина, какъ я полагаю, еще не возвратилась.—Скажите, милая Miss Mary, передалъ ли вамъ мой кузенъ Евреиновъ мои письма, и какъ онъ вамъ показался? потому что въ этомъ случаѣ я васъ выбираю моимъ термометромъ. Прощайте. Вашъ преданный Лерма. P. S. Мнѣ бы хотѣлось сдѣлать вамъ небольшой вопросъ; но не рѣшаюсь писать. Коли догадываетесь, хорошо, я буду доволенъ; а нѣтъ—значитъ, если бы я и написалъ, вы не могли бы отвѣчать на него.—Это такого рода вопросъ, какой быть можетъ вамъ и не приходитъ въ голову.

Х. Къ ней же.

(1832).

Je suis extrêmement fâché que la lettre pour ma cousine soit perdue ainsi que la votre pour grand-maman. Ma cousine pense peut-être que j'ai fait le paresseux, ou que je mens en disant que j'ai écrit; mais ni l'un ni l'autre ne serait juste de sa part; puisque je l'aime beaucoup trop pour m'esquiver par un mensonge et que, à ce que vous pouvez lui attester, je ne suis pas paresseux à écrire; — je me justifierai peut-être avec ce même courrier, et si non, je vous prie de le faire pour moi; après demain je tiens examen et suis enterré dans les mathématiques. Dites lui de m'écrire quelquefois; ses lettres sont si aimables.

Je ne puis pas m'imaginer encore, quel effet produira sur vous ma grande nouvelle: moi qui jusqu'à présent avais vécu pour la carrière littéraire, après avoir tant sacrifié pour mon ingrat idôle, voilà que je me fais guerrier. Peut-être est-ce le vouloir particulier de la Providence; peut-être ce chemin est-il le plus court: et s'il ne me mène pas à mon premier but, peut-être me mènera-t-il au dernier de tout le monde: mourir une balle de plomb dans le coeur vaut bien une lente agonie de vieillard. Aussi, s'il y a la guerre, je vous jure par Dieu d'être le premier partout.—Dites, je vous en prie, à Alexis que je lui enverrai un cadeau dont il ne se doute pas. Il avait il y a longtemps désiré quelque chose de semblable, et je lui envoyé la même chose, seulement dix fois mieux. Maintenant je ne lui écris pas, car je n'ai pas le temps: dans quelques jours l'examen. Une fois entré, je vous assomme de lettres, et je vous conjure tous et toutes de me riposter. M^{lle} Sophie m'a promis de m'écrire aussitôt après son arrivée: le saint de Voronège lui aurait-il conseillé de m'oublier? Dites lui que je voudrais savoir de ses nouvelles. Que coûte une lettre? une demiheure! et elle n'entre pas à l'école des gardes. Vraiment je n'ai que la nuit; vous — c'est autre chose. Il me paraît que, si je ne vous communique pas quelque chose d'important, arrivée à ma personne, je suis privé de la moitié de ma résolution. Croyez ou non, mais cela est tout-à-fait vrai: je ne sais pourquoi, mais lorsque je reçois une lettre de vous, je ne puis m'empêcher de répondre tout de suite, comme si je vous parlais.

Adieu donc, chère amie, je ne dis pas au revoir, puisque je ne puis espérer de vous voir ici, et entre moi et la chère Moscou il y a des barrières insurmontables, que le sort semble vouloir augmenter de jour en jour. Adieu, ne soyez pas plus paresseuse que vous n'avez été jusqu'ici, et je serai content de vous. Maintenant j'aurai besoin de vos lettres plus que jamais: enfermé comme serai, cela sera ma plus grande jouissance; cela seul pourra lier mon passé avec mon avenir, qui déjà s'en vont chacun de son côté, en laissant entre eux une barrière

de 2 tristes, pénibles années. Prenez sur vous cette tâche ennuyeuse, mais charitable, et vous empêcherez une vie de se démolir; à vous seule je puis dire tout ce que je pense; bien ou mal, ce que j'ai déjà prouvé par ma confession; et vous ne devez pas rester en arrière, vous ne devez pas, car ce n'est pas une complaisance que je vous demande, mais un bien-fait. J'ai été inquiet il y a quelques jours, maintenant je ne le suis plus: tout est fini—j'ai vécu, j'ai mûri trop tôt; et les jours que vont suivre seront vides de sensations...

Онъ былъ рожденъ для счастья, для надеждъ
И вдохновеній мирныхъ! Но безумный,
Изъ дѣтскихъ рано вырвался одеждъ,
И сердце бросилъ въ море жизни шумной:
И миръ не пощадилъ, и Богъ не спасъ!

Такъ сочный плодъ, до времени созрѣлый,
Между цвѣтовъ висить осиротѣлый;
Ни вкуса онъ не радуется, ни глазъ,
И часъ ихъ красоты—его паденья часъ!
И жадный червь его грызетъ, грызетъ,
И между тѣмъ какъ нѣжныя подруги
Колеблются на вѣткахъ—ранній плодъ
Лишь тяготить свою... до первой вьюги!
— Ужасно старикомъ быть безъ сѣдинъ!
Онъ равныхъ не находитъ; за толпою
Идетъ, хотъ съ ней не дѣлится душою;
Онъ межъ людьми ни рабъ, ни властелинъ,
И все что чувствуетъ—онъ чувствуетъ одинъ!

Adieu — mes poclones á tous; adieu, ne m'oubliez pas.—
M. Lermontoff.

P. S. Je n'ai jamais rien écrit par rapport à vous à Evreinoff et vous voyez que tout ce que j'ai dit de son caractère est vrai; seulement j'ai eu tort en disant qu'il était hypocrite—il n'a pas assez de moyens pour cela: il n'est que menteur.

Переводъ: Меня очень огорчило, что мое письмо къ кузинѣ затерялось, также какъ и ваше къ бабушкѣ. Кузина можетъ быть думаетъ, что я лѣвлюсь или лгу, говоря, что писалъ; но думать то или другое было бы несправедливо съ ея стороны, такъ какъ я слишкомъ много люблю ее, чтобъ прибѣгать ко лжи, а вы можете ее увѣрить, что я вовсе не лѣвлюсь писать; я оправдаюсь, можетъ быть, даже съ этою почтой; а если нѣтъ, то прошу васъ сдѣлать это за меня; послѣзавтра я держу экзаменъ и похоронился въ математику. Попросите ее писать иногда ко мнѣ: ея письма такъ милы.—Не могу представить себѣ, какое дѣйствіе произведетъ на васъ моя великая новость; до сихъ поръ я жилъ для поприща литературнаго, принесъ столько жертвъ своему неблагодарному идолу, и вотъ теперь я — воинъ. Быть можетъ, тутъ есть особенная воля, провидѣнія; быть можетъ, этотъ путь всѣхъ короче, и если онъ не ведетъ меня къ моей первой цѣли, можетъ быть по немъ дойду до послѣдней цѣли всего существующаго: вѣдь лучше умереть съ пулею въ груди, чѣмъ отъ медленнаго истощенія старости. Итакъ, если начнется война, клянусь вамъ Богомъ, что я всегда буду впереди.— Скажите пожалуйста Алексису, что я пришлю ему подарокъ, какого онъ не ожидаетъ. Ему давно хотѣлось чего нибудь въ такомъ родѣ; онъ получить, только въ десятеро лучше. Не пишу къ нему теперь, потому что нѣтъ времени: черезъ нѣсколько дней экзаменъ. Какъ только опредѣлюсь, то закидаю васъ письмами, на которыя заканчиваю васъ всѣхъ, и мужчинъ и женщинъ, отвѣчать мнѣ. M-me Sophie обѣщалась писать тотчасъ по пріѣздѣ: ужъ не воронежскій ли угодникъ присовѣтовалъ ей забыть меня? Скажите ей, что мнѣ хотѣлось бы имѣть извѣстія отъ нея. Чего стоитъ письмо? Полчаса! Она же не поступаетъ въ гвардейскую школу. * Право, у меня въ распоряженіи только ночь. Вы—другое дѣло. Мнѣ кажется, что если бы я не сообщилъ вамъ какого нибудь важнаго случая, до меня касающагося, то бы на половину пропала моя рѣшимость. Вѣрьте-не-вѣрьте, а это такъ; не знаю почему, но получивъ отъ васъ письмо, я не могу удержаться, чтобъ не отвѣчать ту же минуту, какъ будто я съ вами разговариваю.

Прощайте же, мой милый другъ; не говорю до свиданья, потому что не надѣюсь увидать васъ здѣсь; а между мною и милою моею Москвою стоятъ непреодолимые преграды, и кажется, судьба съ каждымъ днемъ увеличиваетъ ихъ. Прощайте, пишите по прежнему, и я буду доволенъ вами. Ваши письма теперь будутъ нужны, чѣмъ когда

* Лермонтовъ опредѣлялся тогда въ школу гвардейскихъ подпорщиковъ, гдѣ и пробылъ съ 10 ноября 1832 по 22 ноября 1834.

нибудь; они доставятъ величайшее наслажденіе въ моемъ будущемъ заключеніи; они послужатъ единственною связью между моею прошедшей жизнью и той, которая предстоить мнѣ по минованіи двухъ печальныхъ, тяжелыхъ лѣтъ. Съ вашей стороны будетъ дѣломъ милосердія наполнить этотъ промежутокъ; это будетъ скучно для васъ, но вы спасете мнѣ жизнь. Вамъ однимъ я могу говорить все, что думаю, и хорошее и дурное; я ужъ доказалъ это моею исповѣдью, и вы не должны отставать, не должны — потому что я требую отъ васъ не любви, а благодѣянія. Нѣсколько дней я былъ въ тревогѣ, но теперь прошло; все кончилось: я жилъ, я слишкомъ скоро созрѣлъ; и за тѣмъ нѣтъ больше мѣста чувствованіямъ... (с л ѣ д у ю т ѣ с т и х и). Прощайте, мои поклонны всѣмъ; не забывайте М. Лермонтова.—Р. S. Я никогда ничего не писалъ о васъ въ Евреиннову. Вы видите, что я говорилъ правду объ его характерѣ; только я ошибался, называя его притворщикомъ: онъ не умѣетъ ни бытъ, онъ просто лгуиъ.

XI. Къ ней же.

19 Juin, Pétersbourg. 1833.

J'ai reçu vos deux lettres hier, chère amie, et je les ai dévorées. Il y a si longtemps que je n'ai eu de vos nouvelles. Hier, c'est le dernier dimanche que j'ai passé en ville, car demain (mardi) nous allons au camp pour deux mois. Je vous écris assis sur un banc de l'école, au milieu du bruit, des préparatifs etc... Vous serez, à ce que je crois, contente d'apprendre que, n'ayant passé à l'école que deux mois, j'ai subi mon examen pour la 1-ère classe et suis un des premiers... Cela nourrit toujours l'espérance d'une prochaine liberté!— Il faut pourtant absolument que je vous raconte une chose assez étrange: samedi, avant de me réveiller, je vois en songe que je suis dans votre maison; vous êtes assises sur le grand canapé du salon; je m'approche de vous pour vous demander, si vous voulez définitivement que je me brouille avec vous, mais vous sans répondre, m'avez tendu la main;—le soir on nous laisse partir; j'arrive chez nous et je trouve vos lettres. Cela me frappe! Je voudrais savoir, que faisiez vous ce jour là?...

Maintenant il faut que je vous explique pourquoi j'adresse cette lettre à Moscou et non à la campagne; j'ai laissé votre

lettre à la maison et l'adresse avec; et comme personne ne sait où je conserve vos lettres, je ne puis la faire venir ici.

Vous me demandez ce que signifie la phrase à propos du mariage du prince: *удавится или женится!* — ma parole d'honneur que je ne me rappelle pas avoir écrit quelque chose de semblable car j'ai trop bonne opinion du prince et je suis sûr qu'il n'est pas un de ceux qui choisissent les promesses d'après un registre.

Dites, je vous prie, à ma cousine, que l'hiver prochain elle aura un cavalier aimable et beau: Jean Vatkofsky est officier des gardes; et tout cela parce que son colonel se marie avec sa soeur! — et dites après qu'il n'y a pas de hasard dans ce bas monde.

Dites moi à coeur ouvert: vous m'avez boudé pendant quelque temps. Eh bien, puis que c'est fini, n'en parlons plus. — Adieu, on me demande car le général est arrivé. Adieu. M. Lerina.

Mes compliments à tout le monde.

Il fait tard. J'ai trouvé un moment de loisir pour continuer cette lettre. Il y a tant de choses qui se sont passées en moi depuis que je ne vous ai écrit, tant de choses étranges, que je ne sais moi-même, quelle route je vais prendre, celle du vice ou de la sottise. Il est vrai que toutes les deux mènent souvent au même but. Je sais que vous m'exhorterez, que vous essayerez de me consoler — ce serait de trop! Je suis plus heureux que jamais, plus gai que le premier ivrogne chantant dans la rue! Les termes vous déplaisent, mais hélas: dis moi qui tu hante, je te dirai qui tu es! Je vous crois que mademoiselle Souchkoff est fausse, car je sais que vous ne direz jamais de fausseté, d'autant plus si c'est du mal! Que Dieu la benisse!

Quant aux autres choses que j'aurais pu vous écrire, je garde le silence, pensant que beaucoup de paroles ne valent pas une action, et comme je suis paresseux de nature, ains. que vous le savez, chère amie, je m'endors sur mes lauriers, mettant une fin tragique à mes actions et paroles à la fois. Adieu!

Переводъ: Я получилъ два письма ваши, милый другъ, и про-
лютилъ ихъ: такъ давно не было отъ васъ извѣстій. Вчера последъ-

нее воскресенье былъ я въ городѣ, потому что завтра (во вторникъ) мы отправляемся на два мѣсяца въ лагерь. Пишу къ вамъ, сидя на классной скамейкѣ; кругомъ меня шумъ, приготовленія и пр... Надѣюсь, вамъ будетъ приятно узнать, что я, пробывъ въ школѣ всего два мѣсяца, выдержалъ экзаменъ въ первый классъ, и теперь одинъ изъ первыхъ. Это все таки питаетъ надежду на приближеніе свободы! Однако нужно непремѣнно передать вамъ довольно странный случай: въ субботу, передъ тѣмъ какъ вставать съ постели, я вижу во снѣ, будто я у васъ; вы сидите на большомъ диванѣ въ гостиной; я подошелъ и спрашиваю, не хотите ли вы окончательно, чтобы я съ вами поссорился; а вы, вмѣсто отвѣта, протянули мнѣ руку.—Вечеромъ насъ распустили; прихожу къ нашимъ, и мнѣ подають ваши письма. Это меня поразило! Скажите пожалуйста, что съ вами было въ этотъ день?—Теперь надо объяснить, почему я адресую это письмо въ Москву, а не въ деревню; я оставилъ ваше письмо дома вмѣстѣ съ адресомъ, и такъ какъ не знаю, гдѣ я храню ваши письма, то и не могутъ мнѣ переслать его сюда. — Вы меня спрашиваете, что значить фраза по поводу свадьбы князя: удавится или женится!—честное слово, не помню, чтобы я написалъ что нибудь подобное, потому что я слишкомъ хорошаго мнѣнія о князѣ, и увѣренъ, что онъ не изъ тѣхъ, которые выбираютъ невестъ по реестру.—Прошу васъ скажите кузинѣ, что будущей зимою у нея будетъ любезный и красивый кавалеръ Иванъ Ватковскій, офицеръ гвардіи, потому только, что его полковникъ женится на его сестрѣ! Говорите же послѣ этого, что нѣтъ случайности въ здѣшнемъ мірѣ.—Скажите откровенно: вы на меня нѣсколько времени сердились? А какъ это ужъ кончилось, то и не будемъ больше говорить объ этомъ. Прощайте, меня зовутъ, потому что пріѣхалъ генералъ. Прощайте М. Лерма.—Кланяйтесь всѣмъ. — Уже поздно. Я улучилъ свободную минуту, чтобы продолжать письмо. Съ тѣхъ поръ, какъ я не писалъ къ вамъ, со мной случилось такъ много странныхъ обстоятельствъ, что я право не знаю, какимъ путемъ идти мнѣ, путемъ ли порока или пошлости. Оно конечно, оба эти пути часто приводятъ къ той же цѣли. Знаю, что вы станете увѣщевать, постараетесь утѣшать меня — было бы напрасно! Я счастливѣе чѣмъ когда нибудь, веселѣе любого пьяницы, распѣвающаго на улицѣ? Васъ коробать отъ этихъ выраженій; но увы: скажи, съ кѣмъ ты водишься—и я скажу, кто ты таковъ! Я вѣрю вамъ, что М-ле Сушкова обманщица, потому что я знаю—вы никогда не солжете, особенно же въ чемъ нибудь дурномъ! Богъ съ нею!... Не стану говорить о другихъ вещахъ, о которыхъ могъ бы сообщить вамъ; вѣдь одно дѣйствіе важнѣе многихъ словъ; а такъ какъ вамъ извѣстно, что я отъ

природы дѣнивѣ, то и засыпаю на лаврахъ, клада трагическій конецъ и моимъ дѣйствіямъ и моимъ словамъ. Прощайте.

XII. Къ ней же.

St. Pétersbourg le 4 Août. (1833).

Je ne vous ai pas donné de mes nouvelles depuis que nous sommes allés au camp; et vraiment je n'aurais pu y réussir avec toute la bonne volonté possible. Imaginez-vous une tente, qui a 3 archines en long et en large et 2 $\frac{1}{2}$ de hauteur, occupée par trois personnes et tout leur bagage, toute leur armure, comme: sabres, carabines, chacauts etc. etc. Le temps a été horrible; une pluie, qui ne finissait pas, faisait que souvent nous passions 2 jours de suite sans pouvoir sécher nos habits. Et pourtant cette vie ne m'a pas tout-à-fait déplu. Vous savez, chère amie, que j'eus toujours un penchant très prononcé pour la pluie et la boue, et maintenant, grâce à Dieu, j'en ai joui complètement. Nous sommes rentrés en ville, et bientôt recommençons nos occupations. La seule chose qui me soutient, c'est l'idée que dans un an je suis officier! Et alors, alors... bon Dieu! Si vous saviez la vie que je me propose de mener!... Oh, cela sera charmant! D'abord, des bisarreries, des folies de toute espèce et de la poésie noyée dans du champagne. Je sais, vous allez vous recrier; mais hélas! le temps de mes rêves est passé; le temps de croire n'est plus; il me faut des plaisirs matériels, un bonheur palpable, un bonheur qui s'achète avec de l'or, que l'on porte dans sa poche comme une tabatière, un bonheur, qui ne fasse que tromper mes sens en laissant mon âme tranquille et inactif... Voilà ce qui m'est nécessaire maintenant et vous vous apercevez, chère amie, que je suis quelque peu changé depuis que nous sommes séparés. Quand j'ai vu mes beaux rêves s'enfuir, je me suis dit que ça ne valait pas la peine d'en fabriquer d'autres; il vaut mieux, pensai-je, apprendre à s'en passer; j'essayai, j'avais l'air d'un ivrogne qui peu à peu tâche de se désabituder du vin—mes efforts ne furent pas inutiles, et bientôt je ne vis dans

la passé qu'un programme d'aventures insignifiantes et fort communes. Mais parlons d'autres choses. Vous me dites que le prince T. et votre soeur son épouse se trouvent fort content l'un de l'autre; je n'y ajoute pas une foi entière, car je crois connaître le caractère de tous les deux, et votre soeur ne paraît pas très disposée à la soumission, et il paraît que monsieur n'est pas non plus un agneau. Je souhaite que ce calme factice dure le plus longtemps possible, mais je ne saurai prédire rien de bon. Ce n'est pas que je vous trouve un manque de pénétration; mais je crois plutôt, que vous n'avez pas voulu me dire tout ce que vous pensiez, et c'est très naturel; car maintenant si mes suppositions sont vraies, vous n'avez pas même besoin de dire: oui.—Que faites vous à la campagne? vos voisins sont-ils amusants, aimables, nombreux? Voici des questions qui vous auront l'air d'être faites sans aucune intention sérieuse!

Dans un an, peut-être, je viendrai vous voir; et quels changements ne trouverai-je pas? me reconnaitrez-vous, et voudrez-vous le faire? — Et moi, quel rôle jouerai-je! sera ce un moment de plaisir pour vous, ou d'embarras pour nous deux? car je vous avertis, que je ne suis plus le même, que je ne sens plus, que je ne parle plus de la même manière, et Dieu sait ce que je deviendrai encore dans un an.—Ma vie jusqu'ici n'a été qu'une suite de désappointements, qui me font rire maintenant, rire de moi et des autres; je n'ai fait qu'effleurer tous les plaisirs, et sans en avoir joui, j'en suis dégoûté. — Mais ceci est un sujet bien triste que je tâcherai de ne pas ramener une autre fois. Lorsque vous serez à Moscou, annoncez le moi, chère amie... je compte sur votre constance; adieu. M. Ler... P. S. Mes compliments à ma cousine, si vous lui écrivez, car je suis trop paresseux pour la faire moi-même.

Переводъ: Я не писалъ въ вамъ съ тѣхъ поръ, какъ мы перешли въ лагерь, да и не могъ рѣшительно, при всемъ желаніи. Представьте себѣ нашу палатку, по 3 аршина въ длину и ширину, и въ 2½ аршина вышины; въ ней живутъ трое, и тутъ же вся поклажа и доспѣхи, какъ то: сабли, карабины, кивера и проч. и проч. По-

года была ужасная; подъ безконечнымъ дождемъ намъ случилось иногда сутокъ по двое оставаться въ мокромъ платьѣ. Тѣмъ не мѣнѣе эта жизнь отчасти мнѣ нравилась. Вы знаете, милый другъ, что во мнѣ всегда было явное влеченіе къ дождю и грязи — и тутъ, по милости Божіей, я насладился ими вдоволь. — Мы возвратились въ городъ, и скоро опять начнутся наши занятія. Одно меня ободряетъ—мысль, что черезъ годъ я офицеръ! И тогда, тогда... Боже мой! Если бы вы знали, какую жизнь я намѣренъ повести! О, это будетъ восхитительно! Во первыхъ, чудачества, шалости всякаго рода, и поэзія, залитая шампанскимъ. Я знаю, что вы возопіете; но, увѣ! пора моихъ мечтаній миновала; нѣтъ больше вѣры; мнѣ нужны чувственныя наслажденія, счастье осязательное, такое счастье, которое покупается золотомъ, чтобы я могъ носить его съ собою въ карманѣ какъ табакерку, чтобы оно только ободряло мои чувства, оставляя въ покоѣ и бездѣйствіи мою душу!... Вотъ что мнѣ теперь необходимо, и вы увидите, милый другъ, что съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались, я таки нѣсколько перемѣнился. Какъ скоро я замѣтилъ, что прекрасныя мечтанія мои разлетаются, я сказалъ самому себѣ, что заниматься изготовленіемъ новыхъ не стоитъ труда; гораздо лучше, подумалъ я, приучить себя обходиться безъ нихъ. Я началъ пробовать: и походилъ въ это время на пьяницу старающагося по немного отвыкнуть отъ вина; труды мои не были безплодны, и скоро въ прошедшая жизнь представилась мнѣ не болѣе какъ программой незначительныхъ и весьма обыкновенныхъ похощеній. Но поговоримъ о другомъ. Вы говорите, что князь Т. и ваша сестра, его жена, очень довольны другъ другомъ; я не совсѣмъ вѣрю этому, потому, что, кажется, знаю характеръ обоихъ: и ваша сестра не очень способна къ покорности, да и князь также не агнецъ! Желаю, чтобы это искусственное спокойствіе продолжалось какъ можно долѣе, но я не могъ бы предсказать ничего хорошаго. Не говорю, что бы у васъ было мало проникательности; скорѣе мнѣ сдается, что вы не хотѣли сказать мнѣ всего, что думали, и очень понятно, потому что теперь, если мои предположенія справедливы, вамъ даже не нужно говорить: да. — Что вы дѣлаете въ деревнѣ? Много ли у васъ сосѣдей, любовны ли они, забавны ли? Вотъ вамъ вопросы, въ которыхъ кажется нельзя видѣть никакого умысла!—Можетъ быть черезъ годъ я навѣщу васъ. Сколько перемѣнъ я увижу! Узнаете ли вы меня, и захотите ли узнать? А я, какую роль буду играть? Приятно ли будетъ это свиданіе для васъ, или оно смутитъ насъ обоихъ? Впередъ знаюте, что я не тотъ, какимъ былъ прежде: и чувствую и говорю иначе, и Богъ вѣсть, что изъ меня еще выйдетъ въ продолженіе года. До сихъ поръ я только и дѣлалъ что сбивался съ коленъ; теперь я

смѣюсь надъ этимъ, смѣюсь надъ собою и надъ другими. Я отвѣтъ для наслаждевій, и они мнѣ надобны, хоть я и не пользовался ими. Но это очень грустный предметъ; въ другой разъ постараюсь больше не толковать о немъ. Когда прїѣдете въ Москву, дайте мнѣ знать, мнѣмъ другъ... Разсчитываю на ваше постоянство. Прощайте М. Лер.— Р. С. Мой поклонъ кузинѣ, если будете писать ей, потому что я самъ очень лѣнивъ на это.

XIII. Къ ней же.

S.-Pétersbourg, le 23 Décembre. (1834). *

Chère amie!—Quoi qu'il arrive, je ne vous nommerai jamais autrement, car ce serait briser le dernier lien, qui m'attache encore au passé — et je ne le voudrais pour rien au monde: car mon avenir, quoique brillant à l'oeil, est vide et plat. Je dois vous avouer, que chaque jour je m'aperçois de plus en plus, que je ne serai jamais bon à rien, avec tous mes beaux rêves et mes mauvais essais dans le chemin de la vie... car ou l'occasion me manque ou l'audace!... On me dit: l'occasion arrivera un jour; l'expérience et le temps vous donneront de l'audace!... Et qui sait, quand tout cela viendra, s'il me restera alors quelque chose de cette âme brûlante et jeune, que Dieu m'a donnée fort mal à propos? si ma volonté ne sera pas épuisée à force de patienter?... si enfin je ne serai pas tout-à-fait desabusé de tout ce qui nous force d'avancer dans l'existence.

Je commence ainsi ma lettre par une confession, vraiment sans y penser! Eh bien, qu'elle me serve d'excuse: vous verrez là du moins que si mon caractère est un peu changé, mon cœur ne l'est pas. La vue seule de votre dernière lettre à déjà été pour moi un reproche, bien mérité certainement. Mais que pouvais-je vous écrire? vous parler de moi? Vraiment je suis tellement blasé sur ma personne, que lorsque je me surprends à admirer ma propre pensée, je cherche à me

* Прежде это письмо, по неточной памяти Р. Архива, относилъ къ 1835 г., но еще съ 20-го Декабря 1835 г. Л. уже былъ въ отпуску въ с. Тарханахъ, поэтому не могъ 23 Декабря 1835 г. писать изъ Петербурга.

rappeler où je l'ai lue — et par suite de cela j'en suis venu à ne pas lire, pour ne pas penser!... Je vais dans le monde maintenant... pour me faire connaître, pour prouver, que je suis capable de trouver du plaisir dans la bonne société... Ah! je fais la cour, et à la suite d'une déclaration je dis des impertinences: ça m'amuse encore un peu; et quoique cela ne soit pas tout-à-fait nouveau, du moins cela se voit rarement!... Vous supposerez, qu'on me renvoie après cela tout de bon?... Eh bien non, tout au contraire; les femmes sont ainsi faites. Je commence à avoir du l'aplomb avec elles; rien ne me trouble, ni colère, ni tendresse; je suis toujours empressé et bouillant, avec un cœur assez froid, qui ne bat que dans les grandes occasions. N'est-ce pas, j'ai fait du chemin!... Et ne croyez pas, que ce soit une faufaronnade: je suis maintenant l'homme le plus modeste—et puis je sais bien que ça ne me donnera pas une couleur favorable à vos yeux; mais je le dis, parce que ce n'est qu'avec vous, que j'ose être sincère, ce n'est que vous qui saurez me plaindre sans m'humilier, puisque je m'humilie déjà moi-même; si je ne connaissais pas votre générosité et votre bon sens, je n'aurais pas dit ce que j'ai dit; et peut-être, puisque autrefois vous avez calmé un chagrin bien vif, peut-être, voudrez-vous maintenant chasser par de douces paroles cette froide ironie, qui se glisse dans mon âme irrésistiblement, comme l'eau qui entre dans un bateau brisé! Oh! combien j'aurais voulu vous revoir, vous parler: car c'est l'accent de vos paroles, qui me faisait du bien; vraiment on devrait en écrivant mettre des notes audessus des mots; car maintenant lire une lettre c'est comme regarder un portrait: point de vie, point de mouvement; l'expression d'une pensée immuable, quelque chose qui sent la mort!...

J'étais à Иапкoe Cexo, lorsque Alexis est arrivé. Quand j'en ai reçu la nouvelle, je suis devenu presque fou de joie; je me suis surpris discourant avec moi-même, riant, me serrant les mains l'une l'autre; je suis retourné en un moment à mes joies passées; j'ai sauté deux années terribles, enfin... Je

l'ai trouvé bien changé votre frère, il est gros comme j'étais alors; il est rose, mais toujours sérieux, pausé; pourtant nous avons ri comme des fous la soirée de notre entrevue—et Dieu sait de quoi?

Dites moi, j'ai cru remarquer qu'il a du tendre pour m-lle Catherine Souchkoff... est-ce que vous le savez? Les oncles de mamselle, auraient bien voulu les marier!... Dieu preserve!... Cette femme est une chauve souris, dons les ailes s'accrochent à tout ce qu'ils rencontrent!—il y eut un temps ou elle me plaisait, maintenant elle me force presque de lui faire la cour... mais, je ne sais, il y a quelque chose, dans ses manières, dans sa voir, quelque chose de dur, de saccadé, de brisé, qui repousse; tout en cherchant à lui plaire on trouve du plaisir à la compromettre, de la voir s'embrasser dans ses propres filets.

Ecrivez-moi de grâce, chère amie, maintenant que tous nos différends sont réglés, que vous n'avez plus à vous plaindre de moi, car je pense avoir été assez sincère, assez soumis dans cette lettre pour vous faire oublier mon crime de lèse-amitié!... Je voudrais bien vous revoir encore; au fond de ce dessein, pardonnez, il gît une pensée égoïste: c'est que près de vous je me retrouverais moi-même, tel que j'étais autrefois, confiant, riche d'amour et de dévouement; riche enfin de tous les biens, que les hommes ne peuvent nous ôter et que Dieu m'a ôté, lui!—Adieu, adieu—je voudrais continuer, mais je ne puis. M. Lerma.

P. S. Mes compliments à tous ceux auxquels vous jugerez convenable de les faire pour moi... adieu encore.

Переводъ. Милый другъ! Что бы ни случилось, я все буду называть васъ этимъ именемъ: иначе мнѣ придется порвать послѣднія нити, связывающія меня съ прошедшимъ, а этого я не хотѣлъ бы ни за что на свѣтѣ, потому что моя будущность, блистательная повидому, въ сущности — пошлая и пустая. Нужно вамъ признаться, съ каждымъ днемъ я все больше убѣждаюсь, что изъ меня никогда ничего не выйдетъ, со всѣми моими прекрасными мечтаніями и непрекрасными опытами въ житейской наукѣ, потому что мнѣ или не представляется случая, или не достаетъ рѣшимости. Меня увѣряютъ, что

случай когда нибудь выйдетъ, а рѣшимость пріобрѣтется временемъ и опытностью!... А кто порукою, что когда все это сбудется, я сбегу въ себѣ хоть частицу этой пламенной, молодой души, которою Богъ одарилъ меня черезъ-чуръ не встати, что моя воля не истощится отъ такого выжиданія, что наконецъ я не разочаруюсь окончательно во всемъ томъ, что служить двигающею впередъ пружиною бытія? Такимъ образомъ я начинаю письмо исповѣдью, право не думая о томъ вовсе! Пусть же она мнѣ послужитъ извиненіемъ, и по крайней мѣрѣ покажетъ вамъ, что если характеръ мой нѣсколько измѣнился, сердце осталось то же. Последнее письмо ваше, лишь только я взглянулъ на него, явилось мнѣ упрекомъ, и конечно исполнѣ заслуженнымъ. Но объ чемъ я могу вамъ писать! Говорить о себѣ? Право, я до такой степени избаловался, что когда на меня находить дурь любоваться собственными мыслями, я дѣлаю надъ собою усиліе, чтобы припомнить, гдѣ я читалъ ихъ, и отъ этого нарочно ничего не читаю, чтобы не мыслить!... Я теперь бываю въ свѣтѣ, для того чтобы меня знали, для того чтобы доказать, что я способенъ находить удовольствіе въ хорошемъ обществѣ... Ахъ!... я волочусь и, вслѣдъ за объясненіемъ въ любви, говорю дерзости. Это еще забавляетъ меня нѣсколько, и хотя это несовсѣмъ ново, за то не всѣ такъ дѣлаютъ!... Вы думаете, что за такіе подвиги меня гонять прочь? О, нѣтъ! совсѣмъ напротивъ: женщины ужъ такъ сотворены. Я начинаю пріобрѣтать надъ ними власть. Ничто меня не трогаетъ, ни гнѣвъ, ни нѣжность, я всегда искателецъ и горячъ, но сердце у меня довольно холодное и способно забиться только въ рѣшительныхъ случаяхъ. Неправда ли, я проложилъ себѣ дорогу!... И не думайте, чтобы это было хвастовство: я теперь человѣкъ самый скромный и притомъ мнѣ хорошо извѣстно, что этимъ ничего не возьмешь у васъ. Я говорю такъ, потому что только съ вами рѣшаюсь говорить искренно; потому что только вы одна съумѣете пожалѣть обо мнѣ, не унижая меня, такъ какъ и безъ того я самъ себя унижаю. Если бы я не зналъ вашего великодушія и вашего здраваго смысла, то не сказалъ бы того, что сказалъ. Когда-то вы облегчали мнѣ очень сильную горестъ; можетъ и теперь вы пожелаете ласковыми словами отогнать эту холодную иронию, которая неудержимо втѣсняется мнѣ въ душу, какъ вода, наполняющая разбитое судно! О, какъ желалъ бы я опять васъ увидѣть, съ вами поговорить: мнѣ благотворны были самые звуки вашихъ словъ. Право слѣдовало бы въ письмахъ ставить ноты надъ словами, а то теперь читать письмо тоже, что глядѣть на портретъ: нѣтъ ни жизни, ни движенія; выраженіе неподвижной мысли; что-то отзвучающее смертію!... Я былъ въ Царскомъ селѣ, когда пріѣхалъ Алексисъ. Узнавъ о

томъ, я едва не сошелъ съ ума отъ радости: разговаривалъ съ самимъ собою, смѣялся, потиралъ руки. Въ одну минуту возвратился я къ своимъ прошедшимъ радостямъ: двухъ страшныхъ годовъ какъ будто не бывало, наконецъ... На мои глаза, братъ вашъ очень перемѣнились онъ толстѣ, какъ я тогда былъ, у него здоровый цвѣтъ лица, но онъ постоянно задумчивъ и сдержанъ; тѣмъ не менѣе, увидавшись, мы хохотали какъ сумасшедшіе—Богъ вѣсть отчего?—Скажите, мнѣ показалось будто онъ чувствуетъ нѣжность къ m-lle Catherine Souchkoff... извѣстно ли это вамъ?... Дядямъ дѣвicy кажется очень бы хотѣлось ихъ повѣнчать. Сохрани Господи... Эта женщина—летучая мышь, которой крылья зацѣпляются за все встрѣчное. Было время, когда она мнѣ нравилась. Теперь она почти принуждаетъ меня ухаживать за нею... но, не знаю, есть что-то такое въ ея манерахъ, въ ея голосѣ грубое, отрывистое, нескладное, отталкивающее; стараясь ей нравиться, находишь удовольствіе скомпрометировать ее, видѣть ее запутавшейся въ собственныхъ сѣтяхъ.—Пишите мнѣ пожалуйста, милый другъ; теперь всѣ наши недоразумѣнія уладились; вамъ нечего больше пенять на меня: вѣдь я кажется былъ достаточно искрененъ и послушенъ въ этомъ письмѣ, чтобы заставить васъ забыть мое преступленіе противъ дружбы!... Мнѣ бы очень хотѣлось съ вами повидаться; въ сущности это желаніе эгоистическое, потому что возлѣ васъ я нашелъ бы себя самого, сталъ бы опять, какимъ нѣкогда былъ, довѣрчивымъ, богатымъ любовью и преданностью, богатымъ наконецъ всѣми благами, которыхъ люди не могутъ у насъ отнять, и которыя самъ Богъ у меня отнялъ! — Прощайте, прощайте, хотѣлъ бы еще писать, но не могу. М. Лерма. P. S. Помолонитесь всѣмъ, кому сочтете нужнымъ... Прощайте еще.

Отрывокъ изъ письма къ Верещагиной. *

(Весною, 1835).

Если я началъ за нею ухаживать, то это не было отблескомъ прошлаго. Въ началѣ это было просто поводомъ проводить время, а затѣмъ, когда мы поняли другъ друга, стало расчетомъ. Вотъ какинъ образомъ. Вступая въ свѣтъ, я увидѣлъ, что у каждого былъ

* Мы не имѣемъ писемъ Лермонтова къ А. Верещагиной, перепечатывать же безсвязные отрывки изъ нихъ, появившіеся въ Р. Вѣстникѣ и Р. Мысли, сочли излишнимъ. Приводимъ поэтому (въ переводѣ) только одинъ большой отрывокъ, имѣющій существенное значеніе для біографіи поэта, именно объ отношеніяхъ его къ Е. А. Сушковой (впослѣдствіи Хвостовой).

какойнибудь пьедесталь: хорошее состояніе, имя, титулъ, покровительство... Я увидалъ, что если мнѣ удастся занять собою одно лицо, другіе незамѣтно тоже займутся мною, сначала изъ любопытства, потомъ изъ соперничества. Отсюда отношенія къ Сущиковой. Я понималъ, что, желая словить меня, она легко себя скомпрометируетъ. Вотъ я ее и скомпрометировалъ, насколько было возможно, не скомпрометировавъ самого себя. Я публично обращался съ нею, какъ съ личностью весьма мнѣ близкою, давалъ ей чувствовать, что только такимъ образомъ она можетъ надо мною властвовать. Когда я замѣтилъ, что мнѣ это удалось и что еще одинъ дальнѣйшій шагъ погубить меня, я прибѣгнулъ къ маневру. Прежде всего въ глазахъ свѣта я сталъ болѣе холоднымъ къ ней, чтобы показать, что я ее болѣе не люблю, а что она меня обожаетъ (что, въ сущности, не имѣло мѣста). Когда она стала замѣчать это и пыталась сбросить ярмо, я первый публично ее покинулъ. Я въ глазахъ свѣта сталъ съ нею жестокъ и дерзокъ, насмѣшливъ и холоденъ. Я сталъ ухаживать за другими и подъ секретомъ рассказывать имъ тѣ стороны исторіи, которыя представлялись въ мою пользу. Она такъ была поражена этимъ неожиданнымъ моимъ обращеніемъ, что сначала не знала, что дѣлать, и смирилась, что заставило говорить другихъ и придало мнѣ видъ человѣка, одержавшаго полную побѣду; затѣмъ она очнулась и стала вездѣ бранить меня, но я ее предупредилъ, и ненависть ее казалась и друзьямъ, и недругамъ уязвленною любовью. Далѣе она попыталась вновь завлечь меня напускною печалью, рассказывая всѣмъ близкимъ моимъ знакомымъ, что любить меня; я не вернулся къ ней, а искусно всѣмъ этимъ пользовался... Не могу сказать вамъ, какъ все это послужило мнѣ; это было бы очень скучно и касается людей, которыхъ вы не знаете. Но вотъ веселая сторона исторіи. Когда я созналъ, что въ глазахъ свѣта надо порвать съ нею, а съ глазу на глазъ, все-таки, еще казаться преданнымъ, я быстро нашелъ любезное средство — я написалъ анонимное письмо: *Mademoiselle*, я человѣкъ, знающій васъ, но вамъ неизвѣстный... и т. д.; я васъ предвараю, берегитесь этого молодого человѣка; М. Л.—овъ васъ погубитъ и т. д. Вотъ доказательство... (разный вздоръ) и т. д. Письмо на четырехъ страницахъ... Я искусно направилъ это письмо такъ, что оно попало въ руки тетки. Въ домѣ—громъ и молнія... На другой день ѣду туда, рано утромъ, чтобы во всякомъ случаѣ не быть принятымъ. Вечеромъ на балу я выражаю свое удивленіе Екатеринѣ Александровнѣ. Она сообщаетъ мнѣ страшную и непонятную новость и мы дѣлаемъ разныя предположенія; я все отношу къ тайнымъ врагамъ, которыхъ нѣтъ; наконецъ, она говоритъ мнѣ, что родные запрещаютъ ей говорить и танцовать со мною; я въ отчаяніи и,

конечно, не беру сторону дядюшек и тетушек. Такъ было ведено это трогательное приключеніе, что, конечно дастъ вамъ обо мнѣ весьма нелестное мнѣніе. Впрочемъ, женщина всегда прощаетъ зло, которое мы дѣлаемъ другой женщинѣ (правило Ларошфуко). Теперь я не пишу романовъ. Я ихъ переживаю...

XIV. Къ С. А. Раевскому.

Тарханы, 16-го января (1836). *

Любезный Святославъ! Мнѣ очень жаль, что ты до сихъ поръ дѣлалъ меня увѣдомить о томъ, что ты дѣлаешь и что дѣлается въ Петербургѣ. Я теперь живу въ Тарханахъ, въ Чембарскомъ уѣздѣ (вотъ тебѣ адресъ на случай, что ты его не знаешь), у бабушки, слушаю, какъ подъ окномъ воетъ метель (здѣсь все время ужасное, снѣгъ, въ сажень глубины, лошади вязнуть и....., и сосѣди оставляютъ другъ друга въ покоѣ, что, въ скобкахъ, весьма пріятно), ѣмъ за десятерыхъ, ... не могу, потому что..... пишу четвертый актъ новой драмы, взятой изъ происшествія, случившагося со мною въ Москвѣ.— О Москва, Москва, столица нашихъ предковъ, златоглавая царица Россіи великой, малой, бѣлой, черной, красной, всѣхъ цвѣтовъ, Москва,, преподло со мною поступила. Надо тебѣ объяснить сначала, что я влюбленъ. И что-жъ я этимъ выигралъ?—Одни Правда, сердце мое осталось покорно разсудку, но въ другомъ не менѣе важномъ происходитъ гибельное возстаніе. Теперь ты ясно видишь мое несчастное положеніе и какъ другъ, вѣрно, пожалѣешь, а можетъ быть и позавидуешь, ибо все то хорошо, чего у насъ нѣтъ, отъ этого, вѣрно, и намъ нравится. Вотъ самая деревенская философія!

Я опасаясь, что моего Арбенина снова не пропустили, ** и этой мысли подаю поводъ твое молчаніе. Но объ этомъ будетъ!

* Лермонтовъ былъ въ отпуску, у бабушки въ деревнѣ, съ 20 декабря 1835 г. по 14 марта 1836 г.

** Если только это относится ко второй передѣлкѣ «Маскарада», то поэтому ее слѣдуетъ отнести къ 1835 г., а не къ 1836-му.

Также я боюсь, что лошадей моих не продали и что они тебя затрудняют. Если бы ты объ этомъ раньше написалъ, то я бы прислалъ денегъ для прокормленія ихъ и людей, и потому если они не продадутся, то я отсюда не возьму столько лошадей, сколько намѣреваюсь. Пожалуйста, отвѣчай какъ получишь.

Объявляю тебѣ еще новость: гдѣтожь бабушка переѣзжаетъ жить въ Петербургъ, т. е. въ іюнѣ мѣсяцѣ. Я ее уговорилъ, потому что она совсѣмъ истерзалась, а денегъ же теперь много, но я тебѣ объявляю, что мы все-таки не разстанемся.

Я тебѣ не описываю своего похождения въ Москвѣ въ наказаніе за твою излишнюю скромность, — и хорошо, что вспомнилъ объ наказаніи — сейчасъ кончу письмо (ты видишь изъ этого, какъ я еще добръ и великодушенъ). М. Лермонтовъ.

XV. Къ Е. А. Арсеньевой.

(Между 14 марта и маемъ 1836 г.). *

Милая бабушка, на дняхъ Марья Акимовна ** уѣхала. Я узналъ объ ея отъѣздѣ въ Царскомъ—пріѣхалъ въ городъ на одинъ вечеръ, былъ у нея, но не засталъ, и потому не писалъ съ нею. Вы вѣрно получите мое письмо прежде ея пріѣзда, то и не будете беспокоиться, что я съ нею не пишу къ вамъ.

Я на дняхъ купилъ лошадь у генерала. Прошу васъ, если есть деньги, прислать мнѣ 1580 рублей; лошадь славная и стоитъ больше, а цѣна эта не велика.

На счетъ квартиры я еще не рѣшилъ, но есть нѣсколько на примѣтѣ; въ началѣ мая онѣ будутъ дешевле по причинѣ отъѣзда многихъ на дачу.—Я вамъ кажется писалъ, что Лизавета Аркадьевна *** ѣдетъ нынче весной съ Натальей Алек-

* Письмо, вѣроятно, писано по возвращеніи изъ отпуска, окончившагося 14 марта.

** Шанъ-Гирей дочь родной сестры бабушки поэта—Екатерины Алексѣвны.

*** Дочь Аркадія Алексѣевича Столыпина, брата бабушки Лермонтова.

сѣвной въ чужіе краи на годъ; теперь это мода, какъ было нѣкогда въ Англіи; въ Москвѣ около двадцати семействъ собираются на будущій годъ въ чужіе краи. Пожалуста, бабушка, не мѣшкайте отъѣздомъ: вы, я думаю, получили письмо мое, съ которымъ я послалъ письмо Григорья Васильевича—пожалуста объясните мнѣ, что мнѣ лучше ему писать.

Прощайте, милая бабушка, прошу вашего благословенія, цѣлую ваши ручки и остаюсь покорный внукъ М. Лермонтовъ.

XVI. Къ С. А. Раевскому.

(Мартъ, 1837). *

Любезный другъ Святославъ! Ты не можешь вообразить, какъ ты меня обрадовалъ своимъ письмомъ. У меня было на совѣсти твое несчастье, меня мучила мысль, что ты за меня страдаешь. Дай Богъ, чтобъ твои надежды сбылись. Бабушка хлопочетъ у Дубельта и Леонасіи Алексѣевичъ также. Что до меня касается, то я заказалъ обмундировку и скоро ѣду. Мнѣ комендантъ, я думаю, позволить съ тобой видѣться—иначе же я и такъ пріѣду. Сегодня мнѣ прислали сказать, чтобъ я не выѣзжалъ, пока не явлюсь къ Клейнмихелю, ибо онъ теперь и мой начальникъ, Я сегодня былъ у Леонасіи Алексѣевича и онъ меня просилъ не рисковать безъ позволенія коменданта—и самъ хочетъ просить объ этомъ. Если не позволять, то я все пріѣду. Что Краевскій, на меня пеняетъ за то, что и ты пострадалъ за меня?—Мнѣ иногда кажется, что весь міръ на меня ополчился, и если бы это не было очень лестно, то право меня бы огорчило... Прощай, мой другъ. Я буду къ тебѣ писать про страну чудесъ—востокъ. Меня утѣшаютъ слова Наполеона: *les grands noms se font à l'Orient*. Видишь: все глупости. Прощай, твой навсегда М. L e r m o n t o f f.

* Раевскій, за распространеніе стиховъ Лермонтова на смерть Пушкина, содержался въ крѣпости, подъ арестомъ съ 26 февраля по 29 марта 1837 г., а Лермонтовъ былъ переведенъ въ Нижегородскій драгунскій полкъ 27 февраля 1837 г. Поэтому мы и отнесли письмо это къ марту 1837 г.

XVII. Къ Е. А. Арсеньевой.

(Апрѣль или май 1837).

Милая бабушка. Я сейчасъ пріѣхалъ только въ Ставрополь и пишу къ вамъ; ѣхалъ я съ Алексѣемъ Аркадьевичемъ, и ужасно долго ѣхалъ: дорога была прескверная. Теперь не знаю самъ еще куда поѣду; кажется, прежде отправлюсь въ крѣпость Шуру, гдѣ полкъ, а оттуда постараюсь на воды. Я, слава Богу, здоровъ и спокоенъ, лишь бы вы были такъ спокойны какъ я; одного только и желаю, пожалуйста оставайтесь въ Петербургѣ: и для васъ и для меня будетъ лучше во всѣхъ отношеніяхъ. Скажите Екиму Шангирею, что я ему не совѣтую ѣхать въ Америку, какъ онъ располагалъ; а ужъ лучше сюда на Кавказъ: оно и ближе, и гораздо веселѣе. Я все надѣюсь, милая бабушка, что мнѣ все-таки выйдетъ прощенье, и я могу выйти въ отставку. Прощайте, милая бабушка; цѣлую ваши ручки и молю Бога, чтобы вы были здоровы и спокойны, и прошу вашего благословенія.—Остаюсь п. внукъ Лермонтовъ.

XVIII. Къ М. А. Лопухиной.

31 Мая (1837) съ Кавказа.

Je tiens exactement ma promesse, chère et bonne amie, et je vous envoie, ainsi qu'à madame votre soeur les souliers circassiens, que je vous avais promis; il y en a six paires, et vous pouvez facilement partager sans vous quereller; je les ai achetés dès que j'ai pu en trouver. Je suis maintenant aux eaux, je bois et je me baigne, enfin je mène une vie de canard tout-à-fait. Dieu veuille, que ma lettre vous trouve encore à Moscou, car si elle va voyager en Europe, à vos trousses, elle vous attrapera peut-être à Londres, à Paris, à Naples, que sais-je,—et toujours dans des endroits, où elle sera pour vous la chose la moins intéressante, de quoi Dieu la garde et moi aussi! J'ai ici un logement fort agréable; chaque matin je vois de ma fenêtre toute la chaîne des montagnes de neige et l'Elbrous; et maintenant encore au moment, où j'écris cette lettre, je m'arrête quelques fois pour jeter un coup d'oeil sur

ces géants; ils sont beaux et majestueux. J'espère m'ennuyer joliment tout le temps que je passerai aux eaux, et quoiqu'il est très facile de faire des connaissances, je tache de n'en pas faire du tout; je rode chaque jour sur la montagne, ce qui seul à rendu la force à mes pieds; aussi je ne fais que marcher; ni la chaleur, ni la pluie ne m'arrêtent... Voici à peu près mon genre de vie, chère amie; ce n'est pas fort beau, mais... dès que je serai guéri, j'irai faire l'expédition d'automne contre les circassiens, quand l'empereur sera ici.

Adieu, chère; je vous souhaite beaucoup de plaisir à Paris, et à Berlin. Alexis a-t-il reçu sa permission; embrassez le de ma part. Adieu. Tout à vous M. Lermontoff.

P. S. De grâce écrivez-moi et dites, si les souliers vous ont plu.

Переводъ. Исполняю въ точности мое обѣщаніе и пошлю черкескіе башмаки вамъ, милый и дорогой другъ мой, а также сестрѣ вашей; ихъ шесть паръ, стало быть дѣлежъ можно будетъ сдѣлать мирный; купилъ ихъ, какъ только отыскалъ. Я теперь на водахъ, пью и купаюсь, словомъ, по образу жизни, сталъ похожъ на утку. Дай Богъ, чтобы письмо мое застало васъ еще въ Москвѣ, потому что если оно будетъ путешествовать по Европѣ по вашимъ слѣдамъ, то можетъ быть вы получите его въ Лондонѣ, въ Парижѣ, въ Неаполѣ, во всякомъ случаѣ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ оно вовсе не будетъ для васъ интересно, а этого избежи Боже!—У меня здѣсь очень хорошее помѣщеніе; каждое утро изъ своего окна смотрю на всю цѣнь свѣтлыхъ горъ и на Эльбрусъ; вотъ и теперь, сидя за письмомъ къ вамъ, я по временамъ кладу перо, чтобы взглянуть на этихъ великановъ: такъ они прекрасны и величественны. Надѣюсь порядкомъ москучать, куда останусь на водахъ, и хотя очень легко завести знакомства, однако я стараюсь избѣгать ихъ. Ежедневно таскаюсь по горамъ, и ужъ отъ этого одного укрѣпилъ себѣ ноги; постоянно хожу; ни жаръ, ни дождь меня не останавливаютъ... Вотъ вамъ и описаніе моей жизни, милый другъ; особенно хорошаго тутъ нѣтъ, но... когда я выздоровѣю, и когда здѣсь будетъ государь, отправлюсь въ осеннюю экспедицію противъ черкесовъ.—Прощайте, милая; желаю вамъ веселиться въ Парижѣ и Берлинѣ. Alexis получилъ ли отпускъ; поцѣлуйте его за меня. Прощайте, весь вашъ М. Лермонтовъ. P. S. пожалуйста пишите мнѣ и скажите, понравились ли вамъ башмаки.

XIX. Къ Е. А. Арсеньевой.

18 іюля (1837).

Милая бабушка, пишу къ вамъ по тяжелой почтѣ, потому что третьяго дня по экстра-почтѣ не успѣлъ, ибо ѣздилъ на желѣзныя воды и, виновать, совсѣмъ забылъ, что тамъ письма не принимаютъ; боюсь, чтобы вы не стали беспокоиться, что одну почту нѣтъ письма. Эскадронъ нашего полка, къ которому баронъ Розенъ велѣлъ меня причислить, будетъ находиться въ Анапѣ на берегу Чернаго моря при встрѣчѣ государя, * тутъ же гдѣ отрядъ Вельяминова, и слѣдовательно я съ водѣ не поѣду въ Грузію. Итакъ прошу васъ, милая бабушка, продолжайте адресовать письма на имя Павла Ивановича Петрова, и напишите къ нему: онъ обѣщался мнѣ доставлять ихъ туда; иначе нельзя, ибо оттуда сообщеніе сюда очень трудно, и почта не ходитъ, а депеши съ нарочными отправляютъ. Отъ Алексѣя Аркадьича** я получилъ извѣстія; онъ здоровъ, и нѣкоторые офицеры, которые оттуда сюда пріѣхали, мнѣ говорили, что его можно считать лучшимъ офицеромъ изъ гвардейскихъ, посланныхъ на Кавказъ. То, что вы мнѣ пишете объ Гвоздеві, меня не очень удивило; я, уѣзжая, ему предсказывалъ, что онъ будетъ юнкеромъ у меня во взводѣ; а впрочемъ жаль его.

Здѣсь погода ужасная: дожди, вѣтры, туманы; іюль хуже петербургскаго сентября, такъ что я остановился брать ванны и пить воды до хорошихъ дней. Впрочемъ, я думаю, что не возобновлю, потому что здоровъ какъ нельзя лучше.

Для отправленія въ отрядъ мнѣ надо будетъ сдѣлать много покупокъ, а свои вещи я думаю оставить у Павла Ивановича. Пожалуйста, пришлите мнѣ денегъ, милая бабушка; на прожитыя здѣсь мнѣ достанетъ, а если вы пришлете поздно, то въ Анапу трудно доставить.

* Въ Анапѣ императоръ Николай Павловичъ былъ 22 сентября 1837 г.

** Столыпинъ, дядя поэта.

Прощайте, милая бабушка, цѣлую ваши ручки, прошу вашего благословенія и остаюсь вашъ вѣчно привязанный къ вамъ и покорный внукъ М и х а и л ь.

Пуще всего не безпокойтесь обо мнѣ; Богъ дастъ мы скоро увидимся.

XX. Къ М. А. Лопухиной.

15 Février (1838).

Je vous écris, chère amie, la veille de m'en aller à Novgorod. J'attendais jusqu'à présent, qu'il m'arrivât quelque chose d'agréable pour vous l'annoncer, mais rien n'est venu, et je me décide à vous écrire, que je m'ennuie à la mort. Les premiers jours de mon arrivée je n'ai fait que courir: présentations, des visites de cérémonie—vous savez; puis je suis allé chaque jour au spectacle; il est fort bien, c'est vrai, mais j'en suis déjà dégoûté. Et puis on me persécute, tous les chers parents! on ne veut pas que je quitte le service, quoique je l'aurais pu déjà, vu que ces messieurs, qui sont passés à la garde avec moi, l'ont déjà quitté. Enfin je suis passablement découragé et je désire même quitter Pétersbourg au plus vite pour aller n'importe où, que ce soit au régiment, ou au diable; j'aurai au moins alors prétexte pour me lamenter, ce qui est une consolation comme une autre.

Ce n'est pas très joli de votre part, que vous attendez toujours ma lettre pour m'écrire: on dirait, que vous faites à fière; pour Alexis cela ne m'étonne pas, car il va se marier un des ces jours-ci avec je ne sais plus quelle riche marchande, comme on le dit ici, et je conçois que je ne puis pas espérer d'avoir dans son cœur une place pareille à celle d'une grosse marchande en gros. Il m'avait promis de m'écrire deux jours après mon départ de Moscou; mais peut-être a-t-il oublié mon adresse, aussi je lui en envoie deux.

1. Въ С.-Петерб. у Пантелеймоновскаго моста, на Фонтанкѣ, противъ Лѣтняго сада, въ домѣ Венецкой.

2. Въ Новгородскую губернію, въ первый округ воен-

нихъ поселеній, въ штабъ лейбъ-гвардіи гродненскаго гусарскаго полка.

Si après cela il ne m'écrivit pas, ja le maudis lui et sa grosse marchande en gros: je m'applique déjà à composer la formule de ma malédiction. Dieu! que c'est embarrassant d'avoir des amis qui sont en train de se marier.

En arrivant ici j'ai trouvé un chaos de commérages dans la maison; j'y ai mis de l'ordre autant que possible, quand on a à faire à trois ou quatre femmes qui ne veulent pas entendre raison: pardonnez-moi, si je parle ainsi de votre sesque ou sexe charmant, mais hélas! Si je vous le dis, c'est aussi une preuve que je vous crois une exception. Enfin quand je reviens à la maison, je n'entends que des histoires, des histoires, des plaintes, des reproches, des suppositions, des conclusions; c'est quelque chose d'odieux pour moi surtout, qui en ai perdu l'habitude au Caucase, où la société des dames est très rare ou très peu causante (celle des géorgiennes par ex. car elles ne parlent pas russe, ni moi géorgien).

Je vous prie, chère Marie, écrivez-moi un peu, sacrifiez-vous—écrivez-moi toujours et ne faites pas de ces petites cérémonies — vous devez être audessus de cela! Car enfin, si quelquefois je tarde à répondre, c'est que vraiment ou je n'ai rien à dire, ou j'ai trop à faire—deux excuses valables.

J'ai été chez Joukofsky et lui ai porté Тамбовскую Казначейшу, qu'il m'avait demandé et qu'il porta à Wiasemsky pour lire ensemble; cela leur a beaucoup plu—et cela sera inséré au prochain numero du Современникъ.

Grand-maman espère, que je serai bientôt passé au husards de Царское-Село, mais c'est parce qu' on le lui a fait espérer, Dieu sait avec quel motif, et c'est pour cela qu'elle ne consent pas à ce que je prenne mon congé; quant à moi je n'espère rien du tout.

Pour la conclusion de ma lettre je vous envoie une pièce de vers, que j'ai trouvée par hasard dans mes paperasses de voyage et qui m'a plu assez, vu que je l'ai oublié, mais cela

ne prouve rien du tout.—*Молитва странника.* Я Матерь Божія, нынѣ съ молитвою и т. д. Adieu, chère amie; embrassez Alexis et dites lui que c'est une honte et dites le aussi à mademoiselle Marie Lapoukhin. Lerna.

Переводъ. Пишу къ вамъ, милый другъ, наканунѣ отъѣзда въ Новгородъ. Я все поджидалъ, не случится ли со мною чего хорошаго, чтобъ увѣдомить васъ о томъ; но ничего такого не случилось и я рѣшаюсь писать къ вамъ, что мнѣ скучно до смерти. Первые дни послѣ пріѣзда прошли въ постоянной бѣготѣ: представленія, церемонные визиты—вы знаете; да еще каждый день ѣздилъ въ театр; онъ хорошъ, это правда; но мнѣ ужъ надоѣлъ. Въ добавокъ меня преслѣдуютъ всѣ эти милые родственники! Не хотятъ, чтобъ я бросилъ службу, хотя это мнѣ было бы и можно: вѣдь тѣ господа, которые вмѣстѣ со мною поступили въ гвардію, теперь ужъ такъ не служатъ. Наконецъ, я таки упалъ духомъ и хотѣлъ бы даже какъ можно скорѣе бросить Петербургъ и уѣхать куда бы то ни было, въ полкъ ли, или хотъ къ чорту; тогда по крайней мѣрѣ былъ бы предлогъ къ сѣтованію, а это все же было бы утѣшеніемъ. — Съ вашей стороны вовсе не любезно, что вы всегда ожидаете моего письма, чтобъ писать ко мнѣ; можно подуматъ, что вы вздумали чваниться. Отъ Алексиса это не удивительно, потому что онъ на дняхъ, какъ говорятъ здѣсь, женится на какой-то богатой купчихѣ, естественно, что мнѣ нѣтъ надежды занимать въ его сердцѣ такое же мѣсто, какое онъ отводитъ толстой оптовой торговкѣ. Онъ общался писать мнѣ черезъ два дня послѣ моего отъѣзда изъ Москвы; но можетъ быть забылъ мой адресъ, вотъ ему два (слѣдуютъ адреса). Если послѣ этого онъ мнѣ не напишетъ, то я прокляну его и его толстую оптовую купчиху: я ужъ собираюсь составить формулу моего проклятiя. Боже! какъ затруднительно имѣть друзей, которые готовятся къ женитбѣ. — Пріѣхавши сюда, я нашелъ дѣлѣй хаосъ сплетней; стараніями моими возстановленъ порядокъ, какой возможенъ между тремя или четырьмя женщинами, у которыхъ въ головѣ безтолочь: простите, что я такъ отзываюсь о вашемъ прекрасномъ полѣ; но, ахъ, вѣдь если я вамъ это говорю, это вамъ еще доказательство, что я васъ считаю исключеніемъ. Возвращаясь домой, я всякій разъ слышу только исторiи, исторiи, жалобы, упреки, подозрѣнія, заключенія; это просто несносно, особенно для меня, потому что я отвыкъ отъ этого на Кавказѣ, гдѣ женщины рѣдко бываютъ въ обществѣ и вовсе неразговорчивы (въ особенности грузинки: онѣ не знаютъ по русски, а я по грузински).—Прошу васъ, милая Marie, пишите мнѣ невозможно, пожертвуйте собою; пишите

мнѣ всегда и не соблюдайте мелочныхъ церемоній; вамъ надо быть выше ихъ! Вѣдь если иногда я медлю отвѣтомъ, это право значить, что мнѣ или нечего сказать вамъ, или у меня много дѣла—оба случая извинительны.—Я былъ у Жуковского и по его желанію отнесъ ему Тамбовскую Казначейшу. Онъ читалъ ее съ Вяземскимъ, и она имъ понравилась: ее напечатаютъ въ ближайшей книжкѣ Современника.—Бабушка надѣется, что меня скоро переведутъ въ гусары въ Царское-Село; ей это обѣщали, Богъ знаетъ зачѣмъ; оттого она не соглашается, чтобъ я вышелъ въ отставку; что до меня, то я ровно ни на что не надѣюсь.—Въ заключеніе этого письма посылаю вамъ стихи, которые попались мнѣ въ моихъ дорожныхъ бумагахъ; они мнѣ довольно нравятся, именно потому что я ихъ забылъ; но это ровно ничего не доказываетъ (слѣдуютъ стихи). Прощайте, милый другъ; поцѣлуйте Алексиса и скажите, что ему стыдно; тоже скажите m-lle Маріи Лопухиной. Лерма.

XXI. Къ ней же.

(1839). *

Il y a longtemps, chère et bonne amie, que je ne vous ai écrit et que vous ne m'avez donné de nouvelles de votre chère

* Это письмо несомнѣнно относится къ 1839 г. и написано одновременно съ неизданнымъ письмомъ къ А. А. Лопухину 1839 г., въ которомъ Лермонтовъ жалуется также на то, что три раза просился въ отпускъ въ Москву, но его не отпускали. Въ послѣднемъ указанномъ письмѣ находится и стихотвореніе, которое прежде относили къ 1831 году. Оно написано на рожденіе сына Лопухиныхъ:

Ребенка милаго рожденье

Привѣтствуетъ мой запоздалый стихъ.

Да будетъ съ нимъ благословенье

Всѣхъ ангеловъ небесныхъ и земныхъ!

Да будетъ онъ отца достоинъ;

Какъ мать его, прекрасенъ и любимъ;

Да будетъ духъ его спокоенъ

И въ правдѣ твердъ, какъ Божій херувимъ.

Пускай не знаетъ онъ до срока

Ни мукъ любви, ни славы жадныхъ думъ;

Пускай глядитъ онъ безъ упрека

На ложный блескъ и ложный міра шумъ;

Пускай не ищетъ онъ причины

Чужимъ страстямъ и радостямъ своимъ,

И выйдетъ онъ изъ свѣтской тины

Душою бѣлъ и сердцемъ невредимъ!

re personne et de tous les vôtres; aussi j'ai l'espérance que votre réponse à cette lettre ne se fera pas longtemps attendre: il y a de la fatuité dans cette phrase, direz-vous, mais vous vous tromperez. Je sais, que vous êtes persuadée, que vos lettres me font un grand plaisir, puisque vous employez le silence comme punition, mais je ne mérite pas cette punition, car j'ai constamment pensé à vous; preuve: j'ai demandé un semestre d'un an — refusé, de 28 jours — refusé, de 14 jours—le grand duc a refusé de même. Tout ce temps j'ai été dans l'espérance de vous voir. Je ferai encore une tentative—Dieu veuille, qu'elle réussisse. Il faut vous dire, que je suis le plus malheureux des hommes, et vous me croirez, quand vous saurez, que je vais chaque jour au bal: je suis lancé dans le grand-monde. Pendant un mois j'ai été à la mode, on se m'arrachait. C'est franc au moins. Tout ce monde que j'ai injurié dans mes vers se plait à m'entourer de flatteries, les plus jolies femmes me demandent des vers et s'en vantent comme d'un triomphe. Néanmoins je m'ennuie.—J'ai demandé d'aller au Caucase—refusé; on ne veut pas même me laisser tuer!—Peut-être, chère amie, ces plaintes ne vous paraîtront-elles pas de bonne fois; peut-être vous paraîtra-t-il étrange, qu'on cherche les plaisirs pour s'ennuyer, qu'on court les salons, quand on n'y trouve rien d'intéressant? Eh bien, je vous dirai mon motif. Vous savez que mon plus grand défaut c'est la vanité et l'amour propre: il fut un temps où j'ai cherché à être admis dans cette société, comme novice; je n'y suis pas parvenu, les portes aristocratiques se sont fermées pour moi; et maintenant j'entre dans cette même société non plus en solliciteur, mais en homme, qui a conquis ses droits; j'excite la curiosité, on me recherche, on m'engage partout, sans que je fasse mine de le désirer même; les femmes, qui tiennent à avoir un salon remarquable, veulent m'avoir, car je suis aussi un lion—oui, moi, votre Michel, bon garçon, au quel vous n'avez jamais cru une crinière. Convenez que tout cela peut enivrer; heureusement ma paresse naturelle prend le dessus;

et peu à peu je commence à trouver cela par trop insupportable. Mais cette nouvelle expérience m'a fait du bien, en ce qu'elle m'a donnée des armes contre cette société, et si jamais elle me poursuit de ses calomnies (ce qui arrivera), j'aurai du moins les moyens de me venger; car certainement nulle part il n'y a tant de bassesses et de ridicules. Je suis persuadé que vous ne direz à personne mes vanteries, car on me trouverait encore plus ridicule que qui que cela soit, et puis avec vous je parle comme avec ma conscience, — et puis c'est si doux de rire sous cape des choses briguées et enviées par les sots, avec quelqu'un, qui, on le sait, est toujours prêt à partager vos sentiments. C'est de vous, que je parle, chère amie, je vous le répète, car ce passage est tant soit peu obscur.

Mais vous m'écrirez, n'est ce pas? Je suis sûr, que vous ne m'avez pas écrit pour quelque raison grave. Etes-vous malade? y-a-t-il quelqu'un de malade dans la famille? Je le crains. On m'a dit quelque chose de semblable. Dans la semaine prochaine j'attends votre réponse qui j'espère sera non moins longue que ma lettre et certainement mieux écrite, car je crains bien que vous ne sachiez déchiffrer ce barbouillage.

Adieu, chère amie, peut-être, si Dieu veut me récompenser, je parviendrai à avoir un semestre, et alors je serai toujours sûr d'une réponse telle-quelle.

Saluez de ma part tous ceux qui ne m'ont pas oublié! Tout à vous M. Lermontoff.

Переводъ. Ужъ давно я не писалъ къ вамъ, милый другъ, и не получалъ извѣстiя ни объ вашей особѣ, ни обо всѣхъ вашихъ. И такъ надѣюсь, что поэтому вы не замедлите отвѣтомъ на это письмо. Пошлая фраза, скажете вы, и не ошибетесь. Вѣдь вы убѣждены, что письма ваши доставляютъ мнѣ великое удовольствiе; оттого-то вы и употребляете молчанiе вмѣсто наказанiя; но я его не заслуживаю, потому что постоянно объ васъ думалъ. Вотъ доказательство: я просился въ полугодовой отпускъ—мнѣ отказали; на двадцать восемь дней—отказали; на четырнадцать дней—великiй князь опять отказалъ. Все это время я надѣялся васъ видѣть. Попытаюсь еще

разъ; дай Богъ, чтобъ удалось.—Надо вамъ сказать, что я несчастнѣйшій человѣкъ, и вы мнѣ повѣрите, узнавъ, что я ежедневно ѣзжу по баламъ: я пустился въ большо́й свѣтъ. Въ теченіе мѣсяца на меня была мода, меня искали наперерывъ. Это по крайней мѣрѣ искренно. Весь народъ, который я оскорблялъ въ стихахъ моихъ, осыпаетъ меня ласкательствами, самыя хорошенькія женщины просятъ у меня стиховъ и торжественно ими хващаются. Тѣмъ не менѣе мнѣ скучно. Я просился на Кавказъ—отвѣзъ: не хотятъ даже допустить, чтобъ меня убили. Можетъ быть эти жалобы покажутся вамъ не искренними. Можетъ быть вы найдете страннымъ, искать удовольствій и скучать ими, ѣздить по гостинимъ, не находя тамъ ничего занимательнаго. Ну, я вамъ открою мои побужденія. Вы знаете, что самый главный мой недостатокъ — суетность и самолюбіе; было время, когда я, какъ новичекъ, искалъ доступа въ это общество; аристократическія двери были для меня закрыты; теперь въ это же самое общество я вхожу уже не искателемъ, а человѣкомъ взявшимъ съ бою свои права. Я возбуждаю любопытство, меня ищутъ, меня всюду приглашаютъ, даже когда я не выражаю къ тому ни малѣйшаго желанія; дамы, съ притязаніями собирать замѣчательныхъ людей въ своихъ гостиныхъ, хотятъ, чтобы я у нихъ былъ, потому что вѣдь я тоже ле въ; да я, вашъ Мишель, добрый малый, у котораго вы никогда не подозрѣвали гривы. Согласитесь, что все это можетъ оцѣнять; но къ счастью меня выручаетъ природная моя лѣзность, и мало по малу я начинаю находить все это довольно несмыслимымъ. Эта новая опытность полезна; она мнѣ дала оружіе противъ этого общества, которое непремѣнно будетъ меня преслѣдовать своими клеветами, и тогда у меня есть въ запасъ средство для отмщенія; вѣдь нигдѣ не встрѣчается столько низостей и странностей какъ тутъ. Увѣренъ, что вы никому не передадите моего хвастовства; вѣдь тогда меня сочтутъ чрезвычайно смѣшнымъ человѣкомъ; съ вами я говорю, какъ съ своею совѣстью. Оно же очень пріятно изподтишка смѣяться съ человѣкомъ, готовымъ всегда раздѣлять ваши чувства, смѣяться надъ предметами, которыхъ глупцы такъ ищутъ и которыми такъ завидуютъ. Вы мнѣ напишете, не правда ли? Вы мнѣ не писали вѣрно по какойнибудь важной причинѣ. Здоровы ли вы? нѣтъ ли у васъ больныхъ въ домѣ? Боюсь, мнѣ что-то такое говорили. На слѣдующей педѣлѣ жду вашего отвѣта, и надѣюсь, что онъ будетъ не короче моего письма, а ужъ навѣрно лучше написанъ. Боюсь, что не разберете моего маранья. Прощайте, милый другъ; можетъ быть, если Богу угодно будетъ наградить меня, я получу полугодовой отпускъ, и тогда во всякомъ случаѣ дождусь положительнаго отвѣта. Поклонитесь всѣмъ, кто меня не забылъ. Весь вашъ М. Лермонтовъ.

XXII. Къ О. П. Опочинину.

(1840. Апрѣля 3).

Oi cher et aimable M-r Opotchinine! Et hier soir en revenant de chez vous, on m'a annoncé une nouvelle fatale avec tous les menagements possibles, et à l'heure au moment où vous lisez ce billet, je ne serai plus (tournez) à Pétersbourg. Car je monte le garde Et or (style biblique et naïf) croyez à mes regrets sincère de ne pouvoir venir vous voir.

Et tout a vous Lermontoff.

КЪ ДѢЛУ О СТИХАХЪ НА СМЕРТЬ ПУШКИНА.

I. ОТНОШЕНІЕ ГЕНЕРАЛА БИСТРОМА.

Командующій отдѣльнымъ гвардейскимъ корпусомъ генералъ-адъютантъ Бистромъ, въ дополненіе записки отъ сего числа за № 78, имѣть честь препроводить при семъ къ его сіятельству графу Александру Христофоровичу стихи, писанные корнетомъ л.-гв. гусарскаго полка Лермонтовымъ, полученные сего числа отъ генералъ-адъютанта Клейнмихеля.— № 79.—22-го февраля 1837 г. (Его сіятельству графу А. Х. Бенкендорфу). Помѣты карандашомъ: «П. О-чъ Вейм. все препр. къ Клейнм.»

«Показать Ал. Ил. не найдетъ ли?»

(Бумаги отправлены 24-го февраля 1837 г. къ начальнику штаба Петру Федоровичу Веймарну, при отношеніи отъ графа Бенкендорфа имѣть съ бумагами чиновника 12-го класса Раевского).

II. ПОКАЗАНІЕ ЛЕРМОНТОВА.

Я былъ еще боленъ когда разнеслась по городу вѣсть о несчастномъ поединкѣ Пушкина. Нѣкоторые изъ моихъ знакомыхъ привезли еѣ и ко мнѣ, обезображенную разными прибавленіями; одни, приверженцы нашего лучшаго поэта, рассказывали съ живѣйшей печалью, какіи мелкими мученіями, насмѣшками, онъ долго былъ преслѣдуемъ и наконецъ принужденъ сдѣлать шагъ, противный законамъ земнымъ и небеснымъ, защищая честь своей жены въ глазахъ строгаго свѣта. Другіе, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, называли его благороднѣйшимъ человѣкомъ, говорили что Пуш-

кинъ не имѣлъ права требовать любви отъ жены своей, потому что былъ ревнивъ, дурень собою,—они говорили также, что Пушкинъ негодный человѣкъ, и прочее... Не имѣя, можетъ быть, возможности защищать нравственную сторону его характера—никто не отвѣчалъ на эти послѣднія обвиненія.

Невольное, но сильное негодованіе вспыхнуло во мнѣ противъ этихъ людей, которые нападали на человѣка, уже сраженного рукою Божіей, не сдѣлавшаго имъ никакого зла, и нѣкогда ими восхваляемаго; и врожденное чувство въ душѣ неопытной, защищать всякаго невинно осуждаемаго, зашевелилось во мнѣ еще сильнѣе, по причинѣ болѣзнию раздраженныхъ нервъ. Когда я сталъ спрашивать, на какихъ основаніяхъ такъ громко они возстаютъ противъ убитаго—мнѣ отвѣчали, вѣроятно чтобъ придать себѣ болѣе вѣсу, что весь высшій кругъ общества такого же мнѣнія.—Я удивился:—надо мною смѣялись.

Наконецъ, послѣ двухъ дней безпокойнаго ожиданія, пришло печальное извѣстіе что Пушкинъ умеръ—и вмѣстѣ съ этимъ извѣстіемъ пришло другое—утѣшительное для сердца русскаго: Государь Императоръ, не смотря на его прежнія заблужденія, подалъ великодушно руку помощи несчастной женѣ и малымъ сиротамъ его. Чудная противоположность его поступка съ мнѣніемъ (какъ меня увѣрали) высшаго круга общества, увеличила въ моемъ воображеніи, очертила еще болѣе несправедливость послѣдняго. Я былъ твердо увѣренъ, что сапожники государственные раздѣляли благородныя и милостивыя чувства Императора, Богомъ даннаго защитника всѣмъ угнетеннымъ;—но тѣмъ не менѣе не слышалъ что нѣкоторые люди, единственно по родственнымъ связямъ или вслѣдствіе искательства принадлежащіе къ высшему кругу, и пользующіеся заслугами своихъ достойныхъ родственниковъ, * нѣкоторые, не переставали омрачать память убитаго, и разсеивать разные невыгодные для него слухи. Тогда, вслѣдствіе необдуманнаго порыва, я излилъ горечь сердечную на бумагу, преувеличенными, неправильными словами выразилъ нестройное столкновение мыслей, не полагая, что написалъ нѣчто предосудительное, что многіе ошибочно могутъ принять на свой счетъ выраженія вовсе не для нихъ назначенныя. Этотъ опытъ былъ первый и послѣдній въ этомъ родѣ, вредномъ (какъ я прежде мыслилъ и нынѣ мыслю) для другихъ еще болѣе, чѣмъ для себя. Но если мнѣ нѣтъ оправданія, то молодость и пылкость послужатъ хотя объясненіемъ, —

* Кажется, это довольно ясный намекъ на гр. С. С. Уварова, бывшаго въ родствѣ съ гр. Шереметевымъ и возненавидѣвшаго Пушкина за его стихи: «На выздоровленіе Дукула».

ибо въ эту минуту страсть была сильнѣе холоднаго разсудка. Прежде я писалъ разныя мелочи, быть можетъ еще хранящіяся у нѣкоторыхъ моихъ знакомыхъ. Одна восточная повѣсть подъ названіемъ Хаджи-Абрекъ была мною помѣщена въ Библіотекѣ для чтенія, а драма Маскарадъ, въ стихахъ, отданная мною на театръ, не могла быть представлена по причинѣ (какъ мнѣ сказали) слишкомъ рѣзкихъ страстей и характеровъ и также потому что въ ней добродѣтель недостаточно награждена.

Когда я написалъ стихи мои на смерть Пушкина (что къ несчастью я сдѣлалъ слишкомъ скоро), то одинъ мой хорошій пріятель Раевскій, слышавшій какъ и я многія неправильныя обвиненія, и по необдуманности не видя въ стихахъ моихъ противнаго законамъ, просилъ у меня ихъ списать; вѣроятно онъ показалъ ихъ какъ новостъ другому и такимъ образомъ они разошлись. Я еще не выѣзжалъ, и потому не могъ вскорѣ узнать впечатлѣнія произведеннаго ими, не могъ во время ихъ возвратить назадъ и сжечь. Самъ я ихъ никому больше не давалъ, но отречься отъ нихъ, хотя постигъ свою необдуманность, я не могъ: правда всегда была моею святыней—и теперь, принося на судъ свою повинную голову, я съ твердостью прибѣгаю къ ней, какъ единственной защитницѣ благороднаго человѣка передъ лицомъ царя и лицомъ Божиимъ.

Корнетъ лейбъ-гвардіи гусарскаго полка Михаилъ Лермонтовъ.

III. Изъ показаній Раевского.

Стихи Лермонтова въ честь Государя Императора и раздача ихъ мною.

Услышавъ, что въ какомъ-то французскомъ журналѣ напечатаны клеветы на Государя Императора, Лермонтовъ въ прекрасныхъ стихахъ обнаружилъ русское негодованіе противу французской безнравственности, ихъ палать и т. п., и сравнивая Государя Императора съ благороднѣйшими героями древними, а журналистовъ съ наемными клеветниками, оканчиваетъ словами:

Такъ въ дни воинственнаго Рима,
Во дни торжественныхъ побѣдъ,
Когда съ триумфомъ шель Фабрицій
И раздавался по столицѣ
Народа благодарный кликъ,
Бѣжалъ за свѣтлой колесницей
Одинъ наемный клеветникъ.

Начало стиховъ не помню, — они писаны, кажется, въ 1835 году и тогда я всѣмъ моимъ знакомымъ раздавалъ ихъ по экземпляру съ особеннымъ удовольствіемъ.

IV. ОТНОШЕНІЕ ВОЕННАГО МИНИСТРА ГРАФА ЧЕРНЫШЕВА Г. ШЕФУ
ЖАНДАРМОВЪ И КОМАНДУЮЩЕМУ ИМПЕРАТОРСКОЮ ГЛАВНОЮ КВАР-
ТИРОЮ (ОТЪ 25-ГО ФЕВРАЛЯ 1837 Г. ЗА № 100).

Государь императоръ высочайше повелѣть соизволилъ: лейбъ-гвардіи гусарскаго полка корнета Лермонтова, за сочиненіе извѣстныхъ вашему сіятельству стиховъ, перевести тѣмъ же чиномъ въ Нижегородскій драгунскій полкъ, а губернскаго секретаря Раевского, за распространеніе сихъ стиховъ, и въ особенности за намѣреніе тайно доставить свидѣніе корнету Лермонтову о сдѣланномъ имъ показаніи, выдержать подъ арестомъ въ теченіе одного мѣсяца, а потомъ отправить въ Олонецкую губернію, для употребленія на службу, по усмотрѣнію тамошняго гражданскаго губернатора.

О таковомъ высочайшемъ повелѣніи увѣдомляя васъ, милостивый государь, имѣю честь присовокупить, что должное по оному распоряженіе сдѣлано.

Помѣта графа Бенкендорфа: «убрать».

(Мать Раевского, титулярная совѣтница Дарья Раевская, 11-го марта 1837 года, изъ губернскаго города Саратова просила графа Бенкендорфа повергнуть ея прошеніе государю о прошеніи ея сына, «который за распространеніе предосудительныхъ стиховъ, написанныхъ корнетомъ Лермонтовымъ на смерть Пушкина», назначенъ къ отправкѣ въ Олонецкую губернію. Прошеніе передано 2-го апрѣля 1837 года статъ-секретарю Н. М. Лонгинову).

КЪ ДѢЛУ О ДУЭЛИ СЪ БАРАНТОМЪ.

I. ПИСЬМО КЪ ГЕНЕРАЛЬ-МАЮРУ ПЛАУТИНУ.

Ваше превосходительство, милостивый государь! Получивъ отъ вашего превосходительства приказаніе объяснить вамъ обстоятельства поединка моего съ господиномъ Барантомъ, честь имѣю донести вашему превосходительству, что 16 февраля на балѣ у графини Лаваль, господинъ Барантъ сталъ требовать у меня объясненія на счетъ будто мною сказаннаго. Я отвѣчалъ, что все ему переданное несправедливо; но такъ какъ онъ былъ этимъ недоволенъ, то я прибавилъ, что дальнѣйшаго объясненія давать ему не намѣренъ. На козвѣи его отвѣтъ я возразилъ такою же козвѣстью, на что онъ сказалъ, что если бы находился въ своемъ отечествѣ, то зналъ бы, какъ кончить это дѣло. Тогда я отвѣчалъ, что въ Россіи слѣдуютъ правиламъ чести также строго, какъ и вездѣ, и что мы меньше другихъ позволяемъ себя оскорблять безнаказанно. Онъ меня вызвалъ,

условились и разстались. 18-го числа, въ воскресенье, въ 12 часовъ утра, съѣхались мы за Черною Рѣчкою на Парголовоѣй дорогѣ. Его секундантамъ былъ французъ, котораго имени я не помню и котораго никогда до сего не видалъ. Такъ какъ господинъ Барантъ почиталъ себя обиженнымъ, то я предоставилъ ему выборъ оружія. Онъ избралъ шпаги, но съ нами были также и пистолеты. Едва успѣли мы скрестить шпаги, какъ у моей конецъ переломился, а онъ слегка опараналъ грудь. Тогда взяли мы пистолеты. Мы должны были стрѣлять вмѣстѣ, но я немного опоздалъ. Онъ далъ промахъ, а я выстрѣлилъ уже въ сторону. Послѣ сего онъ подалъ мнѣ руку и мы разошлись. Вотъ, ваше превосходительство, подробный отчетъ всего случившагося между нами. Съ истинной преданностію честь имѣю пребыть вашего превосходительства покорнѣйшій слуга Михайла Лермонтовъ.

II. 1840 года, марта 16-го дня, въ присутствіи комисіи военнаго суда, учрежденной при кавалергардскомъ Ея Величества полку, подсудимый Л.-гв. гусарскаго полка поручикъ Лермонтовъ допрашиванъ и показалъ.

Какъ васъ зовутъ? Сколько отъ роду лѣтъ, какой вѣры, и ели христіанской, то на исповѣди и у святаго причастія бывали ль ежегодно?

Зовутъ меня Михайлъ Юрьевъ сынъ Лермонтовъ, отъ роду имѣю 25 лѣтъ, вѣры грекороссійской, на исповѣди и у святаго причастія ежегодно бывалъ.

Въ службу Его Императорскаго Величества вступили въ котораго года, мѣсяца и числа, изъ какого званія и откуда уроженецъ? имѣете ль за собою недвижимое имѣніе и гдѣ оно состоитъ?

Время вступленія моего въ службу Его Императорскаго Величества видно изъ формулярнаго списка. Происхожу изъ дворянскаго званія, уроженецъ Московскій. Недвижимаго имѣнія за мною нѣтъ.

Во время службы какими чинами и гдѣ происходили, на предъ сего, не бывали ль вы за что, подъ судомъ и по оному, равно и безъ суда, въ какихъ штрафахъ и наказаніяхъ?

Службу началъ съ юнкерскаго чина Л.-гв. въ Гусарскомъ полку; произведенъ въ корнеты въ семъ же полку, изъ онаго былъ переведенъ въ Нижегородскій драгунскій полкъ, потомъ Л.-гв. въ Гродненскій и наконецъ снова поступилъ Л.-гв. въ Гусарскій полкъ, въ коемъ состою нынѣ поручикомъ. Подъ судомъ не былъ, а безъ суда подвергался штрафу, который значится въ формулярномъ моемъ спискѣ.

Въ письмѣ вашемъ къ г. полковому командиру генералъ-маіору Плаутину, о произведенной вами съ г. Барантомъ дуэли, все ли вы справедливо объяснили и утверждаете ли то письмо въ полной силѣ, нинѣ въ присутствіи комисіи военнаго суда?

Въ письмѣ моемъ о дуэли я все изъяснилъ справедливо, содержаніе коего утверждаю въ полной силѣ въ присутствіи военно-судной комисіи.

Въ дополненіе вышесказаннаго письма, вы должны объяснить присутствію военно-судной комисіи: съ чьего позволенія находились вы въ С.-Петербургѣ 18 числа прошедшаго фѣвраля; кто именно тотъ г. Барантъ, который требовалъ отъ васъ на багъ у графинѣ Лаваль объясненія; по какому обстоятельству и какого рода объясненія требовалъ отъ васъ г. Барантъ; когда же вы ему въ томъ отказали, то въ какихъ словахъ произнесъ онъ вамъ свой колкій отвѣтъ, а также въ какомъ смыслѣ заключалась и та колкость, которую вы ему возразили; слышалъ ли кто-либо изъ бывшихъ на сказанномъ багъ лицъ о такомъ вашемъ разговорѣ съ г. Барантомъ, равно о вызовѣ его и о томъ условіи, по коему вы съ нимъ произвели помянутую дуэль, былъ ли съ вашей стороны при этомъ поединкѣ секундантъ и почему вы тогда же не донесли о семъ происшествіи начальству?

Находился я въ С.-Петербургѣ 18 числа февраля съ позволенія полковаго командира; г. Эрнестъ Барантъ сынъ французскаго посланника при дворѣ Его Императорскаго Величества. Обстоятельство, по которому онъ требовалъ у меня объясненія, состояло въ томъ: правда ли, что я будто говорилъ на его счетъ невыгодныя вещи извѣстной ему особѣ, которой онъ мнѣ не называлъ. Колкости же его и мои въ нашемъ разговорѣ заключались въ слѣдующемъ смыслѣ: когда я на помянутый вопросъ г. Баранта сказалъ, что никому не говорилъ о немъ предосудительнаго, то его отвѣтъ выражалъ недовѣрчивость, ибо онъ прибавилъ, что все-таки, если переданныя ему сплетни справедливы, то я поступилъ весьма дурно; на что я отвѣчалъ, что выговоры и совѣты не принимаю, и нахожу его поведеніе весьма смѣшнымъ и дерзкимъ. О нашемъ разговорѣ и о вызовѣ г. Баранта никто изъ бывшихъ на багъ не слышалъ, сколько мнѣ извѣстно, равно и о условіяхъ нашихъ; а дажѣ происходило то самое, что я показалъ въ вышеупомянутомъ письмѣ. Секундантомъ при нашемъ поединкѣ съ моей стороны былъ отставной поручикъ Л.-гв. Гусарскаго полка Столѣпинъ, а не донесъ я о семъ происшествіи начальству единственно потому, что дуэль не имѣла никакого пагубнаго послѣдствія.

Въ вышеозначенныхъ отвѣтныхъ пунктахъ самую ли истинную правду вы показали?

Въ вышеозначенныхъ отвѣтныхъ пунктахъ я показалъ самую истинную правду.

Подъ вопросами послѣдовательно подписано: «Сим вопросы сочинилъ аудиторъ 13 класса Лазаревъ»; а подъ отвѣтами: «Сим отвѣты писалъ и къ онымъ руку приложилъ поручикъ Лермонтовъ». Затѣмъ слѣдуетъ подписи: «При семъ присутствовали: Презусъ полковникъ Полетика. Ротмистръ Бетанкуръ. Штабсъ-ротмистръ Князь Куракинъ. Поручикъ Самсоновъ. Поручикъ Зиновьевъ. Корнетъ Булгаковъ. Корнетъ Графъ Апраксинъ 2-й».

·III. Показаніе Лермонтова.

Сего марта 22 дня, я просилъ письменно графа Браницкаго 2-го (неслужащаго) сказать г. Эрнесту Баранту, что я желаю его видѣть сего же числа въ 8 часовъ вечера. Ибо до меня дошли слухи, что онъ въ городѣ говоритъ, что я несправедливо показалъ, будто выстрѣлили въ сторону, не цѣля, и что онъ этимъ недоволенъ. Въ 8 часовъ вечера, я вышелъ въ коридоръ между офицерскою и солдатскою караульными комнатами, не спрашивая караульнаго офицера и безъ конвоя, какъ всегда дѣлалъ до сего, въ томъ же коридорѣ. Черезъ нѣсколько минутъ подъѣхалъ г. Барантъ и вошелъ въ коридоръ, который же ведетъ и на верхъ въ комиссію. Я спросилъ его: правда ли, что онъ недоволенъ моимъ показаніемъ? онъ отвѣчалъ: точно, и не знаю почему вы говорите, что стрѣляли не цѣля, на воздухъ. Тогда я отвѣчалъ, что говорилъ это по двумъ причинамъ: во-первыхъ, потому что это правда, а во-вторыхъ, потому что я не вижу нужды скрывать вещь, которая не должна быть ему неприятна, а мнѣ можетъ служить въ пользу; но что если онъ недоволенъ этимъ моимъ объясненіемъ, то когда я буду освобожденъ и когда онъ возвратится, то я готовъ буду вторично съ нимъ стрѣляться, если онъ этого пожелаетъ. Послѣ сего г. Барантъ, отвѣчая мнѣ, что онъ драться не желаетъ, ибо совершенно удовлетворенъ моимъ объясненіемъ, уѣхалъ. — Л.-гв. Гусарскаго полка поручикъ Лермонтовъ. (25 марта 1840).

IV. 1840 года, марта 29-го дня, въ присутствіи комисіи военнаго суда, учрежденной при кавалергардскомъ Ея Величества полку, подсудимый поручикъ Лермонтовъ, въ послѣдствіе объясненія его 25 числа сего мѣсяца, препровожденнаго по командѣ отъ Его Императорскаго Высочества командира корпуса отъ 27 марта, за № 149, допрашиванъ и показалъ.

Изъ вышеупомянутаго вашего объясненія, военно-судная комисія между прочимъ усматриваетъ, что вы 22-го числа сего мѣсяца, содержась на Арсенальной гауптвахтѣ, приглашали къ себѣ чрезъ неслужащаго дворянина графа Браницкаго 2-го, барона Эрнеста де-Баранта, для личныхъ объясненій въ новыхъ неудовольствіяхъ, съ коимъ и видѣлись въ 8 часовъ вечера въ корридорѣ караульнаго дома, куда вышли вы. не спрашивая караульнаго офицера и безъ конвоя, какъ всегда дѣлали до сего; но какъ вамъ должно быть извѣстно правило: что безъ разрѣшенія коменданта и безъ вѣдома караульнаго офицера, никто къ арестованнымъ офицерамъ и вообще къ арестантамъ, не долженъ быть допущенъ, то по сему обстоятельству, комисія спрашиваетъ васъ: по какому поводу, вопреки сказаннаго запрещенія, вы рѣшились пригласить г. Баранта на свиданіе съ нимъ въ корридорѣ караульнаго дома? съ котораго времени и по какому уваженію вы могли выходить и въ корридоръ безъ конвоя?

Чрезъ кого именно вы узнали, что баронъ де-Барантъ говоритъ въ городѣ о несправедливомъ будто вашемъ показаніи, касательно происшедшей между вами съ нимъ дуэли?

Когда и какимъ средствомъ вы могли письменно сносятся съ графомъ Браницкимъ 2-мъ и просить его, чтобы онъ сказалъ г. Баранту о вашемъ желаніи съ нимъ видѣться лично и гдѣ имѣеть жительство поминутый графъ? Наконецъ, кто былъ тогда караульный офицеръ, безъ вѣдома коего вы имѣли свиданіе съ Барантомъ? видѣлъ ли кто либо изъ караульныхъ воинскихъ чиновъ такое ваше съ нимъ свиданіе, а если онаго имъ нельзя было видѣть, то почему именно?

Пригласилъ я г. Баранта, ибо слышалъ, что онъ оскорбляется моимъ показаніемъ. Выходилъ я безъ конвоя, съ тѣмъ поръ какъ находился подъ арестомъ, безъ вѣдома караульныхъ офицеровъ, полагая, что они мнѣ въ томъ откажутъ, и выбирая время когда караульный офицеръ находился на платформѣ. Узнать я о томъ, что г. Барантъ говорилъ въ городѣ, будто недоволенъ моимъ показаніемъ, отъ родныхъ кои были допущены ко мнѣ съ позволенія коменданта, въ разныя времена. Сносился я съ графомъ Браницкимъ 2-мъ письменно чрезъ своего крѣпостнаго человека Андрея

Иванова, а живетъ оный на Сергіевской улицѣ, въ домѣ графини Хвостовой, на квартирѣ родственницы моей Елизаветы Алексѣевны Арсеневой. Графъ Браницкій 2-й имѣетъ жительство на Невскомъ проспектѣ въ собственномъ домѣ. Караульный офицеръ того числа былъ гвардейскаго экипажа, а кто именно не помню. Видѣлъ ли кто мое свиданіе съ г. Барантомъ, сего я не знаю, ибо не замѣтилъ, присутствовалъ ли кто нибудь-вблизи насъ.

Все вышеписанное по истинной ли правдѣ вы показали, а также справедливо ли написано вами помянутое объясненіе, 25 марта, по чьему требованію вы его писали и утверждаете ли оное въ полной силѣ въ присутствіи военно-судной комиссіи?

Все вышеписанное показатъ по истинной правдѣ; также спра-ведливо мною написано объясненіе 25 марта, которое отбиралъ отъ меня С.-Петербургскій плацъ-маіоръ флигель-адъютантъ баронъ Зальцъ; и утверждаю оное въ полной силѣ въ присутствіи военно-судной комиссіи.

Подъ вопросами послѣдовательно подписано: «Вопросы сіи сочинялъ аудиторъ Лазаревъ». Подъ отвѣтами: «Къ симъ отвѣтамъ моимъ подписуся Л.-гв. Гусарскаго полка поручикъ Лермонтовъ». Затѣмъ слѣдуетъ общая подпись: «При семъ присутствовали: Презусъ полковникъ Полетика. Ротмистръ Бетанкуръ. Штабъ-ротмистръ Князь Куракинъ. Поручикъ Самсоновъ. Поручикъ Зиновьевъ. Корнетъ Булгаковъ. Корнетъ Графъ Апраксинъ 2-й».

У. Письмо къ Великому Князю Михаилу Павловичу.

Ваше Императорское Высочество! Признавая въ полной мѣрѣ вину мою, и съ благоговѣніемъ покоряясь наказанію, возложенному на меня Его Императорскимъ Величествомъ, я былъ одобренъ до сихъ поръ надеждой имѣть возможность усердною службой загладить мой проступокъ, но получивъ приказаніе явиться къ господину генералъ-адъютанту графу Бенкендорфу, я изъ словъ его сіятельства увидѣлъ, что на мнѣ лежитъ еще обвиненіе въ ложномъ показаніи, самое тяжкое, какому можетъ подвергнуться человѣкъ дорожащій своей честностью. Графъ Бенкендорфъ предлагалъ мнѣ написать письмо къ Баранту, въ которомъ бы я просилъ извиненія въ томъ, что несправедливо показатъ въ судѣ, что выстрѣлилъ на воздухъ. Я не могъ на то согласиться, ибо это было бы противъ моей совѣсти; но теперь мысль, что Его Императорское Величество и Ваше Импе-

раторское Высочество можетъ быть раздѣляете сомнѣнiе въ истинѣ словъ моихъ, мысль эта столь невыносима, что я рѣшился обратиться къ Вашему Императорскому Высочеству, зная великодушiе и справедливость Вашу, и будучи уже не разъ облагодѣтельствованъ Вами; и просить Васъ защитить и оправдать меня во мнѣнiи Его Императорскаго Величества, ибо въ противномъ случаѣ теряю невинно и невозвратно имя благороднаго человѣка.

Ваше Императорское Высочество позвольте сказать мнѣ со всею откровенностью: я искренно сожалею, что показанiе мое оскорбило Баранта; я не предполагалъ этого, не имѣлъ этого намѣренiя, но теперь не могу исправить ошибку посредствомъ лжи, до которой никогда не унижался. Ибо сказавъ, что выстрѣлилъ на воздухъ, я сказалъ истину, готовъ подтвердить оную честнымъ словомъ, и доказательствомъ можетъ служить то, что на мѣстѣ дуэли, когда мой секундантъ, отставной поручикъ Столыпинъ, подалъ мнѣ пистолетъ, я сказалъ ему именно, что выстрѣлю на воздухъ, что и подтвердить онъ самъ.

Чувствуя въ полной мѣрѣ дерзновенiе мое, я однако, осмѣливаюсь надѣяться что Ваше Императорское Высочество соблаговолите обратить вниманiе на горестное мое положенiе и заступленiемъ Вашимъ возстановить мое доброе имя во мнѣнiи Его Императорскаго Величества и Вашемъ.

Съ благоговѣйною преданностью имѣю счастье пребыть Вашего Императорскаго Высочества всепреданнѣйшiй Михаилъ Лермонтовъ, Тенгинскаго пѣхотнаго полка поручикъ. *

* На письмѣ сдѣлана Дубельтомъ карандашная надпись: «Государь изволилъ читать», и далѣе: «Къ дѣлу. 29 апрѣля 1840».

ПРИМѢЧАНІЯ КЪ ПЕРВОМУ ТОМУ.

1. Ангелъ (стр. 1). Въ тетради Лермонтова послѣ 3 строфы была написана еще строфа, откинутая имъ въ печати:

Душа поселилась въ твореньи земномъ,
Но чуждъ ей былъ міръ. Объ одномъ
Она все мечтала: о звукахъ святыхъ,
Не помня значенія ихъ.

Начало слѣдующей за этою строфы было:

Съ тѣхъ поръ, неизвѣстнымъ желаньемъ полна,
Страдала, томилась она.

2. Парусъ (стр. 2). Стихотвореніе это относили прежде къ 1841 г., а потомъ къ 1835 году по неточной помѣтѣ въ Р. Архивѣ письма Лермонтова, въ которомъ оно было сообщено г-жѣ Лопухиной.

3. Умиравшій Гладіаторъ (стр. 4). Въ рукописи Лермонтова это стихотвореніе подписано: «2 февраля 1836 г.» и оканчивается такъ:

Не такъ ли ты, о, европейскій міръ,
Когда-то пламенныхъ мечтателей кумиръ,
Къ могилѣ влонишься безславной головою,
Измученный въ борьбѣ сомнѣній и страстей,
Безъ вѣры, безъ надеждъ—игралоце дѣтей,
Осмѣянный ликующей толпою!

И предъ кончиною ты взоръ обратилъ
Съ глубокимъ вздохомъ сожалѣнья
На юность свѣтлую, исполненную силъ,
Которую давно для азымъ просвѣщенья,
Для гордой роскоши безпечно ты забылъ.
Стараясь заглушить послѣднія страданья,
Ты жадно слушаешь и пѣсни старины
И рыцарскихъ временъ волшебныя преданья,
Насмѣшливыхъ лстецовъ несбыточные сны.

4. Два великана и 4 слѣдующія стихотворенія (стр. 7-8) на находятся въ рукописяхъ Чертковской Библіотеки, по которымъ и исправленъ прежде печатавшійся текстъ. Замѣтимъ, что послѣ стихотворенія «Она поетъ» (стр. 8) набросано карандашомъ цѣлое шуточное стихотвореніе; «Росписку просишь ты, гусаръ», въ 25 стиховъ, которое, судя по одному стиху: «И легче мнѣ судьбы ударъ», можетъ относиться къ началу 1837 г., когда постигъ поэта первый

«судьбы ударъ» за его стихотвореніе: «На смерть Пушкина». Дѣтъ первыя строфы совсѣмъ неудобны для печати, почему приводимъ только заключительную, имѣющую, впрочемъ, ошибку, по которой вмѣсто Моисей является Ааронъ:

Такъ нѣкогда въ степи безводной
Премудрый пастырь Ааронъ
Услышалъ плачь и вопль народной,
И жезлъ священный поднялъ онъ;
И на челѣ его угрюмомъ
Надежды лучъ блеснулъ живой,
И тронулъ камень онъ нѣмой,
И брызнулъ ключъ съ привѣтнымъ шумомъ
Новорожденною струей.

5. Стихотвореніе Желаніе (стр. 6), приводимое нами въ окончательной его отдѣлкѣ подъ заглавіемъ Узникъ (стр. 32), было набросано Лермонтовымъ еще въ 1832 г. Тамъ вмѣсто ст. 5—9 первой строфы было:

Я пушусь по дикой степи
И надменно сброшу я
Образованности цѣпи
И вериги бытія.

Вмѣсто ст. 5—9 второй строфы было:

Я пушусь въ синее море
Въ даль отъ сонныхъ береговъ,
Разгуляюсь на просторѣ
И натѣшусь въ буйномъ спорѣ
Съ злобной прихотью валовъ

Вмѣсто ст. 3—8 третьей строфы было:

Чтобъ въ тѣни его широкой
Билъ жемчужный водопадъ:
Передъ звучными струями
Я лѣниво растянусь
И надъ прежними мечтами,
Засыпая, посмѣюсь.

Заключительныя стихи первой строфы еще разъ были исправлены такъ:

Чтобъ я съ ней по чисту полю
Ускакалъ на томъ конѣ,
Дайте волю, волю, волю—
И не надо счастья мнѣ!

6. Вѣроятно къ 1836 году слѣдуетъ отнести и эпиграмму по поводу представленія драмы Н. Кукольника: «Скопининъ-Пуйскій». Эпиграмма эта набросана на оборотѣ листка, первая страница котораго

занята стихотвореніями: «Я, мать Божія», «Разстались мы» и «Ангель».

Въ Большомъ театрѣ я сидѣлъ.

Давали Скопина. Я слушалъ и смотрѣлъ.

Когда же занавѣсъ при плескахъ опустился,

Тогда сказать знакомый мнѣ одинъ:

Что, братецъ, жаль! Вотъ умеръ и Скопинъ!

Ну, право, лучше бъ не родился.

7. На смерть Пушкина (стр. 9). Въ первый разъ это стихотвореніе, до заключительныхъ стиховъ, было напечатано съ автографа въ «Библи. Запискахъ» (1858, № 20), при чемъ приведено 11 мелкихъ варіантовъ или собственно исправленій. — Черезъ нѣсколько дней послѣ дуэли и смерти Пушкина Лермонтовъ написалъ это стихотвореніе, заключивъ его стихомъ: «И на устахъ его печать». Оно разошлось по городу. Вскорѣ послѣ того заѣхалъ къ нему одинъ изъ его родственниковъ, Н. А. Столыпинъ. У нихъ завязался разговоръ объ исторіи Дантеса (бар. Гекеръ) съ Пушкинымъ, причѣмъ Столыпинъ обвинялъ Пушкина и оправдывалъ Дантеса. Лермонтовъ спорилъ, горячился, и когда тотъ уѣхалъ, тотчасъ же написалъ добровольные стихи. Въ тотъ же день вечеромъ г. Меринскій, зайдя къ Лермонтову, услышалъ отъ него этотъ рассказъ и списалъ стихи, потомъ списали ихъ многіе изъ товарищей и знакомыхъ Лермонтова, и они пошли по рукамъ. — Вскорѣ послѣ того, на одномъ многлюдномъ вечерѣ извѣстная въ то время старуха и большая сплетница А. М. Хитрово, при всѣхъ обратилась съ вопросомъ къ гр. Бенкендорфу: «Слышали вы, Александръ Христофоровичъ, что написалъ про насъ Лермонтовъ? Бенкендорфъ и прежде нея зналъ о томъ, но не находилъ ничего особенно важнаго; тутъ, говорятъ, онъ сказалъ: «ужъ если Анна Михайловна знаетъ про эти стихи, то я долженъ о нихъ доложить государю». Вслѣдствіе этого былъ посланъ начальникъ главнаго штаба, Веймарнъ, чтобъ осмотрѣть бумаги Лермонтова въ Царскомъ Селѣ, гдѣ онъ не нашелъ поэта, жившаго большею частію въ Петербургѣ, а нашелъ нетопленную квартиру и пустые ящики въ столахъ. Лермонтовъ скорѣ былъ отправленъ на Кавказъ. — Нѣсколько измѣненный рассказъ объ этомъ находится въ брошюрѣ А. Н. Муравьева: «Знакомство съ русскими поэтами», а подробности изъ подлиннаго дѣла, сверхъ напечатанныхъ въ Р. Старинѣ 1880 г. № 7, приводятся нами въ настоящемъ изданіи въ первый разъ, по подлинному же дѣлу, благодаря благосклонному вниманію Н. Н. Буковского, сообщившаго ихъ намъ (см. стр. 475—477). Въ этомъ дѣлѣ стихотвореніе Лермонтова переписано вполнѣ и при немъ находится эпиграфъ изъ трагедіи Венцеславъ, начинающійся стихомъ: «От-

мщенія, Государь, отмщенія!» и т. д., нерѣдко встрѣчающійся въ рукописныхъ копіяхъ этихъ стиховъ.

8. Вѣтка Палестины (стр. 12). А. Н. Муравьевъ указываетъ, что стихотвореніе это было написано въ его образной, при видѣ палестинскихъ пальмъ, тамъ стоявшихъ. Лермонтовъ ждалъ въ этой комнатѣ г. Муравьева, отправившагося по его просьбѣ къ начальнику III Отдѣленія Собств. Канцеляріи, Мордвинову, ходатайствовать по дѣлу о стихахъ на смерть Пушкина. (Знакомство съ русскими поэтами, Кіевъ. 1871).

9. Бородино (стр. 13). Первоначальный очеркъ этого стихотворенія былъ написанъ въ 1830 году:

БОРОДИНО.

1.

Всю ночь у пушекъ пролежали
Мы безъ палатокъ, безъ огней,
Штыки вострили да шептали
Молитвы родины своей.
Шумѣла буря до разсвѣта,
Я, голову поднимавъ съ лафета,
Товарищу сказалъ:
«Братъ, слушай пѣсню непогоды,
Она дика, какъ пѣснь свободы!»
Но, вспоминая прежни годы,
Товарищъ не слыхалъ.

2.

Пробили зорю барабаны,
Востокъ туманный побѣлѣлъ,
И отъ враговъ ударъ неожиданный
На батарею прилетѣлъ.
И вождь сказалъ передъ полками:
«Ребята, не Москва ль за нами!
Умремте жъ подъ Москвой,
Какъ наши братья умирали»
И мы погибнуть обѣщали,
И клятву вѣрности сдержали
Мы въ Бородинскій бой.

3.

Что Чесма, Рымникъ и Полтава!
Я, вспомя, леденѣю весь.
Тамъ души волновала слава,
Отчаяніе было здѣсь,

Безмолвно мы рады сомкнули;
Громъ грянулъ, завизжали пули;
Перекрестился я.
Мой палець товарищъ, кровь лилася,
Душа отъ мщенія тряслася,
И пуля смерти понеслася
Изъ моего ружья,

4.

Маршъ-маршъ пошли впередъ, и боги
Ужъ я не помню ничего.
Шесть разъ мы уступали поле
Врагу, и брали у него.
Носились знамена какъ тѣни,
Я спорилъ о могильной сѣни,
Въ дыму огонь блѣстѣлъ.
На пушки конница летала,
Рука бойцовъ колоть устала,
И ядрамъ пролетать мѣшала
Гора кровавыхъ тѣлъ.

5.

Живые съ мертвыми сравнялись,
И ночь холодная пришла,
И тѣхъ, которые остались,
Густою тьмою развела.
И батареи замолчали,
И барабаны застучали—
Противникъ отступилъ.
Но день достался намъ дорожке!
Въ душѣ сказавъ: «Помилуй Боже!»
На трупъ застывшій, какъ на ложе,
Я голову склонилъ.

6.

И крѣпко, крѣпко наши спали
Отчизны въ роковую ночь.
Мои товарищи, вы пали,
Но этимъ не могли помочь.
Однако же въ преданьяхъ славы
Все громче Рымника, Полтавы
Гремитъ Бородино!
Скорѣй обманетъ гласъ пророчій,
Скорѣй небесъ потушить очи,

Чѣмъ въ памяти сыновъ полночи
Изглядится оно.

10. Въ Русскомъ Архивѣ 1867 г. (№ 7) напечатана слѣдующая альбомная записка Лермонтова, относящаяся къ 1837 году.

РЕБЕНКУ.

(въ альбомѣ арх. павл. петрову).

Ну, что скажу тебѣ я спросту?
Мнѣ не съ-руки хвала и лѣсть:
Дай Богъ тебѣ побольше росту —
Другія качества всѣ есть.

11. Дума. (стр. 35). 12-й стихъ былъ напечатанъ въ «Библ. Запискахъ» (1861, № 3) неправильно: «Безсилія жалкаго рабы». Въ другомъ же, сообщенномъ намъ спискѣ, 11 и 12 стихи читаются:

Предъ подвигомъ добра постыдно-малодушны,
И передъ властію ничтожны рабы.

12. Къ 1838 году относится еще слѣдующій уцѣлѣвшій въ памяти друзей Лермонтова «Экспромтъ» къ М. И. Цейдлеру, укаживавшему за дочерью генерала Стала:

Русскій нѣмецъ бѣлокурый
Ѣдетъ въ дальнюю страну,
Гдѣ косматые гяуры
Вновь затѣяли войну.
Ѣдетъ онъ, томимъ печалью,
На могучій пиръ войны;
Но иной, не бранной сталію,
Мысли юности полны.

13. Демонъ. (стр. 38). Лермонтовъ началъ эту поэму въ 1829 г., но когда окончательно отдѣлалъ — неизвѣстно. Первые наброски отдѣланы были имъ еще въ пансіонѣ, потомъ они были тамъ же вновь переработаны въ 1831 г., и за тѣмъ снова передѣланы въ юнкерской школѣ въ 1834 г., а потомъ переправлялись съ значительными измѣненіями въ 1836 г. въ Царскомъ Селѣ. Окончательно отдѣланный текстъ былъ привезенъ Лермонтовымъ съ Кавказа только въ 1838 г., какъ это положительно удостовѣрилъ товарищъ Лермонтова по школѣ А. М. Меринскій, почему мы и отнесли поэму къ этому году. Однако же есть основаніе предполагать, что Лермонтовъ все еще былъ недоволенъ своимъ трудомъ и передѣлывалъ его едва ли не до своей кончины. Такъ мы имѣли принадлежащій О. И. Квисту списокъ поэмы, поправленный самимъ Лермонтовымъ въ 1840 году. Въ этомъ списокѣ есть переиѣны противъ текста, принятаго Дудышкинымъ въ основаніе 1-го изданія, изъ которыхъ самая значительная относится къ началу

2-й части поэмы, гдѣ 16 стиховъ, довольно слабыхъ и растаянувшихъ, замѣнены въ рукописи Квиста 10 прекрасными стихами. Стихи эти были помѣщены и у Дудышкина, но въ числѣ вариантовъ, потому что онъ выбралъ въ основаніе, какъ оказывается, болѣе ранній списокъ. Вотъ варианты поэмы, взятые изъ другихъ рукописей:

Стр. 39, строфа II: Въ пустынь міра онъ блуждалъ

Давно безъ цѣли и пріюта.

Стр. 42, послѣ 11 стиха VI-й строфы было написано:

И вотъ невѣста молодая
Беретъ свой бубенъ росписной;
Въ ладони мѣрно ударяя,
Запѣли всѣ; одной рукой
Кружа его надъ головой,
Увлечена летучей плиской,
Она забыла міръ земной.
Ея узорною повязкой
Играетъ вѣтеръ. Какъ волна,
Грудь поднимается высоко;
Уста блѣднѣютъ и дрожатъ;
И жаждой страсти полонъ взглядъ,
Какъ страсть палящій и глубокій.

Стр. 43, Первыми 10-ти стихами VIII строфы замѣнены 7 первоначальныхъ:

На ней былъ свѣтлый отпечатокъ
Небесной родины людей,
Величья прежняго остатокъ,
Отлив померкнувшихъ лучей.
Въ ней было то полуземное,
Что ищетъ сердце молодое
Въ пылу затѣйливой мечты.

Стр. 46, Начало XII-й строфы прежде было такое:

И стихло все... Тѣснѣя толпой,
Верблюды съ ужасомъ глядѣли
На трупы всадниковъ, порой
Ихъ колокольчики звенѣли.

Стр. 51, Послѣ первыхъ 4 стиховъ 1-й строфы второй части написано было:

Не буду я ни чьей женою —
Скажи мнѣ ты женихамъ:
Супругъ мой взять сырой землею —
Другому сердца не отдамъ.
Съ тѣхъ поръ, какъ трупъ его кровавый

Мы схоронили подъ горой,
 Меня тревожитъ духъ лукавый
 Неотразимою мечтой;
 Въ тиши ночной меня тревожитъ
 Толпа печальныхъ, странныхъ сновъ;
 Молиться днемъ душа не можетъ:
 Мысль далеко отъ звука словъ;
 Огонь по жиламъ пробѣгаетъ...
 Я сохну, вяну день отъ дня.
 Отецъ! душа моя страдаетъ...
 Отецъ мой, пощади меня!
 Отдай въ священную обитель и пр.

Стр. 53. Въ V стр. 13 ст. «Тревожитъ путника вниманье»

И трель живую соловья
 Сквозь шумъ далекаго ручья.
 Порою, разбросавъ на плечи
 Волну кудрей своихъ, она
 Стоитъ безъ мысли, холодна,
 И страстныя лепечутъ рѣчи
 Ея дрожащія уста;
 Желанье грудь ея волнуетъ,
 И чудный призракъ всё рисуетъ
 Предъ нею въ сумракѣ мечта!

Стр. 58, ст. 23. Въмѣсто семи стиховъ прежде были слѣдующіе:

Когда я въ первый разъ увидѣлъ
 Твой чудный, твой волшебный взоръ,
 Я тайно вдругъ возненавидѣлъ
 Мою свободу, какъ позоръ.
 Своєю властью недовольный,
 Я позавидовалъ невольню
 Неполнымъ радостямъ людей.

Стр. 61, послѣ ст. 23. Вычеркнуты слѣдующіе шесть стиховъ:

Какъ часто на вершинѣ льдистой
 Одинъ, межъ небомъ и землею,
 Подъ кровомъ радуги огнистой,
 Сидѣлъ я, мрачный и нѣмой,
 И бѣлогривыя метели,
 Какъ львы, у ногъ моихъ ревѣли.
 Въ борьбѣ... и пр.

Стр. 68, строфа XIV. По другой рукописи это мѣсто читается такъ:

Ни разу не былъ въ дни веселья
 Такъ разноцвѣтенъ и богатъ

Тамары праздничный нарядъ.
 Цвѣты родимаго ущелья
 (Такъ древній требуетъ обрядъ)
 Надъ нею льютъ свой аромать,
 И сжаты мертвою рукою,
 Какъ бы прощаются съ землею!
 И ничего въ ея лицѣ
 Не намекало о концѣ
 Въ пылу страстей и упоенья;
 И были всѣ ея черты
 Исполнены той красоты,
 Какъ мраморъ чуждой выраженъ,
 Лишенной чувства и ума,
 Таинственной какъ смерть сама.
 Улыбка странная застыла,
 Мелькнувши по ея устамъ:
 О многомъ грустномъ говорила
 Она внимательнымъ глазамъ;
 Въ ней было хладное презрѣнье
 Души готовой отцвѣсти,
 Последней мысли выраженъ,
 Землѣ безвучное прости.
 Напрасный отблескъ жизни прежней,
 Она была еще мертвѣй,
 Еще для сердца безнадежнѣй,
 Навѣкъ угаснувшихъ очей.
 Такъ въ часъ торжественный заката,
 Когда, растая въ морѣ злата,
 Ужъ скрылась колесница дни,
 Снѣга Кавказа, на мгновенье
 Отливъ пурпурный сохраня,
 Сіяютъ въ темномъ отдаленьѣ:
 Но этотъ лучъ полуживой
 Въ пустынѣ отблеска не встрѣтитъ,
 И путь ничей онъ не освѣтитъ
 Съ своей вершины ледяной!...

Стр. 69, Въмѣсто XV-й строфы сначала была написана слѣдующая:

Едва послѣдній стихъ прочли
 Надъ прахомъ дочери Гудала,
 И горсть послѣдняя земли
 О крышку гроба простучала,
 И воскурился къ небесамъ

Кадить прощальный фимиамъ;
 Едва лишь за скалой сосѣдней
 Утихъ рыданій звукъ послѣдній,
 Послѣдній шумъ людскихъ шаговъ—
 Сквозь дымку сѣрыхъ облаковъ
 Спустился ангелъ легкокрылый,
 И надъ покинutoй могилой
 Приникъ съ усердною мольбой
 За душу грѣшницы молодой;
 И въ то же время царь порока
 Туда примчался издалека.
 Странаній мрачная семья
 Въ чертахъ недвижныхъ таилась,
 По слѣду крылъ его тащилась
 Багровой молніи струя;
 Когда жъ онъ предъ собой увидѣлъ
 Все, что любилъ и ненавидѣлъ,
 То шумно мимо промелькнулъ,
 И взоръ пронзительный кидая,
 Посла потеряннаго рая.
 Улыбкой горькой упрекнулъ.

Сверхъ того, по другой рукописи, это же мѣсто читается такъ:

Едва на жесткую постель
 Тамару съ пѣньемъ опустили,
 Вдругъ тучи горы обожжили
 И разыгралася метель;
 И громче хищнаго шакала
 Она завыва въ небесахъ,
 И бѣлымъ прахомъ заметала
 Недавно ввѣренный ей прахъ;
 И только за скалой сосѣдней
 Утихъ моленъ звукъ послѣдній и т. д.
 И въ то же время царь порока
 Туда примчался съ быстротой
 Въ снѣгахъ рожденнаго потока...

Окончаніе то же, что и въ предыдущемъ варіантѣ.

Такъ какъ приведенные варіанты находятся въ разныхъ рукописяхъ, нерѣдко исправленныхъ рукою самого Лермонтова, но такъ какъ при этомъ даже приблизительно неизвѣстно: когда именно переписана или исправлена Лермонтовымъ какая либо изъ этихъ рукописей, то опредѣленіе старшинства ихъ одной передъ другою будетъ только гадательнымъ, и утверждать: что такіе-то стихи должны быть

внесены въ текстъ, а такіе-то отнесены къ вариантамъ—болѣе чѣмъ трудно, скажемъ — вполне невозможно, потому что личному произволу тутъ предоставляется безграничное поле. Перемѣнять же текстъ при каждомъ появленіи новой рукописи, при чемъ владѣлецъ ея, конечно, утверждаетъ, что она-то и есть наипозднѣйшая, было бы нелѣпостью и дало-бы, въ концѣ концовъ, вмѣсто поэмы какое-нибудь безобразіе, вродѣ известнаго либретто оперы Рубинштейна.

Въ настоящемъ изданіи, чтобы не заставлять читателя обращаться къ разнымъ страницамъ, разбросаннымъ въ обоихъ томахъ, мы сочли болѣе удобнымъ помѣстить въ примѣчаніяхъ къ поэмѣ всѣ первоначальныя ея наброски и передѣлки.

ПЕРВЫЙ ОЧЕРКЪ ДЕМОНА.

1829.

ПОСВЯЩЕНІЕ.

Я буду пѣть, пока поется,
Пока волненья не забылъ,
Пока высокимъ сердце бьется,
Пока я жизнь не пережилъ.
Въ душѣ горять, хотя безвѣстнѣй,
Лучи небеснаго огня;
Но нѣжныхъ и веселыхъ пѣсней,
Мой другъ, не требуй отъ меня...
Я умеръ. Свѣтлыхъ вдохновеній
Забыта мною сторона
Давно. Какъ скученъ день осенній,
Такъ жизнь моя была скучна;
Такъ впечатлѣній непріятныхъ
Душа всегда была полна—
Понинѣ о годахъ развратныхъ
Не престаешь скорбѣть она.
(Потомъ еще): Я буду пѣть, пока поется,
Пока, друзья, въ груди моей
Еще высокимъ сердце бьется
И жалость не погибла въ ней.
Но той веселости прекрасной
Не требуй отъ меня напрасно,
И юныхъ гордыхъ дней, поэтъ,
Ты не вернешь: ихъ нѣтъ, какъ нѣтъ!...
Какъ солнце осени суровой,
Такъ пасмурна и жизнь моя.
Среди людей скучаю я:

Мнѣ впечатлѣніе не ново...

И вотъ печальныя мечты,

Плоды душевной пустоты!

(Затѣмъ слѣдуетъ начало поэмы):

Печальный демонъ, духъ изгнанья
Блуждалъ подъ сводомъ голубымъ,
И лучшихъ дней воспоминанья
Чредой тѣснились передъ нимъ,
Тѣхъ дней, когда онъ не былъ злымъ,
Когда глядѣлъ на славу Бога,
Не отвращаясь отъ него,
Когда сердечная тревога
Чуждалася души его, *
Какъ дня бонится мракъ могилы.
И много, много... и всего
Представить не имѣлъ онъ силъ...

«Демонъ узнаетъ, что ангелъ любитъ одну смертную. Демонъ узнаетъ и обольщаетъ ее, такъ что она покидаетъ ангела, но скоро умираетъ и дѣлается духомъ ада. Демонъ обольстилъ ее, рассказывая, что Богъ несправедл. и проч. Мою ист.»

Любовь забылъ онъ навсегда.
Коварство, ненависть, вражда
Надъ нимъ владычествуютъ нынѣ...
Въ немъ пусто, пусто, какъ въ пустынѣ.
Смертельный слѣдъ напечатлѣнъ
На томъ, къ чему онъ прикоснется,
И говорить, что даже онъ
Своимъ злодѣйствамъ не смѣется,
Что груди гибнущихъ людей
Не веселятъ его очей...
Затѣмъ же демонъ отверженья
Роняетъ, посреди мученья,
Свинцовы слезы иногда,
И имъ забыты на мгновенья
Коварство, зависть и вражда?...

«Демонъ влюбляется въ смертную [монахиню], она его наконецъ любитъ; но демонъ видитъ ея ангела-хранителя и отъ зависти и ненависти рѣшается погубить ее. Она умираетъ. Душа ея улетаетъ въ адъ, и демонъ, встрѣчая ангела, который плачетъ съ высотъ неба, упрекаетъ его язвительной улыбкой.»

* Вар. Когда забота и тревога
Чуждалася ума его.*

Угрюмо жизнь его текла,
 Какъ жизнь разваливъ. Безконечность
 Его тревожить не могла,
 Онъ хладнокровно видѣлъ вѣчность, *
 Не зная ни добра ни зла,
 Губя людей безъ всякой нужды...
 Ему желанья были чужды;
 Онъ жегъ печатью роковой
 Того, къ кому онъ привасахся;
 Но часто демонъ молодой
 Своимъ злодѣйствамъ не смѣлся.
 Таковъ осеннею порой,
 Среди долины опустѣлой,
 Одинъ чернѣетъ пѣнь горѣлый.
 Сраженъ стрѣлою громовой,
 Онъ прямо висится главою,
 И презираетъ бурь порывы,
 Пустыни сторожъ молчаливый...

Боясь лучей бѣжалъ онъ тьму;
 Душой измученною боленъ,
 Ничѣмъ не могъ онъ быть доволенъ,
 Все горько сдѣлалось ему;
 И все на свѣтъ презиралъ,
 Онъ жилъ, не вѣря ни чему
 И ничего не принимая.

Въ полночь, между высокихъ скалъ,
 Однажды надъ волнами моря,
 Одинъ безъ радости, безъ горя, **
 Бѣглецъ эдема пролеталъ,
 И грѣшнымъ взоромъ созерцалъ
 Земли пустынные равнины.

* Уныло жизнь его текла
 Въ пустыни міра. Безконечность—
 Жилище для него была;
 Онъ равнодушно видѣлъ вѣчность.

** Первоначально строфа эта начиналась такъ:
 На темени далекихъ скалъ,
 Ровесниковъ самой природы,
 Священный монастырь стоялъ;
 Виву, тѣснясь, шумѣли воды.

И зрѣть, чернѣть надъ горой
 Стѣна обители святой
 И башенъ странныя вершины.
 Межъ навскихъ келій тишина.
 Садится поздняя луна.
 И въ усиленную обитель
 Вступаетъ мрачный искуситель.
 Вотъ тихій и прекрасный звукъ,
 Подобный звуку люти, внемлеть...
 И чей-то голосъ... Жадный слухъ
 Онъ напрягаетъ. Хладъ объемлетъ
 Челю... Онъ хочетъ прочь тотчасъ...
 Его крыло не шевелится,
 И странно! изъ потухшихъ глазъ *
 Слеза свинцовая катится...
 Какъ много значилъ этотъ звукъ!
 Мечты забытыхъ упоеній,
 Вѣка страданія и мукъ,
 Вѣка безплодныхъ размышленій—
 Все оживилось въ немъ—и вновь
 Погибшій вѣдаетъ любовь.

М.

О чемъ ты близъ меня вздыхаешь?
 Чего ты хочешь получить?
 Я покаялась давно, ты знаешь,
 Земныя страсти позабыть...
 Кто ты?... Мольба твоя напрасна...
 Чего ты хочешь.

Д.

Ты прекрасна.

М.

Кто ты?

Д.

Я демонъ. Не страшись,
 Святости здѣшней не нарушу!
 И о спасеніи не молись:
 Не искусить пришелъ я душу.
 Сгорая жаждою любви,
 Несу къ ногамъ твоимъ моленія,

* И что же? Изъ померкшихъ глазъ.

Земныя первыя мученья
И слезы первыя мон.

Значительно далѣе, въ рукописяхъ Лермонтова, послѣ стихотворенія Литвинка, находится замѣтка: «Демонъ. Сюжетъ.—Во время изгнания евреевъ въ Вавилонъ (изъ Библии). Еврейка. Отецъ слѣпой.—Онъ въ первый разъ видитъ ее спящую. Потомъ она поетъ отцу про старину и про близость ангела — какъ прежде. Еврей возвращается на родину. Ея могила на чужбинѣ.»

ВТОРОЙ ОЧЕРКЪ ДЕМОНА

[ПИСАНО ВЪ ПАНСИОНѢ, ВЪ НАЧАЛѢ 1830 ГОДА].

Cain. Who art thou?

Lucif. Master of spirits.

Cain. And being so canst thou

Leave them and walk with dust?

Lucif. I know the thoughts

Of dust, and feel for it, and wirth you.

Cain. Are ye happy?

Luc. We are mighty.

Cain. Are ye happy?

Luc. No: art thou?

1.

Печальный Демонъ, духъ изгнанья,
Блуждаеъ подъ сводомъ голубиныхъ
И лучшихъ дней воспоминанья
Чредой тѣснились передъ нимъ.
Тѣхъ дней, когда онъ не былъ злымъ,
Когда глядѣлъ на славу Бога,
Не отвращаясь отъ него;
Когда заботы и тревога
Чуждались ума его,
Какъ дна боится мракъ могилы...
И много, много... и всего
Представить не имѣлъ онъ силы.

Уныло жизнь его текла
Въ пустынѣ міра. Безконечность
Его тревожить не могла,
Онъ равнодушно видѣлъ вѣчность,
Не знаа ни добра ни зла,
Губя людей безъ всякой нужды.
Ему желанья были чужды.

Онъ жегъ печатью роковой.
 Все то, къ чему ни прикисался:
 И часто демонъ молодой
 Своимъ злодѣйствамъ не смѣлся.
 Боясь лучей, бѣжалъ онъ тьму;
 Душой измученною боленъ,
 Ничѣмъ не могъ онъ быть доволенъ,
 Все горько сдѣлалось ему;
 И все на свѣтѣ презирая,
 Онъ жилъ, не вѣря ни чему
 И ничего не признавая.

2.

Однажды вечеромъ межъ скалъ
 И надъ сѣдой равниной моря,
 Одинъ безъ радости, безъ горя,
 Бѣглецъ эдема пролеталъ
 И грѣшнымъ взоромъ созерцалъ
 Земли пустынные равнины.
 И зрить: бѣдѣютъ подъ горой —
 Стѣна обители святой
 И башенъ странныя вершины.
 Межъ бѣдныхъ келій тишина.
 Встаетъ багровая луна.
 И въ усиленную обитель
 Вступаетъ мрачный искуситель.
 Вдругъ тихій и прекрасный звукъ,
 Подобный звуку лютни, внемлетъ
 И чей-то голосъ. Жадный слухъ
 Онъ напрягаетъ. Хладъ объемлетъ
 Чело... Онъ хочетъ прочь тотчасъ —
 Его крыло не шевелится
 И—чудо!—изъ померкшихъ глазъ
 Слеза свинцовая катится...
 Понимѣ возлѣ кельи той
 Насквозь проженный виденъ камень
 Слезою, жаркою какъ пламень,
 Не человѣческой слезой.

3.

Какъ много значить этотъ звукъ!
 Вѣка минувшихъ упоеній,
 Вѣка изгнанія и мукъ,

Вѣка безплодныхъ размышленій:
Все оживилось въ немъ опять;
Но что жъ? Ему не воскресать
Для нѣжныхъ чувствъ.... Такъ, если мчится
По небу лѣтнему порой
Отрывокъ тучи громовой,
И лучъ случайно отразится
На сумрачныхъ краяхъ, она
Тотъ блескъ мгновенный презираетъ,
И дальше, дальше улетаетъ,
Холодной гордостью полна.

Проникнулъ въ келью духъ смущенный.
Людскаго счастья тайный воръ
Минуя образъ позлащенный,
Какъ будто видя въ немъ укоръ,
Со страхомъ отвращаетъ взоръ.
Онъ зрѣть божественныя книги,
Лампаду, четки и вериги...
Но гдѣ же звуки? гдѣ же та,
Къ которой сильная мечта
Его влечетъ?...

Она сидѣла
Оъ испанской лютнею въ рукахъ,
И пѣсню горъ, играя, пѣла;
И все, и все въ ея чертахъ
Земной безпечностью дышало;
И кольца мягкія кудрей
Обѣгали, будто покрывало,
На вѣки блѣдныя очей.
Исполнена какой-то думой
Младая волновалась грудь.
Вотъ поднялась. На сводъ угрюмый
Она задумала взглянуть.
Какъ звѣзды омраченной дали
Глаза монахини сіяли...
Ея лилейная рука,
Бѣла, какъ утромъ облака,
На черномъ платьѣ отдѣлялась;
И отвѣчали струны ей,
Что дальше, то нѣжнѣй, нѣжнѣй.
Тоской раскаянья, казалось,
Была та пѣсня сложена.

Межъ тѣмъ, какъ путникъ любопытный,
Въ окно, участіемъ полна,
На дѣву, жертву грусти скрытной,
Смотрѣла ясная луна.

Окованъ сладкою игрою,
Стоялъ злой духъ. Ему любить
Не должно сердца допустить.
Онъ связанъ клятвой роковою.

[И эту клятву молилъ онъ,
Когда блистающій Сіонъ
Оставилъ съ гордымъ сатаною].

.....
.....*

Онъ искушать хотѣлъ—не могъ;
Не находилъ въ себѣ искусства;
Забить—забвенья не далъ Богъ;
Любить—не доставало чувства.
Что дѣлать? Новыя мечты **
И чуждыя понинѣ муки!
Такъ, демонъ, слыша эти звуки,
Земную страсть извѣдалъ ты.
Ты плакалъ горькими слезами,
Глядя на милый свой предметъ,

* Точки въ рукописи.

** Слѣдующіе 14 стиховъ написаны вмѣсто зачеркнутыхъ:

Онъ былъ бы для любви готовъ
Оставить полкъ своихъ духовъ,
И безъ могущества, безъ силъ,
Скитаться посреди міровъ,
Какъ трупъ вампира, изъ могилъ
Исторгнись, бродить межъ людей,
Страшилищемъ вѣсныхъ ночей...
Легокъ, какъ падающій снѣгъ
По вѣтру, средъ зимы холодной,
Мой демонъ, волею свободный,
Летучій направляетъ бѣгъ—
Прочь, прочь отъ мѣста, гдѣ впервые
Земныя слезы уронилъ
Нарушилъ клятвы роковыя
И князи бездны раздражилъ.

О томъ, что цѣнь лежитъ межъ вами,
 Что пламя въ мертвомъ сердцѣ нѣтъ;
 Когда ты зналъ, что не принудить
 Его минута полюбить,
 Что даже скоро, можетъ быть,
 Она твоею жертвой будетъ.

И удалиться онъ спѣшилъ
 Отъ этой кельи, гдѣ впервые
 Нарушилъ клятвы рововъ
 И князя бездны раздражилъ.
 Но прелесть звуковъ и видѣнья
 Остались на душѣ его,
 И въ памяти сего мгновенья
 Ужъ не изгладить ничего...

4. *

Спусти сто лѣтъ, пергаментъ пыльный
 Между развалинъ отыскалъ
 Какой-то странникъ; онъ узналъ
 Что это памятникъ могильный
 И съ любопытствомъ прочиталъ
 Онъ монастырскія преданья
 О жизни дѣвы молодой,

* Эта строфа, написана послѣ первоначальной, зачеркнутой:

Но кто жъ она? Зачѣмъ сокрыта
 Въ пустынѣ межъ высокихъ стѣнъ?
 Иль это добровольный плѣнъ,
 И ея радость позабыта?
 Иль краска черная одеждъ
 Съ ея душой была согласна?
 Ея исторія ужасна,
 Какъ вспоминанье безъ надеждъ.
 Она отца и мать не знала,
 И люльку дѣтскую ее
 Старушка чуждая качала...
 Но это ль бѣдное житье,
 Любовь ли сердце испугала,
 Опасность ли—о томъ узнать
 Никто не думалъ испытать... и пр. [20 стиховъ].

И имъ повѣрилъ, и порой
Жаглы объ ней въ часы мечтанья.
Онъ перевелъ на свой языкъ
Разсказъ таинственный. Но свѣту
Не передамъ я повѣсть эту:
Цѣнить онъ чувства не привыкъ!

5.

Печальный демонъ удалися
Отъ силъ адской съ этихъ поръ,
Онъ на хребетъ далекихъ горъ
Въ ледяный гротъ переселился,
Гдѣ подъ снѣгами хрустали
Корой огнистою леги,
Природы дивныя творенья.
Ея причудливой игры
Онъ наблюдаетъ измѣненья:
Состава свѣтлые шары,
Онъ ихъ по вѣтру посылаетъ,
Велитъ имъ путнику блеснуть,
И надъ болотомъ освѣщаетъ
Заглохшій, невъзмалый путь.
Когда метель гудитъ и свищетъ
Онъ охраняетъ пришлеца,
Сдуваетъ снѣгъ съ его лица
И для него защиту ищетъ...
И часто, подымая прахъ,
Въ борьбѣ съ летучимъ ураганомъ,
Одѣтый молнией и туманомъ,
Онъ дико мчится въ облакахъ,
Чтобы въ толпѣ стихій мятежной
Сердечный ропотъ заглушить,
Спасти отъ думы неизбежной
И незабвенное забыть.
Но все не то его тревожитъ,
Что прежде; тотъ желѣзный сонъ
Прошелъ... Любить онъ можетъ... можетъ...
И въ самомъ дѣлѣ любить онъ.
И хочетъ въ путь опять пускаться,
Чтобъ съ милой дѣвой повидаться,
Чтобъ разъ ей въ очи поглядѣть
И невозвратно улетѣть...

6.

Едва блестящее свѣтило
 На небо юное взошло,
 И моря синее стекло
 Лучами утра озарило,
 Какъ демонъ видѣлъ предъ собой
 Стѣну обители святой,
 И башни бѣлыя, и келью,
 И подъ рѣшотчатымъ окномъ
 Цвѣтущій садикъ. — И кругомъ
 Обходить демонъ; но веселью
 Онъ недоступенъ; тайный страхъ
 Въ ледяныхъ свѣтится глазахъ...
 Вотъ дверь простая передъ ними.
 Томяся муками живыми,
 Онъ долго медилъ, онъ не могъ
 Переступить черезъ порогъ,
 Какъ будто бы онъ тамъ погубить,
 Что на минуту отдавъ рокъ...
 Теперь лишь видно, что онъ любить!
 Теперь лишь признаки любви:
 Волненіе надеждъ несмысленныхъ
 И пламень неземной крови —
 Видны въ чертахъ окаменѣлыхъ!...

Все тихо. Вдругъ услышалъ онъ
 Давно знакомый лютни звонъ;
 Слова пѣвицы вдохновенной
 Лились какъ свѣтлая струя;
 Но не понравились они
 Тому, кто съ думой дерзновенной
 Искалъ надежды и любви.

ПѢСНЬ МОНАХИНИ.

Какъ парусъ надъ бездной морской,
 Какъ подъ вечеръ золотая звѣзда,
 Явился мнѣ ангелъ святой;
 Не забуду его никогда.

Къ другой онъ летѣлъ, иль ко мнѣ:
 Я напрасно бѣ старалась узнать.
 Быть можетъ, то было во снѣ...
 Ахъ! всю жизнь такъ нельзя ли мнѣ спать. *

* О, затѣмъ долженъ сонъ улетать.

Тебя лишь любила, Творецъ,
Я понинѣ съ младенческихъ дней;
Но видитъ душа наконецъ,
Что другое готовилось ей.

Виновна я быть не должна:
Я горю не любовью земной;
Чиста какъ мой ангелъ она,
Мысль о немъ неразлучна съ тобой!

Онъ отблескъ сіяній твоихъ,
Ты украсилъ чело его самъ;
Явился онъ мнѣ лишь на мигъ—
Но за вѣчность тотъ мигъ не отдамъ.

Онъ въ сладкомъ снѣ

Явился мнѣ;

Онъ будетъ для меня всегда

Звѣзда

Надеждъ въ иной странѣ.

Моей виной,

Создатель мой,

Любовь къ нему не можетъ быть;

Любить

Приказано тобой!

7.

Умолила. Вѣтеръ моря холодный
Послѣдній звукъ унесъ съ собой.
Непобѣдимую судьбой
Гонимый, демонъ безотрадный
Проникнулъ въ келью. Что же онъ
Не привлечетъ ея вниманья?
Зачѣмъ не пѣетъ ея дыханья?
Не вздохъ любви—могильный стонъ,
Какъ эхо, изъ груди разбитой
Протяжно вышелъ наконецъ,
И сердце, яростью обито,
Отяжелѣло какъ свинецъ.
Его рука остановилась
На воздухѣ. Сведенный перстъ
Оледенѣлъ; хотъ взоръ отверстъ,
Въ немъ ничего не отразилось,
Кромѣ презрѣнья—но къ чему?
Что показалось ему?

8.

Посланникъ рай, ангелъ нѣжный,
 Въ одеждѣ дымной, бѣлоснѣжной,
 Стоялъ съ блистающимъ челомъ
 Вблизи монахини прекрасной,
 И отъ врага съ улыбкой ясной
 Пріосѣнилъ ее крыломъ.
 Они счастливы, святѣ оба!...
 И мщенье, ненависть и злоба
 Взыграли демонской душой.
 Онъ вышелъ твердою стопой.
 Онъ вышелъ. Сколько чувствъ различныхъ,
 Съ давившихъ дѣтъ ему привычныхъ,
 Въ душѣ тѣснятся! Сколько думъ
 Мѣняетъ безпокойный умъ!
 Красавицѣ погибнуть надо.
 Ее не пощадить онъ вновь.
 Погибнетъ!—Прежняя любовь
 Не будетъ для нея оградой!...

9.

Какъ жалко! онъ уже хотѣлъ
 На путь спасенія возвратиться,
 Забыть толпу недобрыхъ дѣлъ,
 Позволить сердцу оживиться.
 Творцу природы, можетъ быть,
 Внушилъ бы демонъ сожалѣнье,
 И благодатное прощенье
 Ему бъ случилось получить.
 Но поздно! сынъ безгрѣшный рай
 Вдругъ разбудилъ мятежный умъ.
 Кипитъ онъ, ревностью пылая,
 Явилась снова воля злая
 И адъ преступныхъ черныхъ думъ. *

* После этого были написаны, но потомъ зачеркнуты слѣдующіе стихи:

И вотъ, облекшись въ образъ томный,
 Обманчивый онъ принялъ видъ:
 Онъ юноша печальный, скромный;
 Какой-то тѣнью взоръ облитъ;
 Его опущенныя крылья
 Объяты участью бессилы;
 На головѣ вѣнецъ златой
 Померкнуть и покрылся мглой.

Онъ образъ смертный принимаетъ
 Вънець чело его ласкаетъ
 И очи черныя горять...
 Но что жъ? Очей тѣхъ пламень — ядъ.
 Онъ ждетъ, у стѣнъ святыхъ блуждая,
 Когда останется одна
 Его монахиня младая:
 Когда несомная луна
 Взойдетъ, пустыню озарая;
 Онъ ожидаетъ часъ глухой,
 Текущій подъ полною мглою,
 Часъ тайныхъ встрѣчъ и наслажденій
 И незамѣтныхъ преступленій.
 Онъ въ ней прокрадется туда,
 Подъ сѣнь обители уснувшей,
 И тамъ погубить навсегда
 Предметъ любви своей минувшей!

10.

Лампада въ кельи чуть горитъ.
 Лукавый съ дѣвою сидитъ,
 И чудный страхъ ее объемлетъ;
 Она, какъ смерть блѣднѣя, внемлетъ.

ОНА.

Страстей волненье позабыть
 Я поклялась давно, ты знаешь?
 Въ чему жъ теперь меня смущаешь?
 Чего ты хочешь получить?
 О, кто ты? рѣчь твоя опасна!
 Чего ты хочешь?

ДУХЪ.

Ты прекрасна!

ОНА.

Кто ты?

ДУХЪ.

Я демонъ. Не страшись,
 Святини здѣшней не нарушу!
 И о спасеньи не молись —
 Не искусить пришелъ я душу.
 Въ твоимъ ногамъ, томясь въ любви,
 Несу покорныя мученья,
 Земныя первыя мученья

И слезы первыя мои.
 Не разставляя я людямъ сѣти
 Съ толпою грозной злыхъ духовъ:
 Брожу одинъ среди міровъ
 Несмѣтное число столѣтій.
 Не выжимай изъ груди стонъ,
 Не отгоняй меня укоромъ:
 Несправедливымъ приговоромъ
 Я на изгнанье осужденъ.
 Не знаа радости минутной,
 Живу надъ моремъ и межъ горъ,
 Какъ перелетный метеоръ,
 Оставленъ всѣми, неприютный.
 И слишкомъ гордъ я, чтобъ просить
 У Бога вашего прощенья.
 Я полюбилъ мои мученья
 И не могу ихъ разлюбить.
 Но ты, ты можешь оживить
 Своей любовью непритворной
 Мою томительную тѣнь
 И жизни скучной и позорной
 Непролетающую тѣнь....

.....
 Такъ говоритъ онъ и рукою
 Онъ трепетную руку жаль
 И поцѣлуями порою
 Плечо дѣвицы покрывалъ;
 Она противиться не смѣла,
 Слабѣла, таяла, горѣла
 Отъ неизвѣстнаго огня,
 Какъ бѣлый снѣгъ отъ взоровъ дня....

11.

Въ часъ суровой не погоды,
 Въ осенній день, когда межъ скалъ,
 Пѣнясь, крутась, шумѣли воды,
 Восточный вѣтеръ бушевалъ,
 И темносѣрыми рядами
 Неслися тучи небесами:
 Зловѣщій колокола звонъ,
 Какъ умирающаго стонъ,
 Раздался глухо надъ волнами.

Къ чему манить отшельницъ онъ?...

Не на молитву поспѣшали

Въ обширный и высокій храмъ,

Не двумъ счастливымъ женихамъ

Свѣчи дрожащія пылали:

Въ среднѣй церкви гробъ стоялъ,

Въ гробу мертвецъ лежалъ безгласный,

И рядъ монахинь окружалъ

Тотъ гробъ съ недвижностью безстрастной.

Зачѣмъ не слышенъ плачь родныхъ

И не видать во храмъ ихъ?

И кто мертвецъ? Едва приметный

Остатокъ прежней красоты

Являютъ мертвыя черты,

Уста закрытыя безцвѣтны,

И въ сердцѣ пылкой страсти ядъ

Сии глаза не поселять,

Хотя еще весьма недавно

Владѣли бурною душой,

Неизъяснимой, своенравной,

Въ борьбѣ безумной и неравной

Незнавшей власти надъ собой.

За часъ до горестной кончины,

Когда сырая ночи мгла

На усыпленными долины

Сребристой дымкою легла,

Духовника на мигъ единый

Младая дѣва призвала,

Чтобъ жизни грѣшныя дѣянья

Открыть съ слезами покаянья.

Пришелъ исповѣдникъ. Но вдругъ

Его безумный хохоть встрѣтилъ.

Онъ на лицѣ ея замѣтилъ

Бореніе послѣднихъ мукъ.

На предстоящихъ не взиралъ,

Шептала дѣва молодая:

«О!... демонъ!... о, коварный другъ!

Своими сладкими рѣчами...

Ты... бѣдную... заморозилъ...

Ты былъ любимъ и не любилъ,

Ты бѣ могъ спастись, а погубилъ...

Проклятье сверху, мракъ подъ нами!»

Но кто безжалостный злодѣй,
Губитель дѣвушки предестной —
Тогда не понялъ старецъ честный,
И жизнь монахини моей
Осталась людямъ неизвѣстной...
Но говорить, какъ принесли
Къ могилѣ трупъ ея печальной,
И хоръ раздался погребальной,
И горсть прощальная земли
О крышку гроба застучала,
Надъ нимъ, всѣ видѣтъ то могли,
Тѣнь безпокойная летала.

12.

Съ тѣхъ поръ протичало много лѣтъ;
Пустѣла тихая обитель,
И время, общій разрушитель,
Смывало постепенно слѣдъ
Высокихъ стѣнъ... И храмъ священный
Сталъ жертва бури и дождей.
Изъ двери въ дверь во мгли ночей
Влущдаетъ вѣтръ освобожденный;
Внутри на ликахъ росписныхъ
И средь разсѣлинъ стѣнъ сѣдыхъ
Большой паукъ, пустынникъ новый,
Кладетъ сѣтей своихъ основы.
Оббѣгаючи со скалъ крутыхъ,
Случалось, лань, дитя свободы,
Пріютъ отъ зимней непогоды
Искала въ кельи—и порой
Забитой утвари паденье,
Среди развалины глухой,
Вдругъ приводило въ удивленье
Ее... Но нынче ни чему
Нельзя встревожить тишину:
Что можетъ падать, то упало,
Что мретъ, то умерло давно,
Что живо, то безсмертно стало,
Но время въ живѣ удержало
Воспоминаніе одно...
И море пѣнится и злится,
И сильно плещетъ и шумитъ,

Когда волнами устремится
Обнять береговой гранитъ;
Онъ вдался въ море одиноко;
На немъ чернѣетъ крестъ высокой.
Всегда скалой отражена,
Покрыта пѣной бѣлоснѣжной,
Тѣснится у волны волна,
И слышнень ропотъ ихъ мятешной;
И удаляются толпой,
Другимъ предоставляя бой.

18.

Надъ тѣмъ крестомъ, надъ той скалою,
Однажды, утренней порою,
Съ глубокой думою стоялъ
Дитя эдема, ангелъ мирной,
И слезы молча утиралъ
Своей одеждою сапфирной.
И кудри мягкія какъ ленъ
Съ главы вѣнчанной упали,
И крылья легкія какъ сонъ
За бѣлыми плечми сіяли.
И былъ небесный сводъ надъ нимъ
Украшенъ радугою цвѣтистой,
И волны съ пѣной серебристой,
Съ какимъ-то трепетомъ живымъ,
Къ скаламъ тѣснились вѣковымъ.
Все было тихо. Взоръ унылый
На небо поднималъ ангелъ милый,
И съ непонятною тоской
За душу грѣшницы молодой
Творцу молился онъ, и мнилось—
Природа вмѣстѣ съ нимъ молилась...

Тогда надъ синей глубиной,
Духъ гордости и отверженья,
Безъ цѣли мчался съ быстротой;
Но ни раскаянья, ни мщенья,
Не изъавлялъ угрюмый ликъ:
Онъ побѣждать себя привыкъ;
Не для другихъ его мученья!
Онъ близъ могилы промелькнулъ
И, взоръ презрительный кидая,

Посла потеряннаго рая
Улыбкой горькой упрекнулъ...

Я не для ангеловъ и рай
Всесильнымъ Богомъ сотворенъ;
Но для чего живу, страдаю,
Про это больше знаетъ онъ.

Какъ демонъ мой, я зла избранныкъ,
Какъ демонъ, съ гордою душой,
Я межъ людей безпечный странникъ,
Для міра и небесъ чужой.

Прочтя, мою съ его судьбою
Воспоминаніемъ сравни,
И вѣрь безжалостной душою,
Что мы на свѣтѣ съ нимъ одни.

ТРЕТІЙ ОЧЕРКЪ ДЕМОНА.

1831.

По голубому небу пролеталъ
Однажды демонъ. Съ злобою нѣмой
Онъ въ непредѣльность грустный взоръ кидалъ
И воспоминанья передъ нимъ толпой
Тѣснились. Это небо, гдѣ творецъ
Внималъ его хваламъ, и наконецъ,
Проклятыямъ, эти звѣзды... все кругомъ
Прекрасно, въ блескѣ вѣчномолодохъ,

Какъ было въ тотъ святой, великій часъ,
Когда отъ мрака отдѣлился свѣтъ,
И, ангелъ радостный, онъ въ первый разъ
Взглянулъ на будущность. И сколько лѣтъ,
И сколько тысячъ лѣтъ съ тѣхъ поръ прошло!
И онъ уже не тотъ. Его чело
Померкло... Онъ одинъ... одинъ... одинъ...
Врагъ счастья и порока властелинъ.

Изгнанникъ, для чего тоскуешь ты
О томъ, что невозвратно? Но пускай!
Не воскресивъ душевной чистоты,
Ты не найдешь потерянный свой рай!
Напрасно обращенъ преступный взоръ
На небеса: ихъ свѣтъ—тебѣ укоръ.
— Будь гордъ, старайся мстить, живи губя.—
Но что жъ! и зло не радуешь тебя?

И часто, очень часто людямъ онъ
Завидовалъ. «У нихъ надежда есть
На искупленье, на могильный сонъ.
Всѣ ихъ несчастья легче перенести
Одной палящей капли адскихъ мукъ.
И вѣчность [это слово, этотъ звукъ,
Который значить все]—имъ не страшна.
Нѣтъ, вѣчность для рабовъ не создана!»

Такъ мыслилъ демонъ. Медленно крыломъ,
Спускаясь на землю, разсѣвалъ
Онъ воздухъ. Все цвѣло въ краю земномъ:
Весенній день, краснѣя, догоралъ.
Растенія и волны вѣтеркомъ
Колеблемы, негрѣющимъ лучемъ
Казались зажжены. Туманъ сырой
Ревниво поднимался надъ землею.

И только крестъ пустынный, наконецъ,
Стоящій на горѣ, едва вдали
Блестѣлъ... и гаснетъ! Звѣздный свой вѣнецъ
Надѣла ночь. Въ молчаніи текли
Свѣтила неба въ этотъ мирный часъ,
Но въ ихъ молчаньи есть понятный гласъ!
О будущемъ пророчествуетъ онъ.
Вотъ встала и луна. Повсюду сонъ.

Свѣти, свѣти, прекрасная луна!
Природа любить шаръ твой золотой:
Въ его сіяньи нѣжится она,
Одѣтая полупрозрачной мглой.
Но человѣка любишь ты дразнить
Несбыточной мечтой. Какъ не грустить,
Когда на насъ ты льешь свой бѣдный свѣтъ,
Ты—памятникъ всего, чего ужъ нѣтъ!

При окончаніи это отрывка Лермонтовъ написалъ: «Я хотѣлъ описать эту поэму въ стихахъ, но нѣтъ—въ прозѣ лучше.»

ДВА ПОСВЯЩЕНІЯ ПОЭМЫ «ДЕМОНЪ».

1831.

I.

Прими мой даръ, моя Мадона!
Съ тѣхъ поръ, какъ мнѣ явилась ты,
Моя любовь мнѣ оборона
Отъ порицаній клеветы.

Такой любви нельзя не вѣрить,
 А взоръ не скроешь ничего:
 Ты неспособна лицемерить,
 Ты слишкомъ ангелъ для того!

Скажу ли?—преданъ самовластью
 Страстей печальныхъ и судьбѣ,
 Я счастьемъ не обязанъ счастью,
 Но всѣмъ обязанъ я—тебѣ.

Какъ демонъ хладный и суровый,
 Я въ мірѣ веселился зломъ;
 Обманы были мнѣ не новы,
 И ядъ былъ на сердцѣ моемъ.
 Теперь, какъ мрачный этотъ геній,
 Я близъ тебя опять воскресъ
 Для непорочныхъ наслажденій,
 И для надеждъ, и для небесъ.

II.

Я кончилъ—и въ груди невольное сомнѣнье:
 Займетъ ли вновь тебя давно знакомый звукъ,
 Стиховъ невѣдомыхъ задумчивое пѣнье,
 Тебя, забывчивый, но незабвенный другъ?

Пробудится ль въ тебѣ о прошломъ сожалѣнье?
 Иль, быстро пробѣжавъ докучную тетрадь
 Ты—только мертвого, пустаго одобренья
 Наложилъ на нее тяжелую печать,
 И не узнаешь здѣсь простаго выраженья
 Тоски, мой бѣдный умъ томившей столько лѣтъ,
 И примешь за игру, иль сонъ воображенья
 Больной души тяжелый бредъ!

ЧЕТВЕРТЫЙ ОЧЕРКЪ ДЕМОНА. *

1832.

ЧАСТЬ I.

2.

Въ пустынь міра онъ блуждалъ
 Давно безъ цѣли, безъ пріюта...

* Этотъ очеркъ представляетъ одну изъ послѣднихъ передѣлокъ поэмы.
 Въ немъ еще сохранились многіе стихи и цѣлыя строфы двухъ первоначальныхъ очерковъ, откинутые въ послѣдствіи при окончательной отдѣлкѣ.

Вослѣдъ за вѣкомъ вѣкъ бѣжалъ,
 Какъ за минутою минута
 Однообразной чередой.
 Ничтожной властвуя землей,
 Онъ сѣялъ зло безъ наслажденья,
 Нигдѣ искусству своему
 Онъ не встрѣчалъ сопротивленья
 И зло наскучило ему.
 И, побѣдивъ свое презрѣнье,
 Онъ замѣшался межъ людей,
 Чтобъ ядомъ пагубныхъ рѣчей
 Убить въ нихъ вѣру въ провидѣнье—
 Но до него, какъ и при немъ,
 Ужъ вѣры не было ни въ комъ.
 И полонъ скуки непонятной,
 Онъ скоро кинулъ міръ развратный
 И на хребетъ пустынныхъ горъ
 Переселился съ этихъ поръ.
 Тамъ надъ жемчужнымъ водопадомъ
 Себѣ пещеру отыскалъ,
 Въ природу вникъ глубокимъ взглядомъ,
 Душою жизнь ея объялъ.
 Какъ часто на вершинѣ льдистой,
 Одинъ межъ небомъ и землей,
 Какъ царь съ развѣнчанной главой,
 Подъ кровомъ радуги огнистой;
 Сидѣлъ онъ—мрачный и нѣмой,
 И бѣлогривыя метели,
 Какъ львы у ногъ его ревѣли.

3.

Уныло жизнь его текла
 Въ пустынѣ міра—и на вѣчность
 Онъ приглядѣлся; но была
 Мучительна его безпечность.
 Путемъ назначеннымъ судьбой
 Онъ равнодушно подвигался;
 Онъ жегъ печатью роковой
 Все то, къ чему ни прикасался.
 Смѣясь надъ зломъ и надъ добромъ,
 Стыдясь надеждъ, стыдясь боязни,
 Онъ съ гордымъ встрѣтилъ бы челомъ
 Прощенья гласъ, какъ слово казни.

Онъ жилъ забыть и одинокъ—
Грозой оторванный листокъ—
Безъ упованья, презирая
И свѣтъ небесъ и ада тьму,
Не вѣря въ жизни ни чему,
И ничего не признавая.

4.

Надъ утомленною землею
Остатки старыхъ поколѣній
Смѣнялись новою толпою
Живыхъ заботливыхъ твореній,
Но тщетны были для дѣтей
Отцовъ и праотцевъ уроки:
У переменчивыхъ людей
Не измѣнялися пороки!
Все также грозныя слова,
Храня старинныя права,
Умы безумцевъ волновали;
Все также мелкія печали
Ничтожныхъ жителей земныхъ
Смѣшнымъ казались подражаньемъ:
Не предназначеннымъ для нихъ,
Инымъ, возвышеннымъ страданьямъ.

5.

Какъ черный саванъ, на землѣ
Лежала ночь... Вились туманы
По гребнямъ горъ; на ихъ челѣ
Гнѣздились, какъ великаны,
Громады черныхъ облаковъ,
И вѣчно роищее море
Гуляло мирно на просторѣ
Между высокихъ береговъ.

6.

О море, море!... Какъ прекрасны
Въ блестящій день и въ донь ненастный
Его и ревъ и тишина!...
Покрыта бѣлыми кудрями,
Какъ серебромъ и жемчугами,
Несется гордая волна,
Толпою слугъ окружена,
И, какъ царица молодая,
Течетъ одна между рабовъ,

Ихъ скромныхъ просьбъ, ихъ нѣжныхъ словъ
 Не слушая, не понимая...
 Какъ я люблю съ давнишнихъ поръ
 Слѣдить ихъ буйныя движенія,
 И толковать ихъ разговоръ,
 Живой и полный выраженія;
 Люблю упорный этотъ бой
 Съ суровымъ небомъ и землею,
 Люблю безпечность ихъ свободы,
 Цѣпей не знавшей никогда,
 Ихъ безконечныя походы
 Богъ вѣсть откуда и куда,
 И въ часъ заката молчаливый
 Ихъ раззолоченныя гривы
 И безполезный этотъ шумъ,
 И эту жизнь безъ дѣлъ и думъ,
 Безъ гроба и безъ колыбели,
 Безъ мукъ, безъ счастья, безъ цѣли...

Остальныя строфы 1-й части (7 — 20) сходны съ соответствующими имъ [ш — хvi], напечатанными въ текстѣ; измѣненія встрѣчаются только въ 13, 16 и 19 [соответствующихъ ix, xi и xv текста]:

13. Въ немъ чувство вновь заговорило
 Роднымъ когда-то языкомъ.
 Тогда, исполненный досады
 На этотъ мигъ живой отрады,
 Быть можетъ, посланный творцомъ,
 Какъ бы страхася искушенья,
 Духъ отрицанья и сомнѣнья
 Закрылъ глаза свои крыломъ.
 То былъ ли признать возрожденья?... и пр. (с. 44).
16. Затихло все... тѣснилась толпой
 На трупъ всадниковъ порой,
 Верблюды съ ужасомъ глядѣли,
 И глухо въ тишинѣ стеной
 Ихъ колокольчики звенѣли... и пр. (с. 46).
19. «Имъ въ грядущемъ нѣтъ желанья,
 «Имъ прошедшаго не жаль;
 «Дѣти вольности воздушной,
 «Безъ желаній, безъ страстей,
 «Смотрять гордо, равнодушно
 «На волненія людей;
 «Въ день томительный несчастья... и пр. (с. 49).

ЧАСТЬ II.

3.

Въ прохладѣ, межъ двумя холмами,
 Таится монастырь святой;
 Чинарь и тополей радами
 Онъ окруженъ былъ — и порою
 У стѣнъ его, прохлады полны,
 Одвообразно бились волны;
 Кругомъ его густыхъ деревъ
 Сплелись кудрявыя вершины,
 И кое гдѣ изъ ихъ срединъ,
 Стремясь достать до облаковъ,
 Встаетъ, бѣлѣя, остовъ длинный
 Зубчатой башни, и надъ ней —
 Символъ спасенія забвенный —
 Чернѣть ржавый крестъ, согбенный
 Напоромъ бури и дождей.
 Когда жъ ложилась ночь въ ущельи —
 Внутри мелькала въ окнахъ кельи
 Лампада схиимицы молодой... *

8.

Какъ много значилъ этотъ звукъ!
 Вѣка минувшихъ упоеній,
 Вѣка изгнанія и мукъ,
 Вѣка безплодныхъ размышленій
 О настоящемъ, о быломъ —
 Все разомъ отразилось въ немъ.
 Къ чему?... одной минутой раю
 Не оживетъ душа пустая!...
 Безсильно свѣтлый лучъ зари
 На темной тучѣ не гори:
 Тебѣ вѣдь съ ней не подружиться:
 Ей ждать нельзя, она умчится,
 Она громовою стрѣлой
 Затмитъ покровъ твой золотой.

9.

И входитъ онъ, любить готовый,
 Съ душой открытой для добра,

* Далее — какъ напечатано въ текстѣ, стр. 52—56.

И мыслить онъ, что жизни новой
Пришла желанная пора.
Неясный трепетъ ожидавъ,
Страхъ неизвѣстности нѣмой,
Какъ будто въ первое свиданье,
Спознались съ гордою душой.
Проникнувъ въ келью, духъ смущенный,
Минуя образъ позлащенный,
Какъ будто видя въ немъ укоръ,
Со страхомъ отвращаетъ взоръ;
Въ углу изъ мрамора Мадона,
Лампада мѣдная предъ ней,
На головѣ ея корона
Изъ розъ душистыхъ и лилей,
У стѣнки дѣвственное ложе
[Луна, смѣясь, въ окно глядитъ].
А у окна... всесильный Боже!...
Что съ нимъ?... онъ мѣлетъ... онъ дрожить...
По звонкимъ струнамъ ударяя,
Блѣдна, озарена луной,
Въ одеждѣ черной, власяной—
Она, монахиня молодая,
Сидѣла молча передъ нимъ,
Объята жаромъ вдохновенья
Мила, какъ первый херувимъ,
Какъ звѣзды, первыя творенья...
Въ большихъ глазахъ ея порой
Невнятно говорило что-то
Невыразимою тоской,
Неизъяснимою заботой...
Полураскрыты уста
Живые изливали звуки;
Въ нихъ было все: моленья, муки,
Слова надеждъ, слова разлуки,
И дѣтскихъ мыслей простота...
И грудь высоко поднималась,
И обнаженная рука —
Бѣлѣй, чѣмъ утромъ облака —
Къ струнамъ, какъ вѣтеръ, прикасалась...
Духъ отверженія и зла
Стоялъ недвижимъ у порога;
Не смѣлъ онъ приподнять чела,

Страшася въ ней увидѣть Бога!
 Но взоръ онъ поднялъ: передъ нимъ
 Посланникъ рая—херувимъ,
 Хранитель грѣшницы прекрасной,
 Стоитъ, съ блистающимъ челомъ
 И отъ врага съ улыбкой ясной
 Приосѣнилъ ее крыломъ.
 Они счастливы, святы оба!...
 Довольно! ненависть и злоба
 Въ его душѣ разыграли вновь...
 Свершилось! онъ опять таковъ,
 Какимъ явился межъ рабовъ
 Великому царю вселенной
 Въ часы той битвы незабвенной,
 Гдѣ на презрѣнное чело
 Проклятыя вѣчное легло!
 И лучъ божественнаго свѣта
 Вдругъ ослѣпилъ нечистый взоръ,
 И вмѣсто мирнаго привѣта
 Раздался тягостный укоръ.

11. *

ТАМАРА.

Я покаялась давно, ты знаешь,
 Забыть волненія страстей;
 Къ чему жъ теперь меня смущаешь
 Любовью страстною своей?...
 О, кто ты? рѣчь твоя опасна!...
 Тебя послалъ мнѣ адъ иль рай?
 Чего ты хочешь?... **

ДЕМОНЪ.

.... Что безъ тебя мнѣ эта вѣчность?
 Моихъ владѣній безконечность?
 Пустыя, звучныя слова,
 Обширный храмъ безъ божества!
 Не искушать пришелъ я душу;
 Ты о спасеніи не молишь:
 Святини здѣшней не нарушу!
 Меня, Тамара, не страшись,

* 10-я строфа не имѣетъ вариантовъ противъ 1х-й текста.

** Далѣе—какъ въ текстѣ, стр. 57—58.

Не отгоняй меня укоромъ,
 Не выжимай изъ груди стонъ;
 Несправедливымъ приговоромъ
 Я на изгнанье осужденъ.
 Не знаю радости минутной,
 Живу надъ моремъ и межъ горъ,
 Какъ перекатный метеоръ,
 Какъ степи вѣтеръ безпріютный;
 И слишкомъ гордъ я, чтобъ просить
 У Бога вашего прощенья;
 Я полюбилъ мои мученья
 И не могу ихъ разлюбить.
 Но ты—ты можешь оживить
 Своей любовью непритворной
 Мою томительную лѣнь,
 И жизни скучной и позорной
 Непролетающую тѣнь!

ТАМАРА.

Оставь меня... *

ДЕМОНЪ.

.... Люблю тебя не здѣшной страстью,
 Какъ полюбить не можешь ты:
 Всѣмъ упоенъ, всю власть
 Безсмертной мысли и мечты.
 Люблю блаженствомъ и страданьемъ,
 Надеждою, воспоминаемъ,
 Всей роскошью души моей.
 О, не страшись и пожалѣй!
 Въ душѣ моей съ начала міра
 Твой образъ былъ напечатленъ... и пр. до:
 ... И все на свѣтѣ презирать... (стр. 60).

ТАМАРА.

А наказанье? муки ада?... (стр. 62).

ДЕМОНЪ.

Такъ что жъ? Ты будешь тамъ со мной!
 Мы станемъ жить, любя, страдая,
 И адъ намъ будетъ стоить рая.
 Оставь сомнѣнія свои!

* Далѣе—какъ въ текстѣ, стр. 59.

И что такое жизнь святая
Передъ минутою любви?
Моя безпечная подруга,
Ты будешь раздѣлять со мной
Вѣка безсмертнаго досуга
И власть надъ бѣдною землею.
Благословишь ты нашу долю,
Не будешь на нее роптать,
И не захочешь грусть и волю
За рабство тихое отдать.—
Лишь только Божіе проклятье...

12.

— И онъ слегка

Коснулся жаркими устами
Къ ея трепещущимъ губамъ;
Соблазна полными рѣчами,
Тоской, угрозами, слезами
Онъ отвѣчалъ ея мольбамъ;
Она противиться не смѣла,
Слабѣла, таяла, горѣла
Отъ неизвѣстнаго огня,
Какъ бѣлый воскъ отъ взоровъ дня.
Могучій взоръ смотрѣлъ ей въ очи... **

14.

За часъ до солнечнаго восхода,
Еще высокій берегъ спалъ,
Вдругъ зашумѣла непогода
И океанъ забушевалъ,
И вмѣстѣ съ бурей и громами,
Какъ умирающаго стонъ,

* Далѣе — какъ въ текстѣ (стр. 60 — 62) до стиха: «Несокрушимый мавзолей». Послѣ того въ рукописи монодого Тамары (стр. 68) и пр., съ добавкою:

И пусть другіе бѣ утѣшались
Ничтожными жребіемъ своимъ
И думой неба не касались—
Миръ лучшій недоступенъ имъ!
Но не тебѣ, моей подругѣ... (стр. 65).

** Далѣе, какъ въ текстѣ (стр. 66), и 13-я строфа [соответствующая хп текста] вариантовъ не имѣетъ. За ней находится въ рукописи 14-я Она потомъ уничтожена и замѣнена новымъ описаніемъ похоронъ, какъ въ печатной хп (стр. 68).

Раздался глухо надъ волнами
 Зловѣщій колокола звонъ.
 Не для молитвы призывали
 Святыхъ монахинь въ тихій храмъ,
 Не двумъ счастливымъ женихамъ
 Свѣчи дрожащія пылали:
 Въ срединѣ церкви гробъ стоялъ,
 Досками черными обитый,
 И въ томъ гробу мертвецъ лежалъ,
 Холоднымъ саваномъ обвитый.
 Зачѣмъ не слышенъ гласъ родныхъ
 И не видать во храмъ ихъ?
 И кто мертвецъ? Едва примѣтный
 Остатокъ прежней красоты
 Являютъ блѣдныя черты;
 Уста раскрыты, безотвѣтны,
 И въ сердцѣ пылкой страсти ядъ
 Его глаза не поселятъ;
 Хотя еще весьма недавно
 Владѣлъ онъ пылкою душой,
 Непонятной,военравной,
 Въ борьбѣ безумной и неравной
 Незнавшей власти надъ собой!
 И нѣтъ тебя, младая дѣва!...
 Какъ злакъ потопленныхъ полей,
 Добыча ревности и гнѣва,
 Ты вдругъ увяла въ цвѣтѣ дней.
 Напрасно будетъ солнце юга
 Играть привѣтно надъ тобой,
 Напрасно будетъ дождь и вьюга
 Ревѣть надъ плитой гробовой!
 Лобзанье юноши живое
 Твои уста не разомкнеть!...
 Земля взяла свое земное—
 Она назадъ не отдастъ...

21. *

... И не напомнить ничего
 О славномъ имени Гудала,

* Строфы 15, 16 и 17 соответствуютъ XIII и XIV текста; затѣмъ въ рукописи помѣщена строфа 18-я, отнесенная у насъ въ выноски въ XV-й строфѣ, съ вариантами:

О милой дочери его.
 И тамъ, гдѣ кости ихъ истлѣли,
 На рубежѣ зубчатыхъ льдовъ,
 Теперь гуляютъ лишь метели
 Да стаи вольныхъ облаковъ.
 Заглохла древняя обитель!
 Съ тѣхъ поръ промчалось много лѣтъ,
 И время—вѣчный разрушитель —
 Смывало постепенно слѣдъ
 Высокихъ стѣнъ, и храмъ священный,
 Добыча бури и дождей,
 Сталъ молчаливъ, какъ мавзолей —
 Умершихъ памятникъ надменный.
 Изъ двери въ дверь, во мглѣ ночей,
 Блуждаетъ вѣтръ освобожденный;
 Внутри, на лѣнкахъ расписныхъ
 И на окладахъ золотыхъ,
 Большой паукъ, отшельникъ новый,
 Кладетъ сѣтей своихъ основы.
 Не разъ, сбѣжавъ со скалъ крутыхъ,
 Сайгакъ или серна, дочь свободы,
 Пріютъ отъ зимней непогоды
 Искали въ кельи. И порой
 Забытой утвари паденье
 Среди развалины глухой
 Ихъ приводило въ изумленье.
 Но въ наше время ничему
 Нельзя нарушить тишину:
 Что можетъ падать—то упало,
 Что мреть—то умерло давно,
 Что живо—то бессмертно стало,

И въ то же время царь порока
 Туда примчался съ быстротой
 Новорожденного потока.
 Страданій мрачная семья
 Въ чертахъ недвижимыхъ таялась;
 По слѣду крылъ его свѣтилась
 Багровою молніи струя...

Строфы 19 и 20 соответствуютъ xv-й (с. 69—70), а 21-я—заключенію:
 На склонахъ каменной горы... (стр. 72).

И время живѣе удержало
Воспоминаніе одно... *

Въ заключеніе добавимъ, что въ «Новомъ Временѣ» 1884 года (№ 3172) напечатанъ неизданный отрывокъ изъ соч. Лермонтова, принадлежащій (по удостовѣренію редакціи) къ числу его юношескихъ произведеній и, вѣроятно, представляющій самый ранній первообразъ «Демона». Вотъ этотъ отрывокъ:

А З Р А И Л Ъ.

Рѣка. Крутомъ широка долины. Курганъ. На берегу издохшій конь лежитъ близъ кургана и вороны летаютъ надъ нимъ.

Азранъ.

Дождуся здѣсь, мнѣ не жеска
Земля кургана. Вѣтеръ дуетъ,
Серебряный ковыль волнуется,
И быстро гонитъ облака.
Крутомъ все дико и безплодно,
Идохшій конь передо мной
Лежитъ, и коршуны свободно
Добычу дѣлятъ межъ собой.
Ужъ хладныя бѣлѣютъ кости
И скоро пиръ кровавый свой
Незванные оставляютъ гости.
Такъ точно и въ душѣ моей,
Все пусто, лишь одно мученье
Грызетъ ее съ давнишнихъ дней
И гонитъ прочь отдохновенье;
Но никогда не устаетъ
Его отчаянная злоба
И въ тѣсной, темной кельѣ гроба
Оно вовѣки не уснетъ.
Все умираетъ, все проходитъ.
Гляжу, за вѣкомъ вѣкъ уводитъ,
Толпы народовъ и міровъ
И съ ними вмѣстѣ исчезаетъ.
Но духъ мой гибели не знаетъ:
Живу одинъ средъ мертвецовъ,
Закономъ общимъ позабытый,
Съ своими чувствами въ борьбѣ,

* Это потомъ замѣнено текстомъ, напечатаннымъ на стр. 73, начинающаго стиха: «Но черновъ на крутой вершинѣ».

Съ душой страданьями облитой,
 Не зная равнаго себѣ.
 Полуземной, полунебесный,
 Гонимый участію чудесной,
 Я все мгновенное люблю,
 Утрата мучить грудь мою
 И я безсмертенъ, и за что же?
 Чѣмъ, чѣмъ возможно заслужить
 Такую пытку, Боже, Боже!
 Хотя бы могъ я не любить.

Она придетъ сюда, я обниму
 Красавицу, и грудь къ груди прижму,
 У сердца сердце будетъ горячѣй;
 Уста къ устаѣмъ чѣмъ ближе, тѣмъ сильнѣй
 Нѣмая рѣчь любви. Я расскажу
 Ей все и міръ и вѣчность покажу;
 Она слезу уронить надо мной,
 Смягчить Творца молитвой молодой,
 Пойметъ меня, пойметъ мои мечты
 И скажетъ: какъ великъ, какъ жалокъ ты.
 Сей рѣчи звукъ—мнѣ будетъ жизни звукъ,
 И этотъ часъ—послѣдній долгихъ мукъ...
 Клянусь, воспоминаніе объ немъ
 Глубоко въ сердцѣ схоронить моею,
 Хотя бы на меня возсталъ весь адъ.
 Тотъ уголъ, гдѣ я спрячу этотъ кладъ,
 Не осквернить ни ропотъ, ни упрекъ,
 Ни месть, ни зависть; пусть свирѣпый рокъ
 Собираетъ тучи, пусть моя звѣзда
 Въ туманѣ вѣчномъ тонетъ навсегда,—
 Я не боюсь, есть сердце у меня
 Надменное и полное огня,
 Есть въ немъ любви ея святой залогъ—
 Послѣдняго не отнимаетъ Богъ.—
 Но слышенъ звукъ шаговъ, она, она...
 Но почему печальна и блѣдна!...
 Вѣнокъ пестрѣетъ надъ ея челомъ,
 Играетъ солнце медленнымъ лучемъ
 На бѣлыхъ персяхъ, на ея кудряхъ...
 Идетъ. Ужель меня тревожитъ страхъ?...

(Дѣва входитъ. Цѣпъ въ рукахъ и на головѣ. Въ
 бѣломъ платьѣ. Крестъ на груди у нея).

ДѢВА.

Вѣтеръ гудеть,
Мѣсяцъ плыветъ,
Дѣвушка плачетъ,
Милый на чужбину скачетъ.
Ни дѣва, ни вѣтеръ
Не замоленутъ.
Мѣсяцъ погаснетъ,
Милый измѣнитъ.

Прочь печальная пѣсня. Я опоздала, Азраилъ. Такъ ли тебя зовутъ, мой другъ?

(Садятся рядомъ).

Азраилъ. Что до названія? Зови меня своимъ любезнымъ; пускай твоя любовь замѣнитъ мнѣ нѣмъ, а никогда не желалъ бы имѣть другаго; зови, какъ хочешь смерть—уничтоженіемъ, гибелью, покоемъ, тлѣніемъ, сномъ—она все равно поглотитъ свои жертвы.

ДѢВА. Полно съ такими черными мыслями.

Азраилъ. Такъ какъ моя любовь чиста какъ голубь, то она хранится въ мрачномъ мѣстѣ, которое темнѣетъ съ вѣчностью.

ДѢВА. Кто ты?

Азраилъ. Изгнанникъ! существо сильное и побѣжденное. Зачѣмъ ты хочешь знать?

ДѢВА. Что съ тобой! Ты поблѣднѣлъ? Примѣтно дрожь пробѣгаетъ по твоимъ членамъ, твои вѣки опустились къ землѣ. Милый, ты становишься страшенъ.

Азраилъ. Не бойся, все опять прошло.

ДѢВА. О, я тебя люблю, люблю больше блаженства; ты помнишь, когда мы встрѣтились, я покраснѣла; ты прижалъ меня къ себѣ, мнѣ было такъ хорошо, такъ тепло у груди твоей. Съ тѣхъ поръ моя душа съ твоей одна. Ты несчастливъ; вѣдь мнѣ свою печаль, кто ты? откуда? ангелъ? демонъ?

Азраилъ. Ни то, ни другое.

ДѢВА. Расскажи мнѣ свою повѣсть; если ты потребуешь слезъ, у меня онѣ есть; если потребуешь ласки, то я удрушу тебя моими; если потребуешь помощи—возьми все, что я имѣю, возьми мое сердце и приложи его къ язвѣ, терзающей твою душу, моя любовь сожретъ этого червя, который гнѣздится въ ней. Расскажи мнѣ твою повѣсть!

Азраилъ. Слушай, не ужасайся; склонись къ моему плечу, сбрось эти цвѣты, твои губы душистѣе; пускай эти гвоздики, фіалки унесетъ ближній потокъ, какъ нѣкогда время унесетъ твою собствен-

ную красоту. Какъ, ужели эта мысль ужасна, ужели въ столько столѣтій люди не могли къ ней привыкнуть, ужели никто не можетъ пользоваться всею опытностью предшественниковъ? О, люди! вы жалки, но совсѣмъ тѣмъ я смѣнилъ бы мое вѣчное существованіе на мгновенную искру жизни человѣческой, чтобы чувствовать хотя все то же, что теперь чувствую, но имѣть надежду когданибудь позабыть, что я жилъ и мыслилъ. Слушай же мою повѣсть:

Когда еще ряды свѣтилъ
Земли не знали межъ собой,
Въ тѣ годы я ужъ въ міръ былъ,
Смотрѣлъ очами и душой,
Молился, дѣйствовалъ, любилъ;
И не одинъ я сотворенъ—
Насъ было много; чудный край
Мы населяли, только онъ,
Какъ вашъ давно забытый рай,
Былъ преступленьемъ оскверненъ.
Я власть великую имѣлъ,
Леталъ какъ мысль, куда хотѣлъ,
Могъ звѣзды навѣщать порой
И любоваться ихъ красой.
Вблизи, не утомляя взоръ,
Какъ перелетный метеоръ,
Я могъ исчезнуть и блеснуть:
Вездѣ мнѣ былъ свободный путь.

Я часто ангеловъ видалъ
И громкимъ пѣснямъ ихъ внималъ,
Когда въ багряныхъ облакахъ
Они, качаясь на крылахъ,
Всѣ вмѣстѣ славили Творца —
И не было хваламъ конца.
Я имъ завидовалъ, они
Безпечно проводили дни.
Не звали тайныхъ безпокойствъ,
Душевныхъ болей и разстройствъ,
Волненія враждебныхъ думъ
И горькихъ слезъ; ихъ свѣтлый умъ
Безвѣстной цѣли не искалъ,
Любовью грѣшной не страдалъ,
Не зналъ пристрастія къ вещамъ—
Онъ весь былъ отдавъ небесамъ.
Но я, блуждая много лѣтъ,

Искалъ чего быть можетъ нѣтъ:
Творенье сходное со мной
Хотя бы мукою одной.
И началъ громко я роптать,
Мое рожденіе проклиная,
И говорилъ: Всесильный Богъ,
Ты знать про будущее могъ,
Зачѣмъ же сотворилъ меня?
Желанье глупое храня,
Вездѣ искать мнѣ суждено
Призракъ, видѣніе одно.
Ужели милъ тебѣ мой стонъ?
И если я ужъ сотворенъ,
Чтобы игрушкою служить,
Душой безсмертной можетъ быть
Зачѣмъ меня ты одарилъ,
Зачѣмъ я вѣрилъ и любилъ?
И наказаніе въ отвѣтъ,
Упало на главу мою,
О, не скажу какое, нѣтъ!
Твою безпечность не убью,
Не дамъ понятія о томъ,
Что лишь съ возвышеннымъ умомъ
И съ непреклонною душой
Извѣдать велѣно судьбой.
Чѣмъ дальше мука тяготитъ,
Тѣмъ глубже рана отъ нее:
Обливши смертью бытіе,
Она опять его живить;
И эта жизнь пуста, мрачна,
Какъ пропасть, гдѣ не знаютъ дна:
Глотая все, добро и зло,
Не наполняется она.
Взгляни на блѣдное чело,
Примѣть морщинъ печальный рядъ,
Неравный ходъ моихъ рѣчей,
Мой горькій смѣхъ, мой дикій взглядъ
При вспоминаньи прошлыхъ дней—
И если тотчасъ не прочтешь
Ты ясно всѣхъ моихъ страстей
То вѣчно, вѣчно не поймешь,
Того, кто за безумный стонъ,

За мигъ—столѣтьями казненъ.
 Я пережилъ звѣзду свою;
 Какъ дымъ разсыпалась она,
 Рукой Творца раздроблена,
 Но смерти вѣрной на краю,
 Взирая на погибшій міръ,
 Я жилъ одинъ, забыть и сиръ.
 По безпредѣльности небесъ
 Блуждалъ я много, много лѣтъ,
 И зрѣлъ, какъ старый міръ исчезъ
 И какъ родился новый свѣтъ;
 И страсти первыя людей
 Не скрылись отъ моихъ очей,
 И нынѣ я живу межъ васъ,
 Безсмертный смертную люблю.
 Когда же родъ людей пройдетъ
 И землю вѣчность разобьетъ,
 Услышавъ грозную трубу,
 Я въ новый удалюсь міръ
 И стану тамъ, какъ прежде сиръ,
 Свою оплакивать судьбу.
 Вотъ повѣсть чудная моя,
 Повѣрь или нѣтъ—мнѣ все равно;
 Довѣрчивое сердце я
 Привыкъ не находить давно,
 Однако жъ я люблю, повѣрь,
 И тѣмъ тоску мою умѣрь;
 Никто не могъ тебя любить
 Такъ пламенно, какъ я теперь;
 Что сердце по-пусту явить,
 Зачѣмъ вдвойнѣ его казнить?
 Но вѣтъ, ты плачешь? Я любимъ,
 Хоть только существомъ однимъ,
 Хоть въ первый и послѣдній разъ!
 Мой умъ свѣтлѣй отнынѣ сталъ,
 И признаюсь, лишь въ этотъ часъ
 Я умереть бы не желалъ...

.
 14. Памяти А. И. Одоевскаго (стр. 81). Съ Александромъ
 Ивановичемъ Одоевскимъ Лермонтовъ познакомился на Кавказѣ, гдѣ
 тотъ служилъ, съ 7 ноября 1837 года, въ Нижегородскомъ драгун-
 скомъ полку, на бывшей Лезгинской кордонной линіи. Онъ умеръ

отъ горячки, 10 октября 1839 года, во время экспедиціи, на р. Субаши, на восточномъ берегу Чернаго моря, въ походной палаткѣ.

15. Мцыри (стр. 85). Дополненія въ строфахъ VIII и XXV взяты изъ собственноручной тетради Лермонтова, хранившейся у А. А. Краевского. Поэма названа Бѣри и оговорено, что Бѣри по грузински значить монахъ. Изъ сравненія этой рукописи съ напечатаннымъ текстомъ оказывается:

Въ хх строфѣ (стр. 102), послѣ 10-го стиха первоначально было написано:

Тотъ край казался мнѣ знакомъ...
И страшно, страшно стало мнѣ!
Вотъ снова мѣрный въ тишинѣ
Раздался звукъ... и въ этотъ разъ
Я понялъ смыслъ его тотчасъ:
То былъ предвѣстникъ похоронъ —
Большаго колокола звонъ.
И слушалъ я безъ думъ, безъ силъ;
Казалось, звонъ тотъ выходилъ
Изъ сердца, будто кто нибудь
Железомъ ударялъ мнѣ въ грудь.
И вдругъ унылой чередой
Дни дѣтства встали предо мной.
И вспомнилъ я вашъ темный храмъ
И вдоль по треснувшимъ стѣнамъ
Изображенія святыхъ
Твоей земли. Какъ взоры ихъ
Слѣдили медленно за мной
Съ угрозой мрачной и нѣмой!
И на рѣшотчатомъ окнѣ
Играло солнце въ вышинѣ...
О, какъ туда хотѣлось мнѣ,
Отъ мрака кельи и молитвъ,
Въ тотъ чудный міръ страстей и битвъ...
Я слезы горькія глоталъ
И дѣтскій голосъ мой дрожалъ,
Когда я пѣлъ хвалу Тому,
Кто на землѣ мнѣ одному
Далъ вмѣсто родины—тюрьму...

Послѣдніе 18 стиховъ были замѣнены другими, тоже потомъ перечеркнутыми:

О Боже! думалъ я: зачѣмъ
Ты далъ мнѣ то, что далъ ты всѣмъ —

И крѣпость силъ, и мысли власть,
 Желанья, молодость и страсть.
 Зачѣмъ ты умъ наполнилъ мой
 Непзьяснимою тоской
 По дикой волѣ—и къ чему
 Ты на землѣ мнѣ одному
 Далъ вмѣсто родины тюрьму?
 Ты не хотѣлъ меня спасти!
 Ты мнѣ желаннаго пути
 Не указалъ во тьмѣ ночной...
 И нынѣ я—какъ волкъ ручной...
 Такъ я ропталъ. То былъ, старикъ,
 Отчаянья безумный крикъ,
 Страданьемъ вынужденный стонъ...
 Скажи? Вѣдь буду я прощенъ?...
 Я былъ обманутъ въ первый разъ!
 Но сей мучитель каждый часъ
 Надежду темную дарилъ;
 Молился я, и ждалъ, и жилъ.

Строфа ххi (стр. 103), до окончательнаго исправленія ея, началась такъ:

О, я узналъ тотъ вѣщій звонъ!
 Къ нему былъ съ дѣтства приученъ
 Мой слухъ.—И понималъ я тогда,
 Что мнѣ на родину слѣда
 Не проложить ужъ никогда!
 И быстро духомъ я упалъ.
 Мнѣ стало холодно... Кинжалъ,
 Вонзаясь въ сердце, говорятъ,
 Такъ въ жилахъ разливаетъ хладъ...
 Я презиралъ себя. Я былъ
 Для слезъ и бѣшенства безъ силъ;
 Я съ темнымъ ужасомъ въ тотъ мигъ
 Свое ничтожество постигъ,
 И задушилъ въ груди моей
 Слѣды надежды и страстей,
 Какъ душить оскорбленный змѣй
 Своихъ трепещущихъ дѣтей...
 — Скажи, я слабою душой
 Не заслужилъ ли жребій свой?...

Въ ххiii строкѣ (стр. 105), послѣ говора рыбы, были написаны еще стихи, тоже потомъ уничтоженные:

Но скоро вихорь новыхъ грезъ
Далече мысль мою унесъ,
И предъ собой увидѣлъ я
Большую стень. Ея края
Тонули въ пасмурной дали,
И облака по небу шли
Косматой, бурною толпой
Съ невыразимой быстротой:
Въ пустынѣ мчится не быстрѣй
Табуны испуганныхъ коней.
И вотъ я слышу: стень гудитъ,
Какъ будто тысяча копытъ
О землю ударились вдругъ.
Гляжу съ боязнію вокругъ,
И вижу—кто-то на конѣ,
Взвивая прахъ, летитъ ко мнѣ;
За нимъ другой, и цѣлый рядъ...
Ихъ бранный чуденъ былъ нарядъ:
На каждомъ былъ стальной шлемъ
Обернуть бѣлымъ башлыкомъ,
И подъ кольчугою надѣтъ
На каждомъ красный былъ бешметъ.
Сверкали гордо ихъ глаза!
И съ дикимъ свистомъ, какъ гроза,
Они промчались близъ меня.
И каждый, наклонясь съ коня,
Кидалъ презрѣнья полный взглядъ
На мой монашескій нарядъ,
И съ громкимъ смѣхомъ исчезалъ...
Томимъ стыдомъ, я чуть дышалъ,
На сердцахъ былъ тоски свинецъ...
Послѣдній ѣхалъ мой отецъ...
И вотъ кипучаго коня
Онъ осадилъ противъ меня,
И тихо приподнявъ башлыкъ,
Открылъ знакомый блѣдный ликъ.
Осенней ночи былъ грустнѣй
Недвижный взоръ его очей,
Онъ улыбался—но жестокъ
Въ его улыбкѣ былъ упрекъ!
И сталъ онъ звать меня съ собой,
Маня могучею рукой;

Но я какъ будто бы приросъ
 Къ сырой землѣ: безъ думъ, безъ слезъ,
 Безъ чувствъ, безъ воли я стоялъ,
 И ничего не отвѣчать.

16. Журналистъ, читатель и писатель (стр. 112). Въ первоначальной рукописи, хранящейся у П. Я. Дашкова, находятся слѣдующіе варианты:

Обдумать рѣзкое творенье (стр. 112, ст. 9).
 Всѣ на войну неслись душою,
 Взывали съ тайною тоскою (113, ст. 6—7).
 Она, хоть можетъ быть чиста,
 Но какъ-то страшно безъ перчатокъ (113, 13—14).
 И въ приемахъ частый недочетъ.
 Откроешь прозу—переводъ (113, 20—21).
 Читалъ я. Громкія нападки (114, ст. 9).
 Владѣетъ онъ пріятнымъ слогомъ (115, ст. 9).
 Чтобъ ядъ пылающей страницы
 Нарушилъ сонъ отроковицы
 И сердце юноши увлекъ (116, ст. 14—15).

17. Сосна (стр. 122). Первый стихъ въ предъидущемъ изданіи былъ исправленъ по автографу Публичной Библіотеки, но нынѣ мы восстанавливаемъ прежній текстъ, такъ какъ самъ Лермонтовъ поправилъ его для печати.

18. На свѣтскія цѣпи (стр. 122). Написано къ кн. Марѣ Алексѣевнѣ Щербатовой, въ послѣдствіи Г. Лутковской, рожденной Штеричъ.

19. Любовь мертвеца (стр. 124). Подлинникъ находится въ рукописяхъ Пуб. Библіотеки. Стихотвореніе первоначально было озаглавлено: «Новый мертвецъ», а потомъ—«Живой мертвецъ».

20. Посвященіе къ поэмѣ Демонъ (стр. 125). У П. И. Бартенева есть автографъ этого стихотворенія, въ которомъ сходны съ печатнымъ текстомъ только первые 4 стиха:

Тебѣ Кавказъ, суровый царь земли,
 Я снова посвящаю стихъ небрежной.
 Какъ сына ты его благослови
 И осыни вершиной бѣлоснѣжной.
 Еще ребенкомъ, чуждый и любви
 И думъ честолюбивыхъ, я безпечно
 Бродилъ въ твоихъ ущельяхъ. Грозный, вѣчный,
 Угрюмый великанъ! меня носилъ
 Ты бережно, какъ пестунъ, юныхъ силъ
 Хранитель вѣрный...

И мысль моя, свободна и легка,
 Бродила по утесамъ, гдѣ блистая
 Лучемъ зари, собирались облака,
 Туманныя вершины омрачая,
 Волнуясь какъ перья шишака;
 А вдаль, какъ вѣчныя ступени
 Съ земли на небо, въ край моихъ видѣній,
 Зубчатою тянулись полосой,
 Таинственнѣй, синѣй одна другой,
 Все горы, чуть примѣтны для глаза,
 Сыны и братья вѣчнаго Кавказа.

21. Александръ Осиповичъ Смирновой (стр. 126), рожденной Россети. Къ ней же писали посланія Пушкинъ и Жуковский и письма Гоголь (калужской губернаторшѣ, въ «Перепискѣ съ друзьями»). Ея воспоминанія напечатаны въ «Русскомъ Архивѣ». Первоначальная редакція посланія Лермонтова была помѣщена въ «Библ. Запискахъ» (1858, № 6):

Въ простосердечіи невѣжды
 Короче знать васъ я желалъ,
 По эти сладкія надежды
 Теперь я вовсе потерялъ.
 Безъ васъ хочу сказать вамъ много,
 При васъ—я слушать васъ хочу;
 Но, молча, вы глядите строго—
 И я въ смущеніи молчу.
 Стѣсняемъ робостію дѣтской—
 Нѣтъ, не впишу я ничего
 Въ альбомъ жизни вашей свѣтской,
 Ни даже ими своего.
 Мое вранье такъ неискусно,
 Что имъ тревожить васъ грѣшно...
 Все это было бы смѣшно,
 Когда бы не было такъ грустно!...

У М. И. Семеваго мы видѣли подлинникъ позднѣйшей редакціи этого стихотворенія, но исправленій Лермонтовъ не докончилъ и нѣкоторые стихи вовсе не написалъ, замѣнивъ ихъ точками:

Въ простосердечіи невѣжды
 Короче знать желалъ я васъ,
 Но лучъ заманчивой надежды

 Безъ васъ хочу сказать вамъ много,
 При васъ я слушать васъ хочу;

По молча вы глядите строго—
И я въ смущеніи молчу.
Словами важными порою
Вашъ смѣхъ боюсь я возмутить
.....
.....
Что дѣлать! рѣчью неискусной
Занять васъ

22. Къ портрету гр. Александры Кириловны Воронцово-Дашковой (стр. 126), рожденной Нарышкиной (1818—1856). Въ рукописи было озаглавлено: «Портретъ свѣтской женщины». Въмѣсто 3 и 4 стиха первой строфы было написано:

Глаза говорятъ, какъ слова,
И блещутъ обманчивымъ свѣтомъ.

Третья строфа тоже была написана иначе:

Лицо ея, будто стекло—
Не скроешь и радость и горе;
Въ умѣ ея, вѣчно свѣтло,
Въ душѣ ея темно, какъ въ морѣ.

23. Гр. Мусино-Пушкиной (стр. 128), Эмилиі Карловнѣ, рожденной баронессѣ Шернваль. Напечатано по рукописи Чертковской бібліотеки. Написано на одномъ листѣ съ стихов. Памяти Одоевскаго и Казотъ и было поэтому ошибочно отнесено въ прежнихъ изданіяхъ къ 1839 г., тогда какъ должно относиться къ 1840 году.

24. Изъ альбома С. Н. Карамзиной (стр. 129). Стихотвореніе это постоянно печатается безъ заключительной строфы, которая имѣетъ слишкомъ частное значеніе. Для поясненія этой строфы скажемъ, что въ ней говорится о А. О. Смирновой, Александрѣ Николаевичѣ Карамзинѣ, Ив. П. Мятлевѣ (авторѣ «Курдюковой»), и о смѣшливости самой Софьи Николаевны:

Люблю я разговоры ваши,
И «ха-ха-ха!» и «хи-хи хи!»
Смирновой шутки, фарсы Саши,
И Ишки Мятлева стихи.

25. Есть рѣчи (стр. 131). Во 2-й кн. альманаха «Вчера и Сегодня» это стих. было напечатано по первоначальному списку такъ:

Есть рѣчи—значенье	Какъ полны ихъ звуки
Темно или ничтожно,	Тоскою желанья,
Но имъ безъ волненья	Въ нихъ слезы разлуки,
Внимать невозможно.	Въ нихъ трепеть свиданья...

Ихъ краткимъ привѣтомъ,
Едва онъ домычтся,
Какъ Божиимъ свѣтомъ
Душа озарится.

Средь шума мірскова
И гдѣ я ни буду,
Я сердцемъ то слово
Узнаю повсюду,

Не кончивъ молитвы,
На звукъ тотъ отвѣчу,
И брошусь изъ битвы
Ему я на встрѣчу.

Надежды въ нихъ дышуть,
И жизнь въ нихъ играетъ,
Ихъ многіе слышутъ,
Одинъ понимаетъ.

Лишь сердца роднова
Коснутся въ дни муки
Волшебнаго слова
Цѣлебные звуки,

Душа ихъ съ молениемъ
Какъ ангела встрѣтитъ,
И долгимъ бѣньемъ
Имъ сердце отвѣтитъ. —

26. Последнее новоселье (стр. 135). Черновой набросокъ карандашомъ находится нынѣ въ числѣ рукописей Публичной Библиотеки.

27. Кинжалъ (стр. 137). Автографъ въ Чертк. библиотекѣ: только черновой набросокъ съ значительными вариантами. Ст. 1: «Мы не разстанемся, любезный мой кинжалъ». 4: «Точилъ на вольный бой теби черкесь свободной.» 5: «Мнѣ подияла.» 15: Я буду твердъ душой и пр.

28. Это случилось (стр. 142). Стихотвореніе подобнаго характера, но очень плохое по стику и, конечно, не принадлежащее перу Лермонтова, напечатано г. Данилевскимъ съ именемъ Лермонтова въ «Русскомъ Архивѣ» (1861, № 10). Оно будто бы продиктовано на память какимъ-то изъ кавказскихъ офицеромъ, которые тоже продиктовали и Н. О. Щербинѣ негѣные стихи, помѣщенные имъ съ именемъ Лермонтова въ Сборникъ статей въ память Смирдина» (Т. III, стр. 356—358).

29. Казбеку (стр. 144). Въ «Русскомъ Вѣстникѣ» (1860, № 8). Г. Лонгиновъ указывалъ, будто въ 1843 г. нѣкоторые бумаги Лермонтова находились у Льва Ив. Арнольди (братья А. О. Россети, по матери), который дѣлалъ изъ нихъ выборку вмѣстѣ съ М. И. Поповымъ, для приготовлявшагося тогда къ печати дополнительнаго тома сочиненій Лермонтова. Стихотвореніе «Казбеку» перерывалось будто бы на стихахъ:

О, если такъ... своей метелью,
Казбекъ, засыпъ меня скорѣй...

и М. И. Поповъ придѣлалъ два заключительные стиха. Однако въ Чертковской библиотекѣ мы нашли и менно этотъ автографъ, безъ заглавія «Казбеку», но весь писанный рукою Лермонтова, включая и два послѣдніе стиха.

Въ тѣхъ же бумагахъ было стихотвореніе «Наводненіе», до

снхъ моръ неизданное и неизвѣстно гдѣ находящееся теперь. Вотъ его начало:

И день насталь—и совершилось
Долготерпѣніе судьбы,
И море съ шумомъ ополчилось
На многъ рѣшительной борьбы.

30. Я не хочу (стр. 145). Рукопись въ Чертковской библіотекѣ, безъ вариантовъ.

31. Послѣ стихотворенія: Не смѣйся надъ моею пророческой тоскою (стр. 146) сохранился въ рукописи конецъ какого-то неизвѣстнаго стихотворенія:

Великій мужъ! здѣсь нѣтъ награды,
Достойной доблести твоей!
Ее на небѣ сыщутъ взгляды
И не найдутъ среди людей.
Но безпристрастное преданье
Твой славный подвигъ сохранить
И, услыхавъ твое названье,
Твой сынъ душою закипитъ.

.
Свершить блистательную тризну
Потомокъ поздній надъ тобой,
И съ непритворною слезой
Промолвить: «онъ любилъ отчизну!»

Начало этого стихотворенія оторвано и двѣ первыя строфы, судя по знаку при нихъ, должны были замѣнять или дополнять утраченныя строфы этого начала.

32. Бѣглець (стр. 147). Рукопись въ Чертковской библіотекѣ, безъ вариантовъ съ нынѣшнимъ текстомъ, еще прежде исправленнымъ по рукописи гр. Ростопчиной, противъ печатавшагося до 1860 г., испорченнаго исключеніями и измѣненіями.

33. Слѣпецъ страданьемъ вдохновенный (стр. 152). Написано Аннѣ Григ. Хомутовой на ея встрѣчу съ поэтомъ-слѣпцомъ Ив. Ив. Козловымъ (см. его стихотвореніе: «Къ другу весны моей»). Напечатано въ «Молодикѣ» 1844 г. и по автографу въ «Русскомъ Архивѣ» 1867 г. (№ 7, стр. 1051).

34. Валерикъ (стр. 153). Это стихотвореніе напечатано было уже по смерти поэта и до крайности небрежно (Утр. Заря 1843. стр. 66). Только въ 1874 г. нашелся его черновой оригиналъ въ Московскомъ Музеѣ и былъ напечатанъ въ «Русской Старинѣ» (1874 г. № 5), откуда и перепечатанъ въ нашемъ изданіи.

Вотъ что писалъ Лермонтовъ А. А. Лопухину о дѣлѣ подъ Валери-комъ: «... У насъ были каждый день дѣла и одно довольно жаркое» которое продолжалось шесть часовъ сряду. Насъ было всего 2000 пѣхоты, а ихъ до шести тысячъ, и все время дрались штыками. У насъ убыло 30 офицеровъ и до 300 рядовыхъ, а ихъ 600 тѣлъ осталось на мѣстѣ. Кажется, хорошо! Вообрази себѣ, что въ оврагѣ, гдѣ была потѣха, часть послѣ дѣла еще пахло кровью. Когда мы увидимся, я тебѣ расскажу подробности очень интересныя. Только Богъ знаетъ когда мы увидимся....»

45. Сказка для дѣтей (стр. 161). Исправленія сдѣланы по черновой рукописи, хранившейся у А. А. Краевского, съ которой стихотвореніе это было напечатано въ первый разъ уже по смерти поэта. Вѣроятно, издатель тогда не разобралъ поправленныхъ нами стиховъ или самовольно ихъ переправилъ.

Фр. Боденштедтъ, имѣвшій отъ пріятеля Лермонтова — Глѣбова нѣсколько неизданныхъ по-русски стихотвореній, совершенно для насъ неизвѣстныхъ, говоритъ, что въ этомъ стихотвореніи было еще 11 строфъ, изъ которыхъ онъ и перевелъ заключительную: «Умолкъ демонъ; а поэтъ говоритъ: не въ моей волѣ было окончить здѣсь, на этомъ, такъ какъ моя поэма охранена свыше, отеческими руками, отъ излишней длинноты. Однако, съ неохотой отказываюсь я отъ заключенія, которое вычеркнуто все, безъ разбора, а вмѣстѣ съ тѣмъ вычеркнута и мораль. Такимъ образомъ цензура постоянно обра- щаетъ мой талантъ въ отрывокъ, лишь только захотѣлось бы мнѣ развернуться. Желая быть образцомъ повиновенія, оставляю и эту сказку отрывкомъ».

35. Последнія стихотворенія (стр. 170—194). Изъ этихъ стихотвореній при жизни поэта напечатано было только одно: Сп о р ъ (Москвитянинъ, 1841). Прочія найдены были слѣдующимъ образомъ. Князь Вл. Фед. Одоевскій, передъ послѣднимъ отъѣздомъ Лермонтова изъ Петербурга, подарилъ ему записную книгу съ бѣлыми листами, написавъ на ней: «Поэту Лермонтову дается эта книга съ тѣмъ, чтобы онъ возвратилъ мнѣ ее самъ и всю исписанную. К. В. Одоевскій. 1841. Апрѣля 13-е. С.-Петербургъ.» Лермонтовъ обѣщалъ и то и другое — поѣхалъ изъ Петербурга въ апрѣлѣ, а 15-го іюля уже былъ убитъ Мартыновымъ. Книга однако, хотя и черезъ долгое время, была доставлена кн. Одоевскому, который и захватилъ на ней: «Сія книга покойнаго Лермонтова возвращена мнѣ Екимомъ Екимовичемъ Хостатовымъ, 30 Декабря 1843. Кн. В. Одоевскій.» Она исписана карандашомъ и чернилами: карандашомъ написаны стихотворенія на черно, съ одной стороны книги, а чернилами они переписаны съ другой ея стороны на бѣло (съ значительными впрочемъ

поправками), въ томъ самомъ порядкѣ, который и дается имъ теперь въ нашихъ изданіяхъ. Всѣхъ полныхъ стихотвореній 12, изъ которыхъ одно французское; его нельзя прочесть, потому что карандашъ почти стерся.

Вотъ подробное описаніе этой рукописи.

На 1-й страницѣ, со стороны, занятой черновыми карандашными набросками, написано «адресъ». На 2-й: «Погодину». «Кашинцевъ», и затѣмъ: «Да кто же ты, ради Бога?—Что-съ? отвѣчалъ старичокъ, примаргивая однимъ глазомъ.—Штось! повторилъ въ ужасѣ Лугинъ». Потомъ «Шулеръ имѣетъ разумъ въ пам.... банкъ.... скоропостиживал....» На оборотѣ начато и оканчивается на 5 стр. стихотвореніе Пророкъ; на 6-й набросано начало стихотворенія:

Лилейной рукой поправляя
Едва пробившійся усь,
Краснѣя, какъ дѣва младая
Кангаръ молодой туксусъ....

На 7-й страницѣ:

1.

На буркѣ, подъ тѣнью чинары,
Лежалъ Ахметъ-Ибрагимъ
И, руки скрестивши, татары
Стояли молча предъ нимъ.

2.

И брови нахмурилъ густыя,
Лѣнливо молвилъ Ага:
О слуги мои удалые!
Мнѣ ваша жизнь дорога!

3.

(Кромѣ цифры 3 ничего нѣтъ).

На 8-й стр. ничего не написано, а 9—10 заняты черновымъ наброскомъ стих. «Мнѣ снилась разъ долина Дагестана». Стр. 11—13: «Тамара» и на послѣдней еще «Они любили» и пр. На 14-й написано карандашомъ и обведено чернилами; «У Россіи нѣтъ прошедшаго: она вся въ настоящемъ и будущемъ». Сказывается и сказка: Ерусланъ Лазаревичъ сидѣлъ сиднемъ 20 лѣтъ и спалъ вѣрѣно, но на 21-мъ году проснулся отъ тяжкаго сна, и всталъ и пошелъ... и встрѣтилъ онъ тридцать семь королей и семьдесятъ богатырей и побилъ ихъ и сѣлъ надъ ними царствовать... Такова Россія». Вслѣдъ за этимъ начинается и оканчивается на 15-й стр. стихотвореніе: «Зеленый листокъ оторвался». Стр. 16 — 19 заняты стих. «Ужъ за горой дремучею». На 20-й французское стихотворе-

ніе. На 21-й: «Нѣтъ не тебя такъ пылко я люблю». 22-я оставлена бѣлою, а на 23-й написано чернилами одно слово: «Смирновой».

Если обернуть эту книжку-альбомъ другою стороною, то на 1-й стр. встрѣчаемъ надписи кн. Одоевскаго, приведенныя выше, и рукою Лермонтова карандашомъ: «19 Мая — буря». На 2-й стр. рукою—же кн. Одоевскаго: «Эти выписки имѣли отношеніе къ религіознымъ спорамъ, которые часто подымались между Лермонтовымъ и мною. 1857. Кн. В. Одоевскій». На 3 и 5 стр. помѣщены и самыя выписки, сдѣланныя рукою князя, изъ евангелиста Іоанна и ап. Павла. За тѣмъ начинаются уже стихи, написанные рукою Лермонтова. Сначала набросаны карандашомъ отрывки изъ стих. «Споръ», а потомъ и все это стихотвореніе, оканчивающееся на 7-й стр. и переписанное чернилами на стр. 9—11. Изъ этого текста, мы внесли поправку въ стихъ 7 [стр. 171]: «берегися» вм. прежняго «берегитесь». Есть еще варианты: въ дикой мглѣ твоихъ ущелій, ст. 11-й. На 8-й стр. чернилами написано: «Востокъ». На 12-й стих. «Въ полдневный жаръ въ долину Дагестана». На 13-й «Утесъ» и «Они любили другъ друга», при чемъ къ послѣднему стихотв. поставлены эпиграфомъ два стиха изъ Гейне: *Sie liebten sich beide* и пр. На 14 — 15 стр. помѣщено стих. «Тамара». На 16 — 18 стр. «Свиданіе», а на 18—19: «Дубовый листокъ» и пр., при чемъ вмѣсто слова «дубовый» сначала было: «зеленый». Замѣтимъ, что въ послѣднемъ стихѣ этого стих. ни въ черновомъ, ни въ бѣловомъ текстѣ вовсе нѣтъ слова: «п о к о р н о е» море, которое входило во всѣ печатныя изданія; а было сначала написано: «послушное» и потомъ поправлено: «холодное море». На 20-й стр. «Нѣтъ не тебя такъ пылко я люблю», гдѣ послѣдній стихъ 2-й строфы читается въ черновомъ и бѣловомъ текстѣ такъ, какъ мы его печатаемъ теперь [стр. 180], а не такъ какъ было въ прежнихъ изданіяхъ, отчего даже искажался смыслъ: «но не съ тобой—я съ сердцемъ говорю». На той же 20-й стр. помѣщены три строфы стихотворенія: «Выхожу одинъ я на дорогу», оканчивающагося на 21-й стр. Въ текстѣ ясно написано, между прочимъ, въ 2-мъ стихѣ 4-й строфы слово «т а к ъ», вм. входившаго во всѣ прежнія изданія слова: «т а м ъ», совершенно обезобразившаго смыслъ. За тѣмъ, на 21-й стр. начинается и на 23-й оканчивается стихотв. «Морская царевна», въ которомъ отнѣтимъ одинъ вариантъ:

Хвостъ, какъ змѣя, весь покрытъ чешуей,
Бьетъ, замирая, песокъ золотой.

24-я и послѣдняя стр. занята стих. «Пророкъ». Какъ въ наброскѣ карандашомъ, такъ и въ переписанномъ чернилами текстѣ 3-й стихъ 5-й строфы безъ поправокъ написанъ одинаково: «То стар-

цы дѣтямъ говорить», тогда какъ въ печатныхъ изданіяхъ постоянно было «тамъ».

37. Герой нашего времени [стр. 185]. Въ одномъ изъ альбомовъ Лермонтова сохранилось набросанное карандашомъ предисловіе къ 2-му изданію. Съ напечатаннымъ текстомъ оно представляетъ не очень существенныя разнорѣчія въ словахъ и фразахъ, но дѣльный параграфъ въ печати не явился. Именно послѣ словъ: «оскорбленіе личности» [стр. 186], написано: «Мы жалуемся только на недоразумѣніе публики, не на журналы: они почти всѣ были болѣе чѣмъ благосклонны къ нашей книгѣ, всѣ кромѣ одного, который какъ бы нарочно въ своей критикѣ смѣшивалъ имя сочинителя съ героемъ его повѣсти, вѣроятно, надѣясь на то, что его читать никто не будетъ; но хотя личность этого журнала и служить ему достаточной защитой, однако все таки, прочитавъ грубую и неприличную брань—на душѣ остается непріятное чувство, какъ послѣ встрѣчи съ пьянымъ на улицѣ. Итакъ, если уже нужно у насъ для всякой басни нравоученіе, то пускай тѣ, которые хотятъ его узнать, прочтутъ слѣдующее: Герой нашего времени, милостивые государи мои, точно портретъ, но не одного человѣка—это типъ. Вы знаете, что такое типъ? Я васъ поздравляю. Вы мнѣ опять скажете, что человѣкъ не можетъ быть такъ дурень; а я вамъ скажу, что вы всѣ таковы; иные немного лучше, многіе гораздо хуже. Если вы вѣрили возможности существованія Мельмота, Вампира и др., отчего же вы не вѣрите въ дѣйствительность Печорина? Если вы извиняли вымыслы и пр...

Кстати замѣтимъ, что вслѣдъ за этимъ «предисловіемъ» набросанъ «сюжетъ» одного изъ «отрывковъ», именно напечатаннаго въ нынѣшнемъ изданіи на стр. 350. «Сюжетъ.—У дамъ. Лица желтыя. Адресъ. Домъ. Старикъ съ дочерью, предлагаетъ ему метать; тотъ въ отчаяніи, когда старикъ выигрываетъ. Шулеръ: от.... проигрыв.... дочь и.... Доктор.... ок....

Вѣроятно, недовольный критикою Сенковского, Лермонтовъ написалъ на него слѣд. эпиграмму [Библиогр. 1861 № 18]:

ЭПИГРАММА.

Подъ фирмой иностранной иноземецъ
Не утаилъ себя никакъ —
Вранится пошло: ясно вѣмецъ,
Похвалить: видно, что полагъ.

Между автографами М. Ю. Лермонтова, хранящимися въ Публичной библіотекѣ, находится также рукопись «Героя нашего времени», состоящая изъ довольно толстой тетради въ листъ, ис-

писанной рукою Лермонтова, съ многочисленными поправками и передѣлками. На заглавномъ листѣ написано: «Одинъ изъ героевъ нашего вѣка». Уцѣлѣла 2-я повѣсть: «Максимъ Максимычъ», которая носитъ названіе «Изъ записокъ офицера». Тутъ же римскими цифрами поставлено II. Первой повѣсти «Бѣла» пѣтъ. Затѣмъ подъ № III «Фаталистъ» и подъ конецъ «Блужданіе Мери». Между листами этой тетради лежитъ полулистъ почтовой бумаги, на которомъ написано рукою Лермонтова предисловіе къ «Журналу Печорина».

Вотъ варианты рукописи:

«Максимъ Максимычъ» или «Изъ записокъ офицера».

Стр. 229, стр. 5 снизу. Описывается вѣтхій видъ Печорина:

Его походка была небрежна и лѣнива, но я замѣтилъ, что онъ не размахивалъ руками—вѣрный признакъ рѣшительности въ характерѣ. Если вѣрить тому, что каждый человѣкъ имѣетъ сходство съ какимъ нибудь животнымъ, то, конечно, Печорина можно было бы сравнить съ тигромъ. Сильный и гибкій, ласковый или мрачный, великодушный или жестокий, смотря по внушенію минуты; всегда готовый на долгую борьбу; иногда обращенный въ бѣгство, но неспособный покориться; нескучающій одинъ, въ пустынѣ съ самимъ собою, а въ обществѣ себѣ подобныхъ требующій безпрекословной покорности. По крайней мѣрѣ такимъ, казалось мнѣ, долженъ былъ быть его характеръ физическій, то есть тотъ который зависитъ отъ нашихъ нервовъ и отъ болѣе или менѣе скорого обращенія крови. Душа—другое дѣло! Душа или покоряется природнымъ склонностямъ, или борется съ ними, или побѣждаетъ ихъ. Отъ этого—злѣдѣи, толпа, и люди высокой добродѣтели. Въ этомъ отношеніи Печоринъ принадлежалъ къ толпѣ, и если онъ не сталъ ни злѣдемъ, ни святымъ, то это, я увѣренъ, отъ лѣни. Впрочемъ, это мои собственные замѣчанія, основанныя на моихъ же наблюденіяхъ, и я вовсе не хочу васъ заставить вѣровать въ нихъ слѣпо.

Въ концѣ разсказа [стр. 235] Лермонтовъ говоритъ:

Я пересмотрѣлъ записки Печорина и замѣтилъ по нѣкоторымъ мѣстамъ, что онъ готовилъ ихъ къ печати, безъ чего, конечно, я не рѣшился бы употребить во зло довѣренность штабсъ-капитана. Въ самомъ дѣлѣ, Печоринъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обращается къ читателямъ; вы это сами увидите, если то, что вы объ немъ знаете, не отбило у васъ охоты узнать его короче. На тетрадяхъ не было выставлено чиселъ. Нѣкоторыя, вѣроятно, потеряны, потому-то между ними нѣтъ большой связи, а я, не смотря на дурной примѣръ, поданный намъ нѣкоторыми журналистами, никакъ не рѣшился поправлять или доканчивать чужое произведеніе, за что, конечно, онъ самъ на меня сердиться не будетъ.

«Фаталистъ» (стр. 334, стр. 5):

Господа! сказалъ онъ медленно, освобождая руку: кому угодно заплатить за меня двадцать червонцевъ?

Всѣ замолчали и отошли.

Вулицъ продолжалъ: если я не долженъ умереть, то этотъ пистолетъ или не заряженъ, или осычется. Если суждено противное, то ничто не можетъ этому помѣшать; итакъ, тогда всѣ ваши опасенія напрасны. Онъ вышелъ въ другую комнату и сѣлъ у стола; всѣ послѣдовали за нимъ.

Стр. 341, стр. 2:

...Я люблю сомнѣваться во всемъ: это расположеніе не мѣшаетъ рѣшительности характера; напротивъ, что до меня касается, то я всегда смѣлю иду впередъ, когда не знаю, что меня ожидаетъ. Весело испытывать судьбу, когда знаешь, что она ничего не можетъ дать хуже смерти, и что смерть неизбежна, и что существованіе каждаго изъ насъ, исполненное страданія или радости, темно, незамѣтно въ этомъ безбрежномъ котлѣ, называемомъ природою, гдѣ кипитъ, исчезаетъ и возрождается столько разнородныхъ жизней... Вѣдь хуже смерти ничего не случится, а смерти не минуешь.

«Княжна Мери». (стр. 248). Пятигорскъ, 12-го мая (въ числахъ вообще разница, вмѣсто іюня 13-го, 14-го, 18-го, 22-го, 24-го, 25-го, 26-го—стоитъ 5-го, 6-го, 10-го, 11-го, 12-го, 14-го, 15-го іюня).

Стр. 256, стр. 12: И какъ, въ самомъ дѣлѣ, смѣетъ кавказскій аринецъ наводить стеклышко на московскую князю?... Но я теперь увѣренъ, что, при первомъ случаѣ, она спроситъ: кто я и почему я здѣсь, на Кавказѣ. Ей, вѣроятно, расскажутъ исторію дуэли, и особенно ея причину, которая здѣсь нѣкоторымъ извѣстна, и тогда... Вотъ у меня будетъ удивительное средство бѣсить Грушницкаго.

Стр. 313, стр. 6: Какъ орудіе казни, я упалъ на голову обреченныхъ жертвъ, часто безъ злобы, всегда безъ сожалѣнія. Какъ нарочно, я всегда являлся къ пятому акту ихъ драмы; невидимая сила кидала меня посреди ихъ надеждъ, намѣреній и связей, и все разрывалось, все погибало отъ моего прикосновенія... Моя любовь никому не принесла счастья...

Стр. 314, стр. 6: открылъ романъ Вальтеръ-Скотта, лежавшій у меня на столѣ; то были «Шотландскіе Пуритане»; я читалъ сначала съ усиліемъ, потомъ забылся, увлеченный волшебнымъ вымысломъ. Неужели шотландскому барду на томъ свѣтѣ платятъ за каждую минуту, которую даритъ его книга...

Стр. 324, стр. 12: Вотъ оно, это письмо, котораго каждое слово неувглагомито врѣзалось въ моей памяти. Я его храню какъ сокровище.

Лермонтовъ. т. I.

вище. Стыдно признаться! я нахожу утѣшеніе въ мысли, что былъ любимъ, какъ немногіе на этомъ свѣтѣ.

Стр. 325, стр. 10:и никто не можетъ быть такъ истинно несчастливъ, какъ ты, потому что никто столько не старается утѣрять себя въ противномъ.

Вѣсто напечатаннаго послѣ этихъ словъ продолженія и конца письма стоитъ слѣдующее:

«Прощай, мой бѣдный другъ; я рада, что не увидимся передъ разставаньемъ. Я знаю, ты нынче долженъ драться съ Грушницкимъ, но увѣрена также, что ты останешься живъ. Мое сердце иначе бы мнѣ сказала противное. Прощай! Не все ли равно? Во всякомъ случаѣ, я тебя теряю навѣки! Мери тебя любить... Если что нибудь доброе проснется въ душѣ твоей, женись на ней, она тебя любить... Ребенокъ! Вчера она мнѣ рассказала все. Мнѣ стало жалъ ее. Она думаетъ, смотря на твое поведеніе, что ты ее любишь, потому что защитилъ такъ горячо ея честь. Она думаетъ, что ты хотѣлъ испытать ее... Я ей ничего не сказала, поцѣловала ее и благословила!... О, не погуби ее!... Одной довольно! Я не стану тебя увѣрять, что не переживу нашей разлуки... къ чему?... Одинъ лишній, горькій, прощальный поцѣлуй не обогатитъ твоихъ воспомнаній, а мнѣ послѣ него труднѣе съ тобою разстаться... Вѣра.

Р. S. Одно меня мучаетъ: что, если ты въ самомъ дѣлѣ любишь Мери? О, не правда ли, этого не можетъ быть!...

Стр. 327, с. 5: Когда ночная роса и горный вѣтеръ освѣжили мою горящую голову и мысли пришли въ обычный порядокъ...

Съ этихъ словъ и до словъ: «противъ дула пистолета» [стр. 7] въ первоначальномъ видѣ было написано слѣдующее:

Я сталъ припоминать выраженія письма Вѣры, старался объяснить себѣ причины, побудившія ее къ этой странной, трагической выходкѣ.

Вотъ послѣдовательный порядокъ моихъ размышленій:

1) Если она меня любитъ, то зачѣмъ же такъ скоро уѣхала и не простясь, не полюбопытствовавъ даже узнать, убитъ я или нѣтъ? Не вѣрю я этимъ предчувствіямъ сердца, да и ей бы не должно на нихъ такъ слѣпо полагаться.

2) Но вѣдь намъ надобно же было когда нибудь разстаться, и она хотѣла своимъ отъѣздомъ произвести на меня, въ послѣдній разъ, глубокое, неизгладимое впечатлѣніе?... Эгоизмъ!..

3) Женщины вообще любятъ драматизировать свои чувства и поступки; сдѣлать сцену почитаютъ они обязанностью.

4) Но тутъ еще, можетъ быть, скрывается маленькая ревность. Вѣра думаетъ, что я влюбленъ въ княжну, и хочетъ своимъ вели-

кодушіемъ привязать меня болѣе къ себѣ, или даже, зная мой характеръ, она думаетъ, что я князю оставлю и погонюсь за нею, потому что блага, которыя мы теряемъ, получаютъ въ глазахъ нашихъ двойную цѣну... Если такъ, то она ошиблась — я слишкомъ лѣнивъ.

5] Или она великодушно уступаетъ меня княжнѣ? Это отъ нея, пожалуй, станется! Но, въ такомъ случаѣ, она меня не любить.

6] И какое же право я имѣю требовать ея любви? Развѣ не я первый началъ платить за ея ласки холодною, за жертвы равнодушіемъ и насмѣшкой!

7] Теперь, когда я знаю, что все между нами кончено, мнѣ кажется, что я ее любилъ истинно. Одно меня печалитъ—это письмо. Неужели она не могла обойтись безъ пышныхъ фразъ и декламаций?

8] Я былъ дуракъ, что такъ мучился нѣсколько часовъ сряду! что значать разстроенные нервы, ночь безъ сна, двѣ минуты противъ дула пистолета!

И т. д., какъ въ печатномъ изданіи.

38. Отрывокъ изъ начатой повѣсти [стр. 350]. Въ бывшей Чертковской библіотекѣ мы нашли подлинную рукопись, а какъ она единственная, то прежнія измѣненія сдѣланы были не авторомъ, а издателями при первомъ печатаніи текста въ альманахѣ «Вчера и сегодня».

39. Маскарадъ [стр. 371].—Эта окончательная передѣлка извѣстной драмы Лермонтова сохранилась въ рукописяхъ той же библіотеки, по которымъ и была напечатана въ первый разъ въ Русской Старинѣ 1875 г. № 9.

40. Письма Лермонтова [стр. 432]. Въ настоящемъ изданіи добавлено четыре письма. Остальныя исправлены, отчасти по рукописямъ, а отчасти по тексту, вновь появлявшемуся въ печати.

Замѣтимъ, что стихотвореніе, помѣщенное въ VII-мъ письмѣ: «По произволу дивной власти» [стр. 439] находится въ рукописяхъ Публ. библіотеки и озаглавлено: «Челнокъ», при чемъ 6-й стихъ имѣетъ варианты: «Въ обманъ не вдастся инвалидъ». Оно напечатано въ Р. Старинѣ 1872, т. V, и тамъ же приведено вполне стихотвореніе изъ VIII-го письма [стр. 441]:

Что толку жить!... Безъ приключеній
И съ приключеньями—тоска
Вездѣ, какъ безпокойный геній,
Какъ вѣрная жена, близка!
Прекрасно съ шумной быть толпою,
Сидѣть за каменной стѣною,

Любовь и ненависть сознать,
 Чтобъ разъ объ этомъ поболтать,
 Невольно указать повсюду—
 Подъ гордой важностью лица
 Въ мужчинѣ глупаго льстеца
 И въ каждой женщинѣ—Иуду.
 А потрудитесь разсмотрѣть —
 Все веселѣе умереть.

Конецъ! Какъ звучно это слово,
 Какъ много—мало мыслей въ немъ;
 Послѣдній стоить—и все готово,
 Безъ дальнихъ справокъ. А потомъ?
 Потомъ васъ чинно въ гробъ положутъ
 И черви вашъ скелетъ обложутъ,
 А тамъ наслѣдникъ въ добрый часъ
 Придавитъ монументомъ васъ,
 Проститъ вамъ каждую обиду
 По добротѣ души своей,
 Для пользы вашей—и церквей
 Отслужитъ, вѣрно, панихиду,
 Которой, я боюсь свазать,
 Не суждено вамъ услышать.

И если вы скончались въ вѣрѣ,
 Какъ христіанинъ, то гранитъ
 На сорокъ лѣтъ, по крайней мѣрѣ,
 Название ваше сохранитъ.
 Когда жъ стѣснитса ужъ кладбище,
 То ваше узкое жилище
 Разроютъ смѣлою рукой
 И гробъ поставятъ къ вамъ другой.
 И молча ляжетъ съ вами рядомъ
 Дѣвица вѣжная! Одна,
 Мила, покорна, хотъ блѣдна...
 Но ни дыханіемъ, ни взглядомъ
 Не возмутится вашъ покой—
 Что за блаженство, Боже мой!

41. Къ дѣлу о стихахъ на смерть Пушкина [стр. 475].—Въ предъидущемъ изданіи было напечатано только два документа, относящіеся къ этому дѣлу, именно: первый и четвертый. Въ настоящемъ же изданіи, благодаря предупредительному вниманію Н. Н. Буковского, мы пополнили ихъ весьма интереснымъ показаніемъ Лермонтова, заимствованнымъ изъ подлиннаго дѣла, и при-

вели отрывокъ изъ показаній Раевского, опредѣляющій время, въ которое написано стихотвореніе: «Опять народныя вѣтѣ». Его относили въ 1831 г., т. е. ко времени польскаго возстанія, но Раевскій говоритъ, что стихи написаны «кажется въ 1835 году». Поэтому несомнѣнно можно сказать, что они вызваны не польскимъ возстаніемъ, а рѣчами, произносившимися противъ Россіи на празднествѣ, устроенномъ въ честь Делевеля, въ апрѣлѣ 1834 г., слѣдовательно написаны въ этомъ же году.

42. Къ дѣлу о дуэли съ Барантомъ [стр. 478]. Въ нынѣшнемъ изданіи, тоже благодаря Н. Н. Буковскому, печатавшіеся прежде документы значительно пополнены и исправлены по подлинному дѣлу.

Въ заключеніе замѣтимъ, что мы не перепечатали стихотвореній, хотя и явившихся въ печати съ именемъ Лермонтова, но принадлежащихъ гр. Соллогубу, Айбулату, М. П. Розенгейму, В. И. Соколовскому и др. Именно: 1) Изъ «Современника» 1854, № 5 — Р а з ъ ю к у, 2) Изъ «Р. Вѣстника» 1856 г., № 14: «Пусть міръ нашъ прекрасенъ», «А годы несутся», «Когда стою подъ древнимъ сводомъ храма»; 3) Изъ «Сборника въ память Смирдина» 1858, т. III: «Поѣху совѣсти», «Привѣтствую тебя», «Винтовка пулю вѣрную послала»; 4) Изъ «Развлеченія» 1860 № 18: «Смерть»; 5) Изъ «Нашего Времени» 1862 г. № 190: «Забываю любовь», «Отвѣтъ на придиричивую рецензію» и 6) Изъ «Р. Архива» 1867 г., № 10: Евфразію. — Кроме того мы не внесли стиховъ изъ «Записокъ Хвостовой» (Спб. 1871, на стр. 90): «Что можемъ на скоро стихами молвить ей», «Вокругъ лилейнаго чела», и «Ужъ ты чего не говори». Стихи эти читатели могутъ найти въ сочиненіяхъ А. С. Пушкина, въ I томѣ, по изд. 1882 г.: первые на стр. 184: «К. П. Бакуниной», вторые — на стр. 388, въ «Бахчисарайскомъ фонтанѣ», а въ третьихъ — каждый увидитъ рѣчи черкешенки изъ «Кавк. Пѣлѣнника» (стр. 326), къ которымъ сдѣлана только приставка вначалѣ. Наконецъ, мы не помѣстили нѣсколькихъ, недавно появившихся въ печати, юношескихъ произведеній поэта, ровно ничего не дающихъ ни для его біографіи, ни для исторіи развитія его поэтической дѣятельности.

Для полноты изданія, приводимъ въ прозаическомъ переводѣ тѣ пьесы Лермонтова, которыя неизвѣстны въ русскомъ оригиналѣ и находятся только въ нѣмецкомъ переводѣ Боденштедта («Р. Старина» 1873, № 3). Въ стихахъ они воспроизведены Д. Д. Минаевымъ и напечатаны въ сентябрьской книжкѣ «Историческаго Вѣстника» 1883 года.

Размышленія.

1.

Нѣтъ, я не измѣнникъ своей странѣ, и не недостойнъ моихъ отцовъ, и это потому, что я не похожу на васъ ни въ чемъ и не полагаю, какъ вы, съ чужими костылями.

2.

Потому что ваши дѣла заставляютъ меня часто краснѣть отъ стыда, потому что я не слышу музыки въ звяканьи цѣпей и потому что меня не привлекаетъ блескъ штыковъ — вы утверждаете, что я не патриотъ.

3.

Потому что я совсѣмъ не стараго покроя и закала, и найду съ каждымъ шагомъ назадъ — вы утверждаете, что я не патриотъ, не люблю своей страны и не понимаю ея.

4.

Они правы: самъ чортъ не разберетъ, отчего у насъ быстрѣе по-двигаются тѣ, которые идутъ назадъ, такъ что они достигаютъ ужъ своей цѣли, когда я по своей дорогѣ только-что двинулся впередъ.

5.

Богъ даровалъ мнѣ глаза и ноги; но когда мнѣ захотѣлось пойти на своихъ ногахъ и когда я задумалъ взглянуть своими глазами, я долженъ былъ поплатиться за это тюрьмою, какъ за преступленіе.

6.

Богъ далъ мнѣ языкъ; но когда я вздумалъ заговорить, захватило у меня горло. Странныя вещи происходятъ въ моей странѣ, и удивительный обычай завелся у насъ: разумному нуженъ разумъ для глупости, а языкъ для молчанія.

Случайныя пьесы и замѣтки.

1.

Они меня терзали за то, что я осмѣлился размышлять; они въ меня бросали камнями за то, что я высказывалъ мою мысль. Когда я пѣлъ о томъ въ пѣснахъ, полныхъ правды и полныхъ огня, они не могли ничего отвѣтить — и отсюда-то вся ихъ ярость.

2.

Вы, которыхъ я попиралъ ногами, потому что узналъ въ васъ ословъ; вы, которые просили у меня извиненія, потому что я называлъ васъ ослиами; вы, которые все искусство свое употребляли на то, чтобы трусливо мнѣ понравиться, когда я еще былъ наряднымъ кавалеромъ и въ большомъ почетѣ — какая съ вами теперь перемена! какъ вы гордо выступаете въ блескѣ своихъ орденовъ, какъ-будто меня ужъ и не знаете.

3.

Какъ измѣнилось время! вы, которые такъ низко кланялись, теперь вы пестро обвѣшаны лентами, украшены звѣздами и крестами. Проходите же прочь, не глядя, мимо меня; не раздражайте моихъ нервовъ, и забудьте меня отъ противнаго труда—выбросить васъ за двери.

4.

Не завидую я ни вашимъ крестамъ, ни вашимъ гибкимъ спинамъ; не завидую тому, чѣмъ вы сдѣлались черезъ подказначество и низкопоклонство. Наслаждайтесь счастьемъ своего рабствія, таковъ ужъ порядокъ вещей: то, что одинъ носитъ въ своей груди, другой носить на груди.

5.

Пусть меня обвиняютъ, пусть меня предадутъ суду: я не стану оправдываться; одно только могу сказать вамъ: я никогда не связывалъ себя съ низкими людьми, никогда не былъ пошлякомъ.

6.

Вы не хотѣли понимать меня, вы все у меня отняли; не отняли только гордости моей и силы. Поколѣнія приходятъ и уходятъ, поколѣнія уходятъ и приходятъ, и смѣна эта—благо. Пройдете и вы—и другіе заступятъ ваше мѣсто, съ новою, болѣе чистою кровью [въ жилахъ]; и они поймутъ меня, если услышатъ мое слово, и сознание это—благо.

7.

Мои глаза были также ясны, какъ твои, которые улыбаются мнѣ такъ блаженно; мое сердце было также горячо, какъ твое, но его охолодили. Ничего изъ этихъ благъ у меня не осталось, я долженъ былъ все это оставить: небо учило меня любить, но люди научили меня ненавидѣть.

8.

Какъ страстно любилъ я прекрасное съ блаженнымъ пыломъ пѣвца, какъ сильно звучали пѣсни изъ моей груди! Съ гордымъ мужествомъ и сознаниемъ своего полного права я боролся за все истинное и доброе; вамъ казалось это пустымъ и вздорнымъ: вы разбили мою лиру, лишили меня моей свободы, долгими тюремными муками убѣдили мою молодую голову. Тогда-то, послѣ долгаго размышленія, которому уже не препятствовала никакая сила, съ безграничнымъ презрѣніемъ обратилась къ вамъ моя ненависть. Вы показали себя отличными полицейскими во всѣхъ видахъ, но внушить мнѣ тѣмъ къ себѣ уваженіе—этого вы не достигли.

9.

Одно милостивое слово, одно слово раскаянья, открыло бы мнѣ

снова путь къ старой благосклонности; но скорѣе я пропаду здѣсь, въ тюрьмѣ и цѣняхъ, чѣмъ скажу хоть одно слово, чтобъ ложью спасти себя.

10.

Безъ вины настрадался я уже довольно, и хотѣлъ бы теперь быть свободнымъ; но лучше пусть буду я еще больше терпѣть, чѣмъ по своей винѣ сравняться съ вами, господа, во лжи и обманѣ.

11.

Не жалѣйте о моей судьбѣ, не жалѣйте о томъ, что святоши и ханжи оттолкнули меня отъ себя! Вы сами живете въ тюрьмѣ, какъ и я; только я живу въ маленькой, а вы—въ большой.

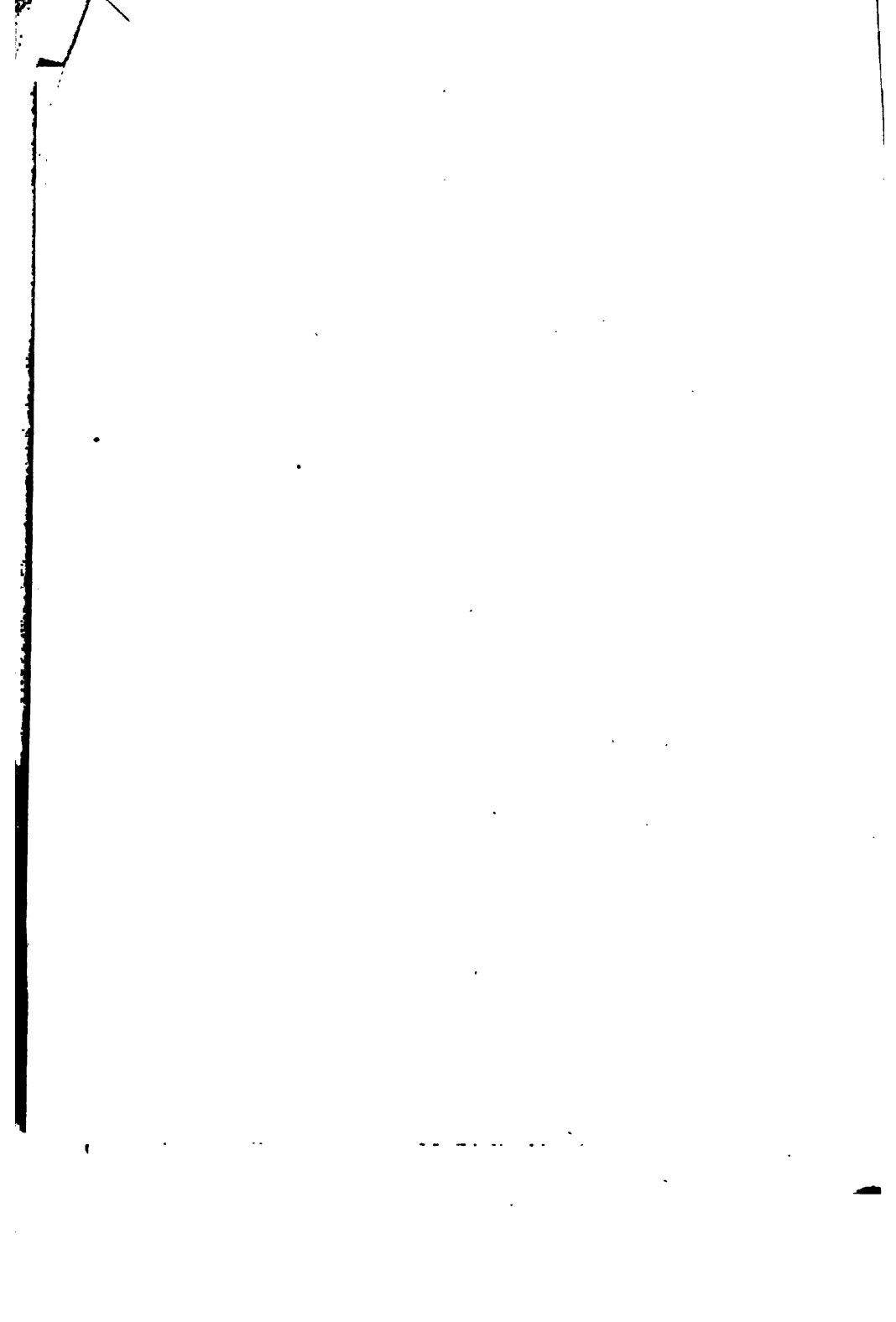
12.

Не жалѣйте о моихъ страданіяхъ въ этихъ тюремныхъ стѣнахъ, я предоставлю вамъ ваши радости, и дарю вамъ ваше состраданіе.

13. На волю.

Дико грохочетъ громъ, шумно бьетъ дождь; въ испугъ бѣгутъ люди съ полей и дорогъ, они ищутъ защиты подъ кровлею дома: я хотѣлъ бы на волю, прочь изъ-за затворовъ!

Я хотѣлъ бы на волю — и лучше погибнуть мнѣ въ бурѣ и молніи, въ грозѣ и ужасѣ, чѣмъ дольше сидѣть здѣсь, за затворами дома, я хотѣлъ бы на волю!



2
ва пут
тюрьм
ости се

Безъ в
бодным
ей вин:

Не жал
ужи отг
я; тольк

Не жал
предоста:

Дико гр
ди съ по
тъль бы
Я хотѣл
, въ гроз
, я хотѣл

.

.

.

.

.

.

.







3 2044 020 442 232

This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.

A fine is incurred by retaining it
beyond the specified time.

Please return promptly.

NOV 28 '60 H

